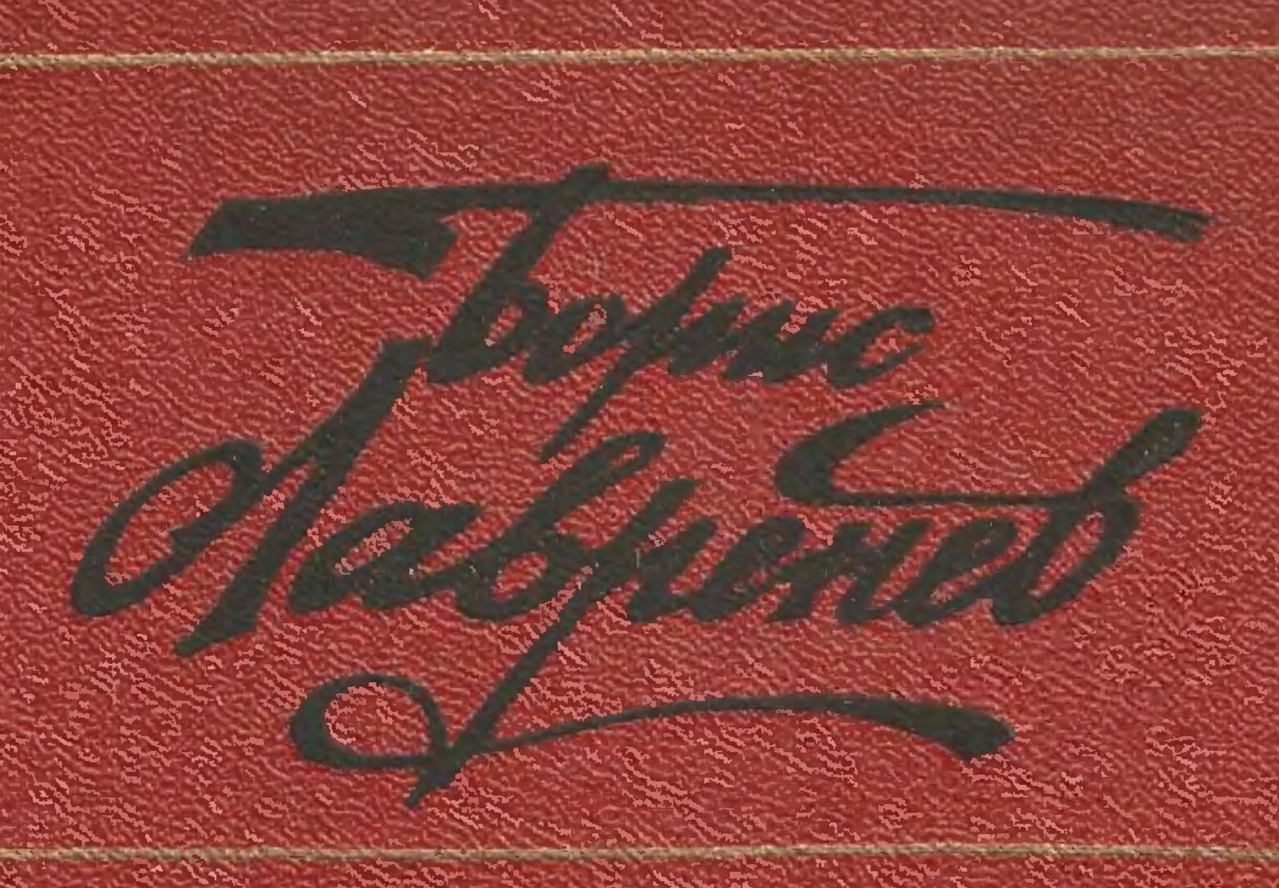


1



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1982 г.

Борис Лавренев

Собрание сочинений в шести томах





МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1982



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Р2
Л13

Составление и подготовка текста
А. Ю. Лавренева

Вступительная статья
Е. В. Стариковой

Примечания
Б. А. Геронимуса

Оформление художника
Ю. Алексеевой

Л $\frac{4702010200-336}{028(01)-82}$ подписное



Б. А. ЛАВРЕНЕВ
(1891—1959)

Борис Андреевич Лавренев — один из наиболее читаемых и сегодня советских прозаиков первого послереволюционного поколения. К его книгам обращаются люди самых разных интересов и культурных уровней не из одной почтительности к истории, а в силу живого, непреходящего интереса к сюжетам, созданным его воображением и пером. Около шести десятилетий прошло с тех пор, как был написан рассказ «Сорок первый», десятки раз он переиздавался, миллионы людей знакомы с его образами по киноэкрану, а он привлекает внимание читателей по-прежнему. Не у многих художественных произведений подобная счастливая судьба. Почти такая же известность сопровождает некоторые другие рассказы, повести и пьесы писателя. Не все, конечно, но лучшие. В чем секрет нестареющего успеха лавреневских произведений? Ответить на этот вопрос непросто: Лавренев разнообразен, многоцветен, изменчив, неровен. И всего скорее, притягательность Лавренева для разных читателей будет своя. Однако есть нечто особенное, что лежит в основе широкой популярности Б. Лавренева. Объяснить ее причину — задача настоящей статьи.

Прежде всего очевидна одна общая черта творчества Лавренева: его произведения всегда были созвучны тому историческому моменту, в который они были написаны. Созвучны и по своим темам, по жизненному материалу, положенному в их основу, и по манере письма, по характеру образности и языка. И то, что было острой злободневностью в момент создания произведения, через десятилетия придает ему безусловное значение выразительного исторического свидетельства об ушедшей эпохе.

Почти все главные проблемы становления советского государства и процессы духовной жизни советского народа нашли воплощение в творчестве Б. Лавренева: революционный подвиг, романтика и жестокость гражданской войны, ненавистная писателю пошлость нэповского мещанства, неизбежные трудности в сближении старой интеллигенции с народом, антигуманизм буржуазного общества и империалистической политики Запада, героизм Отечественной войны, традиции русской культуры — вот круг тем, к которым обращался на протяжении сорокалетней работы писатель.

Такое чувство времени было даровано Лавреневу потому, что он всегда занимал активную позицию в жизни, о чем свидетельствует биография писателя, во многом типичная для людей его поколения. О детских и юношеских годах писателя, об обстоятельствах формирования его как личности рассказывается в автобиографиях, помещенных в первом томе настоящего собрания сочинений. Здесь мы лишь коснемся этих обстоятельств в самом общем виде.

В начале десятых годов XX века молодым поэтом и художником, жадно впитывающим в себя настроения и мысли современников, Лавренев быстро прошел путь от символизма к эгофутуризму, а затем к акмеизму. Истинным же началом своего творчества сам Лавренев считает рассказ «Гала-Петер», написанный в 1916 году на фронте. Этот социально тенденциозный рассказ был вехой на пути идейного становления двадцатипятилетнего поручика царской армии, участника первой мировой войны, который не стал казенным ура-патриотом империалистической России, а выбрал иную дорогу. Участие в неправедной войне, близость к солдату — человеку из народа, о котором так много думала и говорила вся русская интеллигенция, но которого часто так мало знала, помогли понять писателю ничтожность «мышиной возни литературных стычек» на фоне народной трагедии.

Но форма рассказа «Гала-Петер» — его композиция, стиль — живо напоминает нам о поэтическом прошлом его автора, который сам признает в нем «ритмическую стилизацию прозы под Андрея Белого». И герои «Гала-Петер» — не характеры, а типичные маски, подобные персонажам ранних поэм Маяковского.

Рассказ увидел свет только в 1924 году. Во время империалистической войны, когда он был создан и когда его антивоенная направленность прозвучала бы особенно злободневно, рассказ был запрещен цензурой (подробнее об этом — в «Автобиографии» и в примечаниях к настоящему тому).

Этот рассказ не может еще дать представления о характере творчества Лавренева начала 20-х годов — в нем нет ни пестрого буйства романтических красок, ни острого сюжета, ни деятельного и яркого героя. Но страстность, с которой писатель отвергал здесь империалистическую бойню первой мировой войны, предопределила его собственную судьбу во время гражданской войны — молодой офицер встал в ряды Красной Армии. Он дрался с Петлюрой и атаманом Зеленым, затем, после ранения, был послан в политотдел Туркестанского фронта, работал в красноармейских и краевых газетах Средней Азии. Деятельность журналиста обогатила его как писателя не только темами и сюжетами, но и позволила лучше понять современника — человека из народа, пришедшего к революции.

В Средней Азии Лавренев пытается создать роман-эпопею. Замысел так и остался незавершенным, но материал из неоконченного гигантского произведения частично был использован при работе над рассказами и повестями 1923—1925 годов, которые писались уже в Ленинграде. Они-то и принесли автору заслуженную известность. Произведения эти свидетельствуют не только о вполне сложившемся мировоззрении автора, но и о том, что дарование его профессионально отшлифовалось, приобретя черты, характерные для литературы первой половины 20-х годов.

Поэт-модернист стал революционным писателем-романтиком. Вероятно, превращение это обусловила сама историческая ситуация, придавшая именно такую форму творческой энергии литературной молодежи того времени. Вспомним, что тогда же подобную эволюцию, несмотря на несходство талантов, претерпели Л. Леонов, И. Эренбург и другие писатели, захваченные, как и Б. Лавренев, важностью и новизной происходящих в России событий.

О бурных революционных годах, о гражданской войне рассказывает Лавренев в первой своей значительной повести с символическим названием «Ветер» (1924). Фольклорная традиция олицетворения сил природы с процессами, происходящими в обществе, вообще широко использовалась современниками Лавренева, но ассоциативный фон слова «ветер» особенно вдохновлял их, вдыхая в произведения образ стихийной, разящей и в то же время освежающей, очищающей силы.

Буйством и неукротимостью характера может поспорить с ветром герой повести Лавренева матрос Василий Гулявин. В 1930 году писатель вспоминал: «Я провел среди матросов первые годы гражданской войны, жил с ними дружно и тепло, и

психология матроса 17-го года не была для меня загадочной». Действительно, Лавренев любит своего героя, понимая природу его беззаветного героизма и бешеной удали, его высокой революционной сознательности и его невежества и моральной несдержанности.

Следует отметить, что стремление к точности, желание правдиво воспроизвести черты удивительного времени выработали у революционных писателей эстетически новаторское качество, которое отличало наиболее характерные произведения той эпохи: соединение героического пафоса и романтики с жестокой правдивостью, чуждой какой-либо идеализации. Вс. Иванов, И. Бабель, Л. Сейфуллина и многие другие пытаются передать в своих книгах в полной сохранности самобытность рядовых героев революции, вышедших из самых недр народа.

Образом Гулявина, бывшего замуштрованного матроса, Б. Лавренев создал обобщенный литературный тип героя, для которого революция была не только освобождением, но и радостным очеловечиванием, пробуждением самосознания. Этим последним обстоятельством обусловлен мажорный тон повести, хотя заканчивается она трагически. Горячность привела Гулявина к гибели. Правдивая и темпераментная натура его не могла не взорваться, когда он увидел в лице князя, белого офицера, всю мерзость и злобу мира, с которым он боролся. И матрос Гулявин погиб, может быть, и безрассудно, — хладнокровие и выдержка не были ему свойственны, — но погиб геройски.

Революционно-романтическая повесть множеством своих черт показательна для литературы той поры. Прозаиками стали широко использоваться тогда стилистические средства поэзии. Иллюстрацией этой особенности стиля прозы 20-х годов может служить ритмически организованное, метафорическое начало лавреневского «Ветра»: «Позднею осенью над Балтийским морем лохматая проседь туманов, разнузданные визги ветра и на черных шеренгах тяжелых валов летучие плюмажи рассыпчатой, ветром вздымаемой пены». Как рефрен в песне, снова и снова возникает в повести образ ветра: «Рождали ветры смятение и глухую бурлящую ярость», «Зимой ледяными пронзительными ветрами продувается степь от ревущего моря». Подобная манера письма свидетельствует о том, что Лавренев отдал дань модному в начале 20-х годов орнаментализму, то есть поэтически украшенному, метафорическому стилю, с инверсиями, имитирующими сказовую интонацию.

Однако все эти литературные приметы времени трогают нас сегодня как воспоминание о детских забавах молодой литературы, искавшей своих новых путей, но непосредственно вол-

пуют не они, а судьба бесшабашного матроса Василия Гулявина, вокруг которой так стройно расположились пестрые события повести.

В повести «Ветер», выразившей истинное творческое лицо писателя и вобравшей в себя предшествующий опыт его жизни, берут начало многие темы и мотивы, нашедшие свое продолжение в последующих произведениях Лавренева 20-х годов. От Гулявина идут многочисленные матросы лавреневских рассказов и пьес, изображение революционных традиций флота. Лирические отступления автора «Ветра», где впервые прозвучит его любовь к городу Петра и Ленина, разовьются через несколько лет в образы, пейзажи и размышления «Гравюры на дереве». Здесь же, в лирических отступлениях «Ветра», в первый раз в творчестве писателя возникает романтическое видение революционной «Авроры». А отношения Василия Гулявина с его комиссаром, бывшим прапорщиком Строевым, положат начало в творчестве Лавренева проблеме интеллигенции и народа — старой интеллигенции и революционного народа.

Первоначальное недоверие вчерашнего матроса к вчерашнему офицеру, любовь несдержанного, неграмотного командира к своему собранному, образованному комиссару, драматическая гибель Строева из-за анархического своеволия Гулявина — все эти отношения даны в «Ветре» правдиво и человечно.

Конфликт между Гулявиным и Строевым, так легко снявшийся в «Ветре» благодаря объединяющей их идее и цели, оказался трагически неразрешимым для героев «Сорок первого».

Эта романтическая баллада с драматичным сюжетом, с героями сильными и цельными, наполнена жестокими и красочными приметами эпохи гражданской войны во всей ее противоречивости: небывалые, невыносимые физические страдания и высокий духовный подъем, ничтожность цены человеческой жизни и пламенность мечты о будущем счастье человечества, переменчивость людских судеб и стойкость выбранной позиции. Драма, изображенная Лавреневым, разворачивается на фоне пронзительной синевы пустынного Аральского моря и рыжих песков страшных Каракумов, и этот резкий, контрастный фон словно олицетворяет непримиримость развязанной стихии человеческих страстей. Написан «Сорок первый» с большой живописной силой. Каждая сцена рассказа отличается четкостью рисунка, каждая фигура — пластической выразительностью.

В то же время современный читатель не может не обратить внимание на несовпадение, — с нашей сегодняшней точки зре-

ния — крайней драматичности событий рассказа, нравственной неразрешимости его финала и иронически-сказовых интонаций рассказчика, прорывающихся откровенной пародией в названиях глав рассказа (например, «Глава первая, написанная автором исключительно в силу необходимости»). Открытая ирония при возведенной в принцип повествования обнаженной правдивости жестоких ситуаций и создает ту авторскую отстраненность, которая превращала неразрешимые драмы трагической эпохи в эстетический феномен. Явление, характерное для советской прозы 20-х годов. Для Лавренева особенно. Романтическая и одновременно иронически-отстраненная позиция автора создала своеобразный стиль «Сорок первого», который узнается буквально по отдельным предложениям.

Заметим, Лавренев не ставит своей задачей подробно воссоздать историю жизни своих героев, углубиться в их прошлое. Кто ждет их дома? Есть ли у них отцы и матери, братья и сестры? Кто будет плакать над этими молодыми жизнями, так ярко горевшими под азиатским солнцем? Для писателя единственно важно — раскрыть противоположность нравственных отношений классовых антагонистов: бывшей астраханской рыбачки и бывшего гвардии поручика. Можно ли сомневаться, на чьей стороне будет победа?

Испытания для своих героев писатель изобретает изощренно: здесь и собственный жизненный опыт — Лавренев бывал в песках Туркестана, — и всегдашняя для писателя оглядка на книжные традиции. Рыбачка и гвардеец, конвоир и арестованный, волею случая оказываются на песчаном необитаемом острове в Аральском море. «Робинзон и Пятница»,— с улыбкой говорит поручик непонимающей Марютке. Но кто же здесь Робинзон, а кто Пятница? Синеглазый офицер с чувством высокомерного превосходства, конечно, считает Пятницей Марютку — дикарку с наивной страстью к неграмотным, нескладным виршам, с варварским языком, не читавшую никогда Дефо, не знавшую ни географии, ни истории. Но в сюжете, предложенном Лавреневым, не образованный Робинзон, а полуграмотный Пятница оказывается главной фигурой на острове. И не только потому, что Марютка более находчива, более приспособлена к невзгодам и случайностям, чем изнеженный барин, но и потому, что она самоотверженна, ей чужд эгоизм. Это она спасла жизнь больному офицеру, она сделала сносной жизнь на острове, она наполнила сердце поручика счастьем.

Писатель не унизил свою героиню, как и Гулявина, искусственной идеализацией. Она предстает такой, какой она была, со своим жестоким счетом убитых офицеров, со своим детским

простодушием и наивной страстью к стихам, со своей грубой прямотой и душевной открытостью. Щедрая и самоотверженная Марютка одерживает победу в том нравственном столкновении, которое не могло не возникнуть между случайными возлюбленными и исконными врагами. Победу не в том примитивном смысле, что Марютка убеждает рафинированного аристократа в своей народной правде, а в том смысле, что читатель бесспорно принимает сторону Марютки в драме, разыгравшейся на пустынном острове.

Позиция, занимаемая Лавреневым в споре между народом и старой интеллигенцией, выверена была им годами пребывания на фронтах мировой и гражданской войн, и в правоте народа Лавренев не сомневался. Он и в «Сорок первом» безоговорочно осуждает социальную ограниченность офицера, его желание переждать битву в тишине.

Но это не значит, что Лавренев позволял себе хоть на миг усомниться в высоком назначении и нравственной ценности культуры. Он с гордостью называл себя интеллигентом даже в годы, когда слово это было далеко не у всех в почете. И уже в первых романтических повестях и рассказах видна убежденность писателя в необходимости для народа высокой культуры. Этой идеей будет вызвана к жизни через несколько лет известная повесть Лавренева «Гравюра на дереве». Любовная, но не снисходительная, понимающая, но и чуть ироническая улыбка, которая сопровождает изображение Гулявина в «Ветре», Марютки в «Сорок первом» и многих других персонажей тех лет, свидетельствует, что, принимая своих героев такими, как они есть, Лавренев не хочет превращать их исторически и социально неизбежные невежество и грубость в неотъемлемое право и своего рода новую привилегию «человека из народа». Марютка дорога писателю не только своей отвагой, революционной убежденностью, чистотой щедрого сердца, но и своей страстной мечтой приобщиться к красоте, культуре, стать лучше и умнее.

«Сорок первый»— истинный шедевр Лавренева, и, как часто бывает с художественно законченными произведениями, этот рассказ разными своими гранями прикасается ко многим серьезным проблемам, которые и в дальнейшем будут занимать писателя.

Еще долгие годы продолжала волновать Лавренева героика гражданской войны. В пестром многообразии его книг явственно звучит патетическая мелодия романтики отгремевших битв. Он был сам участником героических событий, и ему есть что

вспомнить. В течение двадцатых годов он пишет и о столкновении с басмачами у подножия снегового Памира («Звездный цвет»), и о налетах анархических банд на украинские городки («Происшествие»), и о жестокости классовых битв, разлучающих влюбленных, разламывающих самые крепкие человеческие связи («Полынь-трава»).

События минувших лет давали Лавреневу богатейший сюжетный материал. У него природный дар рассказчика. Писатель сознательно развивал эту сторону своего таланта. Иногда он делал это с большим успехом, иногда с меньшим, но настойчиво, на протяжении всей жизни он отстаивал сюжетность как недооцененный, с его точки зрения, соотечественниками и современниками компонент литературного произведения. В 20-е годы, в период моды на импрессионистскую разорванность повествования, в период увлечения лирической размытостью прозы, лавреневские повести и рассказы завоевывали широкого читателя стройностью повествования.

Отстаивая свое право на острый сюжет, Лавренев писал: «Люблю здоровую и крепкую слаженность. Не люблю нашей «словесности». Народнические традицийки, психологическая размазня... приготовленная лисой для угощения журавля. Жидко, тягуче, пресно, не ухватишь с тарелки. Мистическое копание в собственном пупе... Литература должна взвинчивать и захватывать. Читаться запоем». И еще более задорно и самоуверенно добавлял: «Литература должна владеть прежде всего сюжетом:— сюжетом я владею. Овладеть остальным — задача на будущие годы».

Сюжетом Лавренев действительно владел. Прекрасно владел он и броским характерным диалогом, и живописной экспрессивной деталью, любил иронию и патетику в лирических отступлениях.

При создании образа Орлова, героя «Рассказа о простой вещи», писатель ставил перед собой задачу, которая находилась в полном согласии с общими целями, вырисовывавшимися перед всей молодой советской литературой. Лавренев хотел изобразить героя революции не в гулявинском стихийном и бунтарском варианте, а как идеальный пример сознательного деятеля, подчинившего жизнь свою революционному долгу.

Нужно было нарисовать истинного рыцаря революции, без оглядки идущего своей особенной дорогой, не подвластного обычным для простых смертных житейским соблазнам, но все-таки ищущего, сомневающегося, страдающего. Как согласовать эти черты обычной человеческой противоречивости с той идеальной твердостью духа, которая по праву должна принадлежать герою?

Интеллигенцию 20-х годов волновала серьезнейшая проблема, заключающая в себе трагическое противоречие эпохи, противоречие между гуманностью по отношению к отдельной личности и революционной суровостью, продиктованной интересами миллионов. Орлов сочетает и примиряет в себе рыцарскую гуманность с суровой несгибаемостью революционера, но удается автору это осуществить лишь при помощи приключенческого сюжета, искусственно облегчающего герою путь к идеалу. В выстреле Марютки и последовавшем за выстрелом ее крике: «Родненький мой! Что же я наделала?» — больше и жизненной правды, и философской глубины, чем во всех рассуждениях и приключениях Орлова, хотя увлекательность сюжета, динамика действия послужили причиной большой читательской популярности этого произведения.

На всю советскую литературу середины 20-х годов особый отпечаток наложил нэп. Обывательщина, запрятавшаяся в темные щели во времена героических лет гражданской войны, почувствовала благоприятную для себя обстановку. И у многих писателей отвращение к гнилостной атмосфере «частного предпринимательства» пересилило желание понять современность как момент закономерного исторического процесса.

По-своему отразились настроения нэпа в творчестве Лавренева. Анекдотическая парадоксальность, которая отличает почти все произведения Лавренева этого периода, откровенно подчеркивается им как сознательный, свободно выбранный литературный прием.

Персонажами рассказов Лавренева 1925—1926 годов стали увядающие дамы, живущие воспоминаниями о былом великолепии и подачками от заграничных родственников («Моль», «Погубитель», «Мир в стеклышке»), распутные монахи, спрятавшиеся от вольных ветров эпохи за стенами отживающих свой век монастырей («Отрок Григорий»), провинциальные обыватели, с трусливой злобой взирающие на новых хозяев жизни («Таракан»). Недаром сборник рассказов, выпущенный Лавреневым в 1926 году, называется «Шалые повести». Название это подчеркивает ироничное и принципиально несерьезное отношение автора к нынешней действительности, так резко контрастирующей с недавним прошлым. Даже рассказы, построенные на материале военных лет, утратили на какое-то время героический пафос и романтическую настроенность более ранних произведений Лавренева. Рыцарски безупречный Орлов и великолепно бесшабашный Гулявин отступили в памяти на задний план, а

на переднем плане воспоминаний оказался смешной, нескладный Пузыркин, так нелепо и несчастливо влюбившийся в графиню («Граф Пузыркин»). И очень показательно, что в то время как в «Сорок первом» героическая действительность представлялась писателю в своих праздничных, ослепительно желтых и сверкающе-синих красках, какой она была для детски наивной и жадной до жизни Марютки, — сегодня она рисуется через призму восприятия уродливо-нелепого, бесцветного и бесследно исчезающего с земли царского полковника («Конец полковника Девишина»).

Правда, сияющие краски и пряные запахи степного юга, призывный зов моря появляются в это время в одном произведении Лавренева, в повести «Таласса». Но в каком резком противопоставлении смехотворной пошлости и бессмысленности обывательского существования рисуется здесь вольная природа!

Однако сказать о Лавреневе этого периода, как это было когда-то принято в нашем литературоведении, что писатель «испугался нэпа», было бы неверно. Веселая и отважная муза Лавренева не покидала его, нэповскому мещанству он отвечал не мрачным испугом, а презрительной усмешкой. Стиль рассказов писателя того времени приобрел устойчивые черты сатирического бытописания.

Но и другие способы отрицания буржуазной морали не были чужды Лавреневу. В 1925 году он написал один из лучших своих рассказов, стоящий в ряду известнейших, хрестоматийных произведений, на которых воспитываются гуманные чувства не одного поколения советских читателей. Рассказ называется «Срочный фрахт». Речь идет о дореволюционном прошлом: в Одесском порту гибнет маленький чистильщик котлов по прозвищу Крыса. Его могли спасти, но это принесло бы убытки американской компании, владелице судна, и поэтому несколько взрослых людей, служа закону наживы, сознательно убивают мальчика. И убийство происходит не потому, что люди эти фантастически злы и жестоки: в «царстве жадности» неизбежно уничтожение всякого, кто, хотя бы случайно, окажется на пути больших денег к еще большей добыче.

Эта вещь стоит особняком среди романтических и гротескно-анекдотических произведений Лавренева 20-х годов. Целиком находясь в русле реалистических и гуманистических традиций русской литературы, она созвучна таким произведениям, как «Гуттаперчевый мальчик» Григоровича, «Белый пудель» Куприна, «Ванька Жуков» и «Спать хочется» Чехова, «Максимка» Станюковича.

Три года Лавренев не приступал к прозе большой формы, потерпев в 1922 году неудачу с созданием романа «Звезда-полынь», когда, по свидетельству, самого автора, 1600 страниц «литературного небоскреба» полетели в корзину. В 1925 году он выпустил в свет роман «Крушение республики Итль».

Новый роман не имел ничего общего с героической эпопеей, о характере которой можно судить по ее «осколкам» — «Ветру» и «Сорок первому». Роман написан в форме сатирического гротеска, высмеивающего буржуазную демократию, фальшь и хищничество империалистической политики. В создании сатирического и одновременно фантастического романа Лавренев в 20-е годы был не одинок. В конце концов, и «Хулио Хуренито» и «Трест Д. Е.» И. Эренбурга, и «Аэлиту» и «Гиперболоид инженера Гарина» А. Толстого с некоторыми оговорками и частными определениями можно отнести к числу таких романов. А сколько их было — менее талантливых и забытых? Обостренно-политическое восприятие мира и времени людьми, прошедшими сквозь войны и революции, склонность к сатирическим обобщениям, рожденная исторической обнаженностью механики буржуазного общества в наступившую эпоху, иронический скепсис, явившийся результатом крушения некоторых романтических иллюзий в обстановке нэпа, — такова многослойная почва, породившая в 20-е годы поток условно-сатирических, приключенческих романов с антибуржуазной окраской.

Занимательно и иронично повествует Лавренев о том, как одна великая держава послала военную эскадру на помощь маленькой буржуазной республике — уродливому недолговечному осколку великой революции на севере материка, — как жадно адмирал эскадры пытался перекупить нефтяные промыслы страны, как торговались ее опереточные правители, в свою очередь стараясь захватить миллионы, о том, как легко устраиваются государственные перевороты при помощи тугого кошелька и наведенных пушек и, наконец, о том, как обречена в век революций буржуазная экспансия. Роман этот в своеобразной форме отражал отношение Лавренева к реальным явлениям международной политики.

В романе «Крушение республики Итль» присутствуют черты, явно пародирующие развлекательно-революционное чтиво, в то время очень модное. А некоторые страницы воспринимаются читателем как ироническая стилизация под авантюрно-приключенческую литературу. В целом же «Крушение республики Итль» подтверждает многогранность таланта Лавренева, в палитре жанровых форм которого находятся столь разнообразные краски — от героико-романтической до буффонадной, сатирической.

Недаром в письме Б. Лавреневу в 1926 году М. Горький писал из Сорренто: «Познакомился с Вашей книгой «Крушение респ[ублики] Итль», книга показала мне Вас человеком одаренным, остроумным и своеобразным, — последнее качество для меня особенно ценно».

1927 год был переломным в творчестве Б. Лавренева. Получили развитие те изменения, симптоматические признаки которых критика заметила в повести 1926 года «Мир в стеклышке». Еще по-прежнему окрашенное в тона разочарования, произведение это, в отличие от забавных анекдотов «Шалых повестей», написано более серьезно, более строго.

Не раз высказываемое Лавреневым пренебрежение к «идейкам» русской «словесности» оказалось только задорным вызовом. Слишком органично все эти «традиции» и «идейки» вросли в национальный и социальный организм его родины, чтобы мог русский писатель вовсе и легко обойти Толстого и Достоевского. Подчиняясь ли их влиянию, или отталкиваясь от него, споря с ними или восславляя их — в любой форме талантливый писатель рано или поздно отдаст им свою дань. И проза Лавренева 1927—1928 годов — лишнее тому подтверждение. Отечественные традиции духовного правдоискательства, реалистической глубины и психологизма особенно ясно сказались в повести «Седьмой спутник».

В ней рассказывается о том, как по-своему принял революцию бывший царский генерал, к тому же старый человек, профессор Адамов. Он не испытывает обычной для представителей его среды ненависти к новому миру, но и не совершает активного перехода на сторону его строителей и защитников. Ему свойственно кроткое смирение перед возмездием революции, которое он рассматривает как искупление исторической вины перед народом. Это настроение покаяния, выросшее на почве глубокого душевного кризиса, сопровождает образ бывшего генерала на всем протяжении повести.

Внешние же события повести, как это свойственно Лавреневу, необычны и парадоксальны. Но и ситуации, созданные, казалось бы, только затем, чтобы ошеломить и увлечь читателя своей курьезностью, оборачиваются проявлением главной мысли произведения: о совестливости и «комплексе вины» старой русской интеллигенции, о том, что самые страдания принимались ею как следствие вековой несправедливости, поставившей ее в привилегированное положение, и что интеллигенция, если она была достойна так называться, должна была понять эту исто-

рическую закономерность и пытаться разрушить недоверие, стоящее между ней и народом. Потому-то так кротко примиряется со страданиями старый генерал, потеряв все свое имущество, попав заложником в «домзак», вызвав ненависть и презрение людей той среды, которая некогда была его средой. Адамов погиб, как и многие герои Лавренева, мужественно и честно доказывая свое право остаться с народом. Героическая муза Лавренева не избегала трагических финалов в своих произведениях, в то же время всем строем своей поэтики отстаивая и утверждая оптимизм общего хода истории.

В 1927 году пришла к Лавреневу и слава драматурга. Весной театр имени Вахтангова предложил Лавреневу написать пьесу к 10-летней годовщине Октябрьской революции. Лавренев к этому времени был уже автором нескольких пьес, в том числе романтической мелодрамы «Мятеж» (1925) о гражданской войне в Туркестане и исторической драмы «Кинжал» (1925) о декабристах. Так что обращение к нему театра было хотя и неожиданно, но не случайно. «У меня мелькнула мысль, — вспоминал впоследствии Лавренев,— что... история и роль «Авроры» в Октябрьском перевороте является одной из самых интересных тем. Я послал письмо в Москву с предложением такой темы: «Флот перед Октябрем...»

Таково было возникновение замысла «Разлома». Приступая к работе над пьесой, Лавренев встал перед выбором: «написать ли историческую хронику или же попытаться написать пьесу обобщенного порядка, в которой не было бы слишком большой связанности определенными фактами и событиями». Вся сложившаяся к этому времени поэтика Лавренева склоняла его к выбору формы, в которой драматург был бы свободным творцом сюжета и характеров. Легендарная «Аврора» была прозрачно переименована в «Зарю», к известным фактам о переходе революционного корабля в ночь на 25 октября 1917 года к Николаевскому мосту была присоединена история офицерского заговора, имевшего место во флоте уже в 1919 году.

Две темы, глубоко и искренне волновавшие Лавренева, органично переплетаются в пьесе: участие флота в революции и снова взаимоотношения интеллигенции и революции.

В «Разломе» есть нечто общее с пьесами Горького. В уютных мещанских домиках, в комфортабельных буржуазных гостиных, на террасах богатых дач собираются разные люди, пьют чай и говорят о всевозможных предметах, только говорят, но уже в этих разговорах ясно обозначается тот неизбежный раз-

лом, который надвигается на эти дома, дачи, гостиные, на этих людей, семьи, на всю страну. И как буревестник грядущих событий, предвидя их, ускоряя их, приветствуя, входит сюда дерзкий и твердый молодой человек — необычная, пугающая фигура в этом уютном мирке — Синцов во «Врагах», Нил в «Мещанах»...

Так же входит председатель судового комитета революционной «Зари» Годун в гостиную капитана Берсенева, где в тревоге тоскует верная жена капитана, пытается честно разобраться в событиях старшая его дочь Татьяна, по-прежнему легкомысленна младшая дочь Ксения, готовит офицерский заговор муж Татьяны. Но уже не в грядущем завтра, а прямо здесь, за окнами, звучат выстрелы, которые опрокинут весь этот мир. Кто из присутствующих в гостиной отважно поплывет в будущее вместе с «Зарей», а кто попытается любой ценой, даже ценой жизни, сохранить неправедный уют искусственного существования?

Драматичен разлом в душе капитана «Зари» Берсенева. Совесть русского интеллигента, сочувствие народу, чувство справедливости — все эти качества его души зовут капитана на сторону матросов. Но сословные предрассудки, кастовые представления об офицерской чести, отвращение офицера и военного моряка к беспорядку и анархии сдерживают его порыв. Только заговор офицеров во главе с его зятем заставляет капитана окончательно выбрать свою судьбу: гибнут старые представления о чести, порядке, гуманности. Нет для Берсенева иного пути, чем путь его родного корабля. Под красным флагом, поднятым по приказу Годуна на «Заре», капитан вместе со своими матросами идет на штурм Зимнего. Так решается вопрос о взаимоотношениях интеллигенции и народа в пьесе, написанной к десятой годовщине Октября.

Но если бы в пьесе Лавренева был показан лишь разлом в семье Берсеневых, в душах интеллигентов, вряд ли резонанс ее был больше тонкого, умного, но все-таки камерного, по сравнению с «Разломом», «Седьмого спутника».

Драма в семье Берсеневых туго и прочно переплетается со сценами на корабле, где матросская масса живет напряженной жизнью революции. И эти обязательные по внутренней структуре пьесы массовые сцены — особенная черта уже советской драматургии, советской литературы. Они не исторический фон для событий в доме капитана, они составляют с ним одно целое, показывая глубину великого разлома, который идет по всей стране и лишь краем своим захватывает дом Берсеневых. Каждый эпизод и каждая фигура на корабле имеют свою задачу в по-

казе сложной диалектики развивающейся и крепнущей революции.

«Нужно было показать матросскую массу такою, какою она была перед Октябрем, — вспоминал Лавренев о работе над «Разломом».— Нужно было показать, какими чаяниями и надеждами она жила... Ведь матросская среда не была однородна по своему составу, и представление, которое вынесли бежавшие тогда из Петербурга «демократы»— будто все матросы насквозь большевики,— было далеко не правильно, потому что в матросской среде тогда было много элементов чрезвычайно шатких и часто враждебных, державших сторону офицерства до последнего момента». Поэтому есть в пьесе фигуры и матроса-анархиста, и преданного старому режиму боцмана Швача. Они дали Лавреневу возможность показать в борьбе развитие революционной массы народа от прошлой покорности ко вчерашнему стихийному протесту и затем к сегодняшней сознательной революционной дисциплине.

Революционный дух матросской массы олицетворяет в пьесе Годун. Он вовсе не застыл, как плакатный персонаж, в своей твердокаменной решительности, он — живой человек своего времени. И не только потому, что речь его щедро расцвечена богатым запасом «матросских словечек», жадно собранных когда-то писателем во время гражданской войны в заветную, чудом сохранившуюся записную книжечку. Годун живой потому, что напряженно решает свою внутреннюю задачу, поставленную революцией перед человеком, выдвинутым народом в ряды ее командиров: он должен подчинить строгой дисциплине вчерашних своих дружков, еще не привыкших исполнять его приказания; научиться твердо и мягко вести за собой сомневающуюся интеллигенцию; стать самому выше, умнее, образованнее себя вчерашнего, чтобы суметь выполнить все сложные, многообразные задачи, возложенные на него историей. Уроки английского языка и арифметики, которые он берет у Татьяны Берсеневой, вовсе не случайность для героя Лавренева, автора «Сорок первого», где желтоглазая малограмотная рыбачка так страстно мечтала научиться выражать в стихах свои чувства.

Десятки лет не сходит «Разлом» со сцен советских театров. Вместе с «Бронепоездом 14-69» Вс. Иванова, «Любовью Яровой» Тренева, «Виринеей» Сейфуллиной, «Барсуками» Леонова, «Штормом» Билль-Белоцерковского эта пьеса Лавренева стала классикой советской драматургии 20-х годов.

Видение героической «Авроры» у стен царского дворца не раз еще возникнет в творчестве Лавренева, не раз еще он обратится к незабываемым часам первого октябрьского штурма, но

все эти рассказы и очерки будут лишь вариациями на тему «Разлома» — наиболее громкого и ясного ответа на главные вопросы, которые поставила революция перед интеллигенцией.

Но есть область, где художнику труднее всего преодолеть противоречия эпохи, — это область творчества, интимный и мучительный для него мир, в котором все сложные вопросы времени десятикратно усложняются специфическими эстетическими проблемами.

Он, художник, готов служить своим пером и своей кистью революции, он всем сердцем верит, что интересы и идеалы народа должны стать содержанием искусства, он признает, что только жизнеутверждающее произведение, отражающее победный пафос эпохи, достойно выполняет свою функцию в новом обществе. Но почему же так много ремесленных полотен на выставках, так мало вдохновения в так называемых «производственных сюжетах», так бедны здесь краски и убоги формы? В чем дело? И что должен совершить он, честный мастер и гражданин своей страны, чтобы победить эту стихию поверхностного и постыдного приспособленчества бескрылых натуралистов и столь же бесплодной игры в «новаторство ради одного новаторства»? Так думает Кудрин, герой повести «Гравюра на дереве», признанной критикой одним из самых интересных и полемических произведений Б. Лавренева.

Повесть была написана в 1928 году. Ею Лавренев принял участие в том остром споре о природе творчества и назначении художника, который вели между собой многочисленные борющиеся литературные группы. Лавренев не принадлежал ни к одной из этих групп, но следы различных эстетических позиций того времени легко можно обнаружить в его повести.

Если же отбросить полемические наслоения разных и часто противоречащих друг другу теорий и посмотреть на повесть сегодня, то позицию Лавренева можно свести к защите подлинного искусства как от вульгарно-социологических требований, так и от чисто формалистических изысков.

Лавренев отстаивает право художника на искренность, на мастерство, он в этот момент решительно отстаивает традиции классического русского искусства, не видя без них будущего; он утверждает возможность и необходимость сочетания этих традиций с новым революционным содержанием.

Кудрину чужды какие-либо разногласия со своей эпохой. Он, коммунист, директор крупного треста, чувствует себя активным и ответственным строителем нового общества. Но, кроме

подпольной работы, революционной эмиграции, гражданской войны, есть у Кудрина и другое прошлое: в молодости он был талантливым художником. Вот почему так вопрошающе сравнивает он бездарные картины, «в которых ему виделось поспешное лакейское желание наскоро услужить новому хозяину», с талантливой гравюрой неизвестного художника, изображающей одну из сцен в «Белых ночах» Достоевского. «Чужое искусство. Не наше. Тоска и безнадежность уходящего класса, предчувствие конца. Но какая сила, какая сила! И с каким пафосом они умеют передать свою обреченность, и как мы беспомощны пока в попытках передать нашу нарождающуюся силу и бодрость! Почему?» — спрашивает себя Кудрин, стоя перед горестным шедевром старого опустившегося неудачника.

Ответ, который находит Кудрин, составляет дальнейший сюжет повести. Трагическое или жизнеутверждающее произведение искусства только тогда будет подлинным, когда художник со всей силой непосредственного переживания вложит в него свои убеждения и чувства. Что, казалось бы, можно возразить против истины, заново открытой Кудриным? И все-таки ответ, данный повестью в целом, очень противоречив. Прямые выводы Кудрина покажутся нам сегодня очень узкими, они отдают как раз теми вульгаризаторскими идеями, против которых, казалось бы, направлена повесть. Ведь, по мысли Кудрина, вся беда в том, что искусством занимаются люди, классово чуждые революции, а потому неспособные передать ее жизнеутверждающую победительную силу.

Современный читатель не может не заметить печати преходящих идей на выводах Кудрина и искусственной сконструированности «Гравюры на дереве» там, где сюжет прямо подчинен этим идеям. На примере Лавренева, потомственного интеллигента, прошедшего школу гражданской войны, мы видели, что его дар художника ярче всего раскрылся как раз в утверждении красоты и романтики революционного героизма. Однако герой «Гравюры на дереве» убежден, что только художник, вышедший из рабочего класса, может создать полотна, нужные эпохе. Именно это убеждение дает Кудрину силы оставить хозяйственную работу и заново вступить на тернистый путь художника.

Заметно желание автора вылепить образ главного героя по определенной программе, сделать его прежде всего выразителем системы определенных взглядов. И умозрительное, волевое решение Кудрина вернуться к искусству, оставленному им много лет назад, решение, эмоционально не обоснованное непосредственной тягой к творчеству, кажется скорее стремлением автора подтвердить идею необходимости советскому искусству худож-

ников, подобранных по классовому принципу, чем психологически обоснованным, необходимым следствием естественного развития характера Кудрина.

Некоторая нарочитость чувствуется и в образе жены Кудрина, Елены. Она щедро наделена автором всеми качествами, на почве которых процветали ненавистные Кудрину халтурщики от искусства: бескультурьем и невежественностью, возведенными в торжествующий принцип; ханжеством, прикрытым демагогической фразой; тупостью, выдаваемой за правоверную ортодоксальность. Елена представлена только как неподвижное препятствие для художественного творчества, то есть с точки зрения все-таки прикладной и методом в основном публицистическим. Она остается в нашей памяти не характером, а просто аргументом в споре, не лишенным злой меткости, в споре, защищающем подлинное искусство от приспособленческих подделок под него.

Но есть в «Гравюре на дереве» образ, который лучше всех тезисов и аргументов действительно средствами искусства обороняет подлинную красоту и культуру от нигилизма невежества. Это поэтический образ самого Ленинграда, дыхание которого все время присутствует в повести, насыщая ее атмосферой преклонения перед прекрасным. В любви Лавренева к Ленинграду слились его патриотическая гордость славной историей предков и его взволнованные воспоминания о первых часах рождения революции, чувство художника, завороженного строгими формами архитектуры города, блеклыми тонами его северного неба и царственной реки, и трепет романтика, ощущающего близость моря, наконец, признательность русского писателя традициям великой литературы.

Поистине неиссякаема творческая трудоспособность Лавренева в молодые годы! Едва закончена им повесть о художнике, как он обращается к новой для него теме — героическому покорению Арктики. Под впечатлением крушения дирижабля Нобиле и гибели Амундсена в том же 1928 году, когда произошло это событие, Лавренев пишет повесть «Белая гибель». Здесь снова нашли выражение характерные для писателя мотивы: борьба человека один на один со стихией, подвиг, за который герой платит жизнью. В «Белой гибели» звучит и свойственный Лавреневу протест против убогости буржуазной психологии, лишающей гуманистического смысла даже самый мужественный поступок. Но протест этот в повести приобретал не свойственный ни ранее, ни позднее для Лавренева оттенок трагической безысходности. Романтическая фигура Победителя, в которой легко угадываются

черты знаменитого Амундсена, с самого начала отмечена роковой устремленностью к гибели. Критика с удивлением отмечала, что в «Белой гибели» нет ни слова о мужестве советских моряков и летчиков с ледокола «Красин», которые сделали то, что не удалось самому Амундсену: сняли с льдины экспедицию Нобиле. Но писатель, целиком завися от впечатлений действительности, в то же время подчиняет их своим настроениям и внутренним задачам: мир для Лавренева был скован трагическим холодом «Белой гибели».

События 30-х годов резко изменили настроение писателя.

Лавреневу был созвучен пафос созидания, коллективного творчества, острой борьбы, который захватил советское общество в годы первых пятилеток.

Возвращаясь к теме Арктики в середине 30-х годов, Лавренев как бы исправлял и дополнял самого себя, заново переосмыслив впечатления прошлых лет.

Он снова пишет о победителях севера, но, в отличие от «Белой гибели», повесть «Большая земля» (1934) переполнена оптимизмом эпохи первых пятилеток, пафосом радостной самоотверженности, чувством интернациональной солидарности, ощущением простоты и ясности человеческих отношений и достижимости любой цели. Эти победительные черты времени воплощает в себе герой повести, молодой летчик Мочалов. Изучая материалы челюскинской эпопеи, широко публиковавшиеся в течение всего 1934 года, Лавренев соединил в Мочалове разные качества летчиков, спасателей челюскинцев. В результате получилось красочное повествование о молодости страны, об отваге и победах ее сыновей, о празднике человеческой солидарности. В этих чертах повести Лавренева выразились характерные черты времени и его литературы.

Но уже в «Большой земле» ясно видны некоторые опасности, ждавшие советскую литературу в ее дальнейшем развитии. На примере этой повести видно, как трудно для искусства воплощение положительных идеалов, как легко здесь сбиться на поверхностную иллюстративность, публицистику и упрощенчество. Не только мы, современные читатели, которые знают и помнят, как противоречив был путь нашей литературы в 30-е годы, не можем не видеть искусственную облегченность в обрисовке героев «Большой земли», но уже критика того времени, когда была только что опубликована повесть, отмечала излишнее «бодрячество», публицистическую прямолинейность и назидательность в новом произведении Лавренева.

В незаконченных отрывках и в тех небольших рассказах, которые пишет в 30-е годы Лавренев, присутствуют эти же черты. Рассказы чаще всего строятся на незначительных происшествиях

из жизни молодых красноармейцев, хороших, веселых ребят, старательно преодолевающих свои небольшие недостатки и старательно овладевающих военной профессией («Белый. верблюд», «Воображаемая линия», «Счастье Леши Ширикова» и другие). На основе подобных благоразумных и поучительных случаев острому таланту Лавренева невозможно было развернуться, писатель не видел или не хотел видеть в современности драматизма, за которым стоит жизнь или смерть героя, а без этого драматизма дар Лавренева уже не так блистателен, как прежде.

Участие Лавренева в прошедших битвах, знание жизни армии и флота, предчувствие грядущих бурь, поиски острого драматического сюжета — все это укрепляет интерес писателя к военно-патриотической теме. Этот интерес был знамением времени. В середине 30-х годов не только у Лавренева, но и в произведениях Н. Тихонова, Вс. Вишневского, Л. Соболева романтика прошлых битв предсказывала битвы будущие.

Роман Лавренева «Синее и белое» (1933) и его повесть «Стратегическая ошибка» (1934) совершенно различны по стилю и в то же время как бы дополняют друг друга, рисуя с разных точек зрения и в разных аспектах события лета 1914 года. В «Синем и белом» они даны в восприятии неискушенного, наивного молодого человека. В «Стратегической ошибке» эти же события поверяются сухим беспощадным анализом историка и политика. Соответственно щедрая живопись и пластика романа сменяются строгим языком документа в повести. Только оба произведения вместе дают представление о диапазоне Лавренева, легко сочетающего мастерство живописца с работой исследователя-публициста.

Роман «Синее и белое» начинается с тщательного любовного описания последних мирных дней юного гардемарина Алябьева. В романе приводятся резкие психологические и живописные контрасты: белый южный город, одуряющий запах белых акаций, белый китель молодого моряка, юная любовь с ее надеждами — и напряжение и тревога первых дней войны, напряжение и тревога даже в ослепительной синеве моря, в синих блузах непонятных Алябьеву матросов.

Символика цвета имеет в романе еще один смысл, кроме непосредственно живописного. Синее и белое — это цвета андреевского флага, развевающегося над царским флотом и олицетворяющего кастовую враждебность на кораблях, трагическую разобщенность матросов и офицеров перед лицом внешнего врага, классовые противоречия зреющей революции. Надо сказать, что как раз социальная линия романа — наиболее слабая его сторона, выпол-

пенная средствами почти одной публицистики. К тому же эта линия оказалась лишь намеченной: роман оборван на первых месяцах войны и оставляет впечатление большого фрагмента неосуществленной эпопеи.

И все-таки те особенности его, которые некогда, может быть, и воспринимались как недостатки, а именно обилие подробностей мирного быта и первых дней войны, скрупулезная выписанность особенностей службы на корабле придают роману Лавренева качества исторического свидетельства, сделанного рукой уверенного живописца и дополненного изысканиями историка, изучившего все обстоятельства начала мировой войны и обстановку в русском флоте. Последнее — новая черта в творчестве Лавренева, отвечающая задачам и стилю времени, когда очерк становится заметной формой литературы, а документ — ее почетным орудием.

Тщательно изучая материалы о начале первой мировой войны при работе над «Синим и белым», Лавренев напал на интереснейший факт, именуемый в английской военной истории «стратегической ошибкой». Находясь летом 1914 года накануне объявления войны в водах Средиземного моря, английский флот по приказу своего командования пропустил немецкие крейсеры «Гебен» и «Бреслау» к черноморским проливам, что сыграло роковую роль в дальнейшем ходе войны, особенно для русского флота. Герои «Синего и белого» становятся жертвой преступной «игры» английского адмиралтейства, не подозревая о причинах своих бед.

В повести «Стратегическая ошибка» Лавренев ведет политическое расследование этих причин, показывая истинный смысл начальных событий войны, оплаченных кровью русских моряков. Имитируя различные документы — военные донесения, частные письма, приказы, газетные сообщения,— Лавренев нарисовал пеструю картину человеческих судеб и политических страстей накануне первой мировой войны. Из этой картины становится очевидным истинный страшный смысл империалистической политики, о которой с такой легкой озорной иронией писал Лавренев в «Крушении республики Итль».

И Лавренев, некогда упивавшийся яркостью пестрых метафор, теперь нашел своеобразную красоту в сухом слоге документа, проявив дар искусного стилизатора и темпераментного публициста.

В 1937 году, когда мир был полон сочувствия к борьбе республиканской Испании с фашизмом, советские люди не только сражались в Мадриде и Барселоне, но и писали картины, песни,

книги о борющейся Испании. И, повинуясь свойственному ему дару сопереживания всему героическому, действенному, Лавренев создает повесть «Чертеж Архимеда» (1937) и пьесу «Начало пути» (1938). Неподдельный драматизм битвы в Испании, драматизм истории оживляет все старые любимые темы писателя, сплетая их в один искусный сюжетный узел.

«Чертеж Архимеда» снова показывает нам интеллигента, художника, поставленного национальной революцией перед дилеммой: с народом или против него. И снова мы видим знакомое по отечественной истории крушение наивных иллюзий, неудачных попыток отгородиться от жизни привилегиями таланта и высокой духовности. Снова такая очевидная и такая трудная истина о единстве пути художника и пути его народа доказывается ценой трагической гибели героя, как это обычно бывает в книгах Лавренева. А под пером живописца оживают манящая пестрота и разнообразие вещного мира Испании с его чудесами старинной архитектуры, сверканием драгоценного стекла, жаркими бликами солнца на старых камнях, красотой женщины и красотой боя.

Но даже солнце такой романтической, далекой Испании не может сравниться для Лавренева с пламенем родных херсонских степей, а красота Атлантического океана с красотой не сравнимого для него ни с чем на свете Черного моря. В самой старательности, выписанности каждой зрительной детали, в мастерстве построения сюжета, в самом раскрытии темы нет непосредственности, органичности лучших произведений Лавренева.

Однако повесть в свое время имела большой общественный резонанс. Проникнутая антифашистским пафосом защиты культуры и человеческого достоинства, она написана опытной рукой зрелого мастера — публициста, агитатора и живописца одновременно.

Годы Великой Отечественной войны Лавренев запечатлел во множестве очерков, статей, рассказов и пьес о мужестве и героизме советских людей, об уверенности их в грядущей победе. Действие этих повествований переносило читателя на финские снега, на свинцовые воды Балтики и даже на немецкие виллы, в подвалах которых разыгрывались последние акты кровавой драмы войны. Но больше всего военные рассказы Лавренева, так же как его первые рассказы о гражданской войне, ассоциируются в нашем представлении с Черным морем, с камнями Севастополя, с защитой Крыма в 1941—1944 годах. И мужественный, не унывающий перед лицом смерти моряк-черноморец — любимый герой писателя.

В рассказе «Возвращение Одиссея» он рисуется в облике юноши-офицера, пронесшего через все превратности войны любовь к своей спасительнице, девочке-партизанке. В «Чайной розе» он выступает в облике балагурящего балаклавского снайпера-сердцееда. Рассказ «В канун праздника» интересен колоритной фигурой толстого флотского повара-украинца, героическим поступком доказавшего право оставить свою мирную профессию, чтобы сражаться с оружием в руках. Примерами мужества, веселой шуткой, любовью к родному краю Лавренев поддерживал дух советских людей, внушал надежду, звал к подвигу.

В 1943 году Лавренев пишет героико-романтическую пьесу «Песнь о черноморцах». Противник силен, по любой ценой, любыми жертвами победа будет достигнута, и залог тому — несгибаемый дух защитников родины, их вера в будущее: «Пройдут годы! Встанет прекрасная родина наша в новом блеске и силе! Опять поплывут по Черному морю корабли! И счастливые люди еще издалека будут видеть на этой скале новый памятник...» Победа рисуется гибнущим морякам в обобщенно-романтических образах, как символ жизни, как торжество справедливости и всеобщего счастья.

Пьеса Лавренева «За тех, кто в море» (1945) стала большим событием советской драматургии. Для современных читателей, имеющих возможность взглянуть на творчество Лавренева в целом и сопоставить его с последующими явлениями советской литературы, пьеса эта особенно интересна как произведение переходного периода между войной и миром.

Для героев пьесы «За тех, кто в море» победа — дело решенное. И хотя еще идет война, автора волнует, какими войдут его герои в мирное время.

Одно и то же необходимое для родины дело делают мужественные, способные морские командиры — блестящий Боровский и скромный Максимов. Лавренев всегда был неравнодушен к блеску парадного мундира, к бравой военной выправке, к щеголеватой подтянутости моряка-офицера. Почему же здесь он так тревожно предупреждает читателя и зрителя о какой-то опасности, таящейся в заботе Боровского о своей славе и чести? Разве имеет такое уж решающее значение внутреннее побуждение к подвигу, если он нужен людям, разве за побуждения награждает родина, а не за поступок? Лавренев своей пьесой предупреждал, что нравственное побуждение к действию очень важно, что рано или поздно оно непременно скажется в поступке, и если человек действует только или прежде всего во имя карьеры и личной славы, его стремление непременно обратится во вред

другим людям. На материале войны истина эта доказывалась особенно наглядно, ибо здесь, среди взрывов и выстрелов, античеловечность карьеризма оплачивалась кровью товарищей.

Лавренев зорко увидел некоторые социально-психологические явления, порожденные войной с ее правом щедро благодарить тех, кто ей послужил, и выделять тех, кто прославился. Но вопрос о карьеризме и честной самоотдаче как двух враждебных жизненных позициях уже выходил из границ чисто военных обстоятельств. Лавренев чутко уловил их серьезность для будущего и тем самым обеспечил длительное внимание зрителя к своей пьесе.

Несмотря на свою актуальность и колоритность, пьеса обладает и рядом недостатков, характерных, впрочем, вообще для драматургии того времени. Ведь война ставила перед писателями свои особенные задачи: как никогда, они обязаны были учить добру, предупреждать зло и даже утешать. Кажется излишней, например, дидактичность, с которой проводится основная идея пьесы. Противопоставление добродетельного Максимова грешному Боровскому очень прямолинейно, а награда скромного Максимова всеми теми почестями, о которых мечтал посрамленный карьерист, выглядит наивно.

И все-таки положительные качества пьесы были сильнее ее недостатков, и поэтому постановка «За тех, кто в море» принесла Лавреневу такой успех, какого он не имел со времени «Разлома».

Начиная с середины 40-х годов Лавренев работает преимущественно как драматург. Часто выступает он и как публицист на страницах газет и журналов — его перо, как всегда, остро и злободневно, он точно знает, что волнует его современников. Интересы писателя широки: автора «Крушения республики Итль», «Стратегической ошибки» и «Чертежа Архимеда» продолжают живо занимать проблемы международной политики. В то же время опытного художника влекут вопросы теории и истории искусства.

Отражением интереса писателя к политическому климату в мире явилась пьеса «Голос Америки» (1949), которую в свое время ставили театры Москвы, Ленинграда и других городов страны. Обнажение нравственной сущности империалистической политики и ненависть к фашизму в любом его виде — эти темы органично связывают «Голос Америки» со всем предыдущим творчеством Лавренева. Пьеса проникнута большой благожелательностью к простым людям Америки. В то же время пьеса написана с тем особенно острым ощущением опасности для самого существования простых людей мира, которое присуще уже

только нашему времени. Вместе с верой писателя в человеческую сопротивляемость силам мировой реакции это ощущение выводит пьесу за границу только «злобы дня» конца 40-х — начала 50-х годов.

Последней страницей художественного творчества писателя явилась драма «Лермонтов». Пьеса эта — результат давней и глубокой тяги драматурга к изучению русской истории и истории русского искусства. Написанию «Лермонтова» предшествовала большая подготовка. «Я работал над «Лермонтовым» в течение пятнадцати лет, работал не как писатель пока еще, а как исследователь», — рассказывал Лавренев.

Напомним, что еще в романтической пьесе середины 20-х годов «Кинжал» Лавренев изобразил будущих декабристов. Тогда же к столетнему юбилею декабристов он написал сценарий «Южное общество». А в новелле 1930-го года «Лотерея мыса Адлер» рассказал о смерти опального декабриста, знаменитого писателя Бестужева-Марлинского.

Время славы русского оружия, благородного движения декабристов сменилось в изображении Лавренева эпохой мрачной реакции и безвременья, жертвами которой стали Пушкин и Лермонтов. Скорбью молодого Лермонтова о погибшем Пушкине открывается, роковым выстрелом Мартынова заключается пьеса, в центральных сценах которой выступают зловещие фигуры Николая I, Бенкендорфа, Дубельта — палачей русской поэзии.

В последние годы жизни интерес писателя к русской истории укрепляется: он ищет в ней подтверждения величия путей своей родины и правоты своих взглядов умудренного опытом художника. После 20-х и 30-х годов прошлого столетия он переходит к его 40-м годам и собирает материал к пьесе о Герцене. В судьбе своего нового героя он видит как бы воплощение преждевременно оборвавшегося пути Лермонтова. Лавренев сказал о Лермонтове: «Если бы он прожил еще десять лет, мы бы имели его в рядах великолепной когорты демократов».

Работает писатель и над романом о моряках Великой Отечественной войны, о которых у него «накопилось огромное количество материала». Одновременно писатель перечитывает, поправляет, переделывает и даже иногда заново переписывает старые произведения. Особенно большим исправлениям в 1957—1958 годах подверглась «Гравюра на дереве». И, конечно, нельзя не заметить прямой связи между направлением этой работы над повестью конца 20-х годов и теми размышлениями об искусстве, о назначении художника и путях советской литературы, которые занимают писателя в конце 50-х годов и находят выражение в его статьях о художественных выставках, в рецен-

зиях на различные книги, в докладах о современной драматургии, в беседах с литературной и театральной молодежью.

В 1955 году писатель, рассказывая о создании «Разлома», утверждал: «Я с самого начала своей писательской, особенно драматургической деятельности, как говорится, сражался до последней капли крови за утверждение реализма в нашей литературе». Может быть, по отношению ко всему творчеству Лавренева эти слова и не совсем точны, ибо мы помним и романтическое начало его литературного пути, и его хотя и редкие, но все-таки имевшие место увлечения условностью. Однако это высказывание, как и целый ряд аналогичных, интересно в качестве теоретического итога его сорокалетней литературной работы: этим итогом было признание реализма как высшей ступени художественного развития.

Писатель всегда был со своими современниками, разделял с ними их идеалы и вкусы, их увлечения и заблуждения, их ошибки и взлеты, и прошел в своем творчестве весь путь развития советской прозы, все этапы становления социалистического реализма.

Он отдал дань и увлечению цветистой орнаментальностью в начале 20-х годов, и ироническому бытописанию в период нэпа, и «литературе факта» в 30-е годы. Но все типичные явления времени окрасились в творчестве Лавренева своеобразными, очень яркими и мужественными тонами, свойственными его живописной кисти. Через разнообразие жанров, тем, стиля, открывающих читателю все новые и новые возможности творческого дара писателя, звучит в книгах Лавренева его особенная мелодия: утверждение романтики новой действительности, воспевание героической бескомпромиссности революции и ее людей, пожизненная детская влюбленность писателя в беспредельную синеву моря, его упоение человеком сильных страстей и активного отношения к жизни.

Е. Старикова

КОРОТКАЯ ПОВЕСТЬ О СЕБЕ

Над крутым обрывом правого берега Днепра встают полуразрушенные, густо заросшие дерезой и бурьяном валы старой крепости, построенной в конце XVIII века Суворовым. Когда смотришь с валов на ртутный блеск медленно текущей к морю водной глади, на широкое пространство плавень, на густые заросли камыша, на седые вербы над ериками, — невольно вспоминаешь незабвенные строки: «Чуден Днепр при тихой погоде!»

Возле крепости разлегся по берегу уютный, ласковый город. Обилием зелени он похож на парк, и летом, когда цветут акации, улицы засыпаны душистой шуршащей пеной опавших лепестков, по которым идешь, как по ковру. Имя города — Херсон.

В этом городе я родился 17 июля 1891 года. Родители мои были педагогами и всю жизнь с гордостью несли скромное, но почетное звание просветителей народа — народных учителей.

Предыстория семьи не лишена занимательности. По материнской линии я происхожу из старой казачьей семьи Есауловых, служивших под началом Потемкина и Суворова, участников многих походов, осады и штурма турецкой твердыни Очакова. Моя бабка была единственной наследницей огромного богатства — трех тысяч десятин великолепного чернозема с селом Меловым, в шестидесяти верстах выше Херсона по Днепру. Возле завидной невесты вертелся табун женихов. Но всех их затмил прибывший в Херсон в 1856 году с севастопольских бас-

тионов романтический герой, артиллерийский поручик Ксаверий Цеханович. О нем упоминает во втором томе «Крымской войны» академик Тарле при описании набега англо-французов на Керчь.

Интересный кавалер пленил сердце шестнадцатилетней Дашеньки Есауловой. Родители дали согласие, и Дашеньку обвенчали с лихим поручиком. Герой оказался героем во всех отношениях. Пользуясь влюбленным доверием юной супруги, ничего не смыслившей в житейской прозе, он немедля убедил ее перевести все состояние на его имя, зажил широко и шумно и, два года спустя, сев за игорный стол под крепким градусом, в одну ночь проиграл атаману чумацких обозов Агаркову триста тысяч, ровно столько, сколько стоило по тогдашним ценам бабкино имение. После этого подвига герой скрылся в неизвестном направлении, и след его затерялся в российских просторах. По смутным слухам, он окончательно спился, босячил в Астрахани и кончил буйную жизнь в ночлежке.

Оставшись после бегства героя без гроша, бывшая богатая помещица поступила экономкой в дом предводителя дворянства Журавского и, перебиваясь с хлеба на квас, растила дочь Машеньку.

В десятилетнем возрасте Машеньку отвезли в Полтавский институт благородных девиц. Окончив несложный курс наук в этом инкубаторе «образованных невест», мать получила место учительницы начальной школы в захолустном местечке Бериславе, где и встретилась с таким же учителем, своим будущим мужем.

Биография отца также не лишена интереса. В сущности говоря, его происхождение и даже его подлинная фамилия остались нерешенной загадкой. В 1865 году в санях на почтовом тракте Херсон — Николаев были обнаружены трупы мужчины и женщины. По вывернутым сундукам и мешкам, по вырванным с мясом карманам было ясно, что поработали грабители. Никаких документов не оказалось, но в тех же санях под овчинным тулупом обнаружили троих полузамерзших ребят в возрасте от трех до шести лет. Детей привезли в Херсон, и там их разобрали по рукам добрые люди. Моего отца Андрея с сестрой взял чиновник херсонской таможни Сергеев. Дядю Владимира сперва приютил пекарь-турок Дуван-оглы, и дядя даже некоторое время носил турецкую фамилию, пока Сергеев не взял и его к себе. Приемный

отец оказался хорошим, сердечным человеком и, несмотря на то что сам с трудом сводил концы с концами, довел старшего из приемышей, моего отца, до учительского института. На остальных не хватило средств, да и помешала смерть. Дядя Владимир еще в мальчишеском возрасте встал к станку в кустарной чугунолитейной мастерской Гуревича, сестру же удалось на возрасте выдать за помощника управляющего имением «великого князя» Михаила Николаевича — Литвиненко.

В молодости все трое были рослые красивые брюнеты, смуглые, с несколько восточным типом лица и удивительно яркими синими глазами.

После женитьбы отец и мать переехали в родной Херсон, и в год моего появления на свет отец был помощником директора сиротского дома херсонского земства.

Был он талантливым, умным, честным русским человеком, хорошо играл на скрипке, много знал, но в жизни не очень преуспел из-за чрезмерной скромности и подозрительной благонадежности. В конце концов, уже в годы моего студенчества, ему пришлось оставить службу после резкого конфликта с членом земской управы, сиятельным кретином, князем Аргутинским-Долгоруким.

С первых дней и до восемнадцати лет я рос в окружении разбитных и разбойных ребят, питомцев сиротского дома. Если бы в то время мне понадобилось выправить паспорт, в графе особых примет было бы написано: «Постоянно вспухший нос и по лицу синяки и царапины». Это были следы ежедневных кулачных поединков в борьбе за прочное место в суровом и подчас жестоком мире детей, лишенных семейного крова и родительской ласки. Думаю, что отцу удавалось заслужить доверие и уважение своих буйных воспитанников только потому, что он сам прошел тяжелую школу сиротства.

Но в этом странном братстве вырабатывались закаленные и стойкие характеры, не отступающие перед трудностями и опасностями. Я многим обязан в последующем моему пребыванию в этой неугомонной и непокорной среде.

С той поры как я начал сознательно воспринимать окружающее, мою душу властно заполонили две страсти: книги и театр. По счастью, я имел широкие возможности отдаться этим страстям.

Моим крестным отцом был незаурядный и очень культурный человек, в течение долгих лет бессменный городской голова Херсона — Михаил Евгеньевич Беккер, бывший артиллерист и сослуживец Льва Толстого по Севастополю.

При его широкой поддержке в городе возникла необычная для провинции тех времен превосходная общественная библиотека с богатейшим выбором книг. Библиотеку возглавила уважаемая всем городом энтузиастка библиотечного дела В. К. Шейнфинкель. Наряду с разрешенными властями книгами Шейнфинкель создала «секретный фонд», из которого книги выдавались только особо проверенным читателям. Благодаря крестному я был своим человеком в библиотеке, получив право бесплатного абонемента, без ограничения количества книг. И я читал запоем все, что попадало под руку, от переводных бульварных романов до малодоступных мальчишескому пониманию научных трудов. Как от такого чтения не вывихнулись мозги — до сих пор понять не могу. Особенно увлекали меня книги об открытиях и путешествиях, главным образом морских. В девять лет я назубок знал географию планеты и мог указать без ошибки любой пункт на слепой карте.

Море я полюбил на всю жизнь с той минуты, когда оно открылось глазам восхищенного пятилетнего мальчика с высоты Байдарских ворот в могучей вольной своей красе и необъятном просторе. Мать никак не могла увести меня от обрыва, над которым я застыл, околдованный неотразимым обаянием синей бездны.

С театром мне тоже повезло. В те времена ученикам средних учебных заведений посещение театров разрешалось очень редко. Только на детские утренники да на некоторые сугубо патриотические пьесы и немногие вещи классического репертуара разрешалось продавать «ученические» билеты. Но и классический репертуар находился под подозрением.

«Макбет» и «Гамлет» были под запретом, поскольку «могли оказать развращающее влияние на умы юношества открытым показом сцен покушений и убийств царственных особ и соблазнительными любовными картинами».

Но у крестного, по положению городского головы, была своя ложа у самой сцены. Мне было разрешено поль-

зоваться ею когда захочется. Я забирался в ложу за полчаса до начала спектакля, и, скрытый бархатной портьерой от бдительных очей классных надзирателей, замирая, смотрел страшные мелодрамы, вроде «Убийство Коверлей», с демоническими страстями, роковыми треугольниками, бешеной ревностью, револьверными выстрелами и отравленными кинжалами. В антрактах проскальзывал за кулисы, знакомился с кумирами зрительного зала и хвастал своей «дружбой» с ними.

В херсонском театре всегда были доброкачественные, с крепким актерским составом драматические труппы. Особенно в сезонах 1903—1905 годов, когда в театре работало «Товарищество драматических актеров». Тогда я впервые увидел молодого Москвина в роли царя Федора, Мейерхольда в «Бранде» и в «Смерти Ивана Грозного» (царь Иван) и Кошеверова в «Борисе Годунове». Близость с театром в детские и юношеские годы очень пригодилась впоследствии в драматургической работе.

До поступления в гимназию моим начальным образованием занимался отец. Наряду с грамотой и арифметикой он стал планомерно обучать меня физическому труду. Сам он был отличным умельцем-токарем и столяром. Большая часть нашей мебели была сделана его руками. На веранде у нас стояли верстак и токарный станок, и, обучая меня приемам ремесла, отец говорил:

«Во-первых, запомни, что ручной труд — благородное дело, и не верь дураку, который скажет, что это «мужицкое», низкое занятие. Во-вторых, запомни, что в какое бы трудное положение ты ни попал в жизни, — зная ремесло, всегда найдешь заработок. И в-третьих, у тебя будет радостное сознание, что твои руки делают полезные вещи и ты не беспомощный хлюпик».

Я твердо запомнил добрые отцовские советы и, кроме столярного и токарного мастерства, овладел в дальнейшем специальностями электромонтера, слесаря и переплетчика. Я навсегда остался благодарен отцу за науку. Что бы ни случилось у меня в доме, мне не приходится звать варягов. С непорядками и авариями я справляюсь сам, и мне смешны люди, беспомощно опускающие руки, когда у них перегорит предохранительная пробка.

В 1901 году я стал гимназистом первого класса Херсонской первой мужской гимназии. В основном я вспоминаю ее добром. Среди наших педагогов были люди достойные, образованные, с любовью старавшиеся на-

грузить наши молодые головы знаниями. Среди них особенно выделялся талантливый преподаватель истории Николай Ананьевич Волянский.

Но были среди педагогов и человеческие отбросы, гнусная дрянь, жандармы и садисты по призванию. К счастью, таких было совсем немного.

Учился в гимназии я посредственно, хотя мог бы и отлично. Но пятерки меня не прельщали. До гимназии я столько перечитал, что ничего нового и увлекательного она мне дать не могла. А все свободное время занимал театр, и на приготовление уроков не оставалось часа.

Был у меня в гимназические годы настоящий сердечный друг, сын английского консула Володя Каруана. Дом Каруана был своего рода небольшим музеем с хорошими картинами и скульптурами, с разными древностями, с массой книг по искусству. Там я вошел в атмосферу мирового искусства, близко познакомился с его гениями и приобрел дополнительные знания по истории всемирной культуры и искусства. Но в первый же год мировой войны Володя уехал в Англию в школу летчиков и неожиданно, нелепо погиб от разразившейся эпидемии менингита.

При переходе из пятого в шестой класс я получил годовую двойку по алгебре, а следственно, и осеннюю переэкзаменовку. Отец печально просмотрел мою «четверть» и, покачав головой, сказал: «Будешь босяком наподобие деда!»

Это меня смертельно обидело. Я решил уйти из дома и решение это осуществил. Разными хитростями я умудрился уйти в заграничный рейс из Одессы на пароходе «Афон». В Александрии сошел с парохода в намерении поступить матросом на какой-нибудь корабль, идущий в Гонолулу. Но таких кораблей не было. Небольшую сумму денег я быстро проел на восточные сладости, с голода таскал бананы у торговок на рынке и, вероятно, кончил бы плохо, если бы судьба не послала мне спасителя в лице старого механика французского стимера, который устроил меня палубным юнгой. Я плавал два месяца, пока меня не сняли с палубы в Бриндизи два расфуфыренных, как индюки, итальянских карабинера, и с курьером консульства я был отправлен в Россию. История этого побега много лет спустя вошла в рассказ «Марина».

Но это плаванье разбередило мою любовь к морю, и я

решил обязательно стать моряком. Благополучно перейдя в седьмой класс, я уговорил родителей согласиться на мое поступление в морской корпус. Как раз недавно было отпраздновано пятидесятилетие обороны Севастополя, и в числе прочих льгот потомкам севастопольцев было дано право поступления в корпус в первую очередь, на казенный счет. Добыв послужной список моего «геройского» деда, я отправился в Петербург. Но там меня ждала беда. Я споткнулся на испытании зрения и был отведен, хотя блистательно провалившийся на том же испытании титулованный слепец князь Ширинский-Шихматов был беспрепятственно принят. Мне же пришлось несолоно хлебавши сесть снова за гимназическую парту. Но я не сдался. Достал все программы и учебники гардемаринских классов и с помощью штурмана дальнего плаванья, преподавателя Херсонского мореходного училища, одолел параллельно с гимназическими и морские науки, проплавав лето на учебной шхуне.

В 1909 году я поступил на юридический факультет Московского университета и благополучно окончил его в 1915 году. Счастливая мама уже видела меня в будущем «крупным общественным деятелем». К счастью, я им не стал. Шла мировая война, и, движимый не слишком продуманным патриотизмом, я сменил кодексы Юстиниана и Наполеона на таблицы артиллерийской стрельбы Сиаччи и других мастеров пушечного дела.

Время, проведенное на войне, стало для меня высшей жизненной академией. Там я впервые вошел в тесное соприкосновение с русским солдатом, с полным внутреннего благородства, теплым, сердечным, правдивым простым русским человеком, мучеником и страстотерпцем удушливого и неправедного строя царской России. Этот простой душевный человек в замызганной солдатской шинельке, подбитой ветром, в сапогах на картонной подошве, доблестно ходивший без снарядов и патронов в безнадежные атаки на вооруженную до зубов кайзеровскую машину, устилая поля боев тысячами бесполезно загубленных жизней, продаваемый и предаваемый прохвостами всех мастей, стал для меня лучшим учителем жизни и правды.

Февральскую революцию я встретил в Москве. Был комендантом штаба революционных войск московского гарнизона, а затем до Октября адъютантом коменданта Москвы, генерал-майора Голицынского. Милейший старик,

ученый профессор Академии Генштаба, один из немногих культурных генералов старой армии, он до того был подавлен вихрем событий, что каждый день спрашивал у своих зеленых офицериков: «Господа, ну а что же будет дальше? Объясните, пожалуйста!» Но, конечно, мы сами не очень годились в учителя.

Октябрь на некоторое время выбил меня из колеи. Собственно, не сам Октябрь, а то, что за ним последовало. Демобилизация армии при незаконченной войне, резкие эксцессы, порожденные накипевшей свинцовой ненавистью солдатской массы к любому носителю офицерских погон, немецкое наступление на Украину, Брестский мир, трагическая гибель Черноморского флота — все это показалось мне непоправимой катастрофой, окончательной гибелью России. Я не мог разобраться в политике большевиков, хотя она привлекала меня уже тем, что большевики не продавали и не собирались распродавать родину оптом и в розницу, наплевав на национальное достоинство, англо-французам, германо-американцам и прочей хищной сволочи, тянувшей лапы к народному достоянию и народной чести.

В растерянном душевном состоянии, с трудом и риском я пробрался в сентябре 1918 года в родной Херсон. В дороге услышал об убийстве Урицкого и покушении на Ленина. Индивидуальный террор казался мне всегда проявлением истерической глупости и недомыслия, и это известие очень взволновало меня. В 1917 году 4 июля мне удалось слышать коротенькую речь Владимира Ильича, сказанную им кронштадтским морякам с балкона дворца Кшесинской. Эта речь произвела на меня громадное впечатление силой внутренней убежденности, неотразимой точностью мысли, величием души и ума Ленина.

С полной откровенностью я рассказал отцу о своих сомнениях и колебаниях и спросил: «Что же мне делать, папа?»

Отец несколько минут сидел в задумчивости, пощипывая седеющую бородку, потом поднял уже поблекшие от времени синие глаза и произнес слова, которые определили мое поведение на всю жизнь:

«Видишь ли, сынок!.. Самое святое, что есть у человека, — это родина и народ. А народ всегда прав. И если тебе даже покажется, что твой народ сошел с ума и вслепую несется к пропасти, никогда не подымай руку против народа. Он умнее нас с тобой, умнее всякого.

У него глубинная народная мудрость, и он найдет выход даже на краю пропасти. Иди с народом и за народом до конца!.. А народ сейчас идет за большевиками. И, видно, другого пути у него сейчас быть не может!»

Я увидел в глазах отца слезы и крепко обнял старика. Весной я пустился в обратный путь в Москву. Недолго работал в Наркомпроде. В ноябре увидел на Красной площади первый парад новорожденной Красной Армии и понял: раз есть армия, значит — есть организация, государство, крепкая народная власть. Все пришло в ясность, и через месяц я уже был в рядах Красной Армии. Участвовал в боях на Украине и в Крыму. В июле 1919 года был ранен при ликвидации «бандитской империи» атамана Зеленого. Выздоровев, уехал на Туркфронт. По здоровью со строевой службы был переведен на политработу, был заместителем редактора фронтовой газеты и одновременно заведовал литературным отделом «Туркестанской правды».

Мне удалось в армии работать под руководством таких необыкновенно обаятельных и блестящих людей, как Николай Ильич Подвойский и Михаил Васильевич Фрунзе. Под их влиянием формировалось мое сознание, и я вспоминаю их с неизменной благодарностью и уважением.

В 1924 году я демобилизовался, и с этого момента начинается моя профессиональная писательская биография. Но о ней гораздо лучше и полнее рассказывает написанное мной за тридцать пять лет, и я заканчиваю этой страницей короткую повесть о себе.

1958

АВТОБИОГРАФИЯ

По принятому обычаю нормальная биография человека нашей эпохи должна начинаться с анкетных данных и объяснять без умолчаний и недомолвок, чем занимались предки на протяжении последнего столетия.

Во избежание недоразумений сообщаю сразу, что в составе предков у меня не числятся: околоточные надзиратели, жандармские ротмистры, прокуроры военно-окружных судов и министры внутренних дел.

Зато с материнской стороны имеются полковники стрелецкого приказа при Алексее Михайловиче и думные дьяки, ведшие дипломатические переговоры с черкесами при Петре I — Есауловы, и другие воинские люди, в том числе упомянутый во 2-м томе «Крымской войны» академиком Тарле мой дед, командир Еникальской береговой батареи Ксаверий Цеханович. К сожалению, не могу ничего сказать о предках отца, так как, потеряв родителей в возрасте полутора лет, воспитываясь у чужих людей и в интернатах, он семейных преданий не сохранил. Из сказанного можно понять, что особо вредных влияний на формирование моей личности предки не имели.

Я пишу творческую автобиографию, и мне поставлена задача рассказать, как я стал писателем. Поэтому анкетную часть биографии на вышесказанном считаю законченной. Где родился и учился, на ком женился и есть ли дети — это в биографии писателя ничего не объясняет и не нужно.

Первая моя попытка пройти во врата литературного Эдема относится к лету 1905 года, когда мне было четырнадцать лет. Ошеломленный (иного определения не могу найти) чтением лермонтовского «Демона», я за три каникулярных месяца написал поэму «Люцифер», размером в 1500 строк, чистым, как мне казалось, четырехстопным ямбом. Вложив в тетрадку с переписанной начисто поэмой закладку из георгиевской ленточки для красоты, я отдал ее на суд отцу, преподававшему историю русской литературы, или, по тогдашней номенклатуре, «словесность». Отца я не только любил. С первых сознательных лет я привык глубоко уважать его.

Через несколько дней, вечером, позвав меня в кабинет, отец, указывая на лежащую перед ним поэму, довольно сухо спросил:

— Каким размером это написано?

Я сразу понял, что он не хочет назвать это ни поэмой, ни даже просто стихами, и, облизнув сразу пересохшие губы, робко сказал:

— Четырехстопным ямбом, папа!

— Ты уверен?— усмехнулся отец и после паузы нанес удар: — *Это*, милый мой, может быть, хромой, колченогий, паралычный, но никак не четырехстопный и даже вообще не ямб, а каша.

Я стоял, опустив голову.

— Мыслишки кой-какие воробьиные есть, — мягче сказал отец,— но рано лезть на штурм таких тем. Возьми, спрячь! Вырастешь, сам повеселишься, перечитав.

И, ласково потрепав меня по вихрам, вернул тетрадку.

Но я не захотел веселиться, когда выросту. В ту же ночь я тайком схоронил «Люцифера», завернутого в три слоя золотистой компрессной клеенки, под акацией бульвара. Если за полвека никто не выкопал этого бумажного покойника, — он, вероятно, и сейчас мирно спит на углу бывших Виттовской и Говардовской улиц. Читая теперь, на склоне лет, некоторые поэмы молодых, но уже маститых поэтов, я сожалею, что пытался начать поэтическую карьеру во время слишком высоких требований к поэзии, к культуре стиха. Нынче, внеся в «Люцифера» кое-какие поправки с учетом идейных запросов современности, я триумфально въехал бы на нем в литературу.

Оскомина от неудачного опыта заставила меня дли-

тельное время не пытаться искать взаимности у строгой музы. Хотя микробы стихотворной заразы и обволакивали меня каждое лето с седьмого класса гимназии и до первых студенческих лет в поэтической обстановке Чернодолинской экономии графа Мордвинова. Перед моими глазами были два дурных примера: мой одноклассник Коля Бурлюк, младший из знаменитых Бурлюков, и совсем еще юный, в рваной черной карбонарской шляпе и черном плаще с застежками из золотых львиных голов, похожий на голодного грача Владимир Маяковский. Я с восхищением глядел в рот Коле, когда он, картавя, «бурлюкал» стихи, но старался уберечься от заразы. Для меня, как и для Маяковского, еще не был решен вопрос: вступать ли на тернистый путь поэзии или просто поступить в Училище живописи, ваяния и зодчества?

Поэтическое вдохновение хлынуло из меня неудержимым потоком в первый год студенчества. Я писал запоем и рвал написанное беспощадно, оставляя жизнь только немногим стихотворениям, относительно которых я был уверен, что отец не спросит меня: каким размером написано *это?* И весной 1911 года я с душевным содроганием увидел одно из этих стихотворений превращенным в печатный текст нашей газетой «Родной край».

Через год небольшой цикл моих стихов был напечатан в московском альманахе «Жатва», и это было уже моим введением во всероссийский храм литературы.

Обыкновенно принято задавать вопрос: кто из великих писателей оказал наибольшее влияние на становление молодого писателя, кого он считает своим учителем? На этот вопрос я не могу дать определенного ответа. Особых пристрастий у меня не было и нет. В нашей русской литературе я больше всего ценю лермонтовские стихи и лермонтовскую прозу; Льва Толстого, особенно в таких вещах, как «Казаки» и «Хаджи-Мурат»; романы Гончарова, пьесы Чехова, рассказы Бунина, поэзию Александра Блока. Во французской литературе мне дороги имена Стендаля, Флобера, Мериме, Мопассана, Франса. Французскую поэзию, за исключением Верлена, не терплю за ее напыщенность, холодность, лживую наигранность чувств и мыслей. У англичан мне ближе всех несравненный Стивенсон, Диккенс (не весь, лучшей его вещью кажется мне «Повесть о двух городах»), люблю малопопулярного у нас Сетон-Томпсона. От немецкой литературы отворачиваюсь.

Но возвращаюсь к прерванному рассказу о моем литературном пути.

В 1912 году на политическом горизонте мира набухали уже тучи мировой войны, а в русской литературе царил хаос и творился пир во время чумы. Когти двуглавого орла в последних усилиях все туже сдавливали горло стране, душили всякую не казенную и не верноподданническую мысль. России было приказано не думать. Поэты старшего поколения в большинстве приспособились к такой жизни бездумных канареек. Но молодым не думать было трудно, они искали действия. Русская буржуазия, оправясь от испуга 1905 года, напялив на пухлые российские телеса европейские фраки, забавлялась мистико-эротическими «дерзаниями» в своих журналах — «Золотое руно», «Весы», «Аполлон». «Дерзаниям» была грош цена, к ним снисходительно относилась и даже поощряла их охранка. Российским промышленникам и торгашам сладко дремалось под изысканные ритмы символистских корифеев — Сологубов, Кузминых, Рукавишниковых, Чулковых, Вяч. Ивановых. Хотелось нарушить это животное благополучие, напомнить хрюкающим во сне обывателям, что не так уж давно в Петербурге действовал Совет рабочих депутатов, над Черным морем реял флаг революции на стеньге «Потемкина», а на Пресне, за непрочной защитой баррикад, героически дрались боевики рабочих дружин. Но напоминать об этом легально было немыслимо. Нужно было найти какой-то обходный маневр, чтобы испортить настроение буржуазии, эпатировать ее, расстроить ее беспечное пищеварение.

Тогда и родился и забушевал отечественный футурокубизм в литературе и искусстве. Зарождение этого нового учения я наблюдал своими глазами в той же Черной Долине. Коренастый, неуклюжий, коротконогий Давид Бурлюк, приставив к глазам неразлучный лорнет, стоял перед развешанными по стенам мастерской своими превосходными, немного импрессионистскими пейзажами (один из них и сейчас украшает мой кабинет) и, кривя рот, говорил, что на классических традициях, на серьезной живописи в наше время ни славы, ни капитала не наживешь и что нужно глушить буржуа и обывателя дубиной новизны. Таково было «идейное» обоснование новаторства в литературе и искусстве.

И вскоре на обывателя лавиной обрушились квадраты, окружности, параболы, призмы, пирамиды, четвероно-

гие люди с одним глазом и двуногие лошади с пятью глазами, кое-как намазанные на холстах, вперемежку с вклейками из старых пружин от матрацев, крышками консервных коробок, рыбьими хвостами. В литературных салонах на смену унывно-певучим ритмам зазвучали какофонические созвучия.

И впервые в «приличные» лица Рябушинских, Тарасовых, Второвых, Свешниковых и прочих владык жизни Маяковский швырнул ошеломляющие строчки:

А с неба смотрела какая-то дрянь
Величественно, как Лев Толстой.

Фильтрующийся вирус футуризма быстро проник в самые незаметные щели, поражал самых тихих поэтов. Вирус дробился, меняя очертания, маскировался, принимал вид то «эго», то «кубо», то просто футуризма. Вирус сразил и меня. Я нырнул вниз головой в эгофутуристское море.

Этот фантастический период я вспоминаю с нежной грустью и признательностью. Моя практика в лоне эгофутуризма позволяет мне сегодня с несравненным чувством превосходства смотреть на подвиги литературных и художественных «новаторов» Запада. Мне смешно видеть, как эти замшелые провинциалы беспомощно и жалко воскрешают пережитое нами полвека назад, выдавая прелую духовную заваль за новые откровения.

В сентябре прошлого года, будучи в Югославии, я познакомился с поэзией молодого, но уже снискавшего не только славу, но и литературную премию абстракциониста Васко По́па. Его «программное» стихотворение «Клинья и клещи» оказалось детским лепетом перед шедеврами русских футуристов 1912—1915 годов. Васко По́па нужно еще много и долго учиться прыгать, чтобы допрыгнуть до таких высот бессмыслицы и абстракции, какие печатались в наших футуристских журналах.

Но в августе 1914 года на мировом горизонте, «весело играя», сошлись тучки двух империалистических коалиций, и грянул гром. Произошло некое духовное землетрясение, которое по-разному отразилось на поэтах. Одни продолжали делать хорошую мину при плохой игре, пытаясь не замечать происходящего и не переставая «дыр-бул-щырять». Другие нежданно из «революционеров духа» превратились в патриотических лакеев, по-

ставляющих стишки для военных лубков. Один из крупных деятелей эгофутуризма, правая рука его шефа Вадима Шершеневича, писал для этих лубков такие вирши:

Опустилось у Вильгельма
Штыковое рыжеусие,
Как узнал лукавый шельма
О боях в Восточной Пруссии.
Опустив на квинту профиль,
Говорит жене Виктории:
Пропадает наш картофель
На отбитой территории...

Это писалось в те дни, когда на территории Восточной Пруссии, спасая французских ростовщиков от немецких стальных магнатов, по приказу некоронованного повелителя России Раймона Пуанкаре, самоотверженно умирал цвет русской гвардии, преданный бездарным командованием и загнанный в топи между Мазурскими озерами.

Значительная часть поэтов, еще не вполне отчетливо понимая масштабы невиданной мировой трагедии, но уже осознав, что к ней надо относиться серьезно,— временно замолчала в растерянности.

Особняком в истории футуризма стоял Маяковский. Только он в эти дни поднял «единственный человечий» голос, с поразительной силой прозрения предсказав приход шестнадцатого года в терновом венце революций.

В 1915 году я ушел на войну. То ли во мне заиграла военная жилка стрелецких полковников, то ли просто стало скверно в обстановке тылового распада, но я надолго простился с мирной жизнью, с футуризмом всех формаций.

О войне рассказывать нечего. В 1916 году самым тупым и ограниченным военным деятелям империи стало ясно, что империя идет к концу. Я был на встрече Нового года в одной из артиллерийских бригад Западного фронта. Командир бригады, боевой генерал, перехватил медицинского спирта, сплясал русскую, запел на жалобный глас: «Так жизнь молодая проходит бесследно, а там уже близок конец», целовался со всеми, не исключая денщиков, прислуживавших у стола, и, под занавес, обратился к офицерской молодежи с речью, которую закончил так: «Прапорщики и прочие фендрики, помяните добром вашего командира, егда через полгода приидет царствие ваше!»

Генерал ошибся в малом. Царствие прапорщиков наступило не через полгода, а через два месяца, но оказалось очень кратковременным и кончилось в октябре 1917 года. Но старика помянули добром и солдаты и офицеры. Он был отличным артиллеристом и порядочным человеком.

Я никогда не жалел и не пожалею о том, что вместе с миллионами простых людей, одетых в серые шинели, прошел сквозь бессмысленный кошмар последней войны царизма. От войны я получил бесценный дар — познание народа.

До войны я, как и огромное большинство русского юношества из интеллигентных семей, имел смутное представление о тех 180 000 000 душ, которые, собственно, и поддерживали жизнь в распухшем и непутевом теле российской империи. С рабочими мне вплотную встречаться не приходилось. Юность моя прошла в тихом южном городе, жизненной базой которого была золотая степная пшеница, уплывавшая в трюмах иностранных пароходов. В городе существовало лишь одно «промышленное предприятие» — кустарная чугунолитейная мастерская Гуревича.

Ближе я знал крестьян. Сталкивался с ними в той же Черной Долине. С некоторыми даже дружил, как с кучером Опанасом, парубком необычайной, буквально античной красоты, буйные кудри которого, казалось, были из темно-бронзовой проволоки. Этим друзьям, приезжая во время каникул, я привозил из города подарки — кожу на сапоги, гармошки, рубахи с вышивками, ситцы на платья дивчатам и жинкам. Зимой в городе получал от них каракули, извещавшие обо всех событиях. О том, что Остап, выпав из саней под сочельник, поломал ногу, а горничная Тетяна родила «байстрюка». Но этим мои связи с народом ограничивались, и, по правде, я знал народ не более некоторых зарубежных мыслителей, писавших о мистической загадке славянской души.

Только на войне я постиг эту «загадочную» душу, в которой не оказалось никакой загадки. Была народная душа придавлена тяжким камнем горя, нищеты и бесправия, но под этим камнем таилась и дремала до времени могучая сила. Была эта забитая душа полна природного благородства, ласки, благодарности, теплой человеческой привязанности ко всякому, кто обходился с ней по-человечески. И жила в ней готовая прорваться жаркая нена-

висть к угнетателям и неистребимая надежда найти спрятанную от простого люда великую правду, которая яркой звездой взойдет над землей и одарит всех несказанным счастьем.

А вместе с душой народа я узнал и его ясный, честный, безошибочно мудрый ум.

Растворенный в огромной человеческой массе, сжившийся с ней, с ее маленькими радостями и большим горем людей, оторванных от труда, от семей, от земли и брошенных в чертову мясорубку, — я с отвращением вспоминал мелкую клоунаду футуристических скандалов, мышиную возню литературных стычек. Какими непотребными стали в моем сознании полосатые кофты и размалеванные морды, игры в стихотворные бирюльки перед величием молчаливого, беззаветного и великого ратного подвига народа. О народе на войне и о подлинном лице этой подлой войны мне хотелось рассказать, и весной 1916 года я написал вещь, которую считаю подлинным началом моего писательского пути,— рассказ «Гала-Петер»[1].

Приехав в командировку в Киев, я сдал рассказ в редакцию проектируемого благотворительного альманаха Земсоюза «Огонь». Рассказ был немного подпорчен ритмической стилизацией прозы под Андрея Белого, но в целом был сильный, острый по теме, резко антивоенный. В редакции его встретили радостно. Но когда гранки попали в цензуру, разразилась катастрофа. Наряд полиции, пришедший в типографию, забрал рукопись и рассыпал набор. Цензор безоговорочно запретил рассказ и, выяснив имя автора, сообщил в штаб фронта о недопустимом направлении моих мыслей. В результате я был направлен в артиллерийскую часть, составленную в основном из штрафованных моряков, которые обслуживали тяжелые морские пушки Кане на Западном фронте. С этого времени началась моя дружба с людьми флота, сорокалетие которой совпадает с сорокалетием Октября.

Рассказ же «Гала-Петер» увидел свет только в 1925 году, восстановленный мной отчасти по черновым записям в сохранившемся блокноте, отчасти по памяти. Я и до сих пор люблю этот рассказ даже с его детскими недостатками.

---

[1] «Гала-Петер» — швейцарская фирма, поставлявшая прекрасного качества шоколад.

После Октября я поехал на юг навестить своих стариков. Душевное состояние у меня было смутное, в голове сумятица и разброд. Мрачные эксцессы, которые мне пришлось видеть перед Октябрем и после, в первые недели, очень разболтали мне нервы. И в первый же день, зайдя в кабинет отца, я спросил у него совета: что делать и как жить дальше? Может быть, стоит уехать на время за границу и вернуться, когда жизнь наладится? Отец долго молчал, опустив уже поседевшую голову, потом пристально посмотрел мне в глаза и сказал то, что врезалось мне в память от слова до слова:

— Мы русские люди!.. Нельзя нам покидать родную землю. Тебе сейчас кажется, что все рушится, что народ пошел не по тому пути?.. Вздор! Народ всегда находит правильный путь. Если тебе даже покажется, что твой народ сошел с ума и несется в пропасть,— никогда не становись у него на дороге и не подымай на него руку. Народ удержится хоть на краю бездны и тебя еще удержит... Допустим, ты уедешь! Говоришь — на время, чтобы потом вернуться? А ты уверен, что сможешь вернуться? Что народ примет тебя, простив, что ты покинул его в тяжкий час?.. Нет, сын! Никуда с русской земли, хоть бы смерть у тебя за плечом стояла! Жить на чужбине и умирать постыдно!

В глазах у отца блестели слезы. После этого возможно было лишь одно решение — спустя неделю я уехал в Москву.

Первую половину 1918 года я провел в Москве, снова попав в давно покинутую литературную среду. Странной и дикой показалась мне она в это время. Постоянно бывая во всяких литературных притончиках, вроде «Кафе футуристов», «Стойло Пегаса», «Музыкальная табакерка», я с удивлением видел, что мои бывшие друзья и соратники, как французские Бурбоны, ничего не поняли и ничему не научились. Я видел те же клоунские гримасы, эстетские радения, слышал заупокойное чтение лишенных всякой связи с жизнью страны стихов, грызню мелких самолюбий в погоне за эфемерной славой. В этих злачных местах выплывала на поверхность всякая дрянь, вроде бездарного проходимца Кусикова, сына крупного армянского торгаша, который выдавал себя за черкеса и друга легендарного Киквидзе.

Атмосфера литературной Москвы 1918 года была настолько отвратительна для меня, что осенью я ушел с

бронепоездом на фронт, штурмовал петлюровский Киев, входил в Крым. В Крыму мы в 1919 году не удержались и в июне под натиском белых откатились на север. По дороге в Киев, на станции Мироновка, меня увидел Наркомвоен Украины Н. И. Подвойский и тут же забрал в свой полевой штаб Начартом. Подвойский проводил решающую операцию по ликвидации банды атамана Зеленого. В последнем бою, при прорыве бандитов через полотно железной дороги у разъезда Карапыши, я был тяжело ранен в ногу, эвакуирован в Москву и по выздоровлении направлен в Ташкент в распоряжение Политотдела Туркфронта.

С этого момента для меня кончилась строевая служба. Я был назначен секретарем редакции, а позднее заместителем редактора фронтовой газеты «Красная звезда». Одновременно работал в «Туркестанской правде», ведя литературный отдел и приложения к газете.

За годы, проведенные в Средней Азии, я написал много небольших газетных новелл, повесть «Ветер» и большие рассказы «Звездный цвет» и «Сорок первый». Иногда еще писал стихи, но в 1923 году окончательно ушел в прозу. В декабре 1923 уехал в Ленинград, демобилизовался и весной 1924 года напечатал в ленинградских журналах «Красный журнал для всех» и «Звезда» последовательно «Звездный цвет», «Ветер» и «Сорок первый».

Эти вещи привели в недоумение и растерянность рапповскую критику того периода. Она длительное время разглядывала меня со всех сторон, пытаясь разрешить загадку, кто же я такой в плане литературно-социального облика? Свой ли «в доску», по принятому жаргону, или подозрительный попутчик? В конце концов схоластический диспут закончился тем, что меня оставили в попутчиках, снисходительно приклеив этикетку «левый». Совершенно по тому же принципу, как в старые времена отличившимся полководцам прибавляли к фамилии почетное прозвище: Румянцев-Задунайский или Паскевич-Эриванский. Против оказанной мне чести я не возражал и проходил в левых попутчиках десять лет, вплоть до мирной кончины РАППа. Проводив его труп на кладбище истории, я остался просто советским писателем. Это меня вполне устраивает.

В 1925 году я впервые попробовал сунуться в драматургию. Две пьесы — «Мятеж» (Большой драматиче-

ский театр им. Горького в Ленинграде, 1925) и «Кинжал» (Театр МОСПС) — не принесли мне особой радости, но многому научили.

И когда Большой драматический театр предложил мне написать пьесу к 10-летию Октября (одновременно такое же предложение было сделано театром Вахтангова), я приступил к работе над пьесой уже как «взрослый» драматург.

История «Разлома» достаточно широко известна, чтобы на ней останавливаться. По крайней мере три поколения советских зрителей видели пьесу на сценах почти всех театров СССР.

С тех пор мной написано много прозы, публицистики, очерков, пьес. Перечислять все невозможно. Интересующиеся могут поглядеть в библиографические справочники.

Я советский писатель. Всем, что я мог сделать в литературе и что, может быть, еще успею сделать, борясь с возрастом и болезнью,— всем я обязан народу моей родины, ее простым людям, труженикам, бойцам и созидателям. Они учили меня жить и мыслить вместе с ними, они указывали мне дорогу, бережно поддерживали на ухабах, жестко, но дружелюбно наказывали за ошибки.

В литературе, как и в жизни, я не выношу позерства, шаманства, фокусничества, зазнайства. Не люблю, когда писатели носят самих себя, как некие драгоценные сосуды, и не говорят по-человечески, а изрекают и прорицают. Я люблю живой народный язык, берегу его чистоту и борюсь за нее. Мне физически больно слышать изуродованные русские слова: «учеба» вместо «ученье»; «захоронение» вместо «похороны»; «глажка» вместо «глаженье»; «зачитать» вместо «прочитать» или «прочесть». Люди, которые так говорят,— это убийцы великого, могучего, правдивого и свободного русского языка, того языка, на котором так чисто, с такой любовью к его живому звучанию говорил и писал Ленин.

1957

Повести и рассказы

Верному товарищу
и бесценному помощнику в жизни и труде —
Елизавете Михайловне Лавреневой

«ГАЛА-ПЕТЕР»

1

У поручика Григорьева забот — не проворотить! Шутка ли — командовать ротой, да не где-нибудь, не в каком-нибудь третьеочередном, в котором сорокадвухлетние лешие в перебежках портки на ходу теряют, а в тринадцатом гренадерском Эриванском.

Заело, завертело поручика изо дня в день одно и то же.

Холод, грязь (летом — жара и пыль), вши, снаряды, треск сатанинский, скука деревянная, смертная.

И все чаще и чаще Коле Григорьеву хочется к старенькой маме в зеленый Чернигов, где в уютной столовой пылает оранжево лампа («Молния» 14″), выставив пузатый бочок никельным блеском, мама вяжет сестренке Аглае кружевной воротник для вечера в женской гимназии (без танцев, конечно), а папаша в гостиной, вздев очки на лоснёную сливу, под растрепанным фикусом, бьет коварных тевтонов на простынях «Русского слова» совместно со знаменитым стратегом, старшим бухгалтером московской городской думы Михайловским.

Аглая вертится перед зеркалом в спальне или заведет граммофон «Тонарм» (без шипенья, конечно), и растленный тенор взывает из лакированной дырки:

Дыш-шшшш-шшшш-ялла нночь...

Никогда не думал Коля Григорьев, окончив гимназию и патриотическим вспыхнув восторгом, что всей тяжестью

мира, бременем всех земных катастроф, прошедших и будущих, темной печатью судьбы лягут на узкие детские плечи серебряные полоски погон с одним ярко-желтым просветом и таким манившим тогда загадочно сладким шифром славянскою вязью

М. Ф.

и над ними Мономахова — древний символ величья Руси, преемства Византийского царства — шапка из лакированного серебра.

Но теперь нужно терпеть.

Патриот Коля Григорьев, и хоть страшно, и больно, и кошачьим когтем в горле иногда копошится крик, и властно тянет сорвать с плеч серебряные полоски, которые жгут огненным ядом, как подарок ревнивой Медеи царевне Креузе, сбежать из грохотного чертова логова и вернуться к охоте в днепровских синих безгранных лугах, к лаун-теннису, легко пьянящему звоном сердец флирту в темных аллейках парка, под ласковый вальс из дверей кино, — поручик Григорьев, ротный Григорьев, сжимает челюсти и лениво цедит сквозь зубы:

— Э... П-пустяки, дорогой мой! Война — прекрасная школа! Она смывает с земли всю накипь, нечисть и слякоть, закаляя в горниле воли и духа лучших, храбрейших и достойнейших жизни.

Давно прочел Коля Григорьев, еще будучи юнкером в Москве, в Александровском училище, за чаем с пирожными в юнкерском буфете, эту фразу в серьезной статье профессора гистологии беспозвоночных, в «Русских ведомостях».

И хотя теперь душой, — надломленным, болезненно кровоточащим кусочком, — не верил больше профессору и не раз поминал его самым каторжным вшиво-пехотным матом,— но на людях крепился и приезжавших из тыла на пополнение с мясом маршевых рот молодых прапоров очень любил огорошивать, с места в карьер, разными окопными ужасами.

Одно лишь осталось от детства в Коле Григорьеве, и не могли вытравить этого все пролетевшие над душой и прогремевшие в ней бури и голоса войны:

ЛЮБОВЬ К ШОКОЛАДУ.

В окопном дурмане, в сосущей сердце прожорной тощище, все свои деньги — прапорщичье сперва, теперь

поручичье жалованье — тратил на шоколад, жидкий, сгущенный и в плитках, привозимый колченогим денщиком Нифонтом, по прозвищу «Козье вымя», из тыла, где были завалены им походные, в красных вагонах, лавки экономического общества.

И не мог бы никому поручик Григорьев прямо, как на духу, сказать, без запинки, что любил больше — шоколад или невесту, розовощекую Лялю.

Ляля была далеко, а шоколад тут, под боком, и пряная сладость его заливала все девятнадцатилетние горести поручика, и шоколад был для него самодовлеющим миром.

И сейчас в блиндаже, под тройным перекрытием камня, бетона и бревен, сидя при вонючей коптилке на узеньких нарах, под храп субалтерна прапора Веткина (второй субалтерн, Лобачевский, дежурил в окопе), поручик Григорьев сосал

«ГАЛА-ПЕТЕР»

и лениво, без мыслей, читал неведомо кем и неведомо как занесенный сюда Коран в переводе Гордия Саблукова.

Странны были чужие слова:

«Во имя бога, милостивого, милосердного!

1. Мы ниспослали его в ночь определений. 2. О, если бы кто вразумил тебя, что такое ночь определений. 3. Ночь определений лучше тысячи месяцев. 4. Во время ее ангелы и дух, по изволению господа их, нисходят со всеми повелениями его. 5. Она мирна до появления зари».

Поручик Григорьев отложил Коран и задумался. Глава нежданно совпала с его мыслями.

День с утра выдался скверный на редкость.

Залетевшим снарядом разнесло гнездо пулемета, искрошив в железные клочья сам пулемет и в клочья говядины трех пулеметчиков.

А разведка, ходившая ночью за проволоку ловить контрольного пленного, донесла, что в немецких окопах, тех, что чернеют узкой полоской, в полутораста шагах впереди, в талом буроватом снегу, заметно движение и как будто стало больше народа.

Для очистки совести поручик Григорьев позвонил по

телефону на трехдюймовую батарею, и оттуда забабахали часто по немецким щелям.

Батарея давно пристрелялась, и гранаты ложились, как по нитке, в самые щели, взметая буро-черные линии дыма и желтые взметы огня.

Но немцы сидели в норах безопасно и прочно, и, постреляв с полчаса, батарея утихла.

К ночи начали немцы гвоздить по заграждениям.

Гудела земля, и летели кверху мерзлые комья и колья с завившейся от взрывов в тугие спирали колючкой.

Наделав изрядное количество дыр в заграждениях, к полночи замолчали и немцы.

Готовилась, очевидно, атака. Хорошо, что успели заменить разбитый пулемет новым и исправить гнездо.

«За ночь все определится», — подумал поручик и повторил вслух:

— О, если бы кто вразумил тебя, что такое ночь определений... Она мирна до появления зари.

И, мечтательно кончая досасывать шоколад, добавил:

— Непременно на рассвете атакуют немецкие свиньи. Как пить дать! Вот сволочи, поспать не дадут человеку. Погодите, прорвем мы вам колбасы весной.

2

Двумя неделями раньше того, как, досасывая плитку, поручик Григорьев выругал немцев за чтением Корана —

в Петербурге,—

на гнедом рысаке, шуршащем синею сеткой, мимо чугунного идола, грузно осевшего на чугунном монстре, затянув поленом-рукой поводья, пролетел к вокзалу чернявый, в хорьковой добротнейшей шубе, в шапке самого тихоокеанского котика и, пролетая, подмигнул чугунному идолу понимающе и сочувственно.

А идол под сплошной шапкой осклабил губы в кустах дремучей бороды.

Видел идол глубже людей и под хорьковой шубой, под пиджаком с коричневой искрой (Эсдерс и Схефальс), в боковом кармане, в бумажнике крокодиловой кожи «made in England» (что «made» — крокодил или бумажник — не важно!), увидел визитную карточку:

ЖОРЖ АРНОЛЬДОВИЧ
ШНЫРКИН
Единственный представитель фирмы «Гала-Петер» в России

Увидел карточку и осклабился ласково. Общее дело.

Чугунный мертвец — император — и живой Жорж Арнольдович Шныркин единому доброму богу служили — богу войны и наживы.

И за это императора добрый бог вознес на пьедестал махиной металла, а Шныркину украсил пальцы набором перстней, сверкающих в электрических светах.

Живому — живое. Жорж Арнольдович не завидовал императору и совсем не хотел еще на пьедестал.

Любил шуршание денег, электрические светы, янтарный отблеск вина в звонком стекле и рядом трепетные стрелы женских ресниц и живую теплынь горячекровного тела.

Любил Шныркин сиянье камней на ловких своих коротко обрубленных пальцах и никогда не носил перчаток (затмевают снопы огней), и хотя жестоко мерзли руки — всегда был доволен и горд.

И, вылезши чинно у подъезда вокзала из узеньких санок, Жорж Арнольдович отдал носильщику чемодан лакированной кожи (да, да, лакированной!) и бросил:

— Международный, Москву!

У Жоржа Арнольдовича разговор деловой, короткий, и слова прыгают из пухлых губ резвыми такими мышатами.

Прыг — и скрылось.

Послав за время войны несколько тысяч телеграмм,— представительство «Гала-Петер», единственное в России, — привык говорить Шныркин телеграфным кодом, без союзов и глаголов.

И, идя за носильщиком по гулкому настилу перрона, растопыривал напоказ пальцы, витрину камней.

В вагоне приказал положить чемодан на верхнюю полку, бросил бумажку, услыхал в ответ:

— Покорнейше, барин!—
и развалился с довольством на сером тисненом плюше купе у рубинового мотылька электрического, и сидел сложа руки до отхода курьерского.

Тогда не спеша поднялся, закурил сигару и глянул в окно.

За стеклом, сквозь легкий и искристый иней, пролетали домишки предместий.

В тусклых окнах едко чадили коптящие лампы, и нищета тяжкой лапой давила плоские крыши, кривила заборы, прибивала к земле жидкий дым покосившихся труб.

Сырая ночь разметала косы туманов над пустырями топких болот, бледнеющих снегом и вспершавленных пухом тощих осин и худосочных березок.

А за ними шумно и злобно, упираясь в тяжкие тучи, пламенами вздымаясь до них, дрожало угрюмое зарево.

Там, без сна, без остановки, без отдыха, дышали раскаленные глотки горнов, переливая жидкую сталь, били громом прессы, штампуя болванки, выпускались с визжащих станков миллионы снарядов.

Все для войны, все для победы!

Багровое пламя пылало светом непонятной, таинственной, по-иному творимой железной жизни и воли над бешеным сполохом обреченной столицы, над разгулом кино и ресторанов, над болотным раем Петровым.

И в черных глазах Жоржа Арнольдовича тенью метнулась тревога.

Он поджал губы под стрижеными усиками, дрогнул спиной, но сейчас же пренебрежительно кинул багровому пламени:

— Пфе!

И снял с полки чемодан лакированной кожи.

Не торопясь развязал ремни и высыпал на плюш сиденья десятки плиток шоколада в блестящих бумажках, протравленных золотом букв.

Образцы.

Шпыркин сел на диван и любовно, ослюнявив нижнюю губу, зашарил пальцами в плитках.

Чемодан лакированной кожи раскрытым зевом одобрительно ухмылялся хозяину.

Человек деловой, серьезный и родине необходимый.

Армии нужен шоколад. Поручик Григорьев, прапорщик Веткин, фельдфебель Перетригубы, солдаты и даже денщик, колченогий Нифонт, прозвищем «Козье вымя», на последние деньги покупают блестящие с золотом бумажки, чтобы пряной сладостью задавить истошную тоску свою в промерзлых ямах, пока пуля не сделает их вовсе невосприимчивыми к вкусовым ощущениям.

3

В крепкий, хрустящий морозом безветренный вечер в Москве по Волхонке шла курсисточка Ляля, невеста поручика Григорьева, закутавшись в шубку до порозовевшего носа.

Ляля шла и мечтала об артисте Мозжухине, сладко тронувшем Лялино сердце в «Кино-Арс», на Тверской, о туфельках «Вэра», духах «La folle vierge», о Маяковском Владимире и о многом еще.

От мечтаний глаза у Ляли подернулись влагой, заблестели и потемнели, и когда она шла через Каменный мост, внизу, шумя, темнела вода и поблескивали в ней огни фонарей.

В этот миг вода под мостом и глаза Ляли одного были цвета.

Майский жук, залетевший в зиму, краснокрылый трамвай прогудел по мосту и мимоходом сощерил на Лялю красные стекла очков.

Ляля шла и мечтала.

Против розовой церкви Ивана, у вделанной в стену иконы, вдруг стала Ляля как вкопанная.

Пронизав мечты о Мозжухине, Маяковском, одеколоне, в Лялино сердце ворвался внезапно грозовой голос войны.

Как залетел он на Полянку?

Ветер ли, ухарь раскосый, прилетевший с кровавых полей, донес ненароком, но только увидела Ляля голое место и на нем кровь и трупы. Небо в желто-сиреневых вспышках задрожало над ней, гремя, и по жирному снегу запрыгали взмывы огня и бурого дыма.

Вздрогнула Ляля, вспомнила о женихе, о поручике Григорьеве, и вдруг заплакала на улице, уткнув нос в кружевной платочек.

Очнулась, когда услыхала рядом патокой пролившийся голос:

— Барышня, плакать?.. Зачем?.. Вздор!

Подняла от платочка Ляля глаза и увидела рядом: чернявый, в хорьковой добротнейшей шубе, в шапке самого тихоокеанского котика, нежно смотрит в глаза, и во взгляде не нахальство, не наглость, а такое... трудно назвать, но от чего потеплело свинцом от обиды на приставанье налившееся Лялино сердце.

— Ах!.. Я так испугалась! Я очень нервная! — сказала кокетливо Ляля.

— Можно узнать — чего?

Голос так и проливается теплою сладостью. Улыбнулась доверчиво Ляля.

— Я, знаете... Как наяву, увидела вдруг сражение... Стрельба, и люди падают. Очень страшно!

Незнакомец усмехнулся.

— Позвольте вас домой? Время — война, развал! Уверен, не сочтете?

И внезапно, почувствовав доверие, продела Ляля руку свою в подставленный калачиком локоть.

Но спросила осторожно:

— Вы кто?

— Позвольте представиться? Жорж Арнольдович Шныркин, единственный представитель шоколада «Гала-Петер» в России!

— О, как хорошо! — сказала повеселевшая Ляля.— Вот если бы Коля знал!

— Кто Коля, позвольте узнать?

— Мой жених... Он на фронте! — строго, со вздохом ответила Ляля и добавила: — Он страшно любит шоколад и... я тоже.

— Вы, шоколад? All right! Строю вам шоколадную гору. Согласны?

— Согласна! Только я и Коле немножко отдам.

— Ясно!

Шла Ляля, опираясь на руку Жоржа Арнольдовича, и слушала в нежном волнении о шоколаде и думала:

«Какой счастливый!.. Сколько шоколаду — и все ему одному!»

У дома Шныркин простился. Ляля спала и видела во сне большую шоколадную гору, и она поднимается па гору, наверху стоит Жорж Арнольдович и манит ее шоколадкой с начинкой, а сзади ползет на гору и Коля, но обрывается, а Ляля хохочет и кричит:

— Не лезь, Колька! Все равно оборвешься! Это моя гора!

Утром приехал Жорж Арнольдович и привез Ляле чемодан шоколада.

За всю свою жизнь не ела Ляля столько шоколада и таких разных сортов.

С того дня ежевечерне заездил к Ляле, на пятый этаж, Жорж Арнольдович, и вот — в один день, обсасывая шо-

колад, сидя на диванчике рядом с Жоржем Арнольдовичем, вдруг почувствовала Ляля на губах своих не сладкую плитку, а крепкие губы Шныркина, и не удивилась, не рассердилась.

Только странно стало, что пахнут шныркинские губы «офицерским ванильным № 3».

4

Пока читал поручик Григорьев Коран, в углу блиндажа, приткнувшись к огарку, денщик Нифонт, мусоля карандаш, выводил на серой бумаге кривыми загогулинами письмо в деревню жене Агриппине.

Ерзал неслух карандаш в шишковатых корневищах пальцев, и загогулины растягивались и кривились к низу листа.

Писал Нифонт:

«И ишшо, наидражайшая супруга нашея, Арахвена Сидоровна, посылаю вам ницкий поклон и наше супружнее благоволение. И что отписываете вы мне нащет Мотьки, про то нами слыхано от Симена Старухина, как он приехадчи с маршевой ротой и усе изложивши изустно до доскональных подробностев. И прошу я вас, дорогая супруга Арахвена Сидоровна, скажите Мотьке, как она мне любимая есть сестра, не имея батюшки и матушки, то вдвойне дорога мому сердцу, и что я ей, суке голозадой, ноги из пуза повырываю, ежели она не уймется с австрияком по гумнам валяться. Потому, как австрияк, хотя может быть вопче, как и мы мужеска пола, со всем прибором, но только есть он человек трясогузный и неверный, а потому набить девку горазд, но чтоп иное прочее по мужеской части, то ничего. И ишшо спрашиваете вы меня, дражайшая супруга наша, Арахвена Сидоровна, как нащет замирения, то нам доподлинно неизвестно, тольки, как говорять, с весны, ежели у немецького короля отсохнет лева рука насовсем, то войне и крышка, потому у всех королей по две руки, а у немця одна, и этак ему будет несподручно. И ишшо на той неделе послал я вам и деткам нашим посылочку, и поклал в нее, опричь портянок и ликстрического фонарика, заграничного щиколаду. А етого щиколаду у нас в лавках чистые горы, и офицеры его жрут, скольки хотишь. А мой барин

поручик Григорьев особливо. Скольки он за день етого щиколаду упирает — по арихметике не сосчитать. А тольки барин добрый и по морде не дерется, как иные прочие. Должно от щиколаду нутро мягчеет, потому в соседней роте, как у меня приятель в денщиках у капитана Тыркина, то капитан щиколад вовсе не ист, а по кажному пустяку норовит в зубы. И так што щиколад я для вас не покупал, а простите, узял у поручика из своеой пачки, бо все одно он не заметит. И с тем ницко кланяюсь и пребываю в полном благополучии, потому, должно, у нас к утру будет атака от немця, и многие помрут за веру православную. Кланяюсь вам ницко и сердешно лобызаю в сахарные вашии уста, а сани пока не продавайте, приеду починю.

Ваш любезный муж *Нифонт Огурцов*».

Корневища обмусолили круглую точку в конце, отложили карандаш и запихали письмо в конверт с нарисованной на нем кособокой пушкой. А под пушкой стих:

Разлюбезные друзья,
Извещаю всех вас я, —
Скоро немца мы побьем
И на отдых все пойдем!

Запечатав конверт, Нифонт с любовью посмотрел на кособокую пушку и, выпятив толстые губы, начал было разбирать по складам надпись в углу:

— Ли-то-гра-хвия Во-робей-чика...—
и не кончил...

Над блиндажом послышался тягучий нарастающий гул, и тотчас же глухо шатнулась земля, и в щели потолка посыпались комья.

Обитая войлоком дверь с грохотом распахнулась, и фельдфебель Перетригубы, с обледенелыми усами, крикнул:

— Ваш-бредь!.. Атака! Немцы идуть!

Бросив липкий шоколадный огрызок и Коран, поручик Григорьев сорвал со стены бинокль и толкнул субалтерна:

— Веткин! Вставай! Атака!

Веткин схватился и захлопал испуганно глазами сонной совы под тенью рыжих ресниц.

Схватил полушубок, напялил и за командиром, по скользким запорошенным ступеням, закарабкался вверх.

5

Наверху промозглыми клещами охватила хлипкая мгла.

Поручик Григорьев быстро пробежал по ходу сообщения и вышел в окоп.

Вскоробленными, ни на что не похожими призраками стояли на стрелковой ступеньке, прижавшись к винтовкам, солдаты заскорузлой от снега и грязи цепью.

Ползал шипящий шепот:

— Прут, сволочи!

— Много?..

— Не видать пока. На нашу душу хватит!

— Вот те и отдых под воскресенье!

— Вась, а Вась! Послышь!.. Коли убьют,— отпиши родителям.

— Ладно... кады помрешь,— гады скажешь!

Только вчера попавший на пополнение мальчишка-костромич, окая, спрашивал бородатого соседа:

— Как же оно, тово, дяденька?.. Значит, тово?.. в людей стрелять?..

— А ты думал к им с канфетой навстречу?.. Они те угостят!.. Цель вернее, да в штаны не пусти, косопузый!

Поручик Григорьев встал на ступеньку и бровями прилип к металлу бинокля.

Сквозь слепую морозную муть, за дырами, надолбленными немецкими пушками, перед линией вражьих окопов серели летучие тени.

Росли, переползали, расплывались, вырезывались четче при вспышках разрывов.

Холодок сладкий, привычный, поднимающий волосы, прошел от пяток до макушки под серой папахой.

Тупо засосало под ложечкой.

Повернулся к Перетригубы и тихо сказал:

— Подпустить под самую проволоку и по свистку — пачками.

Перетригубы побежал по окопу налево, Веткин — направо, передавать приказание.

Поручик прошел к пулемету.

Схватив огромными лапами рукоятки «максима», большие пальцы на спуске, сидел пулеметчик в громадной туркменской папахе.

Поручик прижался рядом, смотря в узкую щелку.

Яснее и четче становились серые тени. Ползли, кувыркаясь тяжело в сугробах и черных дырах воронок.

Накапливались кучками, ближе и ближе.

Поручик Григорьев сунул в рот кончик свистка.

Тени,— уже видно было, что это люди,— сгрудились в проходах, вдруг поднялись и с нестройным криком и ревом:

— Хох!.. хох!..— бегом к проволоке.

Задохнувшейся трелью прыснул свисток, и мгновенно сотни молотов грянули в крышу, а поручик Григорьев крикнул, не узнав своего голоса, во всю глотку:

— Ленту! — и закачался от грохота.

Тупая морда пулемета запрыгала в дикой натуге.

Немцы, спотыкаясь и падая, многие лицами вниз и навеки, на минутку замялись и отхлынули.

И поручик Григорьев (Коля) вспомнил, как еще гимназистом жил с мамой в Гурзуфе и лунною ночью было так точно на пляже.

С шипом хлынет волна, лизнет пеной холодные камни и отхлынет, а за ней, взвившись змеей, набегает вторая.

Снова волна орущих людей навалилась в просеки с воплями, стонами, хрипом, сквозь гудящий и стонущий проливень свинца.

Пулеметчик, не спуская пальцев, продолжавших сеять губительный веер, сквозь рокот, и грохот, и треск, повернул лицо с засверкавшими диким весельем белками и, напружившись, крикнул пронзительно в ухо:

— Не отобьешь!.. Контратаку треба!

И поручик Григорьев, сознав, бросился вдоль по окопу, на бегу толкая в затылки ошалевших, приросших к винтовкам, крича:

— Контратаку!

Но в этот же миг над гребнем бруствера выросли человечьи, необычно огромные головы, и в окоп полетели гранаты.

Т-тах.. б-бах.. т-ттах!..

Бело-зеленые молнии, дым, орущие стоны, и, серо-зеленые,— просыпанный сверху горох,— повалились в окоп чужие коренастые люди.

Поручик Григорьев, задохшийся дымом, прижался к стене траверса, к леденящей земле, дрожавшею частою дрожью спиной, с наганом в негнущихся пальцах.

Все было вокруг неестественно, дико, нелепо, и хотя

не впервые уже поручик был в деле,— сейчас, как и всегда, казалось, что весь этот грохот, дым, гомон и лязг — сон, бред, декорация. Только дунуть, махнуть рукой — и развалится все наваждение.

Внезапно над ним, на изломе траверса, выросла фигура в сером пальто и, сложив рупором руки, крикнула:

— Halt! Donnerwetter!.. Zurück, potz tausend!..[1].

Не понимая зачем, поручик поднял руку с наганом и дернул за спуск.

Иголкой кольнул огонек, и фигура молча обрушилась вниз, свалила поручика с ног и придавила лицом к промерзшему дну окопа, пахнущему мерзлой землей и тяжелою вонью людских испражнений.

А из тыла уже, по ходам сообщений, из резерва, стиснув винтовки, пригибаясь и крестясь на ходу, бежала поддержка.

Опять загрохотали гранаты, залязгали мерзко штыки, и голос Перетригубы, покрывая весь гомон, рявкнул поблизости:

— Крой их чертей в богородицу, в боговы кишки!

Поручика Григорьева вытащили из-под немецкого трупа и посадили на ступеньки. Тяжело дыша, возвращались из поля после контратаки гренадеры.

Подсчитали нехватку, и Перетригубы с казенным лицом доложил ротному:

— Так что, ваш-бродь, впоследствии, значит, невдачной атаки, семеро вбитых и девьятнадцять зачепленных!

Поручик Григорьев молча и вяло грыз добытую из бокового кармана сладкую плитку.

6

Перед зеркалом в пушистое февральское утро — когда на волшебных пальмах в оконных стеклах искрились, сыпались, полыхали цветными огнями небывалые звезды,— примеряла Ляля, стоя в одной рубашке, на голую шейку фермуар из рубинов, подаренный Жоржем Арнольдовичем.

Принимая рубины, не подумала Ляля, что похожи каменные алые капли, вплавленные в золотую паутинку, на живую человеческую кровь.

---

[1] Стой! Черт тебя побери!.. Назад, черт возьми!..

Порхало Лялино сердце птицею Сирином по розовой комнате, тепло было телу от снежных кафелей печи, и тело пылало под тонким батистом, — и было Ляле сладко, смутно и стыдно.

Одевалась Ляля идти на свиданье с Жоржем Арнольдовичем на вернисаж «Союза русских художников», а оттуда Шныркин обещал повезти кататься на тройке.

Шла вьюгами, разгульными и охальными, дебелая мутноглазая масленица.

В зале, перед сиреневыми дымками пейзажей Жуковского, нашел Лялю Жорж Арнольдович и склонил к Ляляной розовой ручке, к маникюренным ноготкам гладко причесанную свою, отливавшую синью голову.

Посмотрел мельком на Жуковского, поджал губы и сказал свое:

— Пфе!

И, беря Лялину руку, добавил телеграфным своим языком:

— Пессимизм! Туман! Без внимания! Едем тройке. Хотя — иностранец, обожаю русскую тройку. Русского писателя Гоголя замечательно: «Эх тройка! птица тройка...» Вообще, радоваться жизни. Всем стать Джеками Лондонами!

Ляля восхищенно посмотрела на Жоржа Арнольдовича и подумала: «Вот... настоящий американец!»

Не знала Ляля, что читал Жорж Арнольдович русского писателя Гоголя в четвертом классе Каменец-Подольской гимназии, из которого выгнали его за ранний американизм: брал у товарищей вещи под залог и просроченные заклады продавал с неумолимостью городского ломбарда.

Ничего этого не знала Ляля, и в твердом профиле Шныркина чудилась ей Канада, вяленая оленина, винтовка и сани, влекомые по хрустящему снегу собачьей упряжкой к полярному сиянию за мехами и золотом.

Жорж Арнольдович усадил Лялю в широкие ковровые сани, закутал полостью, обнял крепко за талию, и понесла тройка метать снежные комья по Тверской-Ямской к Петровскому парку.

Сахаром рафинадом искрилась вокруг саней пелена, и лежали по ней от деревьев, голых и длинных, синие глубокие тени.

На Ходынке, по протоптанному в снегу кругу, рысью ездили артиллеристы на заиндевевших лошадях.

Широкоскулый офицер в шведских валенках командовал им нараспев:

— Во-ольт нале-ееее-во! — и:

— Во-ольт напра-аааа-во!

Послушно вертелись привычные лошади, и на лицах у артиллеристов застыла деревянная арестантская скука.

Вспомнила Ляля (на мгновение только), что за тысячу верст, под Барановичами, смотрит на снег ротный поручик Григорьев, и там по снегу от берез такие же глубокие тени.

Но сейчас же забыла, приказала забыть, ибо в этот час текла в жилах Ляли не прежняя простая жидкость с красными и белыми шариками, а густой пряный шоколадный сироп, и красные шарики в нем были — крепкие капли рубинов.

Пронеслась тройка с гиканьем, звоном, шипом срезов и лязгом копыт по широкой улице Покровского-Стрешнева, и, кровавощекие, закутанные в цветные платки, стояли, смеясь, девки и бабы.

— Хорошо! — сказала Ляля с блаженной и покорной улыбкой.

Усмехнулся и Жорж Арнольдович, дико, по-кошачьи, и, привстав, крикнул ямщику:

— Гони, сукин сын, вовсю! Сотнягу — на чай!

От соловьиного свиста рванули ошарашенные кони, и вот понеслись назад, кивая тонкими ветками, придорожные березы. Откинулась от толчка Лялина голова назад, и отдавали сторицей каждый ожог Жоржу Арнольдовичу Лялины, набухшие ветром и жадностью, губы.

Обедать поехали в Стрельну.

В кабинете под пальмами сияло ледяным хмелем вино в узкогорлых бокалах; как снег, лежала тяжелая скатерть, и от белого света ламп дрожали на ней глубокие синие тени.

Казалось Ляле, что сердце ее несется по этой скатерти, по яркому снегу взбешенной, закусившей удила, птицею-тройкой, и не было силы спросить: куда несешься ты? Не было силы в ослабевших руках затянуть ременные вожжи.

Как сквозь сон, увидела Ляля горбоносые профили, пестрые, взвивающиеся шали, смуглые, прожженные чернотой сухощавые лица.

И когда под хищными пальцами зазвенели души гитар и гортанные голоса разлились по кабинету, цепляясь за пышные листья пальм, дробясь в винных искрах, в звонком стекле,— стало ясным Ляле:

«Да... сердце, жизнь, сама она, Ляля,— птица-тройка несется по синему снегу, и не голоса человеческие поют под гитарные звоны, а мятежные взвизги вьюг, лихие стоны пурги подгоняют бешеных, ополоумевших, потерявших привычную стежку дороги коней».

Цыганка, старая — в неводе мелких морщинок запуталось лицо в кулачок,— с нечеловечески громадными шарами выпуклых глаз, взяла Лялину руку.

Смотрела, качая головой, пришептывала сухим, ковылем пахнущим шепотом, колдовала чужими словами.

Растянула тонкие губы в смешок и проворковала:

— Девушка!.. Судьба твой счастливый. В золоте ходить будешь, сладкое есть. Сердечко твое к брюнету-красавчику. Не бойся, девушка. Слушай сердечка — счастливой будешь! Верь старой цыганке!

Задохнулась Ляля тревожно, взглянула на Жоржа Арнольдовича. Понял, выгнал цыган. Подошел и склонился низко.

И когда целовал в розовый вырез, ниже кровью полыхавших камней, заглянул в Лялины обеспамятевшие глаза и увидел: все можно.

7

Командиру немецкого корпуса генералу Шенгаузен фон дер Шлангенау телефонная трубка печально пропела:

— Русские отбили атаку. Наши части отошли в исходное положение.

Генерал помял широкий кадык и направился к карте.

Генералы друг друга бьют издалека.

По математике, картам, планам, учебникам и ложнейшим из ложных наук — стратегии и тактике.

Блудница на звере седмиглавом — стратегия, поочередно, блудит с фельдмаршалами и командармами.

Любит высокие звания и с разночинцами не якшается.

Для простых же генералов, штаб- и обер-офицеров дана проститутка рангом пониже — тактика.

И на плечах двух блудниц покоит прыщастое, в язвах, седалище вислозадая баба с проваленным носом на пегой лягушечьей морде:

ВОЙНА

Генерал уставился в карту, потер пухлые руки и позвонил:

— Тяжелой батарее левого сектора обстрелять ураганным огнем участок номер семнадцать, квадрат Б тридцать четыре.

— Слушаюсь! — брякнул квадратный майор, такой же квадратный, как квадрат, назначенный в жертву.

8

Поручик Григорьев понуро сидел на окопной ступеньке.

На проволоке забился и заверещал высоким заячьим визгом раненый немец.

Визг плыл на одной ноте, пронзительный, вязкий, и казалось, что если продолжится он еще секунду-другую — разверзнется земля, и весь мир провалится к черту, в черную дырку.

Худой гренадер с искаженным лицом поднялся на бруствер, вскинул винтовку, осторожно повел и брызнул в ночь огоньком.

Немец затих.

Гренадер соскочил, развел виновато руками и тихо, с недоумением сказал:

— Не можно ж!.. Скулить!.. Душу вымотав!

А там, где за лесом жерлами в безглазую темь стояли бронзовыми жабами четыре мортиры, телефонная трубка сифилитическим гнусом проблеяла в уши лейтенанту с лошадиной челюстью генеральский приказ.

И пока поручик Григорьев, жалобно морщась, смотрел, как уносили пулеметчика, простреленной головой легшего на тело «максима», лейтенант, сверясь по карте с номером цели, прокаркал команду...

На четверть секунды стало светло, как днем, и над лесом, пригнув к земле мохнатые шапки деревьев, испуганно дрогнувших, пронеслись по смятому воздуху, захлебнувшись ревом, четыре

паровоза...

нет — поезда, груженные смертью.

С железным грохочущим гулом понеслись к русским окопам.

Заслышав неистовый гуд, гренадеры прилипли испуганно к стенкам:

— Слышь, робя?

— «Берта» едет!

— Будя потеха!

Рев вырастал, становился нестерпимым, и, закончась дьявольским визгом, грянул четырежды.

Выплеск вулкана вырвал из сумрака позеленелые лица. Гейзеры рваной земли метнулись вверх, и мрачными звонами запели осколки.

Солдаты крестились, и кто-то, белее мела, держа рукой щелкавшую орешками зубов челюсть, сказал растерянно:

— Таким бы Гришку с царицей!..

Еще раз ревнули мортиры, и придавил нервы оглушительный гул.

И поручик Григорьев почувствовал, как с яростной силой вдувают ему в открытый испуганно рот вздувшийся воздух, ставший упругим и твердым, как резиновый мяч. И, поднятый неведомой силой, полетел без оглядки в пространство.

И в ту же минуту денщик, колченогий Нифонт, «Козье вымя», ощутил, как железный крюк зацепил его под ребро.

Больше ничего ощутить не успел и перешел в небытие без правой ноги и бока.

Поручик Григорьев, плашмя брошенный оземь, перевернулся четырежды, попытался привстать, оглушенный и засыпанный, и на месте своего блиндажа увидел глубочайшую, дышащую паром и дымом воронку, откуда, как ребра бронтозавра, открытые горным обвалом, торчали расщепленные полуаршинные бревна.

И еще в двух местах, где вилась раньше четкая лента окопов, зияли такие же сырые и жаркие дыры.

Поручик Григорьев простонал.

Сбоку подбежал гренадер третьего взвода, из сектантов, Огульный, помог подняться и отряс полушубок.

Из-под груды земли, вытянув руку, с мокрой культи которой сочились на снег темные капли, торчало тело, заканчиваясь раскромсанной головой, и по рыжим спек-

шимся космам поручик с трудом узнал субалтерна прапора Веткина.

Субалтерн Лобачевский, перепрыгнув кучу обломков, крикнул:

— Тридцать два убитых!

Поручик Григорьев с трудом прохромал к яме блиндажа. Сел мешком прямо на снег и закрыл безвольно глаза.

Огненные вспышки, пламенеющие нити мелькали в глазах, свивались, дрожали и метались в черной глянцевой пустоте. Понемногу они стали свиваться в золотые жгуты, и из золотых жгутов выплыли четкие, по черному глянцу, надписи:

«Гала-Петер»... «Гала-Петер»... «Гала-Петер»...

Поручик охнул и открыл глаза. Но буквы не исчезали. Небо было глянцево-черным, как бумажка от шоколада, и по нему толпились, обгоняя друг друга, золотые надписи...

Поручик приподнялся на руках и стал испуганно пятиться.

Наткнулся на обломок бревна, опрокинулся на спину, и тут уже сдали поручичьи нервы, и, колотясь оземь, дрожа, заплакал мальчик Коля Григорьев не о Веткине, не о тех тридцати двух,— нет, слишком прост для поручика был смертный человеческий ужас и не трогал души, а рыдал горько и жадно о *трех с половиною фунтах шоколада*, погибших в блиндаже, уничтоженном «Бертой».

9

Ляля устало и блаженно сосала тающую во рту круглую плитку «Миньон-Экстра», лежа под шныркинским шелковым одеялом.

На подушке, рядом, прижавшись к горячему Лялиному плечу, лежала голова Жоржа Арнольдовича.

Ляля погладила синью отливавшие волосы, вздохнула и шепнула печально:

— Бедный Коля! Наверно, у него нет сейчас «Миньона»!

— Спокойствие, крошка, — ответил с весом Жорж Арнольдович, — завтра шлю ему ящик «Миньона». Как

бы виновен... но «любовь свободна», — поется в опере испанца Бизе и... вам, русским, стать Джеками Лондонами!

И притянул к себе как воск послушную Лялю.

10

И еще:

Мычал теленок в углу, и в заклеенные бумагой шибки окна, сутулясь, влезала глухая бабища-ночь.

На полу храпела, выставив голые, тверже дерева, пятки, Агриппина Огурцова.

А на плечи перелетал звонкий шепот:

— Мишка, а Мишка!

— Чево?

— Дай щиколаду! Ты не весь сгрыз, упрятал!

— Ишь охоча! А что ж свой сожрала?

— Укусно!

— И соси пальца!

— Дай!

— Не дам... сказал! А будешь скулить — в морду! Помолчали, и девчонка вздохнула жалобно:

— Счастливый тятько-то!.. Почитай кажин день по фунту щиколаду жрет!

И опять после молчания отозвался мальчиший, грубоватый шепот:

— Знамо, дура! А на што ж и война!

Март 1916 — сентябрь 1923 г.

МАРИНА

1

Люблю небо, траву, лошадей, а всего больше — море.

Люблю плоское, угрюмое Балтийское побережье и мутно-зеленую волну, непрестанно шлифующую серебряный песок пляжей у берегов Скандинавии и северной Евразии.

Люблю голубой хрусталь Черного моря в штилевую погоду и пятисаженные воланы пены, взметаемые штормом на голые обрывы Аю-Дага.

Аквамариновую бледность Мраморного в июльский зной, когда вода бесшумно расступается перед узорным носом каика, роняя бриллиантовые брызги, а в прозрачной глубине по чуть зеленоватому меловому дну свиваются солнечные жилки.

Люблю тяжелую, густо-лиловую влагу Средиземья.

И несказанно — густую ляпис-лазурь океана, распластанные в небе острые крылья альбатросов, прыжки летучек и даже жадную слепую харю акулы.

Сердце у меня трепыхается неудержимо и радостно, когда в гавани вижу легкие кресты рей на высоких мачтах, сети вантин, толстую трубу с красной полосой и белой звездой на ней, крутую корму и сладко манящие буквы: «Buenos Aires», «Hawaii» или «Melbourne».

А матросская шапочка с вьющимися за спиной ленточками доводит меня почти до обморока.

С детства томила меня одна мучительно неотвязная мечта: стать моряком и водить сказочно великолепные и грозные боевые корабли, а уж в худшем случае получить

в командование океанский пароход. Но океанских пароходов у меня не было и не будет, если только какому-нибудь сошедшему с ума пароходному королю не вздумается усыновить меня.

Боюсь только, что вышел я уже из возраста, пригодного для усыновляемых.

2

В военный же флот я не попал благодаря непристойной моей близорукости.

Когда исполнилось мне девять лет и поднялся в семье вопрос о моем будущем, куда меня направить, мама хотела в инженеры, папа в присяжные поверенные, а я с неожиданной силой взвыл мощным альтом:

— Хочу в морской корпус!

— Какой ужас! — вскрикнула мама. — Ты хочешь утонуть в Цусимском проливе и чтоб тебя рыбы съели?

— Фи! — дополнил папа. — Солдафон!.. Пьяница! В такое время, когда Россия подымает голову.

Папа был демократом и в то время (приближался 1905 год) подымал голову.

Но мне не было дела до папиной головы.

Вспомнил я самые страшные слова, которые слышал во дворе от сапожникова ученика Моньки, набрал воздуха в легкие и заорал крепко и пронзительно:

— Стервы!.. Пропойцы!.. Если не дадите меня в корпус, я зарежу себе горло, — и, цапнув со стола вилку, ткнул в подбородок. Показалась кровь. Немного.

Мама взвизгнула. Отец вырвал вилку и дал мне замечательного подзатыльника. Где он, последовательный демократ и противник телесных наказаний, мог научиться таким, до сих пор не понимаю.

Меня выгнали из кабинета, но я притаился за дверью и слышал последующий разговор.

Мать корила отца за грубое обращение с ребенком, отец гудел, доказывая, что нельзя при мальчике заводить разговоры о его будущности, ибо, по словам Песталоцци, это вредно действует на неустановившиеся характеры.

Он стоял на своем.

— Гимназия и юридический факультет. Стране нужны культурные общественные деятели.

Но мать расплакалась и приняла мою сторону.

— Он такой нервяк! Не дай бог, что-нибудь с собой сделает... Так участились детские самоубийства. Ты жесток!

Насчет нервов мама явно заблуждалась. Не далее как накануне я, поспорив во дворе с Монькой, съел на пари без малейшего содрогания пять дождевых червей, приготовленных для рыбалки.

Отец пожал плечами и сказал презрительно:

— Где женские слезы — конец логике! Делайте как знаете! Я умываю руки.

В августе мать привезла меня в Петербург в морской корпус. Но я блистательно провалился на медицинском осмотре: не мог прочесть даже верхней строки испытательной таблицы для зрения, где четырехвершковые буквы составляли загадочное и роковое для меня слово:

ПХЕШ

Мать бросилась к директору корпуса.

Элегантный адмирал рассеянно погладил выхоленной ладонью мою зареванную щеку и мягко програссировал:

— Очень жаль, судагыня! Пгелестный мальчик, внук севастопольского гегоя... Из него вышел бы, навегное, лихой мичман... но закон. Згение ниже ногмального, более, чем на ноль пять. Никак нельзя!

Втайне обрадованная мать увезла меня домой, и пришлось поступить в ненавистную гимназию.

Должно быть, от горечи и обиды только больше распылалась моя смертельная нежность к обманувшему морю, и вместе с ней пышным цветом распустились в моей натуре авантюризм и флибустьерские наклонности.

Если бы в это время еще не была открыта Америка, возможно, что я отправился бы с Колумбом открывать ее, забравшись тайком в трюм каравеллы.

Но открывать было уже нечего, кроме полюса. А я морозов не любил.

Когда я заканчивал четвертый класс, математик, по прозвищу «Чугунный кисель», посадил мне в четверть двойку по алгебре.

Отец повертел в пальцах синюю книжечку, ударил ею меня по носу и брюзгливо процедил:

— Лодырь!.. Не кончишь гимназии, останешься паразитом на моей шее. Сам себя не прокормишь!

Это было уже чересчур. Вечером я взломал бабкину шкатулку, вынул из нее двадцать пять рублей и ночью уехал на «Князе Суворове» в Одессу.

Мальчишка я был тогда здоровый и решительный.

В Одессе разыскал на «Афоне», готовом к отплытию в александрийский рейс, товарища отца, ходившего на пароходе старшим помощником, — Гастона Юльевича Цезарино, и вручил ему мастерски сработанную под отцовский почерк записку с просьбой: «Взять малыша в рейс, прокатиться».

Цезарино ничего не заподозрил и взял меня в качестве племянника. Формальностей в те времена для выезда за границу никаких, в сущности говоря, не требовалось, кроме свидетельства о благонадежности из полицейского участка, но мне и этого по несовершеннолетию не полагалось.

В Александрии я с «Афона» сбежал. Слонялся по плоскому, жаркому, ослепленному солнцем городу, проел в неделю все свои деньги на сласти, ночевал в порту на тюках товаров, начал голодать, утром бродил по рынку, от голода воровал бананы и плоские хлебцы с лотков торговок, дважды был пойман и сильно бит и кончил бы, вероятно, плохо, но на грани катастрофы меня подобрал в гавани машинист французского пассажиро-грузового стимера «Женераль Жилляр», рейсы — Брест — Марсель — Александрия.

Этот машинист, мсье Мишель, оказался презанятным человеком.

Анархист, участник революционных вспышек во многих углах земного шара, деливший жизнь между бомбами и револьверами и мирным копанием в пароходной машине, он стал моим первым политическим наставником.

И я до сих пор помню его как наяву. Вот закрою глаза, и... сквозь красноватую полумглу с мелькающими искрами выплывает белая каюта, блеск лака и меди, средиземноморский ветерок из виндзейля, приятно шевелящий волосы, и на койке смуглый худой старик с белоснежной эспаньолкой и черной трубкой в зубах, которую он поддерживает скрюченными пальцами левой руки, раздробленной прикладом венесуэльского жандарма. Гортанный голос, бросающий пылкие слова о боях, побегах, взрывах. Сказка тысячи и одной ночи и всегдашняя священная фраза:

— Мальчишка! Люби революцию! Во всем мире она

одна стоит любви! Остальное — богатство, слава, женщины — je m'en fiche [1]. Тьфу!

Мсье Мишель устроил меня на стимер штурманским учеником. Большего я и не хотел.

Три месяца я чертил Атлантику, и в этих рейсах узнал я женскую ласку, полную, обжигающую, стыдную и радостную.

В Бресте села на стимер англичанка, цирковая эквилибристка, мисс Пери.

Ехала на ангажемент в Каир.

Была она похожа на яблоко белый налив, чуть зарозовевшее с одной стороны, прозрачное и прохладное.

И когда стояла на палубе у борта, легко опершись на лакированные перила бортовой сетки, казалась воздушной... Вот взлетит, как чайка, и растает за кормой.

И я неотрывно смотрел на нее как ошалелый.

Утром, когда я на палубной вахте шпарил палубу голиком, мисс Пери сидела в шезлонге у лага. Взглянула на меня сияющими фиалковыми глазами так, что захолонуло у меня под ложечкой, улыбнулась и розовым язычком облизнула губы.

Кошка белая!

Махнул я в сердцах голиком, и плеснуло грязным потоком по ногам какому-то рыжему немцу, который все время вокруг шлялся.

Ох! Не нарочно ли я двинул ему голиком под куцые берлинские штанишки?

Не шляйся где не нужно!

А после заката стюард первого класса Альберт сказал мне:

— Сопляк!.. Ступай в каюту мисс Пери!

— Зачем?

— Помощник приказал... А там узнаешь!

Подлая была морда у Альберта, рябая, и усмехнулся он такой подлой улыбочкой. А я ничего еще не понял.

Вошел в каюту. Сидит мисс Пери на диване, вся в белой пене, как тузик в прибое. А вокруг запах райского сада, и на лампочке шелковая чайная роза цветет.

— Come here, my baby! [2].

Шагнул к ней... кровь в лицо, а она нежно губами в уголок рта меня...

---

[1] Наплевать мне на это.

[2] Подойди сюда, дитя мое!

Укусила?.. Поцеловала?.. Разве я знаю?.. Разве можно назвать?

Только ступни мне молния к палубе пришила.

А ушел я из каюты лишь на рассвете, сумасшедший, пьяный, и мулат-кок мимоходом меня ногой в зад двинул. А я не обиделся.

С той поры немало женщин встречал я на своей дороге, но почти все они были ненастоящие, и встречи с ними оставались в сердце шрамами, как царапины на теле.

У каждой было что-нибудь поддельное, не свое.

У одной волосы, у другой губы, у третьей голос, смех, душа, чувство: что-нибудь всегда было крашеное или искусственное.

Настоящих женщин три было в жизни.

Первая моя — мисс Перн, быть может, потому, что встреча была краткой и неповторимой. Вторая — теперешняя жена моя и та, о которой слово ниже.

Но об этом особо. А плаванье мое тем кончилось, что в конце августа в Бриндизи явились на пароход итальянские карабинеры с нашим консулом, выпули меня из рулевой рубки и отправили с консульским курьером через Вену в Киев.

Из Киева отец отвез меня домой и даже не бранил.

Только вгляделся в мою почерпелую рожу, присвистнул и сказал:

— А пожалуй, толк из тебя выйдет!

Я головой только кивнул. Разговаривать много не любил в те годы.

3

Скоро было сброшено со спины восьмилетнее ярмо гимназии, пришли вольные университетские дни, сходки и беспорядки. Примкнул я, по примеру моего учителя, мсье Мишеля, к анархистам, но дружба у меня с ними не удалась.

Любимыми моими героями в то время были Люсьен Левэн и Дориан Грей, и я никак понять не мог, почему анархисты осуждают меня за ежедневное бритье, визитку и хризантему в петлице. Казалось,что можно иметь самые крайние убеждения, но при этом не жить свиньей, не ходить с нечесаными космами и чтобы из-под брюк тесемки от подштанников болтались. В партийной программе

таких аскетических заповедей я не обнаружил, а традицию на сходке анархистов в большой аудитории объявил атавистической отрыжкой. Так и кончился мой анархизм.

В девятьсот четырнадцатом кончал я юридический факультет, а в расейских просторах в душную жару июля стлался дым лесных пожаров и корчилась Европа в судорогах воинствующей шизофрении, оглушенная тремя выстрелами сербского гимназиста, прогремевшими в древнем Сараеве на набережной пересохшей речки Мильяски.

И на третий месяц войны ушел я вольноопределяющимся в Елисаветградский гусарский полк, почуяв в чугунном громе, шедшем с полей боев, предвестие какого-то нового поворота истории.

За полгода взял два солдатских «Георгия», офицерские погоны, бежал от макензеновских полчищ с Ужокского перевала, не успев даже рассмотреть венгерок, сидел пэш в окопах и кормил вшей.

А по весне шестнадцатого года хлебнул досыта вонючего завтрака из химического снаряда с желтым крестом.

И с унавоженного мертвецами, загаженного, залитого кровью, засыпанного спирохетами, гонококками, всякими палочками и запятыми стервяного гноища фронта белый сверкающий поезд с красным крестом увез меня в Евпаторию.

Из легких у меня непрерывно хлестала пенная кровь, как из бараньей глотки на бойне.

4

Из русских людей Евпаторию мало кто любил.

Обожал русский интеллигент, народолюбец и богоискатель, отдыхать на природе по-особенному, не в пример какой-нибудь загранице. И ехал на курорты играть в преферанс, пить по большой и кобелировать. Но чтоб шло это все на лоне природы, в благорастворенной атмосфере и непременно с морским видом на горизонте.

И если с морского горизонта тянул ветер, в котором не было запахов Шустовской несравненной и рябиновой, «Лебяжьего пуха», богоискатель от такого ветра простужался, чихал, кутался в пальто и переезжал в другое место, где ветер был ему роднее.

В Евпатории ветер пахнет только солью и степным

медом; в золотых россыпях песка нет дохлых кошек и битых бутылок.

В Евпатории полынная степь увалами на десятки верст кругом, и пахнет от нее терпкою горечью и нежной пряностью чебреца.

В глаз не вберешь сразу.

Степь и море.

Море, как степь, и степь, как море.

А над этим небо — персидская тающая бирюза, и заправлены в нее розовые облачные жемчужины, и солнце сыплет пшеничным зерном, а по вечеру цепляется кудрями за зеленые гребешки волн.

Первые два месяца провалялся я безвыходно в санатории наследника, бывшем Лосевском, что рядом с «Дюльбером».

Доктора не очень надежили насчет пневмонии и еще чего-то, что одни доктора и знают.

Было мне, однако, двадцать три, крепости и крови хватило, и на втором месяце стал я так поправляться, что сами доктора испугались.

Словом, в середине июня вышибла меня комиссия из санатория, но для восстановления здоровья дали отпуск на три месяца.

И решил я остаться в Евпатории.

Хотя дорожало в Крыму, но корнетское жалованье шло, и папа пока еще получал приличную ренту в своей нотариальной конторе.

И денег у меня курица не клевала.

А кроме того, попавши к морю — от моря уехать я был уже не в силах.

Переехал я на Пятую Продольную, на дачу к госпоже Чафрапеевой.

Хорошая была дама. Весом пудов на двенадцать и с бородой рыжей колечками. Первый раз я такую бороду у дамы видел.

Кормила она меня на убой, и к началу июля весил я как никогда: четыре пуда тридцать восемь фунтов.

Неприлично мне это показалось, и стал я для моциону шататься в самый жар в степь, за Мойнаки.

Дачников в шестнадцатом году немного было. «Бреслау» налетом спугнул.

А мы в санатории, признаться, и не слыхали налета этого.

Лишь поутру повар рассказывал, как возвращался он

ночью с пирушки от кума и турецкий черт по нему из пушек палил, и даже у «Талассы» кусок забора отбил, да только повара цыганская ведьма за три с полтиной от военной смерти заговорила, и он уцелел.

Но дачники упрямо не ехали, и познакомиться даже не с кем было.

5

Тогда и познакомился я с Колей и Афанасием.

Забрел я рано утром в древнюю евпаторийскую мечеть, приземистую, прохладную, расписанную поблекшими арабесками, волшебную.

Купол ее, как голубой небесный свод, виден далеко с моря, а рядом неунывающие россияне в знак победы креста над полумесяцем воздвигли потрясающий собор жандармского стиля.

И если взглянешь перед закатом, когда по куполу мечети бродят трепещущие розоватые тени, кажется, что она содрогается от судорог рвоты, смотря на соседа.

Спустился я с набережной и побрел к рыбацким лодкам, вернувшимся с лова.

Кипело прозрачное стекло на расплавленном песке, и плескались в нем черные смоленые донья баркасов.

В широких их брюхах шиматилась, била хвостами пахнущая глубинной сыростью рыба: плоские камбалы, юркая султанка, длинная стрельчатая скумбрия.

И с баркаса засолился крепкий голос:

— Капитан!.. Что, рыбы купить хочешь?

Стоит в баркасе этакий бронзовый монумент, упер черные ноги в банку, зубы кипенью, ухмыляется.

Борода, как густое индиго, на коричневых скулах.

— Нет... Не купить. А вот ищу, кто б меня на лов взял.

— Зачем?

— Посмотреть хочу, как ловят.

Перегнулся — и шлеп по руке шершавой акульей кожей ладони.

— Есть, капитан! Ходи завтра после солнца. Спроси Афанасия. Мы с Колей повезем, все покажем!

И ночью, на веслах, в черную сутемь. Гулял по морю крепкий, гудящий бриз.

Ловить ночью по случаю осадного положения в сущ-

ности воспрещалось, но на нарушение этого правила смотрели сквозь пальцы. Нельзя было лишить рыбаков заработка.

Предупреждали только не ходить от берега дальше пяти верст.

За этой линией можно было нарваться, без предупреждения, на пушки дежурных контрминоносцев.

За береговой батареей поставили парус.

И сразу закипела, забурлила у носа вода. Накрепило. Люблю на крене лечь на подветренный борт. У самых зрачков с чертовой быстротой летит шипящая слюда, и брызги летят в глаза.

Голова кружится, кружится... Вот-вот вылетишь.

— Чего лежишь, капитан? В море пошел — работать надо. Помогай Коле перемет сажать.

А Коля Афанасиев племянник был.

Смоленый, сколоченный из круглых мускульных бугров.

— Учись, учись!

И стал я помогать Коле, неумело и неловко.

. . . .

Вернулись мы к рассвету, до краев полные рыбой.

— Приходи, капитан! Работать можешь. Твоя рука счастливая, — сказал Афанасий на прощание.

С того дня почти каждой ночью уходил я на черном пузатом баркасе в море.

А звался баркас «Аретэ», что по-гречески значит «добродетель».

Подружился с Колей крепко. Было нам поровну лет, а море сближает.

Разрывает земля, вражит земля людей, а море вяжет прочно и крепко.

И спросил меня однажды Коля, когда мотали мы крючья перемета:

— Чего, Боря, скучный?

На море нет отчеств и чинов. Вольное море! Не любит поклонов, и у моря каждый сам себе отец и сам себе царь.

Звал меня Коля по имени, запросто, как все рыбаки.

— Разве скучный? Почему думаешь?

— Не думаю — вижу! Глаз морской острый, скуку в человеке видит.

— Да нет же, Коля. Просто так!

Цок языком Коля.

— Знаю чего! Любовь надо.

— Ну, придумал!.. Любить-то здесь некого.

— Зачем некого? Красивые женщины есть. Петербургские. Ты молодой, красивый!

— Надоели мне, Коля, петербургские женщины.

— Караимки красивые есть. Богатые! Бабаджан девушка. Тотеш, Бобович. Приданого двести тысяч.

Смешной Коля! Двести тысяч. А я не хочу.

— Не нужно мне твоих двести тысяч. Бери себе!

— Я бы взял. Баркасов настроил, шхуну купил. Война кончится — товар в Трапезонд возить, обратно. Контрабанда немножко. Только за меня не пойдет. Я — простой рыбак.

Зло бугрятся Колины мускулы, и на щеке желвак вскочил.

— Иди на войну — прапорщиком сделаешься, тогда пойдет!

— Не хочу на войну! Мы, греки, мирные. Кровь видеть не надо.

Выбросил Коля последнюю бухту перемета за борт. Играет месяц голубоватыми бликами в Колиных зрачках, и грустные зрачки стали у Коли.

Тяжелая жирная зыбь шумела, и переползал голубоватым удавом прожектор с миноносца по синему горизонту.

6

Было это уже на равноапостольного князя Владимира, когда поспевают в садах большие черные вишни, горьковатой пахучей сладостью расплывающиеся во рту.

За два дня, возвращаясь с лова, напоролись мы против маяка на торчавшую сваю и проломили дно у третьего шпангоута.

«Аретэ» лежал перевернутый на песке, и Коля смолил свежую латку.

А я, расстегнув френч, болтал от скуки ногами в горячей воде, брызги которой мгновенно сохли на сапогах.

Сзади шурхнул песок, но я не оглянулся.

— Колька, божий жук! Здравствуй! Как живешь?

Коля поднял голову от жестянки со смолой и радостно закивал.

— Марина! Здравствуй, здравствуй! Что давно не видно?

— К тетке на побывку в Чаплинку ездила. Соскучилась — вернулась!

Повернул я отяжелевшую золотым зноем голову.

Узкие босые ступни в песке, полосатое ситцевое платьице, туго обтянувшее высокую талию... Протягивает руку Коле.

— Как Афанасий? Много наловил за месяц?

— Ничего, наловили. С нами друг ездит... Боря. Рука легкая.

— Кто ж этот друг-то новый?

— А вот на камушкэ сидит. Знакома будешь!

В упор по мне сбежали серые глаза с черным ободком у райков, от головы к кончикам сапог. Показалось мне, что задержались на минутку на зубчатых крылышках корнетских погон, и губы дернулись злой усмешкой.

— Знакомься, Марина! Большой друг, Боря! Свой человек!

Нехотя коснулась моей ладони ее сухая враждебная ладонь. Даже не взглянула на меня вторично.

— Ну, Колька... некогда мне тары-бары разводить! Приходи вечером!

— Хорошо, приду!

Повернулась и побежала к набережной, словно взлетая над колеблющимся в солнечной дрожи песком.

— Кто такая, Коля?

— Маринка!.. Наша, рыбацкая!

— Как ваша?

— Отец у нее рыбак был. Старшина у нас. Татары его зарезали пьяного. Теперь она сиротой живет. Мы ей все помогаем. Отец хороший был. И она тоже!

— Мгм...

Внимательно в мои глаза уперлись черные Колины маслины.

— Надоели, Боря, богатые женщины? Люби нашу, вольную!

— Отстань!

Вспыхнули маслины обидой.

— Брезгуешь?

Вскочил я с камня.

— Коля! Ты дурак! Я тебе ничем повода не подал к таким словам. Если еще что-нибудь подобное скажешь — мы с тобой не друзья!

Погас Коля.

— Не сердись!.. Показалось... Ну, надо домой. Завтра можно на лов.

Пошел я к трамваю. По дороге пытался вспомнить лицо девушки. Но не смог.

Только смуглые ступни в золотом песке. Ничего больше.

И в этот день навсегда вошла в мою жизнь Марина.

Морская.

Женщина моря.

7

Встретил я ее опять случайно, забредя в степь, за Мойнаки, в свою обычную прогулку.

На кургане, под скифской раскосой пузатой каменной бабой, увидел издали человечью фигуру.

Из-за бабы не видно было — кто, и дробило очертания жаркое степное марево, и только вплотную, со спины, узнал я ситцевое платьице Марины.

Хотел повернуть обратно, но она оглянулась на шаги.

Поднес я руку к козырьку.

— Здравствуйте, Марина... не знаю, как дальше?

Она встала, отряхнула травинки с платья и быстро ко мне подошла.

— Дальше ничего нет. Просто Марина!.. А потом простите меня.

— Я... вас? За что?

— Да, извините. Я нехорошая была прошлый раз. И с вами зло обошлась!

— Разве?

— Да!.. Я ж не знала, кто вы, а увидела погоны, и сердце закипело. Терпеть не могу вашей погонной шантрапы! И говорить с вами не захотела, и Кольку обругала, что с офицером дружбу завел. А потом он мне рассказал.

— Что ж он рассказал?

— Что вы не такой, что вы свой!..

— Какой свой?

Вспыхнула она.

— Что вы ломаетесь и дурачка представляете? Мне же трудно рассказать какой, а вы сами понимаете!

Она говорила с чуть заметным украинским акцентом, и голос был грудной и певучий.

— Не сердитесь!.. Конечно, понимаю! Но вы меня наказали без вины, а я вас. Теперь мы квиты!

— Значит, мир? — И она протянула руку.

— Мир!

Задержал я ее руку и рассмотрел всю.

Тонкая, смуглая, с высокой грудью, круглыми плечами. Иззелена-бронзовые косы из-под шелкового татарского платка.

Королева, ради забавного каприза надевшая латаное платье в воспоминание о том, что была когда-то маленькой бедной Золушкой.

— Что вы так на меня смотрите?

— Прошлый раз не успел рассмотреть.

— Разве так интересно?.. — И сразу: — Вы всегда такой откормленный, как репа?

Неловко мне стало. Чертов санаторий вылечил меня на славу. Чафранеевские цыплята добавили, и был я похож в ту пору на круглого амбарного кота.

А Марина хохочет:

— Ну, ну, не буду!.. Идем домой!

По целине пахучей, прогретой, по серебряным султанчикам ковыля пошли мы к дачам и уже на пятой линии повстречали двух распаренных мокрых матрон.

Посмотрели они на меня, на Марину, и краска сплыла с лиловых щечных мяс.

Услыхал я позади шипящий, гнусный такой, змеиный голос:

— Вы подумайте!.. А еще гусар!.. С такой дрянью посреди белого дня!

Остановился я. А Марина глазами в меня— и не глаза уже, а нестерпимые две иглы колючие И лицо как мел.

— Марина? Что с вами?..

Задохнулась...

— Уйдите!.. Оставьте!.. Вот это они... ваши обо мне!

— Ну?..

— Уйдите!.. Я прошу!

— Нет, не уйду!

Схватила меня за руку и ногти в ладонь врезала.

— Это же ваши жены... матери... честные!.. Идите к ним!

Положил я ей руку на плечо твердо и жестко.

— Не ерундите! В чем дело?

Еще больше заострились и совсем вошли в мои глаза колючие иглы. Освободила плечо от моей руки.

— Слушайте, Борис! Нужно, чтобы вы сразу знали обо мне. Чтоб никаких не было недомолвок. Я живу как хочу!.. Многих любила уже и многих выкинула. Я простая. Мало училась. Вы вот университет, вижу, кончили, а меня из городского училища пришлось взять, когда отца зарезали. Денег не было. Но я много знаю! А живу, как хочется, и люблю, кого хочу. А этих ваших законных, которые свое мясо в церкви продали за название честных, ненавижу, и они меня ненавидят. Хотите знать меня такой — хорошо! Не хотите — идите к черту! Не пожалею!

— Об этом не нужно и говорить. Сами же сказали, что я ваш!

— Да? Ну, вот ваша дача! До свиданья!

— Когда же мы увидимся?

— А разве нужно?

— Да, нужно!

— Ну хорошо. Увидимся!

8

Горели июльские дни.

Когда горят июльские дни у моря, звенит небо хрустальным звоном, и звенит кровь в сердце, и становится сердце тяжелым, как золото.

Мирные тени русских классиков!

Вспоминаю ваши страницы, ваши слова о любви.

Медленно плетущаяся нить, встречи, вздохи, записки, музыка, лунные ночи, платонические поцелуи, сближения, касания, сгорания и робкая строчка точек на сто тридцать пятой странице романа.

Мы проще!

Мы крепче, и души у нас, как горькие ветры азиатские, вздымающие пыль по степным дорогам.

И слова у нас, как горячие куски свинца, что бросает, рокоча, пулемет в бегущее человечье мясо.

Вольные наши души и простые слова!

Взял я Марину на кургане безлунной степной ночью, когда пряно пах чебрец и свистел куличок с Мойнакского озера.

И стала Марина мне женою.

А дни горели, полнокровные, упругие июльские дни.

И в сонной Евпатории стал я притчею во языцех.

Однажды, перед завтраком, сидел я на террасе, и серд-

це мое было, как золото, и полно было сердце благовонным, тяжелым степным медом.

А через сад идет, вижу, поручик один. Видел я его несколько раз в саду с хористками из Бориважа.

Затянут в замшевый френч, белые перчатки, при шашке.

— Могу я видеть корнета Лавренева?

— К вашим услугам!

— Я, — говорит, — от общества господ офицеров... Мы, то есть общество, обсуждали ваше поведение...

— Как?..

— Ваше поведение, и господа офицеры уполномочили меня сделать вам дружеское внушение, не доводя дело пока до коменданта. Ваши открытые появления на улицах и в публичных местах роняют достоинство офицера, тем более что каждый знает вашу спутницу как женщину...

Потемнело у меня в глазах, шагнул к нему.

— Молчать!.. Если ваши губы произнесут определение этой женщины, я сделаю из них ростбиф.

Даже отпрыгнул он.

— Но позвольте!.. Меня уполномочили!.. Вы ответите!..

— Что ж, вы на дуэль во время войны меня вызовете? Не советую. Я просто вам кости поломаю. А насчет этой женщины можете сообщить господам офицерам, что они все ей на подстилку не годятся.

— Так и прикажете передать? — сказал он, оправившись от испуга.

— Так и прикажу. И еще скажите, что я их порадую еще больше.

Ушел он, а я сразу в город.

Нашел Марину.

— Маринка! Идем по магазинам!

— Что такое?.. Зачем?

— После скажу!

— Что ты затеял, Борис?

— Спектакль! Фейерверк! Не спрашивай пока ни о чем.

По набережной из магазина в магазин и в каждом так:

— Марина! Какая шляпа тебе нравится? Эта?.. Заверните! Какие туфли хочешь?

— Да постой! Ничего не хочу!

— Это не важно! Какие ты взяла бы, если б хотела? Эти? Примерь!.. Заверните! Какой шелк тебе больше пра-

вится? Полосатый или в клеточку? В клеточку? Заверните! Чулки?.. Белье?.. Заверните! Перчатки?

На улице остановил почтенную даму.

— Мадам!.. Виноват!.. Какая лучшая портниха в Евпатории? Мадам Софи?.. Извозчик!.. К мадам Софи!

Марина хохотала.

— Мадам Софи? Снимите мерку! Вечерний туалет для концерта по последней картинке. К пятнице! Марина, тебе какой фасон нравится? Выбирай!.. Этот? Слишком скромен! Я думаю, этот лучше! Готово?.. Получите вперед! В пятницу утром должен быть готов!

Выкатились мы на улицу усталые, мокрые.

— Борис? Это ты мне?

Жесткими стали глаза у Марины.

— Тебе!

— Напрасно!.. Я не возьму от тебя ни одной булавки. С меня моего хватит.

— Маринка! Золотая, милая! После пятницы можешь бросить все в печку. Но в пятницу ты в моей власти. Утром заедешь к портнихе, возьмешь платье и приезжай ко мне.

— Чудак! — сказала она с сияющей улыбкой.

9

В пятницу у меня Золушка надела наряд королевы.

Когда повернулась ко мне, застегнув последнюю кнопку, я даже вздрогнул от радости.

— Хорошо! Теперь последняя пытка! К парикмахеру — и в театр!

— Куда-а?

— В театр! Я взял ложу на концерт Эрденко!

Задумалась Марина.

— Так вот зачем это?.. Подумай!.. Может, не нужно!.. Может, сам не выдержишь!

— А ты?

— Мне все равно! Я везде одинакова!

— Ну, и я не боюсь!

Заказанный извозчик ждал у дачи.

Из опытных рук мсье Христофора Марина вышла ослепительной.

Евпаторийский театр... Игрушечная клетка. Сцена незабываемого спектакля.

Публика была уже в сборе. Капельдинер открыл дверь ложи.

— Прошу! — склонился я перед Мариной.

Вошла она в ложу, высоко подняв голову, и, садясь, обвела партер небрежно прищуренными глазами.

Решительно в эту минуту она была повелительницей своей судьбы и чужих судеб.

Головы повернулись к нашей ложе, десятки ртов закапали слюной от изумления.

Сначала никто не узнал Марину в ее королевском одеянии.

Потом пролетел легкий гул смущения, негодования.

Марина спокойно повернулась боком к партеру, лицом ко мне.

И... ах, какой свет полыхнул в ее глазах!

Рука в белой бальной перчатке легла мне на руку, и, нагнувшись, она шепнула:

— Я тебя очень люблю!

— И я!

В первом ряду поднялась, синяя от негодования, толстая дама и яростно, громко сказала растерянному спутнику:

— Ни за что!.. Сейчас же уйду! Это беспримерная наглость!.. Вызов всему порядочному обществу!

Марина с равнодушным пренебрежением посмотрела на взбешенную бабищу, постукивая веером по барьеру ложи.

А ночью, когда мы вернулись в мою комнату, она бросилась мне на шею и заплакала от волнения, тревоги, счастья.

Утром ушла в своем ситцевом платьице, оставив пышные волны шелка и батиста небрежно брошенными на полу.

А в двенадцать часов меня вызвали к коменданту, обязанности которого нес древний зауряд-полковник Новицкий.

Старик был очень смущен, нес какую-то чепуху, совсем смяк и в заключение, отпуская меня, просил только не бравировать слишком.

10

Любила Марина незабвенно.

Была в ней жадная порывистость, вихрящийся огонь, простая правда, постоянная напряженная тревога, и были наши дни и наши степные ночи, как искрящийся праздник.

Не знал я с Мариной будней.

И когда приходила она в мою комнату, белые, масляной краской крашенные стены расцветали семицветием радуги.

И вот, кто расскажет мне, кто объяснит, почему и как в плоском и сонном городке, где люди были плоские и сонные, как степные увалы в летний полдень, выросла она такая тревожная, пламенеющая, необыкновенная?

Было у нее тонкое крылатое тело, глаза — серые угли, вишневые горькие губы, лебединые гибкие и сильные руки.

А пальцы... у старых, потемневших в прохладном сумраке музеев портретов Ван-Дейка такие есть пальцы, длинные, нервные, легко суживающиеся от ладоней к концам, и ногти, не ведавшие маникюра, сами круглились и розовели, как миндалины.

И еще любил я ноги Марины, смуглые, худощавые, мускулистые, с узкими ступнями, не изувеченными обувью, почти не касавшиеся земли на ходу.

Говорила Марина порой неправильно, на незнакомых словах делала смешные детские ударения, во многих случаях путалась, о многих вещах имела самые странные представления, над которыми сама хохотала, но была в ней заложена от рождения вместе с голубиной простотой чудесная первобытная мудрость.

И когда говорила она, сев в кресло, в своей любимой позе, заложив ногу на ногу и подпирая крутой подбородок скрещенными кистями рук, слетали слова, как розовые золотокрылые птицы, кружились по комнате, колдовали и пьянили.

И еще любила Марина читать.

Только и принимала от меня подарков что книги.

Съездил я раз в Симферополь и привез ей оттуда десятка три книг.

И большей радости не видел я на лице Марины, как от этого подарка.

А евпаторийскую чахлую библиотеку она прочла по порядку, по каталогу, от первого отдела до последнего.

Все книжки!

Не прочла — проглотила.

И так счастливо была создана прекрасная ее голова, что даже путаницы особой в ней от этого чтения не произошло.

Думала же над прочитанным долго, мучительно серьезно, и брови сходились, как перекрещенные стрелы, на детски сморщенном переносье.

И в эти минуты нельзя было ее трогать, разговаривать, мешать ей.

Она ничего не слыхала, кроме своей внутренней, ей одной звучавшей, музыки.

И однажды поразила меня чрезвычайно, когда, хмельная от поцелуев, голова к голове, на горячей подушке, вдруг приподнялась на локте, с затуманенными зрачками и спросила вдруг:

— Значит, этого стула на самом деле, может, и нет вовсе, а просто мне хочется, чтоб он был?

Опешил я.

— Что ты говоришь, Марина?

— О стуле!.. Ты вот мне разъясни — почему он говорит, что предметов, может, и нет совсем, что это только наша фантазия? Ну, ведь глазом я еще могу ошибаться, люди разно видят... а рукой? Как же его нет, когда я вот рукой, пальцами, чую, что он твердый и из дерева?

— Брось!.. Нашла время о стуле!

Потянулся я к ее губам, но она сурово отстранилась.

— Делу время — потехе час! Еще нацелуешься! А ты мне это вот объясни, как же так? Может, и меня самой нет и я сама себе кажусь?

Пришлось читать неожиданную лекцию, и засыпала она меня такими вопросами, что несколько раз я в тупик становился и нес чепуху.

Лектор я был плохой, а ум ее был, как стальной неутолимый бурав, что долбит землю на страшные глубины, добывая сокровища из земных недр.

— Учиться мне хочется! Ой, как хочется учиться! А не на что, и никуда меня такую не возьмут. А скоро

и старая стану! Глупая!.. Ну, а теперь можно и целоваться!

И сама склонила к моим губам сухие вишневые свои губы.

И еще: среди самых жадных, самых безудержных ласк оставалась она неизмеримо чистой, всегда нежной, трепетной, и был в ней такой острый, непроходящий холодок девственности, освежающий, как ночная волна.

И вся она была сплошной правдой.

11

В тот день разбудили меня цветы, брошенные в окно, и смех.

— Вставай, медведюшка!

Стояла Марина на террасе.

— Десятый час! Ну, разве не стыд?

Она цвела и сияла.

— А я только что под пушки попала! Прошла всю Евпаторию, и со всех сторон глаза, как снаряды... жжжж-бум! И все мимо!

— Иди сюда!

Она птицей вспорхнула на подоконник и с него, смеясь, мне в руки.

— А я у тебя книжку стащила вчера!

— Какую?

— А вот! — и бросила книгу на стол.

Был это роман Пьера Луиса. Не помню уже названия. О короле Павзолии и похождениях его двора. Пустая игрушка, но написанная с блестящим французским мастерством.

— Что же, понравилось? — спросил я скептически.

Ай... как вскинула голову Марина, как кровь хлынула в щеки!

— Мне не нравится, что ты считаешь меня глупой!

— Я?.. Тебя?

— Да! Почему ты так спросил: «Понра-а-ви-ло-оось?» Да, понравилось! Вздорная книжка! Бездельники с жиру бесятся и распутничают. А написано весело! Как будто по страницам зайчата солнечные бегают!

И повесил я голову, как щенок, которого повар на кухне за проказы огрел щипцами.

— Может, я и неученая, да не глупей тебя! И хочешь меня, тогда не считай себя выше.

— Марина! Любовь! Скажи, откуда ты такая?

Она пропела весело и нежно:

— Откуда?.. Из-за гор, из-за долин, со дна морского, от царя водяного.

— Морская?.. Ты знаешь, что значит твое имя?

Распахнулись ресницы.

— Надоел!.. Я все знаю! Пять лет назад мне это гимназист московский объяснял. Стихи писал еще... «Марины... глубины» и влюблен был, как курица.

— Сколько тебе лет, Марина?

— Двадцать второй лупит, — ответила она, вздохнув.

— Знаешь, что я хотел тебе предложить сегодня? Поедем верхами куда-нибудь в степь, на хутор. Хочешь?

— Хочу,— она лукаво погладила меня по голове,— ты у меня у-у-умный!

— Тогда я съезжу за лошадьми. А ты переоденься!

— Как переодеться?

— Седла ведь мужские. Наденешь мои парадные сапоги, брюки...

— Ха-ха-ха-ха...

Когда смеялась Марина, обрывались с нитки стеклянные колокольчики и падали на мраморный пол.

Карьером пронеслись мы по дачным линиям в степь, ездили до вечера, без дорог, по оврагам и балкам, заехали к колонисту на хутор, пили ледяные сливки, ели творог со сметаной, слушали хозяина, жаловавшегося, что его подозревают в шпионстве и сожгли ему ригу, хохотали, пьянели и остались ночевать.

Крепко, горько целовала Марина в ту последнюю, звенящую цикадами ночь.

12

Дома я нашел на столе серую грязную бумажонку телеграммы:

«Вследствие большой убыли офицеров предлагаю не-

медленно вернуться в полк. Командир полка, полковник Руновский».

Завоняла передо мной блевотная линия в минских болотищах.

«Туда?.. От Марины?.. Нет!»

Написал на бумажонке с другой стороны: «Срок отпуска еще три недели. Плохим здоровьем остаюсь до полного использования», — и послал дворника на телеграф.

Вечером пришла Марина. Показал ей телеграмму. Дрогнула, и с губ краска сбежала.

— Едешь?

— Нет!.. Послал телеграмму! У меня еще три недели. Не могут раньше срока!

Сидела Марина, жалобно смотря в окно на море.

Утром пришел ответ:

«Выехать немедленно. Неявке отдача под суд неисполнение приказа. Евпатории получен рапорт неблаговидных поступках, которому дадите объяснения полку».

Так!.. Понятно! Господа офицеры постарались.

Делать было нечего — пришлось мне укладывать пожитки.

Трепетно и больно ждал Марину.

И решение у меня было ясное, отвердевшее сталью, отяжелевшее гранитом.

Марина прибежала взволнованная, запыхавшаяся.

— Ну как?.. Позволили?

— Читай.

Свела брови.

— Да... Заклевали ясна сокола черны вороны... Паршивцы!

Взял я ее за трепетавшие пальцы.

— Марина!.. Морская! Любовь!

— Что, сокол!

— Нужно ехать. Скажу прямо и просто. Хочешь ждать? Войне скоро конец! И тогда хочешь стать моей, жить со мной, учиться... любить?

И был голос Марины, как струна, в этот час.

Прост и крепок был голос, как море, как ветер.

— Да!.. Хочу!.. Буду ждать. Никого еще так не любила. Это как огонь!

Поезд уходил в семь вечера. Нужно было собираться,

— Плакать не нужно, сокол! Дай я помогу тебе сложиться.

Дворник побежал за извозчиком.

— Марина!.. Вот возьми, родная, тут двести рублей. С фронта пришлю еще!

Она вскочила.

— С ума ты сошел?

— Брось глупости! Ты мне жена теперь, самая близкая. Не могу же я оставить тебя на произвол судьбы.

— Не нужно!.. Пока вернешься — мне наши будут помогать. Проживу! Будем жить вместе — буду у тебя брать.

— Ну, книг себе купишь!

— Не нужно!.. Лучше просто пришли книг из Москвы. А денег не возьму.

— Марина!

— Не смей!... Ударю!

Приехал извозчик. Потащили чемоданы. По дороге на вокзал метнулась в глаза вывеска ювелира.

— Стой!

— Что такое?

В затхлом чуланчике взял я обручальные кольца и надел одно на палец Марине.

На вокзал приехали к самому отходу. Только успел вскочить в вагон.

Повернулся... и лебединым крылом мне вдогонку взлетела над асфальтом перрона рука Марины с платком.

13

Вот и все.

Дописал я вчера до этого места, а тут пришел ко мне приятель один.

Вместе с ним мы Уфу брали у Колчака. Брюнет, выпить любит и литературу обожает.

Увидел листки на столе.

— Рассказ пишешь?.. Прочти!

Стал я читать. Дочитал до колец, а он и говорит:

— Дальше можешь не читать! Дальше я, брат, все знаю!

— Что ж ты знаешь?

— Обыкновенная история!.. Все мы сволочи одинаковые! Уехал на фронт, со скуки с сестрой спутался, от се-

стрита лечился... а про девушку и забыл. А письма, за отсутствием бумаги на фронте, в дело пускал, пока приходить перестали.

— Эх!.. Не поймет человечья душа человечьей души! Всякие казусы бывают. Обыкновенно так бы оно и кончилось... А вышло у меня не так. Но только от твоих слов теперь мне писать уже расхотелось.

— Ну нет! Не смеешь! Для меня напиши!

Что ж, так и быть, напишу.

Приходили на фронт письма от Марины каждую неделю, бодрые, крепкие, морем и солью овеянные письма.

И я писал. Яростно, жадно. Ночами в вонючих блиндажах, где пахло гноем и экскрементами, при свечном огарке, я лил на бумагу солнечный мед, которым полно было сердце.

Полгода так прошло, и ни с какими сестрами я не путался.

А в начале февраля, в разведке, прострелил мне очкастый ландштурмист, — прежде чем я его шашкой перекрестил, — левую руку в локте.

И уехал я в Москву, как раз на февральскую революцию.

Сознаюсь — тут завертелся. Жандармов разоружал, заспанных бородачей из казарм Покровских ночью вытаскивал революцию делать, потом в десять комитетов избрался сразу и хоть писал Марине, но в Крым собрался лишь в конце апреля.

Но только в Харькове входит в вагон конвой с офицером каким-то.

Начинают документы проверять.

— Ах, это вы будете Лавренев?

— Я!

— Я вас арестую!

— Что такое?..

— У коменданта узнаете.

Привели меня к коменданту. Генерал дубовый и пальцем дубовым перед носом качает.

— Нехорошо, молодой человек!

— Да что нехорошо?

— А вот телеграммка! — И сует мне в руки.

«Комендантам дорог, городов. Штаб Петроградского военного округа предлагает задержать выехавшего сведениям Крым поручика гренадерского Фанагорийского Лав-

ренева, скрывшегося должности адъютанта генкварта округа с казенными суммами».

— Да я же не гренадер, а гусар! Тут ошибка. И в Петербурге я не был, и адъютантом генкварта не состоял, и не поручик. Вот мои документы! Дайте за мой счет телеграмму в Петербург!

Но генерал недаром дубовый был.

Как ни доказывал я свою невинность, как ни говорил, что, наверное, перепутали фамилию, как ни требовал выпустить, угрожая именем революции, но только увезли меня через три дня, проморив на гауптвахте, в арестантском вагоне в Питер.

А там ясно — извинились... Лаврентьев бежал.

И сколько раз предупреждал не путать меня с Лаврентьевыми. Фамилия моя единственная, а тут каждый раз писарь какой-нибудь норовит в документе прописать — Лаврентьев.

А на телеграфе наоборот вышло. Выпали две буквочки — и все!

Хотел обратно в Крым, — не тут-то было. Прикомандировали меня, как знающего английский язык, к какому-то полковнику Гопкинсу. Из Америки, черт, приехал посмотреть на русскую революцию. Но только недолго смотрел. Скоро Октябрь нагрянул, а после Октября стал я формировать конные партизанские части и выпросился на Украину.

Добрался до Екатеринослава, а тут немцы поперли за хлебом. Пришлось уходить. Но от Марины все еще письма были, и я ей писал по-прежнему.

И томились мы так, в невозможности встретиться.

Послал я ей денег и писал:

«Выезжай и добирайся до Москвы».

Но денег она не получила, а последнее письмо от нее пришло в Москву в июне.

«Очень беспокоюся, родной. Деньги твои на почте пропали. Выехать невозможно, а, говорят, с Россией скоро и письма ходить перестанут. Если б ты видел, что тут немцы и белые творят! Но у нас есть надежда. Матросы кой-какие, что попрятались, говорят — скоро красные придут. Жду тебя! Люблю крепко!»

А в июле бросили меня с кавалерийским полком на чехословаков.

Потом к Самаре, и все время жадно оглядывался я на Крым.

Весной девятнадцатого года, когда заняли мы Таврию, вымолил я отпуск у командарма.

Неделями в разбитых теплушках, среди мата, вши, тифа, восстаний полз от Уфы до Александровска.

А в Александровске узнал, что наши части уходят из Крыма.

Удалось остаться в южной армии, и покатились мы тогда к Туле.

В ноябре сломался деникинский прибой...

В городишке Змиеве, южней Харькова, слез я с лошади у штаба бригады.

Дерг кто-то за рукав.

— Боря!.. Друг!

Черная загорелая морда, круглые мускульные бугры.

— Колька!.. Марина где?.. Как?..

Из Колиных маслин слезы, как уксус, на куртку.

— Чего ты?.. Что?.. Что с Мариной?.. Да говори же, сатана, не тяни!..

— Умерла Марина!..

Свинцом пахнет смертное слово.

— Когда, отчего?..

— Ноябре... осенью! Тифом! Арестовали ее, скоро выпустили... В тюрьме и заразилась. Трудно мерла, мучилась. А отходить стала — мне сказала: передай Борису, если повидишь...

Из кармана Колиной куртки выглянул замызганный пакет.

Я рванул его, и... вспыхнув искоркой, выпало кольцо.

Мне тридцать один год.

Но я прошел мировую и гражданскую войны и считаю, что теперь мне уже шестьдесят два.

У меня жена. Настоящая женщина!

Very wife!

Я люблю революцию. Ее пламенный ветер носил меня по дорогам бывшей России от Полярного круга до Закавказских теснин.

Я всегда буду любить революцию.

«Мальчишка!.. Люби революцию!»

Это я помню.

Люблю свист занесенной шашки и отблеск пожара на звонком клинке.

Люблю небо, траву, лошадей, а больше всего — море.

Вечерами, когда тьма глядит в окна и гремит железом над головой дряхлая крыша, я выхожу из дому и сажусь на скамью над обрывом. Бьет о камни волна, хлещет жгутами пены. Шумит вольная стихия Черного моря, и в шуме мне слышится давно смолкший голос. Голос Марины. Женщины моря!

Она поет об океанском просторе и единственной в мире правде — правде соленого ветра.

Слушаю и знаю, что скоро пойду искать свежего шквала.

Вам тишина и мир — мне свист урагана, стада испуганных звезд над морской бездной и торжественный хорал беспокойных валов.

Бейкос, 1923 г.

ЗВЕЗДНЫЙ ЦВЕТ

Когда изумрудом зальется передзорное небо над двумя горбами Большого Чимгана и заплещут по нему чуть зримые розовые светы, гора становится темно-синей, резкой, огромной и нависает над мягкой шелковистой тишиной долины.

Ледяной ветер с фирнов [1] закружится над ветками садов, набухшими серыми сердечками почек, сорвет пыльный вихор с растрескавшегося дувала, со свистом пронесется по краснокаменному ложу Чимганки, где по круглым валунам с грохотом катается стальная льдистая вода.

Шарахнется с визгом под шатучий мост и, вырвавшись, ударит в низкую стенку чайханы.

Вздрогнут лайковые стволы тополей, взнесется яркоцветная бахрома паласа на перилах, и откроет воспаленные от анаши глаза зеленобородый чайханщик Ширмамед.

Плотнее запахнет на сморщенной волосатой груди вылинявший халат. Из его дыр клочками торчит побуревшая вата.

И пошевелит железным крючком потухающие уголья в мангале.

Холоден и зол фирновый ветер перед рассветом. Аллах насылает его напомнить старым костям дыхание ангела смерти, живущего там, на горе, между двумя горбами Чимгана.

---

[1] Фирн — зернистый лед высокогорных областей.

Но аллах всемилостив, и не успеет пронестись холодный порыв, как ослепительной полосой заблещут снега на острой грани хребта, и над ней, круглясь, вырастая, торжествуя, уже пылает низкое огромное солнце.

Звонко орут петухи, и из глубины долины, где бьет пенными губами в черные сиениты неукротимый Чирчик, вздымается теплый пар.

Зима доживает последние дни.

Ширмамед садится на коврик лицом к солнцу и долго раскачивается, склоняясь к земле и шепча белыми сухими губами молитвы.

— Митька!

— Що?

— Сидлай ко́ней! По фураж поидемо!

— За́раз!

Из глиняного короба курганчи[1] вылазит, зевая, Митька.

Под приплюснутой богатыркой пепельными спиралями Митькины кудри над бронзово-черным загаром лица.

Глаза у Митьки весенней полой водой днепровской играют, губы налитые, и широченной щелью расплылась над хлястиком шинель на гранитной спине.

Митька, щурясь, идет к коновязям, где шуршат клевером в мягких и влажных губах сытые кони.

Лет Митьке двадцать три, из-под Белой Церкви родом, и зовут его Дмитрий Литвиненко.

Так дома звала ненька и даже не так, а Митро, и так же кликали крутогрудые, крепкотелые дивчата на вечерницах.

За два года забыл это Митро, и теперь зовут его: Девятого кавалерийского полка, второго эскадрона, красноармеец Литвиненко.

И не родные степи с золотыми нивами, с запахами полыни, чабра, с серебряными вениками ковыля вокруг курганов, а рыжие срывы скал, облепленные сахаром вечного снега, гудящие по камням потоки и загадочные молчаливые люди, говорящие на ином языке.

Древняя вотчина Тимура, сердце Азии, перекресток путей, приютившая в горячих песках черных пустынь кости всех народов, ходивших по этим путям.

---

[1] Курганча — глинобитная постройка.

От железных фаланг Искандера до апшеронских стрелков Скобелева.

Но над этим Дмитрию не думать.

Дело его простое.

Конь, винтовка, занятия и по временам лихие стычки с басмачами в теснинах долин Ангрена и Чирчика.

Дмитрий седлает двух коней, затягивает подпруги, ласково хлопает по гулким брюхам животин.

— Но-но, балуй!.. Стий смирно!.. Расскакався!.. Выедем, тоди и поскачешь.

Кони оседланы и занузданы. Дмитрий садится на одного, на другого карабкается неуклюжий Ковальчук.

С места кони берут рысью, и, желтея в солнечном свете, ползет по кишлачной улице за копытами тяжелая белая лёссовая пыль.

Вспыхивает красками базарная площадь. Сегодня четверг. День базарный, и народу тьма со всех окрестных кишлаков.

Большой базар в Аджикенте. Сквозь толпу протолкаться трудно.

Кони пошли шагом, и Дмитрию слепит глаза водоворот цветного полыханья.

Вот лавка, пестреющая коврами, шелками, вышивками, медью, золотом, серебром, горящими колпачками тюбетеек, сверкающими полосами халатов.

В глубине лавки полумрак. Сквозь дыру в крыше скользящей стрелой падает солнечный луч на мохнатый ворс каратеке [1], и сквозь полумглу горит домокрашеная шерсть алым живым кровяным пятном.

На пороге, поджав ноги в вышитых туфлях, сидит чернобородый в белой, легче пуха, кашемирской чалме.

Пухлые щеки бриты, и сквозь темное золото кожи бьет густая синева. Глаза полузакрыты, спокойны, бесстрастны, и что-то в них такое, чего никогда ни в одних глазах не видал Дмитрий ни в Ольшанке, ни в Белой Церкви, ни в Фастове, ни в самом Киеве, ни даже в кацапской веселой Москве.

Страшно и жутковато смотреть в такие глаза, как в ведьмин омут, и никак за два года не может привыкнуть к ним Дмитрий.

Даже у мертвых сохраняют глаза это выражение непонятной простым русским парням тайны.

---

[1] Каратеке — сорт текинских ковров, очень ценящийся.

Видел как-то Дмитрий убитого басмаческого курбаши[1].

Лежал он, подвернув руку под голову, в траве под орешиной у горной тропинки, откуда сняла его красноармейская пуля. Халат раскрылся на выпуклой груди, белые зубы закусили нижнюю губу, а глаза, широко распяленные смертной мукой, впились цепко в корень орешины, вздувшийся горбом у щеки.

И в их черных зеркальцах, подернутых уже мутью, была та же спокойная тайна всезнания.

И этого никак не мог понять Дмитрий.

Базар кончился.

Закружились змеями, завились меж высоких дувалов узкие улочки.

Черт их знает, кто их настроил так, но везде и всюду, от малого кишлака до ханской столицы Иски-Маракенда, вьются они ужами, срываются вниз к желтой воде арыков, вползают курбетами на гору, ломаются, корчатся, гнутся, врываются в стены, проскальзывают под кирпичными арками ворот и сами не знают, куда заведет их бестолковый бег.

И всегда мертва, пустынна и безжизненна глиняная полоса дувалов, как глухая стенка тюрьмы.

Ни окна, ни домика на улицу, только глубоко врезанные в стену чинаровые низенькие двери, исполосованные узорами, совместной работой резца мастера и челюстей червя-древоточца.

Не любят правоверные чужого глаза.

Чужой глаз — дурной глаз, и от чужого глаза хранят трехтысячелетний уют глиняные толщи дувалов.

Лениво и вразвалку ехали Дмитрий и Ковальчук по улочке.

Дмитрий свернул козью ножку, пыхнул синеватым дымком.

— Ну и земля ж, матери ии кавынька!

— А що? — отозвался Ковальчук.

— Що? Двое рокив живем, як в домовину похованные. Пылюка та забор. А жара яка... А народ...

Дмитрий замолчал и глянул вперед.

Из-за угла дувала бесшумно выплыло на дорогу сине-

[1] Курбаши — начальник.

вато-серое пятно, бесформенное и жалкое в сверкающем весеннем свете, с черным квадратом наверху.

Увидело едущих и прижалось к стенке.

Когда красноармейцы ехали мимо, пятно совсем влипло в стену, и только колыхалось и билось пугливой дрожью тело под вислыми складками глухой паранджи, и сквозь черную сетку чимбета[1] полыхали бликами испуга черные зрачки глаз, расширенных и остановившихся.

Дмитрий яростно сплюнул.

— Бачив?.. Чи це ж тоби людына? Можно казаты, у нас дома баба, вона, мабуть, и не зовсим людына, а все ж баба, — более ясно выразить свою мысль Дмитрий не смог, но Ковальчук сочувственно кивнул головой. — А це що? Чурбан не чурбан, торба не торба, на мордяке, як решетка в острози — не дай бог парубок загляне. А забалакай з ей, так сама с переляку лужу налье, а тут ця чертовня, як побигне з ножами, так тильки тикай во все четыре ноги, щоб кишок не оставить.

— Необразованность, — лениво сказал Ковальчук, — у их трохи кто грамоте знае, а кто и знае, так тильки бильш молитвы алле писать.

Улочки оборвались, дорога расширилась и шла между рядами талов, уже опушавшихся зеленым пухом.

За талами лиловела, синела, розовела, поблескивала снегами громада Чимганского хребта.

Журчал у дороги, бурля и пенясь, арык.

В таловых ветках чирикала весенняя птаха.

За поворотом дороги открылась фуражная делянка, где стояли копны прошлогоднего клевера.

— Злизай, Трохим, приихалы!

Соскочили с седел, привязали лошадей к придорожному обрубку тала и пошли вязать снопы для нагрузки.

Большой бай Абду-Гаме.

Самая большая, самая богатая лавка в Аджикопте у Абду-Гаме, та самая, мимо которой проезжали Дмитрий с Ковальчуком и где в глубине горел от солнечной стрелы кровяным живым пятном каратеке.

Большой бай Абду-Гаме и ходжа. В молодости с караваном паломников ходил Абду-Гаме в Мекку и Медину поклониться Каабе и гробу пророка.

---

[1] Чимбет — волосяная сетка, чадра на лице.

С тех пор надел чалму — знак своего достоинства.

В тот день, как вернулся он в родной Аджикент, отец молодого ходжи позвал самых уважаемых жителей на роскошный достархан[1].

Дымился янтарем и шипел в котлах жирный плов, высились на блюдах груды яств.

Сушеный урюк, оранжевое золото прозрачной кураги, хризолитовые капли бухарского кишмиша, крупные медовые комки катта-курганского и каршинского, терпкие рубиновые зерна граната, мелкие белые лодочки фисташек с масляным зеленым содержимым, грецкие орехи, виноградный, ореховый, белый, розовый, желтый мед, вяленая прозрачная дыня, засахаренные арбузы, леденцы, дешевые московские конфеты в цветных бумажках, и в тазах пенилась густая снежная масса мишалды[2].

Абду-Гаме сидел, сосредоточенный и важный, на почетном месте, справа от отца, и сам угощал гостей в этот день, отъедая из каждой передаваемой гостю пиалы плов и отпивая чай.

В промежутках важно и медлительно рассказывал о своем путешествии, о городах с бирюзовыми куполами и золотыми мостовыми, о розовых садах долины Евфрата, где на ветках поют бриллиантовые птицы с сапфирными хвостами, и в гротах живут крылатые девы, прекрасные, как гурии.

О мертвых пустынях, где гнев аллаха засыпал миллион миллионов гяуров, где по ночам гиены откапывают трупы мертвых и утаскивают их в царство Иблиса, а на идущие караваны нападают дикие люди с собачьими головами и железными телами.

Гости жадно пожирали плов, чавкали, рыгали, ссорились из-за лучших кусков, но слушали внимательно, качая головами и приговаривая с изумленным почтением:

— Уй-бай?! Ала экбер!

А вскоре отец Абду-Гаме отошел в обитель верных, и ходжа остался обладателем лучших кусков земли под Аджикентом и самой богатой лавки.

Жил он сурово и скромно. Не тратил отцовских денег на страстные пляски нежнобедрых бачей, на птичьи бои, на заклады и все копил и копил.

---

[1] Достархан — угощение из восточных сладостей.

[2] Мишалда — особое лакомство из сбитых белков с сахаром.

Двенадцать четок перебрала рука аллаха на ожерелье лет.

Дважды брал жену Абду-Гаме, рождались смуглые коричневые звереныши, крепкие, как орехи, плоды горячих ночей, когда, по словам писания, «переходило крепчайшее семя в чистейшее лоно».

Крепка была рука и воля Абду-Гаме над Аджикентом, и сотни мардекеров и чайрикеров[1] работали на его землях, приносивших тучные урожаи риса и хлопка, и в его садах, клонивших ветви к горячей пахучей азийской земле под сладкою тяжестью плодов.

И когда в городах сероглазые урусы затеяли тамашу, свергли с престола владыку полумира Ак-Падишаха, а потом, осенью, под гул пушек и рокот шайтан-машинок, власть захватили байгуши-оборванцы, объявившие войну богачам и сильным, и разбежались с земель Абду-Гаме батраки и самые земли отняли у Абду-Гаме страшные люди в кожаных куртках, признававшие только одно право, висевшее у них в кобурах на поясе, молча перенес несчастье ходжа.

Остался у него сад и лавка. С этим можно было жить безбедно.

Жизнь в руке аллаха, и если отнял аллах землю — да благословен будет его праведный суд.

Абду-Гаме не верил в долгое царство оборванцев.

Часто сидел со старым муллой у себя в лавке, и однажды мулла рассказал ему мудрую сказку.

— Жила в благословенной столице Тимура, Самарканде, глупая мышь, которую очень хотелось съесть кошке. Но как ни глупа была мышь, она была ловка и увертлива. Кошка стала раздумывать, как бы ей справиться с мышью. И однажды мышь, высунув нос из норки в амбаре, увидала кошку, сидящую на мешке с зерном, в парчовом халате и чалме. Мышь удивилась.

«Уй-бай! — сказала она. — Уважаемая кошка, родная племянница мудрости, скажи, что значит этот твой костюм?»

Кошка повела усом и подняла глаза к небу.

«Я теперь ходжа, — сказала она, — скоро уйду в медресе, где буду проводить время в молитвах о грешном мире перед аллахом. И мне уже больше нельзя есть мяса,

---

[1] Мардекеры и чайрикеры — наемные батраки.

а ты можешь сказать всем мышам, что я их больше не трогаю».

Глупая мышь обезумела от радости, заплясала по амбару, крича: «Ура! Ура! Яшасын адалет!» [1] И, скача, она приблизилась к кошке. Одно мгновение на весах вечности — и кости мыши захрустели на зубах хитрой кошки. Я сказал — праведные да разумеют.

И Абду-Гаме уразумел.

Когда приезжали из города люди в кожаных куртках, собирали народ на митинг на базарной площади и хлестали воздух резкими, пронзительными словами о борьбе и мести, о будущем счастье, Абду-Гаме сидел в лавке, смотрел неподвижными глазами на оратора и на толпу и едва заметно усмехался.

«Одно мгновение на весах вечности... Праведные да разумеют...»

За горами великий афганский эмир, и ему помогает другой Ак-Падишах, инглиз, пушками, ружьями, офицерами, и в бухарских горах собирает рать верных доблестный зять калифа, Энвер.

Мышь бегает, мышь кричит: «Яшасын адалет!»

Миг — и нет мыши.

Абду-Гаме спокоен, и только от пережитого прошла змеистая складка по лбу, и стал он молчалив с домашними.

Суровый приходил с базара и лишнего слова не говорил с женами, а когда слышал в доме трескотню женщин и писк детей, хмурил брови.

Мгновенно все умолкало, и на приветствие жен всегда одно отвечал Абду-Гаме:

— Меньше слов!.. Язык женщины что колокол при дороге. Звонит от всякого ветра.

В прошедшем году взял Абду-Гаме третью жену.

Надоели две первые: состарились, сморщились, согнулись, как корявые стволы саксаула.

А у соседа Карима подросла дочь Мириам.

Еще маленькой девчонкой бегала она по базару, и видел Абду-Гаме детскую рожицу с двумя круглыми блюдами глаз, опушенных мехом загнутых ресниц; рот — цветок граната и смугло-розовые щеки.

А предыдущей весной исполнился Мириам возраст зрелости, и лег на лицо вечной тенью черный чимбет.

---

[1] Да здравствует свобода!

И от этого стала сразу таинственной и желанной.

Абду-Гаме послал сватов. Карим, бедняк и неудачник, обезумел от радости породниться с самым богатым баем Аджикента, с ходжой. Скоро условились о калыме, и вошла Мириам маленькими ножками в дом Абду-Гаме.

Было Абду-Гаме тридцать шесть лет, невесте — тринадцать.

И в ночь к испуганной и трепещущей пришел Абду-Гаме, муж и владыка.

Долго рыдала Мириам, и ласково утешали ее старые жены Аиль и Зарра, сидя по сторонам и гладя тоненькие плечи, покрытые синяками и укусами.

Не знали они ревности, нет ее в этой стране, и по сморщенным щекам их сбегали слезы. Может быть, вспоминали такие же ночи, испытанные в дни, когда входили они женами в дом Абду-Гаме.

Так же плакали и покорялись.

Но Мириам не покорилась.

И хотя каждой ночью приходил Абду-Гаме и каждой ночью горело воспаленное тело Мириам, она возненавидела Абду-Гаме твердо и неистово.

Но Абду-Гаме ничего не нужно было, кроме тела, которое можно было ощущать под крепкими пальцами, щипать, мять, кусать, вжимать в него свое тело и отдавать ему избытки мужского хотения.

В полдень Дмитрий вышел из огороженного двора курганчи на улицу.

— Куда собрался? — спросил его стоявший у ворот отделенный.

— До базару. Кишмишу купить, халвы.

— Разве разбогател?

— Вчора почту привезли с Ташкента. Батька грошей прислав трохи.

— Что ж, угощаешь?

— А як же, товарищ отделенный. Чайку выпьем.

— Ну, катись!

Дмитрий пошел к базару, насвистывая и загребая сапогами пыль.

Перешел базарную площадь и направился к лавке Абду-Гаме.

Кроме халвы и кишмишу, ему хотелось купить вышп-

тую золотом тюбетейку, к которой давно он приглядывался.

— Отслужу, вернусь в Ольшанку, напялю дивчатам на завидки,— не хуже попа в камилавци.

Абду-Гаме сидел, как всегда, поджав ноги, и курил чилим. Булькала в медном, горящем на солнце кувшине вода, хрипел чубук, и клокотал дым в горле курильщика.

Дмитрий подошел.

— Здорово, бай. Як живешь?

Абду-Гаме не спеша выпустил дым.

— Здравствуй, джигит.

— Вот, бачишь, хочу тюбетейку купувать.

— Красивый хочешь сделаться? Жена бирать задумал?

— Ну, бай, це ты заврався. Де тут жинку знайти? Хиба на овце жениться?

— Уй-бай! Такой джигит всякий красавица пойдет.

— Добре... Ты меня сосватай, а поки давай тюбетейку.

— Какой хочешь?

— Самую гарную, щоб в золоти.

Абду-Гаме достал откуда-то из-за спины расшитую бухарскую парчовую тюбетейку, засверкавшую золотыми, зелеными, апельсинными переплесками так, что Дмитрий даже зажмурился.

— Чок-якши, — сказал Абду-Гаме, чуть улыбнувшись.

Дмитрий напялил тюбетейку на голову и достал из кармана осколок зеркальца. Улыбнулся довольно и гордо.

— Гарно! Чистый курбаши!

Абду-Гаме кивнул головой.

— Ну ты, бай, кажи, скильки грошей, та кажи по-божески.

— Егерма-бишь мин сомм[1], — ответил Абду-Гаме, погладив бороду.

— Чи ты сказився?.. Егерма-бишь. Ун мин сомм[2] — бильш не дам.

Абду-Гаме протянул руку, стащил тюбетейку с головы Дмитрия и молча отправил ее за спину.

— Да ты кажи толком, чертяка, скильки? — обозлился Литвиненко.

---

[1] Двадцать пять тысяч рублей.
[2] Десять тысяч.

— Моя сказал.

— Казав!.. Языку б твому отсохнуть! Ун ики мин дам, бильше не проси.

— Ун ики? Твоя мала-мала давал. Абду-Гаме баранчук, жена. Кушать надо...

— Кушать, брат, каждому треба, — наставительно ответил Дмитрий. — Скильки хочешь, кажи зáраз?

— Такой джигит,— егерма ики отдам.

— Пшел ты... Сам ты егерма ики не стоишь!

Дмитрий повернулся и пошел от лавки.

— Джигит!.. Джигит!... Егерма мин!..

— Ун беш мин, и ни одного гроша...

— Егерма!

— Ун беш!

Солнце палило. Пять раз уходил Дмитрий, и пять раз возвращал его Абду-Гаме. Наконец тюбетейка перешла к Дмитрию за семнадцать тысяч.

Он свернул богатырку, сунул ее в карман, а тюбетейку нахлобучил на затылок.

— Зачем так надевал?.. Так наш не носит. Надвигай вперед.

— Добре, и так гарно. Бувай здоров, бай.

Дмитрий пошел за кишмишом.

Абду-Гаме проводил его взглядом и задумался.

Наставала пора приводить в порядок сад и виноградник. Одному Абду-Гаме не справиться. Жены слабосильны, дети малы еще.

Нужен один-другой сильный работник.

Но возьмешь работников, тут как раз тебе налоги и другие неприятности с союзом кошчи и уездным Советом. А этот джигит здоровенный малый. Ишь какая спина!

Абду-Гаме с удовольствием взглянул на распиравшую гимнастерку спину Дмитрия, пробующего у торговца сладостями халву.

Предложить ему поработать в саду и пообещать фруктов, когда поспеют. Урус-джигит голодный, на рисовой каше сидит, он за черешни и урюк пойдет возиться над садом.

Дмитрий расплатился за сласти и шел обратно, придерживая мешочки с кишмишом и халвой.

— Эй-эй!.. Джигит! — позвал Абду-Гаме.

— Що?

— Иди, пожалуста... Разговаривать будем.

— Ну, якого биса ты балачку завел?

— Пожалуста, слушай. Моя сад есть, виноград есть. Весна идет, ветки подрезать надо, виноград палки ставить... Хочешь сад работать?.. Когда фрукта поспеет, — кушать будешь даром... черешня, урюк, персик, груш, яблок, виноград. Товарищ достархан давать будешь.

Дмитрий задумался.

— Того... я, брат, дюже занятой. Ось чуешь, джигиту много дила. Винтовка, коняка, ще политчас, про конституцию, про буржуазные препятствия...

Абду-Гаме не понял ни про политчас, ни про буржуазные препятствия, но сказал спокойно:

— Днем занят — вечером свободна. Времени нимнога. На два час придешь — многа поможешь. Товарищ зови один. Вдвоем работай. Урюк харош, виноград харош.

Дмитрий полузакрыл глаза.

Ему вспомнилась Ольшанка, тихая речка за левадами, черешневый садок в цвету, звенящая песня под вечер, и крестьянское черноземное сердце сжалось и гулко дрогнуло.

Нестерпимо захотелось покопаться в земле, раздавить между пальцами пахучие земляные комья хотя бы этой чужой желтой земли, врезать в нее, податливую, готовую рожать, острое лезвие лопаты.

Он усмехнулся и сказал мечтательно:

— Гарно!.. Подумаю!

— Завтра приходи, ответ говори.

— Добре!

После чаю с халвой Дмитрий лежал на нарах и мечтал об Ольшанке, о леваде, о земле.

Подошел Ковальчук, задававший корму лошадям.

— Що, Митька, засумовав?

Дмитрий быстро повернулся на нарах.

— Стривай, Трохим. Зараз купував я тюбетейку у бая, и вин предложив, щоб у его в саду поработать. Ветки там подризать, лунки окопать, виноград пидставить. Каже — ввечори часа два с товарищем поработаешь, а затем, як фрукты поспиють, то кушай задарма. Яка твоя думка? Дюже хочется в землице покопаться.

И его губы смялись в застенчивую и робкую улыбку.

Ковальчук похлопал ладонью по толстому колену и неторопливо ответил:

— Що ж!.. Воно гарно бы!.. Я пийшов бы... Тильки, як эскадронный?

— А що? Спросимся! Все одно — по вечерам задарма сидим. Книжок нема; чим нары протирать, то гарнише на працю.

— Ну що ж!

— Так зараз пидем до эскадронного. А то моготы нема!..

Дмитрий не кончил.

С начала этой весны он затосковал и не мог отдать себе отчета, откуда пришла тоска, странное безразличие и лень.

Часто сидел на завалинке курганчи и смотрел на небо — синее, тяжелое, почти чувствуемое на ощупь, на горы, на речку, на долину пустыми светлыми глазами.

Чего ему не хватало, он не мог понять.

Не то родных тихих полей и хаты под вишняком, не то веселых гулянок с гармоникой и песнями, не то ласковых карих глаз, цветной ленты в волосах, певучего смеха и близкого, с нежностью прижимающегося тела.

Но чего-то не хватало...

— Ну, гайда до эскадронного!

Они вышли из курганчи и пошли в чайхану, на балахане которой жил, как скворец в скворечне, эскадронный, товарищ Шляпников.

Товарищ Шляпников сидел на террасе балаханы и строгал из палочек клетку для перепела, которого подарил ему чайханщик Ширмамед.

Он выслушал просьбу Дмитрия и Ковальчука и немедленно разрешил.

— Только, ребята, чтоб без озорства! Избави чего стянуть или хозяина обидеть. Сами знаете — народ чужой, у него свои обычаи, и мы должны их уважать. В чужой монастырь со своим уставом не лезь. Приказ по фронту читали?

— На вищо забижать? — ответил Дмитрий. — Мы, товарищ начальник, розумием. А поработать на землице хочется.

— Хорошо... идите! Да когда будут фрукты, так меня не забудьте.

— Спасиби, товарищ начальник!

— Скажите отделенному, что я вам разрешил, чтоб он не препятствовал.

Возвращаясь в курганчу, Ковальчук взглянул на потемневшее небо, потянулся и сказал:

— А гарнесенько в садочку!

На следующий день после обеда Дмитрий с Ковальчуком пошли к Абду-Гаме.

Хозяин встретил их па улице и провел в парадную половину, где шипел в котле плов и стояли сласти.

— Садись, джигит... Покушать надо.

— Дякуем... сыты.

— Садись, садись. Отказать нельзя — хозяину обида!

После казенной похлебки жирный плов был особенно вкусен и приятен.

Ковальчук уплел три пиалы и налился по горло чаем.

После чая Абду-Гаме повел работников в сад, показал им кетмени[1] и научил, как окапывать землю вокруг деревьев.

— Теперь ямка копал, потом ветки резал, виноград палки сажал.

В другом углу сада копались в земле три женские фигуры, закрытые с ног до головы паранджами и чимбетами.

Абду-Гаме сам взял кетмень, и работа закипела.

Ковальчук любопытно поглядывал в угол, где работали женщины.

— Бай, а бай!

— Что?

— Кажи, будь ласков, чого це у вас баба в наморднике ходыть?

Абду-Гаме, продолжая копать, неохотно бросил:

— Закон... Пророк сказал... Женщина должен быть закрыт от чужой глаз. Соблазн нет.

Ковальчук рассмеялся.

— Да... де тут до соблазну? Черт его разбери, що воно в тым мишке? Може, баба як баба, и молода, а може, стара карга, якой не приведи пид ночь побачить. Пузо расстроишь.

Дмитрий отозвался из-за дерева.

— Це воны с того придумалы, що у их, — бабе двадцать стукнуло — вона як твоя ведьмачка. Спеклась, сморщилась, неначе яблоко печено. Ось их и завешують,

[1] Кетмень — сапа, орудие для вспахивания земли.

щоб замуж сдать. Под намордником муж не разбере, яка харя, а женився — терпи.

Замолчали. С гор тянул легкий ветерок, шуршали ветки тополей вдоль дувала.

Прожужжал между деревьями ранний жук.

Кончили работать, когда смеркалось.

Абду-Гаме проводил работников на улицу, пожал руки.

— Якши работал. Большой спасибо говорил. Якши адам, джигит!

— До побачення, бай.

— До свиданья. Приходи завтра, пожалуста.

Ночь оседала над кишлаком прозрачной ультрамариновой холодной пленкой.

Абду-Гаме вернулся из мечети с молитвы и прошел к Мириам.

Нашел ее спокойно спящей под одеялом, сбросил халат, поставил рядом ичиги и полез под одеяло.

Толкнул, разбудил и прилип к влажным губам.

Мириам покорно, безмолвно раскрылась мужниному желанию.

Но сегодня больше, чем всегда, была чужой и равнодушной.

— Чего ты, как бревно, лежишь? — шепнул зло Абду-Гаме, толкнув ее в грудь.

— Я больна сегодня, — тихо ответила она.

— Что с тобой?

— Не знаю... Горит тело и какая-то сыпь.

Абду-Гаме испугался. Подумал, что у нее, может быть, черная оспа и она может заразить его. Грубо пнул коленом в живот.

— Ты что ж раньше не сказала?

— Я не успела...

Абду-Гаме зло вылез из-под одеяла и надел ичиги.

Но тело женщины раздразнило его. Он не был удовлетворен и, постояв в раздумье, перешел через дворик в комнату Зарры.

Он уже три года не приходил к ней, и женщина тупо изумилась, когда, не успев проснуться, почувствовала себя взятой.

Мириам же после ухода мужа заложила руки под голову и стала смотреть в дверь на синевший квадратик ноч-

ного неба. Золотой каплей дрожала на нем звезда Железный Гвоздь.

Глаза Мириам пристально уперлись в блеск звезды, и вдруг она ахнула и приподнялась на локте. На месте звезды заколыхалась голова в смешной урусской шапке, из-под которой пепельными спиралями вились тугие кольца и полой зеленой водой играли веселые добрые глаза.

Звезда Железный Гвоздь продолжала гореть на шапке, но стала четкой, пятилучевой и ярко-алой.

Мириам испуганно закрыла глаза, почувствовала душные, частые и полные удары сердца.

По телу прошла томительная и нежная дрожь, как будто кто-то коснулся его упругой теплоты мягкими, ласковыми и желанными руками.

Женщина простонала, заломила руки и потянулась телом к золотой капле звезды.

Губы прошептали бесконечно нежное, бесконечно трогательное название.

Потом она откинулась назад, вытянулась в счастливой истоме, повернулась на бок, съежилась в комочек и крепко заснула.

По дворам перекликались предутренние петухи.

Дмитрий и Ковальчук вторую неделю работали в саду.

Деревья были подстрижены, окопаны лунками, стволы понизу обмазаны смесью дегтя и извести.

Нужно было окопать, подрезать и привязать к дугам виноградные лозы.

Над разбухшими почками урюка и черешен уже розовели полураскрытые чашечки цветов.

Кончая работу, Абду-Гаме сказал, положив кетмень:

— Завтра аллах даст хороший день, урюк цветет, черешня цветет. Красиво будет.

Утром сад залился нежно-розовой, воздушной, тающей пеной цветов.

Было воскресенье. Дмитрий пришел с утра один. Ковальчук отправился на пасеку, которую держал в трех верстах бывший военнопленный мадьяр, за медом.

Абду-Гаме уже работал и приветливо кивнул Дмитрию.

Он сделал выгодное дело. Урусы-джигиты оказались хорошими и непритязательными работниками.

— Якши!.. Скоро фрукта кушать будем Бери кетмень, Димитра!

Дмитрий вслед за хозяином стал прокапывать канавку для арыка.

Женщины возились над виноградом.

Мириам прилежно обрезала ножом сухие лозы и изредка мельком взглядывала в сторону, где алела звезда на приплюснутой богатырке Дмитрия

Внезапно ощутила резкий прилив крови к голове.

Поднялась, ухватилась за палку, подпиравшую виноград, и помутившимися глазами обвела сад.

Розовая пена кипела всюду, и вдруг Мириам показалось, что на ветках урюка и черешен, давно знакомых и простых, не цветы, а алые звезды.

Весь сад ослепительно расцвел алым звездным цветом.

Мириам зашаталась, выронила нож.

Абду-Гаме что-то крикнул ей. Дмитрий поднял голову.

Мириам не ответила.

Абду-Гаме шагнул к жене и опять крикнул повелительно и грубо. Она опять не ответила.

Тогда Абду-Гаме поднял руку и с силой толкнул ее. Она ахнула, опрокинулась на палку, сломала ее телом и упала навзничь.

Абду-Гаме выругался.

Дмитрий вступился.

— Бай, за що бьешь? Не бачишь, — баба зомлила вид сонця. Нездорова!

— Баба должен быть здоров. Баба болен — выгнать надо. Баба сволочь!

— На вищо так? Баба — вона помощныця, треба бабу жалеть и поважать. Поднять треба та побрызгать водицею.

Дмитрий забыл, что он в Аджикенте, а не в Ольшанке, и, зачерпнув в богатырку воды из арыка, направился к лежащей.

Абду-Гаме схватил его за руку.

— Нельзя, джигит! Пророк не велел!.. Бросай, пожалуста. Бабы поднимут.

Он крикнул на жен, те подбежали и подняли Мириам, понесли ее к дому.

Дмитрий высвободил руку и с презрением посмотрел в глаза Абду-Гаме.

— Сволочной вы народ, я тоби скажу. Кто бабы не

поважае, той сам хуже собаки! Баба, вона нас рожала, мучилась, всю жизнь на нас работае. Хиба ж можно над бабою глузовать?

Абду-Гаме пожал плечами.

Через два дня подрезали виноград.

По одну сторону длинного ряда лоз работали мужчины, по другую женщины.

Проходя по ряду, Дмитрий видел с другой стороны сквозь ветки мелькавшую паранджу, видел маленькие руки, твердо и уверенно работавшие ножом.

«Мабуть, та сама, що зомлила вчора», — подумал он.

Разобрать их Дмитрий до сих пор не мог. Рост одинаковый, паранджи одинаковые, у всех намордники. Кто их знает, которая?

Ряд кончался.

Дмитрий отрезал кончик сухой лозы, поднял глаза и обомлел. Сквозь редкие веточки сквозило смуглое, залитое нежным румянцем лицо невиданной красоты.

Солнцами сияли влажные миндалевидные глаза и улыбались полные, полумесяцем вырезанные, прекрасные губы.

Протянулась тоненькая рука и трепетно коснулась, как пламя, здоровенной лапы Дмитрия.

Потом палец прижался к губам, метнулся чимбет, упал на лицо, и все кончилось.

Дмитрий поднялся, воткнул нож в палку и долго простоял неподвижный, изумленный, обрадованный.

— Что не работал, джигит? — спросил его подошедший Абду-Гаме.

Дмитрий помолчал.

— Устав трошки... Солнышко дюже грие. Гарно!

— Солнце якши. Солнце аллах сделал. Солнце — добрый, злой одинако греет.

Дмитрий неожиданно зло взглянул на хозяина.

«Да, и тебе, черта, грие... Ишь раздувся, бабу соби зацапав, неначе розочку. Тебе б ще не грило, сукина сына», — подумал он.

Потом схватил нож и до конца работы резал яростно, сосредоточенно и молча.

В эту ночь на жестких нарах в курганче в духоте и храпе товарищей Дмитрий долго не мог заснуть и все вспоминал чудное лицо.

— Така маненька, тоненька, ясочка. Як барвиночек, або вьюночек полевой. И досталась черту черноцапому. Бье небось бидолагу.

И чудное лицо улыбалось ему зовуще и любовно.

Работа близилась к концу.

Еще день — и виноградник готов.

Дмитрию жаль было расставаться с садом.

Все время, подрезая виноград, он украдкой смотрел в сторону женщин — не покажется ли опять незабываемая улыбка.

Но по винограднику двигались смешные живые мешки, закрытые глухими сетками чимбетов, и сквозь них ничего нельзя было рассмотреть.

Уже под вечер Дмитрий очутился в конце виноградника и присел отдохнуть и завернуть цигарку.

Пока зажигал спичку, почувствовал легкое прикосновение на плече и увидел просунувшуюся руку. Быстро повернулся, но чимбет был закрыт.

Только услышал легкий шепот, смешно коверкавший слова чужого языка.

— Молльши, джигит!.. Ночи петух кукурек... Дувал знайишь? — Она быстро показала пальцем в сторону пролома в дувале, выходившего на пустырь.

— Ммойя жжидал будит. Джигит жжидал... Абду-Гаме ярамаз шайтан!..[1] Джигит якши!.. Мириам джигит марджя.

Рука слетела с плеча, и Мириам скрылась.

Дмитрий даже ахнуть не успел.

Посмотрел вслед, покачал головой.

— Загвоздочка, елки-палки! Неначе на кохання зове. Цикава дивчина! Як бы не влопалась! На це халява тут. Тыкнуть ножом в пузо — и всё.

Он отбросил цигарку и встал.

Подошел Ковальчук, за ним Абду-Гаме.

— Ну, кончили, хозяин!

— Спасиб. Якши джигит, работник джигит. Приходи урюк кушать, груша кушать. Джигит гость!

Абду-Гаме пожал руки красноармейцам и проводил до выхода.

[1] Паршивый черт.

Красное солнце глотало верхушки далеких тополей на полях.

Дмитрий шел молча, смотрел в землю и раздумывал.

— Митро! Ты опять засумовав?

Дмитрий поднял голову, пожал плечом.

— Бачь, яка загвоздка вышла. Баева жинка мени кохання назначила о пивночи.

Ковальчук стал пнем посреди дороги, икнул от неожиданности.

— Не врешь? Як так?

— А так. — И Дмитрий коротко рассказал.

— Так, так... Що ж ты?

— А сам не знаю ще, що робить?

— Опасно з ими! Проклятущий народец! Без башки можно остаться.

— Ну того я не боюсь. Може, сам кому голову сдыбаю. Тилько б ей не було худо. А пийти — я пиду, бо вона дуже прохала. Надоив ей, мабуть, черный черт, хуже редьки. Треба бабу уважить.

— Что ж, дай тебе успеха да любви.

— А ты, Ковальчук, не смийся, бо тут не жарт якийнебудь. Чуяв я, що замучилась баба у бая, вроде скота. Чоловичьей мовы ей треба, щоб побалакать з ей по душам.

— Так як же ты з ей балакать станешь? Она по-русски ни бе ни ме, а ты — по-ихнему.

Дмитрий тряхнул плечом, свистнул и, как бы отгоняя ненужную мысль, сказал:

— Колы кохання, то и слов не треба. Душа душу розумие...

После ужина Дмитрий полежал на нарах, покурил, решительно поднялся и подошел к взводному.

— Товарищ Лукин, одолжи на сегодня нагана.

— Тебе зачем?

— Та позвав мене тут бай один на свадьбу. Так зараз пусти мене погулять, а наган на всякий случай, бо вин за кишлаком в саду живе, ночью вертаться с оружьем способней.

— А если что случится?

— Так коли наган буде, то ничого и не случится. А тилько що ж случиться може, басмачей кругом нема, народ мирный.

— Ну, бери, леший с тобой!

Взводный вытянул из кобуры потрепанный наган и сунул Дмитрию.

Дмитрий посмотрел в барабан, повертел и положил в карман.

В одиннадцать часов он вышел из курганчи и побрел по улице.

Стоял легкий туман, а в нем плавала и колыхалась большая, кривобокая и мутная луна, клонившаяся к закату.

До свидания оставалось ждать добрых два часа.

Дмитрий спустился по узкой улочке к мосту через Чимганку и сел на большом плоском камне у самой воды.

Речка бурлила и кипела полой ледяной водой, хлестала пеной в жерди моста; в воздухе стояли брызги, и было мокро и душно от сырости.

Зеленоватым жемчугом переливались снега на Чимганском хребте.

Дмитрий долго сидел, всматриваясь в бегучее кружево водяных струй между камнями, вертевшихся и летевших с неимоверной быстротой, пока у него не закружилась голова.

Далеко из глубины кишлака кукарекнул первый петух.

Дмитрий встал с камня, потянулся и пошел в гору. Перешел вымерший базар. Возле лавок к нему подошла какая-то лошадь, бродившая по площади, ткнулась теплым носом в плечо, обдала пахнущим сеном дыханием и тихо и ласково заржала.

Дмитрий потрепал ее по шее, свернул в знакомую улочку и быстро двинулся к саду.

Сердце с каждым шагом билось гулче и чаще, и в висках стучала кровь, а пересохший язык с трудом ворочался во рту.

Пустырь развернулся справа, темный и таинственный.

Дмитрий шагнул через развалившийся дувал и вдоль линии тополей стал бесшумно пробираться к пролому в сад Абду-Гаме. Пролом зачернел на серой линии дувала рваным пятном.

Против пролома торчал срубленный тополевый пень. Дмитрий уселся на нем, чувствуя странную дрожь во всем теле и сжав в кармане нагревшуюся сталь револьвера.

Опять заорали петухи. Луна совсем ушла за горы, потемнело вокруг, и потянуло холодом.

Шуршали в вершинах деревьев тонкие веточки, и пряно пахли сочные, липкие почки.

Хрустнуло за дувалом. Дмитрий вжался в пень и подался вперед.

Летучая тень метнулась по глине и выросла в проломе.

Оглянулась по сторонам, легко прыгнула на пустырь.

— Джигит?.. — расслышал Дмитрий дрогнувший шепот.

— Здесь! — ответил он, поднимаясь, и не узнал своего сломавшегося голоса.

Женщина бросилась вперед, и в руках Дмитрия затрепетало дрогнувшее, обжегшее пальцы тело.

Он растерянно, недоумевающе и неумело прижал ее к себе.

Зашептал бессвязно:

— Ясочка моя, коханая, дивчина моя любая!

Мириам отклонила голову, взглянула ему в лицо черными, бездонными жаркими колодцами, потом обвила шею руками, приникла щекой к щеке и, захлебываясь, забормотала какие-то нежные, трепетные, волнующие слова.

Три ночи сгорели, как отблеск зари на чимганских снегах.

Дмитрий ходил ошалелый, рассеянный, возбуждая крепкий хохот красноармейцев, кое о чем догадывавшихся.

Но ему не было ни до чего дела, и даже днем, когда он чистил коней, упражнялся в рубке прутьев или слушал рассказ политрука, как умирали люди в далеком Париже, защищая первую коммуну, перед ним вставали бездонные глаза и рубином расцветшие губы и заслоняли все и заглушали все.

А ночью знакомая дорога, пустырь и сладкое ожидание.

И каждой ночью до полуночи, покорная, принимала ненавистные ласки мужа Мириам, закусив до крови в темноте губы.

А когда насытившийся уходил Абду-Гаме на балахану и скоро колыхал камышовые маты его храп, она бесшумно

вставала, пробиралась невидимой тенью через виноградник к арыку, тщательно смывала с губ, со щек, с груди, со всего тела следы мужниных объятий.

Набрасывала на освеженное холодной водой, воскрешенное тело тонкую рубашку из маты и бежала к пролому.

И там пила без страха, без сомнений свое ночное счастье с белокурым джигитом, крепким, стыдливым и нежным, шептавшим ей такие же непонятные трогательные слова, какие она шептала ему.

Когда кончилась третья ночь и Мириам пробиралась обратно, проснулась у себя Зарра и вышла в сад за обычной нуждою.

И между деревьями увидела скользящий легкий призрак.

Испугалась сначала — не злой ли джинн бродит по саду, чтобы наброситься на нее и унести к Иблису, — но в ту же минуту узнала Мириам.

Покачала головой, вернулась к себе и снова зарылась в одеяло.

А утром рассказала Абду-Гаме о странной встрече. Не из ревности. Любила и жалела маленькую Мириам, но непорядок. Не должна добрая жена ходить ночью по саду неизвестно куда.

Налился кровью Абду-Гаме, свел брови и сказал:

— Молчи!..

Спустилась четвертая ночь.

Как всегда, ушел к себе на балахану Абду-Гаме и поднялась Мириам.

Но вслед за ней тихо слез с балаханы Абду-Гаме и пополз по виноградику.

Видел, как омывалась Мириам в арыке, как пробежала к пролому и исчезла в нем.

Подполз вплотную и заглянул в пролом.

Кровь ударила в голову, задрожали ноги. Схватился в ярости за печак [1], но вовремя сообразил, что с джигитом дело иметь опасно. У джигита, наверно, есть пистолет, и он убьет Абду-Гаме прежде, чем он успеет добежать до изменницы.

Вгрызся зубами в сухую глину дувала, и по губам проступила пена. Но молчал, застыв в напряженном внимании взбешенного хозяина.

---

[1] Печак — нож.

Видел, как прощалась Мириам с джигитом Димитрой, как целовала его, как Димитра пошел по улочке к кишлаку и Мириам смотрела ему вслед.

Грустно опустила голову и тихо, легко переступая босыми ногами, пошла обратно.

И едва перенесла ногу в пролом, Абду-Гаме молча прыгнул к ней.

Коротко крикнула Мириам, но жесткая ладонь зажала ей рот.

— Вот ты какая жена!.. К неверному урусу ходишь, проклятая тварь... Ты изменила слову пророка... Пусть же будет с тобой по закону пророка... Завтра...

Но Мириам с кошачьей упругостью вырвалась из дубовых рук.

В темноте белыми пятнами засверкали обезумелые от злобы глаза.

— Черт!.. Собака!.. Верблюжий ублюдок, чтоб пропало семя твое и детей твоих, чтобы на него мочились свиньи!.. Ненавижу тебя... проклятого, ненавижу!.. Люблю джигита!.. Убей меня — пока я тебя не убила...

Абду-Гаме отшатнулся в ужасе. В первый раз он слыхал такие слова от женщины. Ни он, ни отец его, ни отец отца не слыхали никогда ничего подобного. Земля поплыла под ногами.

Он беспомощно оглянулся и увидел рядом суковатую длинную палку, подпиравшую виноградные лозы.

Хрипнув, вырвал ее из земли и с размаху ударил женщину в бок.

Мириам упала, и тогда Абду-Гаме, замычав быком, стал хлестать ее палкой сверху мерными и размашистыми ударами.

Она сначала стонала, потом затихла.

Абду-Гаме бросил палку и нагнулся к неподвижному телу.

— Довольна, собака?

Но жалко свернувшееся тело вдруг выпрямилось, перевернулось, и Абду-Гаме почувствовал режущую нестерпимую боль в сухожилье, над пяткой левой ноги, куда с неистовой силой врезались зубы Мириам.

Тогда он, охнув от боли, вырвал из-за пояса печак и наотмашь ударил Мириам под грудь. Кровь брызнула ему на руку, тело дрогнуло и забило ногами.

Несколько стонов и тишина.

Абду-Гаме вытер печак о полу халата.

— Лежи, падаль!.. Завтра я вытащу тебя в овраг, и пусть тебя пожрут псы, как негодное мясо!..

Он толкнул тело ногой и, прихрамывая, поплелся к дому.

Уже легкие зеленые узоры выткала заря по синему ковру ночи над горами. Резче чернеет массив, глуше шумит река.

У ворот курганчи веселый часовой, побрякивая карабином, поет про молодость, про борьбу, про мужицкую правду — вполголоса и проникновенно.

Поет и ходит взад и вперед. Час назад вернулся со свидания Дмитрий, хмельной и светлый. Поговорил в воротах с часовым, поделился своим счастьем. И часовому грустно и весело.

Он зевнул, пощупал рукой деревянный столб ворот и снова пошел в сторону кишлака, но резко остановился, перегнувшись вперед, и быстрым движением вскинул карабин.

Ему показалось, что под дувалом на противоположной стороне что-то ползет.

Дувал в тени, темно, но, кажется, к нему прижалось какое-то серое пятно.

— Хто иде?

Жадно лязгнул затвор.

Молчание... Тяжелое, сырое предрассветное молчание.

— Хто иде? — И голос часового дрогнул и надорвался. Молчание. Но уже часовому ясно видно, что вдоль дувала медленно и низко ползет... собака не собака и не человек, а нечто бесформенное, расплывающееся на фоне стены.

— Стой! Стрелять буду! — крикнул часовой, нервно ловя пятно на мушку, еле видную в серой мути.

Палец его уже почувствовал упругий упор спуска, как от забора донесло с ветерком явственный стон.

Он опустил карабин.

— Что за хреновина, язви его в душу?.. Як бы стонет?..

Держась настороже, он двинулся к дувалу и, подходя, различал очертания человеческого тела, прижавшегося полусидя к забору.

— Хто такой?

Нет ответа.

Часовой нагнулся и увидел белое, точно мелом намалеванное, лицо с ввалившимися глазами и в разрезе рубашки, сползшей с плеча и залитой чем-то черным, маленькую женскую грудь.

— Баба!.. Вот так оказия!.. Ах ты ж сволочи!

Он выпрямился.

В воздухе, задыхаясь и трепеща, забилась яростная трель свистка.

В курганче зашевелились люди, заговорили, вспыхнул свет, и на улицу высыпали красноармейцы без рубах, в подштанниках, но с винтовками и подвязанными патронными сумками.

— Что?.. Чего свистел?.. Где?.. Кто?..

— Товарищ взводный, идить сюды. Тут баба мертвая!..

Взводный побежал к дувалу, но уже, опережая его, летел Дмитрий, добежал, взглянул и крепко сжал кулаки...

— Заризав-таки, шайтан черногузый, — тихо и взволнованно сказал взводному.

— А кто такая? Чья она?

— Моя, товарищ взводный! Тая самая, с которою я кохався.

Взводный вглядецся в мертвенно-бледное личико у дувала и перевел глаза на твердое лицо Дмитрия.

И у рта взводного, прошедшего германскую войну и трудные годы борьбы, дрогнула складка растерянной жалости.

— Ну!.. Что стали... мощи китайские?.. Нужно отнести ее в курганчу. Может, жива еще... Жаль, фершала нету, уехал, черт полосатый, за медикаментом... Ну ладно, — политрук маракует. Подымай!

Привыкшие к винтовкам железные руки, как перышко, подхватили Мириам и понесли через дорогу.

В курганче ее уложили на койку взводного.

— Беги кто за политруком! Буди, скажи, нужно раненого перевязать!

Сразу трое бросились за политруком.

— Ребята, расходись, не толпись... Воздуху надо больше!... Ах, черти! — сказал взводный, нагибаясь с коптилкой над Мириам, и отвернул рубаху на груди.

— Ишь как распорота, — он проследил глазом глубо-

кую рану, тянувшуюся из-под правой груди до ключицы, — промахнулся, мерзавец, немного.

— Не помрет, товарищ взводный? — вздрогнув, спросил Дмитрий.

— Зачем помрет?.. Типун на язык! Помереть не помрет, а поболеет. Натворил ты, братец, делов. Теперь насыпет нам товарищ Шляпников соли на хвост чище, чем своей перепелке.

Дмитрий вздохнул, как мех кузнечный выдавил.

— Что, али любил, парень?

— Так як же, товарищ взводный? Я ж не жартував, не силком узяв, а як побачив первый раз, як вона мучится у того черта, бая толстобрюхого, то мене у сердце вдарило. Така маненька, така гарненька, неначе пташка в клетке. Жалко стало, и вона мени як жинка, дарма, що я ни слова не понимав, що вона казала, ни вона — що я...

— Где? Кого ранили, какую женщину? — спросил, подходя, политрук. — Что за вздор?

— Не, брат, не вздор, а можно сказать — приключение. Ты, Фома Иваныч, кое-что смыслишь в костоломии, так я тебя приказал позвать, потому фершала нет. Помоги бабе! А то Дмитрий с горя помрет! — подмигнул взводный.

— Девчонка совсем! — сказал политрук, наклоняясь над Мириам. — Ребята, несите сюда воды, лучше кипяченой из кухни, пару чистых полотенец да иголку... Ну, ворочайтесь скорей!..

— Что такое?.. Что здесь происходит?..

Это сказал уже сам эскадронный, товарищ Шляпников, разбуженный кем-то из красноармейцев.

Взводный вытянулся и взял под козырек.

— Товарищ начальник, разрешите доложить...

Товарищ Шляпников молча выслушал, смотря исподлобья на взводного, погладил пальцем ус и сказал спокойно:

— Литвиненко на пять суток под арест за ночные отлучки без моего ведома. Вам, товарищ Лукин, объявляю выговор за распущенность взвода и неумение дисциплинировать людей.

Потом товарищ Шляпников повернулся и пошел к выходу.

— Товарищ командир! — окликнул политрук.— А как быть с женщиной?

Шляпников повернулся и задумался.

— Перевяжите и перенесите в околоток. И потом зайдите ко мне утром. Нужно будет поговорить. Знаете, какая история может выйти? Неприятностей не оберешься. И так жизнь каторжная.

Утром кишлак взволновался.

Красноармейцы разболтали на базаре о ночном происшествии

Узбеки качали головами, мрачнели и сходились к мечети.

Около полудня из мечети вышел мулла в сопровождении толпы народа и двинулся к чайхане.

В чайхане с утра сидели Шляпников и политрук.

Политрук долго и горячо убеждал Шляпникова, что нельзя отдавать Мириам мужу.

— Товарищ Шляпников! Это против всех наших принципов, против коммунистической этики. Раз женщина захотела уйти от мужа, раз она полюбила другого, наш долг встать на ее защиту, особенно здесь. Ведь отдать ее — это значит послать на смерть. Он просто прирежет ее опять. Вы возьмете на свою душу это дело?

— Я знаю... А вы знаете, что, если мы ее удержим,— это возбудит население на сто верст в окружности? Знаете, какая история начнется? Нас с вами загонят куда Макар телят не гонял. Знаете, что такое восточная политика?

— Слушайте, товарищ Шляпников. Я беру это на себя. Я сам отчитаюсь перед партийными организациями, но пустить женщину на зарез я не могу. А потом я говорил сегодня с Литвиненко. Он хороший парень, и тут не простая шутка, не забава от скуки. Он ее любит.

— Как же он, к черту, ее любить может, когда он ни слова по-узбекски, а она ни слова по-русски?

Политрук усмехнулся.

— Ну, для любви слов не нужно!

— Да что он с ней делать будет потом?

— А он просит ее отправить в Ташкент. Я ему пообещал устроить, чтоб ее женотдел под свою руку принял, поместят пока в интернате, обучат по-русски. А Литвиненке скоро в бессрочный, и он говорит, что женится, потому что очень она ему полюбилась.

— Чудеса! Делайте как знаете! Черт с вами! Я с себя всякую ответственность снимаю.

— Товарищ командир! Вас мулла спрашивает, — сказал, входя, дежурный.

— Во!... начинается. Выкручивайтесь теперь, гвоздь в седло вашей бабушке! — фыркнул эскадронный.

— Выкручусь!.. Не впервой... Зовите его преподобие,— сказал, почесав в вихрастом затылке, политрук.

Мулла вошел степенно и чинно, погладил бороду и поклонился.

— Селям алейкюм. Твоя начальник?

— Вот с ним говори, — ответил эскадронный, ткнув пальцем в политрука.

— Алла экбер... Твоя, товарищ, отдай женщина!

Политрук откинулся на табурете спиной к стене и иронически взглянул в глаза мулле.

— Почему отдать?

— Закон такой... Пророк сказал... Жена — мужу... Муж хозяин. Муж мусульман — жена мусульман. Твоя джигит нехорошо делал, жена у муж отнимал. Ай, нехорошо! Твоя большак закон — наш мусульман закон живет.

— А мы что же, без закона живем? — спросил политрук, не меняя позы.

— Зачем так говоришь?.. Мусульман своя закон — большак своя закон. Твоя большак закон живет, моя своя закон. Отдай женщина.

— А ты в какой стране живешь — в Советской или какой? Или для тебя советский закон не обязателен?

— Советский закон — урус, мусульман пророк закон. Шариат живет.

— Что ж, это по шариату жен можно по ночам, как баранов, резать?

— Зачем баран?.. Жена мужа менял... Муж убить может. Пророк сказал.

— Заладила сорока про пророка. Слушай, мулла! Женщина любит нашего красноармейца. Она сама об этом сказала. У нас такой закон советский — кого женщина любит, с тем и живет. А заставить ее жить насильно с нелюбимым никто не может. Женщину мы не отдадим и отправим в Ташкент. Это мое последнее слово. Больше можешь не приходить.

— Мусульман обидишь... Мусульман сердит будет! Народ басмач уйдет!

Политрук открыл рот ответить, но товарищ Шляпников перебил.

При ответе муллы он забыл, что не хотел впутываться в дело. Скулы его сжались, он подошел к мулле вплотную и сказал, цедя слова, тяжело и властно:

— Ты что ж это... басмачеством пугать задумал? Я тебе попугаю. Если хоть один человек из кишлака к басмачам уйдет, я буду считать, что это ты их подбиваешь. А там разговор короток. Мулла не мулла — пожалуй к стенке. Отправляйся в кибитку и всем закажи меня пугать. И если хоть одного красноармейца пальцем тропут — камня на камне от кишлака не оставлю. Марш!

Мулла ушел. Шляпников разозленно ходил по балахане. Политрук расхохотался.

— Что, не выдержала душа?

— Выдержишь с ними!.. Склизни! Трудно тут работать. Косность анафемская и тупость. Всех скрутили, всех заставили головы склонить, генералов, адмиралов, Антанту, даже махновское кулачье, а этих?.. Сами под их дудку пляшем... Противно даже!

— Да, придется еще поработать. Тут много времени надо, чтобы раскачать, вспахать перегной предрассудков и суеверий. Теперь придется держать ухо востро.

Пять суток высидел Дмитрий в хлевушке, где пахло коровьим навозом и пылью.

На шестые его освободили.

Помывшись и почистившись, он пошел к эскадронному.

— Товарищ командир! Дозвольте побачить Машу!

Шляпников усмехнулся.

— Что ж, ты ее так любишь?..

— Мабуть, що так, — застенчиво улыбнулся Дмитрий.

— Ну, валяй! Но по ночам больше не шляться, а то под суд отдам!

Дмитрий отправился в курганчу, где помещался эскадронный околоток.

На пороге сидел приехавший из Ташкента фельдшер.

— Товарищ фершал! Мне Машу побачить. Эскадронный дозволил.

— Соскучился, рыцарь Личарда? Иди, иди, она тебя тоже спрашивала.

Дмитрий взволнованно перешагнул порог и остановился.

Мириам сидела на постели похудевшая, тоненькая, прозрачная. Ресницы ее вздрогнули, распахнулись бабочкиными крыльями, глаза просияли горячим светом, и она протянула Дмитрию здоровую руку.

— Димитра!.. Джан!..

Дмитрий неловко подошел к постели, опустился на колени и уткнулся головой в одеяло.

Мириам тихо провела пальцами по его волосам и прошептала несколько ласковых слов.

И не знал Дмитрий как, но сползла и повисла на его кирпичной щеке радостная горячая капелька.

Мириам выздоравливала и уже выходила греться на солнце на дворик околотка.

Дмитрий каждый день приходил в околоток, приносил цветы, набранные в долине Чимганки, сплетал ей венки.

Он приводил с собой красноармейца Уразбая, киргиза, и с его помощью разговаривал с Мириам.

Она охотно согласилась ехать в Ташкент, охотно согласилась ехать с Дмитрием на родину.

И с каждым днем радостнее темнели ее глаза и звонче становился смех.

Эскадрон весь был под знаком любовной истории, и красноармейцы бродили рассеянные, мечтательные и рассказывали друг другу романтические приключения.

Абду-Гаме сидел по-прежнему в своей лавке, суровый и молчаливый, замкнувшийся, и не обращал внимания на перешептывание соседей.

Вечером в воскресенье Мириам проводила Дмитрия до казармы и вернулась в околоток.

Ночь наступала горячая, душная, тяжелая. Над горбами Чимгана ползли черные круглые тучи и полыхали зарницы. Собиралась весенняя гулкая гроза.

Около полуночи Мириам проснулась. В комнате было душно, пахло лекарствами. Ей захотелось подышать воздухом.

Тихонько приподнявшись с кровати, она вышла наружу, перешагнула через спящего на пороге фельдшера и перешла двор.

Свежий ветерок взвихрил пыль и приятно прошелестел по разгоряченному телу.

Мириам вышла за ворота и прислонилась к дувалу, смотря на горы, которые видела в последний раз. Завтра с почтой она должна была уехать в далекий Ташкент, а оттуда с Димитрой еще дальше.

Зарницы полыхали чаще, медленно катался по скатам ласковый гром.

Мириам вдохнула воздух полной грудью и повернулась, чтобы идти обратно, но сразу что-то жестко заткнуло ей рот, сверкнула в воздухе узкая полоска и впилась в горло.

Сдавило грудь, забулькала в гортани хлынувшая черной волной кровь, и она сползла по стенке дувала в пыль.

В глазах поплыли оранжевые круги, и вдруг земля, небо, дувалы, деревья сразу зацвели ослепительным алым звездным цветом, как в ту ночь, когда она впервые увидела Дмитрия, но только неизмеримо прекраснее, неизмеримо пышнее.

Потом потоком хлынула тьма.

Разбуженный хрипом фельдшер бросился к воротам и поднял тревогу.

Сбежались красноармейцы, пришел товарищ Шляпников.

Мириам уже не нужна была помощь.

Нож перерезал шею до позвоночника.

Товарищ Шляпников не зевал.

Патрули немедленно бросились к дому Абду-Гаме и муллы.

Муллу привели. Абду-Гаме исчез...

Жены рассказали, что с вечера к нему пришел отец Мириам, они оседлали лошадей и ночью ушли.

Вернулись, сели на лошадей и умчались, куда — неизвестно.

Муллу пришлось отпустить.

На следующий день похоронили Мириам за окраиной кишлака.

Дмитрий осунулся, побледнел и ходил как незрячий.

Но когда взгорбатился глиняный холмик над телом, он выпрямился и, стиснув зубы, молча погрозил кулаком по направлению к горам.

Через неделю в долине Ангрена завозились басмачи.

От эскадрона пошла в горы разведка. Один разъезд на юг, другой на восток.

Во втором разъезде пошли Ковальчук, Дмитрий, Уразбай и еще два человека.

Они прошли по горным тропинкам, среди цветущих эремрусов и полыхающих огнем маков, тридцать верст, не встретив противника, заночевали в кишлаке Сой-Тюбе у знакомого узбека.

Утром двинулись в обратный путь.

На спуске у Ангрена пришлось вытянуться в длинную цепочку.

Лошади осторожно скользили по круглым голышам, фыркали и оступались.

Уразбай лениво качался в седле, тянул унылую долгую киргизскую песню, застревавшую в скалах.

Дмитрий ехал понуро и равнодушно и два раза чуть не вылетел из седла, когда конь спотнкнулся.

— Митро, очухайся! — крикнул Ковальчук.

Дмитрий только махнул рукой.

А на другом берегу Ангрена, над серо-зеленым обвалом гранита, упершимся в тропинку, высокое солнце вспыхивало блеском на маленьком сияющем колечке, и колечко шевелилось, вздрагивало и неуклонно поворачивалось за лошадью Дмитрия.

И когда лошадь вступила на трясущийся мост, сияющее колечко на сотую долю секунды застлалось синеватой пленкой.

Стозвучным отгульем запрыгал по горам выстрел.

Дмитрий поднял руку к шее, выронил поводья и ссунулся с седла на доски моста. Ноги его повисли над бешеным ревом Ангрена.

Но Уразбай одним скачком подлетел и, перегнувшись с седла, оттащил от края моста.

Повернулся и крикнул Ковальчуку:

— Давай скáчка!

Огретая камчой лошадь Уразбая птицей перелетела мост, но сейчас же хлопнул второй выстрел, и лошадь уткнулась головой в щебень, а Уразбай выкатился комком в сторону.

Ковальчук вынесся вперед, крепко зажав шашку.

Он увидел, как из-за камня карабкается вверх от

тропинки, к отвесным скалам, человек в полосатом халате, с винтовкой.

Лошадь, тяжело дыша, карабкалась скачками в гору.

«Догоню, не догоню?» — подумал Ковальчук и свирепо всадил шпоры.

Лошадь рванулась.

Расстояние между человеком и лошадью сокращалось быстрее, чем между человеком и скалами.

Человек понял, обернулся и вскинул винтовку.

Ковальчук зажмурился.

Бах... мимо.

Лошадь в два маха донесла Ковальчука до человека в халате.

Красноармеец сразу узнал откормленное лоснящееся лицо бая, его черную бороду.

Абду-Гаме лихорадочно защелкивал затвор.

Но поднять вторично винтовку не успел, Ковальчук был уже совсем рядом.

Шашка метнулась кверху, Ковальчук перегнулся и крикнул:

— Получай!.. За Митро!.. За Машку!..

И свистнувшая сталь застряла в зубах Абду-Гаме.

. . . .

Дмитрия положили на винтовочных ремнях между двумя лошадьми и повезли в Аджикент.

Приехали вечером, и Ковальчук отправился с рапортом к товарищу Шляпникову.

— Молодец! — сказал эскадронный.

Дмитрия утром на арбе отправили в госпиталь в Ташкент с простреленным легким и без сознания.

Сурова и крепка земля железного хромца Тимура.

Десятки веков не тают снега на упирающихся в небо пиках, десятки веков горячей смертью душат пески неосторожных путников в черных пустынях.

И десятки веков лежат камни на горных тропинках, над ревущими ложами горных потоков.

И люди в стране Тимура как камни — недвижимы и крепки.

И в глазах у них, даже после смерти, каменная неразгадываемая тайна.

Как три тысячи лет назад, стоит над краснокаменным руслом Чимганки приземистая чайхана, и заря, зеленеющая над двумя горбами Большого Чимгана, золотит вековую глину.

И тот же зеленобородый чайханщик Ширмамед кутается по утрам в рваный халат от ледяного ветра, ползущего с фирнов.

И только сады в долинах шестой год процветают по весне ослепительным алым звездным цветом, ширятся, разрастаются, захватывают горные склоны и камни.

И на тучном лёссе, удобренном костями всех народов — от железных фаланг Искандера до апшеронских стрелков Скобелева, — пышен и победен звездный ослепительный цвет.

Ташкент, 1923 г.

ПРОИСШЕСТВИЕ

1

Хреновино лежит промеж степных оврагов и буераков, заросших будяком и полынью, рыжими и унылыми.

Каким бесшабашным бродягам влезло в буйные головы заложить первые хибарки в этом никчемном месте — неведомо.

Но поселение основалось, расползаясь по косогорам, выперло в небо колокольни двух церквей, отмечалось на карте кружком четвертого разряда, и была в нем Суворовская улица, по которой вечером блуждали стада краснощеких прелестниц и их кавалеров вперемежку с возвращающимися по домам стадами коров и грязношерстных степных овец.

Суворовская улица густо заросла темной листвой акаций, сквозь которую горели и пылали баканом и ярью вывески лавчонок.

В годы железнодорожной горячки рельсовый путь между двумя торговыми центрами зацепил веткой окраину Хреновина, но оживить мертвое место не мог.

И когда забушевала вокруг по степным просторам громыхающая буря гражданской войны, она не задевала ядреного уюта хреновинцев, а носилась кругом, и жители, из числа самых храбрых, однажды ночью простояли до зари на кургане, прислушиваясь к далекому громыханию и следя бело-зеленые зарницы, пыхавшие на севере, где шел ожесточенный и упорный бой за узловую станцию.

Вскоре случилось небывалое в летописи местечка

событие. Счетовод Харченко, возвращавшийся на бричке по казенному делу, был убит в шести верстах от местечка неизвестными людьми в черных шапках.

Неделю после этого хреновинцы не выходили из домов после заката солнца, и по улицам бегали ночью спущенные с цепей яростные собаки с пенящимися мордами и сверкающими красными глазами, по величине схожие с белыми медведями.

2

Шел кровавый девятнадцатый год.

В больших городах, под рявканье пушек, пулеметный лай и трескотню винтовок, ежемесячно менялась власть.

По улицам двигались возбужденные толпы с пением и знаменами — то краснеющими кровавыми лепестками, то трехцветными, то желто-голубыми, то черными, то, наконец, черт знает какого цвета и масти.

Дома покрывались ранами от стальных укусов, горели, рушились. В них ломалась и перетаскивалась мебель. Нагло стрекотали ундервуды, за которыми сидели одинаковые при всех режимах кудерчатые и бантиковые фигуры, по вечерам гулявшие при Советской власти с комиссарами, при других — с офицерами, но при всех властях одинаково податливые и равнодушные ко всему, кроме пайка.

Хмуро молчали гудки заводов, ржавели машины. Люди в кепках и шерстяных шарфах уходили, сжимая челюсти и винтовки, в неизвестную даль, а за окраинами росли города мертвых, присыпанные глиняными, неумело насыпанными холмиками.

Но в маленьком, бестолковом, никому не нужном местечке все шло по-старому. Только один дом сгорел, да и тот был полуразрушенным сарайчиком, в котором ютилась распутная баба Чуниха, опившаяся страшной бурдой из бензола, денатурата и керосина и сгоревшая вместе со своей лачужкой, подожженной спьяна лучиной.

О переменах власти хреновинцы узнавали от крестьян, вернувшихся с базара из уезда.

Если в уезде водворялись добровольцы или гетманцы, отставной, глухой от контузии еще с турецкой войны, шестидесятисемилетний поручик Кукин напяливал чер-

ные от времени погоны и именовался начальником охраны.

При Советской власти Кукин сидел дома, а местечком управляли учитель земской школы Приходько и фельдшер Пуня, в звании председателя Совета и чрезвычайного комиссара.

Но ничто не менялось. По-прежнему миоценовые напластования подсолнечной лузги лежали на единственном тротуаре Суворовской улицы, по-прежнему ссорились и поносили друг друга рассыпчатые белые супруги хреновинцев, и по вечерам оглашали местечко хихиканием круглые, как репа, барышни и ржанием кавалеры в рубашках с вышитыми передами и клоками кудрей, лихо выпущенными с левой стороны картуза.

3

В апреле добровольцев из уезда прогнали красноармейцы. Кукин удалился на свой огород. Приходько и Пуня властвовали.

Но однажды запаленный и задыхающийся паровоз приволок из уезда теплушку, в которой приехали неведомые люди.

Были они оборванные, мрачные, низколобые, вооруженные винтовками и обрезами, в дырявых шинелях с красно-черными, слипшимися от грязи, бантами.

Всех их было тринадцать человек, а четырнадцатый, самый главный, был рослый мужчина с лошадиной челюстью, маленькими злобными звериными глазками, с головы до ног обвешанный пулеметными лентами и револьверами разных систем, в штанах изжелта-оранжевого тисненого плюша, сиявших, как заходящее солнце.

Выйдя с вокзала, они спросили у первого, обомлевшего от испуга хреновинца, кто в городе самый главный, и пошли, громыхая дырявыми сапогами и бряцая винтовками, на квартиру Приходько.

По дороге главного вели под руки: сам он идти не мог и, переставляя ноги, смачно рыгал и ругался такими словами, что даже дьякониха Федосеевна, славившаяся по этой части, застыла у своей калитки с раскрытым ртом.

Приходько испугался, но вышел к прибывшим, нацепив красную ленту через плечо.

Посетители предъявили мандат на грязной, оборванной с краю бумажке, где значилось, что «предъявители сего есть особый карательный отряд по истреблению буржуев и борьбе с контрреволюцией, при штабе советского вольного атамана Евгена Пересядь-Вовк, и им поручается активное действие в местечке Хреновике».

Руки у Приходько тряслись, когда он дочитывал бумагу, и он самым вежливым голосом спросил «товарищей», что они хотят от него.

Главный открыл запухшие глазки, окинул фигуру Приходько и прохрипел неслыханным голосом:

— Фатеру, жрать и самогону.

— Тогда, товарищи, пройдем в Совет и там обдумаем, где вас поместить.

Главный осмотрелся (дело было на крыльце) и ткнул пальцем через площадь в единственный в Хреновине двухэтажный дом Аймасовича.

— Чего думать? Гарный кут, та и все!

— Тут нельзя, — твердо возразил Приходько, — тут культпросвет и театр.

Культпросвет и театр были гордостью Приходько, его любимым детищем; он сам читал в нем лекции о «добывании соли в Величке», о «грозных явлениях природы» и уже две недели репетировал с любителями «Москаля-чарывника».

Главный открыл рот. Изо рта вытек поток таких слов, что красная лента Приходько сама сползла с плеча на живот, и кончилось все решительной фразой:

— ...мать киатра. Геть, хлопцы, до дому!

Через полчаса гости хозяйничали в театре. Красный кумач со сцены был содран, скамейки разломаны на нары. Декорацию, предмет восторга хреновинцев, просто выкинули в окно. У входа стал часовой с ручной гранатой, и на сорванном кумаче мелом написана была и вывешена над дверью страшная надпись:

«КОРАТИЛЬНЫЙ ОТРЯД КРАСНОГО ТИРОРА»

4

Вечером Приходько пробрался к Пуне.

Пуня сидел за самоваром и перебирал струны гитары.

— Слушай, Гаврил Федорыч, — сказал взволнован-

но Приходько. — Мне что-то страшно! Не вышло бы чего? Кто они такие — черт их знает?

— Об этом нам судить невозможно, — меланхолически отозвался Пуня, взяв аккорд из «Теснины Дарьяла».— Мы должны подчиняться распоряжениям центра. Мы тут живем, как на ненаселенном углу океана, среди, можно сказать, дикарей. Я так думаю, что в центре некоторое, так сказать, обострение классовых взаимоотношений, и усилилось террористическое влияние.

Пуня любил говорить книжно и вразумительно.

Но Приходько не успокоился.

— Я думаю, Федорыч, не съездить ли мне в уезд порасспросить. Первый раз ведь такая штука. Может, их оттуда прислали, а может — самозванцы какие-нибудь?

— Не советую я тебе этого, Аким Петрович. Мандат в порядке, все как следует. Влопаешься в камуфлет. Я слыхал так, краем уха, что теперь везде расправа с буржуями идет. Выпей лучше яблочного.

Приходько вздохнул, положил шапку и сел. Ему жаль было погибшего театра, а на сердце было неспокойно.

— Может, Совет созвать? — спросил он, цепляясь за последнее средство.

— Подождем... Ежели что будет — созовем. Сам знаешь, какой тут у нас Совет. Эх... провинция!— ответил Пуня и сплюнул на пол.

5

Следующий месяц в Хреновине царила паника, Грозное дыхание красного террора нависло над местечком. Карательный отряд схватил и немедленно расстрелял глухого Кукина, двух учителей хреновинской школы и пономаршу Стебелькову, у которой был сын офицер, убитый в германскую войну. Человек пятнадцать, захваченных по разным обвинениям, сидели в подвале карательного отряда. Самогонщицу Феклушу сперва изнасиловали, потом тоже бросили в подвал.

Хреновинцы в неописуемом ужасе сидели по домам, и когда вечером начальник карательного отряда, носивший потрясающую фамилию Рыкало, появлялся на Суворовской улице, обвешанный своими револьверами и пулеметными лентами, даже страшные хреновинские собаки разбегались по дворам и жалобно выли.

6

В омытое и сверкающее каплями прошедшего ночью дождя майское утро хреновинцы, несмотря на царившую панику, хлынули утром на вокзал.

И было отчего. В семь часов утра на горизонте показался дымок, загудели жалобным звоном заржавевшие рельсы, и к полуразрушенной временем и ветрами станции подкатило нечто невиданное, отчего богобоязненные пожилые хреновинцы обоего пола поневоле перекрестились.

Четыре тяжелых серых глухих коробки. Над одной из них торчала дымящаяся труба. В узкие прорезы стальных стен глядели тупые рыла пулеметов и черные пасти пушек. Окраска стен рябила сотнями вдавлин от ударивших пуль, а зад последней коробки был тяжело разворочен огромной дырой, и в ней, жалко задрав отбитый ствол кверху, торчала покосившаяся на станке пушка.

В открытых дверях коробок стояли закопченные люди в матросских блузах и бескозырках, смотрели на столпившихся в остолбенении хреновинцев и скалили белые зубы, весело перекликаясь:

— Семенов! Братишка!

— Ау!

— Глянь-ка, ты видел такую комедь? Эй, тетка, рот закрой!

Вагонные двери грянули хохотом. Тогда в одной, раздвинув стоявших впереди, появился высокий смуглый красавец, одетый только в фуражку с георгиевскими ленточками. Он осмотрел хреновинцев внимательными сияющими серыми глазами, лениво почесал волосатый живот, сплюнул и ушел обратно, сказав:

— Ну, народонаселение, туда его в печенки.

Хреновинцы почтительно молчали. Со ступеньки легко спрыгнул худощавый человек в белой гимнастерке и желтых сапогах, с устало-насмешливыми зелеными глазами за стеклышками пенсне.

— Эй, люди добрые! Где у вас тут председатель Совета или комиссар?

Приходько уже проталкивался через толпу.

— Я!

— Вот что, товарищи! Я командир бронепоезда. Мы только что из боя! Не могли проскочить южнее — при-

шлось отходить по вашей ветке. У нас сильно повреждена задняя площадка. У вас, верно, есть кузнецы? Пришлите человек пять. Мы простоим дня два, пока можно будет двинуться в депо на ремонт.

— Сейчас, товарищи! С удовольствием.

Приходько повернул в местечко. Хреновинцы толклись возле бронепоезда, щупали стенки руками, заглядывали в двери плутонгов, а матросы уже заигрывали с дебелыми хреновинскими красавицами, пробуя материю на их платьях.

Командир бронепоезда крикнул:

— Тишин! Уберите публику с перрона и поставьте часовых у входов. Чтоб не было толкотни!

Хреновинцев согнали за станцию, матросы с винтовками стали по краям перрона.

И только перрон опустел, — из главного выхода станции показался начальник карательного отряда — Рыкало.

С ним шли два молодца его личной охраны.

Лицо Рыкало, с выставленной лошадиной челюстью, кипело звериной злобой. За эти дни он выпил все, что привез с собой, и все конфискованные и реквизированные хмельные суррогаты Хреновина и третий день ходил трезвый.

Трезвый же он был втрое страшнее, чем пьяный.

Исподлобья оглядев бронепоезд, он шагнул к командиру и прохрипел:

— Ты кто такой?

Зеленые глаза насмешливо ощупали мрачную фигуру.

— А вы кто такой?

— Як я тебе спрашую, то ты кажи! Я здесь начальник! — повысил голос Рыкало.

— Братишки, — повернул командир к поезду, — уберите этого гуся!

Прежде чем Рыкало успел схватиться за револьвер, крепкие матросские руки держали его за локти, как и его спутников.

Их вывели на ступеньки станции, и здоровый матрос с хохотом поддал начальника карательного отряда коленом ниже спины.

И хреновинцы, толпившиеся на площади, увидели, как грозный и непонятный человек, державший в страхе все местечко, сунулся лицом в грязь.

Матросы скрылись.

Рыкало вскочил и рванулся в станцию, но дверь встретила его дулом карабина.

Он стер грязь с лица. Спутник подал ему упавшую фуражку.

Рыкало взял ее и ткнул подавшего кулаком в нос. Потом погрозил станции и решительными шагами пошел через пустырь к местечку.

7

Ночью в карательном отряде сидел на столе Рыкало. Рядом стоял отрядник с белым шрамом на щеке.

— Я ж тоби кажу, що воны с собой возят три бочки спирту. Щоб мени лопнуть! Сами матросы казали!

— Казалы... твою мать. А як ты визьмешь спирт?

Парень со шрамом осклабился и, склонившись к начальнику, зашептал.

Рыкало слушал мрачно, по понемногу его глаза разгорелись злобными и веселыми огоньками.

— Ты не брешешь?

— Ни, як можно!

— Добре! Покличь! Зараз!

8

Командир бронепоезда гулял возле станции с Приходько и Пуней. Он рассказал Приходько о столкновении с Рыкало.

— Конечно, мы, товарищ, здесь от всего отрезаны. Я и то говорил товарищу Пуне, что бог их знает, кто они. Вы вот доберетесь до города, сделайте милость, скажите, чтоб хоть инструктора какого прислали. Пропадешь тут совсем.

Вокруг гуляли матросы с хреновинскими дамами. В теплом майском воздухе слышались взвизгивания, смех, песни, треск разгрызаемых подсолнухов.

К Приходько и Пуне подошли дамы из хреновинской аристократии — дочь священника, учительница, телеграфистка и вдова убитого Харченко, Лариса Петровна, румяная, веселая крупитчатая женщина, с пышным

станом, тугими розовыми губами и теплой ясностью серых глаз.

Их познакомили с командиром. Он посмотрел на Ларису Петровну и облизнул обветренные боевым ветром губы.

Осатанелое трехлетнее скитание в бронепоезде, среди грохота и духоты стальных клеток, приучило его смотреть на вещи просто.

Сегодня женщина — завтра смерть.

И он, не имевший в жизни ничего, кроме белой гимнастерки, желтых сапог и молодого тела, обращался с женщинами и со смертью одинаково небрежно и равнодушно.

Он оглядел еще раз высокую грудь, нежную шею и подумал:

«Ну, значит, игра будет!»

И, изогнувшись, изысканно, как маркиз, предложил ей руку.

Они долго гуляли вдоль перрона, и командир бронепоезда постепенно и настойчиво волновал женщину намеками и легкими, чуть заметными, но зажигающими кровь касаниями.

Потом отделились от остальной компании, ушли под густые своды акаций, на кладбище.

Там оба обезумели от воздуха и поцелуев, и две тени, проскользнув по улице, скрылись в белом домике вдовы Харченко.

9

Командир забылся легким мечтательным сном на горячем плече нежной подруги.

Вдруг, сквозь сон, ему почудился пушечный выстрел. Мгновенно он был на ногах.

Удар повторился. Нет, это не выстрел, а тяжелый удар в дверь.

Командир чиркнул зажигалку и зажег свечу. В одну минуту он был одет. Лариса Петровна сидела на постели, испуганно закрывшись одеялом.

Он вышел в переднюю. Удар грянул в дверь третий раз.

— Кто там!

— Откройте... Срочное дело!

Командир отодвинул щеколду.

Дверь с грохотом распахнулась, в лицо ударил свет фонаря, и взглянули револьверное и три винтовочных дула.

Он схватился за карман, но получил тяжелый удар по руке, заставивший его шатнуться.

— Берить его да вяжить крепше! — прорычал вполголоса Рыкало.

— Вы с ума сошли? По какому праву?

— Цыц! Нишкни, твою в бога. — И ствол нагана больно ткнул командира в глаз.

— Шлюху тоже забирайте, щоб не болтала, — распорядился Рыкало.

Связанного командира и не помнящую себя от ужаса Ларису Петровну, едва набросившую блузу, поволокли под винтовками через спавшее местечко и посадили в подвал, где томились хреновинские буржуи и контрреволюционеры.

В подвале было душно, пахло мочой и потом и нездоровым запахом грязных, немоющихся людей. Арестанты спали тяжелым сном.

Лариса Петровна бессильно опустилась на нары.

— Что же это такое?

Командир пожал плечом.

— Это ему не пройдет! Я камня на камне от этого гнезда не оставлю!

Лариса Петровна заплакала.

10

Рано утром на вокзал явился отрядник, вооруженный с ног до головы. Часовой остановил его.

— Тебе куда?

— А кто у вас старшой? Дело есть!

— Командира нет! Он где-то в местечке!

Отрядник усмехнулся.

— Мени командира и не треба. А хто его замищает?

Матрос свистнул: подошел разводящий.

— Да по какому делу?

— А от тут в папири прописано. Тильки срочно!

— Хорошо, разбужу помощника.

Помощник командира Буров, старый флотский кондуктор, храбрец и пьяница, долго не мог проснуться, потом повернулся, зажег свечу и взял бумагу.

Пока он читал ее, лицо его вытягивалось, и отвисала нижняя губа.

«На бронипоезд «Республика»

Начальник коратального отряда в мистечки Хриновыне извещаить вас, што ваший командир есть действительно арестован при отряди за контрреволюционные паступки с начальником отряда и разврат жизни с евоной полюбовницей и приговорили обчим постановлением к разтрелу, что и будит произведено семь часов утру, если вы ни дадити две бочки спирта, только казонный, а ни самогон.

Начальник отряду *Рыкало.*

Штаб (каракуля)

Буров ударился два раза лбом в стену, потом взглянул на разводящего.

— Ефименко!.. Я пьян или трезв?..

— Не могу знать, товарищ Буров. Кажется трезвы!

— Кто принес записку?

— Какой-то бандит. Он там дожидается.

Буров натянул сапоги и накинул бушлат.

— Где он, растудыт его в копчик? — сказал он, запихивая обойму в маузер.

Они подошли к выходу.

— Это ты принес?.. — спросил Буров, махнув запиской.

— Я!

— А у тебя башка на плечах крепко держится?

— Та вы мене не пугайте. Бо як вы мене пальцем тронете, то вашего командера зараз чик, и все, — нахально ответил отрядник.

Буров был человек действия. Маузер молнией мелькнул в воздухе и тяжелым задком ударил в лоб бандита, рухнувшего плашмя к ногам часового.

— Убрать в вокзал... Тревогу, только без всякого шума! Из местечка чтобы ни одного человека на перроне не видали!

— А в чем дело, товарищ Буров? — спросил разводящий.

— Товарищ Большаков арестован этими бандитами. Они требуют две бочки спирта за выкуп, иначе расстреляют его.

— Ого, — протянул разводящий.

Буров прошел по плутонгам, будя команду и на ходу рассказывая.

Матросы вскакивали, ошалело слушали, но молниеносно одевались.

Входные двери плутонгов в сторону перрона Буров приказал не открывать и выходить из вагонов только в сторону поля, по одному, по два человека.

План был у него готов.

— Двадцать человек. Зарядить винтовки... По полсотни патронов. Товарищ Тишин, десять человек вам, десять — мне. Прислугу к сорокавосьмилинейному. Давай дымовую ракету... Товарищ Ефименко! Вас оставляю заместителем! Как только увидите ракету, дайте гранату вон по тому дому, двухэтажному. Метьте в верхний этаж. Теперь, ребята, задами, поодиночке. Самое главное, окружить их незаметно.

Люди в Хреновине встают рано, и в это утро они с изумлением и испугом видели, как, перепрыгивая через плетни, шагая по огородным грядкам, пригибаясь, перебегали поодиночке матросы с винтовками к середине местечка.

На бегу матросы говорили, что у них ученье, и советовали идти в хаты.

Но ученье для хреновинцев было такой диковинкой, что они высыпали на свои дворы и стояли, застыв на местах и не шелохнувшись.

Матросы обещали первому, кто пойдет за ними, свернуть голову.

Здание карательного отряда стояло на пригорке Суворовской улицы, отчетливо видное с вокзала. С одной стороны цепь матросов доползла до плетней домов, выходящих на улицу против дома, и залегла там, а с другой — оцепила сад, принадлежащий дому. Два отрядника стояли у дверей и внимательно смотрели в сторону вокзала. Бронепоезд стоял там серый, неподвижный, молчаливый, и в нем и вокруг него никто не двигался.

Буров спокойно встал, перешагнул через плетень и, небрежно размахивая руками, пошел ленивой развальцей через улицу к часовым.

Они заметили и встрепенулись. Лязгнули затворы.

— Стой, куды?

— К вам, — совершенно равнодушно ответил Буров.

— Ты видкиля?

— С вокзала.

— А де ж наш?

— А мы его пока задержали, чтобы вы меня отпустили назад. Мне нужно поговорить с вашим начальником. Чи он сам за спиртом приедет, чи нам привезти? — сказал Буров с легкой усмешкой.

— Подыми руки, — ткнул в него винтовкой часовой.

Буров поднял.

— Стой так! Федько, сбигай за батькой!

Второй бандит ушел в дом.

Буров услышал, как под тяжелыми шагами затрещала лестница, и в пролете двери появился Рыкало, суровый и мрачный.

— Хто такой?

— Я с бронепоезда, товарищ начальник. — Голос Бурова задрожал деланным испугом.

— Якого тоби биса треба, мать твою? Де мий гонець?

— Он у нас остался, товарищ начальник, чтоб вы меня не задержали. Я пришел насчет спирту поговорить.

— А! — Рыкало осклабился. — Що, гарно я вас поддив?

Буров промолчал секунду, потом ровным и тихим голосом сказал:

— Слушай, ты, сукин сын, в печенки, гроб и веру. Я даю тебе пять минут подумать. Если через пять минут командир не будет у меня целехонький — пеняй на себя.

Рыкало отшатнулся. Вскинул своей нечеловеческой челюстью.

— Бий его в мою голову!

Но прежде чем часовые успели сделать движение, Буров заложил пальцы в рот, дьявольский разбойный свист хлестнул улицу, и из-за плетней поднялись матросы. Жадные глазки винтовок уперлись в Рыкало и часовых.

Наступило молчание.

— Добре! — прохрипел Рыкало. — Добре! Тильки ж вашему командеру зараз конец буде! — И одним прыжком он очутился в здании.

11

Когда в маленьком окне засинело, население подвала стало поднимать грязные лохматые головы с пола и нар, и пятнадцать пар глаз уставились с недоумением на новых жильцов.

Лариса Петровна безутешно рыдала, закрыв лицо.

— Что же будет? Что будет? Ах я несчастная! Мне на улицу нельзя будет выйти! Засмеют меня, заклюют!

Большаков стоял над ней в мрачном раздумье. Он негодовал на себя, бесился и чувствовал какую-то проклятую неловкость перед своей случайной подругой, и его злили ее слезы.

— Послушайте, Лариса Петровна! Не плачьте! Я все сделаю! Ну хотите, я женюсь на вас и увезу вас отсюда? — сказал он в отчаянии.

Лариса Петровна отняла руки от глаз и посмотрела на него. Потом ее лицо, свежее, пышущее румянцем, трогательное в своем бессилии, дрогнуло тайной улыбкой.

— Правда? Правда? Какой вы хороший!

У Большакова заныло под ложечкой. «Что я, с ума сошел?» — подумал он и вслух сказал:

— Ну конечно, правда!

— Добродию! — просипел над его ухом глухой голос. — А чи нема у вас тютюну? Три недели без тютюну сижу, ка зна за що.

Неимоверно грязный, лохматый человек стоял за Большаковым, протягивая черную, худую руку.

Большакова передернуло, он с дрожью сунул руку в карман, бросил кисет на протянутую ладонь и повернулся к Ларисе Петровне.

Но пол под ним дрогнул, все зашаталось и заскрипело. Оглушительный грохот потряс подвал, и с потолка, вздымая столбы белой пыли, осыпая орущих в ужасе людей, рухнула штукатурка.

12

Не успел Рыкало скрыться в здании, как Буров, тоже в несколько прыжков, перенесся через широкую улицу к матросам и поднял ракетный пистолет.

И тогда совершилось то, о чем жители Хреновина

до сих пор еще говорят с благоговейным страхом, понижая голос до шепота и наклоняясь вплотную к собеседнику.

Это событие стало даже официальным началом нового летосчисления для хреновинцев, которые говорят: «Это случилось до происшествия», или: «Это случилось после происшествия».

Сперва над Суворовской улицей взвилась шипящая змея, оставляя за собой черный дымный след.

Потом, как утверждают очевидцы, из стальной черепахи на вокзале сверкнула короткая желто-зеленая молния. Потом воздух дрогнул от тяжелого удара над местечком, пригибая к земле шапки акаций, провыло неистовым поросячьим визгом какое-то чудовище, и, наконец, верхняя часть дома Лейбы Аймасовича вознеслась на небо в огне и столбах черного, тяжелого дыма, взметнувшегося высоким фонтаном.

Половина окон Суворовской улицы оказалась без стекол, которые словно кошка слизала языком.

В довершение всего матросы ринулись с двух сторон в разрушенный пылающий дом.

Короткий треск винтовочных выстрелов по бегущим через сад людям из отряда «красного тирора» скоро затих.

Двое были захвачены живыми.

Через выбитое окно подвала матросы выволакивали измазанных известью узников.

13

В десять часов утра бронепоезд уходил на узловую станцию. В нем ехал Приходько.

Он стоял у раскрытой двери плутонга с Большаковым.

— Вам давно нужно было поехать в город, товарищ! Ведь у вас не советская организация, а черт знает что! Там вас и проинструктируют и людей, может быть, дадут. А иначе вас каждый бандит в щель загонит!

Приходько слушал и кивал головой.

Сухо лязгнули буфера, вагоны поплыли мимо станции, и на перрон, раскрасневшаяся, вбежала Лариса Петровна с большим узлом, связанным бухарским платком.

Она оглянулась, увидела Большакова и кинулась к вагону.

— Берите узел!.. Скорей!..

Большаков с недоумением смотрел на узел.

— Зачем?

— Но... ведь вы... обещали... увезти меня... жениться!..

Он небрежно улыбнулся.

— Ах... да, черт возьми!.. Но ведь не сейчас!.. Подождите!.. Мы еще приедем!

Поезд взял ход.

Лариса Петровна осталась на перроне, растерянная, выронив узел.

А Большаков еще долго махал ей белой фуражкой.

Ленинград, апрель 1924 г.

ВЕТЕР

(Повесть о днях Василия Гулявина)

Глава первая

ТАРАКАН

Позднею осенью над Балтийским морем лохматая проседь туманов, разнузданные визги ветра и на черных шеренгах тяжелых валов летучие плюмажи рассыпчатой, ветром вздымаемой пены.

Позднею осенью (третью осень) по тяжелым валам бесшумно скользят плоские, серые, как туман, миноносцы, плюясь клубами сажи из склоненных назад толстых труб, рыскают в мутной зге шторма длинные низкие крейсера с погашенными огнями.

Позднею осенью и зимой над морем мечется неистовствующий, беснующийся, пахнущий кровью, тревожный ветер войны.

Ледяной липкий студень жадно облизывает борты стальных кораблей, днем и ночью следящих жесткими глазницами пушек за туманным западом, пронизывающих черноту ночей пламенными ударами прожекторов.

В наглухо запертом вражескими минами водоеме беспокойно мечется вместе с ветром обреченный флот.

В наглухо запертых броневых мышеловках мечутся в трехлетней тоске обезумелые люди.

Осень... Ветер... Смятение...

Балтийского флота первой статьи минер Гулявин Василий — и ничего больше.

Что еще читателю от матроса требуется?

А подробности вот.

Скулы каменные торчат желваками и глаза карие с

дерзиной. На затылке двумя хвостами бьются черные ленты и спереди через лоб золотом: «Петропавловск». Грудь волосами в вырез голландки, и на ней, в мирное еще время, заезжим японцем наколоты красной и синей тушью две обезьяны, в позе такой — не для дамского деликатного обозрения.

Служба у Гулявина мурыжная, каторжная. Сиди в стальном душном трюме, глубоко под водой, в самом дне корабля, у минного аппарата, и не двинься.

Воняет маслом, кислотами, пироксилином, горелою сталью, и белый шар электрической лампочки в пятьсот свечей прет нахально в глаза.

А что наверху творится — не Гулявина дело. Всадят в дредноут десять снарядов под ватерлинию или мину подпустят, а Гулявин, в трюме засев, и не опомнится, как попадет морскому царю на парадный ужин.

Помнит Василий об этом крепко, и от скуки, на мину остромордую сев, часто поет про морского царя и новгородского гостя Садко матерную непристойную песню.

Три года в трюме, три года рядом с минным погребом, где за тонкой стеной заперты сотни пудов гремящего смертного дыха.

С этого и стал пить запоем Василий.

Война... Заливку достать трудно, но есть в Ревеле такая солдатка-колдунья. Денатурат перегонит, и получается прямо райский напиток для самых деликатных шестикрылых серафимов. Одно слово — ханжа.

Но пить опять же нужно с опаской, — потому если, не приведи, в походе пьяное забвение окажешь, — расправа короткая.

В какую ни будь погоду, на каком ни есть ходу привяжут шкертом за руку и пустят за борт на вытрезвление. Купайся до полного блаженства.

Потому и приучился Гулявин пить, как и все прочие, до господ офицеров включительно, по-особенному.

Внутри человек пьян в доску, а снаружи имеет вид монашеской трезвости и соображения даже ничуть не теряет.

Но только от такой умственной натуги и раздвоения организм с точки сворачивает, и бывают у человека совершенно неподходящие для морской службы видения.

И нажил себе Гулявин ханжой большую беду с господином лейтенантом Траубенбергом.

Нож острый гулявинскому сердцу лейтенантовы тараканьи усы.

По ночам даже стали сниться. Заснет Василий, и кажется: лежит он дома, в деревне, на печке, а из-под печки ползет лейтенант на шести лапках и усищами яростно шевелит:

— Ты хоть и минер, хоть и первой статьи, а я тебя насмерть усами защекотать могу, потому что дано мне от морского царя щекотать всех пьяниц.

Рвется Гулявин с печи, а лейтенант тут как тут, на спину насел, усами под мышку — и давай щекотать.

Хохотно!..

Разинув рот, беззвучно хохочет Гулявин, и вот уже нечем дышать, в горле икота, в легких хрип...

Смерть!..

И проснется в холодном поту.

Чего только не делал, чтобы избавиться от тараканьего наваждения. Даже к гадалке персидской ходил в Ревеле, два целковых отдал, рассказал свое горе, но гадалка, помешав кофейную гущу, ответила, что над лейтенантом силы она не имеет, а выходит на картах Василию червонная дама и большая дорога.

Выругал сукой Гулявин гадалку и ушел. Два рубля даром пропало.

И так невтерпеж стало от треклятого сна, что, хватив однажды ангельской ханжи против обычного вдвое, подошел Василий мрачно к лейтенанту на шканцах и сказал, заикаясь:

— Вашскобродие! Явите милость! Перестаньте щекоткой мучить! Мочи моей больше нет!

Свинцовые остзейские лейтенантовы буркалы распялились изумленно на матроса:

— Ты обалдел, осел стоеросовый! Когда я тебя щекочу?

А усы тараканьи сразу дыбом встали.

Пригнулся Гулявин к лейтенантову уху, хитро подмигнул и зашептал:

— Вашскобродие! Я ж таки понимаю, что ежели человек по ночам в таракана оборачивается, значит, так ему на роду написано, и злобы на вас у меня нет. Только терпеть нет силы! Пожалейте. Возьмите Кулагина — он вдвое меня здоровее, а меня отпустите на покаяние. Так и помереть можно!

Отскочил Траубенберг и сухим кулаком больно ткнул Гулявина в зубы.

— Пшел вон, мерзавец!.. Ты пьян, как сукин сын! Три наряда вне очереди, месяц без берега.

А Василий утер кровь на губе и сказал сурово:

— Нехорошо, вашскобродие! Я к вам по-человечески, а вы меня в зубы. Как мне это понимать? А вам такие права по уставу полагаются, чтоб матросов щекотать? Я претензию могу заявить. Погоди, со всеми вами разделаемся... гады! — повернулся и пошел на бак.

А лейтенант, взбешенный, побежал к старшему офицеру, и посадили Гулявина в мокрый подводный карцер на две недели. В карцере, на голых досках ворочаясь, под крысиный писк, возненавидел лейтенанта Гулявин и в темноте зубами скрипел:

— Погоди, тараканья сволочь! Будет и у нас праздник!

В карцере, должно быть, и застудил Гулявин легкие, так что в середине января свезли его на берег, в госпиталь.

В госпитале теплынь и чисть, хорошо, кормили сладкими кашами, но ханжи ни-ни — и достать никак невозможно.

И пожаловался однажды Василий соседу по койке, матросу с «Резвого», которому обе ноги сорвало немецким снарядом.

— Ну и жизнь!.. Выпить человеку не дадут!

Матрос повернул заострившееся лицо (четко белело оно на серой масленой стене, опушенное черной бородкой).

— Меньше пил бы, дурак, умней был бы...

Гулявин вскипел:

— Полундра... черт поддонный! Ты, должно, умный стал, как тебе ноги ободрало?

Сухо усмехнулся матрос.

— У меня одна задница останется, и то умней твоей головы будет. Время не такое, чтоб наливаться.

— Какое же такое время, по-твоему?

— Долго, брат, рассказывать... Хочешь, вот почитай лучше, — сунул руку под матрац и вытащил затрепанную книжонку.

Взял Гулявин недоверчиво, прочел заглавие:

«Почему воюют капиталисты, и выгодна и нужна ли война рабочим?»

Сел у окошка и давай читать. Даже в голову ударило сразу, и огляделся по сторонам:

— Одначе... кроют! Чистая буза!

Прочел книжку до конца, и сделалось у него в мозгу прямо смятение.

Ночью, когда спал весь госпиталь, в темноте, сел Гулявин на койку безногого, и безногий звенящим шепотом швырял ему в ухо о войне, о царе, о Гришке-распутнике, о том, как рабочие силу копят, и что ждать уже недолго осталось и скоро дадут барам взашей.

— И офицерье пришить можно будет? — спросил вдруг Василий.

— Всех, брат, пришьем!

— Спасибо, братишка, обрадовал!

И в темноту зимней ночи, свисавшей за окнами, погрозил Гулявин большим кулаком.

С той поры стал безногий давать Гулявину разные книжки, которые приносили ему с воли навещающие.

И жадно, как хмельную обжигающую ханжу, глотал Гулявин неслыханные слова. Многого не понимал, и сосед слабеющим голосом растолковывал непонятное, старательно и долго.

А в первых числах февраля, в полночь, серьезно и тихо умер сосед.

Пришла сестра, сложила ему руки и прикрыла глаза. Потом вышла известить госпитальное начальство.

Гулявин быстро приподнял матрац и выгреб книжонки, перебросив их под свою подушку.

Постоял возле покойника, посмотрел на тонкий прозрачно-желтый нос, нагнулся и крепко поцеловал мертвого в губы.

— Прощай, братишка! Расскажи на том свете матросне, что наша возьмет, — и накрыл сухое лицо простыней.

До середины февраля провалялся еще Василий, а потом комиссия при госпитале дала ему две недели для поправки здоровья.

И решил Гулявин съездить в Питер, к давней зазнобе своей Аннушке, что служила в кухарках у инженера Плахотина, на Бассейной.

«В крайнем разе отъемся на инженеровых бламанжах, и Анка тоже баба не вредная».

Получил после двадцатого февраля документы и, сидя в вагоне, чем ближе подвигался к Питеру, тем больше

слышал тревожных разговоров, что неспокойно в столице, бунтуют рабочие, а солдаты не хотят усмирять.

И от этих вестей сердце Василия распирало ребра и не билось, а грохотало тревожно, напряженно и часто.

Над поездом безумствовала и выла февральская злая вьюга.

Глава вторая
МЕТЕЛЬНЫЙ ЗАВОРОТ

На Балтийском вокзале, едва слез Гулявин с поезда и вышел на подъезд, навстречу толстомордая тумба городового и растерянная жердь — сухопарый околоточный.

— Эй, матрос! Документы!

Вытащил, показал. Все в порядке.

Околоточный оглядел подозрительно глазными щупальцами и буркнул:

— Проходи прямо домой. По улицам не шляться!

А Гулявин ему обратно любезность:

— Катись колбаской, пока жив, вобла дохлая.

Околоточный только рот раскрыл, а Василий — ходу в толпу.

С узелком с вокзала на извозце (не ходили уже трамваи) приехал к Аннушке. Постучался с черного хода. Открыла Аннушка, обрадовалась изумительно, усадила в натопленной кухне, накормила цыплячьей ногой и муссом яблочным, напоила чаем.

— Слушай, Анка! Выматывай, что в Питере делается!

Аннушка пригнулась поближе. Слушал Гулявин, не слушал — всасывал в себя Аннушкины рассказы. Припомнил лейтенанта.

«Что, взял, тараканья порода?»

На минутку забежала в кухню по делу инженерова племянница, тоненькая барышня. Увидела Василия — и к нему:

— Вы матрос, товарищ?

Встал Василий, руки по швам (обращение всякое знал) и ответил:

— Так точно, мадмазель!

— Не знаете, как революция?

— Точно сказать невозможно, но ежели рассуждать

по всем обстоятельствам, то без большого столкновения не обойтись.

Разные слова знал Василий и с каждым мог разговаривать. Барышня в комнаты убежала, а Василий, кофею еще попив, пошел за Аннушкой в ее каморку, позади кухни, на широкий, знакомый пуховик.

Но посреди ласк Аннушкиных, жарких и милых, грызла Василию мозг упорная, неотвязная и настойчивая мысль.

И, Аннушкины руки отдернув, сел он на постели в подштанниках одних, крепкий, что камень, и спичку зажег.

— Вася! Ты что?

— Пойду!

— Очумел! Куда средь ночи-то?

— Эх... баба ты! Хоть ты и хорошая баба, а понятия в тебе настоящего нет. Рази порядок на кровати валяться, когда фараонов бить нужно? Иду!

И, решительно встав, зажег Василий лампочку.

Напрасно, прижимаясь пышной грудью, упрашивала Аннушка:

— Что ты, Василий? Куда ж ты, голубчик? Под пули?

Отстранив бабу, Василий сурово, молча оделся и тихонько по черной лестнице вышел.

С трудом пролез, зацепившись хлястиком, в калитку, прихваченную на ночь цепочкой, и очутился на улице.

Нежным желтым трепетом в летящем снегу мерцали высокие фонари, и далеко где-то трахнул раскатистый выстрел.

Василий — на другую сторону улицы и беглым шагом, прижимаясь к домам, побежал легко по тротуару.

. . . .

А спустя полчаса мчался Гулявин по улицам с безусым пухлявым вольнопером в Павловские казармы — солдат выводить.

Что было потом, в течение пяти дней, слабо помнил и даже Аннушке толком не мог рассказать.

Только и помнилось.

На Морской с чердака шестиэтажного дома трещал пулемет, и пули с визгом косили все живое на улице. Звеня, сыпались стекла магазинных витрин.

Сюда налетел Гулявин с командой солдат и студентов на трехтонном грузовике.

Хлестнуло свинцом по машине, и со стоном схватился за пробитую голову, сронив винтовку, синеглазый студентик-горняк.

Побледнел Василий.

— Ах ты, черти подводные! Ребят бить. Становь машину под дом!

Грузовик выперся на тротуар у стены.

Соскочил Гулявин.

— Давай желающих три человека, фараона снимать!

Вышли черный, схожий с водяным жуком, солдат-ополченец, шофер и рябой рабочий.

Гулявин к воротам — и остальным на ходу:

— Братва... За мной!

По черному ходу, по лестнице с запахом кухонь (Аннушку вспомнил Гулявин) наверх, на чердак.

Дверь заперта. Прикладом... Еще... Доски с треском разверзлись, и душная мгла чердака другим, револьверным, ответила треском.

В проломе двери застрял упавший рабочий, а Гулявин одним прыжком через него и, вскинув наган в темноту: трах... трах...

Мимо уха зыкнула пуля, вперед ринулся черный солдат, и сейчас же с шипением вошел штык в сукно серой шинели плотного пристава.

Пулеметчик-городовой обернул иссиня-белое лицо и, стуча зубами от страху, крикнул:

— Сдаюсь!.. Не бейте!.. — Но удар прикладом в затылок бросил его на задок пулемета.

Взглянул на лежащих Гулявин.

— Тащи на крышу! Пустим летать!

Сквозь слуховое окно протащили на снежную крышу, раскачали пристава и через решетку — вниз. Три раза перевернулся в воздухе серой шинелью, и... мозги розово-желтыми брызгами разлетелись по желтому петербургскому снегу.

Пулеметчик очнулся, отбивался, кричал, кусал за пальцы, но Гулявин схватил поперек, перегнулся через перила и разжал руки. Глухо ударилось тело, а Гулявин в исступлении кулаком себе в грудь и во весь голос:

— О-го-го-го-го!..

Второе было в зале Таврического дворца. Толстый Родзянко, с дрожащей челюстью, вылез мокрым тюленем держать речь к пришедшим в Думу войскам.

Слова были жалкие, растерянные, прилипали к стенам, но Гулявину вчуже казалось, что горит в них весь огонь бунта и злобы, который трепетал в его сердце, и когда сказал Родзянко:

— Солдаты! Мы — граждане свободной страны. Умрем за свободу! — в напряженной тишине гаркнул Василий:

— Полундра! Правильно, толстозадый!

Остальное слилось в багровый туман пожаров, стрельбы, алых полотен, песен, бешеной гонки по улицам на автомобилях, криков, свиста, бессонницы.

Опомнился только на шестой день, когда сел в зале на дубовое кресло с мандатом в руке, а в мандате прописано:

«Предъявитель сего минер, товарищ Гулявин, Василий Артемьевич, есть действительно революционный матросский депутат от первого флотского экипажа, что и удостоверяется».

И начались для Гулявина странные дни.

Прошлое отошло в свинцовый туман, закрылось вуалью, а на смену ему — голосования, вопросы, фракции, восьмичасовой день, парламентарность, аграрный вопрос, учредиловка, меньшевики, большевики, эсеры, загадочный Ленин, ноты, аннексии, контрибуции, братство народов, Софья с крестом на проливах, митинги, демонстрации, — и все жадно глотала голова; под вечер нестерпимо болели виски от неслыханных слов, и зубрил Гулявин словарь политических слов, взятый у одного члена Совета.

А по ночам опять стал сниться лейтенант Траубенберг. Выползая из-под печки, усами грозился:

«Хоть ты теперь и депутат, а я тебя до смерти защекочу. Моя власть над тобою до гроба. Гадалка не помогла, и Совет не поможет».

Просыпался Василий с криком и тревожил сладко спящую Аннушку. Жил у Аннушки на правах депутата, а инженер Плахотин весьма доволен был и гостям приходившим хвастался:

— А у нас депутат матросский на кухне живет. Герой! Трех полицейских ухлопал!

И гости, заходя в кухню, как бы ненароком, смотрели на Гулявина и ласково с ним разговаривали, а один

спичечный фабрикант расплакался даже и сторублевку дал:

— Я, товарищ матрос, вас уважаю, как народного самородка и освободителя родины от царского гнета. Возьмите на революцию!

Взял Гулявин. Купил на эти деньги Аннушке шарф шелковый и ботинки самого американского шевро (разве Аннушка революции не на пользу?), а остальные семьдесят прокутил.

А через три дня разделался и с тараканьим кошмаром.

Шел ночью через Измайловский полк с митинга, увидел впереди себя худую фигуру в черном пальто без погон и при свете фонаря разглядел лейтенанта Траубенберга.

В революцию сбежал лейтенант с «Петропавловска» и прятался в Петербурге у тетки.

Залило глаза Гулявину черной матросской злобой.

Кошкой пошел, неслышно ступая, за лейтенантом.

Траубенберг дошел до подъезда, оглянулся и мышкою в дверь, а кошка-Гулявин — за ним.

На второй площадке догнал лейтенанта.

— Что, господин лейтенант?.. Не послушали добром?.. Теперь прикончу я тараканьи штуки-то ваши!

Траубенберг открыл рот, как вытащенный на сушу судак, и не мог ничего сказать. Минуту смотрели одни в другие глаза: мутные — лейтенантовы, яростные — матросские. Потом шевельнул лейтенант губой, ощерились усы, и показалось Василию — бросится сейчас щекотать.

Отшатнулся с криком, схватился за пояс, и глубоко вошел под ребро лейтенанту финский матросский нож.

Захлюпав горлом, сел Траубенберг на ступеньку, а Василий, стуча зубами, — по лестнице и бегом домой.

Раздеваясь, увидал, что кровью густо залипла ладонь.

Аннушка испугалась, затряслась, и ей рассказал Василий, дрожа, как убил лейтенанта.

Аннушка плакала.

— Жалко, Васенька! Все ж человек!

Сам чуял Василий, что неладно вышло, но махнул рукой и сказал гневно:

— Нечего жалеть!.. Тараканье проклятое!... От них

вся пакость на свете. К тому же с корабля бежал, и все одно как изменник народу.

Повернулся к стене, долго не мог заснуть, выпил воды, наконец захрапел, и во сне уже не приходил Траубенберг мучить тараканьим кошмаром.

Глава третья
КОЛЛИЗИЯ ПРИНЦИПОВ

В июне знал уже Василий много слов политических и объяснить мог досконально, почему Керенский и прочие — сволочи и зачем трудящемуся человеку не нужно мира с Дарданеллами и контрибуциями.

Внимательно учился революции, и открывалась она перед ним во всю свою необъятную ширь, как дикая степь в майских зорях.

А в Совете записался Василий во фракцию большевиков.

Самые правильные люди, без путаницы.

Земля крестьянам, фабрики рабочим, буржуев в ящик, народы — братья, немедленный мир и никакой Софьи с крестом.

Самое главное, что люди не с кондачка работают, а на твердой ноге.

Только вот говорить с народом никак не мог научиться Гулявин так, чтоб до костей прошибало.

И очень завидовал товарищу Ленину.

В белозальном дворце балерины Кшесинской не раз слыхал, как говорил лысоватый, в коротком пиджаке, простецкий, — как будто отец родной с детишками, — человек с буравящими душу глазами, поблескивавшими поволжскою хитрецой.

Кряжистый, крепкий, бросал не слова — куски чугуна, в людское море, мерно выбрасывая вперед короткую крепкую руку.

И всегда, слушая, чуял Гулявин, как по самому черепу лупят комья чугунных слов, и зажигался от них темною яростью, жаждой боя, и отдавался дыханию пламенеющего вихря. Уходя же, думал: «Вот бы так говорить! За такими словами весь мир на стенку полезет».

Дома разладилось у Гулявина.

Инженер Плахотин, Аннушкин барин, узнал, что

Василий в большевики записался, и озлился. Зашел в кухню, но уже руки не подал, под визитку спрятал, и, качаясь на пухленьких ножках, сказал:

— Прошу вас, товарищ, мою квартиру покинуть, потому что я в вас обманулся. Думал, вы народный герой, а вы просто несознательный элемент, и к тому же немецкий шпион. А у меня в квартире жена министра бывает, и сам я кадетской партии, так как бы не вышло коллизии принципов.

Удивить думал принципами. А Василий в ответ:

— Насчет принципов — мы это дело оставим, а вот ты мне скажи... почему я немецкий шпион? Чей я шпион? Ты мне платил, сукин сын?

Инженер отскочил на полкухни и в Василия пальцем:

— Вон отсюда, хам неумытый!

Затрясся Гулявин, от злобы почернел, шагнул и кулаком смоленым по румяной инженерской щеке.

— Растудыт твою! Ты мне платил? Получай задаток обратно!

Плахотин платочком скулу прижал и в комнату бегом, а Василий напялил бескозырку на лоб, взял сундучок под мышку и в Совет к коменданту.

— Приюти, товарищ, где можно, потому столкновение вышло между народом и интеллигенцией, и вот я без каюты.

Отвел комендант маленькую комнату под лестницей, с красным атласным диваном, и зажил Василий самостоятельно.

Жизнь кружит. Днем по митингам, по командам, дела разбирать, агитацию разводить.

Один день за Советы, другой против проливов, за братанье, против министров-капиталистов, потом еще всякие комиссии, а скоро начали по заводам обучать рабочих орудовать винтовкой в Красной гвардии.

За день намается Гулявин — и к себе на атласный диван.

Диван короткий, и пружины, как штыки, торчат, всю ночь вертеться приходится.

Если подумать — буржую на пуховой постели рядом с пухлой булкой-женой лучше, конечно, чем Гулявину на коротком диване, вдобавок без Аннушки, да как вспомнишь, что у буржуя совесть нечиста, по спине мурашки и в сердце дрожание, то, пожалуй, на диване и лучше.

К июлю скверно стало работать.

Совсем кадеты осатанели, того и гляди, посадят в кутузку, потому что вышел приказ от правительства за керенской подписью, что Ленин под пломбой приехал в мясном вагоне и Россию продал за двадцать миллионов керенками и все большевики свободе изменники.

На митингах разные гады из углов шипят и криком норовят речи сорвать, а на Знаменской позавчера так палкой по черепу Гулявина двинули, что в глазах потемнело.

Обидно Василию.

Идет по Невскому вечером с митинга, а кругом разодетые, в шляпках и котелках, а из-под котелков в три складки жирно свисают затылки.

Дать бы по затылку, чтоб голова на живот завернулась.

Плюнет с горя Гулявин и идет через мост к академии, где в ледяную черную невскую воду смотрят древние сфинксы истомой длинно прорезанных глаз, навеки напоенных африканским томительным зноем.

Сядет на ступеньку. Под ногами мерно шуршит вода, и свивается в космы над рекою легкий туман.

Смотрит Гулявин, и вот уплывают в облака шпицы, дома, мосты, барки на реке, и нет уже города.

И не было его никогда.

Мгновенное безумие бредовой мечты бронзового строителя — и волей бреда на топях черных болот, на торфяной зыби, приюте болотных чертей, сами собой встали граниты, обрубились кубами, громоздясь в громады стройных домов по линиям ровных проспектов, по каналам, Мойкам, Фонтанкам. Дворцы и казармы, казармы и дворцы. По ранжиру, под медный окрик сержанта Питера, в ряды, в шеренги, в роты, по кровавой дыбящей воле, построились, задышали желтым отравленным дымом, населились людскими прозрачными призраками, зажглись призраками не сущих огней. По Неве, по каналам призраки мачт на призрачных шкунах, на призраках волн. Из-за зубчатых призрачных стен на город щерятся призраки пушек. И тень часового с тенью ружья на плече одиноко в ночи проходит по бастионам, и слышит Россия окрик команды: «Слу-ушай-а-ай!» И в мрачных тенях мрачных дворцов меняются тени сказочных

царей. Черная жизнь черных призраков. Насилие, кровь, удушье, шпицрутены, казни, ссылка, отрава... И призрачной белой ночью на Сенатскую площадь приходит курносый призрак с пробитым виском и туго стянутой шарфом шеей и, высунув синий язык, дразнит медный призрак Строителя, а вокруг ведут хоровод пять теней в александровских тесных мундирах, также высунув языки в смертной гримасе.

Нет Петербурга! Нет, и не было!

Был бред, золотая мечта новорожденной империи о Европе, о двери, широко открытой в ослепительный мир, зовущий императорскими маршами и громом побед.

Но вокруг гранитной мечты, построенной в роты, вырастал понемногу грозной реальностью из бетона, железа и стали, в душной копоти, в адских огнях, в металлическом громе и рокоте, строй кирпичных грохочущих зданий, где согнанные рабы молча ковали силу и мощь империи призраков. И в визге станков, свисте приводных ремней, лязге молотов, радуге молний бессемеровых груш, под гигантскими лапами кранов, в зареве, взмывавшем до звезд, рабы плавили в горнах металл и копили шлаком в сердцах оседавшие ненависть и гнев. И из города-призрака приходили в город реальности неизвестные люди с книжками и словами, полными отравы гнева. Тогда зажигались глаза у горнов мечтой и восторгом. А наутро на стенах белели листки со словами, пылавшими кровью. Взывали гудки, и рабы, толпами в тысячи тысяч, шли к сердцу города-призрака; смертной вестью лился гул бунта, и струями свинца заливались толпы до нового бунта, пока ветром осенним, тугим и упругим октябрьским штормом не был развеян призрачный мир удушья и впервые в истории в одно слились оба города.

Нет Петербурга.

Есть город октябрьского ветра...

Долго сидит Гулявин, и в матросских упрямых глазах бегают желтые огоньки, и мысли буравит все то же: «Землю всю перестроить надо. По-настоящему. По-правильному, чтобы навсегда без войн, без царей, без буржуев обойтись! Ленин башковит! Как это у него выходит? Ничего не потеряем, кроме цепей, а получим всю землю».

И от этой мысли захватывало дыхание.

Видел перед собою всю землю, большую, круглую, плодоносную, залитую солнцем, мир бесконечный, богатый, широкий, и мир этот для него, Гулявина, и прочих Гулявиных, и когда бросал взгляд на свои смоленые руки, казалось, что на них слабо звенят ослабевшие цепи.

Нажать разок — и лопнут, и нет их.

Вставал лениво и шел в Совет на атласный диван.

По дороге окликали гулящие барышни:

— Кавалер! Дай папироску!

— Матросик, пойдем со мной!

Но хмуро теперь смотрел на них Гулявин и мрачно ругался в ответ. Не до баб было.

Глава четвертая
ВЕТРОВОЙ ИЮЛЬ

Июль был душным, тяжелым и ветреным.

Хлестало ветровыми плетьми по граниту, носило на мостовых едкую, горькую пыль, забивало глаза, стискивало горло.

Рождали ветры смятение и глухую бурлящую ярость.

Гарнизон Петербурга — солдаты, матросы, рабочие — почувствовали впервые свою силу перед лицом актеров, неврастеников и адвокатов.

Уже не программа требовала — бушевала блестками молний стихия, и в раскаленном воздухе дышали ветры и грозы.

И с утра поползли по улицам, ощетинясь штыками, волоча тупорылые пулеметы, полки, отряды, толпы, шеренги.

Понеслись, рыча, по проспектам грузовики, а над грузовиками шуршащие страстью и местью шелка:

ДОЛОЙ МИНИСТРОВ-КАПИТАЛИСТОВ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НЕМЕДЛЕННЫЙ МИР!

А по тротуарам толпилось разодетое море, и на лицах, сквозь зеленую бледность и злобу, ползали презрительные усмешки.

— Хамье на престол всходит!

— Взлупят!

— Давно не пороли! Спины зажили, вот и дурачатся!

Дурачатся?

А если у Гулявина и тысяч Гулявиных не сердце —

уголь жаркий в груди и жжет и палит гневом и вековою наросшею ненавистью?

Но в душном лете расплавился, рассосался призрак восстания.

И как хрупкий снег петербургской зимы некогда впитал без остатка безумную кровь декабристов и январскую рабочую кровь, так в июле мягкий асфальт и раскаленные торцы выпили большевистскую.

Среди дня, на Литейном, на Гороховой, зарокотала стрельба неизвестно откуда.

Пулеметы посыпали улицы свистящим свинцом, и на мостовой забились тела в предсмертных конвульсиях.

С панелей, по домам, в подворотни, теряя палки и шляпы, метнулось разодетое стадо с воплями, с воем, давя друг друга.

А на смену ему из-за всех углов юнкера, офицеры, ударники.

Эти твердо знали, что делать, и работали по плану, гладко.

На перекрестках задерживали автомобили и демонстрантов, отнимали знамена, винтовки и пулеметы, уводили в подворотни и тяжело били окованными концами прикладов.

И видел Василий, носясь на грузовике, что со всем гневом, со всей яростью ничего не сделать, потому что не видать командира.

А какой же бой без командира, без штаба, когда никто не знает, что делать, куда идти?

Главное дело — организация.

Вспомнил, как Ленин во дворце говорил:

— Товарищи! Наша сила в организованности!

Где же организованность?

Чуть вынесся грузовик на Литейный — прямо напротив казаки конные цепью, винтовками щелкают.

— Стой... Стой, ироды!

Шофер прет напролом.

Треснули винтовки, свалился шофер, и грузовик — с размаху в витрину булочной, разбрызгав стекла.

А с грузовика, обозлясь, матросы из наганов и браунингов по казакам и:

— тах

— пах

— тах

тах.

Но казаки уже рядом, и лезут в машину лошадиные пенные морды.

— Слазь... песьи фляки!

— Большевицкие морды!

— Шпиёны!

Окружили и тащат с грузовика за что ни попало.

Изловчился Василий, прыгнул на тротуар и побежал, пригибаясь, к переулочку.

А сзади донская кобыла по торцам:

— цоп.

— цоп.

Оглянулся на бегу: скачет черный сухонький офицерик и шашку заносит.

На ходу поднял Василий наган и —

трах!

Промазал... Над головой жарким дыханием метнулась злая кобылья морда. Свистнула шашка, в затылок резнула несносная боль, а торцы мостовой стали сразу огромными, близкими и с силой влипли в лицо.

Очнулся Гулявин в чужой квартире. Подобрали какие-то курсистки, пожалели.

И середь буржуев добрые люди бывают.

Лежал в столовой на оттоманке, а хозяйский сын, студент-медик, забинтовывал голову.

Увидел, что Василий открыл глаза, и сказал, присвистнув:

— Фуражка спасла. Не будь фуражки — пропасть бы башке! — И добавил нравоучительно: — Нехорошо бунтовать! Верите всяким немецким наемникам.

Помрачнел Гулявин. Встал, шатаясь, с оттоманки, поднял с пола надвое распластанную, залитую кровью бескозырку.

— Что помогли — на том спасибо. А насчет бунта, так это еще не все. Дальше чище будет! Только не моя уже башка пропадет! Прощайте!

И вышел.

Но, придя в Совет, почувствовал себя плохо от потери крови, и пришлось поехать в лазарет.

Неделю провалялся в лазарете, пока совсем затянулся длинный розовый шрам от шашки через весь затылок.

А когда оправился, назначил его комитет инструкто-

ром по обучению Красной гвардии на металлический завод.

Стал Василий с интересом приглядываться к заводу. Заводских мало знал, больше понаслышке.

Вырос в вологодской глухой деревне, на рыбачьем деле, по деревням шла молва, что фабричные — лодыри, охальники и пьяницы.

Из деревни на фабрику шли одни горькие сивушники либо чистые голодранцы.

А на заводе увидел людей копченых, суровых, медленно, но крепко думавших и знавших обо всем куда больше, чем он сам, Гулявин.

И пришлись заводские ему по сердцу так, что скоро со своего дивана из Совета переехал Василий совсем на квартиру к старику фрезеровщику.

И делу своему новому весь отдался.

В пот вгонял красногвардейцев, до поздней ночи мучил перебежками, прицеливанием, примерными атаками, рассыпанием в цепь, стрельбой.

И когда делали смотр в сентябре красногвардейским отрядам, получил гулявинский отряд похвалу от комитета как образцовый.

Шли дни, взъерошенные, бурные, быстрые.

Надвигалась осень.

Летели с залива серые низкие тучи, поднималась вода в Неве, нагоняли ее свистящие низовые ветры, и стоял против Николаевского моста низкий, серый, даже в неподвижности стремительный, как ветер, и угрожающий крейсер «Аврора».

И ветер дышал сыростью и кровью.

В самом начале октября арестовали Василия юнкера и отвели в Петропавловку.

На допросе капитан с красно-черной ленточкой на рукаве хотел было на дерзкий ответ Гулявина ударить его по лицу, но посмотрел в карие с дерзиной глаза, покраснел и опустил руку.

А через три дня выпустили по требованию комитета, и опять отправился Василий на завод.

С осенними ветрами росла и ширилась буря в человеческих сердцах, на учениях красногвардейцы кололи штыками соломенные мешки с такой суровой злобой, как будто были мешки живыми и олицетворяли собой все, что ненавидели прокопченные у станков люди.

И пришло это в бурную ночь, когда в лужах на ог-

ромной площади длинными иглами дробились золотые зубы дворцовых окон и ревела невская вода, бросаясь на граниты набережной.

Тесным кольцом облегли красногвардейцы и солдаты площадь.

Летели, повизгивали пули ударниц женского батальона от дворца, и в ответ впивались в багровое распухшее мясо дворцовых стен красногвардейские пули.

В бесконечных дворцовых переходах и коридорах толпились растерянные, не знающие, что делать, юнкера, и молча сидели в кожаных креслах неподвижные, обреченные министры.

Надеялись на что-то, и только когда гулко дрогнула стена и с Невы ветер бросил в стекла оглушительным раскатом морского орудия, а площадь залило криком и гомоном, поняли, что больше не на что надеяться.

В числе первых ворвался Гулявин во дворец, в числе первых вбежал в зал заседаний.

— Где министры?

— Мы сдаемся, товарищи, — ответил, вздрагивая и потирая нервно руки, кто-то поднявшийся с кресла.

— Где министры, я тебя спрашиваю?

— Мы и есть министры.

И, услыхав этот ответ, даже не поверил Василий.

Такими жалкими, маленькими, растерянными были прижавшиеся к спинкам кресел бледные люди, что не мог никак Гулявин взять в толк, что это и есть настоящие министры.

Бушевавшему сердцу его казалось, что сбитый красногвардейскими пулями вековой строй должен был представляться огромными, крепкими, величиной с дворцовую колонну людьми.

И когда уверился, наконец, что это и есть министры, презрительно плюнул на персидский ковер и сказал, смотря в глаза министру:

— Это от такой сопли и столько паскуды было? Гниды мокрохвостые!

В октябре тяжко вздыхали пушки в Москве. Ночью пылало багряное зарево на Тверском бульваре и Поварской. Шесть дней вздыхали пушки, и шесть дней факелами светили бою никем не гасимые, полыхающие дома.

В Москве твердо и упорно защищалась старая жизнь,

поливая каждый отданный шаг вражеской кровью, медленно отходя и огрызаясь зверем в последнем издыхании.

И только к концу шестого дня радостнее загромыхали большевистские орудия, веселее запели свинцовые птички между голыми ветвями бульваров, и среди серых шинелей, рваных пальтишек и кепок побежали, пригибаясь, черные, окрыленные вьющимися ленточками бушлаты.

Тогда лишь, обессиленные, стали отходить к последнему убежищу на Знаменку стойко и упорно не сдававшие разрушенного перекрестка Никитских ворот юнкера и ударники.

Из Питера на помощь московской Красной гвардии пришел матросский сводный полк.

А командовал полком первой статьи минер, большевик и депутат Гулявин Василий.

Глава пятая

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД

Из Москвы в декабрьские стужи, ветры и снега сотнями, тысячами, закаменев и сжимая корявыми пальцами облезлые приклады ржавых винтовок, уходили черные, прокопченные, с твердыми подбородками на Украину, на Дон, на Волгу, и декабрьское небо над ними было не серым, туманным, а пламенным и острым, как меч.

И просторы звали их темными голосами затравленных паровозов, бурями, грохотом пушек, рыжими лохматыми дымами пожаров.

И носились над Россией гремящие чугунные дни.

В гремящий чугунный день в штабе Красной гвардии сутулый маленький человек, утопавший в губернаторском кресле за саркофагом письменного стола, сказал Гулявину:

— Ну, товарищ!.. Придется вам поработать много. Не подведите. Сейчас вся надежда на вас, матросов и фронтовиков. Вы знаете боевое дело, и вам честь принять первую тяжесть.

Василий пожал протянутую сухую руку и прочел поданную бумажку:

«Товарищ Гулявин, начальник летучего матросского полка Красной гвардии, направляется на Украину с заданием действовать на операционных линиях украинских

белогвардейских войск и немецких отрядов. Товарищу Гулявину предоставляется вся полнота власти в полку, вплоть до расстрела в случае необходимости. Местным Советам предлагается оказывать широчайшее содействие полку в снабжении продовольствием, обмундированием и боевыми припасами, под страхом революционного суда».

— Понимаете задачу? — спросил сутулый человек.

— Не пальцем делан!.. Чего не понять? — сурово отозвался Василий.

— Да, еще!.. Мы придаем вам начальника штаба. Партийный и дело знает. Пройдите к товарищу Сонину, он вас с ним познакомит.

Пошел Гулявин в кабинет товарища Сонина. Зеленый от бессонницы, товарищ Сонин яростно поедал копченую колбасу, сидя на подоконнике.

— Товарищ, слышь, у тебя тут мой начальник штаба.

Сонин торопливо прожевал колбасу.

— Строев!.. Строев!.. Идите сюда!.. Гулявин пришел!

Из боковой комнаты выскочил тонкий, невысокий юноша в пенсне, в длинной офицерской артиллерийской шинели, на плечах которой еще поблескивали краешки срезанных погон.

— Вы Гулявин?.. Очень рад познакомиться!

Посмотрел Гулявин на розоватое ребячье лицо, на франтовскую шинель и спросил:

— Ты из каких будешь, товарищ?

— Я?.. Я из артиллеристов. Прапорщик!..

Василий насупился... «Чудно! Большевицкий прапорщик! Первый раз такая штука — никогда еще видать не приходилось».

— Ты что ж, братишка, из породы белых ворон, должно?

Строев усмехнулся.

— А, вы вот о чем?.. Да, должно быть, из ворон... Штука редкая, во всяком случае. Теперь давайте сговоримся, где вас на вокзале найти при отправке.

— Чего где? Просто на воинской платформе. Спросишь гулявинский отряд — всякая собака покажет.

— Когда отправляемся?

— А хошь сегодня. Лишь бы паровоз дали.

— Ну, тогда побегу вещи собирать. В шесть вечера приеду.

Гулявин внимательно посмотрел вслед.

— Товарищ Сонин!.. Чего вы это мне офицера дали? Что, я сам не справлюсь? Не доверяете разве?

— Не дури, Гулявин! Начальник штаба нужен с башкой. Сам знаешь!

— Что-то больно чудная волынка. Офицер советский! А если продаст, кто в ответе будет?

— Не бойся, не продаст. За него, как за себя, ручаюсь!

— Поживем — увидим! Бывает, вша медведя съедает. Будьте здоровы. Не по нраву мне это.

Отправился Василий на вокзал. Грузил отряд, патроны, снаряжение.

Ругался, грозил наганом, свирепел.

Ровно в шесть приехал Строев.

С одним маленьким чемоданчиком и японским карабином. Бросил в вагон и с места принял горячее участие в погрузке.

Где Гулявину приходилось материться по полчаса, Строев кончал дело в пять минут ровной, спокойной и не допускающей возражений настойчивостью.

Посмотрел Гулявин и подумал: «А и впрямь парень деляга!.. Ну и чудеса!»

Строев подошел с тремя матросами:

— Товарищ Гулявин... Разрешите взять еще одну платформу, потому что снаряжение некуда грузить.

Василий почесал затылок:

— Ладно!.. Проси еще одну... И потом... братишка, у меня в отряде не выкай. Ты там по-деликатному, может, и обучался выкать, а у меня матросня, как братья родные... Нам килиндрясы не под стать. Тебя как звать-то?

— Михаил!

— Ну, и будешь Миша! А меня кликай Василием, безо всяких штук...

Строев внимательно взглянул в глаза Василию, улыбнулся и спокойно ответил:

— Хорошо! Так и будет!

Через две недели, когда под Конотопом Строев одним пулеметным огнем сбил с позиции гайдамаков, подкрепленных австрийцами, и сам впереди цепи пошел в атаку, сломался последний лед в гулявинском сердце.

После боя подошел Василий к Строеву и, хлопнув по руке, сказал твердо:

— Молодец, братишка! Язви тебя в душу! Ты меня прости: я не очень все время тебе верил. Поглядывал,

так, на всякий случай, не придется ли тебе свинца запустить в кишки. А теперь вижу, какой ты парень! — и крепко поцеловал Строева.

С тех пор в отряде все делалось по-строевскому, и Гулявин требовал от матросов беспрекословного послушания.

— Чтобы ни-ни... Начальник штаба прикажет — это я приказал! Чтоб пикнуть не смели! Цыц!.. Железная дисциплина! По-революционному!

Один только раз поссорился Василий с начальником штаба по пустому случаю.

Захотели матросы придумать название отряду. Показалось чересчур просто — «матросский отряд».

Думали, думали и придумали крепко:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛЕТУЧИЙ

МАТРОССКИЙ ОТРЯД

ПРОЛЕТАРСКОГО ГНЕВА

И пришли к Василию, чтобы разрешил. Василий и разрешил.

А Строев, когда услыхал название, папиросу изо рта выронил, упал на диванчик в купе, и пять минут били его конвульсии неудержимого хохота, а Гулявин стоял над ним, недоумевая и злясь...

— Чего ржешь, Мишка? Хрен тебе в зубы!.. Говори же!

Но Строев ничего не мог выговорить от хохота. По щекам его текли слезы, он задыхался и только отрывисто рычал.

— Да не ржи, чертов перлинь! Что такое?!

— Кто это такое выдумал? — спросил, наконец затихнув, Строев.

— Как кто?.. Братва вся!..

— Слушай, Василий!.. Это же ерунда! Нас на смех подымут! Это не название отряда, а целый музей курьезов.

— Какой еще музей?.. Что мелешь?

— Да ведь смешно же. Ну, что это такое: «Международный смертельный летучий матросский отряд пролетарского гнева»? Почему международный? Почему смертельный? К чему «пролетарского гнева»? Это же безграмотная чушь.

Тут впервые рассвирепел Гулявин на начальника штаба.

— Матери твоей черт! Заткни хайло!.. Смеяться... На колени стать тебе надо, а не смеяться. Ученый нашелся — из гузна выполз. Люди от чистого сердца придумали, потому на смерть идут в первый раз за свое дело... Ну, и нужно, чтоб красиво было. А ты — смеяться... Хоть и с нами вместе идешь, а это у тебя барская, брат, блевотина. Презираю, мол, неученость вашу. А ты не презирай!.. Ты не снисходи, а войди в душу человека. В кои веки раз пришлось не за барскую спину, за свою волю драться... Ну, и надо, чтоб слова огнем пекли. Неграмотно, да прошибает. А если смеяться будешь, катись к матери! Вот тебе чистая дорога да пуля вдогонку!

Выговорил все Василий и задохнулся даже. Не привык к долгим речам.

Строев открыл серые, ясные глаза свои, смотря в рот Гулявину. Лицо его дрогнуло странно и смягченно, он встал с дивана, и хлынувшая к щекам кровь залила их ярким огнем.

Он шагнул к Гулявину и протянул руку.

— Не сердись, Василий!.. Конечно, ты прав. Ей-ей, я об этом не подумал. Не сердись и прости мой смех. Это совершенно невольно вышло. Давай руку.

Но Василий сердито отвернулся.

— Не хочу! Очень ты меня обидел. Потому я в тебя крепко верил, а в тебе еще барин сидит и хвостом вертит вовсю. Подумай, може, не по дороге с нами? — и вышел из вагона насупленный.

Лишь вечером еле-еле вымолил себе Строев полное прощение, но еще несколько дней лежала тень между ним и Василием. Только в следующие дни, когда пошли упорные и тяжелые бои под Николаевом и Строев, как и прежде, распоряжался молниеносно и спокойно, выводя полк из самых скверных положений, сгладилась ссора.

После николаевского боя, ночью, в селе Копани, Гулявин собрал военный совет из командиров рот и батальонов.

Становилось плохо и невозможно держаться на Украине: немцы чугунной лавой давили и сметали слабые, плохо вооруженные отряды красноармейцев.

Нужно было отходить, но не решил еще Василий, куда: к северу или к югу.

В избе, при керосиновой лампочке, склонились над картой обветренные, почернелые лица.

Тыкали в потертую двухверстку мозолистые, черные от грязи пальцы.

— Мое мнение, что к северу идти незачем. Пока мы успеем добраться до Харькова, его займут немцы. Нужно будет пробиваться на Воронеж, а оттуда, по сведениям, жмет казачня. Нам один путь — в Севастополь! Там Советская власть! Флот, матросы, все свое и свои!..

— Ты так, Мишка, думаешь?.. А вы, братва, что мекаете?

Ротные командиры согласились с мнением Строева.

— Опять же в Крыму зимой не дюже холодно, — добавил один, закручивая козью ножку.

— Ну, баста! Завтра выступать! А теперь на боковую. Можно выдрыхнуться. Немцы далеко.

Командиры вышли. Гулявин сбросил бушлат и сел разуваться. Строев смазывал заедавший маузер.

В дверь постучали, и, не ожидая ответа, вошел начальник разведки.

— Ну, Гулявин!.. Чего вышло!.. Сейчас приведу тебе атаманшу... Баба смачная, есть что помять! Пальцы обсмоктаешь!

— Чего мелешь?.. Какая такая атаманша?..

— А вот сам увидишь! Эй ты, царица персицкая, прыгай сюды! — крикнул начальник разведки в раскрытую дверь.

Глава шестая

АТАМАНША

Как был Василий со штиблетом в руке, так и замер на припечке.

Смотрит только на дверь, раскрыв глаза, а в двери — чудо.

Пава — не пава, жар-птица, а в общем — баба красоты писаной.

Бровь соболиная, по лицу румянец вишневыми пятнами, губы помидорами алеют, тугие и сочные.

А на бабе серый кожушок новехонький, штаны галифе нежно-розового цвета с серебряным галуном гусарским, сапоги лакированные со шпорами, сбоку шашка висит, вся в серебре, на другой стороне парабеллум в чехле, на голове папаха черная с красным бантом.

Стоит в дверях, глазами поблескивает и усмехается.

Даже глаза протер Гулявин. Нет — стоит и смеется.

— Ты кто такая будешь? — спросил наконец.

А она головой встряхнула и коротко:

— Я?.. Лелька!

Супится Гулявин.

— Ты не мотай! Толком спрашиваю. Откедова, кто такая?

— Из мамы-Адессы — папина дочка.

А сама все хохочет.

— Сам знаю, что папина дочка. Чем занимаешься, зачем пожаловала?

— А в Адессе с мальчиками гуляла, а теперь яблочком катаюсь.

Озлился Гулявин.

— Толком говори, чертова кукла! Нечего лясы точить!

— А толком сказать — атаманша. Гуляю, красного петуха пускаю, а со мной босота гуляет. Отряд атаманши Лельки.

— Народу у тебя много?

— На мой век хватит! Тридцать голов есть! Было больше, да под Очаковом третьего дня пощипали. Теперь на Крым нам дорога лежит. А ты из каких генералов будешь?

Смеется Гулявин.

— А я — фельдмаршал советский! В Крым тоже катимся. Что ж, приставай, по пути. Произведем в адъютанты. Что, Мишка, хорош адъютант будет?

Посмотрел Василий на Строева, а Строев молча сидит, на атаманшу в упор смотрит, и глаза, как иголки, стали злые и пронзительные. Лицо каменное.

— Как думаешь? Возьмем атаманшу?

Строев плечом повел только.

— Ну, атаманша, оставайся! Где люди-то у тебя?

— Люди по хатам разместились, а я пока без места.

— Ну и оставайся здесь! В тесноте, да не в обиде!

Села атаманша на лавку, кожушок сбросила, в одной

гимпастерке сидит, румянец пышет, грудь круглая гимнастерку рвет.

Строев поднялся — и из хаты на двор. Василий за ним вышел.

— Ты, Михаил, чего надулся? Атаманша не по сердцу?

— Нет, ничего! — А голос холодный и ломкий.

— Нет, ты скажи по правде. Вижу, что злишься.

— А по правде, так я против этой атаманши. Неосторожен ты, Василий. Пришла баба, черт ее знает какая, откуда; черт знает, что за отряд? Зачем ее к нам втаскивать? Пусть идет своей дорогой. На свою ответственность брать незачем!

— Ну, пошел страхи пускать! Баба как баба! Раз с буржуями дерется, значит, нам помощница.

— Да мне все равно. После не пеняй только!

— Ничего. Пенять не придется.

Вернулись в избу. Строев сразу же на лавке за столом спать завалился. Василий на печку полез.

Атаманша со двора вьюк притащила, по полу разостлала, одеяло вынула шелковое, цветное, все в кружевах.

— Одеяло-то у тебя царское. Приданое сварганила?

— Сшила матушка-ночь да батюшка-ножичек!

Села атаманша на пол, косу заплела, гимнастерку стащила. Руки нежные, розовые, круглые. Груди птицей под рубахой трепещутся.

— Ты лампочку-то гаси! Ловчей раздеваться! Все баба!

— Зачем? Была баба, и вышла. Лягу — погашу.

Завернулась в одеяло и дунула на лампочку.

Темнота в хате, только ветер погуливает вокруг и шуршит камышинами на крыше.

Не спится Гулявину. Ворочается на печке. Томительно что-то. И мельтешат в глазах атаманшино плечо голое и жаркая грудь. В сердце даже захолонуло. Давно Гулявин без бабы, а плоть бабы требует. На то и живет человек. Эх, промять бы атаманшины бедра железом пальцев, въесться губами в помидорные губы.

Горячо телу стало. Сплюнул со зла Гулявин.

— Тьфу... сатана!

Зашевелилось на полу, и слышит Гулявин шепот бабий:

— Не спишь, генерал? Тошно?

И шепотом в ответ:

— А твоя какая забота?

— А коли не спишь, сыпь под одеяло. Согрею!

Как молния по избе шарахнула. И кошкой вниз бесшумно Василий. Схватил край одеяла, откинул. Пахнуло теплом — и навстречу хваткие руки и полные атаманшины губы.

А на лавке за столом, так же бесшумно, на локте приподнялся Строев.

Поглядел в темноту, покачал головой и снова лег.

Наутро выступили по Херсонской старой дороге к Днепру, на Алешковскую переправу.

Перед выступлением осмотрел Гулявин Лелькин отряд.

Тридцать человек, все на конях, кони сытые, крепкие, видно, из немецких колоний. Сами не люди — черти. Немытые, грязные, а на пальцах кольца с бриллиантами в орех, у всех часы золотые с цепочками, бекеши, френчи — с иголочки.

Строев, пока смотрел отряд, все больше мрачнел, и открытое детское лицо осунулось, губы смялись брезгливой складкой.

Но когда, повернувшись, сказал Гулявин: «Лихая братва! В огонь и воду!» — промолчал Строев, ничего не ответил.

В Херсоне простояли два дня, ждали, пока лед отвердеет. И как только пришли в Херсон, рассыпались атаманшины всадники по всему городу, а вернулись к вечеру с полными седельными мешками.

А на другой день то же.

А вечером пьяные горланили «Яблочко» и дуванили добычу. И еще больше колец на черных пальцах, и — чего не было еще в гулявинском полку — матросы тоже приняли участие в дележе.

Не все, человек десять, не более. Соблазнились.

Ночью вернулся из города Строев и застал в штабе Василия и атаманшу. Сидела атаманша, расстегнувшись, перед бутылкой водки, блестели ярко атаманшины глаза, и тянула она высоким фальцетом:

Спрашу я Машу:
— Что ты будешь пить? —
А она говорить:
— Голова болить...

Повернулась к вошедшему Строеву, протянула стакан и крикнула:

— Выпей, красная девица! Что сопли пускаешь?

Ничего не ответил Строев — и к Василию:

— Нужно с тобой по делу поговорить. Серьезное!

— Ну, говори!

— Выйдем в другую комнату.

Вышли. Заходил Строев взволнованно из угла в угол и потом прямо к Василию:

— Дело очень грязное! Я сейчас из Совета! Позорно и скверно! Нас обвиняют в грабежах. Говорят, что наши кавалеристы грабили по домам и даже у рабочих. В предместье какой-то подлец старуху застрелил из-за копеечных серег. Это взволновало рабочих. Говорят, что советские войска — бандиты. Я тебя предупреждал! Просил не брать этой... — не кончил и брезгливо поморщился.

— Амба! Ты не горячись!.. При чем тут она? Народ у нее распущенный — это верно. Так она же баба — подтянуть не умела. А я их сам с завтра шкертом за глотку возьму — шелковые станут.

— Да не в том в конце концов дело! Не место в наших рядах такой сволочи! Кто она — бульварная девка!

Рассердился Василий.

— Смотри, Мишка! Опять барская блевотина! Тебя послушать: так бульварная девка — не человек? Опять поссоримся.

— Совсем не то! На этот раз не уступлю. Если бы она была втрое хуже, но пришла к нам потому, что ее зажгла революция, выжгла в ней все прошлое, я бы раньше тебя ее принял, как друга. А ты вглядись! Что ты, ослеп? Ведь она идет просто грабить. Для нее все это, чем мы горим: революция, борьба, — только богатый гость, которого удобно обобрать, а потом кликнуть кота и пришить этого гостя. Понимаешь? Ее просто к стенке нужно поставить и с ней всю ее рвань. Из-за таких дело гибнет! Я требую убрать ее из полка... Впрочем... — Строев усмехнулся болезненно. — Пожалуй, это тебе не по силам. Удобная баба... Искать не нужно!

Покраснел Василий от укола и еще больше озлился. Но рта раскрыть не успел, потому что с дребезгом настежь шатнулась дверь, и ворвалась в комнату вихрем Лелька.

И сразу к Строеву:

— Ах ты, подстилка свиная!.. Меня к стенке?.. Ты

что за командир выискался, буржуйское семя!.. Я шлюха? Говори!—и ухватила Строева за грудь.

Но взял Строев спокойно атаманшины руки и зажал их. Никогда не думал Гулявин, что сила есть у парня, а тут, как побелело вмиг атаманшино горящее лицо, понял, что железом захвачены Лелькины руки.

Попыталась вырваться, но только прошипела:

— Пусти, говорю.

А Строев, обернув лицо к Гулявину, равнодушно сказал:

— Я бы попросил тебя употребить власть командира.

Подошел Гулявин, взял Лельку за ворот.

— Вот что!.. Ты не в свое дело не путайся! Твоей заботы тут нет! Иди-ка, девушка!

Довел до двери и коленкой поддал. Вылетела атаманша пухом.

А Гулявин затворил дверь за ней и засмеялся:

— Сражение! Ишь какая вояка!..

Строев удивленно смотрел на него.

— Что же? Ты и после этого ее не выставишь?

И Гулявин ответил резко:

— Нет!.. Я командир и за себя отвечаю! И в мои дела не лезь. Спутался я с ней или не спутался — не твое дело. Если и спутался, так и то моя забота, а не твоя. Жалко мне бабу, а у тебя жалости к человеку нет. Ей помочь нужно на ноги встать, а не гнать. Не ждал я от тебя, что ты свиньей будешь!

— Василий!..

— Чего Василий? Двадцать шесть лет Василий! Правду в глаза скажу! Дорога мне баба за удаль!

— Может, за что другое?

— Может, и за другое! Другое я знаю!

— Ну, если меня не слушаешь, подумай о всем полку. Она нас втянет еще в историю. Собой ты можешь рисковать, мною тоже можешь, но сотнями людей ради последней девки нельзя!

— Фу-ты ну-ты, какие страхи! Довольно! Не хочу учителей слушать! Сам учить могу!

— Делай что хочешь! Но я теперь — только начальник штаба. Вне службы мы люди чужие, и при первой возможности я уйду.

— И черт с тобой!.. Фря тоже...

Повернулся Гулявин и спокойно пошел к атаманше.

Глава седьмая
ГВОЗДИ

Зимним хрустальным, свежим утром по звенящему льду перетянулся полк через Днепр и змеей пополз по Перекопской старой чумацкой дороге в Крым.

Ехал Гулявин впереди полка мрачный и злой.

Строев сдержал слово и почти перестал разговаривать.

На «вы» перешел, и все официально:

«Как прикажете, товарищ командир!», «Мое мнение такое, товарищ командир!» — и больше слова из него не вытянуть.

Тошно.

Неприятно это Гулявину ужасно, потому что полюбил он своего начальника штаба, а тут такая разладица.

И уж сам на себя злился, что из-за бабы буза пошла.

Повернулся в седле, оглянулся.

Далеко в хвосте колонны едет Строев, посреди матросов. Спокойный, как ни в чем не бывало, — видно, шутит, смеется.

«Ишь характер какой дубовый! Коряга — не человек!» — подумал Василий и налево повернулся.

На золотистой тонконогой помещичьей кобыле, гоголем завалясь в седле, едет Лелька. Штаны гусарские розовой зарей горят, и алой зарей щеки пылают.

«Царица-баба! И что ему она поперек горла пришлась!»

Хороша атаманша, горячо ласкает атаманша в зимние холодные ночи.

Как с такой расстаться?

Повернул Гулявин коня: поехал в хвост полка к Строеву.

Подъехал вплотную, вгляделся.

Давно потеряло строевское лицо детский румянец, побледнело, закоптилось, осунулось, и у губ легли резкие складочки усталости и напряжения.

И глаза как у замученного зайца.

И, взглянув на друга, почувствовал Гулявин, как ударила ему в сердце горячая волна жалости.

Положил руку на колено Строеву.

— Миша!.. Михаил!..

— Что?

— Не сердись, браток! Сердце ты мне кромсаешь! Люблю же я тебя, парень!

Дрогнули складки на строевском лице.

— Я не сержусь!.. Только свернул ты с пути, Василий, а расплачиваться за это всем придется.

Перегнулся Гулявин с седла.

— Миша!.. Братишка! Вот тебе слово — дойдем до Симферополя, я ее к чертям собачьим выгоню. А сейчас пусть лучше с нами идет. Все под надзором — и людей больше. Нас-то ведь тоже немного осталось. Из Москвы тысяча вышла, а сейчас пятьсот еле-еле. Но в Симферополе пошлю ее к матери.

— И хорошо сделаешь!

— Ну, давай руку!

Пожали руки. Улыбнулся Строев опять той же своей детской ясной улыбкой, и Василий засмеялся радостно.

— Давно бы так!

Ударил коня — и опять во главу отряда.

А атаманша подбоченилась, зубы скалит.

— С недоноском своим лизался? Вояка!

И сама испугалась. Наехал Гулявин так, что отпрянула даже золотистая кобыла, и нагайку поднял.

— Т-ты, сволота!.. Нишкни, шлюхина морда! Слово пикнешь — спину нагайкой перешибу. Свое место знай!

Попробовала Лелька отшутиться:

— Испугал! Еруслан-богатырь!

Зыкнула в воздухе нагайка, и едва успела Лелька голову отклонить, мгновенно кожушок на плече разрезало и обожгло болью, а Гулявин как бешеный, и у рта пена кипит:

— Молчать... гадюка! Забью!

Шарахнулись даже кони от зверьего крика, и чем бы кончилось — неизвестно, но только из-за снегом засыпанных кучугур скачет разведка во весь опор.

Издали кричат еще:

— Командир!.. Гулявин!.. В Преображенке кадеты!

Опустил Василий нагайку.

Атаманша за плечо держится, губу закусила, а по щекам слезы текут.

Но даже мельком не взглянул на нее Гулявин. А тут уже и Строев рядом:

— Много кадетов?

— До черта!.. Мы одного подхватили в кучугурах... Говорит: дроздовцы! На Таганрог идут!

— А где ж пленный?

— Как где?.. В духонинском штабе в адъютанты пошел.

— Дурачье! Сюда тащить надо было. Списать всегда успеется.

— Чего таскать? И так все вымотали. Первый дроздовский полк. Семьсот штук кадетов и пушка одна.

Посмотрел Василий на Строева.

— Загвоздочка... елки-палки! С пушкой, сволочи!

— Ничего! Немцев с пушками били!

— Так-то оно так!

Задумался Василий. Потом прояснел сразу: «Чтоб пятьсот матросов — да кадетов побоялись? Тысячу давай — все равно убрать можно».

— Ну, Миша... командуй. Твоя работа!

Подозвали командиров рот, выяснили задачу.

Наступать решили, когда станет темнеть.

Две роты в лоб, одна с тылу охватом, и при ней Лелькина кавалерия.

— Сразу только!.. Как мы отсюда на штык пойдем, так вы сзаду. Крика побольше!.. Эй ты, атаманша, слюни подбери! Дело делать нужно. После отревешься.

Через час рассыпались цепи и тихо поползли по пескам между голым лозняком, в котором посвистывал ветер.

Гулявин стоял на пригорке и в бинокль смотрел за уходящими цепями.

Далеко, в направлении экономии, хлопнул одиночный выстрел, потом второй, и сразу зачастило молоточными ударами по железу.

— Охранение заметило, — сказал Строев.

— Здорово службу знают, черти! — ответил не без зависти Гулявин.

Чаще и громче трещали винтовки, и, блеснув от экономии молнией, тяжело и гулко ударила пушка.

В нежно-синем сумеречном небе мигнул зеленым огоньком разрыв, и круглым звуком охнула шрапнель.

— Красиво... едят ее мухи.

— Высоко. Перенесло, — тихо отозвался Строев.

Опять рванула шрапнель, но уже низко, над самыми цепями. Еще и еще. На пригорок взлетел конный,

— Товарищ Гулявин! Невозможно идти! Шрапнелью кроет, ходу не дает. Отходят наши.

— Что?.. Отходят? Полундра! Я их отойду... в печенки! Первому, кто назад шагнет, пулю!

Вырвал из кобуры маузер, хлестнул лошадь и поскакал к цепям.

Подскакивая, издали видел, как, влипая в землю, скорчившись, ползут под низкими разрывами назад черные бушлаты.

Налетел на цепь и первого попавшегося с лошади в лоб.

Одним прыжком, бросив поводья, скатился с седла.

Злоба залила глаза красным туманом. Уже не кричал, а выл:

— Отступать... сволочи! Кадетов струсили, гады! Марш вперед!

Схватил винтовку застреленного и во весь рост побежал вперед:

— Ура!.. Давай кадета!

И с нестройным криком бросилась за ним цепь.

Опять оглушительно и визгливо, совсем над головами, брызнуло огнем и певучим снопом пуль, но сейчас же за разрывом донес ветер из-за экономии, с другой стороны, винтовочный треск.

И, поднимаясь с земли, разъяренные, не прячась и не сгибаясь, запрыгали по песку люди к окраине экономического сада, откуда разрозненно и неметко грохотали растерянные выстрелы.

Кадеты ушли к северу, бросив испорченную пушку.

В трехэтажном помещичьем замке на ночь расположился полк.

Хоть и короткий был бой, а потрепали кадеты порядком.

Сложили в сарае аккуратно, рядком, семнадцать убитых, а раненых разместили в большом зале, и возился с ними преображенский испуганный фельдшер с тряской козлиной бородкой.

Занял Гулявин кабинет помещичий, растянулся с удовольствием в глубоком кожаном кресле у горящего камина.

Топили камин за полчаса до боя для кадетского генерала, а для Гулявина успел хорошо нагреться.

И, сидя за письменным столом, уплетали с аппетитом Гулявин и Строев генеральский ужин — цыплят под

лимонным соусом — и пили красное вино из фальцфейновских подвалов.

Сунулась было в двери Лелька, но послал ее Гулявин по матери.

— Твоего здесь нет! Не лазь без доклада!

В бою взяли трех кадетов живьем, и приказал Строев запереть их до утра в чердачном чулане.

После ужина так и заснули Гулявин и Строев в кабинете на мягких диванах, в тепле.

И перед сном спросил еще раз Гулявин:

— Ну, Михайло?.. Совсем сменил гнев на милость? Не злишься?

И совсем сонным голосом пробурлил Строев:

— Сказал раз... Спокойной ночи!

Под утро уже точно сорвала с дивана Василия огромная рука.

Вскочил сразу на ноги и услышал: крик... удар... потом несколько криков и захлопавшие наверху глухие выстрелы.

Бросился к револьверу и, неодетый, — к дверям, но в дверях столкнулся с матросом.

— Гулявин!.. Несчастье!..

— Что такое? Чего там стрельба? Очумели?

— Товарища Строева убили!

— Что?.. Кто?.. Как?

— Лелька... на чердаке!

Но уже не слышал Гулявин и несся через три ступеньки на чердак.

В чердачном коридоре, в темноте, стояли густо матросы, а вдалеке, в каморке пленных кадетов, мерцал огонь.

Расшвырял Василий всех, как котят, — и к дверям каморки. И сразу все понял.

На скамейке связанный лежит один из пленных кадетов в одной рубашке, и рубашка вся в крови. Два других в страхе в углу забились, а на пыльном полу, ногами к выходу,— Строев, и вместо головы каша серых и розовых лохмотьев, спутанных с волосами.

У скамейки атаманша с револьвером и еще пятеро молодцов из ее отряда.

Ночью проснулся Строев от странных звуков и пошел проверить, что с пленными делается. Подошел к дверям каморки, а у дверей часовой-матрос, а из-за двери вопли дикие.

— В чем дело?

На матросе лица нет.

— Товарищ Строев! Что же это? Спьяна Гулявин, что ли? Пристрелить — так сразу, а зачем мучить?

— Как мучить?

— Лелька их там пытает... гвоздями, по гулявинскому приказу.

Распахнул Строев дверь.

Атаманша сидит на скамейке на пленном верхом, отрядник свечку держит, а она пленному гвоздь в плечо молотком забивает.

Строев шагнул внутрь, побелел.

— Кто вам позволил? Воп отсюда!

Повернулась атаманша, зубы оскалила.

— А ты что за указчик?

— Убирайтесь сейчас же вон! — выпул револьвер.

А Лелька в него из нагана хлоп, в голову. Матрос-часовой в атаманшу из винтовки промазал, а его тут же пристрелили. И сразу поднялась по всему дому тревога.

Взглянул Гулявин спокойно, приказал вынести Строева вниз.

— А этих... запереть до утра!

— Это меня-то запереть?

Не ответил Гулявин.

— Матросики!.. Что ж это? Чего смотрите? Кадетского защитника пришила, так меня арестовывать? Продают вас командиры. Они наших товарищей побили, а мы с ними по-деликатному?.. — и не кончила.

Тяжело упал на лицо гулявинский кулак, и села атаманша на пол.

— Завтра поговорим! Запирай! Башкой ответите, если уйдет!

Угрюмо молчали матросы.

Заперли дверь, сошли вниз. На диване, на том же, на котором спал, положили Строева, накрыли разбитую голову.

Подошел Василий, приподнял мертвую руку, и услышали матросы непонятные звуки, как будто человек кашлем поперхнулся.

Глава восьмая
ВЕТРЫ

Рано утром на экономическом дворе построил Гулявин полк.

Вышел сам из дому, белый, шатается, под глазами синяки, а рот в черточку подобран.

Как посмотрели матросы на командирский рот, у многих по спине дрожь пошла гусиными лапками.

— Полк... смирно!

Застыли шеренги.

А Гулявин вдруг перед полком в снег на колени стал и бескозырку снял.

— Простите, братишки! Виноват перед всеми! За бабу товарища продал. Жить мне, паршивцу, нельзя теперь. Пристрелите, братишки!

Молчат матросы.

— Чего ж, не хотите? Стыдно об такого гада руки марать? Ладно! Сам себя прикончу!

Вытаскивает маузер.

Но тут из первой шеренги вперед кинулись, за руки схватили.

— Не ломай дурака! Виноват — виноват! Дела не поправишь! А полку без командира негоже.

— Чи ты баба...

— Васька, очухайся!

А у Гулявина слезы в глазах стоят.

— Простите, братишки! Слово даю, что больше себя в позор не введу!

— Ладно!..

— Не тяни душу, сволочь!

— С кем не бывает!

— Больше дураком не будешь!

Поднялся Гулявин, слезы вытер и вдруг сразу во весь голос:

— По местам!.. Полк... смирно!

Опять замерли ряды.

А Гулявин к дому повернулся.

— Вывести лахудру!

С парадного крыльца между часовыми вывели атаманшу.

Нет атаманшиной красоты. Разнесло все лицо от гулявинского кулака, синее, и кровь по нему потеками, глаз левый запух совсем.

А за ней пятеро отрядников.

— Веди сюды!

Привели, поставили.

Гулявин уперся глазами в атаманшу.

— Ну, персицкая царица! Промахнулась маленько. Думал, ты человек как человек, коли на буржуев пошла, а ты б... была, б... и осталась. Ну и подыхай!

Ничего не ответила Лелька, голову только опустила.

И, отойдя, скомандовал Гулявин:

— Первый взвод... Пять шагов вперед, шагом... арш! — Помолчал и: — На изготовку!

Вздрогнула Лелька, подняла голову и взглянула Гулявину в глаза:

— Сволочь ты... На кровати со мной валялся, а теперь измываешься!

— Что на кровати валялся — мой грех. В нем и каялся. А тебя не помилую! — В тишине мертвой отошел в сторону. — По сволочам пальба взводом... Взвод, пли!

Рванул воздух трескучий и четкий залп, и кучкой легли шесть тел на хрупкий белый снежок.

По атаманшиным розовым штанам поползла черная струйка, и задрожали, сжимаясь и разжимаясь, пальцы.

— Взвод, кругом! Шагом марш! Стой, кру-угом!

И, не взглянув на трупы, пошел в дом Гулявин, как пришибленный внезапно обвалившимся на плечи небом.

Через три дня подходил полк к Симферополю. Шли без опаски, потому что от мужиков кругом было известно, что в Симферополе матросы и Советская власть.

И не знали в полку, что уже курултай татарский с генералом Султан-Гиреем объявил крымскую автономию и что все офицеры, какие в Крыму были, тотчас

в татары заделались, свинину есть перестали и в мечети начали ходить, и из них сформировали татарскую национальную армию в шесть тысяч, с пушками и пулеметами.

А матросские головы клевали вороны в симферопольских балках, лежали матросские тела по всей дороге от Севастополя до Джанкоя, присыпаемые снегом, и свистели над ними январские злые ветры.

Уже втянулся полк в долину Салгира и шел беспечно и весело, распевая «Яблочко», как вдруг с двух сторон долины треснули сразу пушки, собачьим жадным визгом залопотали пулеметы.

И за десять минут не стало половины полка.

Зажав пробитую ногу, успел только крикнуть во все горло Гулявин:

— Не толпись!.. Ложись, расползайся поодиночке! — А тут офицеры в черных бараньих шапочках с алым верхом — конной атакой.

И встретить не успели, как засвистели офицерские шашки, захрустели под копытами матросские ребра.

С пятнадцатью человеками только, хромая и матерясь, успел Гулявин юркнуть в сады и садами, вдоль заборов, выбраться на холмы, а за холмом залезть в брошенную каменоломню.

В каменоломне и укрылись, большинство — переранепные. Двое в первый же час умерли от потери крови.

Остальные кое-как друг друга перевязывали обрывками рубашек, полотенцами и всяким тряпьем.

До ночи просидели в каменоломне, боясь выползти, слыша, как рыскает по садам офицерская конница.

Мучительно тряслись от озноба, потери крови, голода.

Ночью стали совет держать.

— Невозможно оставаться,— сказал Гулявин.— Сегодня не догадались, что мы в каменоломню залезли, все равно завтра найдут и пошлют к Духонину.

— Нет, братва! Выползать надо! Как-нибудь к своим доберемся. А здесь не с пуль кадетских, так с холоду или голоду подохнем.

— Не все идти могут, Василий! Трое совсем ослабели! С собой не возьмешь!

Переглянулись и опустили глаза.

— Эх, мать их... наделали делов!

— Братишки, не кидайте живыми! Замучат! — скрип-

нув зубами, простонал раненый. — Лучше покончите сразу.

И, когда сказал сам раненый, стало легче.

К полночи собрались, распределили хлеб и винтовки на более сильных, подтянули снаряжение.

Перед выходом из каменоломни положил Гулявин в фуражку десять бумажек.

— Тащи! Потом зажгу спичку. У кого с крестом...

Молча тащили бумажки, вспыхнула спичка, и ахнул низенький коренастый Петренко.

— С крестом... У меня...

Выползли наружу. В черной дыре каменоломни вдогонку один за другим задохнулись три выстрела, и вылез наружу, шатаясь, Петренко.

— Ну!.. Все?.. Трогай, братишки!..

Зимой ледяными пронзительными ветрами продувается степь от ревущего моря. Воют ветры над сухими ковылями, над жнитвом, над приземистыми плоскими курганами.

И на курганах стоят, сложив руки-обрубки на отвислых животах, раскосые, туполицые, жадные к человеческой крови каменные бабы.

По ночам приходят на курганы выть степные волки, и зеленые горящие волчьи зрачки упираются в раскосые глаза статуй.

И есть в этих древних глазах киммерийская давняя тайна, понятная только степным волкам, предки которых приходили выть ночами, когда еще не было ни курганов, ни баб.

Потом, повыв немного, опускают волки глаза и, поджав хвосты, с жалобным визгом, озираясь пугливо назад, сбегают с кургана, а вслед им глядят раскосые пустые глаза темным страхом веков.

И над Тавридой, над степными разлогами, над ристалищем печенежьих, половецких, татарских орд, над безграничными просторами синих снегов, над горящими городами яростным грохотом пушек и криком затравленных паровозов — ледяные пронзительные ветры, и сквозь ветры, ярость и жуть смотрят угрюмо и спокойно пустые глаза с древней тайной.

И зимой ветры закруживают в степи человека, сби-

вают с пути, слепят, сушат кожу и стягивают ее, а потом лопается она кровоточащими длинными ранами.

До костей промораживают ноги, и трудно становится отрывать их от мягкого, манящего на отдых снега.

Идет человек, и ветер качает его, поет колыбельную песню, нежно и ласково кладет в снег, накрывает легче пуха одеялом и усыпляет.

А ночью приходят опять голодные, воющие степные волки.

Степь... Ветер... Волки.

Над синим снегом сияет луна, и от облачков лиловые тени, бегущие по снегу, и кажется он легким и нежным пушистым багдадским ковром.

И под луной, по снегу, вместе с облачными ползут человечьи тяжелые тени, опираясь на длинные палки, с трудом вытаскивая одеревеневшие ноги из снега.

Две человечьи тени.

Восемь осталось в степных сыпучих снегах под свистом ветров.

Медленно, тяжело, обходя жилые места, ползут человечьи тени к северо-востоку, а вокруг — метельный свист и с метельным свистом волчий надрывающий вой. И в мареве метели фосфорными горящими точками горят волчьи глаза.

Крупное облако наплывает на луну, и в тяжелый дымный мрак уходит снежная степь.

Когда снова кропит серебром луна, на снегу только одна тень.

Шатается, падает, поднимается и снова ползет к северо-востоку.

Ближе волчьи огни.

Тень поднимает длинную палку, мелькает капля огня, ветер подхватывает гулкий, рвущийся звук.

Поджав хвосты, отбегают назад волки.

В шесть часов утра разъезд красноармейской группы, двигавшейся от Таганрога к Ростову, подобрал в степи человека в лохмотьях, с фиолетово-почерневшим лицом, с покрытыми кровавой корой и замотанными в обрывки башлыка руками.

Он лежал ничком в снегу и цепко сжимал винтовку.

Когда его подняли на лошадь и разведчик влил ему в горло стакан автомобильного спирту, человек заперхал, полураскрыв безумные глаза, и пробормотал вяло:

— Буржуи-и?.. Всех перебьем... мать вашу! — и снова заснул.

А в остатках его штанов нашли мандат на имя Василия Гулявина.

Глава девятая
КАПИТЕЛЬ

Желтые полотняные занавески шевелит духмяный, пахнущий сиренью апрельский ветер, и по полу резвятся золотые солнечные зайчата.

А солнце на синем атласе, розовое, промытое, разжиревшее, поит сверкающим медом камни мостовой, тяжелые гроздья сирени, шумящие нежной зеленью шапки деревьев, а там, за холмами, за городом, в задымленных далях, черные пятна пухлого лилового, свежераспаханного пара и трепетные ростки озимей.

А в комнате золотые зайчата расшалились, распрыгались, забираются на стол, танцуют по бумагам, по человечьим рукам, забираются выше, и вот уже самый резвый заплясал на носу комиссара совнархоза.

Потянулся комиссар и нежно смахнул шалуна.

И снова брови над бумагами в черточку сдвинул.

Въедливая штука совнархоз. Это не полком командовать.

Сердит комиссар и председатель Липецкого совнархоза — Василий Гулявин.

После встречи со степными злыми метелями два месяца не вставал Гулявин с лазаретной постели в тамбовском госпитале, куда полумертвого привезла его летучка из-под Таганрога.

Тяжело и трудно заживали отмороженные руки и уши, а на левой ноге отняли четыре пальца.

И когда встал, пришлось ходить, прихрамывая, с палочкой. А в тамбовском парткоме по причине перенесенных трудов и потрясений сняли Гулявина с военной работы и посадили на Липецкий совнархоз.

Очень обозлился на это Гулявин.

— Что я, вошь, что ли, по бумаге ползать? Не желаю канитель тянуть!

Но против партийной дисциплины не пойдешь.

В момент собрался и выехал в Липецк принимать совнархозовские дела.

Липецк — городишко увалистый. На увалах и холмиках разбросал домишки кое-как, кочковато. С косогоров сползают дома к долинке, а в долинке парк старинный и лечебные прославленные источники.

Веснами зацветает густо липецкий парк черемухой и сиренью, густеет воздух от маслянистого дурманного духа, и вечерами, при желтой, смуглой, бродячей цыганке-луне, в парке на скамьях, на траве, под кустиками вздохи, шепоты, смех, поцелуи, визги, истомные стоны.

Каждой весной засевается город новым посевом, под соловьиные щекоты и переплески, чтобы не вымерло жадное к плоти своей человечье племя.

И в аромате, в соловьиных кликах и поцелуях ясное лето лениво просыпает из ладоней золотое зерно благоуханных дней.

А всего советского хозяйства в Липецком совнархозе: Боринский сахарный завод, две водяных мельницы, одна паровая и курортная гостиница при лечебном парке.

Только гостиница ныне — не гостиница, а распестрилось ее трехэтажное, покоем разлегшееся здание яркой кровью вывесок: «Совет», «Исполком», «Партийный комитет», «Штаб красногвардейской армии» и другими.

А на фронтоне намалевана ярчайшими красками «живописцем и вывесочных произведений художником» Соломоном Канторовичем двухаршинная советская звезда с золотыми лучами, и держат звезду **рабочий** и **крестьянин**.

У рабочего голова переехала совсем на левое плечо и глаза смотрят в разные стороны. А в сапоги бородатого крестьянина мог бы обуться самый большой на свете слон. Но зато в первый раз не на утеху толстопузому лабазнику писал Соломон Канторович, и водила его кистью не презренная мысль о хлебе, а пламенное вдохновение революции; и даже в разные стороны глядящие глаза рабочего, может быть, выражали бесхитростно затаенную мысль, жегшую старую, поросшую седыми вихрами голову Канторовича, что должен рабочий, взяв на

крепкие плечи свои звезду, смотреть зорко во все стороны, ибо всюду враги революции.

Из окна председателя совнархоза хорошо видно картину, и часто отдыхают на ее ослепительной яркости гулявинские глаза, оторвавшись от ровных и сухих строчек бумаг.

Скучно Гулявину. Не по сердцу такая работа.

Входящие, исходящие, планы, сметы, доклады, инструкции, циркуляры...

Все прочитывай, во все вникай, и отовсюду тебя надуть норовят разные примазавшиеся жулики.

Как под топором ходишь. К вечеру голова пухнет, выйдешь в парк отдохнуть — и тут нет покоя от проклятого соловьиного треска, вздохов, шепота и сиреневого пряного, раздражающего духа.

Не затем шел Гулявин в большевики, чтоб в бумагах крысой копаться.

Всякому человеку свое.

Кто любит огонь, кто воду.

Ветер любит Гулявин.

Тот безудержный, полыхающий ветер, который бросает в пространство воспламененные гневом и бунтом тысячи, вздымает к небу крики затравленных паровозов и рыжие космы пожарных дымов.

Не пером на бумаге — кровью горячей и душной на полях писать революцию Гулявину.

И тоскливо до тошноты — каждый день, в тот же час, за тем же столом ставить под тупыми строчками, отпечатанными на ломаном ундервуде без букв «у» и «к», узловатую такую закорючку подписи: В. Гулявин — и круглый собачий чернильный хвост под ней.

Сидит Василий, вертит бумагу в руках и читает вяло и зло:

«...на основании вышеизложенного предлагается вам срочно прислать соображения о видах юрожая свехлы в бюдющем годю. За неисполнение бюдете нахазаны револючионным порядхом...

Хомиссар юездного совнархоза».

Тошнота к горлу подступает.

А машинистка, белобрысая дура, вся в завитушках, лицом похожая на кудрявого мопса, никак в толк не возьмет, что нужно пропускать нехватающие буквы и

вписывать их потом от руки, а прямо валит: «хомиссар» и «юезд».

Терпел, терпел Василий, а однажды вышел из себя и обматерил дуру.

Машинистка в рев и пошла председателю Совета жаловаться.

Товарищ Жуков — человек положительный, сельским учителем был и выражений не любит. Пришел к Гулявину в кабинет и развел пропаганду:

— Вы поймите, товарищ Гулявин, что это антиреволюционно. В Советской стране — и вдруг женщину по матери. Это неэтично и оскорбляет полноправное достоинство раскрепощенной гражданки.

— Гражданка! Шлюха она подзаборная! Каждую ночь в парке под кустами валяется. Сам видел!

Развел товарищ Жуков руками.

— Мы не имеем права в частную жизнь мешаться. Если ж у нее такая физиологическая функция? И я вас прошу, товарищ Гулявин, не материться.

— А у меня такая функция...— начал было Гулявин, да махнул рукой устало и закончил лениво:— Ладно!.. Хрен с ней! Пусть функционирует!

И с тех пор равнодушно стал подписывать «инструкции» и «цирхюляры».

На заседаниях исполкома сидел безучастно и часто дремал на стуле, слушая препирательства, и только ночью, уходя в самый конец парка, где в сизоватом серебре дрожала холмистая степь, садился на пень, радостно дышал ночной бодрой свежестью и слушал, как шумит в листве холодящий ветерок.

Думал о революции, о буре, ветре, пламени, грохоте пушек, топоте несущихся вперед армий и яростно сжимал кулаки.

Часто досиживал до утра и со скукой шел в совнархоз.

А совсем худо стало, когда поступила в совнархоз секретаршей комиссара Инна Владимировна.

Помещик Федотов, владелец сахарного завода, бежал после Октября невесть куда, а дочка осталась.

Училась прежде в Москве на докторских курсах, но революция закупорила ее в Липецке, деваться было некуда, и по протекции товарища Жукова, с которым вместе работала Инна Владимировна на тифе, определилась на службу в Совет.

Сразу невзлюбил ее Гулявин за то, что помещичья дочка.

— В прорубь их всех надо! — сказал он Жукову, когда узнал о назначении секретарши.

— Нельзя так огульно. Девушка хорошая. Может быть полезной работницей. Нам привлекать интеллигентов надо. Такая партийная директива.

Насупился Василий на партийную директиву.

Собственно, не столько помещичье звание вооружило Гулявина против секретарши, а совсем другое, в чем сам он себе не хотел признаваться.

После атаманши дал себе Василий зарок даже не смотреть на баб.

А Инна Владимировна выбила председателя совнархоза из колеи.

Было с ней тяжело и смутно.

И она первая стала льнуть к Василию. Говорила с ним таким особенным певучим говорком, подавая для подписи бумаги. Старалась в это время платьем, локтем или коленом коснуться Гулявина и смотрела прямо в глаза ласковыми глазами, а в глубине их играли кошачьи жадные огоньки.

Когда стояла рядом, всегда тревожило Гулявина царапающее шуршание шелковой юбки, и сладко щекотали ноздри духи. От этого путались буквы в бумагах, прыгали, расползались, терялась нить соображения, и рука с пером беспомощно тыкалась куда не нужно, и всегда с воркующим смешком поправляла Инна Владимировна:

— Что вы, что вы, товарищ Гулявин? Не здесь подписывать. Бумагу портите!

Брала его руку нежной горячей рукой и показывала место подписи.

Потом уходила, усмехаясь.

А Василий ломал перо о стол, вцеплялся в ручки кресла и злобно плевал на стенку.

Иногда подходил к зеркалу и разглядывал себя.

«И черта во мне, что она липнет? На лешего я ей сдался?»

Но зеркало молчало и показывало в зеленоватой глубине своей загорелое, точно из дуба вырезанное лицо, карие глаза с дерзиной, крепкий нос и припухлые красные губы под стрижеными усиками.

Пожимал плечами и опять садился за стол.

Полтора месяца прошло в таком томлении, а удалить секретаршу Гулявин никак не мог.

Придраться было не к чему. Была аккуратна, исполнительна, бóльшую часть работы делала самостоятельно, оставляя Гулявину только подписывать готовые бумаги.

И однажды утром пришла с обычным докладом.

Сразу увидел Василий новую шелковую в полосках кофточку с большим вырезом и розу в смоляных косах.

Положила бумаги на стол и, низко нагнувшись, стала докладывать. От движения отстал вырез на груди, и в нем, за тонким батистом рубашки, нечаянно скосившись, увидел Гулявин розовую, круглую, как резиновый мяч, грудь с темным пятнышком родинки.

Захолонуло под ложечкой. Сердито отвел глаза, слушал и не понимал ни одного слова.

Задохнулся, повернулся что-то сказать и опять увидел, как нежно колыхался от дыхания розовый мяч.

Взглянул. Заметила Инна Владимировна и взгляд и дрожь и чуть заметно улыбнулась победной, тревожной и поощряющей улыбкой.

Еще ниже нагнулась, и ощутил плечом Гулявин теплое прикосновение тела.

Поднял голову, взглянул в глаза и сразу схватил секретаршу за руку и впился губами в открытое плечо.

Ахнула Инна Владимировна.

— Ах!.. Василий Артемьевич, оставьте!.. Зачем!..

А сама только ближе прижалась.

Но уже не слышал Василий никаких слов. Притянул Инну Владимировну к себе, тиская и ломая, ища ее губы.

Но вдруг между ним и этими губами тенью мелькнула, пронеслась на миг простреленная, изуродованная голова Строева.

Неистово крикнул Гулявин, опрокинул кресло и отпрыгнул в угол.

Смотрел широко раскрытыми глазами на ошеломленную, красную секретаршу и трясущимися губами сказал шепотом:

— Вон!.. Пошла вон... сволочь!

— Вы с ума сошли, Василий Артемьевич?.. Как вы смеете?..

Но уже в бешенстве подскочил Гулявин к столу, схватил графин и закричал на весь Совет:

— Вон... сволочь... Убью!

Бросилась Инна Владимировна к двери и едва успела проскочить, как за ней, забрызгав всю комнату стеклом и водой, разлетелся о косяк графин.

А Гулявин совсем обезумел.

Схватил кресло и с размаху по столу,— лопнула доска, и подпрыгнула чернильница, выплеснув лиловую кровь в лицо Василию.

А он продолжал крушить все в комнате, и когда прибежали служащие и красноармейцы, бросился на них, но упал в припадке, и испуганно смотрели сбежавшиеся, как лежит председатель совнархоза на полу с синим лицом, дрыгает ногами, а на губах кипит, пузырясь, пена.

Наутро пришел Василий к товарищу Жукову и сказал:

— Уезжаю!..

— Куда?

— На фронт поеду! Не желаю больше зад просиживать! Счастливо оставаться!

— Да вы же больны, товарищ! Вы изнервничались совсем! Куда вам на фронт!

У Гулявина перекосилось лицо.

— На фронте вылечусь! Воздух мне нужен настоящий! А здесь только случками на кобыльем заводе заниматься!

Вышел, забрал свой чемоданчик, пешком побрел на вокзал, втиснулся в набитую доверху мешочниками вшивую и вонючую теплушку и уехал.

Глава десятая

ОГУРЧИКИ

Над пожелтевшей осыпающейся пшеницей ядреный июльский жар.

В тучных кубанских нивах гремящие выклики пу-

шек, и поля, оставшиеся без хозяев, шелестя, роняют в землю янтарное налитое зерно.

Вдоль брошенной дороги, в межевой канавке, влипая телами в землю, разно и оборванно одетые, кто в сапогах, кто босые, лежат запыленные люди, прижимают к плечам винтовки и безостановочно стреляют по заросшей вербами плотине, над голубым полноводным ставом.

Знойная тишина сбивается в гремучие клочья треском выстрелов.

А за плотиной, также вжавшись телами в насыпь, стреляют по канавке другие люди, и на плечах у них солнцем вспыхивают блестящие брызги.

С утра пролетарский железный полк ведет бой за станицу и с утра не может продвинуться дальше канавки.

Кадеты попались отборные: марковцы, офицеры, призовые стрелки.

Чуть высунется из канавки неосторожная голова — хлоп, и тычется голова в землю, а меж глаз кровоточит круглая дырка.

Устали красноармейцы, измучились, голодны и яростны, и вокруг слипшихся губ у каждого резкая складка суровой злобы.

— Никак его не возьмешь!

— Сволочи!

— С хланга обойтить!

— Сказал!.. С хланга! По ровному полю? Ночи нужно дождаться.

— Гляди! Антошку убило!

— А було б тоби сказыться, холера твоей матери!

Так же лежит, прижимая винтовку к плечу, Антошка, но по-особенному вяло распущенному телу знают другие, что Антошка больше не встанет.

— Ах, разъязви твою бабку! На штык бы! Кадет штыка не любит.

— Дойди до штыка! Кишки по дороге оставишь!

— Антилерию надоть!

За плотиной начинает, задыхаясь, плевать горячим ливнем пулемет.

По сухой целине дороги дрожит белая струйка пыли и ползет ближе к канавке, и у лежащих расширяются глаза, следя за страшной, приближающейся струйкой, и еще плотнее вжимаются в землю тела.

Позади цепи, за плоским курганчиком, лежит Гулявин с помощником.

Давно ушли из памяти совнархоз, инструкции, Инна Владимировна.

И опять просторы. Ветер. Воля. Простое и нужное дело.

И нет ни томления, ни скуки, ни смятенности.

Родным звуком свистят свинцовые пчелы.

Только полк уже не тот, не свой, матросский.

Повыбивали матросов, поредела фабричная первая гвардия.

И на смену уже растет в гудящих телефонными и телеграфными зовами, кричащих миру листами газет и плакатов городах новая сила — Красная Армия.

Фабрики и заводы, профсоюзы и парткомы бросают в огненные жерла фронтов самое молодое, самое крепкое, самое пламенное.

Хороши ребята в гулявинском полку, да только обучены мало.

Еле с винтовкой управляются, а кадеты трехлинейкой, как портной иглой, орудуют.

И Строева нет. А лежит рядом с Гулявиным новый помощник.

Фамилия у помощника чудная — Няга, а сам еще чуднее фамилии.

Лицо с одной стороны пухлое и короткое, с другой — худое и длинное, как лошадиная морда.

Когда взглянуть слева на помощника, кажется, что Няга — человек веселый: и сложением крепок и жизнью доволен, а справа — лицо постное и выражение навеки обиженное.

И даже глаза у Няги разнокалиберные. Когда смотрит Гулявин в глаза помощнику, вспоминается всегда картина Соломона Канторовича.

Один глаз, левый, золотистый, ухарский, на солнце огнем поблескивает, а правый — мутно-серый, неживой и бельмом еще затянут.

Сосет всегда Няга короткую носогрейку с махоркой.

Косится на него Гулявин. Как это такого человека сделали? Не иначе, как в два приема.

— Эй, желтоглазый! Плохо дело-то!

И отвечает Няга голосом как из пустой бочки:

— Нехай!.. К вечеру одужаем!

И опять трубку сосет.

Ходит Няга всегда в широкополой зеленой фетровой шляпе, хохлацких желтых чёботах с подковками, плисовых шароварах и чесучовом пиджаке.

А главная гордость у него — золотые часы с цепью дутой, в полвершка толщины и в аршин длиною. А на цепи брелоков полсотни и все с неприличными картинками.

— С буржуя снял,— говорит,— у Кыиви.

И чтоб всегда часы на виду были, носит Няга поверх синей косоворотки с вышитым крестиками передом шелковый фрачный серый жилет, поперек худого живота и по жилету двумя гирляндами цепь болтается.

Чисто линейный корабль на якоре.

Но храбрости Няга замечательной и в атаки ходит, как за кашей.

Встанет в саженный рост, шляпу на лоб нахлобучит, карабин под мышку и идет с трубкой в зубах.

Идет и духовные стихи распевает — про Алексея божьего человека или про грешника и монаха и никогда шагу не прибавит, не пригнется, а ровно загребает землю сапожищами.

И когда завидят кадеты в цепи такую фигуру — до того нервничать начинают, что никак в Нягу попасть не могут.

Пулемет с плотины все стрекочет. Няга поворачивает голову и лениво рычит:

— Бида буде! Бачь: за млыном гармату ставлять!

За ветряной мельницей, слева от станицы, копошатся в золотом хлебе люди и лошади, и еще не успевает Гулявин как следует навести бинокль, как жарким снежком вспухает над цепью первая шрапнель.

Гулявин ругается и сует в рот свисток.

Дребезжит захлебывающаяся трель, и поодиночке начинают отползать люди сквозь густую пшеницу, назад, к курганчику.

— Отходить! Против рожна не пойдешь!

Жалко Гулявину. С матросами не пошел бы назад. Пушку и ту забрали бы.

А тут хороший молодняк, но не обстрелянный еще.

Оттягиваются цепи. Умолкает грохот с плотины и от мельницы.

Кадеты не преследуют. Им в станице хорошо и сытно.

А железный полк дотягивается до обоза, строится в отдельную колонну и уныло ползет назад, к оставленному вчера хутору.

Но на загибе дороги из маленькой балочки карьером вылетает офицерская кавалерия. Блестят на солнце шашки.

Едва успевает Гулявин рассыпать цепь:

— Цыц! Не стрелять до команды! Залпами!

Уже близко летят лошади и пригнувшиеся к седлам всадники.

— Р-рота... пли!

Дергается воздух от неровного залпа. Второй, третий.

Закувыркались лошади, и люди забились в пыли.

Не выдержала конница, повернула и понеслась назад.

А Няга на ноги вскочил — и кукиш вдогонку.

— Кишка тонка? Н-на дулю, шибеники!

Бьются на поле и ржут раненые лошади, молчаливо лежат, стонут и пытаются приподняться люди.

— Тащи сюда.

Бегут красноармейцы по полю. Хлопают одиночные выстрелы.

— Не трогать! Веди на допрос!

Привели четверых. Три молоденьких офицерика и долговязый, сухопарый ротмистр с сивыми усами.

Все целехоньки, только ушиблись, слетев с лошадей.

Смотрит Василий, наганом помахивает.

— Здравия желаю, ваши благородия! Как живете-можете?

Трясутся молодые, зубами стучат. А ротмистр исподлобья спокойно глядит, и такая усмешечка ядовитая. Заядлый человек — сразу видно.

— Какой части?

— Конного генерала Маркова офицерского дивизиона.

— Сколько ваших в станице? Да не врать, а то! — и ткнул наганом.

Пожал ротмистр плечами.

— На это мне плевать! А врать незачем. Наших больше, чем ваших. Тысячи полторы будет!

— Артиллерии сколько?

— Одна конная батарея.

Задумался Гулявин, потом рукой повел.

— В расход!

Самый молоденький затрясся, заплакал — и на колени перед Василием:

— Товарищ дорогой, голубчик, пощадите!.. Не убивайте. Больше не буду!.. Мама у меня! Не вынесет!

Поморщился Василий. Офицер, а ревет, как девка.

— А когда в драку лез, о матери думал? Нечего слюни распускать! Вша ползучая! Убрать!

Схватили офицерика, потащили, а он отбивается, кричит.

И вдруг ротмистр на него зверем:

— Молчать!... Стыдно!.. Сопляк! Вы офицерского звания недостойны!

Потом повернулся к Гулявину:

— Эй, ты, большевистский Фош! Подыхать на сухой живот тошно. Дай самогону глотку промочить!

Усмехнулся Гулявин.

— Эй, братва! У кого самогон есть? Причасти его благородие!

Вынул один красноармеец фляжку, отвинтил пробку, налил хлебного.

— Пей, кадет, за тот свет!

А ротмистр выбил размахом руки чарочку и голосом, дрогнувшим от злобной обиды, сказал:

— У, сквалыги! Старому кавалеристу перед смертью наперсток? Подавитесь!

Занятно стало Гулявину. Лихой парень.

И приказал ближайшему красноармейцу:

— А ну, братишка, слетай в обоз к каптеру! Скажи, что я приказал бутылку спирту дать.

Собрались все кругом, принесли бутылку.

Вылил Гулявин в ведерко, разбавил водой, достал свою кружку.

— Хлещи, язви тебя в душу, чтоб господу на том свете на меня не скулил! Я человек щедрый!

Ротмистр сел на землю, поставил ведро меж ног, а кругом красноармейцы гогочут:

— Го-го-го!..

— Вот это лафа!..

— Ишь ты! Змей Горыныч!

А ротмистр поднял кружку, понюхал, прищелкнул языком и крикнул весело:

— А нет ли, ребята, у кого огурчиков? Без закуски celà ne convient pas pour moi[1], как говорят французы. Вам этого не понять!

Пуще хохотали кругом. Притащили огурцов и хлеба. Разрезал ротмистр огурец, посолил, положил на краюху.

— За ваше здоровье, братцы! Бить вам нас — не перебить! Чтоб вам на том свете черти кишки на турецкий барабан мотали!

Провел по усам и единым духом всю кружку, даже не сморщился.

Красноармейцы уже за животы держались.

Сам Гулявин рот раскрыл, а Няга под бок локтем:

— Оце дитына! Що?.. Горилку, як тую воду!

А ротмистр вторую кружку, потом третью.

Выцедил остаток в четвертую, выпил, посмотрел грустно на донышко, встал и чуть заплетающимся языком сказал, усмехаясь:

— Спасибо на угощении! С-мм-мирно! С-становись! Генерал — марш в рай, без пересадки. С-пасибо!

Гулявин поднял кружку и постоял в раздумье. Потом сказал:

— А ну, отведите его благородие в обоз! Пусть проспится! Я с ним еще поговорю!

— А других, товарищ комиссар?

— Других... списать! Амба! Сопляки, гады!

Через пять минут тянулся полк по дороге, оставив на поле три теплых офицерских трупа.

Розовела на небе закатная бронза.

В обозе на телеге беспробудно спал вдребезги пьяный ротмистр.

Гулявин и Няга ехали перед полком. Няга долго двигал сзаду наперед знаменитую свою шляпу и наконец спросил:

— От-то!.. Що ж ты з им робить будешь?

И Гулявин ответил спокойно и медленно:

---

[1] Это мне не подходит.

— Знаешь, что я думаю? Ежели человек так пить может, значит, из него толк будет! Пусть проспится! Завтра я его в правильную веру оборочу! Спецом у нас будет! Рано ему еще помирать.

И Няга удивленно фыркнул и засвистел.

Утром ротмистр только что проснулся и сидел на телеге, продирая глаза, под красноармейский смех, когда подъехал Гулявин.

— Проспался, ваше благородие? Здоров ты пить, леший тебя задери! Вот что я тебе хотел сказать! Бросай свою сволоту! Переходи к нам! Нам толковые люди нужны! Плюнь ты на свою барскую косточку! Косточки-то у всех одинакие! Все по-одинакому подохнем! Сдуру ты на нас полез! Небось обиделся — погоны сняли, а того в толк взять не можешь, что народу погоны ваши — как удавка на шее! За себя народ дерется, и все одно мы вам шею своротим, сколько ни вертись. А я тебя выручу, в штабе сдам, и командуй у нас полком — сделай удовольствие! Говорю: люди нужны.

Что-то дрогнуло в изумленном и распухшем лице ротмистра, и он посмотрел прямо в глаза Гулявину.

Потом отвел взгляд и сказал тихо:

— Первый раз такого вижу!

Опять поднял голову и кончил уже твердым голосом:

— Согласен! Мое слово твердое! Можешь положиться!

— Я брат, и сам знаю. Пить можешь, значит, и слово держать можешь! — и одобрительно потрепал ротмистра по плечу.

Глава одиннадцатая

ПОРУЧЕНИЕ

К вечеру подошла на хутор вызванная из соседней группы батарея.

На хуторском широком дворе кучками сидели красноармейцы у костров и ужинали пшенной, пахнущей дымком кашей.

Тонули в сизом мареве остывающие поля, и перелетали по востоку бледно-розовые мгновенные зарницы.

И когда кончился ужин, вышел на крыльцо Гулявин, оглядел двор и скомандовал:

— Полк... становись!

Засуетились, забегали люди, спешно убирая котелки, зазвякали, сталкиваясь, винтовки.

— Батальонные, сюда!

Подошли батальонные командиры.

— Ну, братишки, трогай! Выбить надо кадетов к чертовой матери! Теперь пушки помогут. Наступать по-настоящему. Третий батальон в обход. С резервом Няга останется.

А в эту минуту, разгоняя толпившихся в воротах красноармейцев, вскакал во двор ординарец.

— Где командёр? Пакет срочный!

— Давай!

Разорвал Василий пакет при свете зажигалки, поданной батальонным, прочел бумагу и засвистал.

— Що воно тамечка? Яка-небудь пакость? — спросил Няга.

— Пакость не пакость, а нужно к командующему ехать. Приказано, чтоб сейчас. Скажи, чтоб дали мне тачанку, а тебя оставлю заместителем. Не придется подраться, язви его! Да пусть его благородие, ротмистр, тоже собирается. Разом и его в штабе сдам.

Подали тачанку, и когда садился Гулявин, подкладывая бурку, вышел из темноты ротмистр.

— Ну, собрался, ваше благородие?

— Невелики сборы. Штаны на мне. Чемоданчик-то мой там остался!

— Не беда! Наживешь! Садись!

Сытые серые лошаденки с места рванули тачанку и понесли по ночной степной дороге крупной играющей рысью.

Молчала степь, молчал Гулявин, прикорнул и задремал в углу тачанки ротмистр. Только стучали дробно и четко неподкованные копыта и играла селезенка у левой лошади глухим и ворчливым звуком.

К полночи въехали в станицу. У часового спросил Гулявин, как проехать к штабу, и тачанка подкатила к поповскому дому подле церкви, со сбитой снарядом колокольней, где разместился штаб.

Выпрыгнул Василий из тачанки, размял ноги, за ним ротмистр.

Из освещенного окна ложилась на землю золотая полоса света, и беловатыми клубами оседала подпятая лошадьми пыль.

— Кто приехал? — спросил голос из раскрытой двери.

— Гулявин... К командующему, по вызову.

— Идите сюда!

Подтолкнул Гулявин ротмистра вперед и за ним пошел в дом.

В большой поповской гостиной, с выкрашенным желтой лаковой краской полом и плюшевой мебелью, было накурено и душно.

На столах, на креслах, на полу всюду вперемешку валялись карты, шашки, кобуры, окурки, разбитые тарелки, стаканы.

На диване, согнувшись, спал толстый человек и заливисто храпел.

Двое сидели за столом и играли в шашки. При входе Гулявина оба повернулись к нему:

— Здорово! Пожаловал? А кто с тобой?

Гулявин оглянулся.

— А это пленное благородие! К командующему привез. Доложите командующему!

— Чаю не хочешь?

— Потом!

Один из игравших открыл дверь в соседнюю комнату:

— Товарищ Корняков! Гулявин приехал!

— Пусть идет!

Гулявин снял бескозырку и бросил на стол. Ротмистр взволнованно оправил пояс на френче.

— Ты не тянись! Он, брат, не Корнилов. У нас попросту,— и шагнул вместе с ротмистром в кабинет.

Командующий сидел на столе, свесив ноги, и диктовал примостившемуся сбоку секретарю приказ.

Поднял на Гулявина веселые, круглые, немного усталые от постоянной бессонницы глаза, насмешливые и умные.

— А, товарищ Гулявин! Молодцом! Быстро!

— Я не один, товарищ командующий. Зверя вам привез замечательного. Пьет самогон, как лошадь, и к нам перейти желает.

Круглые глаза командующего с легкой усмешкой перебежали на ротмистра.

— Вы кто?

— Марковского конного дивизиона ротмистр Лучицкий.

— Сдались?

— То есть не совсем сдался. Лошадь из-под меня выбили, а потом забрали. Сначала вот он хотел меня в расход списать, а потом предложил перейти к вам. Я дал согласие. Может быть, вы мне не поверите. Но я совершенно искренне говорю. На меня можете положиться!

— Что же, вы изменили свои убеждения?

— Видите ли, долго об этом говорить. Бывают с людьми странные вещи. Вчера дрался против вас, а вот он сумел меня перевернуть в час времени. Этого не объяснишь словами. Перешел — и все. Не угодно — расстреляйте.

— Ручаюсь башкой, товарищ командующий! Он мне слово дал! Рубаха-парень, хоть и кадет, черти его возьми!

Командующий спрыгнул со стола:

— В расстрелах не принимали участия?

— Никак нет! В бою многих положил, но я солдат и палачом не был. На это у нас есть специалисты.

— Хорошо! Отправьтесь к коменданту штаба, скажите, что я приказал поместить вас при штабе. Завтра я поговорю с вами подробно о многом. Тогда увидим!

Ротмистр поклонился и вышел.

— Вы почему думаете, Гулявин, что он надежен?

— А что ж, товарищ командующий? Если человек одним духом столько водки может выдуть и ни в одном глазе, так на него положиться можно.

— Как? — спросил командующий, и углы его рта запрыгали в сдержанном смехе.

И рассказал Гулявин, как взяли ротмистра и как он его обратил в советскую веру из кадетов.

Секретарь катался от хохота по столу, хохотали пришедшие из соседней комнаты, звучно и крепко смеялся командующий.

— Нет!.. Вас в агитотдел нужно! Таким способом вы всех кадетов переманите!

Но сейчас же оборвал смех командующий и сказал серьезно:

— Вы знаете, зачем я вас вызвал?

— Нет!..

— Очень большое дело! Достаньте документы, товарищ Фомин!

Взял в руки холщовый конверт, туго набитый документами, и продолжал:

— Дело такое. На днях в районе Астрахани захватили поручика Волынского. Ехал от восточной добровольческой группы к Алексееву с широчайшими полномочиями для связи и всякого такого. Ну-с!.. Нужно, чтоб поручик Волынский до Алексеева доехал. И связь держать будет... с нами. Кроме вас, послать некого. Нужен человек стальной и хорошо знающий военные дела. Малейшая оговорка — и каюк. Завтра выедете!

— Здорово!.. Р-работка, киль ей в душу!

— Что? Неужели не справитесь?

— Как?.. Не справлюсь? Это что за слово?— сказал Василий, и на лбу надулась гневная жила.

— Ну, ну!.. Не злитесь! Валите, выспитесь! С вами поедет еще один человек, тоже с офицерскими документами. Когда получите сведения, которые нам нужны, срочно отправите его обратно, а сами останетесь и будете регулярно давать сообщения. Явки получите. Только будьте чрезвычайно осторожны. Ну, до утра!

Василий пожал мужскую, твердую руку и вышел во двор.

Поглядел на унизанное звездами низкое июльское небо и почесал в затылке. Потом радостно усмехнулся, добрался до тачанки, залез в нее, закрылся буркой и крепко уснул.

Глава двенадцатая
ГОСПОДИН ПОРУЧИК

— Потрудитесь обождать минуточку, господин поручик. Сейчас доложу генералу.

Корнет привычно звякнул шпорами, приподнял красную бархатную портьеру и бесшумно исчез за дверью.

Василий оглядел блестящую залу женской гимназии.

Толпились повсюду офицеры в новеньких френчах и погонах, звенели шпоры, гудели голоса.

Посреди залы стоял сухощавый с четырехугольным лицом генерал и визгливо разносил испуганного офицерика.

«Ишь как!.. Дисциплина! Погоди, покажем мы вам дисциплину!— яростно подумал Гулявин.— А любопытно,— как это я выгляжу в их благородиях?

Рядом стояло трюмо, и к нему подошел Василий.

В стекле фигура в обтянутом коричневом френче с походным снаряжением, с офицерским Георгием в петличке и сияющими поручичьими погонами отразила совершенно чужое лицо, и Гулявину показалось, что это и в самом деле не он.

Даже неприятно стало на мгновение. Но тотчас же лицо хитро подмигнуло ему и неслышно сказало:

— Ни хрена, Васька! Не робей! Сами генералами будем!

Опять раскрылась дверь, и так же бесшумно выпырнул из нее корнет.

— Генерал просит вас, господин поручик.

Вздрогнул Василий, екнуло сердце, вспомнил все репетиции с командующим: как входить, как держать себя, закрыл на мгновение глаза, пригибаясь под портьерой, и твердым шагом вошел в генеральский кабинет.

Отпечатывая шаги по ковру, подошел на четыре шага к столу против окна и, остановившись, сказал, отрезая слова:

— Сто сорок восьмого Каспийского полка поручик Волынский. Прибыл от командования восточной группы Добровольческой армии к его превосходительству, верховному главнокомандующему, с секретными поручениями и для установления постоянной связи и единства действий.

Начальник штаба, молодой и надменный генерал, привстал слегка с кресла и протянул холеную, холодную, пахнущую духами ладонь.

«Надушился, как девка»,— подумал Василий.

— Да, знаю! Мне докладывали. Очень рад, что вы благополучно проскочили фронтовую полосу. Для нас очень ценно установление связи с востоком. Очень жаль, что Михаил Владимирович нездоров и не может вас принять теперь. Я ему докладывал о вас, и он просил передать вам свои лучшие пожелания и сообщить, что он хорошо вас помнит.

— Кто Михаил Владимирович?

— Генерал Алексеев,—сказал начальник штаба, удивленно подняв бровь.— Ведь вы же служили под его начальством?

Кабинет потускнел и поплыл в глазах Гулявина, и показалось, что молодой генерал вырос, распух и навалился на него, как гора.

Но физически ощутимым, страшным напряжением воли сжал загрохотавшее частыми ударами сердце и сказал почти равнодушно:

— Я, знаете ли, привык называть его «ваше превосходительство», а имени-отчества не знал.

На столе задребезжал телефон.

— Виноват!— сказал генерал.— Алло!..

И пока разговаривал генерал по телефону, стиснув челюсти, сидел Василий и упорно думал: «Ну-ну... штука... хурды-мурды!.. Как же это наши проморгали? Не могли, сволочи, догадаться, что к Алексееву неизвестного человека не пошлют! Влип... Драла нужно, иначе амба. Ах ты, обормот! Ну, погоди же! Подыхать, так с гаком. Высосу сейчас из кадета все, что можно. Лишь бы до вечера ничего не вышло. Передам товарищу вечером все, пусть катится. А потом сам ходу дам. Не сидеть мне здесь. Хорошо, если выдерусь».

Генерал положил трубку.

— Очень извиняюсь! У нас такая спешка!

— Понимаю, ваше превосходительство. Мне разрешите тут получить у вас справочку по нескольким срочным вопросам.

И вытащил из кармана лист, на котором записаны были данные командующим вопросы.

Генерал поморщился.

— Знаете, я напишу вам записку к начопероду. От него узнаете все. Как вы устроились? В «Бристоле»? Дрянь — клоповник! Переезжайте в «Лондон». Я распоряжусь коменданту. Вечером обязательно приходите в «Grill-Room». Мы там все собираемся. Женщины хорошие есть. Не оскудела еще русская земля. Это у большевиков там — стриженые жидовки только остались, а у нас есть на что посмотреть. И потом в ресторане свободнее. Можно будет поговорить,— сказал генерал, передавая записку.

Василий поднялся.

— Честь имею, ваше превосходительство!

Генерал опять протянул руку через стол и спросил:

— Ну, как у вас в восточной группе дела? Много сволочи набили?

— Набили-то много, да сволочь всюду растет, туды ее в душу! — сказал Василий и сам вздрогнул от сорвавшейся брани.

Генерал опять удивленно поднял бровь, но ничего не сказал, и Василий вышел из кабинета.

Генерал внимательно посмотрел ему вслед и взялся за бумаги. Но неожиданно остановился и нажал кнопку звонка.

На белом лбу генерала прорезалась морщинка, и он застучал пальцем по столу.

В дверях вырос корнет.

— Изволили звать, ваше превосходительство?

— Вот что, — сказал медленно и как бы раздумывая генерал, — тут был у меня поручик Волынский, так вот...

Генерал остановился и посмотрел с напряжением на сукно письменного стола, закапанное красными чернилами.

— Впрочем, нет!.. Ерунда!.. Можете идти! — внезапно оборвал он и опять погрузился в бумаги.

В зале Василий взглянул на бумажку. В ней генерал предлагал начальнику оперативного отдела информировать поручика Волынского, как представителя восточной Добровольческой армии, по всем интересующим его вопросам.

Отлегло от сердца.

«Ладно! Что будет, то будет! Пока налево пойду, — сегодня нужно все высосать и переслать. А потом и сам уплыву в кильватер».

Мимо бежал какой-то адъютант, и к нему обратился Гулявин:

— Где кабинет начальника оперативного?

— Налево по коридору, за вторым поворотом, комната тридцать, — бросил адъютант на бегу.

По чистому коридору, с проложенными половиками, мимо офицеров-часовых дошел Василий до тридцатой комнаты и, проходя, дивился: «Чистота! У нас, поди, окурков бы нашвыряли и всякой блевотины, а тут ни пылинки. Как в церкви. Ну, ни черта! Накладем вам и с чистотой!»

Начальник оперода гнул мощную спину над карта-

ми и плапами и искренне обрадовался поручику Волынскому. Можно было оторваться от наскучившей работы и поговорить всласть.

И засыпал Василия вопросами о восточном фронте, о чехословаках, о полковнике Муравьеве, любезно угощая толстыми папиросами.

Сидел Василий и врал с три короба, и сам дивился, как хорошо выходит.

С полковником было легче. Был начальник оперода старый служака из кадровиков, выслуживший горбом полковничий чин, не дурак выпить, и говорить с ним не представляло затруднения — не то что с начальником штаба.

И когда загибал Василий по привычке словечки, густо хохотал полковник и одобрительно похлопывал по колену поручика Волынского волосатой красной ручищей.

И в промежутках разговора настойчиво, осторожно и внимательно выведывал Василий все, что было записано на вопросном листке, делая отметки цифр и названий.

Наконец полковник взглянул на часы:

— Пора кончать! Голодное брюхо к войне глухо! Хе-хе! Идемте, поручик, обедать. Я тут в жидовской домашней столовой питаюсь. Фаршированная щука — роскошь!— И полковник в умилении выпустил слюну на потертый френч.

— Нет, спасибо. Меня ждут! Завтра!

— Ну, вечером в ресторашку. Небось Романовский уже приглашал?.. Обязательно! Там только и отдыхаем!

Вышли из штаба вместе. Василий позвал извозчика и распрощался с полковником.

— До вечера! Но завтра непременно вас фаршированной щукой накормлю.

— Хорошо! Завтра можно!

И на прощание замахал еще полковник ручкой вслед отъезжающему извозчику.

Глава тринадцатая

АМБА

В номер гостиницы бурей влетел Василий и бросился к спутнику.

— Братишка! Пропало дело! Сегодня тикай со всеми манатками!

— Что?.. В чем дело?— побледнел тот.

— А такое, брат, дело, что попали мы под лафет. Не догадались наши, а вышла совсем пакость... Дрянь дело. Поручик-то, оказывается, самому Алексееву знаком. Как сказал мне это начальник штаба — ну, думаю, тут мне и крышка. На счастье, сам Алексеев-то болен, и к нему допуска нет. А то сразу бы конец! Сейчас дам тебе все сведения, донесение напишу, и катись ты колбаской сейчас же!

— А вы, товарищ Гулявин?

— А я, брат, останусь.

— Вы с ума сошли! Ведь верная смерть! Командующий не предполагал же такого осложнения.

— Это я знаю! Но только без приказа вернуться не могу. Потом — пока генерал болеть изволит, мне не страшно. А выздоровеет — так я улизнуть успею. А я еще насосу из кадетов молочка.

— А я бы все-таки вам советовал уехать.

— Советовать можешь, а уехать я не уеду! Баста!

Сел Василий за стол, достал бумагу и настрочил донесение командующему. Распороли подкладку у френча и зашили в нее вместе с переписанным начисто опросным листом.

— Ну, вот и готово! Поезжай, голубь! Кланяйся нашим!

— Товарищ Гулявин! Едем вместе! Ведь бесполезное геройство.

— Чего?.. Геройство? Слова какие развел! Что ж, я подохнуть не смогу как следует?

— Но зачем же умирать без толку, когда вы можете еще пригодиться?

— А кто тебе сказал, что я умирать собрался? Не каркай,— и не подумаю. Еще тебя переживу! Ну, не копайся! Живо!

Сам проводил Василий товарища до явочной квартиры и попрощался с ним:

— Скажи командующему, чтоб не беспокоился. Пока страшного нет!— и пошел обратно в гостиницу.

Вышел на балкон и приказал подать себе самовар.

Шумела внизу кипящая людьми улица, под музыку шел какой-то отряд, и всюду на тротуарах толпились люди в офицерских погонах.

И пока смотрел Василий, грозная и зловещая ярость росла и ширилась в сердце.

«Слетелись, вороны?.. Летайте, летайте! Недолго

вам, чертям, летать осталось! Обскребут с вас перышки!»

— Самоварчик готов, ваше благородие! — сказал половой, внося самовар.

Пока пил Василий чай, за дом зашло порозовевшее солнце, побежали косые синеватые тени по улице, расплылись, и за короткими кубанскими сумерками черным звездным бархатом накрыла город ночь.

И с первыми звездами издалека, с гор, подул холодный, все разрастающийся ветер. Стало холодно на балконе.

Василий поднялся идти в номер, и в эту минуту резкий шквалистый порыв рванул балкон, вздернул скатерть и свалил стакан.

И сейчас же засвистал по улице, завывая в верхушках тополей, пригибая их к земле.

«Штормяга будет ночью»,— подумал Василий, входя в номер и зажигая свет.

Прилег на кровать, но спать не хотелось.

Вместе с ветром, сухим и холодным, пришла тревога. Чаще стало биться сердце, и тяжело стискивало дыхание, как будто стал твердым воздух и с трудом проходил в легкие.

Василий встал с кровати и посмотрел в окно.

По улице несло густую пыль, и тополя страшно и мрачно раскачивались под порывами.

Василий вспомнил о ресторане.

«Пойти, что ли? Посмотрю, как офицерня гуляет. Потом же еще чего узнаю. Из пьяного легче вытянуть».

Он надел фуражку и пристегнул шашку к портупее. Внимательно осмотрел браунинг и положил в карман.

Подошел к дверям, но вернулся и раскрыл маленький кожаный чемодан.

Порылся в белье и из-под белья вытащил английскую круглую, всю в шестигранных дольках, похожую на ананас, ручную гранату.

Вставив в отверстие запальную трубку, подержал на ладони и сунул в широкий боковой карман френча.

На улице было мало народу. Всех разогнал ветер.

Спросив у кого-то, куда идти, Василий свернул в переулок, перешел бульвар, и уже издали метнулся ему в глаза ресторан ярким, мертвецки зеленым сиянием ртутных ламп над вывеской: «Grill-Room».

Поднялся на крыльцо, прошел вестибюль и остано-

вился на пороге зала, ослепленный светом, мельканьем людей, оглушенный яростным взвизгиванием скрипок, игравших нахальный плясовой мотив.

Медленно прошел между столиками, ища свободного места и нерешительно оглядываясь, когда от стены услышал хрипловатый голос:

— Поручик!.. Поручик!..

Оглянулся и увидел полковника из оперода, махавшего рукой.

— Поручик!.. Оглохли вы?.. Идите к нам!

Василий подошел к столику.

— Знакомьтесь! Поручик Волынский! Капитан Одоевцев! Поручик Рыбкин! Прапорщик Селянинов!

Василий перездоровался с офицерами и сел на предложенный стул, оглядывая ресторан настороженными глазами.

— Выбирайте, поручик!.. Чего хотите? Какое вино пьте? Сегодня мы угощаем пр-редставителя доблестной братской армии Учредилки.

Василий взял карточку вин. Редко приходилось ему заказывать вина в ресторане. Пробежал глазами, понравилось почему-то круглое название «Го-Сотерн».

— Вот! Это!

— Эге. Поручик у нас барышня!.. Дамское винцо пьет! Нет, голубчик, это не идет. Тогда я сам хозяйничаю. Начнем по русскому обычаю с беленькой, и опять сначала.

Поручик Рыбкин, длинный и унылый человек, с перекашивающим лицо большим шрамом, начал расспрашивать Василия о восточном фронте.

И снова Василий пошел заливать, как утром полковнику, гладко и хорошо.

В промежутках разговора выпивал наливаемую полковником водку и с аппетитом ел вкусное что-то, залитое желтоватым острым соусом.

Визжала музыка, на эстраде жонглировал тарелками эксцентрик с красным носиком и в маленьком, набекрень надетом цилиндре.

— Слушайте, Рыбкин!.. Бросьте из гостя кишки выматывать. Ему с утра очертело. Веселиться надо! Дело — не волк! Смотрите на эстраду, поручик! Сейчас бабочка вылезет — заглядепье!

Опять взвыли скрипки, и на эстраду легко выпорхнула из-за кулис пышная, розовая, почти совершенно

обнаженная женщина в легком голубом газе, залитом сверкающими блестками.

— Смотрите!.. Смотрите!.. Бюст!.. А ножки? — шептал в ухо Василию разнежившийся полковник.— Не баба — пирожное! И скажу вам — недорога. Пятьсот целковых! Хотите — познакомлю?

Василий взглянул и уткнулся в тарелку, куда полковник наложил ему спаржи. Не знал, что делать со спаржей, и стал ловить ее вилкой.

— Что вы, батенька, делаете?.. Спаржу вилкой?.. Видно, здорово вам мисс Рози в поджилки ударила.

— Я этой штуки не ел! У нас не растет! — зло сказал Василий.

— Я и забыл! Вы ведь сибиряк! Ну, выпьем, голубчик, за тайгу-матушку, чтоб в ней все большевики передохли!

Допивая рюмку, услыхал Василий сбоку шуршание шелка, такое знакомое и дразнящее, что вспомнил Инну Владимировну, и резко повернулся.

Стояла у столика небольшого роста женщина в испанском костюме, с черной кружевной мантильей на плечах и цветами в волосах, худая и тонкая.

— Карменсита!.. Садитесь! — сказал, привстав, капитан Одоевцев.

Женщина легким движением расправила платье и опустилась на стул. Прищурила миндалевидные глаза и посмотрела на Гулявина.

— Новенький? Откуда достали? — процедила она гортанным голосом.

— Познакомьтесь. Поручик Волынский!

Карменсита протянула тонкую руку для поцелуя, и Василий смущенно поцеловал.

Женщина блеснула глазами.

— Не надоело еще пить? Вот люди!.. Скоро вас в психическую отвезут?

— На наш век хватит,— ответил Одоевцев,— лишь бы в психической вас можно было найти, а там море по колено!

Она опять повернулась к Гулявину:

— Вы откуда? Из Сибири?.. Далеко! У вас лицо хорошее, не пропитое!..

Но прежде чем Василий ответил, у стола появился тоненький, очень красивый офицер в щегольской черкеске. Его встретили дружными возгласами:

— Князь!.. Душка!.. Откуда? Какими судьбами?

— С фронта только что... В отпуск.

— Садись, садись. Рассказывай!

Офицер сел против Карменситы и закурил.

— Что ж рассказывать?.. Особенного ничего!.. Скука! Вот разве в Тихорецкой удовольствие было,— выпуская дым из мягких розовых губ, сказал он неторопливо, приятно грассируя.

— Ну?

— Взяли мы ихний санитарный транспорт, а там девчонка, сестра милосердия. Завзятая большевичка! Из вагона по нашим шпарила. Но хорошенькая, как чертенок. Лет семнадцати. Ну, привели ее ко мне... Я говорю: «Жаль мне вас, мадемуазель, на тот свет отпустить такой юной и не познавшей высоких наслаждений нежной страсти».— «Я вас не понимаю»,— говорит. Ну, я ей объяснил так, жестами. Так она мне в лицо плюнула. Ну, естественно, позвал казачков, приказал ее разоблачить, привязали к кровати, и через нее целый взвод пропустил. Познала в избытке.

Слушал Василий, и мутилось у него в голове от выпитой водки и злобы.

Крепко сжал в кармане браунинг, но, прежде чем успел слово сказать, поднялась Карменсита:

— До свиданья, господа! Я за одним столом с подлецом, который хвастается своей подлостью, не сижу.

Вскочил князь. Поднялись все офицеры. Встал и Василий.

А князь перегнулся через стол и Карменсите:

— Возьми свои слова обратно... ты... девка!

— Подлец!

А князь из стакана в лицо ей вином.

Но не успел стакан поставить, как Василий с размаху всем кулаком ударил его по зубам.

Охнул князь и полетел под столик. Офицеры Гулявина за руки:

— Поручик!.. Поручик!.. Успокойтесь!

Вырвался, красный и разъяренный.

— Лапы убери! Цыц... сволочи! Кадетня чертова! Всех расшибем! Кровь выпустим!

Кричал, уже сам не понимая что, и с силой бил кулаком по столу.

Сбегались люди от всех столиков на скандал.

Тогда вытащил Василий браунинг.

Кто-то крикнул:

— Обезоружьте!

— Обезоружить? Возьми! Попробуй! По пятеро на одну руку вашего брата, кадетской сволочи, уберу! Гады!

И тогда всех покрыл догадавшийся голос:

— Большевик! Большевистский шпион! Держи!

Замелькали в руках револьверы.

Шагнул Василий к выходу. На дороге встало чье-то лицо, и в него, не целясь, в упор хватил Василий.

Грянули другие выстрелы, и как шилом ударило Василия в плечо.

Остановился и вспомнил:

— Что с вами по мелкоте возиться? Нате! Жрите!

Вырвал из кармана гранату, дернул запал и, размахнувшись, швырнул между расступившихся, в столпившуюся у стены кучку.

И сейчас же рвануло воздух раскатом грома, заволокло рыжим дымом; мгновенно погасло электричество... А Василий уже бежал к выходу, оттолкнул на пороге кого-то и очутился на улице.

Бешеный вихрь ударил ему в лицо холодом и пылью, и он бросился туда, навстречу ветру, повинуясь его зовущему родному, радостному вою.

Вдогонку с крыльца треснули выстрелы.

Со всех сторон бежали люди.

— Ловите!.. Стреляйте!.. Вон он!..

— Звоните коменданту!

— Конных!

Василий перебежал бульвар и выбежал в переулочек.

Бежал мимо запертых домов и увидел одну открытую калитку. Почти бессознательно вскочил в нее и захлопнул за собой.

Задержал шаг и прошел вонючий двор. Рядом с сарайчиком увидел лестницу на чердак и моментом, как на марс, взлетел на нее. Чердак был открыт.

Влез внутрь, увидел большой ящик с дровами и, морщась от боли в плече, забаррикадировал им дверь.

Подошел к слуховой отдушине и услыхал топот и крики в переулке.

«Авось пробегут...»

Но сейчас же явственно услыхал кричащий голос:

— В эту калитку! Сюда вбежал!

Хлопнула калитка. Под подворотней забоцали бегущие шаги.

«Ползите. Ползите. Я вас угощу...»

Злобно подумал, что дешево не сдастся, и вдруг вспомнил с ужасом, что не взял запасной обоймы.

Оставалось всего шесть патронов.

«Ничего. Хватит...»

Внизу бежали через двор, кричали. В доме начали открываться окна.

Наконец чердачная лестница затрещала под шагами.

— Заперто?

— Нет... Приперто изнутри! Нажимай!

Василий прижался за ящиком.

Дверь зашевелилась и приоткрылась, просунулась рука, потом голова, и Василий нажал курок.

Снаружи закричали:

— Стреляет, сволочь!

— Давай винтовки!

— На крышу!.. Бейте с крыши!..

Загрохотало железо на крыше, и над головой оглушительно прокатился винтовочный выстрел.

Другой, третий, и тяжело ударили в дверь. Еще раз. Доска с треском вывалилась, и вспомнил почему-то Василий, как в феврале выбил он сам чердачную дверь прикладом.

Вылетела вторая доска, и просунулась внутрь винтовка.

Василий яростно ухватился за нее, чтобы вырвать, но плеснул выстрел, брызнуло в лицо огнем, оглушило и сильно ударило в скулу.

Он выпустил винтовку и два раза выстрелил в щель.

За дверью упало тело.

Послышалась ругань.

— Сразу надо! Поодиночке он многих перебьет!

Снова затрещала под ударами дверь и рухнула, в провал бросились три человека.

Три раза хлопнул браунинг, и трое легли на чердачный пол.

Во дворе затихло.

— Вот черт! — сказал кто-то внизу.

— Надо света подождать!

Василий отбросил браунинг и посмотрел на небо. Восток начинал светлеть.

Он подполз к отдушине и осторожно выглянул. На крыше никого не было.

Напрягая все силы, протиснулся в отдушину, встал на ноги, и сейчас же из окна услышал истерический женский крик:

— На крыше!.. На крыше-е!..

Тогда медленно и не прячась подошел к краю.

Кровь заливала лицо и текла по френчу. Остановился у желоба и встретил глазами поднятые дула винтовок. Поднял руку.

— Сдавайся, сукин сын!

— Амба! Патроны вышли! Только слушайте, сволочи, гадово семя! Мне подыхать! Но и вы подохнете... гады боговы! Амба!

И прыгнул вниз на вытянутые жала штыков.

Ленинград,
январь — май 1924 г.

СОРОК ПЕРВЫЙ

Памяти
Павла Дмитриевича Жукова

Глава первая,

написанная автором исключительно в силу необходимости

Сверкающее кольцо казачьих сабель под утро распалось на мгновение на севере, подрезанное горячими струйками пулемета, и в щель прорвался лихорадочным последним упором малиновый комиссар Евсюков.

Всего вырвались из смертного круга в бархатной котловине малиновый Евсюков, двадцать три и Марютка.

Сто девятнадцать и почти все верблюды остались распластанными на промерзлой осыпи песка, меж змеиных саксауловых петель и красных прутиков тамариска.

Когда доложили есаулу Бурыге, что остатки противника прорвались, повертел он звериной лапищей мохнатые свои усы, зевнул, растянув рот, схожий с дырой чугунной пепельницы, и рыкнул лениво:

— А хай их! Не гоняться, бо коней морить не треба. Сами в песке подохнут. Бара-бир!

А малиновый Евсюков с двадцатью тремя и Марюткой увертливым махом степной разъяренной чекалки убегали в зернь-пески бесконечные.

Уже не терпится читателю знать, почему «малиновый Евсюков»?

Все по порядку.

Когда заткнул Колчак ощеренным винтовками человечьим месивом, как тугой пробкой, Оренбургскую линию, посадив на зады обомлелые паровозы — ржаветь в глухих тупиках,— не стало в Туркестанской республике черной краски для выкраски кож.

А время пришло грохотное, смутное, кожаное.

Брошенному из милого уюта домовых стен в жар и ледынь, в дождь и вёдро, в пронзительный пулевой свист человечьему телу нужна прочная покрышка.

Оттого и пошли на человечестве кожаные куртки.

Красились куртки повсюду в черный, отливающий сизью стали, суровый и твердый, как владельцы курток, цвет.

И не стало в Туркестане такой краски.

Пришлось ревштабу реквизировать у местного населения запасы немецких анилиновых порошков, которыми расцвечивали в жар-птичьи сполохи воздушные шелка своих шалей ферганские узбечки и мохнатые узорочья текинских ковров сухогубые туркменские жены.

Стали этими порошками красить бараньи свежие кожи, и заполыхала туркестанская Красная Армия всеми отливами радуги — малиновыми, апельсиновыми, лимонными, изумрудными, бирюзовыми, лиловыми.

Комиссару Евсюкову судьба в лице рябого вахтера вещсклада отпустила по наряду штаба штаны и куртку ярко-малиновые.

Лицо у Евсюкова сызмалолетства тоже малиновое, в рыжих веснушках, а на голове вместо волоса нежный утиный пух.

Если добавить, что росту Евсюков малого, сложения сбитого и представляет всей фигурою правильный овал, то в малиновой куртке и штанах похож — две капли воды — на пасхальное крашеное яйцо.

На спине у Евсюкова перекрещиваются ремни боевого снаряжения буквой «Х», и кажется, если повернется комиссар передом, должна появиться буква «В».

Христос воскресе!

Но этого нет. В пасху и Христа Евсюков не верит.

Верует в Совет, в Интернационал, чеку и в тяжелый вороненый наган в узловатых и крепких пальцах.

Двадцать три, что ушли с Евсюковым на север из смертного сабельного круга, красноармейцы как красноармейцы. Самые обыкновенные люди.

А особая между ними Марютка.

Круглая рыбачья сирота Марютка, из рыбачьего поселка, что в волжской, распухшей камыш-травой, широководной дельте под Астраханью.

С семилетнего возраста двенадцать годов просидела

верхом на жирной от рыбьих потрохов скамье, в брезентовых негнущихся штанах, вспарывая ножом серебряно-скользкие сельдяные брюха.

А когда объявили по всем городам и селам набор добровольцев в Красную, тогда еще гвардию, воткнула вдруг Марютка нож в скамью, встала и пошла в негнущихся штанах своих записываться в красные гвардейцы.

Сперва выгнали, после, видя неотступно ходящей каждый день, погоготали и приняли красногвардейкой, на равных с прочими правах, но взяли подписку об отказе от бабьего образа жизни и, между прочим, деторождения до окончательной победы труда над капиталом.

Марютка — тоненькая тростиночка прибрежная, рыжие косы заплетает венком под текинскую бурую папаху, а глаза Марюткины шалые, косо прорезанные, с желтым кошачьим огнем.

Главное в жизни Марюткиной — мечтание. Очень мечтать склонна и еще любит огрызком карандаша на любом бумажном клоке, где ни попадется, выводить клонящимися в падучей буквами стихи.

Это всему отряду известно. Как только приходили куда-нибудь в город, где была газета, выпрашивала Марютка в канцелярии лист бумаги.

Облизывая языком сохнущие от волнения губы, тщательно переписывала стихи, над каждым ставила заглавие, а внизу подпись: *Стих Марии Басовой.*

Стихи были разные. О революции, о борьбе, о вождях. Между другими о Ленине.

Ленин герой наш пролетарский,
Поставим статуй твой на площаде.
Ты низвергнул дворец тот царский
И стал ногою на труде.

Несла стихи в редакцию. В редакции пялили глаза на тоненькую девушку в кожушке, с кавалерийским карабином, удивленно брали стихи, обещали прочитать.

Спокойно оглядев всех, Марютка уходила.

Заинтересованный секретарь редакции вчитывался в стихи. Плечи его подымались и начинали дрожать, рот расползался от несдерживаемого гогота. Собирались сотрудники, и секретарь, захлебываясь, читал стихи.

Сотрудники катались по подоконникам: мебели в редакции в те времена не было.

Марютка снова появлялась утром. Упорно глядя в дергающееся судорогами лицо секретаря немигающими зрачками, собирала листки и говорила нараспев:

— Значит, невозможно народовать? Необделанные? Уж я их из самой середки, ровно как топором, обрубаю, а все плохо. Ну, еще потрудюсь,— ничего не поделаешь! И с чего это они такие трудные, рыбья холера? А?

И уходила, пожимая плечами, нахлобучив на лоб туркменскую свою папаху.

Стихи Марютке не удавались, но из винтовки в цель садила она с замечательной меткостью. Была в евсюковском отряде лучшим стрелком и в боях всегда находилась при малиновом комиссаре.

Евсюков показывал пальцем:

— Марютка! Гляди! Офицер!

Марютка прищуривалась, облизывала губы и не спеша вела стволом. Бухал выстрел, всегда без промаха.

Она опускала винтовку и говорила каждый раз:

— Тридцать девятый, рыбья холера. Сороковой, рыбья холера.

«Рыбья холера» — любимое словцо у Марютки.

А матерных слов она не любила. Когда ругались при ней, супилась, молчала и краснела.

Данную в штабе подписку Марютка держала крепко. Никто в отряде не мог похвастать Марюткиной благосклонностью.

Однажды ночью сунулся к ней только что попавший в отряд мадьяр Гуча, несколько дней поливавший ее жирными взглядами. Скверно кончилось. Еле уполз мадьяр, без трех зубов и с расшибленным виском. Отделала рукояткой револьвера.

Красноармейцы над Марюткой любовно посмеивались, но в боях берегли пуще себя.

Говорила в них бессознательная нежность, глубоко запрятанная под твердую яркоцветную скорлупу курток, тоска по покинутым дома жарким, уютным бабьим телам.

Такими были ушедшие на север, в беспросветную зернь мерзлых песков, двадцать три, малиновый Евсюков и Марютка.

Пел серебряными вьюжными трелями буранный февраль. Заносил мягкими коврами, ледянистым пухом увалы между песчаными взгорбьями, и над уходящими в муть и буран свистало небо — то ли ветром диким, то

ли назойливым визгом крестящих воздух вдогонку вражеских пуль.

Трудно вытаскивались из снега и песка отяжелевшие ноги в разбитых ботах, хрипели, выли и плевались голодные шершавые верблюды.

Выдутые ветрами такыры блестели соляными кристаллами, и на сотни верст кругом небо было отрезано от земли, как мясничьим ножом, по ровной и мутной линии низкого горизонта.

Эта глава, собственно, совершенно лишняя в моем рассказе.

Проще бы мне начать с самого главного, с того, о чем речь пойдет в следующих главах.

Но нужно же читателю знать, откуда и как появились остатки особого гурьевского отряда в тридцати семи верстах к норд-весту от колодцев Кара-Кудук, почему в красноармейском отряде оказалась женщина, отчего комиссар Евсюков — малиновый и много еще чего нужно знать читателю.

Уступая необходимости, я и написал эту главу.

Но, смею уверить вас, она не имеет никакого значения.

Глава вторая,

в которой на горизонте появляется темное пятно, обращающееся при ближайшем рассмотрении в гвардии поручика Говоруху-Отрока

От колодцев Джан-Гельды до колодцев Сой-Кудук семьдесят верст, оттуда до родника Ушкан еще шестьдесят две.

Ночью, ткнув прикладом в раскоряченный корень, сказал Евсюков промерзшим голосом:

— Стой! Ночевка!

Разожгли саксауловый лом. Горел жирным копотным пламенем, и темным кругом мокрел вокруг огня песок.

Достали из вьюков рис и сало. В чугунном котле закипела каша, едко пахнущая бараном.

Тесно сгрудились у огня. Молчали, лязгая зубами, стараясь спасти тело от знобящих пальцев бурана, за-

ползающих во все прорехи. Грели ноги прямо на огне, и заскорузлая кожа ботов трещала и шипела.

Стреноженные верблюды уныло позвякивали бубенцами в белесой поземке.

Евсюков скрутил козью ножку трясущимися пальцами.

Выпустил дым, а с дымом выдавил натужно:

— Надо обсудить, значит, товарищи, куды теперь подаваться.

— Куды подашься,— отозвался мертвый голос из-за костра, — все равно каюк-кончина. На Гурьев вертаться невозможно, казачни наперло — чертова сила. А, окромя Гурьева, смотаться некуда.

— На Хиву разве?

— Хы-ы! Сказанул! Шестьсот верст без малого по Кара-Кумам зимой? А жрать что будешь? Вшей разве в портках разведешь на кавардак?

Загрохотали смехом, но тот же мертвый голос безнадежно сказал:

— Один конец — подыхать!

Сжалось сердце у Евсюкова под малиновыми латами, но, не показав виду, яростно оборвал говорившего:

— Ты, мокрица! Панику не разводь! Подыхать каждый дурень может, а нужно мозгом помурыжить, чтобы не подохнуть.

— На хворт Александровский можно податься. Тама свой брат, рыбалки.

— Не годится,— бросил Евсюков,— было донесение, Деника десант высадил. И Красноводский и Александровский у беляков.

Кто-то сквозь дрему надрывисто простонал.

Евсюков ударил ладонью по горячему от костра колену. Отрубил голосом:

— Баста! Один путь, товарищи, на Арал! До Арала как добредем, там немакапы по берегу кочуют, поживимся и в обход на Казалинск. А в Казалинске фронтовой штаб. Там и дома будем.

Отрубил — замолчал. Самому не верилось, что можно дойти.

Подняв голову, спросил рядом лежащий:

— А до Арала что шамать будем?

И опять отрубил Евсюков:

— Штаны подтянуть придется. Не велики князья!

Сардины тебе с медом подавать? Походишь и так. Рис пока есть, муки тоже малость.

— На три перехода?

— Что ж на три! А до Черныш-залива — десять отседова. Верблюдов шестеро. Как продукт поедим — верблюдов резать будем. Все едино ни к чему. Одного зарежем, мясо на другого — и дальше. Так и допрем.

Молчали. Лежала у костра Марютка, облокотившись на руки, смотрела в огонь пустыми, немигающими кошачьими зрачками. Смутно стало Евсюкову.

Встал, отряхнул с куртки снежок.

— Кончь! Мой приказ — на заре в путь. Може, не все дойдем,— шатнулся вспуганной птицей комиссарский голос,— а идти нужно... потому, товарищи... революция вить... За трудящихся всего мира!

Смотрел поочередно комиссар в глаза двадцати трех. Не видел уже огня, к которому привык за год. Мутны были глаза, уклонялись, и метались под опущенными ресницами отчаяние и недоверие.

— Верблюдов пожрем, потом друг дружку жрать придется.

Опять молчали.

И внезапно визгливым бабьим голосом закричал исступленно Евсюков:

— Без рассуждениев! Революционный долг знаешь? Молчок! Приказал — кончено! А то враз к стенке.

Закашлялся и сел.

И тот, что мешал кашу шомполом, неожиданно весело швырнул в ветер:

— Чего сопли повесили? Тюпайте кашу — дарма варил, что ли? Вояки, едрена вошь!

Выхватывали ложками густые комья жирного распухшего риса, обжигаясь, глотали, чтобы не остыло, но, пока глотали, на губах налипала густая корка заледеневшего противно-стеаринового сала.

Костер дотлевал, выбрасывая в ночь палево-оранжевые фонтаны искр. Еще теснее прижимались, засыпали, храпели, стонали и ругались спросонья.

Уже под утро разбудили Евсюкова быстрые толчки в плечо. Трудно разлепив примерзшие ресницы, схватился, дернулся по привычке окостенелой рукой за винтовкой.

— Стой, не ершись!

Нагнувшись, стояла Марютка. В желто-сером дыму бурана поблескивали кошачьи огни.

— Ты что?

— Вставай, товарищ комиссар! Только без шуму! Пока вы дрыхли, я на верблюде прокатилась. Караван киргизий идет с Джан-Гельдов.

Евсюков перевернулся на другой бок. Спросил, захлебнувшись:

— Какой караван, что врешь?

— Ей-пра... провалиться, рыбья холера! Немаканы! Верблюдов сорок!

Евсюков разом вскочил на ноги, засвистал в пальцы. С трудом поднимались двадцать три, разминая не свои от стужи тела, но, услыхав о караване, быстро приходили в себя.

Поднялись двадцать два. Последний не поднялся. Лежал, кутаясь в попону, и попона тряслась зыбкой дрожью от бьющегося в бреду тела.

— Огневица! — уверенно кинула Марютка, пощупав пальцами за воротом.

— Эх, черт! Что делать будешь? Накройте кошмами, пусть лежит. Вернемся — подберем. В какой стороне караван, говоришь?

Марютка взмахнула рукой к западу.

— Не дально! Верстов шесть. Богаты немаканы. Вьюков на верблюдах — во!

— Ну, живем! Только не упустить. Как завидим, обкладай со всех сторон. Ног не жалей. Которы справа, которы слева. Марш!

Зашагали ниточкой между барханами, пригибаясь, бодрея, разогреваясь от быстрого хода.

С плоенной песчаными волнами верхушки бархана увидели вдалеке, на плоском, что обеденный стол, такыре темные пятна вытянутых в линию верблюдов.

На верблюжьих горбах тяжело раскачивались вьюки.

— Послал восподь! Смилостивился,— упоенно прошептал рябой молоканин Гвоздев.

Не удержался Евсюков, обложил:

— Восподь?.. Доколе тебе говорить, что нет никакого воспода, а на все своя физическая линия.

Но некогда было спорить. По команде побежали прыжками, пользуясь каждой складочкой песка, каждым корявым выползком кустарников. Сжимали до боли в пальцах приклады: знали, что нельзя, невозможно упус-

тить, что с этими верблюдами уйдут надежда, жизнь, спасение.

Караван проходил неспешно и спокойно. Видны уже были цветные кошмы на верблюжьих спинах, идущие в теплых халатах и волчьих малахаях киргизы.

Сверкнув малиновой курткой, вырос Евсюков на гребне бархана, вскинул на изготовку. Заорал трубным голосом:

— Тохта! Если ружье есть — кладь наземь. Без тамаши, а то всех угроблю.

Не успел докричать,— оттопыривая зады, повалились в песок перепуганные киргизы.

Задыхаясь от бега, скакали со всех сторон красноармейцы.

— Ребята, забирай верблюдов! — орал Евсюков.

Но, покрыв его голос, от каравана ударил вдруг ровный винтовочный залп.

Щенками тявкали обозленные пули, и рядом с Евсюковым ткнулся кто-то в песок головой, вытянув недвижные руки.

— Ложись!.. Дуй их, дьяволов!.. — продолжал кричать Евсюков, валясь в выгреб бархана. Защелкали частые выстрелы.

Стреляли из-за залегших верблюдов неведомые люди. Непохоже было, чтобы киргизы. Слишком меткий и четкий был огонь.

Пули тюкались в песок у самых тел залегших красноармейцев.

Степь грохотала перекатами, по понемногу затихали выстрелы от каравана.

Красноармейцы начали подкатываться перебежками. Уже шагах в тридцати, вглядевшись, увидел Евсюков за верблюдом голову в меховой шапке и белом башлыке, а за ней плечо, и на плече золотая полоска.

— Марютка! Гляди! Офицер! — повернул голову к подползшей сзади Марютке.

— Вижу.

Неспешно повела стволом. Треснул раскат.

Не то обмерзли пальцы у Марютки, не то дрожали от волнения и бега, но только успела сказать: «Сорок первый, рыбья холера!» — как, в белом башлыке и синем тулупчике, поднялся из-за верблюда человек и поднял высоко винтовку. А на штыке болтался наколотый белый платок.

Марютка швырнула винтовку в песок и заплакала, размазывая слезу по облупившемуся грязному лицу.

Евсюков побежал на офицера. Сзади обогнал красноармеец, размахиваясь на ходу штыком для лучшего удара.

— Не трожь!.. Забирай живьем,— прохрипел комиссар.

Человека в синем тулупчике схватили, свалили на землю.

Пятеро, что были с офицером, не поднялись из-за верблюдов, срезанные колючим свинцом.

Красноармейцы, смеясь и ругаясь, тащили верблюдов за продетые в ноздри кольца, связывали по нескольку.

Киргизы бегали за Евсюковым, виляя задами, хватали его за куртку, за локти, штаны, снаряжение, бормотали, заглядывали в лицо жалобными узкими щелками.

Комиссар отмахивался, убегал, зверел и, сам морщась от жалости, тыкал наганом в плоские носы, в обветренные острые скулы.

— Тохта, осади! Никаких возражениев!

Пожилой, седобородый, в добротном тулупе, поймал Евсюкова за пояс.

Заговорил быстро-быстро, ласково пришептывая:

— Уй-бай... Плоха делал... Киргиз верблюда жить нада. Киргиз без верблюда помирать пошел... Твоя, бай, так не делай. Твоя деньга хотит — наша дает. Серебряна деньга, царская деньга... киренка бумаж... Скажи, сколько твоя давать, верблюда назад дай?

— Да пойми ж ты, дубовая твоя голова, что нам тоже теперь без верблюдов подыхать. Я ж не граблю, а по революционной надобности, во временное пользование. Вы, черти немаканые, пехом до своих добредете, а нам смерть.

— Уй-бай. Никарош. Отдай верблюда — бири абаз, киренки бири,— тянул свое киргиз.

Евсюков вырвался.

— Ну тя к сатане! Сказал, и кончено. Без разговору. Получай расписку, и все тут.

Он ткнул киргизу нахимиченную на лоскуте газеты расписку.

Киргиз бросил ее в песок, упал и, закрыв лицо, завыл.

Остальные стояли молча, и в косых черных глазах дрожали молчаливые капли.

Евсюков отвернулся и вспомнил о пленном офицере.

Увидел его между двумя красноармейцами. Офицер стоял спокойно, слегка отставив правую ногу в высоком шведском валенке, и курил, с усмешкой смотря на комиссара.

— Кто такой есть? — спросил Евсюков.

— Гвардии поручик Говоруха-Отрок. А ты кто такой? — спросил, в свою очередь, офицер, выпустив клуб дыма.

И поднял голову.

И когда посмотрел в лица красноармейцев, увидели Евсюков и все остальные, что глаза у поручика синие-синие, как будто плавали в белоснежной мыльной пене белка шарики первосортной французской синьки.

Глава третья

о некоторых неудобствах путешествия в Средней Азии без верблюдов и об ощущениях спутников Колумба

Сорок первым должен был стать в Марюткином счете гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Но то ли от холода, то ли от волнения промахнулась Марютка.

И остался поручик в мире лишней цифрой на счету живых душ.

По приказу Евсюкова выворотили пленнику карманы и в замшевом френче его, на спине, нашли потайной кармашек.

Взвился поручик на дыбы степным жеребенком, когда красноармейская рука нащупала карман, но крепко держали его, и только дрожью губ и бледностью выдал волнение и растерянность.

Добытый холщовый пакетик Евсюков осторожно развернул на своей полевой сумке и, неотрывно впиваясь глазами, прочитал документы. Повертел головой, задумался.

Было обозначено в документах, что гвардии поручик Говоруха-Отрок, Вадим Николаевич, уполномочен правительством верховного правителя России адмирала Колчака представлять особу его при Закаспийском правительстве генерала Деникина.

Секретные же поручения, как сказано было в пись-

ме, поручик должен был доложить устно генералу Драценко.

Сложив документы, Евсюков бережно сунул их за пазуху и спросил поручика:

— Какие такие ваши секретные поручения, господин офицер? Надлежит вам рассказать все без утайки, как вы есть в плену у красных бойцов и я командующий комиссар Арсентий Евсюков.

Вскинулись на Евсюкова поручичьи ультрамариновые шарики.

Ухмыльнулся поручик, шаркнул ножкой.

— Monsieur Евсюков?.. Оч-чень рад познакомиться! К сожалению, не имею полномочий от моего правительства на дипломатические переговоры с такой замечательной личностью.

Веснушки Евсюкова стали белее лица. При всем отряде в глаза смеялся над ним поручик.

Комиссар вытащил наган.

— Ты, моль белая! Не дури! Или выкладай, или пулю слопаешь!

Поручик повел плечом.

— Балда ты, хоть и комиссар! Убьешь — вовсе ничего не слопаешь!

Комиссар опустил револьвер и чертыхнулся.

— Я тебя гопака плясать заставлю, сучье твое мясо. Ты у меня запоешь,— буркнул он.

Поручик так же улыбался одним уголком губ.

Евсюков плюнул и отошел.

— Как, товарищ комиссар? В рай послать, что ли?— спросил красноармеец.

Комиссар почесал ногтем облупленный нос.

— Не... не годится. Это заноза здоровая. Нужно в Казалинск доставить. Там с него в штабе все дознание снимут.

— Куда ж его еще, черта, таскать? Сами дойдем ли?

— Афицерей, что ль, вербовать начали?

Евсюков выпрямил грудь и цыкнул:

— Твое какое дело? Я беру — я и в ответе. Сказал!

Обернувшись, увидел Марютку.

— Во! Марютка! Препоручаю тебе их благородие. Смотри в оба глаза. Упустишь — семь шкур с тебя сдеру!

Марютка молча вскинула винтовку на плечо. Подошла к пленному.

— А ну-ка, поди сюды. Будешь у меня под караулом. Только не думай, раз я баба, так от меня убечь можно. На триста шагов на бегу сниму. Раз промазала, в другой не надейся, рыбья холера.

Поручик скосил глаза, дрогнул смехом и изысканно поклонился.

— Польщен быть в плену у прекрасной амазонки.

— Что?.. Чего еще мелешь? — протянула Марютка, окинув поручика уничтожающим взглядом. — Шантрапа! Небось, кроме падекатра танцевать, другого и дела не знаешь? Пустого не трепли! Топай копытами. Шагом марш!

В этот день заночевали на берегу маленького озерка.

Из-подо льда прелью и йодом воняла соленая вода.

Спали здорово. С киргизских верблюдов поснимали кошмы и ковры, завернулись, укутались — теплынь райская.

Гвардии поручика на ночь крепко связала Марютка шерстяным верблюжьим чумбуром по рукам и ногам, завила чумбур вокруг пояса, а конец закрепила у себя на руке.

Кругом ржали. Лупастый Семянный крикнул:

— Глянь, бра, — Марютка милово привораживает. Наговорным корнем!

Марютка повела глазом на ржущих.

— Брысь-те к собакам, рыбья холера! Смешки... А если убегнет?

— Дура! Что ж, у него две башки? Куды бечь в пески?

— В пески не в пески, а так вернее. Спи ты, кавалер чумелый.

Марютка толкнула поручика под кошму, сама привалилась сбоку.

Сладко спать под шерстистой кошмой, под дурманным войлоком. Пахнет от войлока степным июльским зноем, полынью, ширью зернь-песков бесконечных. Нежится тело, баюкается в сладчайшей дреме.

Храпит под ковром Евсюков, в мечтательной улыбке разметалась Марютка, и, сухо вытянувшись на спине, поджав тонкие, красивого выреза, губы спит гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Один часовой не спит. Сидит на краю кошмы, на

коленях винтовка-неразлучница, ближе жены и зазнобушки.

Смотрит в белесую снеговую сутемь, где глухо брякают верблюжьи бубенчики.

Сорок четыре верблюда теперь. Путь прям, хоть и тяжек.

Нет больше сомнения в красноармейских сердцах.

Рвет, заливается посвистами ветер, рвется снежными пушинками часовому в рукава. Ежится часовой, поднимает край кошмы, набрасывает на спину. Сразу перестает колоть ледяными ножами, оттеплевает застывшее тело.

Снег, муть, зернь-пески.

Смутная азийская страна.

— Верблюды где?.. Верблюды, матери твоей черт!.. Анафема... Сволочь рябая! Спать?.. Спать?.. Что ж ты наделал, подлец? Кишки выпущу!

У часового голова идет кругом от страшного удара сапогом в бок. Мутно водит глазами часовой.

Снег и муть.

Сутемь дымная, утренняя. Зернь-пески.

Нет верблюдов.

Где паслись верблюды, следы верблюжьи и человечьи. Следы остроносых киргизских ичигов.

Шли, наверно, тайком всю ночь киргизы, трое, за отрядом и в сон часового угнали верблюдов.

Столпясь, молчат красноармейцы. Нет верблюдов. Куда гнаться? Не догонишь, не найдешь в песках...

— Расстрелять тебя, сукина сына, мало!— сказал Евсюков часовому.

Молчит часовой, только слезы в ресницах замерзли хрусталиками.

Вывернулся из-под кошмы поручик. Поглядел, свистнул. Сказал с усмешечкой:

— Дисциплиночка советская! Олухи царя небесного!

— Молчи хоть ты, гнида!— яростно зыкнул Евсюков и не своим, одеревенелым шепотом бросил:— Ну, что ж стоять? Пошли, братцы!

Только одиннадцать гуськом, в отрепьях, шатаясь, вперевалку карабкаются по барханам.

Десятеро ложились вехами на черной дороге.

Утром мутнеющие в бессилье глаза раскрывались в последний раз, стыли недвижными бревнами распухшие ноги, вместо голоса рвался душный хрип.

Подходил к лежащему малиновый Евсюков, но уже не одного цвета с курткой было комиссарское лицо. Высохло, посерело, и веснушки по нему, как старые медные грошики.

Смотрел, качал головой. Потом ледяное дуло евсюковского нагана обжигало впавший висок, оставив круглую, почти бескровную, почернелую ранку.

Наскоро присыпали песком и шли дальше.

Изорвались куртки и штаны, разбились в лохмотья боты, обматывали ноги обрывками кошм, заматывали тряпками отмороженные пальцы.

Десять идут, спотыкаясь, качаясь от ветра.

Один идет прямо, спокойно.

Гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Не раз говорили красноармейцы Евсюкову:

— Товарищ комиссар! Что ж долго его таскать? Только порцию жрет задарма. Опять же одежа, обужа у него хороша, поделить можно.

Но запрещал Евсюков трогать поручика.

— В штаб доставлю или с ним вместе подохну. Он много порассказать может. Нельзя такого человека зря бить. От своей судьбы не уйдет.

Руки у поручика связаны в локтях чумбуром, а конец чумбура у Марютки за поясом. Еле идет Марютка. На снеговом лице только играет кошачья желть ставших громадными глаз.

А поручику хоть бы что. Побледнел только немного.

Подошел однажды к нему Евсюков, посмотрел в ультрамариновые шарики, выдавил хриплым лаем:

— Черт тебя знает! Двужильный ты, что ли? Сам щуплый, а тянешь за двух. С чего это в тебе сила такая?

Повел губы поручик всегдашней усмешкой. Спокойно ответил:

— Не поймешь. Разница культур. У тебя тело подавляет дух, а у меня дух владеет телом. Могу приказать себе не страдать.

— Вона что,— протянул комиссар.

Дыбились по бокам барханы, мягкие, сыпучие, волнистые. На верхушках их с шипеньем змеился от ветра песок, и казалось, никогда не будет конца им.

Падали в песок, скрежеща зубами. Выли удавленно:

— Не пойду даля. Оставьте отдохнуть. Мочи нет.

Подходил Евсюков, подымал руганью, ударами.

— Иди! От революции дезертировать не могишь.

Подымались. Шли дальше. На вершину бархана выполз один. Обернувшись, показал дико ощеренный череп и провопил:

— Арал!.. братцы!..

И упал ничком. Евсюков через силу взбежал на бархан. Ослепляющей синевой мазнуло по воспаленным глазам. Зажмурился, заскреб песок скрюченными пальцами.

Не знал комиссар о Колумбе и о том, что так точно скребли пальцами палубу каравелл испанские мореходы при крике: «Земля!»

Глава четвертая,

в которой завязывается первый разговор Марютки с поручиком, а комиссар снаряжает морскую экспедицию

На берегу на второй день наткнулись на киргизский аул.

Вначале дунуло из-за барханов острым душком кизячного дыма, и от запаха сжало желудки едкой спазмой.

Закруглились вдали рыжие купола юрт, и с ревом помчались навстречу мохноногие низкорослые собачонки.

Киргизы столпились у юрт, удивленно и жалостно смотрели на подходящих, на жалкие человечьи остатки.

Старик с продавленным носом погладил сперва редкие пучки бороденки, потом грудь. Сказал, кивнув:

— Селям алекюм. Куда такой идош, тюря?

Евсюков слабо пожал поданную дощечкой шершавую ладонь.

— Красные мы. На Казалинск идем. Примай, хозяин, покорми. За нас тебе благодарность от Совета выйдет.

Киргиз потряс бороденкой, зачмокал губами:

— Уй-бай... Кирасни аскер. Большак. Сентир пришел?

— Не, тюря! Не из центра мы. От Гурьева бредем.

— Гурьяв? Уй-бай, уй-бай Кара-Кума ишел?

В киргизских щелочках заискрился страх и уваже-

ние к полинялому малиновому человеку, который в февральскую стужу прошел пешком страшные Кара-Кумы от Гурьева до Арала.

Старик похлопал в ладоши, гортанно проворковал подбежавшим женщинам.

Взял комиссара за руку:

— Иди, тюря, кибитка. Испи мала-мала. Сыпишь, палав ашай.

Свалились полумертвыми тюками в дымное тепло юрт, спали без движения до сумерек. Киргизы наготовили плова, угощали, дружелюбно поглаживали красноармейцев по вылезшим на спинах острым лопаткам.

— Ашай, тюря, ашай! Твоя немного высохла. Ашай — здорова будишь.

Ели жадно, быстро, давясь. Животы вздулись от жирного плова, и многим становилось дурно. Отбегали в степь, дрожащими пальцами лезли в горло, облегчались и снова наваливались на еду. Разморенные и распаренные, уснули опять.

Не спали лишь Марютка и поручик.

Сидела Марютка у тлеющих углей мангала, и не было в ней памяти о пройденной муке.

Вытащила из сумки заветный охвостень карандаша, вытягивала буквы на выпрошенном у киргизки листе иллюстрированного приложения к «Новому времени». Во весь лист был напечатан портрет министра финансов графа Коковцева, и поперек коковцевского высокого лба и светлой бородки ложились в падучей Марюткины строки.

А вокруг пояса Марюткина по-прежнему окручен чумбур, и другим концом крепко держал чумбур скрещенные за спиной кисти поручика.

Только на час развязала Марютка чумбур, чтобы дать поручику наесться плова, но только отвалился от котла, связала опять.

Красноармейцы хихикали:

— Тю, ровно пса цепная.

— Втрескалась, Марютка? Вяжи, вяжи миленького. А то, не ровен час,— припрет на ковре-самолете по воздуху Марья Маревна, украдет любезного.

Марютка не удостоила ответом.

Поручик сидел, прислонясь плечом к столбу юрты. Следил ультрамариновыми шариками за трудными потугами карандаша.

Подался вперед всем корпусом и тихо спросил:
— Что пишешь?
Марютка покосилась на него из-под сбившейся рыжей пряди:
— Тебе какая суета?
— Может, письмо нужно написать? Ты продиктуй — я напишу.
Марютка тихо засмеялась.
— Ишь ты, проворяга! Это тебе, значит, руки развяжи, а ты меня по рылу, да в бега! Не на ту напал, сокол. А помочи твоей мне не требуется. Не письмо пишу, а стих.
Ресницы поручика распахнулись веерами. Он отделился спиной от столба:
— Сти-и-их? Ты сти-ихи пишешь?
Марютка прервала карандашные судороги и залилась краской.
— Ты что взбутился? А? Ты думаешь, тебе только падекатры плясать, а я дура мужицкая? Не дурее тебя!
Поручик развел локтями, кисти не двигались.
— Я тебя дурой и не считаю. Только удивляюсь. Разве сейчас время для стихов?
Марютка совсем отложила карандаш. Взбросилась, рассыпав по плечу ржавую бронзу.
— Чудак — поглядеть на тебя! По-твоему, стихи в пуховике писать надо? А ежели душа у меня кипит? Если вот мечтаю означить, как мы, голодные, холодные, по пескам перли! Все выложить, чтоб у людей в грудях сперло. Я всю кровь в их вкладаю. Только народовать не хотят. Говорят — учиться надобно. А где ж ты время возьмешь на ученье? От сердца пишу, с простоты!
Поручик медленно улыбнулся:
— А ты прочла бы! Очень любопытно. Я в стихах понимаю.
— Не поймешь ты. Кровь в тебе барская, склизкая. Тебе про цветочки да про бабу описать надо, а у меня все про бедный люд, про революцию,— печально проронила Марютка.
— Отчего же не понять?— ответил поручик.— Может быть, они для меня чужды содержанием, но понять человеку человека всегда можно.
Марютка нерешительно перевернула Коковцева вверх ногами. Потупилась.
— Ну, черт с тобой, прослушь! Только не смейся.

Тебя, может, папенька до двадцати годов с гибернерами обучал, а я сама до всего дошла.

— Нет!.. Честное слово, не буду смеяться!

— Тогды слушь! Тут все прописано. Как мы с казаками бились, как в степу ушли.

Марютка кашлянула. Понизила голос до баса, рубила слова, свирепо вращая глазами:

Как казаки наступали,
Царской свиты палачи,
Мы встренули их пулями,
Красноармейцы молодцы,
Очень много тех казаков,
Нам пришлося отступать.
Евсюков геройским махом
Приказал сволочь прорвать.
Мы их били с пулемета,
Пропадать нам все одно,
Полегла вся наша рота,
Двадцатеро в степь ушло.

— А дальше никак не лезет, хоть ты тресни, рыбья холера, не знаю, как верблюдов вставить? — оборвала Марютка пресекшимся голосом.

В тени были синие шарики поручика, только в белках влажно доцветал лиловатыми отсветами веселый жар мангала, когда, помолчав, он ответил:

— Да... здорово! Много экспрессии, чувства. Понимаешь? Видно, что от души написано.— Тут все тело поручика сильно дернулось, и он, как будто икнув, спешно добавил: — Только не обижайся, но стихи очень плохие. Необработанные, неумелые.

Марютка грустно уронила листок на колени. Молча смотрела в потолок юрты. Пожала плечами.

— Я ж и говорю, что чувствительные. Плачет у меня все нутро, когда обсказываю про это. А что необделанные — это везде сказывают, точь-в-точь как ты. «Ваши стихи необработанные, печатать нельзя». А как их обделать? Что в их за хитрость? Вот вы ентиллегент, может, знаете? — Марютка в волнении даже назвала поручика на вы.

Поручик помолчал.

— Трудно ответить. Стихи, видишь ли,— искусство. А всякое искусство ученья требует, у него свои правила и законы. Вот, например, если инженер не будет знать всех правил постройки моста, то он или совсем его не

выстроит, или выстроит, но безобразный и негодный в работе.

— Так то ж мост. Для его арихметику надо произойти, разные там анженерные хитрости. А стихи у меня с люльки в середке закладены. Скажем, талант?

— Ну что ж? Талант и развивается ученьем. Инженер потому и инженер, а не доктор, что у него с рождения склонность к строительству. А если он не будет учиться, ни черта из него не выйдет.

— Да?.. Вон ты какая оказия, рыбья холера! Ну вот, воевать кончим, обязательно в школу пойду, чтоб стихам выучили. Есть поди такие школы?

— Должно быть, есть,— ответил задумчиво поручик.

— Обязательно пойду. Заели они мою жизнь, стихи эти самые. Так и горит душа, чтоб натискали в книжке и подпись везде проставили: «Стих Марии Басовой».

Мангал погас. В темноте ворчал ветер, копаясь в войлоке юрты.

— Слышь ты, кадет,— сказала вдруг Марютка,— болят, чай, руки-то?

— Не очень! Онемели только!

— Вот что. Ты мне поклянись, что убечь не хочешь. Я тебя развяжу.

— А куда мне бежать? В пески? Чтоб шакалы задрали? Я себе не враг.

— Нет, ты поклянись. Говори за мной. Клянусь бедным пролетарпятом, который за свои права, перед красноармейкой Марией Басовой, что убечь не хочу.

Поручик повторил клятву.

Тугая петля чумбура расплелась, освободив затекшие кисти.

Поручик с наслаждением пошевелил пальцами.

— Ну, спи,— зевнула Марютка,— теперь, если убегнешь,— последний подлец будешь. Вот тебе кошма, накройся.

— Спасибо, я полушубком. Спокойной ночи, Мария...

— Филатовна, — с достоинством дополнила Марютка и нырнула под кошму.

Евсюков спешил дать знать о себе в штаб фронта.

В ауле нужно было отдохнуть, отогреться и отъесться. Через неделю он решил двинуться по берегу, в обход, на Аральский поселок, оттуда на Казалинск.

На второй неделе из разговора с пришлыми киргизами

комиссар узнал, что верстах в четырех осенней бурей на берег залива выбросило рыбачий бот. Киргизы говорили, что бот в полной исправности. Так и лежит на берегу, а рыбаки, должно быть, потонули.

Комиссар отправился посмотреть.

Бот оказался почти новый, желтого крепкого дуба. Буря не повредила его. Только разорвала парус и вырвала руль.

Посоветовавшись с красноармейцами, Евсюков положил отправить часть людей сейчас же, морем, в устье Сырдарьи. Бот свободно поднимал четверых с небольшим грузом.

— Так-то лучше,— сказал комиссар.— Во-первых, значит, пленного скорей доставим. А то, черт весть, опять что по пути случится. А его обязательно до штаба доперечь нужно. А потом в штабе о нас узнают, навстречу конную помогу вышлют с обмундированием и еще чем.

При попутном ветре бот в три-четыре дня пересечет Арал, а на пятые сутки и Казалинск.

Евсюков написал донесение; зашил его в холщовый пакетик с документами поручика, которые все время берег во внутреннем кармане куртки

Киргизки залатали парус кусками маты, комиссар сам сколотил новый руль из обломков досок и снятой с бота банки.

В февральское морозное утро, когда низкое солнце полированным медным тазом поползло по пустой бирюзе, верблюжьим волоком дотянули бот до границы льда.

Спустили на вольную воду, усадили отправляемых.

Евсюков сказал Марютке:

— Будешь за старшего! На тебе весь ответ. За кадетом гляди. Если как упустишь, лучше на свете тебе не жить. В штаб доставь живого аль мертвого. А если на белых нарветесь ненароком, живым его не сдавай. Ну, трогай!

Глава пятая,

целиком украденная у Даниеля Дефо, за исключением того, что Робинзону не приходится долго ожидать Пятницу

Арал — море невеселое.

Плоские берега, по ним полынь, пески, горы перекатные.

Острова на Арале — блины, на сковородку вылитые,

плоские до глянца, распластались по воде — еле берег видать, и нет на них жизни никакой.

Ни птицы, ни злака, а дух человеческий только летом и чуется.

Главный остров на Арале Барса-Кельмес.

Что оно значит — неизвестно, но говорят киргизы, что «человечья гибель».

Летом с Аральского поселка едут к острову рыбалки. Богатый лов у Барса-Кельмеса, кипит вода от рыбьего хода.

Но как взревут пенными зайчиками осенние моряны, спасаются рыбалки в тихий залив Аральского поселка и до весны носу не кажут.

Если до морян всего улова с острова не свезут, так и остается рыба зимовать в деревянных сквозных сараях просоленными штабелями.

В суровые зимы, когда мерзнет море от залива Черпышева до самого Барса, раздолье чекалкам. Бегут по льду на остров, нажираются соленого усача или сазана до того, что, не сходя с места, дохнут.

И тогда, вернувшись весной, когда взломает ледяную корку Сырдарья желтой глиной половодья, не находят рыбалки ничего из брошенного осенью засола.

Ревут, катаются по морю моряны с ноября по февраль. А в остальное время изредка только налетают штормики, а летом стоит Арал недвижным — драгоценное зеркало.

Скучное море Арал.

Одна радость у Арала — синь-цвет необычайный.

Синева глубокая, бархатная, сапфирами переливается.

Во всех географиях это отмечено.

Рассчитывал комиссар, отправляя Марютку и поручика, что в ближайшую неделю надо ждать тихой погоды. И киргизы по стародавним приметам своим то же говорили.

Потому и пошел бот с Марюткой, поручиком и двумя ребятами, привычными к водяному шаткому промыслу, Семянным и Вяхирем, на Казалинск морским путем.

Радостно вспучивал залатанный парус шелестящий волной ровный бриз. Сонливо скрипел в петлях руль, и закипала у борта густая масляная пена.

Развязала Марютка совсем поручиковы руки — некуда бежать человеку с лодки, — и сидел Говоруха-Отрок вперемежку с Семянным и Вяхирем на шкотах.

Сам себя в плен вез.

А когда отдавал шкоты красноармейцам, лежал на дне, прикрывшись кошмой, улыбался чему-то, мыслям своим тайным, поручичьим, никому, кроме него, не ведомым.

Этим беспокоил Марютку.

«И чего ему хихиньки все время? Хоть на сласть бы ехал, в свой дом. А то один конец — допросят в штабе и в переделку. Дурья голова, шалый!»

Но поручик продолжал улыбаться, не зная Марюткиной думы.

Не вытерпела Марютка, заговорила:

— Ты где к воде приобык-то?

Ответил Говоруха-Отрок, подумав:

— В Петербурге... Яхта у меня своя была... Большая. По взморью ходил.

— Какая яхта?

— Судно такое... парусное.

— От-то ж! Да я яхту, чай, не хуже тебя знаю. У буржуев в клубе в Астрахани насмотрелась. Там их гибель была. Все белые, высокие да ладные, словно лебеди. Я не про то спрашиваю. Прозывалась как?

— «Нелли».

— Это что ж за имя такое?

— Сестру мою так звали. В честь ее и яхта.

— Такого и имени христианского нету.

— Елена... А Нелли по-английски.

Марютка замолчала, посмотрела на белое солнце, изливавшееся холодным блистающим медом. Оно сползало вниз, к бархатной синей воде.

Заговорила опять:

— Вода! Чистая синь в ей. В Каспицком зеленя, а тут, поди ж ты, до чего сине!

Поручик ответил как будто в себя и для себя:

— По шкале Фореля приближается к третьему номеру.

— Чего? — беспокойно повернулась Марютка.

— Это я про себя. О воде. В гидрографии читал, что в этом море очень яркий синий цвет воды. Ученый Форель составил таблицу оттенков морской воды. Самая синяя в Тихом океане. А здешняя приближается по этой таблице к третьему номеру.

Марютка полузакрыла глаза, как будто хотела представить себе таблицу Фореля, раскрашенную разными тонами синевы.

— Здорово синя, приравнять даже трудно. Синя, как... — Она открыла глаза и внезапно остановила желтые кошачьи зрачки свои на ультрамариновых шариках поручика. Дернулась вперед, вздрогнула всем телом, будто открыв необычайное, раскрыла изумленно губы. Прошептала: — Мать ты моя!... Зенки-то у тебя — точь-в-точь как синь-вода! А я гляжу, что в их такое знаемое, рыбья холера!

Поручик молчал.

Оранжевая кровь пролилась по горизонту. Вода вдали сверкала чернильными отблесками. Потянуло ледяным холодком.

— С востоку тянет, — заворошился Семянный, кутаясь в обрывки шинели.

— Моряна бы не вдарила, — отозвался Вяхирь.

— Ни черта. Часа два пропрем еще — Барсу видать будя. Чо ветер, — там заночевам.

Смолкли. Бот начало подергивать на потемневших свинцовых гребнях.

По сизо-черному мохнатому небу протянулись узкие облачные полоски.

— Так и есть. Моряна прет.

— Должно, скоро Барсу откроем. Слева на пеленге должна быть. Клятое место тая' Барса. Со всех боков песок, хоть ты лопни! Одни ветра воют... Трави, стерва, шкоты трави! Это тебе не помочи генеральские!

Поручик не успел вовремя вытравить шкот. Бот резнул воду бортом, и потоком пены хлестнуло по лицам.

— Да я тут при чем? Марья Филатовна на руле зевнула.

— Это я-то зевнула? Опомнись, рыбья холера! С пяти годов на рулю сидю!

Волны нагоняли сзади высокие, черные, похожие на драконьи хребты, хватали за борты шипящими челюстями.

— Эх-эх, мать!.. Скорей бы до Барсы добраться. Темно, не видать ничего.

Вяхирь вгляделся влево. Крикнул радостно, звонко:

— Есть. Вон она, сволочь!

Сквозь брызги и муть замаячила низкая белеющая полоса.

— Правь к берегу, — зыкнул Семянный, — дай бог дойти!

С треском поддало корму, протяжно застонали шпангоуты. Гребень обрушился на бот, налив по щиколки воды.

— Черпай воду!— визгнула, вскочив, Марютка.

— Черпай?.. Черпака черт ма!

— Хвуражками!

Семянный и Вяхирь сорвали папахи, лихорадочно выбрасывали воду.

Поручик мгновение колебался. Снял свою меховую финку и бросился на помощь.

Белая низкая полоса наплывала на бот, становилась плоским, припушенным снежком берегом. Он был еще белее от кипевшей там пены.

Ветер бесился псиным воем, взбрасывал все выше колеблющиеся плескучие холмы.

Бешеным налетом бросился на парус, вздыбил его беременное брюхо, рванул.

Старая холстина лопнула с пушечным гулом.

Семянный и Вяхирь метнулись к мачте.

— Держи концы, — пронзительно взвыла с кормы Марютка, налегая грудью на румпель.

Вихрастая, шумная, ледяная, накатилась сзади волна, положила бот совсем на бок, перекатилась тяжелым стеклянным студнем.

Когда выпрямился, почти до бортов налитый водой, ни Семянного, ни Вяхиря у мачты не было. Хлестал мокрыми отрепьями разорванный парус.

Поручик сидел на дне по пояс в воде и крестился мелкими крестиками.

— Сатана!.. Чего смок? Черпай воду! — в первый раз за всю свою жизнь завернула Марютка поручика в многоэтажную ругань.

Вскочил встрепанным щенком, забрызгал водой.

Марютка кричала в ночь, в свист, в ветер:

— Семя-я-анна-аа-ай!.. Вя-яя-яхи-иирь!

Хлестала пена. Не слышно было человеческого голоса.

— Утопли, окаянные!

Ветер нес полузатопленный бот на берег. Кипела вокруг вода. Поддало сзади, и днище шурхнуло по песку.

— Стебай в воду! — кричала Марютка, выскакивая. Поручик вывалился за ней.

— Тащи бот!

Ухватившись за конец, ослепленные брызгами, сбиваемые волной, тащили бот к берегу. Он тяжело врезался в песок. Марютка схватила винтовки.

— Забирай мешки с жратвой! Тащи!

Поручик покорно повиновался. Добравшись до сухого

места, Марютка сронила винтовки в песок. Поручик сложил мешки.

Марютка крикнула еще раз в тьму:

— Семянна-ай!.. Вяхи-ирь!..

Безответно.

Она села на мешки и по-бабьи заплакала.

Поручик стоял сзади, часто и гулко лязгая челюстями.

Однако пожал плечами и сказал ветру:

— Черт!.. Совершенная сказка! Робинзон в сопровождении Пятницы!

Глава шестая,

в которой завязывается второй разговор и выясняется вредное физиологическое действие морской воды при температуре +2 по Реомюру

Поручик тронул Марюткино плечо.

Несколько раз пытался говорить, но мешала щелкавшая ознобом челюсть.

Подпер ее кулаком и выговорил:

— Плачем не поможешь. Идти надо! Не сидеть же здесь! Замерзнем!

Марютка подняла голову. Сказала безнадежно:

— Куда пойдешь. На острову мы. Вода вкруг.

— Идти надо. Я знаю, тут сараи есть.

— Откудова ты знаешь? Был тут, что ли?

— Нет, никогда не был. А когда в гимназии учился — читал, что здесь рыбаки сараи строят для рыбы. Нужно найти сарай.

— Ну, найдем, а дале что?

— Утро вечера мудренее. Вставай, Пятница!

Марютка с испугом посмотрела на поручика.

— Никак, рехнулся?.. Господи, боже мой!.. Что ж я делать с тобой буду? Не пятница — середа сегодня.

— Ничего! Не обращай внимания. Об этом потом поговорим. Вставай!

Марютка послушно встала. Поручик нагнулся поднять винтовки, но девушка перехватила его руку.

— Стой! Не шали!.. Слово дал мне, что не убегнешь!

Поручик рванул руку и хрипло, дико захохотал.

— Видно, не я с ума сошел, а ты! Ты сообрази, голова, могу я сейчас думать о побеге? А винтовки хочу понести потому, что тебе тяжело будет.

Марютка притихла, но сказала мягко и серьезно:

— За помочь спасибо А только приказ мне, чтоб тебя

доставить... Не могу, значит, тебе оружия давать, как я в ответе!

Поручик пожал плечами и подобрал мешки. Зашагал вперед.

Песок, смешанный со снегом, хрустел под ногами. Тянулся без конца низкий, омерзительный своей ровностью берег.

Вдалеке засерело что-то, присыпанное снегом.

Марютка шаталась под тяжестью трех винтовок.

— Ничего, Марья Филатовна! Потерпи! Должно быть. это и есть сараи.

— Скорей бы, силы моей нет. Вся простыла.

Уткнулись в сарай. Внутри была дикая темь, тошнотворно пахло рыбной сыростью и проржавелой солью.

Рукой поручик ощупал кучи сложенной рыбы.

— Ого! Рыба есть! По крайней мере голодать не будем.

— Огня бы!.. Оглядеться. Може, какой угол найдем от ветру? — простонала Марютка.

— Ну, электричества здесь не дождешься.

— Рыбу бы зажечь... Вона жирная.

Поручик опять захохотал.

— Рыбу зажечь?.. Ты, правда, помешалась.

— Зачем помешалась? — с обидой ответила Марютка. — У нас на Волге сколь ее жгли. Чище дров горит!

— Первый раз слышу... Да зажечь как?.. Трут у меня есть, а щепы на распалку...

— Эх ты, кавалер!.. Видать, всю жизнь у маменьки под юбкой сидел. На, выворачивай пули, а я со стенки лучину подеру.

Поручик с трудом вывернул из трех винтовочных патронов пули окостеневшими пальцами. Марютка в тьме наткнулась на него со щепками.

— Сыпь сюда порох!... Кучкой... Давай трут!

Трут затлел оранжевой точкой, и Марютка сунула ее в порох. Зашипел, вспыхнул медленным желтым огоньком, зацепил сухие щепочки.

— Готово, — обрадовалась Марютка, — бери рыбу... Сазана пожирней тащи.

На загоревшиеся лучинки сверху легла накрест рыба. Поежилась, вспыхнула жирным жарким пламенем.

— Теперь только подкладай. Рыбы на полгода хватит!

Марютка огляделась. Пламя дрожало бегающими тенями на громадных кучах сваленной рыбы. Деревянные стены были в дырках и щелях.

Марютка прошла по сараю. Крикнула откуда-то из угла:

— Есть цел угол! Подкладай рыбу, чтоб не загасла. Я тут с боков завалю. Чистую комнату устрою.

Поручик сел у костра. Ежился, отогреваясь. В углу шуршала и шлепалась перебрасываемая Марюткой рыба. Наконец она позвала:

— Готово! Тащи огня-то!

Поручик поднял за хвост горящего сазана. Прошел в угол. Марютка с трех сторон навалила стенки из рыбы, внутри образовалось пространство в сажень.

— Залазь, разжигай. Я там в середке наложила рыбин. А я пока за припасом смотаюсь.

Поручик подложил сазана под клетку сложенной рыбы. Медленно, нехотя, она разгорелась. Марютка вернулась, поставила в угол винтовки, сложила мешки.

— Эх, рыбья холера! Ребят жаль. Ни за что утопли.

— Хорошо бы платье просушить. А то простудимся.

— За чем дело стало? От рыбы огонь жаркий. Скидай, суши!

Поручик помялся.

— Вы просушивайте, Марья Филатовна. А я там подожду пока. А потом я посушусь.

Марютка с сожалением взглянула на его дрожащее лицо.

— Ах, дурень ты, я погляжу. Барское твое понятие. Чего страшного? Никогда голой бабы не видел?

— Да я не потому... а вам, может, неловко?

— Ерунда! Из одного мяса сделаны. Невесть какая разница! — Почти прикрикнула: — Раздевайся, идол! Ишь зубами стучишь, что пулемет. Мука мне с тобой чистая!

На составленных винтовках висело и дымилось над огнем платье.

Поручик и Марютка сидели друг против друга перед огнем, упоенно поворачиваясь к жару пламени.

Марютка внимательно, не отрываясь, глядела на белую, нежную, похудевшую спину поручика. Хмыкнула.

— До чего ж ты белый, рыбья холера! Не иначе, как в сливках тебя мыли!

Поручик густо покраснел и повернул голову. Хотел что-то сказать, но, встретив желтый отблеск, круглившийся на Марюткиной груди, опустил вниз ультрамариновые шарики.

Платье просохло. Марютка набросила на плечо кожушок.

— Поспать нужно. К завтрему, может, стихнет. Счастье—бот-то не потоп. По-тихому, может, когда-нибудь до Сырдарьи допремся. А там рыбалок встренем. Ты ложись-ка, я за огнем погляжу. А как сон сморит, тебя сбужу. Так и подежурим.

Поручик подложил под себя платье, укрылся полушубком. Тяжело заснул и стонал во сне. Марютка неподвижно смотрела на него.

Пожала плечом.

«Навязался на мою голову! Болезный! Как бы не застудился! Дома небось в бархат-атлас кутали. Эх ты, жизнь, рыбья холера!»

Утром, когда сквозь щели в крыше засерело, Марютка разбудила поручика.

— Слышь, ты последи за огнем, а я на берег схожу. Посмотрю, может, наши-то выплыли, сидят где.

Поручик трудно поднялся. Охватил виски пальцами, глухо сказал:

— Голова болит.

— Ничего... Это с дыму да с устали. Пройдет. Лепешки возьми в мешке, усача поджарь да пошамай.

Взяла винтовку, обтерла полой кожушка и вышла.

Поручик на коленях подполз к огню, вынул из мешка размокшую черствую лепешку. Прикусил, немного пожевал, выронил кусок и мешком свалился на землю у огня.

Марютка трясла поручиково плечо. Кричала с отчаянием:

— Вставай!.. Вставай, окаянный!.. Беда!

Поручиковы глаза широко раскрылись, распахнулись губы.

— Вставай, говорю! Напасть такая! Бот волнами унесло! Пропадать нам теперь.

Поручик смотрел в лицо ей, молчал.

Вгляделась Марютка, тихо ахнула.

Были мутны и безумны поручиковы ультрамариновые шарики. От щеки, прислонившейся бессильно к Марюткиной руке, несло жаром костра.

— Застудился-таки, черт соломенный! Что ж я с тобой делать буду?

Поручик пошевелил губами.

Марютка нагнулась, расслышала:

— Михаил Иванович... Не ставьте единицу... Я не мог выучить... На завтра приготовлю...

— Чего мелешь-то? — дрогнув, спросила Марютка.

— Трезор... пиль... куропатка... — вдруг крикнул, подскочив, поручик.

Марютка отшатнулась и закрыла лицо руками.

Поручик опять упал, заскреб пальцами по песку.

Быстро, быстро забормотал неразборчивое, давясь звуками.

Марютка безнадежно оглянулась.

Сняла кожушок, бросила на песок и с трудом перетащила на него бесчувственное поручиково тело. Накрыла сверху полушубком.

Съежилась беспомощным комком рядом. По осунувшимся щекам закапали у нее медленные мутные слезы.

Поручик метался, сбрасывая полушубок, но Марютка упорно поправляла каждый раз, закутывая его до подбородка.

Увидела, что завалилась голова, подложила мешки.

Сказала вверх, как будто небу, с надрывом:

— Помрет ведь... Что ж я Евсюкову скажу? Ах ты, горе!

Наклонилась над пылающим в жару, заглянула в помутневшие синие глаза.

Укололо острой болью в груди. Протянула руку и тихонько погладила разметанные вьющиеся волосы поручика. Охватила голову ладонями, нежно прошептала:

— Дурень ты мой синеглазенький!

Глава седьмая,

вначале чрезвычайно запутанная, но под конец проясняющаяся

Трубы серебряные, а на трубах висят колокольчики.

Трубы поют, колокольчики звенят нежным таким ледяным звоном:

Тили-динь, динь, динь.

Тили-тили, длям-длям-длям.

А трубы поют свое особенное:

Ту-ту-ту-ту, ту-ту-у-ту.

Несомненно, марш. Марш. Конечно, тот самый, что всегда на парадах.

И площадь, солнцем забрызганная сквозь зеленые шелка кленов, та же.

Капельмейстер оркестром управляет.

Стал к оркестру спиной, из разреза шинели хвост выдвинул, большой рыжий лисий хвост, а на кончике хвоста золотая шишечка наверчена, а в шишечку камертон вставлен.

Хвост во все стороны машет, камертон тон задает, указывает корнетам и тромбонам, когда вступать, а зазевается музыкант — тотчас камертон по лбу.

Музыканты вовсю стараются. Занятные музыканты.

Солдаты как солдаты, лейб-гвардии разных полков. Сводный оркестр.

Но ртов у музыкантов вовсе нет... Гладкое место под носом. А трубы у всех в левую ноздрю вставлены.

Правой ноздрей воздух забирают, левой в трубу вдувают, и от этого тон у труб особенный, звонкий и развеселый.

— К це-е-е-риальному аршу и-отовсь!

— К це-риальному... На пле-е-чо!

— По-олк!

— Ба-тальон!

— Рота-ааа!

— Справа повзводно... Первый батальон шагом... арш!..

Трубы: ту-ту-ту. Колокольчики: динь-динь-динь.

Капитан Швецов лакирашами выплясывает. Зад у капитана тугой, гладкий, что окорок. Дрыг-дрыг.

— Молодцы, ребята!

— Драм-ам, ав-гав-гав!..

— Поручик!

— Поручик! Поручика к генералу!

— Какого поручика?

— Третьей роты. Говоруху-Отрока к генералу!

Генерал на лошади сидит, среди площади. Лицом красен, ус седой.

— Господин поручик, что за безобразие?

— Хи-хи-хи!.. Ха-ха-ха!

— С ума сошли?.. Смеяться?.. Да я вас, да вы с кем?

— Хо-хо-хо!.. Да вы не генерал, а кот, ваше превосходительство!

Сидит генерал на лошади. До пояса — генерал как генерал, а с пояса ноги кошачьи. Хотя бы породистого кота — так нет. Самый дворняга, серые такие, линялые коты, в полоску, по всем дворам на крышах шляются.

И когтями ноги в стремена уперлись.

— Я вас под суд, поручик! Неслыханный случай! В гвардии, и вдруг у офицера пуп навыворот!

Осмотрелся поручик и обомлел. Из-под шарфа пуп вылез, тонкой кишкой такой зеленого цвета, и кончик, пуповина самая в центробежном движении поразительной быстроты мелькает. Схватил пуп, а он вырывается.

— Арестовать его! Нарушение присяги!

Вынул генерал из стремени лапу, когти распустил, тянется ухватить, а на лапе шпора серебряная, и вместо колечка вставлен в шпору глаз.

Обыкновенный глаз. Кругленький, желтый зрачок, остренький такой и в самое сердце поручику заглядывает.

Подмигнул ласково и говорит, как — неизвестно, глаз сам говорит:

— Не бойся!.. Не бойся!.. Наконец-то отошел!

Рука приподняла поручикову голову, и, открыв глаза, увидел он худенькое лицо с рыжими прядями и глаз ласковый, желтый, тот самый.

— Напугал ты меня, жалостный. Неделю с тобой промучилась. Думала, не выхожу. Одни-одинешеньки на острову. Лекарствия никакого, помочь некому. Только кипятком и отходила. Рвало тебя спервоначалу все время... Вода-то паршивая, соленая, кишка ее не принимает.

С трудом входили в поручиково сознание ласковые, тревожные слова.

Он слегка приподнялся, осмотрелся непонимающими глазами.

Кругом рыбные штабеля. Костер горит, на шомполе котелок висит, бурлит водой.

— Что такое?.. Где?..

— Ай забыл? Не узнал? Марюта я!

Тонкой прозрачной рукой поручик потер лоб.

Вспомнил, бессильно улыбнулся, прошептал:

— Да... припомнил. Робинзон и Пятница!

— Ой, опять забредил? Далась тебе пятница. Не знаю, который и день. Совсем со счету сбилась.

Поручик опять улыбнулся.

— Да не день!.. Имя такое... Есть рассказ, как человек после крушения на остров попал необитаемый. И друг у него был. Пятницей звали. Не читала никогда? — Он опустился на кожушок и закашлялся.

— Не... Сказок много читала, а этой не знаю. Ты лежи, лежи тихонько, не шебаршись. Еще опять захвораешь. А я усача сварю. Поешь, подкрепись. Почитай, всю неделю, кроме воды, ничего в рот не взял. Вишь, прозрачный стал, как свечка. Лежи!

Поручик лениво закрыл глаза. В голове у него звенело медленным хрустальным звоном. Вспомнил трубы с хрустальными колокольчиками, засмеялся тихонько.

— Ты што? — спросила Марютка.

— Так, вспомнил... Смешной сон видел, когда бредил.

— Кричал ты во сне чего! И командовал, и ругался... Чего только не было. Ветер свистит, кругом пустота, одна я с тобой на острову, а ты еще не в себе. Прямо страх брал, — она зябко поежилась, — и не знаю, что делать.

— Как же ты справлялась?

— Да вот, справилась. А пуще всего боялась — помрешь ты с голоду. Кроме ж воды, ничего. Лепешки-то, что остались, все тебе в кипятке скормила. А теперь одна рыба кругом. А какая же больному человеку жратва в соленой рыбе? Ну, как завидела, что ты заворочался и глаза открываешь, отлегло.

Поручик вытянул руку. Положил тонкие, красивые, несмотря на грязь, пальцы на сгиб Марюткиной руки. Тихо погладил и сказал:

— Спасибо тебе, голубушка!

Марютка покраснела и отвела его руку.

— Не благодари!.. Не стоит спасиба. Что ж, по-твоему, дать человеку помирать? Зверюка я лесная или человек?

— Но ведь я кадет... Враг. Чего было со мной возиться? Сама еле дышишь.

Марютка остановилась на мгновение, недоуменно дернулась. Махнула рукой и засмеялась.

— Где уж враг? Руки поднять не можешь, какой тут враг? Судьба моя с тобой такая. Не пристрелила сразу, промахнулась, впервой отроду, ну и возиться мне с тобой до скончания. На, покушай!

Она подсунула поручику котелок, в котором плавал жирный янтарный кусок балыка. Запахло вкусно и нежно прозрачное душистое мясо.

Поручик вытаскивал из котелка кусочки. Ел с аппетитом.

— Ужасно только соленая. Прямо в горле дерет.

— Ничего ты с ней не поделаешь. Была б вода пресная — можно вымочить, а то чистое несчастье. Рыба солена — вода солена! Попали в переплет, рыбья холера!

Поручик отодвинул котелок.

— Что? Больше не хочешь?

— Нет. Я наелся. Поешь сама.

— Ну ее к черту! Обрыдла она мне за неделю. Колом в глотке стоит.

Поручик лежал, опершись на локоть.

— Эх... Покурить бы! — сказал он с тоской.

— Покурить? Так бы и говорил. В мешке-то у Семянного махра осталась. Подмокла малость, так я ее высушила. Знала, курить захочешь. У курящего, опосля болезни, еще пуще на табак тяга. Вот, бери.

Поручик взволнованно взял кисет. Пальцы у него дрожали.

— Ты прямо золото, Маша! Лучше няньки!

— Небось без няньки жить не можешь? — сухо ответила Марютка и покраснела.

— Бумаги вот только нет. Твой этот малиновый до последней бумажки у меня все обобрал, а трубку я потерял.

— Бумаги... — Марютка задумалась.

Потом решительным движением отвернула полу кожушка, которым накрыт был сверху поручик, сунула руку в карман, вытащила маленький сверточек.

Развязала шнурок и протянула поручику несколько листков бумаги.

— Вот тебе на завертку.

Поручик взял листки, всмотрелся. Поднял на Марютку глаза. Они засияли недоумевающим синим светом.

— Да это же стихи твои! С ума ты сошла? Я не возьму!

— Бери, черт! Не рви ты мне душу, рыбья холера! — крикнула Марютка.

Поручик посмотрел на нее.

— Спасибо! Я этого никогда не забуду!

Оторвал маленький кусочек с угла, завернул махорку, закурил. Смотрел куда-то вдаль, сквозь синюю ленточку дыма, ползшую от козьей ножки.

Марютка пристально вглядывалась в него. Неожиданно спросила:

— Вот гляжу я на тебя, понять не могу. С чего зенки у тебя такие синие? Во всю жизнь нигде таких глаз не видала. Прямо синь такая, аж утонуть в них можно.

— Не знаю, — ответил поручик, — с такими родился. Многие говорили, что необыкновенный цвет.

— Правда!.. Еще как тебя в плен забрали, я и подумала: что у него за глаза такие? Опасные у тебя глаза!

— Для кого?

— Для баб опасные. В душу без мыла лезут! Растреваживают!

— А тебя растревожили?

Марютка вспыхнула.

— Ишь черт! А ты не спрашивай! Лежи, я за водой сбегаю.

Поднялась, равнодушно взяла котелок, но, выходя из-за рыбных штабелей, весело повернулась и сказала, как раньше:

— Дурень мой синеглазенький!

Глава восьмая,

в которой ничего не нужно объяснять

Мартовское солнце — на весну поворот.

Мартовское солнце над Аралом, над синью бархатной нежит и покусывает горячими зубами, расчесывает кровь человеку.

Третий день как стал выходить поручик.

Сидел у сарайчика, грелся на солнышке, кругом посматривал глазами радостными, воскресшими, синими, как синь-море. Марютка весь остров облазила тем временем.

Возвратилась в последний день к закату радостная.

— Слышь! Завтра переберемся!

— Куда?

— Там, подале. Верст восемь отсюда будет.

— Что там такое?

— Рыбачью хибару нашла. Чистый дворец! Сухая, крепкая, даже в окнах стекла не биты. С печкой, посудины кой-какой, битой, черепки, — все сгодятся на хозяйство. А главно — полати есть. Не на земле валяться. Нам бы сразу туда дойтить.

— Кто же знал?

— Вот то-то и есть! А кроме всего, находку я сделала. Хороша находка!

— А что?

— Закуточка такая у них там, за печкой. Провизию прятали. Ну, и осталось там малость. Рис да муки с полпуда. Гниловата, а есть можно. Должно, осенью, как буря захватила, торопились убираться, забыли впопыхах. Теперь живем не тужим!

Утром перебрались на новое место. Впереди шла Ма-

рютка, нагруженная верблюдом. Все на себе тащила, ничего не позволила взять поручику.

— Ну тебя! Еще опять занеможешь. Себе дороже. Ты не бойся! Донесу! Я с виду тонкая, а здоровая.

К полудню добрались до хибарки, вычистили снег, привязали веревкой сорвавшуюся с петель дощатую дверь. Набили полную печь сазана, разожгли, со счастливыми улыбками грелись у огня.

— Лафа... Царское житье!

— Молодец, Маша. Всю жизнь тебе буду благодарен... Без тебя не выжил бы.

— Известно дело, белоручка!

Помолчала, растирая руки над огнем.

— Тепло-тепло... А что ж мы дальше делать будем?

— Да что же делать? Ждать!

— Чего ждать?

— Весны. Уже недолго. Сейчас середина марта. Еще недели две — рыбаки, верно, приедут рыбу вывозить, ну, выручат нас.

— Хорошо бы. Так на рыбе да на гнилой муке мы с тобой долго не вытянем. Недельки две продержимся, а дальше каюк, рыбья холера!

— Что у тебя присказка такая — рыбья холера? Откуда?

— Астраханская наша. Рыбаки так болтают. Это заместо чтоб ругаться. Не люблю я ругаться, а злость мутит иной раз. Вот и отвожу душу.

Она поворошила шомполом рыбу в печке и спросила:

— Ты вот мне говорил про сказку ту, насчет острова... С Пятницей. Чем зря сидеть — расскажи. Страсть я жадная до сказок. Бывало, у тети соберутся бабы, старуху Гугниху приволокут. Ей лет сто, а может, и больше было. Наполевона помнила. Как зачнет сказки говорить, я в углу так и пристыну. Дрожмя дрожу, слово боюсь проронить.

— Это про Робинзона рассказать? Забыл я наполовину. Давно уже читал.

— А ты припомни. Все, что вспомнишь, и расскажи!

— Ладно. Постараюсь.

Поручик полузакрыл глаза, вспоминая.

Марютка разложила кожушок на нарах, забралась в угол у печки.

— Иди садись сюда! Теплее тут, в уголку.

Поручик залез в угол. Печка накалилась, обдала веселым жаром.

— Ну, что ж ты? Начинай. Не терпится мне. Люблю я эти сказки.

Поручик оперся на локти. Начал:

— В городе Ливерпуле жил богатый человек. Звали его Робинзон Крузо...

— А где этот город-то?

— В Англии... Жил богатый человек Робинзон Крузо...

— Погоди!.. Богатый, говоришь? И почему это во всех сказках про богатых да про царей говорится? А про бедного человека и сказки не сложено.

— Не знаю, — недоуменно ответил поручик, — мне это и в голову никогда не приходило.

— Должно быть, богатые сами сказки писали. Это все одно, как я. Хочу стих написать, а учености у меня для него нет. А я бы об бедном человеке написала здорово. Ничего. Поучусь вот, тогда еще напишу.

— Да... Так вот задумал этот Робинзон Крузо путешествовать и объехать кругом всего земного шара. Поглядеть, как люди живут. И выехал из города на большом парусном корабле...

Печка потрескивала, проливался мерными каплями голос поручика.

Постепенно вспоминая, он старался рассказывать со всеми подробностями.

Марютка замерла, восхищенно ахая в самых сильных местах рассказа.

Когда поручик описывал крушение робинзоновского корабля, Марютка презрительно повела плечами и спросила:

— Что ж, значит, все, кроме его, потопли?

— Да, все.

— Должно, дурья голова капитан у них был или нализался перед крушением до чертиков. В жизнь не поверю, чтобы хороший капитан всю команду так зря загубил. Сколь у нас на Каспийском этих крушениев было, а самое большое — два-три человека потонут, а остальные, глядишь, и спаслись.

— Почему? Утонули же у нас Семянный и Вяхирь. Значит, ты плохой капитан или нализалась перед крушением?

Марютка оторопела.

— Ишь поддел, рыбья холера! Ну, досказывай!

В момент появления Пятницы Марютка опять перебила:

— Вот, значит, почему ты меня Пятницей прозвал-то? Вроде как ты — Робинзон этот самый? А Пятница черный, говоришь, был? Негра? Я негру видела. В цирке в Астрахани был. Волосатый, губы — во! Морда страшенная! Мы за им бегали, полы складали и кричим: «На, поешь, свиного уха!» Серчал здорово. Каменюгами бросался.

При рассказе о нападении пиратов Марютка сверкнула глазами на поручика:

— Десятеро на одного? Шпана, рыбья холера!

Поручик кончил.

Марютка мечтательно сжалась в комок, прильнув к его плечу. Промурлыкала дремотно:

— Вот хорошо-то. Небось много сказок еще знаешь? Ты мне так каждый день по сказке рассказывай.

— А что? Разве нравится?

— Здорово. Дрожь берет. Так вечера и скоротаем. Все время незаметней.

Поручик зевнул.

— Спать хочешь?

— Нет... Ослабел я после болезни.

— Ах ты слабенький!

Опять подняла Марютка руку и ласково провела по волосам поручика. Он удивленно поднял на нее синие шарики.

От них дохнуло лаской в Марюткино сердце. Забвенно склонилась к исхудалой щеке поручика и вдавила в небритую щетину свои огрубелые и сухие губы.

Глава девятая,

в которой доказывается, что хотя сердцу закона нет, но сознание все же определяется бытием

Сорок первым должен был стать на Марюткином смертном счету гвардии поручик Говоруха-Отрок.

А стал первым на счету девичьей радости.

Выросла в Марюткином сердце неуемная тяга к поручику, к тонким рукам его, к тихому голосу, а пуще всего, к глазам необычайной сини.

От нее, от сини, светлела жизнь.

Забывалось тогда невеселое море Арал, тошнотный вкус рыбьей солони и гнилой муки, расплывалась бесследно смутная тоска по жизни, мечущейся и грохочущей за темными просторами воды. Днем делала обычное дело, пекла лепешки, варила очертевший балык, от которого припухали уже круглыми язвочками десны, изредка выходила на берег высматривать, не закрылится ли косым лётом ожидаемый парус.

Вечером, когда скатывалось с повеспевшего неба жадное солнце, забивалась в свой угол на нарах, жалась, ластясь, к поручикову плечу. Слушала.

Много рассказывал поручик. Умел рассказывать.

Дни уплывали медленные, маслянистые, как волны.

Однажды, занежась на пороге хибарки, под солнцем, смотря на Марюткины пальцы, с привычной быстротой обдиравшие чешую с толстенького сазана, сказал поручик, зажмурясь и пожав плечами:

— Хм... Какая ерунда, черт побери!..

— О чем ты, милок?

— Ерунда, говорю... Жизнь вся — сплошная ерунда. Первичные понятия, внушенные идеи. Вздор! Условные значки, как на топографической карте. Гвардии поручик?.. К черту гвардии поручика. Жить вот хочу. Прожил двадцать семь лет и вижу, что на самом деле вовсе еще не жил. Денег истратил кучу, метался по всем странам в поисках какого-то идеала, а под сердцем все сосала смертная тоска от пустоты, от неудовлетворенности. Вот и думаю: если бы кто-нибудь мне сказал тогда, что самые наполненные дни проведу здесь, на дурацком песчаном блине посреди дурацкого моря, ни за что бы не поверил.

— Как ты сказал, какие дни-то?

— Самые наполненные. Не понимаешь? Как бы тебе это рассказать понятно? Ну, такие дни, когда не чувствуешь себя враждебно противопоставленным всему миру, какой-то отделенной для самостоятельной борьбы частицей, а совершенно растворяешься в этой вот, — он широко обвел рукой, — земной массе. Чувствую сейчас, что слился с ней нераздельно. Ее дыхание — мое дыхание. Вот прибой дышит: шурф... шурф... Это не он дышит, это я дышу, душа моя, плоть.

Марютка отложила нож.

— Ты вот говоришь по-ученому, не все слова

мне внятны. А я по-простому скажу — счастливая я сейчас.

— Разными словами, а выходит одно и то же. И сейчас мне кажется: хорошо б никуда не уходить с этого нелепого горячего песка, остаться здесь навсегда, плавиться под мохнатым солнцем, жить зверюгой радостной.

Марютка сосредоточенно смотрела в песок, будто припоминая что-то нужное. Виновато, нежно засмеялась.

— Нет... Ну его!.. Я здесь не осталась бы. Лениво больно, разомлеть под конец можно. Счастья своего и то показать некому. Одна рыба дохлая вокруг. Скорей бы рыбалки на лову сбирались. Поди конец марта на носу. Стосковалась я по живым людям.

— А мы разве не живые?

— Живые-то живые, а как муки на неделю осталась самая гниль, да цинга заест, тогда что запоешь? А кроме того, ты возьми в толк, миленький, что время не такое, чтобы на печке сидеть. Там наши поди бьются, кровь проливают. Каждая рука на счету. Не могу я в таком случае в покое прохлаждаться. Не затем армейскую клятву давала.

Поручиковы глаза всколыхнулись изумленно.

— Ты что же? Опять в солдаты хочешь?

— А как же?

Поручик молча повертел в руках сухую щепочку, отодранную от порога. Пролил слова ленивым густым ручейком:

— Чудачка! Я тебе вот что хотел сказать, Машенька: очертенела мне вся эта чепуха. Столько лет кровищи и злобищи. Не с пеленок же я солдатом стал. Была когда-то и у меня человеческая, хорошая жизнь. До германской войны был я студентом, филологию изучал, жил милыми моими, любимыми, верными книгами. Много книг у меня было. Три стенки в комнате доверху в книгах. Бывало, вечером за окном туман петербургский сырой лапой хватает людей и разжевывает, а в комнате печь жарко натоплена, лампа под синим абажуром. Сядешь в кресло с книгой и так себя почувствуешь, как вот сейчас, без всяких забот. Душа цветет, слышно даже, как цветы шелестят. Как миндаль весной, понимаешь?

— М-гм, — ответила Марютка, насторожившись.

— Ну, в один роковой день это лопнуло, разлетелось,

помчалось в тартарары... Помню этот день, как сейчас. Сидел на даче, на террасе, и читал, книгу даже помню. Был грузный закат, багровый, заливал все кровяным блеском. С поезда из города приехал отец. В руке газета, сам взволнован. Сказал одно только слово, но в этом слове была ртутная, мертвая тяжесть... Война. Ужасное было слово, кровяное, как закат. И отец прибавил: «Вадим, твой прадед, дед и отец шли по первому зову родины. Надеюсь, ты?..» Он не напрасно надеялся. Я ушел от книг. И ушел ведь искренне тогда...

— Чудило! — кинула Марютка, пожав плечами. — Что же, к примеру, если мой батька в пьяном виде башку об стенку разгвоздил, так и я тоже обязана бабахаться? Что-то непонятно мне такое дело.

Поручик вздохнул.

— Да... Вот этого тебе не понять. Никогда на тебе не висел этот груз. Имя, честь рода. Долг... Мы этим дорожили.

— Ну?.. Так я своего батьку, покойника, тоже люблю крепко, а коли ж он пропойца дурной был, то я за его пятками тюпать не обязана. Послал бы прадедушку к прабабушке!

Поручик криво и зло усмехнулся.

— Не послал. А война доконала. Своими руками живое сердце свое человеческое на всемирном гноище, в паршивой свалке утопил. Пришла революция. Верил в нее, как в невесту... А она... Я за свое офицерство ни одного солдата пальцем не тронул, а меня дезертиры на вокзале в Гомеле поймали, сорвали погоны, в лицо плевали, сортирной жижей вымазали. За что? Бежал, пробрался на Урал. Верил еще в родину. Воевать опять за попранную родину. За погоны свои обесчещенные. Повоевал и увидел, что нет родины, что родина такая же пустошь, как и революция. Обе кровушку любят. А за погоны и драться не стоит. И вспомнил настоящую, единственную человеческую родину — мысль. Книги вспомнил, хочу к ним уйти и зарыться, прощения у них выпросить, с ними жить, а человечеству за родину его, за революцию, за гноище чертово — в харю наплевать.

— Так-с!.. Значит, земля напополам трескается, люди правду ищут, в кровях мучаются, а ты байбаком на лавке за печью будешь сказки читать?

— Не знаю... И знать не хочу, — крикнул исступлен-

но поручик, вскакивая на ноги. — Знаю одно — живем мы на закате земли. Верно ты сказала: «Напополам трескается». Да, трескается, трещит старая сволочь! Вся опустошена, выпотрошена. От этой пустоты и гибнет. Раньше была молодой, плодоносной, неизведанной, манила новыми странами, неисчислимыми богатствами. Кончилось. Больше открывать нечего. Вся человеческая хитрость уходит на то, чтобы сохранить накопление, протянуть еще века, года, минутки. Техника. Мертвые числа. И мысль, обеспложенная числами, бьется над вопросами истребления. Побольше истребить людей, чтоб оставшимся надольше хватило набить животы и карманы. К черту!.. Не хочу никакой правды, кроме своей. Твои большевики, что ли, правду открыли? Живую человеческую душу ордером и пайком заменить? Довольно. Я из этого дела выпал! Больше не желаю пачкаться!

— Чистотел? Белоручка? Пусть другие за твою милость в дерьме покопаются?

— Да! Пусть! Пусть, черт возьми! Другие — кому это нравится. Слушай, Маша! Как только отсюда выберемся, уедем на Кавказ. Есть у меня там под Сухумом дачка маленькая. Заберусь туда, сяду за книги, и все к черту. Тихая жизнь, покой. Не хочу я больше правды — покоя хочу. И ты будешь учиться. Ведь хочешь же ты учиться? Сама жаловалась, что неученая. Вот и учись. Я для тебя все сделаю. Ты меня от смерти спасла, а это незабвенно.

Марютка резко встала. Процедила, как ком колючек бросила:

— Значит, мне так твои слова понимать, чтобы завалиться с тобой на пуховике спариваться, пока люди за свою правду надрываются, да конфеты жрать, когда каждая конфета в кровях перепачкана? Так, что ли?

— Зачем же так грубо? — тоскливо сказал поручик.

— Грубо? А тебе все по-нежненькому, с подливочкой сахарной? Нет, погоди! Ты вот большевицкую правду хаял. Знать, говоришь, не желаю. А ты ее знал когда-нибудь? Знаешь, в чем ей суть? Как пóтом соленым да слезами людскими пропитана?

— Не знаю, — вяло отозвался поручик. — Странно мне только, что ты, девушка, огрубела настолько, что тебя тянет идти громить, убивать с пьяными, вшивыми ордами.

Марютка уперлась ладонями в бедра. Выбросила:

— У них, может, тело завшивело, а у тебя душа насквозь вшивая! Стыдоба меня берет, что с таким связалась. Слизняк ты, мокрица паршивая! «Машенька, уедем на постельке валяться, жить тихонько», — передразнила она. — Другие горбом землю под новь распахивают, а ты? Ах, и сукин же сын!

Поручик вспыхнул, упрямо сжал тонкие губы.

— Не смей ругаться!.. Не забывайся ты... хамка!

Марютка шагнула и поднятой рукой наотмашь ударила поручика по худой, небритой щеке.

Поручик отшатнулся, затрясся, сжав кулаки. Выплюнул отрывисто:

— Счастье твое, что ты женщина! Ненавижу... Дрянь!

И скрылся в хибарке.

Марютка растерянно посмотрела на зудящую ладонь, махнула рукой и сказала неведомо кому:

— Ишь до чего нравный барин! Ах ты, рыбья холера!

Глава десятая,

в которой поручик Говоруха-Отрок слышит грохот погибающей планеты, а автор слагает с себя ответственность за развязку

Три дня после ссоры не разговаривали поручик и Марютка. Но не уйдешь друг от друга на острове. И помирила весна. Катилась она дружным, жаропышущим натиском.

Уже давно под ударами золотых копыт лопнула тонкая снежная броня на острове. Стал он мягким, ярко-желтым, канареечным на темном стекле густой воды.

Песок в полдень обжигал ладони, и больно было до него дотронуться.

В грузной синеве золотым пылающим колесом ярилось промытое талыми ветрами солнце.

От солнца, от талого ветра, от начинавшей мучить цинги оба совсем ослабели. Не до ссор было.

По целым дням валялись на берегу в песке, неотрывно смотрели на густое стекло, искали воспаленными глазами паруса.

— Нет больше моего терпения! Ежели через три дня рыбалок не будет, ей-пра, пулю себе пущу! — простонала отчаянно Марютка, вглядываясь в равнодушную тяжелую синь.

Поручик засвистел легонько.

— Меня слизняком и мокрицей называла, а сама сдаешь? Терпи — атаманом будешь! Тебе же одна дорога — в атаманы разбойничьи.

— А ты чего старое поминаешь? Ну и заноза! Было и сплыло. Ругала потому, что стоило ругать. Распалилось сердце, что тряпка ты мокрая, цыпленок. А мне и обидно! Навязался же ты на мою голову, смутил, все нутро вытянул, черт синеглазый.

Поручик с хохотком опрокинулся спиной в горячий песок, задрыгал ногами.

— Ты чего? Сдурел? — заворошилась Марютка.

Поручик хохотал.

— Эй, чумелый! Да говори же!

Но поручик не унимался, пока Марютка не ткнула кулаком в бок.

Поднялся, вытер смешливые слезинки на ресницах.

— Ну, чего ржешь?

— Хорошая ты девушка, Марья Филатовна. Кого угодно развеселишь. Мертвец с тобой плясать пойдет!

— А то? По-твоему, лучше вихляться, как бревну в полынье, ни к тому бережку, ни к другому? Чтоб самому мутно было и другим тошно?

Поручик снова визгнул смехом. Похлопал Марютку по плечу.

— Исполать тебе, царица амазонская. Пятница моя любезная. Перевернула ты меня, жизненного эликсира влила. Не хочу больше вихляться, как бревно в полынье, по твоему образному словарю. Сам вижу, что рано мне еще думать о возврате к книгам. Нет, пожить еще нужно, поскрипеть зубами, покусаться по-волчьи, чтоб кругом клыки чуяли!

— Что? Неужели в самом деле поумнел?

— Поумнел, голубушка! Поумнел! Спасибо — научила! Если мы за книги теперь сядем, а вам землю оставим в полное владение, вы на ней такого натворите, что пять поколений кровавыми слезами выть будут. Нет, дура ты моя дорогая. Раз культура против культуры, так тут уж до конца. Пока...

Он оборвал, захлебнувшись.

Ультрамариновые шарики уперлись в горизонт, сжались радостным пламенем.

Вытянул руки и сказал тихо, дрогнувшим голосом:

— Парус.

Марютка вскочила, подброшенная внутренним толчком, и увидела:

Далеко-далеко, на индиговой черточке горизонта, вспыхивала, дрожала, колебалась белая искорка — треплемый ветром парус.

Марютка ладонями туго сжала задрожавшую грудь, впилась глазами, не веря еще долгожданному.

Сбоку подпрыгнул поручик, схватил руки, отнял их от груди, заплясал, завертев Марютку вокруг себя.

Плясал, высоко взбрасывая тонкие ноги в изорванных штанах, и пел пронзительно:

Бе-ле-ет па-рус о-ди-но-ки-кий
В ту-ма-не моря го-лу-бом-бом-бом...
Бим-бам. Бом-бом,
Голу-бом!

— Ну тебя, дурной! — вырвалась запыхавшаяся, радостная Марютка.

— Машенька! Дурища моя дорогая, царица амазонская. Спасены ведь! Спасены!

— Черт, шалый! Небось сам теперь захотел с острова в жизнь людскую?

— Захотел, захотел! Я же тебе говорил, что захотел!

— Постой!.. Подать им знак надо! Позвать!

— Чего звать? Сами подъедут.

— А вдруг на другой остров едут? Немаканы говорили: тут островов гибель. Могут мимо пройти. Тащи винтовку из хибары!

Поручик бросился в хибару. Выбежал, высоко взбрасывая винтовку.

— Не дури, — крикнула Марютка. — Жарь три штуки подряд.

Поручик приставил приклад к плечу. Выстрелы глухо рвали стеклянную тишину, и от каждого удара поручик шатался и только сейчас понял, до чего ослабел.

Парус уже был виден ясно. Большой, розовато-желтый, он несся по воде крылом веселой птицы.

— Черт-и-што, — проворчала, вглядываясь, Марютка. — Что оно за суденышко такое? На рыбалку не похоже, здоровое больно.

На судне услыхали выстрелы. Парус шатнулся, перелетел на другую сторону и, накренясь, понесся линией к берегу.

Под розово-желтым крылом выплыл из сини черный низкий корпус.

— Не иначе, должно быть, объездчика промыслового бот. Только кто ж на нем мотается в такую пору, не пойму? — бормотала тихонько Марютка.

Саженях в пятидесяти бот снова лег на левый галс. На корме приподнялась фигура и, приставив руки рупором, закричала.

Поручик дернулся, перегнулся вперед, бросил с маху в песок винтовку и в два прыжка очутился у самой воды. Протянул руки, ополоумело закричал:

— Урр-ра!.. Наши!.. Скорей, господа, скорей!

Марютка воткнула зрачки в бот и увидела... На плечах человека, сидевшего у румпеля, золотом блестели полоски.

Метнулась всполошенной наседкой, задергалась.

Память, полыхнув зарницей в глаза, открыла кусок:

Лед... Синь-вода... Лицо Евсюкова. Слова: «На белых нарветесь ненароком, живым не сдавай».

Ахнула, закусила губы и схватила брошенную винтовку.

Закричала отчаянным криком:

— Эй, ты... кадет поганый! Назад!.. Говорю тебе — назад, черт!

Поручик махал руками, стоя по щиколки в воде. Внезапно он услыхал за спиной оглушительный, торжественный грохот гибнущей в огне и буре планеты. Не успел понять почему, прыгнул в сторону, спасаясь от катастрофы, и этот грохот гибели мира был последним земным звуком для него.

Марютка бессмысленно смотрела на упавшего, бессознательно притопывая зачем-то левой ногой.

Поручик упал головой в воду. В маслянистом стекле расходились красные струйки из раздробленного черепа.

Марютка шагнула вперед, нагнулась. С воплем рванула гимнастерку на груди, выронив винтовку.

В воде на розовой нити нерва колыхался выбитый из орбиты глаз. Синий, как море, шарик смотрел на нее недоуменно-жалостно.

Она шлепнулась коленями в воду, попыталась приподнять мертвую, изуродованную голову и вдруг упала на труп, колотясь, пачкая лицо в багровых сгустках, и завыла низким, гнетущим воем:

— Родненький мой! Что ж я наделала? Очнись, болезный мой! Синегла-азенький!

С врезавшегося в песок баркаса смотрели остолбенелые люди.

Ленинград, март 1924 г.

РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ

КИНЕМАТОГРАФ

Улица... Рассвет...
На стене косо и наспех наклеенный листок...

ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
Красные покидают город
Части Доброармии вступили в предместье
Население призывается к спокойствию

Мимо листка проходит запыленный красноармеец. Тяжело волочит винтовку.

Видит листок... срывает с бешенством и внезапной злобой.

Губы его шевелятся... Ясно, что он с надрывом и длинно ругается.

ИНОСТРАНЕЦ

Зеркало в облезлой рамке, с зелеными пятнами гнили на внутренней стороне, треснуло когда-то пополам, склеивали его неумелые руки, и половинки сошлись неровно, под углом.

От этого лицо резалось трещиной на две части, нелепо ломалось, и рот растягивался к левому уху идиотской гримасой.

На спинке стула висел пиджак, а перед зеркалом брился человек в щегольских серых брюках и коричневых американских, тупоносых полуботинках.

Голярня в пригородной слободке, между развалинами пороховых погребов, была невероятно грязна, засижена мухами и пропахла самогоном, грязным бельем и гнилой картошкой.

И такой же грязный и лохматый, не совсем трезвый хозяин, неизвестно зачем открывший свое заведение в таком месте, куда даже собаки забегали только поднять ножку, обиженно сидел у окна и искоса смотрел на странного посетителя, который пришел ни свет ни заря, чуть не выбил дверь, отказался от его услуг и на ломаном русском языке потребовал горячей воды и бритву.

Пыльные стекла маленького окна вздрагивали ноющим звоном от приближающегося орудийного гула, и при каждом сильном ударе брившийся поглядывал в сторону окна спокойным, внимательным серым глазом.

В алюминиевой чашке, в снежных комках мыльной пены, золотыми апельсинными отливами блестели завитки сбритой бороды и усов.

Брившийся отложил в сторону бритву и намочил в горячей воде тонкий носовой платок. Обтер лицо и попудрил его, достав из брюк карманную серебряную пудреницу.

Потрогал пальцем гладкие щеки и круглую ямочку на подбородке, и рот его, твердо сжатый и резкий, вдруг расцвел на мгновение беззаботным розовым цветком.

Но окно опять заныло от орудийного удара.

Хозяин вздрогнул и, как бы очнувшись, сказал хрипло:

— Жарять!.. Зовсим блызко!..

— Comment?! Что ви гаварит?

Иностранец быстро повернулся к хозяину и услышал обиженное ворчание:

— Шо кажу?.. Наж-ж тоби!.. Пятьдесят рокив казав — люди розумилы, а зараз непонятково!.. Християне розумиют, а на бусурманина мовы не наховаешь!

— А! — протянул иностранец.

И, к вящему изумлению хозяина, вынул из кармана маленькую коричневую аптекарскую склянку, откупорил ногтем глубоко увязшую пробку и вылил на блюдце остро пахнущую жидкость. Намочил головную щетку и круглыми взмахами стал водить по прическе от лба к затылку.

Открыв рот, хозяин увидел, что намокшие золотистые волосы потускнели и медленно почернели.

Иностранец встал, вытер голову платком и тщательно расчесал пробор.

Пристегнул воротничок, завязал галстук и, когда надевал пиджак, услыхал нудный голос хозяина:

— От-то, оказия!.. Шо це вы з волосьями зробили? Чи вы мабуть кловун, чи ще яке комедиянство!..

Иностранец легко улыбнулся:

— Ньет!.. Я ньет клоун, я купца! Мой имя Леон!.. Леон Кутюрье!..

— Воно и видать, що пехристь!.. И имя в вас не людское, а неначе собаче... Куть... Куть... Скильки ще гамна на свити!..

И хозяин с презрением плюнул на пол.

Леон Кутюрье снял с вешалки легкое пальто, нахлобучил на затылок котелок и сунул в руку хозяину крупную бумажку.

Тот захлопал ресницами, но, прежде чем он опомнился, иностранец был на улице и зашагал вдоль садовых заборов к городу, из-за далеких труб которого рачительным и румяным хозяином скосоурилось солнце.

Хозяин недоуменно смял деньги, мелкие морщинки его щек скрестились лукавой сеткой, он хитро посмотрел в окно, покачал лохматой головой и произнес веско и ясно:

— Неначе скаженный!..

«AU REVOIR, ХРАБРУ JEUNE HOMME!»[1]

Был погожий и теплый предосенний день.

Леон Кутюрье беспечно пошел по тротуару в том же направлении, в котором двигались кучки муравьившихся людей.

За широким раскатом настороженно опустелой улицы открылся старый парк над кинутым вниз обрывом, а под ним лениво лизала пески и ржавые глины обмелевшая, зеленоватая река.

Над самым обрывом белесой лентой легла аллея, огороженная чугунной резной решеткой, осененная столетними широколапыми липами.

Решетка взбухла грузом прижавшихся и повисших на прутьях человеческих тел.

На другой стороне реки, в заречье, покрытом прожелтью камышей, изрезанном синими змеями ериков, по узкой гати двигались кучки крохотных рыжих букашек, поблескивая по временам металлическими искорками.

[1] До свидания, храбрый молодой человек!

Когда Леон Кутюрье, беспрестанно извиняясь, приподымая котелок, протиснулся к решетке, издалека, слева, оттуда, где был вокзал, тяжко и надсадно грохнули четыре удара, высоко вверху запел звоном и визгом разрезанный воздух, и над далекой гатью, на синем мареве сосняка, высоко вспухли четыре белых клубка.

Ахнула общей грудью облепленная людьми решетка:

— А-аах!..

— Перелет,— сказал крепкий и уверенный голос.

Но не успел еще кончить слова, как взвыл снова воздух, и белые клубки повисли над самой гатью, закутав ее плотной пеленой.

— Вот это враз!.. Чисто сделано!

Рыжеватый и плотный, в золотом пенсне, стоявший рядом с Леоном Кутюрье, плотоядно облизнулся.

Стало видно, как засуетились на гати рыжие мурашки.

— Ага, не нравится! Попадет сволочам!

— Жаль, удерут все же!

— Ну, не все!.. Многие влипнут!

— Молодцы корниловцы!..

— Всех бы перехлопать!.. Хамье, бандиты проклятые!

Шрапнельные разрывы учащались, ложились гуще и вернее. Пожилой человек в широком пальто, стоявший об руку с хорошенькой блондинкой, повернулся к Леону Кутюрье.

— Как это называется... вот чем стреляют?

— Шрапнель, мсье!.. Такой трубка, который имеет много маленька пулька. Очень неприятна! Très désagréable!

Старик опять впился в горизонт. Блондинка, распушив губы и обещающе взмахнув длинными ресницами, улыбнулась Леону Кутюрье.

— Это картечное действие? — спросила она, видимо радуясь и гордясь специальным термином.

— Oui, madame! Картешь!..

Леон Кутюрье прикоснулся к котелку и отошел от решетки. Оглянувшись, увидел разочарованный взгляд, весело послал воздушный поцелуй и пошел по аллее, сбивая тросточкой мелкую гальку.

Спустился по песку к воротам, на которых тусклым золотом сверкал императорский, распластавший геральдические крылья орел. Обе головы ему сбили камнями досужие мальчишки.

Очутившись на улице, направился к спуску в гавань,

но услыхал сзади переплеск криков: «Смотрите!.. Едут!..» — и звонкий грохот копыт мчавшихся лошадей.

Леон Кутюрье остановился на краю тротуара и взглянул вдоль улицы.

Высоко взбрасывая белощеточные ноги, брызгая пеной с закушенного мундштука, впереди разъезда кавалерии, коней в тридцать, летел золотисто-рыжий, почти оранжевый, английский скакун, легко неся седока.

Молодой, разрумянившийся от скачки, азарта и хмеля удачи тонкий офицерик держал в опущенной руке обнаженную шашку, и за его спиной вихрем метались длинные концы белого башлыка.

Он резко осадил коня на задние ноги у фонарного столба, прислонясь к которому стоял Леон Кутюрье, и оглянулся, как будто ища нужное лицо на тротуаре.

Очевидно, спокойная поза иностранца и хороший костюм произвели на него должное впечатление, и, перегнувшись с седла, он спросил:

— Милостивый государь! Какая самая краткая дорога к пристаням?

— O, mon lieutenant! Ви видит эту улиц? Ездиль до перви поворот эта рука... à droite![1] Там будет крутому спуску вниз, и ви найдет пристань!

Офицерик отсалютовал шашкой и спросил еще:

— Вы иностранец?

— Oui, monsieur! Я француз!

— А, союзник!.. Да здравствует Франция! Напишите в Париж, мсье, что сегодня мы вдребезги раскатали краснопузую сволочь. Скоро Москва наша!

Леон Кутюрье восхищенно прижал руку к сердцу:

— O, mon lieutenant! Русску офисье... это... это... le plus brave![2] Маршаль Фош сказал: русску арме один голи куляк разбиваль бошски пушка, — закончил он с еле уловимой иронией.

Офицерик засмеялся.

— Merci, monsieur! — Обернулся к отряду: — За мной!.. Рысью... ма-арш! — И копытный треск пронесся по граниту к спуску.

Леон Кутюрье приветственно помахал вдогонку тростью и отправился дальше. На углу он остановился у раз-

---

[1] Направо!
[2] Самый храбрый!

битой витрины заколоченного магазина, оперся на ржавые перила и внимательно начал разглядывать валявшиеся на запыленных полках остатки товаров.

Поднял руку и с неудовольствием заметил, что манжета закраснела по краю пятном ржавчины.

— Sacrebleu![1] — сердито сказал француз и, вынув из кармана носовой платок, начал тщательно стирать ржавчину.

До вечера лениво и бесцельно бродил он по улицам, встречая конные и пешие части входящих добровольцев, помахивая тросточкой и котелком, любезно улыбаясь, впутываясь в ряды пехоты, разговаривая с солдатами и офицерами; поздравляя с победой, кланялся, шаркал ножкой.

Лицо у него было милое, глуповато-восторженное лицо фланера парижских бульваров; офицеры и солдаты катались со смеху от его невозможного выговора, но француз не обижался, смеялся сам, суетился, и только по временам его, видимо, беспокоило пятно на манжете, потому что он часто вынимал из кармана платок и с французскими ругательствами яростно стирал злополучную ржавчину.

День уплывал за заречные леса. Вместе с влажной свежестью обыватели попрятались привычно по домам — из боязни налететь на пулю нервного часового или нож бандита.

Крепкие каблуки Леона Кутюрье застучали по пустынному переулку.

Издали француз увидел отяжелевшие светом, как соты медом, окна особняка, принадлежавшего богачу помещику, лошаднику, и занятого при красных под райком партии.

У подъезда угрюмо стыл громадный «бенц», и на подушках автомобиля спал усталый шофер.

На ступеньках крыльца, вытянувшись и застыв воплощением безграничного нерассуждающего долга, стоял часовой — юнкер. На рукаве шинели в сумерках чуть виднелась, сломанная углом, красно-черная ленточка.

Леон Кутюрье поравнялся с окнами и увидел, как по комнате прошли, оживленно жестикулируя, два офицера.

Он остановился, чтобы рассмотреть лучше, но услыхал хлюпающий звук вскинутой на руку винтовки и жесткий крик:

---

[1] Черт возьми!

— Нельзя!.. Проходи!..

— Нишего, господин сольдат!.. Я мирна гражданин, иностранец, если позволит!.. Леон Кутюрье! Мне иметь удовольствие поздравить православни армия с побед.

В голосе француза было такое обезоруживающее простодушие, глуповатое и ласковое, что юнкер опустил винтовку.

Француз стоял в полосе света, бившего густой сметанной белизной из окна, сдвинув котелок на затылок, расставив ноги, приятно улыбаясь, и показался юнкеру похожим на веселого героя экранных проказ Макса Линдера, над лицами которого юнкер беззаботно смеялся в те дни, когда его рука предпочитала сжимать не тяжелый приклад, а нежную руку девушки в тишине темного кино.

Но все же он строго сказал:

— Хорошо, мсье! Но проходите! С часовым говорить нельзя!

— Mille pardons! [1] Я не знал! Я не военна!.. Ви, наверно, сторожит большая пушка?

Юнкер хохотнул:

— Нет!.. Здесь штаб командующего!.. Но проходите, мсье!

Леон Кутюрье отошел. Пройдя особняк, оглянулся. Неподвижная фигура юнкера высилась бронзовой статуэткой на ступенях. На тонкой полоске штыка играл серебряный холодноватый блеск.

Француз снял котелок и крикнул:

— Au revoir, господин сольдат!.. Я очень люблю храбру русску jeune homme!

МАНЖЕТА

Васильевская улица была тихой и сонной, утонувшей в старых садах, из которых выглядывали низкие особнячки.

За две недели до вступления белых в квартиру доктора Соковнина въехала по ордеру жилотдела, заняв две комнаты, артистка Маргарита-Анна Кутюрье.

Докторша Соковнина вначале вскипела:

— Поселят такую дрянь, а потом разворует все вещи и уедет. И жаловаться некому!

---

[1] Тысяча извинений!

И, злясь на жилицу, избегала встречаться с ней и не кланялась.

Но артистка не только ничего не вывезла, но еще привезла рояль и несколько кожаных чемоданов, набитых платьями, бельем и нотами.

У нее оказались прекрасного тембра драматическое сопрано, сухой библейский профиль, холеные руки и великолепный французский выговор.

А когда однажды вечером она спела несколько оперных арий, спела, мощно бросая звуки, свободно и верно,— лопнула пленка человеческой вражды.

Докторша вошла в комнату жилицы, восхитилась ее голосом, разговорилась, предложила столоваться у них, а не портить себе здоровье в «советских обжорках», и Маргарита Кутюрье стала своим человеком в семье Соковниных.

Мадам Марго пленила хозяев тактом, прекрасными манерами и восторженной и нежной любовью к мужу, застрявшему с весны в Одессе, которого Марго ждала с приходом белых.

В этот тревожный день, после стрельбы, конского топа и людской молвы по всполошенным улицам, мадам Марго вернулась к чаю возбужденная и веселая.

— О, Анна Андреевна! Я встретила на улице знакомого офицера!.. Он сказал... Леон в поезде командующего и будет сегодня к восьми часам, как только исправят взорванные рельсы за слободкой.

— Ну, поздравляю, дорогая! — ответила докторша.

Поэтому, когда за ужином все сидели в сборе: доктор, Анна Андреевна, Марго, дочь Леля — и из передней яростно задребезжал звонок, за Маргаритой, выбежавшей с криком: «Ah, c'est mon mari!»[1] — последовали все.

В дверях стоял Леон Кутюрье. Жена с радостным смехом целовала его в щеки, он гладил ее по плечу и улыбался смущенно хозяевам.

— O, mon Léon! O, mon petit, je vous attendais depuis longtemps[2].

Француз что-то тихо сказал жене. Она схватила его руку и повернулась.

— О, я так счастлива, что даже забыла... Разрешите представить моего мужа!

---

[1] Это мой муж!
[2] О, мой Леон! Мой маленький, я тебя давно жду.

Леон Кутюрье, низко склонясь, поцеловал руку хозяйки и крепко сдавил ладонь доктора.

— Что же мы стоим в передней? Прошу в столовую! Впрочем, вы, наверное, хотите помыться с дороги?

Француз поклонился.

— Блягодару... Parlez-vous français, madame? [1]

— Un peu... trop peu! [2] — смущенно ответила Соковнина.

— Шаль!.. Я говору русску очень плок. Я не кочу ванн! Я имею обичка с дорога брать бань. С вокзаль я даваль везти себя в бань... le bain. Козяин пугальсь, кавариль: «Какой бань... стреляйт». Но я даваль ему два ста рубль. Она меня купаль, а на улиц «бум-бумм!..»

Он так жизнерадостно-весело рассказывал о бане, что хохотали все — и Соковнины и Маргарита, изредка бросавшая на мужа мимолетные настороженные взгляды.

За чаем ел гость с аппетитом, сверкал зубами и с улыбкой, ломаным языком рассказывал о событиях в Одессе, о высадке цветного корпуса и бегстве большевиков...

— Скоро будет польн порадок... Я занималь опять le commerce, фабрика консерв... Маргарит будет петь на опера.

Он улыбнулся и вопросительно посмотрел на жену. Она поняла.

— Tu es fatigué, Léon! N'est ce pas? [3]

— Oui ma petite! Je veux dormir! [4]

— Да... да! Конечно, вам нужно отдохнуть после такой дороги. А где же ваши вещи, Леон Францевич?

— О, у меня одна маленьки сак! Я оставляль его козяин бань до завтра!

— Тогда возьмите пока белье Петра Николаевича.

— Не беспокойтесь, Анна Андреевна. Белье Леона у меня,—сказала француженка и покраснела мило и нежно.

— Merci, madame!

Леон Кутюрье еще раз поцеловал руку хозяйки и вышел за женой.

Войдя в комнату, наполовину загороженную роялем, француз быстро подошел к окну и посмотрел вниз, где смутно чернели плиты двора.

---

[1] Вы говорите по-французски, сударыня?
[2] Немного... совсем немного!
[3] Ты устал, Леон? Не правда ли?
[4] Да, крошка! Я хочу спать.

Круто обернулся и спросил вполголоса:

— Товарищ Бэла!.. Вы хорошо знаете всю квартиру? Куда выходит черный ход?

— Во двор у дровяного сарая. Налево ворота. На ночь запираются. Стена в соседний двор — полторы сажени, но у сарая лежит легкая лестница!

— Вы молодец, Бэла!

Она тихо и певуче засмеялась.

— Знаете... это черт знает что! Если бы я не знала, что вы придете в половине девятого, я ни за что не узнала бы вас. Феерическое преображение!

— Тсс!.. Тише. У стен могут быть уши! Не будем говорить по-русски. Такой разговор между супругами-французами может показаться странным.

Бэла открыла крышку рояля и взяла густой аккорд. Спросила по-французски:

— Откуда у вас, товарищ Орлов, такой комический талант?.. Ни за что бы не поверила!..

— Недаром я шесть лет промотался в эмиграции в Париже...

— Да я не об языке!.. А вот об этой имитации акцента! Это же очень трудно!

— Пустяки, Бэла!.. Немножко силы воли, выдержки и уменья держать себя в руках.

Он сел за стол и отстегнул манжету.

— Вы можете дать мне бумагу и ручку?

Взял бумагу, разогнул манжету, положил перед собой и старательно, вглядываясь в чуть заметные карандашные пометки, зачертил пером, и первая же строчка легла ясная и четкая:

«Корпус Май-Маевского. Александрийский гусарский полк. Приблизительно 600 сабель».

Кончив писать, тщательно вытер манжету резинкой и протянул листки женщине.

— Бэла!.. Завтра же отнесите Семенухину. Он перешлет в военный отдел пятерки. Ну, довольно! Где я буду спать?

Бэла показала на открытую дверь спальни, где белела свежими простынями двуспальная старинная кровать карельской березы.

— Хорошая кровать!.. И комната... А вы где спите?

— Здесь же!

Орлов сдвинул брови.

— Что за чепуха?.. Неужели вы не могли подумать об

этом раньше? Попросите у хозяев какую-нибудь кушетку для меня.

Бэла вспыхнула и посмотрела ему в глаза.

— Орлов! Я не считала вас способным на мещанство. Если вы считаете опасным говорить по-русски, то уж совсем не по-французски, чтобы приехавший после разлуки муж требовал отдельную кровать. Нелепо и подозрительно! У нас два одеяла, и будет очень удобно. Надеюсь, вы достаточно владеете собой?

Он резко махнул рукой:

— Я не потому!.. Просто боюсь стеснить вас! Я сплю очень беспокойно!

— Вздор!.. Выйдите, пока я лягу!

Выйдя, Орлов со злобой перелистал фотографии семейного альбома. Легкомысленное и глуповатое выражение давно сошло с напряженного, железно очертившегося и побледневшего лица. Углы рта опустились злой и старящей складкой.

В спальне щелкнул выключатель, хлынула мгла, и певучий голос Бэлы сказал:

— Léon! Je vous attends! Venez dormir! [1]

Орлов вошел в темную спальню, ощупью нашел край кровати, сел на него и быстро разделся.

Скользнул под шуршащее шелком одеяло, сладко вытянулся и усмехнулся.

— Веселенькая история!.. Спокойной ночи, Марго!

— Спокойной ночи, Леон!

Повернулся к стене, перед глазами покатились, как всегда в полудремоте, красные, зеленые и лиловые спирали, и, глубоко вздохнув несколько раз, Орлов уснул.

ПУСТОЙ СЛУЧАЙ

Супруги Кутюрье жили мирно и счастливо. На третье утро после приезда мужа, в воскресенье, Бэла сидела на краю кровати в утреннем халатике, пила ячменный кофе из большой детской чашки и по-ребячьи, захватывая сразу губами и зубами, грызла желтые пышные бублики.

Орлов медленно открыл глаза и повернулся.

— Доброго утра, Леон! Как спали?

— О, чудесно! — ответил Орлов, облокотившись на подушку.

---

[1] Леон! Я вас жду! Идите спать!

Бэла отставила чашку на туалетный столик и повернулась к нему. Глаза потемнели и вспыхнули сердитыми блестками.

— А я эту ночь не спала... И, знаете, нашла, что все это очень глупо, нерасчетливо и гадко!

— Что такое?

— Ну, вся эта история! Нельзя оставлять людей в подполье на месте легальной работы. Мы не так богаты крупными партийцами, чтобы терять их, как пуговицы от штанов. И я считаю, что ревком в отношении вас поступил идиотски глупо...

— Бэла! Я попрошу вас находить более подходящие выражения для оценки действий ревкома.

— Я не привыкла к дипломатическим вежливостям!

— Привыкайте! Ревком не глупее вас!

— Благодарю!

— Не за что... Что вы понимаете в партийной работе? — сказал Орлов, внезапно раздражаясь. — Вы, маленькая девочка, удравшая из архибуржуазной семьи в романтический поток!.. Ведь вас потянула именно романтика... приключения. Очень хорошо, что вы работаете беззаветно, но судить вам рано.

— Каждый имеет право судить!..

— Не спорю... Судите потихоньку. Хотите знать, зачем оставили именно меня? А потому, что я знаю здесь и в окружности на пятьдесят верст каждый камень, знаю, за кем и как мне следить, когда распылаются белые страсти. А когда наши вернутся, у меня в минуту весь город будет в руке! Вот!

Он разжал кисть и с силой сжал ее:

— Р-раз, и готово! И никаких заговоров, шпионажа, контрреволюции!

— А если вы попадетесь?

— Риск!.. Это война!.. А потом, если вы меня не узнали, — это достаточная гарантия, что не узнает никто. «Рыжебородый палач», «Нерон», «истязатель»... чекист Орлов и Леон Кутюрье.

— А все же!..

— Хватит, Бэла!.. Идите — я буду одеваться!

За завтраком Леон Кутюрье потешал хозяев французскими анекдотами и даже доставил огромное удовольствие тринадцатилетней Леле, показав ей, как глотают ножи ярмарочные фокусники.

Но у себя в комнате, взяв шляпу, Орлов сказал Бэле сухо и повелительно:

— Бэла! Я ухожу. Вернусь к шести. Вы сейчас же отправитесь к Семенухину и передадите ему записи!

Ночью над городом пронеслась короткая гроза, и здания и деревья, вымытые и свежие, сверкали в стеклянном воздухе еще не просохшими каплями.

Улицы заполнились обывателем, трехцветными флагами, ленточками, букетами роз, модными шляпками и теплой малиной подкрашенных губ.

Все спешили на соборную площадь, на парад с молебствием по случаю счастливого избавления города от большевиков.

Леон Кутюрье протискался в первые ряды, благоговейно снял шляпу, с достойным смирением прослушал молебен и короткую устрашающую речь длинноногого, похожего на суженный книзу клин генерала.

Генерал в сильных местах речи подпрыгивал, и жилистое тело его, казалось, хотело выпрыгнуть из мешковатого френча, дергаясь картонным паяцем.

Серебряные трубы бодрым ревом грохнули марсельезу. Француз Леон Кутюрье геройски выпрямил грудь и пропустил мимо себя войска, прошедшие церемониальным маршем в сверкании штыков, пуговиц, погон и орденов.

Публика бросилась за войсками.

Леон Кутюрье надел шляпу и не торопясь пошел в обратную сторону, на главную улицу. С трудом протискиваясь по заполненному тротуару, он увидал несущегося вихрем босоногого мальчишку-газетчика.

Мальчишка расталкивал всех, прыгал и визжал пронзительно:

— Дневной выпуск газеты «Наша Родина»! Поимка главного большевика!.. Оч-чень интересная!..

Леон Кутюрье остановил газетчика. Тот молниеносно сунул ему в руки свернутый номер, бросил за пазуху деньги и помчался дальше.

Леон Кутюрье развернул лист чуть дрогнувшими пальцами. Глаза бежали по неряшливым, пахнущим керосином строчкам, расширились, остановились, застыли на жирном заголовке:

«ПОИМКА ПАЛАЧА ЧЕКИСТА ОРЛОВА»

Вчера ночью на вокзальных путях офицерским патрулем задержан неизвестный, пытавшийся забраться в теп-

лушку уходившего эшелона. Присутствующие на вокзале опознали в задержанном председателя губчека, известного садиста, истязателя и палача Орлова. Несмотря на опознание его многими лицами, Орлов отпирается и уверяет, что он крестьянин, приехал из Юзовки и собирался вернуться домой. Документов при нем не найдено, но в свитке оказалась зашитой крупная сумма денег. Орлов уверяет, что деньги получены им для юзовского кооператива. Наглая ложь трусливого палача так возмутила публику, что его хотели здесь же растерзать. Патрулю с трудом удалось доставить Орлова в контрразведку, где этот негодяй и получит заслуженное возмездие».

Пальцы в кулак... Газета комком... Ноги влипли в асфальт.

Сбоку какая-то женщина.

— Что с вами?.. Вы нездоровы?

Одна секунда...

Леон Кутюрье приподнял котелок:

— Блягодару!.. Ньет!.. Ничево!.. У меня очень больна сердце... le coeur... Одна маленька припадка... Пуста слючай. Спасиб! Извозчик! Николяевска улис!

Вскочил в пролетку и сунул в карман скомканную газету.

ДИАЛОГ

— Орлов?.. С-сам! А у меня тт-только что была Б-бэла... Зна... Да что с тобой такое? На тт-тебе лица нет!

Орлов вытащил из кармана пальто газету:

— На, читай!

Семенухин взглянул на лист. Коротко стриженная голова с торчащими красными ушами быстро нагнулась, и он стал похож на гончую, на последнем прыжке хватающую зайца.

Зрачки поскакали по строчкам.

Потом голова поднялась, губастый рот растянулся в довольный смех, и он выдавил, заикаясь:

— Вв-вот зд-д-доррово!.. Этт-то ж за-мм-мечательно!

— Что ты находишь тут замечательного? — спросил Орлов, прищурясь и присев на край стола.

— Д-да ведь этт-то ж исключительный случай. Тт-теперь ты можешь быть совершенно спокоен. Они п-ппри-кончат этого кулачка, и т-тты умм-мер. Н-иикк-кому не

п-придет в гол-лову т-тебя искать. Эт-тто такк-кая счастливая непп-предвиденность!

Орлов подпер ладонью подбородок и внимательно смотрел на Семенухина.

— Тебе никогда не приходили в голову никакие сомнения, Семенухин? Ты всегда делал, не раздумывая, свое дело?

— А п-почему т-тты спрашиваешь?

— Что ты сказал бы, если бы я сообщил тебе, что вот сейчас, после прочтения этой заметки, я пойду сдаваться в белую контрразведку?

Семенухин быстро захлопнул улыбавшийся рот, откинулся на треснувшую от напора коренастого тела спинку стула... и расхохотался.

— Н-ну тебя к чч-чертовой мат-тери! Я чуть не п-ппринял всерьез! С-слушай, об этом тотчас же нужно известить всех... П-пусть по районам подымают вопли сожаления о т-ттоварище Орлове. Эт-то б-будет замм-мечательно!

Орлов нагнулся к нему через стол.

— Погоди ты!.. Я тебе говорю совершенно серьезно. Что ты скажешь, если я пойду и сдамся?

В голосе Орлова были жесткие удары. Улыбка сбежала с лица Семенухина, он внимательно вглядывался в левую щеку Орлова, на которой нервно дрожал под глазом треугольный мускул.

— Ч-что бы я ск-кказал?.. — начал он медленно и глухо, замолчал, отодвинул стул и, встав во весь рост, неторопливо и спокойно вынул из бокового кармана револьвер. — Ск-казал б-бы одно из д-двух. Или т-ты с ума с-сошел, или т-ты п-пподлец и п-ппредатель! В т-том или д-другом случае я об-бязан не допустить т-такого исхода.

— Спрячь свою погремушку. Меня не испугаешь револьвером.

— Я п-пугать не собираюсь. А убить уб-ббью!

— Послушай, Семенухин! Откинь все привходящие обстоятельства. Дело обстоит для меня чрезвычайно остро. На мне лежит крайне тяжелая работа, требующая полного равновесия всех сил. Ваше дело простое! Вы сидите кротами по квартирам и лишь по ночам вылазите в районы для агитации. Я круглый день танцую на острие бритвы. Мельчайшая оплошность — и конец!

— Т-ттак что же тт-тебе нужно?

— Подожди!.. Случилось страшное! Вместо меня, ду-

рацкой ошибкой, роковым сходством, приведен к смерти человек. Не враг — не офицер, поп, фабрикант, помещик, а мужичонка. Один из тех, для кого я же работаю. Может ли партия избавить меня от опасности ценой его смерти? Могу ли я спокойно перевесить чашку весов на свою сторону?

Семенухин иронически скривил рот.

— Интеллигент-ттская п-ппостановочка вопроса? Нравственное право и в-веления м-ммморали? Д-ддостоевщина! Д-для тебя есть т-только дело п-ппартии, и пп-проваливать его т-ты не им-меешь права!

По лицу Орлова, от лба к подбородку, протекла густая красная волна. Он вскочил со стула.

— Зачем ты говоришь о деле партии? Я его не провалю и не собираюсь проваливать. Если бы даже я сдался, из меня никакими пытками ничего не выжмешь.

Семенухин раздраженно передернул плечами.

— Так для чего же т-ты по соб-ббственной в-воле хочешь сунуть б-ббашку в п-петлю? Говоришь, а-арестован мужичонка. Од-дин из т-ттех, на кого мы раб-ботаем?.. Не знаю... Муж-жик муж-жику рознь. При нем найдены крупные деньги... От-ткуда? К-кооперативные?.. В-возможно... А скорей сп-пекульнул м-ммукой или салом... Кулак! Тогда, если не яв-вный, то пот-тенциальный враг. И нечего слюнт-ттяйничать!

— Но ведь его замучат в контрразведке, принимая за меня. Значит, человек погибнет невинно!

— П-послушай! — сказал Семенухин. — Ступ-пай домой, вып-пей стакан самогонки и проспись!.. Философ!

— Пошел ты к черту! — озлился Орлов. — И оставь свои советы при себе. Я в них не нуждаюсь!

Семенухин раздумчиво покачал большой головой.

— Ты очень нервничаешь. Это нех-хорошо! Т-ттолько поэтому т-ты и наговорил таких глупп-постей, которые сами пп-по себе достт-таточны для исключ-чения люб-бого т-ттоварища из партии. П-поступок, который т-ты хотел сделать, — пп-предательство. Я говорю эт-то именем ревкома! Оп-помнись!

Орлов побледнел и нервно стянул лицо к скулам. Опустил глаза, и голос конвульсивно задохнулся в горле:

— Да, я нервничаю. Я не машина, наконец, черт возьми! В силу всех известных тебе обстоятельств я прошу ревком освободить меня от работы и переправить за фронт. Я могу просто не выдержать бесконечного напря-

жения, сорваться и еще больше навредить делу. Примите это все во внимание. Камень тоже может расколоться.

— Г-лупп-пости! Отправляйся домой и отдохни!

Голос Семенухина стал нежным и ласковым. Было похоже, что отец говорит с маленьким и любимым сыном.

— Дмитрий! Я понимаю, что тебе очень тяжело и что вспышка твоя совершенно естественна. Ты наш лучший раб-ботник. Отдохни дня два. А п-после т-ты сам б-будешь смеяться!.. П-пойми, ккк-какая счастливая случайность! Орлов умер, и б-белые спокойны, а Орлов т-ттут, рядом, голуб-ббчики!

— Хорошо! До свиданья! У меня действительно голова кругом идет!

— П-понимаю! Так не б-будешь глупить?

— Нет!

— Ч-честное слово?

— Да!

— Д-до свид-данья! Т-такая глуп-пость! За т-три дня ты соб-брал т-такие сведения, и вдруг...

Он схватил обеими руками руку Орлова и яростно смял ее:

— Отдохни об-бязательно! — И нежно закончил: — Ч-чудесный т-ты п-парень!

ПОРЦИЯ МОРОЖЕНОГО

Леон Кутюрье бросил продавщице деньги, воткнул в петличку две астры и, поигрывая тросточкой, побрел вниз по Николаевской улице, по-кошачьи улыбаясь томным от осеннего воздуха женским глазам.

Было жарко, и ему захотелось чего-нибудь холодного, освежающего.

Он распахнул стеклянную дверь кондитерской, положил шляпу на столик, налил воды из графина и заказал кельнерше порцию мороженого.

Огляделся. За соседним столиком пили гренадин два офицера. У одного правая рука висела на черной повязке, и сквозь бинт на кисти просочилось рыжее пятнышко крови.

Кельнерша подала мороженое, и Леон Кутюрье с наслаждением заглотал ледяные комочки с острым привкусом земляники.

— ...Ну да... об Орлове и говорю.

Пальцы Леона Кутюрье медленно положили ложечку на стол, и все тело его незаметно подалось в сторону голоса.

— ...Здорово это вышло! Идем мы, понимаешь, обходом по путям. Тут эшелоны стоят, теплушки всякие. Должны были пехоту принимать на север. Глядим, прет какой-то леший из-под колес. Шмыг бочком — и лезет в теплушку. «Стой!» Остановился. Подходим. Здоровенный мужичина в свитке и бородища рыжая. А глаза как угли. «Ты кто?» — «Ваши благородия, явить божецку милость. Я ж з Юзовки. Домой треба, а тут усю недилю потяги стояли. Дозвольте доихать». — «Тебе в Юзовку? А зачем же ты в этот поезд лезешь, когда он на Круты идет?» — «Та я ж видкиля знаю, коли уси потяги сказились?» — «Сказились? Документы!» — «Нема, ваше благородие, бо вкралы!» Щеглов и говорит: «Забрать!» Он в крик «За що? Що я зробив?» Ведем на вокзал. Только взели, вдруг сбоку кто-то кричит: «Орлов!» — «Какой Орлов?» — «Председатель губчека!» У нас рты раскрылись. Вот так птицу поймали. И еще тут три человека подбежали, узнали. Один в чеке сидел, так тот его сразу по морде. Конечно, кровь по бороде, а он на своем стоит. «Я, говорит, Емельчук, киперативный». Хотели его на вокзале прикончить, но комендант приказал в разведку.

— Зачем?

— Как зачем? Он же, ясно, на подполье остался. И у него вся ниточка организации.

— Ну, такой ни черта не скажет. Мы из одного чекиста жилы на шомпола наворачивали, и то, сукин сын, молчал.

— Заговорит!.. Три дня помапежат — все выложит, а потом и налево! Ну, пойдешь, что ли, к Таньке?

— А что?

— Обещала она сегодня свести в одно место. Железка! Всякие супчики бывают — можно игрануть!

— Пожалуй! — лениво ответил офицер с подвязанной рукой и хотел встать.

Леон Кутюрье поднялся из-за своего столика и, подойдя к офицерам, с изысканной вежливостью склонил голову:

— Ви простит. Не имею честь, l'honneur, знать. Я есть коммерсант Леон Кутюрье. Я слышать — ви поимщик чекист Орлов?

Офицер польщенно улыбнулся.

— Я желаль знать... Я много слыхаль на Орлов... Я приехал из Одесс и узнал: мой старая мать, ma pauvre mère, расстрелян чека. Я имель ненависть на чека и хотель випить la santé доблестни русску лейтенант. Ви рассказать мне, какой Орлов. Я его сам буду l'assassiner, как это по-русску... убивать!

В глазах Леона Кутюрье мелькали злобные вспышки. Офицера заинтересовал забавный иностранец. Он нагнулся к товарищу.

— Мишка!.. Этого французского дурня можно здорово подковать на выпивон. Я его обработаю.

Он повернулся к Леону.

— Мсье!.. Мы очень счастливы! Представитель прекрасной Франции! Мы проливаем кровь за общее дело. С чрезвычайным удовольствием позволим себе ответный тост за ваше здоровье!.. Разрешите представиться. Поручик граф Шувалов!.. Подпоручик светлейший князь Воронцов!

Второй офицер осторожно толкнул товарища сзади. Тот шикнул:

— Молчи, шляпа! У французов все знакомые в России графы!

Леон Кутюрье пожал руки офицерам.

— Ошень рад! Je suis enchanté, восторжен, иметь знакомство прекрасни русски фамиль.

— Но знаете, мсье! Нам нужно перекочевать, по нижегородскому обычаю, в другое место. В этой дыре, кроме гренадина, ничего нет. А в России не принято пить здоровье друзей фруктовой водой.

— Mais oui! Я знает русска обич. Мы будем пить водка.

— О, это здорово! Настоящая русская душа! — И «светлейший князь Воронцов» нежно хлопнул француза по плечу.

— Мы будем пить водка! Потом вы мне говорит об Орлов. Я кочу знать, где она сидит? Я ехаль к главному командир, предлагаль стрелять Орлов своя рука, мстить! La vengeance!

— Видите ли, мсье, — сказал небрежно «светлейший князь», — я, к сожалению, не могу сказать вам, где сидит сейчас этот супчик. Это слишком мелкий вопрос для меня, русского аристократа, но, к счастью, я вижу в дверях человека, который вам поможет. Разрешите, я вас оставлю на минуту?

Он элегантно звякнул шпорами и пошел к двери, в пролете которой стоял, оглядывая кафе, высокий, тонкий в талии офицер.

— Слушай, Соболевский, будь другом! Мы с Мишкой подловили тут одного французского обормота. Он какой-то спекулянт из Одессы, приехал искать свою мамашу, а ее в чеке списали. Случайно слышал, как я вчера арестовал Орлова, и воспылал ко мне нежными чувствами. Хороший выпивон обеспечен. Идем с нами! Ты можешь порассказать о его симпатии, и он уйдет не раньше, как с пустым карманом. Только имей в виду, что я — князь Воронцов, а Мишка — граф Шувалов!

Офицер поморщился.

— Только и знаете дурака валять. У меня груда дела.

— Соболевский! Голубчик! Не подводи! Не будь свиньей! У тебя же самые свежие новости из вашей лавочки. А француз страшно интересуется Орловым. Даже предлагал, что сам его расстреляет за свою pauvre mère!

Соболевский со скучающим лицом вертел шнур аксельбанта.

— Ну что же?

— Ладно! Дьявол с вами! Согласен!

— Я знал, что ты настоящий друг. Идем!

Соболевского представили Леону Кутюрье.

— Куда же?

— В «Олимп». Пока единственный и открыт!

Подозвали извозчиков и расселись.

МОЙ ДРУГ

От смятых бархатных портьер, обвисших пыльными складками на окне, было полутемно в прохладном кабинете.

Сумеречные светы сквозь волну табачного дыма холодно стыли на батарее пустых бутылок у края стола.

В глубине кабинета на тахте, уже мертвецки пьяные, возились и щипали девчонок-хористок «граф Шувалов» и «князь Воронцов».

Хористки визгливо пищали, хохотали и откалывали солдатские непристойности.

У одной шелковая блузка разорвалась, рубашка слезла с плеча, и в прореху выпячивалась острая грудь с твердым соском.

«Граф Шувалов» верещал, изображая грудного младенца:

— Уа, уа-ааааа!

Дрыгал ногами и тянулся сосать грудь. Девчонка отбивалась и шлепала его по губам.

За столом остались только Соболевский и Леон Кутюрье.

Француз, откинувшись на спинку стула, обнимал за талию примостившуюся у него на коленях тихонькую женщину, похожую на белую гладкую кошку.

Она мечтательно смотрела в окно.

Поручик Соболевский сидел совершенно прямо на стуле, как будто на лошади во время церемониального марша, и курил.

Лица его против света не было видно, и только изредка поблескивали глаза.

Глаза у поручика были странные. Большие, глубоко посаженные, томные и в то же время зверьи. По ночам, во время метели, в степи, сквозь вихрь снега, зелеными огоньками горят волчьи глаза.

И так же, по временам, зеленым огнем горели глаза Соболевского.

Разговаривали они все время по-французски.

В начале обеда Кутюрье обращался к поручику на своем ломаном волапюке, от которого дергались в восторге оба офицера, пока Соболевский не сказал, нахмурясь:

— Monsieur, laissez votre ésperanto! Je parle français tout couramment! [1]

Француз обрадовался. Оказалось, что поручик Соболевский жил и учился в Париже, в Сорбонне.

Он сидел против Леона, прямой, поблескивающий глазами, и тихо говорил о Париже, вспоминал дымные сады Буживаля, в которых умер Тургенев, шумные коридоры факультета Belles-lettres, где провел три чудесных года.

Леон Кутюрье кивал головой, со своей стороны поминал парижские веселые уголки и упорно подливал поручику вино. Но поручик пьянел медленно. Он только еще больше выпрямлялся с каждой рюмкой и бледнел.

— Да, это было прекрасное время нашей Франции,— со вздохом сказал Леон, — а теперь огонь Парижа по-

---

[1] Оставьте ваше эсперанто, сударь! Я свободно говорю по-французски.

мерк. Проклятые боши достаточно разредили парижан, и сейчас Париж — город тоскующих женщин.

— Вы давно из Парижа? — спросил поручик.

— Не очень! В прошлом году, как раз в бошскую революцию. И мне стало очень грустно. Веселье Парижа — траур, и сердце Франции под крепом.

— Да, грустно, — процедил задумчиво поручик и внезапно спросил: — Мои беспутные приятели сказали, что вы приехали за вашей матушкой.

Леон Кутюрье вздохнул.

— О, да! Как ужасно, господин лейтенант, и я даже не знаю, где ее могила! Какие звери! Чего хотят эти люди? В варварской азиатской стране водворить социализм? Безумие, безумие! Мы имеем пример нашей великой революции. Ее делали величайшие умы в стране, которая всегда была светочем для человечества. И что же? Они отказались от социализма, как от бессмысленной утопии. А у вас?.. О мой бог! Социализм у калмыцких орд? И эти звери не щадят женщин! О моя мать! Я слышу, она зовет меня к мщению!

— Да, да. Ее расстреляли в чека.

Кутюрье кивнул головой.

— Вы теперь понимаете, какая отрада для меня, что этот негодяй арестован!

— Дай папиросу, французик, — мяукнула неожиданно кошечка, свернувшаяся на коленях Леона. Ей было скучно слушать незнакомые слова.

— Я с большой нежностью вспоминаю Париж, — сквозь зубы выговорил Соболевский, — это было лучшее мое время. Молодость, энтузиазм и чистота! Я любил литературу, эти сумасшедшие ночные споры в кабачках, где решались мировые проблемы, слова в дыму папирос, в тумане абсента, под визг скрипок. И эти стихи, читаемые неизвестными юношами, которые назавтра гремели своими именами по всему миру...

Поручик зажмурился.

— Вы помните это:

Hier encore l'assaut des titans
Ruait les colonnes guerrières,
Dont les larges flancs palpitants
Craquaient sous l'essieux des tonnerres[1]...

---

[1] Еще вчера под натиском титанов рушились воинские колонны и широкие фланги их, трепеща, ломались под ударами громов.

— О, я этого не понимаю... Я слаб в литературе. Моя область коммерция!

Совсем стемнело. С дивана, из темноты доносились заглушенные поцелуи и взвизгивания. Поручик допил вино, еще побледнел.

— Пора, пожалуй, отправляться. Много работы.

— Вы, верно, очень устали?.. Вся ваша армия. Но это последняя усталость героев. За вашими подвигами следит весь цивилизованный мир. Теперь ваша победа обеспечена!

Поручик облокотился на стол и посмотрел в лицо собеседнику пьяно и грозно.

— Да, скоро кончим! Надоела мелкая возня! После победы мы займемся перестройкой России в широком масштабе!

— Как вы мыслите себе ваше будущее государство?

— Как?.. — Поручик еще тверже оперся на стол. Леон Кутюрье увидел, как странные глаза Соболевского расширились бешенством, яростью, заполыхали, заметались волчьими огнями.

— О, мсье! У меня своя теория. Все дотла! Вы понимаете! Превратить эту сволочную страну в пустыню. У нас сто сорок миллионов населения. Право на жизнь имеют только два, три! Цвет расы: литература, искусство, наука! Я материалист! Сто тридцать семь миллионов на удобрение! Понимаете! Никаких суперфосфатов, азотистых солей, селитры! Удобрить поля миллионами! Мужичье, хамы, взбунтовавшаяся сволочь. Все в машину! Большую кофейную мельницу. В кашу! Кашу собирать, прессовать, сушить — и на поля! Всюду, где земля плоха! На этом навозе создать новую культуру избранных.

— Но... кто же будет работать для оставшихся?

— Ерунда! Машины! Машины! Невероятный расцвет машиностроения. Машина делает все. Скажете, машины нужно обслуживать? О, здесь поможете вы. Вы получили после войны огромные территории в Африке, в Австралии. Вы все равно не можете прокормить всех своих дикарей, не можете всем дать работу. Мы купим их у вас. Мы создадим из них кадры надсмотрщиков за машинами. Немного! Тысяч триста! Хватит! Мы дадим им роскошную жизнь, вино, лупанарии со всеми видами разврата. Они будут купаться в золоте и никогда не захотят бунтовать. Кроме того, медицина! Гигантские успехи физиологии! Ученые найдут место в мозгу, где гнездится протест. Это

место удалят оперативным путем, как мозжечок у кроликов. И больше никаких революций! Баста! К черту! Что вы на это скажете?

Леон Кутюрье неспешно ответил:

— Это крайность, господин лейтенант! Излишняя жестокость! Мир, Западная Европа не простят вам уничтожения такого количества жизней.

Поручик перегнулся к французу. В глазах его уже было голое безумие. Голос стал острым и ощущался, как вбиваемый гвоздь.

— Струсил? Бульварная душа, соломенные твои ноги! Все вы сопляки! Ублюдочная нация, паровые цыплята! На фонарь вас, к чертовой матери!.. — Он вытер рукой запенившиеся губы. — Черт с тобой! Пойду! Выспаться надо! Завтра еще товарищей в работу брать!..

— Каких товарищей? — спросил Кутюрье.

— Краснопузых... хамов! Легкий разговорчик... Иголки под ноготки, оловца в ноздри... Я — комендант контрразведки! Понимаешь ты, французская блоха!

Поручик горячо дышал перегаром в лицо Леону Кутюрье. Женщина на коленях у француза встрепенулась.

— Ты что так ногой дрожишь, миленький?.. Холодно, что ли?

— Ньет!.. Ти мне томляль нога... Сходит, пожалуст! — ответил сердито француз.

Соболевский посмотрел на женщину, дернулся всем телом и, размахнувшись, сбил со стола бутылки. Пол зазвенел осколками.

— Напился, сукин сын!.. — сказала женщина.

Поручик смотрел на осколки, соображая. И снова нагнулся к французу.

— Ты меня прости, Леончик... Леошка! Ты хороший малый, а я сволочь, палач! Поедем, брат, ко мне на полчасика. Я тебе покажу последнее падение... бездну... Ты Достоевского не знаешь?.. Нет! Ну и не надо!.. А вот посмотришь — и расскажешь во Франции... Скажи им, сукиным детям, что выносят русские офицеры, верные долгу чести и братскому союзу...

— Хорошо... господин лейтенант! Но успокойтесь!.. У вас нервы не в порядке... Я все расскажу... У нас, во Франции, ценят ваше геройство...

— Да... ценят?.. Гнилой шоколад посылают, старые мундиры, снятые с мертвецов? Подлецы они все! Один ты хороший парень, Леоша! Едем!

— Может быть, не стоит, господин лейтенант! Вы устали, нездоровы. Вам нужно серьезно отдохнуть.

— Ну что же, опять струсил?.. Не бойся! Пытать не буду! Я пошутил. Идем, Леончик!.. Тяжело мне!.. Русский офицер, стихи писал, а теперь в палачи записался. Я тебя ликером напою. Зам-мечательный бенедиктин!

— Хорошо!.. Только нужно расплатиться.

— Не беспокойся!

Соболевский позвонил. В двери появился официант.

— Счет завтра в контрразведку! Скобелевская, семнадцать. И катись к матери!

Соболевский подошел к дивану.

— Ну... сиятельные! Довольно вам тут блудить. Марш!

— Ты уезжай, а мы останемся.

— А платить кто будет?

— Деньги есть!

Леон Кутюрье простился с офицерами. В вестибюле Соболевский подошел к телефону.

— В момент машину!.. К «Олимпу»!.. Я жду!

Они вышли на подъезд. Поручик сел на ступеньку, Леон Кутюрье облокотился на перила.

Соболевский долго смотрел на уличные огни. Повернул голову и сказал глухо:

— Леон! Когда-то я был маленьким мальчиком и ходил с мамой в церковь...

Леон Кутюрье не ответил. Из-за угла пугающе-черный и длинный выбросился к подъезду автомобиль. Поручик встал и подсадил француза.

Машина взвыла и бесшумно поплыла по пустым улицам. Резко стала у двухэтажного дома в переулке. С крыльца окликнул часовой.

— Свой!.. Глаза вылезли, черт!.. — крикнул Соболевский и жестом пригласил Леона. Они прошли прихожую и поднялись во второй этаж. Налево по коридору Соболевский постучался. На оклик распахнул дверь.

Из-за стола в глубине слабо освещенной комнаты встал квадратный, широкоплечий, в полковничьих погонах.

— Соболевский... вы? Что за ерунда? — и оборвал, увидев чужого.

Соболевский отступил на шаг и бросил:

— Господин полковник! Позвольте представить вам моего друга... Товарищ Орлов!

— Всегда вы с вашими дурацкими приемами... Тоже японец!.. Джиу-джитсу! Вы его наповал уложили.

— Разве я предполагал, что он, как кенгуру, прыгнет? Сам налетел на кулак. А это уж такой собачий удар под ложечку!

— Лейте воду! Кажется, зашевелился.

— Очнулся! Ничего, оживет!

Орлов медленно и трудно раскрыл глаза. Под ложечкой, при каждом вздохе, жгла и пронизывала вязальными спицами боль. Он застонал.

— Положим на диван! А вы вызовите усиленный конвой.

Орлова подняли. От боли он опять потерял сознание и пришел в себя уже на диване. Над головой, в стеклянном колпачке, горела лампочка и резала глаза.

Отвернулся, увидел комнату, стол. Попытался вспомнить.

Открылась дверь. Весело вошел Соболевский.

— Господин полковник! Позвольте получить с вас десять тысяч. Пари вы проиграли: первого крупного зайца я заполевал.

— Подите к дьяволу!

— Согласитесь, что проиграли.

— Ну и проиграл! Дуракам везет!

— Это устарелая поговорка, господин полковник! Вообще вы для контрразведки не годитесь. Я бы вас держать не стал. У вас устарелые приемы! Ложный классицизм! Вы совершенно не знаете психологии!

— Отстаньте!

— Нет, извините! Мне досадно. Сижу я, талантливый человек, на захудалой должности, а вы — бездарность и вылезли в начальство.

— Поручик!

— Знаю, что не штабс-капитан. А вас бы в прапорщики надо. Тоже хвастал. Приволок смердюка бесштанного... «Орлова арестовал». Ворона безглазая.

— Вы с ума сошли... Сами же радовались...

— Радовался вашей глупости... Ну, думаю, теперь старого Розенбаха в потылицу, а мне повышеньице.

Голос Соболевского стучал нахальством. Полковник промолчал.

— Ну, не будем ссориться, — сказал он заискивающе. — Расскажите толком, как вы умудрились...

— Поймать? Поучиться хотите?.. По чести скажу — случайно. Никаких подозрений сперва... Французик и французик. Играл он здорово! И я с ним запанибрата, даже теорию свою о неграх ему разболтал. Но тут налетел моментик! Женщина выдала, как он секундочку с собой не справился. И меня как осенило. А что, если?.. Вдруг мы прошиблись и действительно не того сцапали? До того взволновался, что пришлось бутылки бить, чтобы отвлечь внимание. И то поверить не мог. Решил затащить его сюда по-приятельски, а здесь проверочку сделать... А он во второй раз не выдержал. Не дерни его нелегкая в бега броситься, так бы шуткой и кончилось!

Орлов скрипнул зубами:

— Сволочь!

— А, мсье Леон! Изволили проснуться? Как почивали?

Орлов не ответил.

— Понимаю! Вы ведь больше по-французски! Чистокровный парижанин? И мамаша ваша тоже ведь парижанка? А Верлена помните? Хороший поэт? Я ему подражал, когда начал стихи писать. Стихи обязательно прочту... Оценишь... сукин сын!

Орлов закрыл глаза. Какая-то оранжевая, в зеленых крапинках, лента упорно сматывалась с огромной быстротой в голове с валика на валик. Вздрогнул и привскочил на диване.

— Благоволите сидеть спокойно, мусью Орлов, — крикнул полковник, подымая парабеллум, — мы вынуждены стеснить свободу ваших движений!

Орлов не слышал. Тупо, без мысли смотрел перед собой. Вспомнилось: Семенухин!.. Разговор! «Я же дал честное слово! Он может подумать, что я!..» Стиснул косточками пальцев виски и закачал головой.

— Что, господин Орлов? Неужели вам не нравится у нас? Не понимаю! Тепло, чисто, уютно, обращение почти вежливое, хотя я должен принести вам извинение за нетактичность поручика, но вы проявили такую способность к головокружительным пируэтам, что пришлось вас удержать первым пришедшим в голову способом.

Орлов отвел руки от лица.

— Вы мразь!.. Я с вами разговаривать не намерен!— крикнул он полковнику.

Полковник пожал плечами.

— За комплимент благодарю! Но разговаривать вам все же придется. Даже против желания. В нашем монастыре свои обычаи!

— Иголки под ногти будешь загонять, гадина?

— Не я, не я! Я совсем не умею. У меня руки дрожат. Зато поручик по этой части виртуоз. Всю иголку сразу и даже не сломает! Сами товарищи удивляются! Вы как предпочитаете, господин Орлов? Холодную иглу или раскаленную? Многие любят раскаленную. Сначала, говорят, больно, зато быстрее немеет.

Орлов молчал. Поручик Соболевский прошелся по комнате.

— Так, мсье Леон? В машину? Да-с, в машину! — Он быстро подошел к Орлову и всадил в его зрачки горящие волчьи глаза. — Прокрутим в кашу, спрессуем и на удобрение! И культурный Запад ничего не скажет. Вырастут колосья, и подадут мне на стол булочку. Булочка свеженькая, тепленькая, пушистая, вкусная! А почему? Потому что не на немецком каком-то суперфосфате выросла, а на живой кровушке!

Поручик вихлялся и шипел змеиным, рвущим уши шипом.

Орлов вытянулся и бешено плюнул.

Соболевский отскочил и, выругавшись, занес руку, но полковник перехватил удар.

— Ну вас! Оставьте! У вас, поручик, такой дробительный кулак, что вы господина Орлова можете убить, а это совсем не в наших интересах. Самое забавное впереди.

— Сука!— сказал поручик, вырвавшись. — Пойду умоюсь.

— Да, вот что! Распорядитесь освободить этого олуха Емельчука, киперативного. Напрасно помяли парня.

— О, у вас даже освобождают? Какой прогресс! — сказал Орлов.

— Не извольте беспокоиться. Вас не выпустим.

Орлов пошарил по карманам. Папирос не оказалось.

— Дайте папиросу!

— Милости прошу!

Полковник поднес портсигар. Орлов взял и вывернул все папиросы себе на ладонь.

— Ах, какой вы недобрый! Мне ничего не оставили?

— Наворуете еще! А мне курить надо!

— А вы мне, ей-ей, нравитесь! Люблю хладнокровных людей!

— Ну и заткнитесь! Нечего языком трепать!

— Ах, какая непарижская фраза! Вы себя компрометируете! А сознайтесь, что я свою разведочку поставил неплохо. Не хуже вашей чека.

Орлов взглянул в ласково прищуренные зрачки полковника.

Облокотился на спинку дивана и процедил сквозь зубы:

— К сожалению, должен согласиться с поручиком Соболевским, что вы старый идиот, которого держат, очевидно, из жалости.

Полковник налился до кончика носа малиновым соком.

— Ты еще дерзости будешь говорить, мерзавец! Довольно! Я тебе покажу! Сейчас сообщу командующему — и в работу.

Он взял телефонную трубку. Вернулся в комнату Соболевский.

— Алло! Штаб командующего! Начразведки. Слушаю-с!

— Конвой готов? — бросил он Соболевскому в ожидании ответа.

— Готов, господин полковник!

— Да. Слушаю. Ваше превосходительство? Доношу, что Орлов арестован. Да. Сегодня. Нет... Действительно ошибка... Невероятное сходство... Так точно... Арестован поручиком Соболевским... Слушаю... Да... Да. Почему, ваше превосходительство... ведь мы?.. Слушаю, слушаю! Будет исполнено, ваше превосходительство! Счастливо оставаться, ваше превосходительство!

Он злобно швырнул трубку.

— У, черт!

— Что такое? — спросил Соболевский.

— У нас его отбирают.

— Куда?

— К капитану Тумановичу. В особую комиссию.

— Но почему? Ведь это же свинство!

— Известное дело! Туманович в великие люди лезет. Сволочь... налет.

Полковник высморкался длительно и громко.

— Жаль, жаль, господин Орлов! Вам очень везет.

Придется вас отправить к капитану Тумановичу. Очень жаль! Капитан слишком европеец и слишком держится за всякие там процессуальные нормы. Ничего он с вами не сделает, так и отправит вас в расход, не узнав ни гу-гу. А мы бы из вас все вытянули — потихоньку, полегоньку, любовно. Все бы высосали — по капельке. Ничего не поделаешь. Скачи, враже, як пан каже. До утра вы все же погостите у нас, а то ночью отправлять вас опасно. Человек вы отчаянный. Досадно только, что не придется с вами за старого идиота посчитаться... Поручик, проведите господина Орлова.

АРИЯ ЛИЗЫ

Мадам Марго вышла к обеду немного взволнованная.

— Анна Андреевна, знаете, не могу понять, почему Леона до сих пор нет?

— Ничего, Марго! Не волнуйтесь! Задержался по делам или зашел к знакомым.

— Не думаю. И потом он всегда предупреждает меня, если не рассчитывает скоро вернуться.

Доктор Соковнин разгладил бороду над тарелкой супа.

— Эх, голубушка! Куриный переполох начинаете! Вздор-с! Нервы-с! Леон ваш чересчур примерный муженек и избаловал вас. Нашему брату иногда немножко воли нужно давать. Вот когда женился я на Анне, от любви ходу мне никакого не было. На полчаса запоздаешь — дома слезы, горе. А в нашем докторском деле извольте аккуратность соблюсти! Ну-с, вот однажды я и удрал штуку. Ушел утром из дому. «Пойду, говорю, газету купить». Вышел и пропал. Через трое суток только и объявился. Тут истерика, дым коромыслом, полицию всю на ноги подняли, всю реку драгами прошли, все мертвецкие обегали. А я у приятеля-помещика в пятнадцати верстах рыбку ловлю. С той поры как рукой сняло. Больше суток могу пропадать без волнения. Так и вам надо.

Анна Андреевна засмеялась.

— Хорош был, когда вернулся! Нос красный, водкой пахнет. Посмотрела я и подумала: «Это из-за такого сокровища я себе здоровье порчу? Да пропади хоть совсем, не пошевельнусь».

Но старания хозяев развеселить Марго не удавались. Артистка нервничала и томилась.

— Но уж если, голубушка, вы так беспокоитесь, я пройду в полицию. У меня там старый приятель есть. При всех режимах от меня спирт получает и за сие мелкие услуги оказывает.

Марго встрепенулась от оцепенения.

— Ах, нет, доктор. Только, пожалуйста, не полиция. Ненавижу русскую полицию. Вымогатели! Пойдут таскаться! Не нужно! Если утром не вернется, тогда примем меры. А сейчас нужно повеселиться. Хотите, спою?

— Обрадуйте, милуша! Люблю очень, когда вы соловушкой заливаетесь.

Маргарита села к роялю.

— Что же спеть? Приказывайте, доктор!

— Ну, уж если вы такая добренькая сегодня, спойте арию Лизы у Канавки. Ужасно люблю. Еще студентом ладошки себе отхлопывал на галерке.

Марго раскрыла ноты.

Рокоча пролились стеклянные волны рояля.

Доктор уткнулся в кресло. Анна Андреевна тихонько мыла стаканы.

Ночью ли, днем
Только о нем
Думой себя истерзала я...

Прозрачный голос замутился, затрепетал:

Туча пришла,
Гром принесла,
Счастье, надежды разбила...

Внезапно перестали падать стеклянные волны.

Марго захлопнула крышку и хрустнула пальцами. Доктор вскочил.

— Марго, родненькая!.. Что с вами? Успокойтесь! Анна, неси валерьянку!

Но Марго оправилась. Поднялась бледная, сжав губы.

— Нет! Нет! Ничего не надо, спасибо! Мне очень тяжело. Такое ужасное время. Мне всякие ужасы чудятся. Извините, я пойду прилягу.

Доктор довел ее до комнаты. Вернулся в столовую.

— Молодо-зелено,— сказал он на вопросительный

взгляд жены, — трогательно видеть такую любовь! Эх-хе-хе!

Он взял газету. Открыл любимый отдел — местная хроника и происшествия. Сощурился.

— Знаешь, Орлов арестован, Анна.

— Какой Орлов?

— Да наш чекист знаменитый!

— Что ты говоришь?

— Представь себе! Поймали вчера на вокзале. Понесу-ка газету Маргоше. Пусть отвлечется немножко.

Мягко ступая войлочными туфлями, доктор подошел к двери и постучал.

— Вот, голубка, возьмите газетку. Развлекитесь немножко злободневностью.

Высунувшаяся в дверь рука артистки взяла газету.

Доктор ушел. Бэла подошла к столику и небрежно бросила газету. Грязноватый лист перевернулся, и среди мелких строчек выросло:

«АРЕСТ ОРЛОВА»

Бэла не сделала ни одного движения. Только руки ухватились за столик. Буквы заползали червями. Она села, закрыв глаза.

Вдруг вскочила и схватила лист.

«Как вчера? Вчера, 14-го... Вчера? Но вчера Орлов был дома, и сегодня утром он еще был дома... Что за чепуха!.. Но ведь его нет! Нужно не медлить. Сейчас же к Семенухину!»

Пальцы рвали пуговицы мохнатого пальто. Трудно было надеть модную широкую шляпу: она все время лезла набок.

Бэла выбежала в переднюю. Встретила доктора.

— Вы куда, Марго?

— Ах, я не могу сидеть дома,— почти простонала Бэла.— Я уверена, что Леон у одного знакомого. Поеду туда! Если даже не застану, мне на людях будет легче.

— Ну, ну! Дай бог! Только не расстраивайтесь вы так. Ничего с ним не случится. Не убьют и не арестуют, как Орлова.

Бэла нашла силы, чтоб ответить смеясь:

— Бог мой, какое сравнение! Леон же не большевик.

На улице вскочила в пролетку. Извозчик ехал невыносимо медленно и все время пытался разговориться:

— Я так, барыня, думаю насчет властев, что всякая власть, она чистая сволота, значит. Потому, как, скажем, невозможно, чтоб всех людей заделать министрами, и потому всегда недовольствие будет и, следовательно, властев резать будут...

— Да поезжайте вы без разговоров! — крикнула Бэла.

КАПИТАН ТУМАНОВИЧ

Люди на улицах с удивлением наблюдали утром, как десять солдат, с винтовками наперевес, вели по мостовой, грубо сгоняя встречных с дороги, хорошо одетого человека, шедшего спокойно и с достоинством.

Арестованный был необычен для белых. Люди уже твердо привыкли, что при большевиках водят в чеку почтенных людей, а при добровольцах — замусленных и закопченных рабочих или курчавых мальчиков и стриженых девочек.

Поэтому праздные обыватели пытались спрашивать у солдат о таинственном преступнике, но солдаты молча тыкали штыками или грубо матерились.

Конвой свернул в переулок. Орлов, выспавшийся и пришедший в себя, зорко осмотрел дом. Его ввели в парадное, заставили подняться по лестнице и в маленькой комнатке с ободранными обоями сдали под расписку черноглазому хорошенькому прапорщику.

Посадили на скамью, рядом стали двое часовых. Прапорщик, очевидно, новичок, с волнением и сожалением посмотрел на него.

— Как же вас угораздило так вляпаться? Ай-яй!..— сказал он почти грустно.

Орлов посмотрел на него, и его тронуло мальчишеское сочувствие.

— Ничего! Бывает! Я долго здесь не останусь!

Прапорщик удивился.

— Что, вы хотите удрать? Ну, у нас не удерешь. У нас дело поставлено прочно! — сказал он с такой же мальчишеской гордостью. — Не нужно было попадаться! Сейчас доложу о вас капитану Тумановичу!

Орлов осмотрелся. В комнате стоял письменный стол, два разбитых шкафа, несколько стульев и скамья, на которой он сидел. Окно упиралось в глухой кирпичный

брандмауэр. Он хотел подняться и посмотреть, но часовой нажал ему на плечо.

— Цыц! Сиди смирно, сволочь!

Орлов закусил губу и сел. Через несколько минут прапорщик вернулся.

— Отведите в кабинет капитана Тумановича!

Солдаты повели по длинному пыльному коридору, и Орлов внимательно считал количество дверей и повороты. Наконец часовой раскрыл перед ним дверь, на которой висела табличка с кривыми, наспех написанными рыжими чернилами буквами:

СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ
КАПИТАН ТУМАНОВИЧ

Капитан Туманович неспешно и размеренно ходил по комнате из угла в угол и остановился на полдороге, увидя входивших.

Он подошел к столу, сел, положил перед собой лист бумаги и тогда сказал часовым:

— Выйдите и встаньте за дверью.— И, обращаясь к Орлову:— Вы бывший председатель губчека Орлов?

Орлов молча придвинул стул и сел. У капитана дрогнула бровь.

— Кажется, я не просил вас садиться?

— Плевать мне на вашу просьбу! — резко сказал Орлов. — Я устал!

Он положил локти на стол и начал в упор разглядывать капитана.

У Тумановича было вытянутое исхудалое лицо, высокий желтоватый прозрачный лоб и игольчатые, ледяные синие глаза. Левая бровь часто и неприятно дергалась нервным тиком.

— Я мог бы заставить вас уважать мои требования,— сказал он холодно, — но, впрочем, это не имеет значения. Будьте любезны отвечать: вы Орлов?

— Во избежание лишних разговоров считаю нужным довести до вашего сведения, что ни на какие вопросы я отвечать не буду! Напрасно трудитесь!

Туманович вписал быстро несколько строк в протокол допроса и равнодушно вскинул на Орлова синие ледяшки глаз.

— Это мною предусмотрено! Собственно говоря, я не рассчитываю допрашивать вас в том смысле, как это принято понимать. Довольно глупо было бы ожидать, что

вы заговорите. Но это — необходимая формальность. Мы действуем на строгом основании процессуальных норм.

Он помолчал, как бы ожидая возражения. Орлов вспомнил слова полковника и едва заметно улыбнулся.

Капитан слегка покраснел.

— Единственно, чего судебная власть, представляемая в данном случае мною, ожидает от вас, это некоторой помощи. Нами арестованы, кроме вас, еще несколько сотрудников губчека. Часть их захвачена в эшелоне, ушедшем в утро занятия города. Все они предстанут перед судом. Чтобы разобраться в обвинительном материале, мы находим полезным ознакомить вас с ним, и вы, надеюсь, не откажете сообщить, что в нем факты и что вымысел.

— Не беспокойтесь, капитан... Я не имею ни малейшего желания знакомиться с этим материалом.

— Но подумайте, господин Орлов! Могут быть ошибки, могут быть обвинения, возведенные на почве личных счетов. Время сумбурное. Проверить фактически нет возможности. Установив, где правда и где ложь, вы можете облегчить судьбу тех из ваших сотрудников, над которыми тяготеют ложные обвинения.

Орлов пожал плечами.

— Мне очень печально, капитан, что я причиняю вам такое огорчение. Но неужели вы думаете поймать меня на эту удочку? Все обвинения, которые я буду отрицать, будут, конечно, посчитаны, за действительные... Я думал, вы мыслите более логично!

Капитан опять покраснел и завертел ручку в худых пальцах.

— Вы не хотите понять меня, господин Орлов! Вы все еще считаете себя во власти контрразведки. Но вы не правы! Мы могли бы заставить вас говорить. Для этого есть средства, правда выходящие из рамок законности, но ведь вся наша эпоха несколько выходит из рамок законности. Но я юрист, я мыслю юридически, я связан понятиями этики права и категорически осуждаю методы полковника Розенбаха.

— Особенно после того, как полковник Розенбах доставил меня в ваши руки? Какой подлостью нужно обладать, чтобы сказать спокойно такую фразу!

Туманович стиснул ручку в пальцах так, что она затрещала.

— Хорошо! Значит, вы ничего не скажете! Тогда я перейду к вопросу, лично меня интересующему. До сих пор мне приходилось иметь дело только с двумя категориями ваших единомышленников: первая — мелкий уголовный элемент, видящий в поддержке вашего режима удобнейшее средство легкой наживы; вторая — бывшие люди физического труда, в большинстве случаев хорошие малые, но опьяневшие до потери мышления от хмеля ваших посулов, одураченные. Те и другие малоинтересны. В вашем лице мне впервые приходится столкнуться с крупным теоретиком и практиком вашего режима, и я затрудняюсь уяснить себе — к какой же категории принадлежите вы, руководители и вожди?

— Меня тоже интересует, к какой категории вашего режима отнести вас, капитан: к крупноуголовной или одураченной? — грубо и со злобой спросил Орлов.

— Зачем вы стараетесь оскорбить меня, господин Орлов? Вы ведь видите ясно, надеюсь, разницу между тем обращением, которое вы испытали в контрразведке и здесь. Я больше не допрашиваю вас, как следователь. Я интересуюсь вами, как явлением, психологическая база которого для меня загадочна. Неужели на эту тему мы не можем говорить спокойно — для выяснения вопроса?

— Я считал вас умнее, капитан! Я не игрушка для вас, еще меньше я гожусь для роли толкователя ваших недоумений, особенно в моем положении. Отсюда вы пойдете домой обедать, а меня в виде благодарности за лекцию отошлете к стенке! Нам не о чем говорить! Я прошу вас кончить!

— Одну минутку,— сказал Туманович, — мне хочется знать, — поверьте, что это мне крайне важно, — действительно ли вы верите в осуществимость выброшенных вами лозунгов, или... это бесшабашный авантюризм?

— Вы это скоро узнаете, господин капитан, на собственном опыте. Здесь же, в этом городе, через два-три месяца, когда камни мостовых будут слать в вас пули.

— Значит, организация у вас здесь продолжает работать?— спросил, прищурившись, капитан.

Орлов засмеялся.

— Хотите поймать на слове? Да, капитан, работает и будет работать. Хотите знать, где она? Везде! В домах, на улицах, в воздухе, в этих стенах, в сукне на

вашем столе. Не смотрите на сукно с испугом! Она невидима! Эти камни, известка, сукно пропитаны потом и кровью тех, кто их делал, и они смертельно ненавидят, да, эти мертвые вещи живо и смертельно ненавидят тех, кому они должны служить. И они уничтожат вас, они вернутся к настоящим хозяевам-творцам! Это будет ваш последний день.

Туманович с интересом взглянул на Орлова.

— Вы хорошо говорите, господин Орлов! Вы, наверное, умеете захватывать массы. Ваша речь образна и прекрасна. Нет... нет, я не смеюсь! И вы очень твердый человек. Я чувствую в вас подлинный огонь и огромную внутреннюю силу. С точки зрения моих убеждений — вы заслужили смерть. Думаю, вы сказали бы мне то же, если бы я был в ваших руках. Око за око и зуб за зуб! Из уважения к масштабу вашей личности я приложу все усилия, чтобы ваша смерть была легкой и не сопровождалась теми переживаниями, которые, к сожалению, вынуждены переносить у нас люди, отказывающиеся от дачи показаний. Я мог бы немедленно, ввиду ваших слов, отослать вас в сад пыток полковника Розенбаха. Но вы Орлов, а вот передо мной выдержка из агентурных сведений: «Орлов Дмитрий. Партиец с шестого года. Фанатичен. Огромное хладнокровие, до дерзости смел. Чрезвычайно опасный агитатор. Исключительная честность». Видите, какая полнота!

Капитан позвал часовых.

— До свидания, господин Орлов!

— До свиданья, капитан! Надеюсь, нам не долго встречаться!

ДВЕ СТРАНИЦЫ

Химическим карандашом. Листки в клеточку из блокнота:

— Сколько здесь крыс!.. Голохвостые, облезлые, чрезвычайно важные.

Иногда собираются в кружок, штук по десяти, гордо встают на задние лапы и пищат...

Тогда... (несколько слов не разобрано) и кажется, что это деловое собрание чинных сановников, департамент крысиного государственного совета.

Пишу при спичках... Освещения никакого...

...по всей вероятности, эти листки пойдут в практическое употребление и не выйдут из стен...

На всякий случай...

Константин... Ты помнишь сегодняшний разговор... (не разобрано).

...убедился, что силы, даже мои, имеют какой-то предел. Для какого черта нервы?.. Поручик Соболевский, который арестовал меня, говорит: «Врачи будут вырезать ту часть мозга, где гнездится дух протеста, революция».

Нужно вырезать нервы, которые... (не разобрано), усталость и ослабление воли. Я говорил, что после внешнего толчка, нанесенного лжеарестом, я потерял управление волей.

Лицом можно владеть всегда, тело может изменить...

Я знаю, ты думаешь... не сдержал слова, сдался добровольно...

Вздор.. Нет и нет. Глупую вспышку мгновенно забыл. Попался случайно... Идиотски...

...(не разобрано) мороженого, услыхал, офицеришка рассказывал, как арестовали моего двойника... Нужно было узнать до конца... возможность устроить побег. Хотел узнать, где сидит этот лопоухий...

...(не разобрано) не знали. «Он вам поможет...»

Знаешь, кого я узнал?.. Помнишь Севастополь, отступление... Помнишь офицера, который на твоих и моих глазах застрелил на улице Олега?.. Да... Тогда его звали Корневым... у них в контрразведке тоже псевдонимы.

...не удержался... Сидел против него и думал: «Нашел и не выпущу»... Тянуло, как комара на огонь. В обычном состоянии ушел бы... Тут не мог — отрава в сознании, что он в моих руках. И когда пьяный предложил ехать с ним в разведку... поехал... Теперь вспоминаю: заметив мое волнение, он сбил со стола бутылки. Тогда прошло мимо... сознание, воля ослабели...

...думал, действительно пьян, высосу из него все... Даже думал о его последней минуте.

...(не разобрано), что паршивая жизнь дрянного контрразведчика не нужна, не изменит ничего... Это и есть следствие нервов... схватили, как цыпленка.

...дешево не отдамся... еще не потеряно. Бежали из худших положений. Почти уверен, — скоро увидимся и пишу так... на всякий случай.

Запомни все же фамилию: Соболевский... В последние минуты организуй, чтобы не ушел... Ты помнишь голову Олега на тротуаре, кровь, серые и розовые брызги?.. Вот!

Прекрасный артист... Переиграл меня... Правда: нервы, но это не оправдание.

...(не разобрано) судьба Б... Хорошая девочка, но экспансивна, не станет подлинной партийкой... Если попалась, приложи все силы... (не разобрано) выручить...

... (не разобрано) завтра... (не разобрано)... озаботься, чтобы при нас тюрьму почистили... здесь страшное свинство... (разобрано с трудом).

Спички кончились... Тьма египетская, все равно ничего не разберешь...»

ОТРЕЧЕНИЕ

На углу Бэла отпустила извозчика. Бежала по глухой окраинной улице.

Поднявшийся ветер рвал шляпу, забирался леденящими струйками под пальто.

Кто-то проходивший нагнулся, заглянул под шляпку. Сказал вслух:

— Хорошенькая цыпка, — и повернул вслед.

Бэла остановилась. Преследующий подошел, увидел глаза, переполненные тоской и презрением.

— Я требую, чтобы вы оставили меня в покое!..

Смешался.

— Простите, сударыня! Я не знал!..

Приподнял шляпу и ушел. Бэла дрожа вскочила в калитку, пробежала садиком.

На условленный стук открыл Семенухин со свечой. В другой руке (было ясно) держал за спиной револьвер. Глаза круглились, и в них металось тревожное пламя свечи.

—Бэла?.. К-каким в-ветром?.. Что-ниб-будь случилось?

— Орлов!..

— Тсс! Идите в к-комнату. Скорее!.. Ну, в ч-чем дело?

— Орлов... арестован!

Семенухин схватил руки. Бэла вскрикнула.

— Ай!.. Мне же больно!

Опомнился, выпустил руки.

Спросил глухо и зло:

— Где, к-как?..

— Я ничего не знаю... Тут какое-то недоразумение... Вот газета. Сказано вчера, но сегодня утром он был дома... Я не понимаю... Но он сказал, что будет дома в семь вечера. До десяти не было. Я не могла!.. Поехала к вам!

Семенухин швырнул протянутую газету. Помолчал.

— Я эт-то ч-читал! Но с-сегодня п-после эт-того он б-был здесь у меня. Неужели?..

Увидел, что Бэла, задыхаясь, прислонилась к стене... Едва успел подхватить и посадить на стул.

Спокойно налил воды в стакан, набрал в рот и прыснул в лицо. Щеки медленно порозовели.

— Ну, оч-чнитесь! Нельзя т-так! Оставайтесь ночевать здесь! На квартиру в-вам ни в коем с-случае нельзя в-возвращаться. Я с-сейчас уйду. Нужно срочно в-выяснить. Если т-только!.. — Семенухин сжал кулаки и остановился.

Набросил пальто и ушел.

. . . .

Утром Бэлу разбудил его голос, странный, твердый, как палка.

— Вст-тавайте! Я узнал! Арест-тован в-вчера вечером. Я т-так и думал. Имейте в виду, — он остановился и взглянул прямо в глубь глаз Бэлы,— что Орлов б-больше не с-существует ни для в-вас, ни для меня, ни для п-партии. Он совершил п-предательство.

Бэла смотрела непонимающими глазами.

— Да, п-предательство!.. Он б-был вчера у м-меня и заявил, что сдастся, чтоб-бы сп-пасти эт-того арест-тованного муж-жика. Я зап-претил ему от имени партии и ревкома. Он дал ч-честное слово и нарушил его. Он п-предатель, и мы вычеркиваем его!..

Бэла поднялась.

— Орлов сдался?.. Сам?.. Не поверю! Этого не может быть!

— Я лгать не с-стану. Мне это т-тяжелей, чем вам.

Бэла вспыхнула.

— Вы, Семенухин, дерево, машина!.. Я не могу!.. Поймите. Я... люблю его! Я для него пошла на это... на возможность провала... на верную смерть.

— Тт-тем хуже,— спокойно ответил Семенухин,— оч-чень жаль, чт-то вы избрали себе т-такой объект. Сейчас я с-созову экстренное соб-брание ревкома для суда над Орловым... П-партии не нужны слаб-бодушные Маниловы. Вот!

Бэла спросила, задохнувшись:

— Это правда?.. Вы не шутите, Семенухин?

— Мне к-кажется, время не для шут-ток!

Бэла отошла к окну. По вздрагиваниям спины Семенухин видел, что она плачет.

Но молчал каменным молчанием.

Наконец Бэла повернулась. Слезы заливали глаза.

— Что?— спросил Семенухин.

И сам вздрогнул, услыхав напряженный, тугой и неломкий голос:

— Если это правда... я отказываюсь!.. Я презираю свою любовь!

ГОСПОМИЛУЙ

Капитан Туманович пришел в комиссию вечером и, взявши ручку, раскрыл дело «Особой Комиссии по расследованию зверств большевиков при Верховном Главнокомандующем вооруженными силами Юга России».

Уверенным, круглым и размашистым почерком вписал несколько строк, потом отложил перо, рассеянно поглядел в синюю муть окна и, подвинув удобнее стул, стал писать заключение.

Тонкий нос капитана вытянулся над бумагой, и стал он похож на хитрого муравьеда, разрывающего муравьиную кучу.

Когда скользили из-под прилежного пера последние строки, в дверь осторожно постучались. Капитан не слыхал. Стук повторился.

Туманович нехотя оторвался, и синие ледяшки были одно мгновение тусклыми и непонимающими.

— Войдите, — сказал он, наконец.

Вошедший прапорщик приложил руку к козырьку и сказал с таинственностью романтического злодея:

— Господин капитан, арестованный Орлов доставлен по вашему приказанию.

— Приведите сюда... И, пожалуйста, приведите сами. Вчера солдаты завоняли весь кабинет махоркой, а я совершенно не переношу этого аромата. Будьте добры и не обижайтесь.

Орлов сидел в приемной на скамье. Солдаты двинулись вести его, но прапорщик взял у одного винтовку.

— Я сам отведу! Пожалуйте, господин Орлов!

Они вышли в коридор.

— Видите, какой почетный караул, —конфузясь, сказал прапорщик, — капитан приказал. — И добавил смешливо:— Ну как, вы еще не надумали удрать?

— Для вашего удовольствия постараюсь не задержать.

— Ах, мне очень хотелось бы посмотреть!.. Вы знаете, по секрету, ей-богу, я даже хотел бы, чтоб у вас это вышло. Я очень люблю такие штуки!

Орлов засмеялся.

— Хорошо! Я вас не обижу! Будете довольны!

В кабинете Туманович подал Орлову лист бумаги и перо.

— Я вызвал вас только на минуту. Распишитесь, что вы читали заключение.

— Какое?

— Следственное заключение.

— И только?.. А если я не желаю?

Туманович пожал плечами.

— Как хотите! Это нужно для формальности.

Орлов молча черкнул фамилию под заключением.

— Все?

— Все! Прапорщик! Уведите арестованного!

Фраза, брошенная прапорщиком на ходу в коридоре, всколыхнула Орлова.

И, выходя из кабинета капитана, он успокаивал себя, сжимая волю в тугую пружину.

В длинном коридоре было три поворота между комнатой прапорщика и кабинетом Тумановича. Тускло горела в середине засиженная мухами лампочка.

Орлов неспешно шел впереди прапорщика. Поравнялся с лампочкой.

Мгновенный поворот... Винтовка вылетела из рук

офицера, перевернулась, и штык уперся в горло, притиснув прапорщика, слабо пискнувшего, к стене.

— Молчать!.. Ни звука!.. Веди к выходу или подохнешь!

— На улице часовые, — шепнул офицер.

— Веди во двор! Хотел видеть, как удеру, — получай!

Прапорщик отделился от стены. Губы у него дрожали, но улыбались. На цыпочках он двинулся по коридору, чувствуя спиной тонкое острие под лопаткой.

Один поворот, другой. Почти полная темнота, смутно белеет дверь.

Орлов глубоко вздохнул.

— Здесь, — сказал прапорщик, берясь за ручку.

Дверь распахнулась мгновенно, блеснул яркий свет. Орлов увидел мельком маленькую уборную, стульчак и раковину.

И, прежде чем он успел опомниться, дверь захлопнулась за офицером и резко щелкнула задвижка.

Он оказался один в темноте коридора, обманутый, не зная, куда идти.

Из уборной ни звука.

Орлов тихо выругался и бросился назад, сжимая винтовку и прижимаясь к стене. Где-то хлопнула дверь, и он замер на месте.

В ту же минуту за его спиной оглушительно грохнуло, и, обернувшись, он увидел в двери уборной маленькую светящуюся дырочку.

Грохнуло второй раз.

И сразу захлопали двери в коридоре и забоцали бегущие шаги.

Тогда, вскинув винтовку, Орлов яростно крикнул:

— А, сволочь!.. Подыхай же в сортире!

И, спокойно целясь, выпустил все четыре патрона в дверь уборной, вздрагивая от невероятно гулких ударов винтовки в глухом коридоре.

Кто-то налетел сзади, схватил за руки. Орлов рванулся, но сейчас же треснули тяжелым по голове, и он упал на грязный пол, ударившись челюстью.

Тяжелый сапог наступил ему на затылок, другой уперся в живот.

Кто-то кричал:

— Веревку... тащи веревку!

Его держали три человека; врезаясь в руки и ноги, опутывала жесткая веревка.

Подняли и посадили, прислонив к стене.

— Где Терещенко?— спросил высокий офицер.

— Черт его знает! Ничего тут не разберешь в темноте! Наверно, он его прихлопнул! У кого спички?

— На́ зажигалку.

— Нету!.. Нигде!..

— Да он в ватере!.. Смотри, дверь прострелена!..

— Ах ты черт!.. Убил мальчишку!

Высокий перепрыгнул через Орлова и рванул дверь уборной.

Она затрещала и подалась.

— Дергай сильнее!

Высокий рванул еще, задвижка не выдержала, и дверь с грохотом вылетела, хлопнувшись о стену.

На смывном баке, под потолком, поджав ноги, вытянув руку с браунингом, вцепившись другой в водопроводную трубу, сидел черноглазый прапорщик с мертвенно-бледным лицом, дрожащей челюстью и ошалелыми, бессмысленными зрачками.

Губы его непрерывно и быстро шевелились, и замолкшие в коридоре явственно услыхали безостановочное бормотание:

— Господи помилуй... госпомилуй... госпомилуй... госпомилуй!

— Опупел парень!— сказал один из офицеров. — Терещенко! Слезай, черт тебя подери!

Но прапорщик продолжал шептать, и вдруг офицеры оглянулись с испугом на лающие звуки.

Приткнувшись к стене коридора, неподвижно сидел Орлов и неудержимо хохотал.

— Здорово!.. Теперь и этот свернулся!..

— В чем дело?.. Что вы тут возитесь? Снимите прапорщика с его фортеции! Молодец! Догадался на бак влезть! А господина Орлова ко мне!

Капитан Туманович пошел к себе. Два офицера подняли Орлова и, пронеся по коридору, втащили в кабинет.

— Посадите на стул!.. Вот так! Можете идти! Выпейте воды, господин Орлов.

Капитан налил воды и поднес к губам Орлова.

Он с жадностью выпил, все еще вздрагивая от смеха.

— Однако вы человек исключительной смелости и решительности! Не будь, по счастию, этот милый юноша столь сметливым, задали бы вы работку полковнику Розенбаху. Второй раз уже, наверное, не пришлось бы мне с вами увидеться. Хорошо было задумано, господин Орлов!

— Идите к черту,— отрезал Орлов.

— Нет!.. Я совершенно серьезно и, кроме того...

На столе загнусил полевой телефон. Капитан снял трубку.

«К СОЖАЛЕНИЮ, НЕВОЗМОЖНО»

— Слушаю.

Трубка затрещала в ухо, и Туманович узнал ласковый барский баритон адъютанта комкора, корнета Хрущова.

— Туманович, собачья душа! Это ты?

— Я... Ты что в такую пору?

— Погоди, все по порядку. С Маем припадок. Как в Гишпании на арене, озверел и землю рогами роет. Никому подойти невозможно, даже коньяк боятся денщики внести. «Убьет»,— говорят.

— Да почему?

— Два несчастья, брат, сразу. Во-первых, сегодня его пассия эта, ну, знаешь, Лелька, сперла бриллианты и деньги и дала драпу, и предполагают, что со Снятковским... Он и осатанел. А второе, получили радио, что дивизия Чернецова обделалась под Михайловским хутором, и сам Чернецов... ау!

— Убит?

— Нет!... Есть сведения, что в плену. Большевики предлагают обмен. Начальник штаба предложил Маю устроить обмен Чернецова на твоего гуся. Май и согласился. Так что прими официально телефонограмму.

Капитан оглянулся на Орлова. Арестованный сидел, полузакрыв глаза, усталый и потрясенный.

Туманович пожал плечами и бросил в трубку четко, напирая на слова:

— Передай его превосходительству, что вследствие новых обстоятельств это предложение невыполнимо, так как только что, — капитан снова оглянулся на Орло-

ва, — арестованный Орлов покушался на побег и убийство прапорщика Терещенко.

Орлов приподнялся.

— Фьить, — просвистела трубка, — здорово! Ну, а как же быть с Чернецовым?

— Найдем другого для обмена. А если Чернецова «товарищи» и спишут в расход, то, право же, большой беды не будет! Несколько тысяч комплектов обмундирования останутся нераскраденными.

— Пожалуй, ты прав... Сейчас доложу Маю, — сказал корнет, — ты жди!

Капитан положил трубку.

— Однако вы беспощадны к своим соратникам, — сказал Орлов.

Синие ледяшки капитана обдали Орлова злым холодком.

— Я вообще не щажу преступников, где бы и кто бы они ни были. Это только у вас: кто больше ворует, тот выше залезает!

— У вас неправильная информация, капитан, — усмехнулся Орлов.

— Может быть. А вот вы сами себе подгадили...

— Чем?

— Не устрой вы этой штуки с побегом, могли бы словчиться в обмен. Теперь же я буду категорически настаивать на скорейшей ликвидации вас.

— Чрезвычайно вам признателен!

Телефон опять запел гнусавую песенку:

— Да... Слушаю! Так!.. Я так и думал! Сейчас будет сделано! Да... да! До свиданья! Нет, в театр не поеду: не до того!

Капитан обернулся к Орлову.

— Генерал утвердил предание вас военно-полевому суду. Сейчас вас отправят в камеру. Моя роль окончена! Прощайте, господин Орлов!

ПРОСТАЯ ВЕЩЬ

Военно-полевой суд заседал полчаса.

Председательствовавший полковник пошептался с членами суда, прокашлялся и лениво прочел:

— «По указу Верховного Главнокомандующего воен-

по-полевой суд Н-го корпуса, заслушав дело о мещанине Дмитрии Орлове, члене партии большевиков, бывшем председателе губернской чрезвычайной комиссии, тридцати двух лет, по обвинению вышеозначенного Орлова... постановил: подсудимого Орлова подвергнуть смертной казни через повешение. Приговор подлежит исполнению в двадцать четыре часа. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».

Орлов равнодушно прослушал приговор и бросил только коротко:

— Прослушал с удовольствием...

Его отвезли в камеру. До ночи он сидел спокойно и безучастно.

Но лихорадочно бились в черепной коробке мысли, и он обдумывал возможность побега по дороге к месту казни.

«Один раз бежал так в Казани... Прямо из петли. Ну и теперь глупо гибнуть... как баран».

Он злобно выругался.

Заходил по камере и вдруг услышал в коридоре шаги и голоса. Опять томительно завизжала дверь, и в камеру хлынул золотой свет фонаря.

— Останьтесь здесь! Я скоро выйду!.. — услыхал он знакомый, как показалось, голос, и в камеру вошел человек. Лицо его было в тени от фонаря, и только когда он сказал: «Господин Орлов!» — Орлов узнал капитана Тумановича.

Темная буря ярости заклокотала в нем. Он шагнул к капитану:

— Какого черта вам надо? Что вы тычете сюда свою иезуитскую рожу? Убирайтесь к..!

Капитан спокойно поставил фонарь на пол.

— Всего несколько минут, господин Орлов. Я пришел сюда, найдя официальный предлог, выяснение одной детали. Но суть вовсе не в этом. Могу сообщить вам, что генерал утвердил приговор. Он только заменил повешение расстрелом, так как ему влетело на днях от верховного за висельничество. Но это ничего не меняет.

— Так что же? Вы явились лично исполнить приговор?

— Бросьте дерзости, господин Орлов. Совсем не для этого я пришел к вам. Повторяю, что говорил: с точки зрения моей законности, вы заслужили смерть. Я очень

сожалел бы, если бы пришлось обменять вас на старого казнокрада Чернецова, ибо дарить жизнь такому врагу — величайшая политическая ошибка. Теперь ваша судьба решена бесповоротно. Но вспомните, я обещал вам легкую смерть. Мне неприятно, что вы станете мишенью для делающих под себя от страха стрелков... Берите!..

Капитан протянул руку. Тускло сверкнул стеклянный пузырек.

Неожиданно взволнованный, Орлов схватил пузырек.

Оба молчали. Капитан наклонил голову.

— Прощайте, господин Орлов!

Но Орлов вплотную подошел к нему и сунул пузырек обратно.

— Не нужно!— сказал он полнозвучным и недрогнувшим голосом.

— Почему?..

— О господин капитан! Я вам весьма обязан за вашу любезность, но не воспользуюсь ею. Я переиграл, как дурак попался в лапы вашим прохвостам и не смог выполнить порученное мне партией дело, но и не имею права портить это дело дальше.

— Я не понимаю!

— Вы никогда этого не поймете! А между тем это т а к а я п р о с т а я в е щ ь! Я погубил доверенное мне дело,— я должен теперь хоть своей смертью исправить свою ошибку. Вы предлагаете мне тихо и мирно покончить с собой? Не доставить последнего удовольствия вашим палачам? Не знаю, почему вы это делаете?

— Не думайте, что из жалости...— перебил капитан.

— Допустим!.. Лично для меня это прекрасный выход. Но у нас, капитан, своя психология. В эту минуту меня интересует не моя личность, а наше дело. Мой расстрел, когда о нем станет известно, будет лишним ударом по вашему гниющему миру. Он зажжет лишнюю искру мести в тех, кто за мной. А если я тихонько протяну ноги здесь, это даст повод сказать, что не умевший провести порученную ему работу Орлов испугался казни и отравился, как забеременевшая институтка... Жил для партии и умру для нее. Видите, какая простая вещь!

— Понимаю, — спокойно сказал Туманович.

Орлов прошелся по камере и снова остановился перед капитаном.

— Господин капитан! Вы формалист, педант, вы насквозь пропитаны юридическими формулами. Вы человек в футляре, картонная душа, папка для дел! Но вы по-своему твердый человек. Есть одно обстоятельство, которое невероятно мучительно для меня... Был один разговор... Словом, я боюсь, что мои товарищи думают, что я добровольно сдался вам... И я боюсь, что они презирают меня... Я этого боюсь!.. Понимаете? Я боюсь!

Капитан молчал и ковырял носком плиту пола.

— Я отказался от дачи показаний... Но... у меня две написанные здесь страницы! Они объясняют все. Приобщите их к делу. Когда город будет снова в наших руках... Вы понимаете?

— Хорошо, — сказал Туманович, — давайте! Не разделяю вашей уверенности насчет города, но...

Он взял листки и, аккуратно свернув, положил в боковой карман.

Орлов шагнул вперед.

— Нет... нет! Я вам не...

Капитан отклонился с улыбкой.

— Не беспокойтесь, господин Орлов. Мы на разных полюсах, но у меня свои и вполне четкие понятия о следовательской тайне и личной чести.

Орлов круто повернулся. Волнение давило, его нужно было спрятать.

— Я не благодарю вас!.. Уходите!.. Уходите скорее, капитан... пока я не ударил вас!.. Я не хочу больше вас видеть!

— Знаете, — тихо ответил Туманович, — я хотел бы от своей судьбы, чтобы в день, когда мне придется умирать за мое дело, мне была послана такая же твердость.

Он взял с полу фонарь.

— Прощайте, господин Орлов.— Туманович остановился, точно испугавшись, и в желтой зыби свечи Орлов увидел протянутую к нему худую ладонь капитана.

Он спрятал руки за спину.

— Нет... это невозможно...

Ладонь вздрогнула.

— Почему?— спросил капитан.— Или вы боитесь, что это принесет вред вашему делу.? Но об этом ведь ваши товарищи не узнают!

Орлов усмехнулся и крепко сжал худые, костлявые пальцы.

— Я ничего не боюсь! Прощайте, капитан! Желаю вам тоже хорошей смерти!

Капитан вышел в коридор.

Темь бесшумным водопадом ринулась в камеру. Ключ в замке щелкнул, как твердо взведенный курок.

Ленинград, июль 1924 г.

ЛИДОЧКИНО ЛИХО

1

Томление вошло в Лидочкино сердце неожиданно, нечаянно, вместе с распустившейся зеленым узором листвой, с первыми майскими грозами.

Вечерами луна шире набухала серебром и медлительно карабкалась по лиловому бархату из-за грозных кубов зданий, из-за судорожно вздернутых в ночь, закостеневших пальцев заводских труб.

И с луной наплывало томление.

Вытравить его не могли даже любимые книги.

Больше всего любила Лидочка читать историю революционного движения.

В стремительном разбеге потрясающих страниц о тюрьмах, побегах, ссылках и казнях, бомбах и восстаниях, от пролетающих строчек в зрачки набегала красная муть, и тогда казалось:

Сырая, подземная камера страшного Алексеевского равелина, мерцание коптилки, визг дерущихся крыс и в камере комочек — Лидочка.

Страшный жандарм, косой и рыжий (почему-то он всегда являлся таким), впивается клещами пальцев в Лидочкино горло. И от мучительного удушья отбрасывала Лидочка в ужасе книгу и вскакивала из-за стола с остановившимися глазами.

С трудом входил в помраченное сознание солнечный блеск, белая комнатка, солдатская постель.

И с бьющимся сердцем Лидочка брала, чтобы успокоиться, минералогию Соколова. Точные формулы кристаллографии успокаивали возбужденный мозг.

Но в этом мае не помогла даже минералогия.

Голос, певший внутри (с каждым днем он становился громче), говорил, что в этом вот мае, здесь, в строгом северном городе, в Лидочкину жизнь должно войти что-то значительное, огромное и решающее.

2

Вечерами Лидочка уходила в клуб.

Клуб получил летнее помещение в саду старого барского особняка.

В саду был павильон, желтый, с белыми колоннами, и в нем разместили библиотеку и буфет.

На скорую руку, своими средствами (все работали) соорудили открытую сцену.

Две недели студия драмкружка репетировала «Потоп».

Лидочка приходила, забиралась за кулисы и маленькой белой мышью в уголку слушала.

Но сквозь реплики пьесы, сквозь легкую дымку белой ночи, смешанную с жидким лунным серебром, просачивалось с новой силой в сердце знакомое томление.

. . . .

На круглом Лидочкином плече твердая дружеская рука.

Повернув медленно золотокосую голову, увидала Лидочка лучшего приятеля Колю Клепцова.

Коля Клепцов заправила спортивного кружка, голкипер сборной команды, рекордсмен по метанию диска.

У Коли резкий профиль и широкие плечи, и от этого жизнь кажется ему простой, и никаких томлений Коля не знает.

— Что, Лидуня, тоскуете?

Беспомощно улыбнулась Лидочка.

— Нет, не тоскую, а так, как-то смутно. Сама не знаю что.

— Я и то смотрю, что это с вами? Бродите, как мощи святой Евфросинии. В чем дело? Случилось что-нибудь?

— Да нет! Ничего! Но вот вторую неделю какая-то тяжесть, даже не тяжесть, а именно смутно. Какое-то ожидание. А чего жду — не знаю.

— Жара не бывает? — спросил Клепцов суровым докторским тоном.

— Нет. А что?

— Так. Я думал, может, малярия.

Он помолчал, бросил окурок и вдруг спросил:

— Спортом не занимались?

— Нет!

— Напрасно. Великолепно действует. Никакой смутности не остается. Вот что — приходите завтра днем на спортивную площадку, я вас сведу к инструктору, и начните заниматься в женской группе. Как рукой снимет!

— Правда?

— Серьезно!

— Ну, что ж. Я приду! — вздохнула Лидочка, смотря на луну, ползущую в высоте, сквозь лиственное кружево.

3

Лидочка недоуменно и растерянно остановилась.

По ровно вытоптанной площадке, забрызганной солнечным золотом, носились взад и вперед черно-коричневые нагие тела в погоне за футбольным мячом.

В очерченном мелом кругу стоял коренастый юноша в трусиках. Вокруг него столпилось человек десять.

Грудь у юноши была похожа на крепкий кирпичный свод.

Он нагнулся и взял рукой тяжелые гантели.

Уперся левой рукой в бедро и рванул гантели с земли.

И под шелковистой кожей мгновенно вздулись на руках и спине такие железные желваки, что Лидочке стало страшно: а вдруг кожа лопнет.

Она оглянулась и увидела Колю.

— Пришли? Вот и хорошо! Пойдем к инструктору!

Лидочка покорно двинулась за ним. Оглянулась еще раз на поднимавшего гантели.

— А он не может надорваться? — спросила она тревожно.

— Кто надорваться? Васька Майсуров? Он еще на гантели сверху меня и вас посадит, и то не надорвется. Здоров, как бугай!

— Хорошо быть сильной, — мечтательно сказала Лидочка, — никто не обидит.

— Ну вот подзайметесь и тоже станете сильной.

Инструктор стоял, окруженный девушками в синих коротких юбочках, белых блузках и алых платочках, и казалось — вокруг него цветущее маками поле.

— Вот, товарищ Лугин, привел вам новую спортсменку,— сказал Коля, здороваясь с инструктором.

— Милости просим. Раньше занимались гимнастикой?

— Нет,— ответила Лидочка и покраснела. Ей стало вдруг стыдно, что в ее жизни такой пробел. Может быть, это очень нехорошо.

— Ну, ничего, научим. Сегодня побудьте здесь. Смотрите и запоминайте движения и команды, а завтра введем вас в строй. Ну, товарищи, становитесь!

Лидочка смотрела на гибкие движения девичьих тел не отрываясь и даже пожалела, когда инструктор объявил перерыв.

Потом отошла, и ее внимание привлекла толпа, сгрудившаяся у турника.

Оттуда окликнул веселый голос, и, подойдя ближе, она узнала свою закадычную приятельницу Саню Туркину.

— Лидусь? Ты что здесь делаешь?

Лидочка сделала гордое лицо и уверенно сказала:

— Занимаюсь спортом!

— О... И давно ли?

— Уже со вчера!

— Ай, какой ты комик. Смотри, сейчас будет интересная вещь. Ты никогда не видала мельницы?

— А что это мельница?

— Молчи! Смотри!

Лидочка взглянула.

Под отшлифованной руками железной трубкой турника, спиной к ней, стоял кто-то тонкий и стройный и неторопливо мазал куском мела ладони рук.

— Зачем он мелом?— спросила шепотом Лидочка.

— Молчи! Чтоб руки хорошо скользили.

Стоявший под турником положил мел в зарубку столба и, легко подпрыгнув, ухватился за палку. Раза два передвинул, уже вися, руки, приловчаясь, и потом раскачнулся быстрым и сильным движением.

Еще два толчка. Ноги взлетали высоко в воздухе, и Лидочка в восхищении крепко ухватила Саню за талию.

На вытянутых руках, выпрямив стрелой все тело,

гимнаст с невероятной быстротой описывал круги в воздухе.

Раз... два... двадцать.

Наконец он легко оторвался от турника и, перевернувшись в воздухе, стал на ноги под трещащее хлопанье ладошек.

Повернулся лицом к аплодирующим, и Лидочка увидела его спереди.

И мгновение сильно толкнуло ее в сердце.

У гимнаста были большие, серые, с особенным горячим блеском глаза и дерзким изгибом вырезанные, насмешливые губы. Он поклонился и отошел в сторону, вытирая платком пот.

И, повинуясь непреодолимому толчку, Лидочка быстро подошла к нему.

— Это очень хорошо... то, что вы делали... Я никогда еще не видела... Вы, наверное, очень счастливы, что можете проделывать такие штуки? — сказала она восхищенно.

Он медленно вскинул на Лидочку сияющие дерзкие глаза.

Усмехнулся, и от усмешки грудь Лидочки захлестнуло теплой волной.

— Разве? Пустяк! Я еще не то умею! А вы кто такая? Я вас не видал на площадке!

— Я... я, — смутилась Лидочка, — я недавно... только сегодня. Я Лида Пушкова!

Он опять с дерзкой усмешкой взглянул ей в зрачки.

— Те-ек-с! Лида Пушкова? Замечательно приятно! Будем знакомы!

И неожиданным, властным и уверенным движением продел под Лидочкин локоть свою крепкую руку, сжал кистью и повел Лидочку к скамье.

4

Лидочка была суровой аскеткой.

На мальчишек она не глядела и жестоко их презирала.

Несколько попыток ухаживанья со стороны рабфаковцев встретили такой суровый отпор, что больше смельчаков не находилось.

Но от прикосновения руки этого совсем незнакомого,

почти голого человека Лидочка странно обессилела и без всякого сопротивления дала довести себя до скамьи.

Только там она вырвала руку и с сердцем сказала:

— Зачем вы хватаете? Кто вы такой?

Он нагнул коротко стриженную голову и опять с усмешкой (такая странная и волнующая усмешка) ответил шуткой:

— Слуга покорный — Лука проворный.

— Не дурите. Как вас зовут? Вы слишком решительны!

— Меня? Зовут меня Петром!

— А фамилия?

— Ишь какое любопытство! Все сразу и выложи. Хватит и Петра.

— Тогда я с вами разговаривать не буду. Я неизвестно с кем не хочу разговаривать.

— А сама подошла и заговорила?

Лидочкины щеки малиново вспыхнули.

— Ну и что ж! А вы дерзяк и нахал! Я уйду!

Она повернулась, но он остановил одним голосом:

— Стойте!.. Садитесь, тогда я буду с вами разговаривать.

И опять, повинуясь властному зову, Лидочка покорно села.

Он опустился рядом, легко и свободно, и сказал:

— Итак... Зовут Петром, а по фамилии Мальшин. Небось довольны теперь!

— Подумаешь, велико удовольствие! — попробовала огрызнуться Лидочка.

Он снова просунул руку под ее локоть. Лидочка рванулась, но рука держала крепко.

— Пустите! — сказала она, задохнувшись.

— Э... бросьте. Что за пустяки? А еще рабфаковка!

— Поэтому и говорю — пустите. А то смажу! — пригрозила в отчаянии Лидочка.

Он со смехом зажал обе ее ладони в одной своей.

— Ишь до чего прыткая девушка! Ну, пробуйте! Что, силенки мало?

Лидочка резко рванулась и побледнела.

Мальшин взглянул в глаза и выпустил ее руки.

— Ну, будет! Если обидел — не взыщите. Я такой уж уродился, разбойный!

Лидочка посмотрела на него и засмеялась:

— Я разбойников не боюсь!

Он закурил папироску и закинул ногу на ногу.

— Трудно было выучиться так вертеться? — спросила Лидочка.

Мальшин осторожно выпустил колечко дыма, повернулся к Лидочке и начал серьезно рассказывать о занятиях гимнастикой.

Лидочка поднялась со скамейки, когда уже свечерело.

— С вами заговоришься! Надо домой идти.

— А вам куда?

— На Васильевский, на Пятнадцатую линию.

— Подождите! Я оденусь и провожу вас. Почти по дороге. Я у Николаевского моста живу.

Он побежал в раздевалку.

Лидочка осталась одна на скамейке. Внимательно прислушалась к толчкам крови в глубине тела и с недоумением покачала головой.

— Ну, вот я и готов. Идем!

В обычном костюме, в черной толстовке и брюках с широким клешем Мальшин казался ниже и понятнее, и поэтому Лидочка доверчиво прижалась к его руке.

Вышли на набережную.

Розовой сталью отливала Нева и тихо бурлила, омывая быки моста.

Взлетающей ввысь тонкохвостой кометой пылала игла Петропавловского шпиля.

Перейдя мост с Петербургской стороны, они устали и снова присели на набережной у биржи.

Мальшин подозвал мороженщика и угостил Лидочку малиновым мороженым.

Она, сощурившись от удовольствия, лизала языком холодную, сладкую массу, зажатую между тонкими вафлями, и слушала Мальшина.

Внезапно спросила:

— Почему я вас никогда не видела на комсомольских собраниях?

Он неторопливо отозвался:

— Я не комсомолец!

— Почему? — даже отодвинулась Лидочка.

— Я не тороплюсь вступать. Что проку? Много в комсомоле лишнего народу. Ничего паря не смыслит в политике, книжки толком прочесть не умеет, а сам в комсомол лезет. Лестно! А я пока не угляжу, что до-

шел до сознательности,— записываться не буду. Чего зря загружать?

— Так в комсомоле же и можно образоваться. Там и приобретается сознательность!

— Ну, у меня такое уж самолюбие. Не желаю, чтоб меня учили! Сам выучусь!

— Вы гордый! — тихо сказала Лидочка и с удовольствием взглянула на Мальшина.

Он сидел боком, и ясный профиль его отчетливо стыл на розовой немеркнущей заре.

«Странный»,— подумала Лидочка.

— Кто ваш отец?

— Отец? Был рабочим. Токарь. В седьмом году заслали в Сибирь, там и помер. А мать в деревне сейчас, на родине. Звала меня. Только я в деревню не поеду. Темнота и скука!

— Меня тоже мама звала на огород это лето, а я не поехала,— вздохнула Лидочка и встала.

— Идем! Что это такое?! Никак не могу домой дойти.

В воротах Лидочка остановилась:

— Ну, спасибо за проводы и угощение. До свиданья!

Под воротами было темно.

Мальшин шагнул к Лидочке и твердо взял ее за руку.

«Вот... вот!.. Страшное... то самое»,— мелькнуло в голове у Лидочки, и она обессиленно закрыла глаза.

Почувствовала прикосновение к своим губам чужих, властных и нежных. Охнула и безвольно прильнула к чужому плечу.

— Завтра на площадке,— сказал Мальшин.

— Хорошо, — шепотом бросила Лидочка и вдруг вырвалась и опрометью бросилась в серую глубину двора.

5

Луна стояла высоко над головой, бледная и прозрачная. С востока уже порхали стрельчатые розовые лучи.

Лидочка лежала на окне с блаженной ленивой улыбкой и смотрела на луну.

Прибежав домой, она полежала на жесткой кровати, встала, погрызла засохший хлеб и, махнув рукой, сказала:

— Ну, что ж!.. Вот и пришло. А ты думала без этого

прожить? Врешь! Бытие определяет сознание, и нужно только быть счастливой.

Разделась, перетащила матрасик на подоконник и легла лицом в небо.

От зрительного напряжения заболели глаза, и луна на мгновение странно раздвоилась.

Лидочка закрыла глаза и подумала: «Вот вчера я была совсем одинокая, а теперь у меня есть... Петя. Какое славное имя!.. Петя!»

И сейчас же Лидочка вспомнила о луне. Ей стало жаль луну, что она всегда одинокая. И по обыкновению, Лидочка замечтала.

— Хорошо бы сделать на земле большущий-пребольшущий шар... Из легкого чего-нибудь... целлулоида или папье-маше. Оклеить серебряной бумагой. Зарядить большущую пушку и пальнуть к луне. Шар притянется и будет вокруг луны бегать. И ей не так скучно будет... Будет у луны свой... Петя.

Лидочка слабо улыбнулась сквозь дремоту и уснула.

. . . .

Три дня Лидочка торопилась, волнуясь, на площадку и только тогда успокаивалась, когда в глаза ей бросалась фигура Пети.

Каждый день провожал он ее домой, покупал по дороге сласти, пирожки и все дольше и острее были поцелуи под воротами.

На четвертый день, провожая Лидочку, Петя сказал:

— Лида, сегодня мое рождение. Зайдешь ко мне? Я угощение приготовил маленькое.

Сердце Лидочки снова дрогнуло перед неизбежным. Она вспыхнула и сказала:

— Ладно!

На третьей площадке широкой лестницы Петя открыл американским ключом тяжелую дубовую дверь.

— Входи!

Лидочка вошла в переднюю. Петя зажег свет.

— Сюда!

Лидочка шагнула в комнату и ахнула.

Посреди комнаты, большой и светлой, на столе, в фарфоровой вазе, стоял громадный букет сирени и белых роз.

На тарелках лежала нарезанная ветчина, колбаса, коробки шпротов и сардин, рядом стояли бутылки с вином и наливкой.

— Какая у тебя хорошая комната! — сказала, оглядевшись, Лидочка.

— У меня две! Вот!

Лидочка заглянула в другую комнату.

— У тебя целая квартира!

— Да, две комнаты и ванная. Один приятель, комиссар, уезжал и передал. Спокойно! Никто не мешает! Ну, садись, хозяйничай! Я сейчас чай вскипячу.

Петя зажег в передней примус и вернулся в комнату. Налил в рюмки малаги.

— Ну, Лидуся, твое здоровье!

— И твое, Петечка... Как странно. Пять дней назад мы еще не были знакомы, а сегодня ты мой... Петюша.

Лидочка с аппетитом ела ветчину, шпроты, сыр. Выпила несколько рюмок вина и наливки, и у нее сладко закружилась голова. Петя налил новую рюмку, но Лидочка отодвинула.

— Почему?

— Нет!.. Не хочу!.. Я не пью. Так, за твое здоровье, шутя, можно, а больше не буду.

— Ну, ешь фрукты!

Душистая груша таяла во рту. Лидочка медленно смаковала ее.

— Сколько тебе стоило это? Небось мне хотел пыль в глаза пустить и разорился... Глупый! Мне, кроме тебя, ничего не надо!

— Пустяк,— ответил Петя, наливая чай,— разве это расход?

— Откуда у тебя столько денег? — спросила Лидочка.

Петя помолчал и бросил сухо:

— Я одним монтерством по домам червонцев десять в месяц зашибаю.

— Десять червонцев?.. Ай-ай! Я за весь прошлый год истратила восемнадцать червонцев. И то думаю, как много!

— Ах ты чудачка!

Петя отпил чаю и присел на диванчик рядом с Лидочкой.

Рассказывал долго и хорошо о девятнадцатом годе, о фронтах, о взятии Перекопа, под которым он был в конной бригаде.

Лидочка слушала, мышкой прижавшись в углу дивана.

Петя взглянул на часы.

— Ой-ай! Как я заговорился! Три часа ночи. Совсем светло уже.

Лидочка встала, медленно обошла вокруг стола, обвила руками Петину шею и, вздохнув глубоко и горько, сказала:

— Петечка!.. Я люблю тебя. Я останусь у тебя.

6

Утром Петя съездил на Васильевский и привез Лидочкины вещи — разломанную корзинку, жестяной чайник, матрасик и продавленную чахлую подушку.

В этот день они никуда не выходили, и Лидочка была пьяна Петей и своей любовью.

На следующий день оба пришли на площадку. Петя прошел в раздевалку, Лидочка направилась в свою группу.

Но по дороге ее остановил Коля Клепцов.

— Лида, на два слова!

— Что такое?

— Видите ли, может быть, это не мое дело... Я вижу вас все время с Мальшиным... Так вот, я хотел предупредить вас... Собственно говоря, я... мы ничего не можем сказать о нем плохого. Его отец рабочий. Сам он был в Красной Армии... на фронтах... Но он какой-то странный. Всех чуждается. В комсомол отказался вступить... живет широко, тратит большие деньги... откуда достает — неизвестно. Некоторые пытались заходить к нему, но он никого к себе не пускает... говорит, не любит людей... значит, он человек не общественный и не наш... вот я и решил вам сказать.

Лидочка побледнела и с презрением, раздельно, сказала Коле:

— Вы, Коля, сплетник и клеветник. А чтобы вы больше не говорили гадостей,— имейте в виду, что я жена Мальшина, живу в его квартире и ничего нехорошего у него нет.

Коля смешался.

— Я ничего... Простите! Я ведь не знал!

— И не надо вам знать! И больше нам говорить не о чем!

7

Июль приходил к концу. Темнели ночи, делались долгими и увеличивали Лидочкино счастье.

Забыла в счастье рабфак, зачеты, собрания и сидела больше дома.

Любила Петю крепко, и Петя баловал ее подарками, сластями, кинематографом, дарил платья, покупал книжки.

Деньги у него всегда были, и в желтом бумажнике шуршали новенькие червонцы.

Иногда беспокоило, что Петя уходил среди ночи, часов в двенадцать, в час, и возвращался только под утро.

— Куда ты исчезаешь, Петя? Что за тайна? Мне это не нравится! — сказала она однажды.

Петя нахмурился.

— Не приставай! Что за мещанство? Куда... куда? Хожу в клуб. Одним моптерством не проживешь. Мажу в макашку, а мне везет всегда.

Лидочка внимательно взглянула на него.

— Это нехорошо, что клуб. Это нечестно, и пролетарию в таких грязных местах недостойно находиться. Я этого не хочу!

— Брось глупости! Кто в клубе сидит? Нэпман! А у нэпмана деньги ворованные у нашего же брата, бешеные. Так чем у него их другой нэпман вытянет — пусть они лучше в мой карман перейдут. Я же не шулерничаю. Честно играю. А раз везет — отчего с буржуя не взять?

И успокаивал Лидочкины сомнения поцелуями, от которых горело тело и, замирая, стучало сердце.

Но однажды, когда Петя вернулся под утро и засыпал Лидочку ласками в белой спаленке,— на лестнице дрогнул звонок.

— Эх, кого нелегкая принесла? — проворчал Петя и пошел открывать.

Неведомая сила столкнула Лидочку с кровати, и она, бесшумным зверьком, подкралась к выходившей в переднюю двери, которую Петя прикрыл.

Прижалась ухом и услышала:

— Ей-право! Говорю тебе! Очнулась проклятая старуха...

— Что ты врешь?

— Да не вру! Промах дали. Говорил я тебе, дураку,— стукни еще раз. А ты не захотел. Не стану мертвую бить. Вот тебе и мертвая!

— Ну, хоть и ожила, какая беда? Ведь она нас-то не знает?

— А по приметам опишет, по костюмам. Сыщичье теперь шпана такая пошла — по тесемке от подштанников найдет.

— Да ты откуда узнал, что ожила?

— Да проводил я тебя и пошел назад. И как черт меня под бок толкает. Иди, мол, по Ивановской. Я и пошел. Гляжу, у дома Скорая помощь, милиционер, дворник, еще люди какие. Я у дворника и спрашиваю: застрелился кто? «Не, говорит, квартиру грабили и старуху пришибли, да не совсем. Очнулась — только голову немного повредили. Сейчас в больницу повезут». Ну, я и ходу к тебе!

— Эх, черт! Ну, иди! У меня тут баба! Днем зайду к тебе,— поварганим.

Щелкнула дверь.

Идет Петя обратно в спальню, а в спальне на постели Лидочка, дрожит, как в лютый мороз, и глаза страшные, чужие.

— Не подходи!.. Не подходи!

Сразу понял. Звериная складка вздернула губы.

— Что ломаешься? Чего там?

А Лидочка:

— Негодяй, подлец... убийца!

— Не кричи! С ума спятила!

— Буду кричать!.. На улицу побегу! Всем расскажу! Мерзавец! На тебе твои проклятые подарки!

С руки браслет — и в лицо Пете.

— Сюда!.. Помогите!.. Убийца!

Схватил настольную лампу бронзовую и с размаху Лидочку по голове.

Ничком Лидочкина голова в подушку — и молчание.

Нагнулся, послушал сердце... Бьется.

Достал из стола бечевку, крепко связал руки и ноги. Сбегал в ванную, принес стакан воды и облил голову.

Вздохнула Лидочка, открыла помутневшие глаза, увидела искаженное лицо и вздрогнула в ужасе.

— Молчи! Пикнешь только — убью стерву!

Петя, мальчик, тот, что на турнике вертелся, потом целовал нежно. Он ли?

Волк степной беспощадный, и ничего человеческого в лице.

Схватил на руки, понес в ванную и положил в эмалированную ванну.

— Лежи, сволочь! Кричи не кричи — никто здесь не услышит. Подумай! К вечеру вернусь!

И ушел.

Больно Лидочке. Режут тело затянутые бечевки. Не страшны бечевки — режет сердце бритвой поруганная любовь, девичья радость. Не поверила Коле. Еще обидела.

Слезы градом по Лидочкину лицу. И нет Лидочке жизни.

8

Вернулся. Распахнул дверь, выволок из ванной.

Притащил в спальню, грубо бросил в кресло, так, что хрустнули за спиною связанные руки.

— Слушай! Разговор короткий! Или будешь молчать, или...— и вынул из кармана нож.

Дрогнуло обессиленное Лидочкино тело. Чуть шевелились губы.

— За что?

— За то! Из-за тебя, драной кошки, под машинку не пойду. Или молчи, или конец!

— Хорошо! Только пальцем меня не трогай! Ненавижу тебя!

— Мне из твоей любви перчатки не шить. Много шлюх на свете!

— Подлец!

— Опять орешь? — И у самого Лидочкина лица нож и обезумевшие от злобы глаза.

Замолчала. Подвинулась в кресле и застонала.

— Больно!.. Руки! Ой... развяжи!

— Не реви! Принцесса, подумаешь!

Грубо, ломая руки, развязал веревки.

— Сиди тихо! И знай! Без меня никуда! Пока дома я — будешь на свободе. А как только буду уходить — в ванную и на веревку. Так и подохнешь здесь.

— Как ты смеешь?

— А вот так! Сгною в комнате!

— Я же тебе сказала — никому не скажу.

— Так я и был дурак — тебе поверил. Вам поверь только. Будешь на привязи, пока не уеду. А уезжать буду — все одно на прощанье пришью, чтоб не растрепала. В мешок — и в Фонтанку!

Заплакала Лидочка горькими, обжигающими слезами.

— Перестань нюнить! Сказал раз! Чай свари лучше! Голоден я, как пес!

Шатаясь, встала Лидочка, разожгла примус, поставила чайник и все время дрожит, как в лихорадке.

Мутится в голове, пухнут стены, наваливаются и давят.

Села бесцельно у чайника, уронив голову на руки.

И неожиданной, в мутный вихрь мыслей влетела горящая стрела:

— порошок.

Вспомнила.

В шифоньерке у кровати видела, в уголке ящика, стеклянную капсульку и внутри порошок желтоватый, кристаллический. Говорил Петя как-то, что цианистый калий.

С трудом встала, еле несли через комнату ослабевшие ноги.

— Куда?

— Одеколону возьму. Голова болит.

Голос глухой и ломающийся. Поверил. Сел спокойно.

Взяла склянку, налила на платок одеколону, чтоб слышал запах, и тихо достала капсульку. Сломала осторожно в руке.

Вышла обратно. Заварила чай и, заваривая, всыпала весь порошок в чайник. Налила стакан и подвинула.

Едва сдерживала крик. Не понимая, смотрела, как размешал сахар, поднес стакан к губам, хлебнул.

Сразу выкатились глаза. Попытался вскочить, опрокинулся вместе со стулом, и в судороге забили по полу крепкие каблуки американских ботинок.

И только когда затихла судорожная дробь, склонившись набок, в глубоком обмороке сползла на пол, потащив за собой стеклянным дребезгом рухнувшую со скатерти посуду, побелевшая смертельной белизной Лидочка.

<1924>

МОЛЬ

1. О РЫЖЕМ ПИСЬМОНОСЦЕ И ГОЛОСЕ С ТОШНОТОЙ

Письмоносец спускается с моста декабриста Пестеля. Под рыжими тараканьими усами у него застывший навеки зевок и в лице сонная одурь.

Через итальянскую арку ворот он проходит во второй двор, поднимается на третий этаж. На двери квартиры 28 пялится бельмом карточка.

Звонок рассыпается мелким дребезгом за черной преградой из дерева и клеенки, и за стрекотом каблуков просачивается голос:

— Кто там?

Письмоносец приходит к двери через каждые десять — двенадцать дней. И каждый раз он ежится от этого голоса. Ему почему-то кажется, что обладатель голоса одержим постоянной тошнотой и от этого в голосе топная истома, и самого письмоносца начинает подташнивать.

Он втягивает щеки и бросает рывком:

— Письмо... Машевской.

Сквозь щель, из-под лязга цепочки, просовывается препарированная кисть скелета, с сухим шелестом выхватывает письмо и скрывается.

Опять лязг цепочки. Письмоносец утирает лицо платком, как будто его прошиб пот, и торопливо спускается вниз.

2. ЖЕНЩИНА В ЯПОНСКОМ ХАЛАТЕ И ВОСПОМИНАНИЕ О ПАРОХОДНОЙ СХОДНЕ

Рука, перехватившая письмо, приделана к телу. Тело облечено в японский, когда-то роскошный, весь в тяжелом золотом шитье халат. Он вытерся и спереди закапан кофе.

Рука, тело и халат принадлежат Александре Николаевне Машевской.

Ей же принадлежит тошный голос.

В столовой Александра Николаевна брезгливо смотрит на следы рук на конверте, осторожно разрывает и, достав письмо, вытирает пальцы кружевным платочком.

Письмо от Диночки, из Парижа, Диночка аккуратна — пишет три раза в месяц.

— Париж! Париж! Счастливица Диночка!

Александра Николаевна вертит ручку кинопамяти.

Порт... Ледяное зеленеющее утро... Горы в снежной синеве. Нарастающий грохот.

С рейда в ответ раскалывающие землю удары страшных пушек дредноута. На молу у сходен давка... Сходни трещат. Приклады лощеных «томми» прилипают к русским спинам. Женщина в изорванном пальто, в смятой шляпке. Она визжит, кусается, она уже на середине сходни. Внезапно сзади рука вцепляется в воротник. Женщина оглядывается, кричит:

— Как вы смеете? Я дочь генерала Еремеенко... Мерзавец...

Сухопарый, желчный ротмистр с Георгием упирается бешеными глазами:

— А! Дочка обер-вора? Бежишь, шлюхина морда? Раскрали с папашей Россию? Катись в воду... сука!

Конец фильмы.

Александру Николаевну выловил из-под руля транспорта лодочник, перс.

Диночка уехала. Она еще с вечера забралась на транспорт по протекции жениха — контрразведчика. Жениха перед Константинополем фронтовые офицеры за борт спустили, но Диночка в Париже. Счастливица.

Александра Николаевна с ненавистью смотрит на мутное питерское небо, на сизый штопор дыма над крышей. Ненависть давит ее.

3. О ФАМИЛЬНОЙ ГОРДОСТИ И ФАРФОРОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОКОЙНОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ

Ненависть черной печатью на пепле души Александры Николаевны Машевской, урожденной Еремеенко.

Род Еремеенко не древен, но славен милостью царской, верностью престолу.

Осенним утром унесла с Украины фельдъегерская тройка, по вызову царя, вольноопределяющегося англичанина Шервуда и фельдфебеля хохла Еремеенко.

В кабинете императора, поедая его светлыми британскими глазами, обстоятельно и точно рассказал Шервуд о заговоре, назвал фамилии, места сборищ.

Склонив лысую голову, слушал Благословенный, и вдруг сумасшедшей судорогой, как у удавленного отца, скосоротилось лицо, побелели глаза.

Сжав тонкую шею англичанина пальцами, захрипел:

— Иуда! Христопродавец! Сколько серебреников хочешь, негодяй?

Налилось синью лицо Шервуда, и быть бы беде, да выручил хитрый хохол Еремеенко. Бухнулся в ноги Александру:

— Вашее величество! Царь пресветлый! Як же ж? Чи можно ровнять? Юда царя небесного загубив за гроши, а мы ж царя земного задарма, вид широкого серця, спасаемо. Никаких грошей нам не треба, ангел ты ж наш.

Отпустив горло Шервуда, усмехнулся император, сказал:

— Пошли вон, прохвосты!

Но приказал произвести в офицерские чины и Шервуда и Еремеенко.

От хитрого Иуды, что спас царя земного, начался генеральский род Еремеенко. И последний генерал в хитрого прадеда вышел, выслужил генеральский чин по интендантству. В германскую войну награбил крутой хохлатской сметкой, а еще пуще у Деникина. Свое же обмундирование, что англичане слали, из-под руки красным вагонами продавал. Но деньги впрок не пошли. В налете на Екатеринодар выпростали буденновцы последнему Иуде живот и набили вместо кишок английскими обмотками.

Остались от рода две дочери: Саночка и Диночка.

У Саночки в документах жалованная грамота праде-

довская припрятана да кольцо с солитером. А Диночка в Париже.

А еще гордость последняя у Александры Николаевны — ватер в питерской квартире, в старинном доме.

Ватер как ватер, чашка только особая, прозрачного фарфора, в золотых лилиях. Точь-в-точь как в личной уборной великомученицы государыни. Всех приходящих подруг ведет Александра Николаевна в ватер.

— Вот, вот, дорогая! Совершенно такая же! Нет, вы в середину взгляните!

В злых белесых глазах урожденной Еремеенко слезы.

Покажет чашку и за ручку непременно дернет. Весело прошумит вода, вздохнет горько подруга о дорогом невозвратном, и легче станет на сердце у Александры Николаевны.

Все отняли большевики, а чашки вот этой, последнего утешения, не возьмут.

4. О МАРКИЗЕ ПАРИЗО ДЕ ЛЯ ВАЛЕТТ И ЧИКАГСКОМ СВИНОБОЕ

Диночка пишет:

«Жизнь бьет ключом. Сумасшедший водоворот. Я совершенно завертелась в балах, раутах, концертах. Знаешь,— мы, русские девушки хороших фамилий, имеем колоссальный успех у французиков. За мной, не отходя, увиваются двое. Морской атташе из Лондона,— он сейчас в отпуску,— виконт д'Аржантей, пикантный брюнетик, но он очень легкомыслен и, говорят, кругом в долгах. Мне больше нравится другой — маркиз Паризо де ля Валетт. Летчик, блондин. Совсем голову потерял, ходит по пятам и умоляет назначить день свадьбы. Но я его еще поманежу. Ах, на днях мы танцевали фокстрот в бассейне у барона Нельи. В одних купальных костюмах. Это было восхитительно непристойно. Я всю ночь не могла уснуть от возбуждения. Кстати, как тебе нравится то манто, которое я прислала?.. Такое точно у мадам Бриан, а она первая здесь модница...»

Дальше на трех страницах подробные описания Диночкиных туалетов, с вырезками из модных журналов, из великосветской хроники «Matin».

Когда Александра Николаевна дочитывает, худое,

изжелта-серое длинное лицо ее покрывается красными пятнами, глаза блестят.

Нос вытягивается лезвием над бледной черточкой змеиных губ.

— Боже, какая счастливица Диночка!

Правды Александре Николаевне никогда не узнать. Из гордости, из самолюбия никогда не напишет Диночка правды.

А правда — вот она.

Вонючий угол Парижа, седьмой этаж, мансардная конура без окон, соломенный мешок на полу. Вырезки из журналов и газет дает Диночке вислогрудая консьержка, которой Диночка ежедневно раздувает сырой торф в камине — у консьержки слабые легкие.

Деньги на жизнь зарабатываются в ночном притоне для иностранной сволочи, где — под именем русской графини Пугачевой — танцует Диночка танец лесбийской гетеры. О нем лучше не говорить, об этом танце.

Манто, посланное Александре Николаевне, добыто ценой ночи с квадратно-подбородочным чикагским свинобоем, который деловито мял до утра Диночкино хрупкое тело, точно желая убедиться, все ли у русской графини устроено так же, как у любой крепкоспинной девки со свиной фермы.

Помяв, утром бросил на столик в номере, не считая, пачку банкнотов и, не простившись даже, ушел.

Тяжело достаются Диночке подарки сестре, но еще много будет американцев, бразильцев, филиппинцев, даже негров, потому что никогда Диночка Еремеенко не напишет сестре правды о себе.

А Александра Николаевна, отложив письмо, думает:

«В этот раз нужно попросить Диночку прислать дюжины две шелковых чулок, концертную накидку и браслетик платиновый с радиоприемником на лодыжку, тот самый, что я видела в журнале. Это будет великолепно. Такого ни у кого еще нет. Я буду первая».

5. ПОПУТНО О ГОСПОДИНЕ МАШЕВСКОМ

К обеду приходит из треста господин Машевский. Он на аршин ниже жены. Личико маленькое, одутловатое, щеки обвисли, глаза вытаращенные, жабьи, и кажется, весь он обмазан еще свежей болотной слизью.

Служит он в машиностроительном тресте, в калькуляционном отделе, но дома друзьям говорит:

— Сами знаете, что поделаешь? Квартирная площадь, электричество, дрова... Приходится терпеть до лучшей поры... Но вы знаете — главное, я артист... композитор.

Господин Машевский импровизирует в кинематографах на рояле под боевики. У публики успех огромный.

На этом основании зарегистрирован он даже в КУБУ, как научный музыкальный работник, и каждое лето с достоинством ездит отдыхать в санаторию ученых в Детском Селе.

А главное удовольствие у господина Машевского — по углам рассказывать похабные анекдоты о власти.

Многие это любят. У иных едко выходит, здорово. Как огнем припечатает.

А от анекдотов Машевского даже у тех, кто любит пройтись по адресу власти, ощущение такое, будто в уши соплей налили.

Но Машевский расскажет и сам первый: «Хи-хи-хи, ха-ха-ха...»

За обедом Александра Николаевна спрашивает:

— Ипполит... Ты достал деньги?

— Да... то есть нет, Саночка... Тянут... Трудно и опасно торопить.

— Как? До сих пор? Я не понимаю... Что же мне, на премьеру в Александринский в старых тряпках идти?

— Господи... Да ведь месяца нет, как ты платье сделала.

— Что? Ваша комиссарша Телепнева за это время три сделала. Что же, я должна хуже мужички одеваться? Дочь генерала Еремеенко?

— Но, Саночка...

— Слышать не желаю... Завтра чтоб были деньги!

Александра Николаевна отбрасывает стул и уходит в свой будуар.

6. О ЗЕРКАЛЕ, ПАРИЖСКОМ ТЕМПЕРАМЕНТЕ И БЕССОННИЦЕ

Лампочка в сто свечей вспыхивает ослепительным блеском.

Александра Николаевна начинает ежедневную тяжкую работу свою, примерку и пригонку туалетов.

— Боже, какое время, какое время!

Только стены будуара знают неизмеримую тяжесть жизненную, что лежит на плечах Александры Николаевны.

Как трудно в большевистской стране не опуститься, быть всегда одетой, как подобает дочери интендантского генерала, взысканного государевой милостью. Приходится перекраивать, перешивать, подшивать.

Вокруг Александры Николаевны груды материй, хруст холста, шелест шелка, шуршание бархата. Худые пальцы препарированной руки упоенно тонут в материях.

Перед большим зеркалом, в парижской батистовой расшитой комбинации, Александра Николаевна примеряет одно, другое, третье.

Наконец все перемерено. Александра Николаевна спускает с плеч рубашку. Бело-лиловые блики лампы ложатся на острые плечи, на торчащие шишки бедренных костей, на темное дряблое тело. Груди трепыхаются выпотрошенными резиновыми кисетами над впалым животом.

Александра Николаевна улыбается углами губ.

У нее фигура настоящей парижанки. О, в Париже она могла бы...

В постели она долго читает Катюль-Мендеса в желтой обложке. От чтения по лицу опять красные пятна, в глазах мутный блеск.

Счастливица Диночка!

Понемногу успокаивается.

Думает о себе, о судьбе своей непереносной. Не может понять.

Ненавидит, остро ненавидит все вокруг. Не понимает этой власти.

Ну, захватили там себе места в правительстве — пусть сидят. Но зачем возиться с мужичьем, зачем угнетать интеллигенцию? Ведь те, что сейчас у власти, сами интеллигенты, такие же, как и она, Александра Николаевна.

Конечно, разница рода, дворянство, но ведь и раньше в обществе были и недворяне. Но все они образованные, ездят за границу, говорят по-французски. Почему же она, Александра Николаевна, должна всего опасаться, а хулиган слесаришка Батаев ведет себя в доме как хозяин? Конечно, во время бунта приходилось заигрывать

с хамьем. Но теперь все успокоилось, можно перестать. Нет, положительно у этих людей нет вкуса. Одним образованием до культуры не дойдешь. Нужна шлифовка поколений. Конечно, отшлифуются — поймут. Но когда... Ведь она, Александра Николаевна, постареть может. Постареть?.. Боже, как ужасно так погубить молодость!

Александра Николаевна лежит на спине с широко открытыми глазами. Думает о своих туалетах, о Диночке, о Париже. Засыпает уже под утро с мыслью: «Завтра, когда Ипполит принесет деньги, надо купить этого фай-дешина с сиреневым отблеском. Великолепный тон».

7. О ВАСЬКЕ БУСЛАЕВЕ И УЧЕБНИКЕ ЭНТОМОЛОГИИ ЛИДЕМЕЙЕРА

Васька Буслаев сидит, поджав ноги, качаясь на табуретке.

В прошлом году припер пешком с командировкой от Порховского комсомола учиться на доктора.

В мутное окно серым киселем вползает рассвет. Васька зубрит энтомологию.

В учебнике Лидемейера узким корпусом мельтешит перед глазами:

«Моль: простонародное название семейства бабочек Tineidae, из группы Microlepidoptera. Взрослые экземпляры не превышают в размахе крыльев 5 миллиметров. Различается довольно большое количество видов. Наиболее известны в повседневном быту платяная и шубная моль. По разрушительной деятельности является одним из вреднейших паразитов. Достаточно нескольких личинок, чтобы погубить носильное платье в квартире. Пользуется заслуженной ненавистью со стороны людей и жестоко истребляется. Чрезвычайная плодовитость затрудняет борьбу. Способы размножения...»

Васька поднимает голову. Смотрит в раздумье на мерцающий в тумане Петропавловский шпиль и говорит сам себе:

— И что за штука? Чем гад мельчее — тем вреднее! Поди ж ты!..

1924

«3б. 213. 437»

1

Когда, в гомоне, визге, дребезге и треске, 9-й кавполк влетел на станцию,— вокзальные здания уже пылали.

В багровых протуберанцах огня, лизавшего мощные бревна лиственниц, мелькали черые тени метавшихся людей, огромными рубинами блестели стекла вытянувшихся на путях вагонов, и в дымном, клубящемся озарении бледно пыхали синие молнии выстрелов.

Командиру полка все это показалось до чрезвычайности, до нелепости похожим на лубочную картинку ада, виденную в детстве на кухне, над кроватью богобоязненной кухарки.

Так же оранжевыми спиралями вилось дымное пламя, шебаршились мохнатые тени чертей, рубинами пылали отверстия топок под котлами, в которых варились грешники.

Только не хватало на станции жирного, раздутого сатаны, хвост которого, усеянный шипами, обвивал весь ад и концом душил грешника.

Лошадь командира прянула на передние ноги и шарахнулась вбок, протяжно и тонко заржав. Командир нагнулся, почти под копытами увидел мертвого человека, вцепившегося в землю раскоряченными пальцами.

Вокруг шеи тугой петлей, как сатанинский хвост, завилась скрученная взрывом телеграфная проволока.

Командир вздрогнул, нахлобучил глубже папаху, сказал комиссару:

— Хорошенькое дельце!.. А?

Комиссар задумчиво поглядел на пламя исподлобья, белесыми латышскими глазами, подумав, ответил с резким балтийским акцентом:

— Вы, товарищ Скобельцын, есть непоправимо заражен офицерской идеологией. Это дело имеет очень мало хорошего. Это есть разруха народного достояния.

Командир хохотнул и хлопнул комиссара по ляжке:

— А ты, Яков Артурыч, сплошная пепельница!

Комиссар недоуменно поднял брови, опять подумал и равнодушно спросил:

— Что есть пепельница?

Не получив ответа, поморгал ресницами и, подтягивая поводья, кинул начальнику ординарческой команды:

— Надо искать станционного начальника, пусть он указывает, какие вагоны есть с ценным имуществом. Красноармейцы вытаскивают вагоны из фейер.

2

Начальника станции нашли красноармейцы в свином хлевушке за его домом и вытащили оттуда.

Весь он был перепачкан жидким вонючим навозом, испуганно жался подальше от винтовок, но маленькие глазки на жирном лице бегали безостановочно по лицам окружавших его кавалеристов с хитрой наглостью.

Комиссар спросил:

— Вы есть начальник станции? Огонь может сжигать вагоны. Приказываю говорить вагоны, где есть воинский груз.

— Слушаюсь,— ответил хрипло начальник станции,— прошу в первую очередь откатить эшелон с четвертого пути. Очень опасен... гружен пироксилином и снарядами тяжелой артиллерии. Взорвет — все полетит к черту!

Комиссар отдал приказание.

Скобельцын нагнулся к нему с седла.

— Ты обрати внимание, Яков Артурыч, на его харю. Поганая харя! Как бы не подложил свинью? А?

— Нишево! Если будет измена — имеет быть расстрелян!

Начальник станции швырнул глазками в комиссара,

ничего не сказал и только дрогнул усами, не то в улыбке, не то в гримасе.

К утру пожарище угасло. Синим куревом дымились угли, хрустели под ногами, в серую вату неба ввинчивался штопором желтоватый столб душного дыма.

Комиссар и Скобельцын ходили по путям с начальником станции.

Он бежал впереди, семеня ногами; казенная черная шинель расходилась над тугим вихляющим задом. Держа в руках сверток накладных и путевок, указывал вагоны с военным грузом, и комиссар твердым взмахом метил меловыми крестами эти вагоны, а также вагоны с продгрузом в центр.

У депо щелкали рваные выстрелы — расстреливали пленных каппелевцев.

Начальник станции время от времени бросал в сторону депо короткие острые взгляды, очевидно боясь ночной угрозы комиссара.

На тупиковом пути, у поворотного круга, забагровела свежевыкрашенная теплушка, на боку которой белилами, с претензией на замысловатую вязь, было выведено трехвершковыми буквами:

СОВНАРКОМУ РСФСР ОТ РАБОЧИХ

ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ГОРОДА ЧИТЫ — БРАТСКИЙ ДАР

— Что это есть за вагон? — спросил, оживившись, комиссар, опустив руку, испачканную мелом.

Начальник станции нервно дернулся под пристальным взглядом белесых латышских глаз и быстро бросил:

— Это, значит, изволите видеть, как в Советской стране недостаток машин, и наши рабочие, изволите видеть, осведомлены о бедствиях, скажем, добывающей промышленности, то от чистого сердца послали в подарок машину. Какая — я вам не могу сказать, по причине малого понимания в печатном производстве, но только, изволите видеть, два человека, которые ее сопровождали, говорили, что таких машин всего две имелось в России даже в хорошее время. Чрезвычайно, изволите видеть, дорогая вещь... Как эти подлецы, каппелевцы, налетели,— у меня, можно сказать, сердце все три дня кровью исходило. Боялся очень за машину. Помилуйте, при та-

кой нужде, и вдруг еще уничтожат из буржуазной подлости...

— Как же они ее не тронули? — перебил Скобельцын.

— А изволите видеть, ихний командир сразу на эту теплушку внимание обратил, вроде вот вас. Сказал, что надо с собой увезти, как линию от вас очистят, а тут ваши налетели как снег на голову. В суматохе, изволите видеть, забыли напакостить.

— Хорошо! Товарищ Скобельцын, поставь сейчас часовой к этой теплушке. Завтра мы отправляем ее первым эшелоном на Москву. Это очень ценный подарок. Товарищ Ленин будет рад!

Начальник станции, похлопав ладонью по яркому боку теплушки, довольно улыбнулся.

— Они сделали большую глупость, изволите видеть, белые. Они даже не открыли ее.

Комиссар осторожно пощупал свисавшую на проволочках пломбу и, поджав губы, размашисто написал мелом на свободном месте:

«биль брап плен каппелевска бандит,
отбита доблести атака девяти кавалерски полк».

Скобельцын захохотал. Начальник станции захихикал подобострастным свиным визгом.

Комиссар бросил мел об рельс, ответивший серебряным звоном, кончив с металлическим лязгом в голосе:

— Товарищ Скобельцын! Ты имеешь давать наряд на конвоирную команду. Десять человек. Начальником команды назначаю командира второго эскадрона, товарища Завихляева. Он крепкий рабочий, хороший, твердый коммунист. Команда провожает вагон до Москвы. Канцелярии написать документы и литеры. Вы,— комиссар повернулся к начальнику станции,— имеете завтра давать оборудованная теплушка с печью для команда. Случае невыполнения — расстрел.

— Слушаюсь,— дрогнул побелевшими губами начальник станции.

Комиссар вытер руки о полу полушубка и твердыми солдатскими шагами пошел к водокачке, за которой, в уцелевшем от пожара станционном домике, работал штаб полка.

3

— Почитай, мила-ай, третью неделю ташшимся, а сколько верстов уехали? Не боле семисот. Если дальше таким манером, когда ж это мы в Москве будем? А? И чего в этой машине такого? Неужто така силишша, что всю государству вывести можа? А по-моему,— лешего в ей пользы. Добро б хлебушко делать могла, а то гумагу. Что с ее, барам подтираться? Гумагой, мила-ай, сыт не будешь! Для суесловия она мысленного, думками блудить. Мужика ты ей не накормишь, а без мужика и государства... тьфу! Ты как полагашь?

Стены чугунки лили удушливый красный жар и казались прозрачными. По раскалившемуся металлу скользили яркие звездочки искр.

Старик говорил, помешивая головешки в печи и осторожно разминая слова.

Теплушка скрипела и дрожала, из-под пола бил в уши назойливый гулкий, железный лязг.

Мимо дверной щели проплывали медленно мохнатые медвежьи лапы сосен, согнувшиеся под сахарной тяжестью голубого снега.

В розовой полумгле торчали с нар ноги в пимах и валенках.

У жерла чугунки, на березовом обрубке, сидел в рваной ситцевой рубахе старик. Зеленая всклоченная борода просвечивала на огонь плавленой бронзой. Сбоку на нарах, закинув ногу на ногу, примостился высокий в накинутой на плечи, подбитой медведем кожаной куртке. На широком ременном поясе висел, без кобуры, наган.

У сидевшего было острое, похожее на лезвие шашки, лицо, с резко вылезающими чугунными желваками скул, из-под которых выползал серый небритый волос.

Он пыхнул махоркой, растянул губы смешливой гармошкой.

— Бумага? Для чего, говоришь? А деньги забыл? Хаешь вот бумагу, а сколько небось керенок в портянках погноил, хрыч лесной?

Голос был упругий и колючий, слова падали звонкими, жесткими ледяшками.

Старик съежил лукавые морщинки.

— А кто ж их знал, что спразнят? Деревня прятала, ну и я, как все, миром, а только цены в ей, в гумаге, на-

стоящей нет. На веру она, с воздуху. Видал на станциях, по чалдонам, много ты на ее купишь? Морды воротят. Вещь, говорят, давай, а этого хлама у нас полны сундуки. Девать некуда. Вот и голодуем с твоей гумагой. Почитай, скоро одежу загонять придется?

Высокий нахмурился и зло поглядел в огонь.

— С продовольствием вправду скверно. Потерпеть нужно, Евстратыч. Земля тут развороченная, порядку еще нет. За Омск перевалим, там уже лад установлен. На питательных пунктах от комендантов кормиться будем.

Старик махнул рукой — коричневой кочерыжкой.

— Лешего в ей, в комендантском довольствии! Стрескаешь,— все пузо тебе блевотой вывернет. И так парни на животы жалятся. Пухнет, и в кишке задержка идет. Не проносит, значит, на двор: в середке загнивает. Сусорова в околодок уже сдали. Гляди, остальные своротятся. Ох, машина!.. Тоже!

Высокий передернул плечами, как от озноба.

— Не понять тебя, Евстратыч, как ты в красные залез? Сидел бы на печи да хлебушко жевал. Вот непонятна тебе машина. А я тебе что скажу. Пермский я, деревенский. Деревня у нас в глуши сосновой, одни пни кругом. Не родит твой хлебушко. Погнало на заводы. Ижевский, слыхал, верно? Ну, как пришел мальчонкой, тоже невдомек было, к чему машин столько. А пообходил вокруг машин пятнадцать годов, понял, что в ней, в машине, вся суть земная. Оттого и большевиком стал, от машины. Сила в ней, могучесть, облегчает машина человека, трудящемуся при машине жизнь во сто раз легче. Барин это хорошо понимал. Потому и допускал рабочего только вокруг машины похаживать, к середине, к сути не дозволял. Знал, что как только дойдет рабочий до того, чтоб понять машину в самом нутре, так конец хозяевой власти над машиной. Так оно и вышло. И я за машину три раза башку отдам, коли понадобится, потому что Советская власть — это, дед, и есть машина!

— Оно верно,— прошамкал в бороду Евстратыч,— рабочему машина допрежь всего, ну, а нашему брату, мужику, ни для какой потребы! Что ты в тайге с машиной наворочашь, товарищ Завихляев? А?

Завихляев покрутил головой.

— Ишь упрям ты, ровно пень таежный! Погоди! Лет через десяток, как пройдем мы по твоей тайге с такой машинкой. Трактором называется, разное может делать.

Возьмет твою тайгу и начнет рвать соснины трехобхватные, как ты лебеду выпалываешь рукой. Вот когда сделаем тебе на месте тайги ровное поле под пар — тогда поймешь, «кака в машине силишша», шишига ты дремучая!

Старик прислушался. Железный лязг под полом становился реже и резче.

Евстратыч встал.

— Должно быть, что станция... Ровное поле говоришь, сделашь, мила-ай? Сделай, сделай. Углядим — поверим в твою машину. Мы, мужики, народ упористый: пока не пощупам — не поверим. Разговор твой хороший, а ты мне раньше ситчику на порты отпусти, а машина потом...

— Эх, душа ваша мужицкая, темная! Все себе только. Ситчику! А у других, может, и рядна нет.

Теплушка дрогнула на стрелке. В щель мелькнули тусклые огни в замороженных окнах. Евстратыч похлопал по бедрам.

— Оно так! Каждый допрежь всего к своей плоти заботчик... А ты, товарищ Завихляев, сходил бы на станцию. Может, дадут покусать чего ребятам?

Завихляев отодвинул дверь и спрыгнул в ветряной свист. Старик посмотрел ему вслед, покачал головой:

— И-эх, народ пошел какой! Цены себе не знат, не жалеет себя. Сам без портов, а для обчества на щиблеты старается. Чудные дела!

4

Оранжевые блики от ламп ложились жирными пятнами на острые скулы Завихляева и прыгали на них.

Нагнувшись над столом, упершись жесткими глазами в закутанную дохой до глаз фигуру, Завихляев бросал слова, нервно цепляясь пальцами за край стола:

— Вы не имеете права отказывать в довольствии, товарищ! Не для собственного удовольствия катаемся. Вы прочли документы, видите, что команда сопровождает чрезвычайно важный для республики груз. Красноармейцы голодны. Денег нам не могли дать на всю дорогу. Полк — не казначейство. Я буду жаловаться на саботажное отношение.

Доха вскинула глаза и равнодушно сказала:

— Жалуйтесь хоть самому черту! Много вас таких сопровождающих тут шатается каждым поездом. Словчились с фронта дернуть? Сопровождение груза? Без вас не доедет? Отправляйтесь обратно в свою часть!

Завихляев дернулся от обиды.

— Это мне как же понимать? — сказал он, повышая голос.— Кто это с фронта словчился дернуть? Я на фронте два года без передыху, а ты вот видал фронт? Закутал морду в доху ворованную и думаешь, что цаца!

Доха вскочила.

— Что? Вы мне тут партизанскую демагогию не разводите, товарищ, а то отправитесь в ящик! Вы видали, как я доху крал?

— Видать не видал, а по вашему обращению так полагаю.

— Потрудитесь оставить комендантскую и больше не являться! Вы вообще подлежите задержанию и отправке в особый отдел, как незаконно покинувшие часть, а вы еще имеете наглость требовать довольствия!

— То есть, как же это незаконно, ежели у меня на всю команду документы имеются по форме: командировка, литера, аттестаты?

— Да что у вас дубовая, что ли, башка? На основании приказа Реввоенсовета, который вам должен быть известен, никакая часть без утверждения Ревсовета армии не может командировать людей в центр. А кто вас командировал? Полк? Здорово! Какой-то полк будет командировать людей в Москву! За это одно под суд, а вы еще довольствия требуете. Этак каждый взводный будет командировать красноармейцев в Америку! Убирайтесь, пока я вас не арестовал!

— Так вы отдайте под суд комиссара, ежели он неправильно сделал, а людей, которые свое дело исполняют, чтоб голодом морить, так это ж бюрократичный саботаж, и ничего больше.

Доха окончательно вспылила:

— Последний раз говорю вам, товарищ: убирайтесь, пока целы! Иванов, сходите за агентом особого отдела. Если вы не уйдете, я отправлю вас в особняк, как дезертира!

Завихляев сжал кулаки и шагнул к дохе. Но вспомнил: «А машина? Арестуют, пока разберутся, а с машиной опять что-нибудь стрясется». Махнул рукой.

— Черт с вами! Уйду! Может, как-нибудь до сле-

дующей станции доедем, там кто поумней пайдется. Счастливо оставаться!

— Сволочь! — бросила вслед хлопнувшей двери доха.

5

— Нет таких положениев, чтоб не кормить командировочных, которые сопровождающие...

— Пятые сутки без хлеба...

— Даешь жратво!

— Тише, ребятки!..

— Служба, вошь ее раздави! Как кровь лить, так это в момент, а как кормить, так по месяцу волынят!

Голоса гудели злобно и настойчиво:

— Требуй сполна!..

— На муху коменданта!..

— Какой ты командир, ежли хлеба достать не можешь?

— Тише! — крикнул Завихляев, свирепея.

— А ты хто: генерал? — отозвалось из угла теплушки, но все же крики затихли.

— Дело такого рода, товарищи, что если рассудить, комендант, значит, скотина. Я от этого не отказываюсь, но по закону выходит, что его правда. Потому, совершенно верно, как полк часть маленькая, и ежели каждый полк начнет людей посылать от себя в Москву, то получится разврат и дезорганизация. Это уж Яков Артурыч, комиссар, прохлопал, значит. Оно, конечно, если б комендант не собака был, а свой рабочий человек, то не допустил бы людей по всей строгости закона с голоду подыхать. Ну так что ж с человеком сделаешь, если он скотина? Нужно, братики, до следующей большой станции еще потерпеть. Больше терпели!

Сразу взорвало деревянные стенки криками:

— К ляду терпеть!

— Добро б на хронте терпеть, а то в командировке, по закону...

— Полагается, чтоб кормить...

— Забирай, робя, винтовки! Сыпь коменданта на муху брать!

— Зажирел, гад, на сытости...

Бросились к винтовкам. Завихляев сорвал наган с ремня. Ощерился.

— Не позволю! Первому, кто с винтовкой сунется,— пулю вворочу! Не самовольничать! Белякам под руку играете?

Тряс револьвером, и по лицу было видно, что выстрелит.

Сумрачно и нехотя поставили винтовки в углы. Избегали смотреть в лицо Завихляеву. Рябоватый нескладный детина виновато улыбнулся, сказал простецким, разрядившим напряженность голосом:

— И то! Что мы — разбойники, шпана? Пойдем, ребята, по мужикам просить жратвы. Село, видать, богатое. Не дадут же людям с голоду подохнуть.

— Дело! Собирайся, рать честная, Христа славить. Оно и впрямь сочельник подпирает.

Выпрыгивали из теплушки с хохотом, угрузая ногами в снегу, подхватывая вещевые мешки.

Завихляев тоже выпрыгнул из вагона. Рядом — буфер к буферу — стояла, поблескивая темным багрянцем свежей краски, теплушка «36. 213. 437».

Завихляев подошел, прижался щекой к ледяному дереву.

Там, за тонкой шелевкой, молчало во временной дреме огромное сердце машины. И Завихляеву показалось, что в снеговой тишине, на запасном пути он слышит внутри легкие, чуть уловимые содрогания этого сердца.

Затаив дыхание, слушал несколько секунд, оторвался, застенчиво улыбнулся обветренными губами и, смотря в дымный хоровод снежинок, бросил крепко и коротко:

— Довезу, родная!

6

Поезд тронулся и проходил семафор, тяжело повизгивая на обледенелом подъеме, а двоих из команды не было.

Завихляев дергался по теплушке, спрашивал:

— Куда ж могли деваться? Оповестил я всех вчера, что нынче в семь уйдем. Неужто забыли? Вот раззявы, олухи непеченые! И без документов. Попадут в работу!

В теплушке было странное любопытствующее молчание.

С нар смотрели на волнующегося командира несколько пар лукавых глаз.

— Кто их видел в последний? Кто с ними по селу ходил? Ты, Блакитный, что ли?

— Ходив, та я их на площади кинув. Не знаю, куды пишли. Мабудь, за околицю к дивчатам.

— Ах, собачьи дети! Говорил же, за село не выходить. Ну, как теперь отвертятся, ежели на контроль наскочат?

— Не наскочат! — отозвался вдруг голос из глубины теплушки.

— Как не наскочат?.. Вернутся на станцию, и готово.

— А ты не беспокойся, товарищ командир! Они не вернутся. Они знают, куда иттить!

Завихляев остановился и внимательно поглядел в угол.

— То есть как это мне понимать?

— А так! Парни-то здешние. У их дом в тридцати верстах. Вовсе, значит, не случаем отстали, а просто по домам двинули. Голодать кому охота? Добро б за что!

Завихляев ринулся к говорившему и вытащил за шиворот к свету.

— Ты знал, знал, стервец? Что ж у тебя язык пришило? А ты знаешь, как можешь ответить по военному закону за покрывательство дезертиров? А?

Парень отряхнулся от завихляевской руки и осклабил огромный щелистый рот.

— Чего знал? Знать ничего не знал,— слыхал, промеж себя гуторили, что дома хорошо бы побывать, баб помять. Ну вот, значит, и сбегли!

— Ах, сволочи!

— Чего сволочи? — сказал глухо сидевший перед Завихляевым.— Помирать с голодухи на казенном деле никому не сладко. Неделю ишшо проголодуем,— счастливо оставаться, товарищ. Помирать задарма присяги не давали. Ежели за власть Советов, это я всегда с огромадной охотой. Подохну и не икну. А из-за теплухи какой, черт весть што в ей везем, — благодарим мирси!

— Правильно!.. Все уйдем! Ну ее к черту! Сама доедет!..

— Я вам уйду!

— А ты не грозись, мила-ай,— протянул лениво Евстратыч,— парни-то правду бают. Где ж это слыхано,

чтоб государства солдатов в голоду держала. Мы многого не требовам. Шаньгов али пельменей не прошу, а что полагается,— дай, и никаких!

— Черти вы! — плюнул обозленно Завихляев.— «Дай, и никаких!» Где у вас общественное сознание? Лишь бы утробу набить, а для общего дела потерпеть — это не по вас?

— Зачем не по нас? — ответил опять парень с огромным ртом.— Я ж и говорю, што, ежели за серьезное дело, могу во как пострадать и слова не скажу. А тут с чужого свинства страдаем. Не мы об своей утробе, а эти вот, которы на станциях в шубах зажирели,— утробники. К бумажке чепляются. «Не по закону вас отправили!» То ты с нашего начальства требуй, а раз мы мимо тебя едем, ты дай шамать. Живые ведь люди, кровь за евонную шубу проливали. Видно, сколько ни воюй, а буржуев не выведешь!

Завихляев сунул в ладонь острое лицо свое, будто шашку в ножны, промычал в бессильной злобе.

— Слушай, ребята! — выжал с надрывом.— К послезавтрему доберемся до губернии. Там смахаю в военкомат, вытребую новые документы по форме. Будут кормить!

— Ладно, товарищ командир, пождать не беда. Только ежели в губернии не выйдет дело, так и знай: все уйдем. Пропадай она пропадом, машина твоя! Пойдем прямо на этап, заявимся,— пущай в часть под конвоем отправляют. Хоть кормить будут.

— Ребята!.. Я ж тоже голодаю, а дела не кину!

— Твоя воля! Дело твое известное,— партейный. Раз приказали,— стенку лбом прошибай и пикнуть не моги. А мы люди вольные.

Завихляев выругался и полез на нары. Эшелон полз деревянной змеей, скрипел и надрывисто лязгал скрепами.

7

Розовое солнце плавало в небе пухлым блином. Снег хрустел под ногами сухим скрипом.

Завихляев стоял на перроне перед начальником станции.

— Не могу, товарищ! Не могу! Строжайшее прика-

зание: транзитные грузовые эшелоны не оставлять на вокзале. Только пассажирские и воинские. Отстоитесь на полустанке. Двадцать верст...

— Да вы поймите, что мне нужно в военкомат, дело уладить. У меня команда с голоду дохнет.

— Это не входит в мою компетенцию. На полустанке настоитесь... Дней восемь промаанежим. Можете остаться и потом догнать, или с полустанка приедете первым встречным... Давай отправление!

Заверещал свисток. Визгнули тормоза. Эшелон качнулся и поплыл мимо вокзала.

Завихляев на бегу вскочил в теплушку.

— Куда завозят?

— На полустанок, черти их дери! Приказ: по причине загруженности путей не оставлять эшелоны на вокзале!

— А как же с военкоматом?

— С полустанка поеду назад...

— Так!..

. . . .

Утром Завихляев ввалился на тормозную площадку встречного воинского и приехал в город.

В военкомате военком выслушал и нахмурился.

— Ваш комиссар безголовый идиот! О чем он думал? Разве ж можно выкидывать такие штуки? Я сам ничего не могу сделать... Нужно послать телеграмму в Реввоенсовет армии, чтоб он подтвердил командировку. У вас деньги есть?

— Какие там деньги, товарищ военком! Все проэкрали. Двое уже сбежали по дороге. Остальные еле держатся.

— Да... Дурацкая штука, — сказал, задумчиво смотря в окно, комиссар, — не знаю просто, что делать... По правилу я должен был бы задержать вас, как неправильно командированных.

Завихляев дернулся на стуле.

— Но я понимаю, что вы ни при чем... Пошлю телеграмму... Подождите недельку.

— Товарищ военком!.. Как же недельку? Есть ведь нечего!

— Пока я выдам вам на свою ответственность недельный паек... Вам лично!

— А ребятам?

— Поймите, товарищ, — я не могу нарушить закона.

— Ах ты ж беда! — растерянно сказал Завихляев.

— Вот, пройдите в продчасть, по этой записке вам выдадут. Телеграмму сейчас пошлем.

Завихляев вышел придавленный. Получил в цейхгаузе тощий паек, сложил в мешок и направился на вокзал.

Шел, опустив голову, и на повороте улицы налетел на быстро идущего красноармейца. От удара выронил мешок. Взглянул на встречного.

— Завихляев!.. Ты ли это? Вот так негаданно!

— Тулищев!..

Завихляев взволнованно мял огромную в кожаной варежке руку Тулищева.

Десять лет проработали рядом в токарном цехе.

— Ты откуда?

— Да вот с авиабазой в Сибирь катим,— разухабисто сказал Тулищев. От него пахло спиртом, и он пошатывался.— У нас, брат, моторного спирту... А ты зачем?

— Машину везу в Москву. Ты с Ижевского давно?

— Месяца два. А что?

— Да хотел спросить, что с моими? Полгода почитай писем не было. Бросало нас по всей Сибири, где ж тут почте угоняться!

— Хы... Чудак! Каюк машина,— прищелкнул пальцами с той же пьяной веселостью Тулищев.

— Что, что?.. — прохрипел Завихляев, хватая его за руку.

— Каюк, по-немецки — капут кранкен... Мы, брат, тоже ученые... — Тулищев уцепился за плечо Завихляева, посмотрел на него мутными зрачками.— Ирина твоя скапутилась... Четвертый месяц. Ей-право!

Завихляев качнулся, схватил полушубок Тулищева.

— А ребята? — спросил он чуть слышно.

— Да ты чего?.. Ребят-то в детский дом взяли, пока вернешься. Чижика там поют... ко-лле-к-тивно... Я своих туда ж смотал... Теперь гуляй душа!..

Он икнул. Завихляев вздрогнул от отвращения.

— С чего померла Ирина? — спросил он, подымая мешок.

— Тифом... Дело обыкновенное... Человек большой — вша малая...

— Ну, прощай!

— Куда ж ты? Валим, брат, к нам, вспрыснем покойницу.

— Пошел к черту... Мразь пьяная! — крикнул Завихляев и быстро зашагал прочь.

Шел к вокзалу согнувшись, хотя мешок с пайком был совсем легок.

На вокзале узнал, что до послезавтра в сторону полустанка поездов не будет.

Решил не ждать.

«Двадцать верст к вечеру одолею, а то ребята подумают невесть что».

Шел лесом вдоль рельс, смотрел вдаль опустевшими глазами.

Пройдя десятую версту, вышел на прогалину. У путей высился пригорок, груда запасного балласта. Залез на верхушку, снял шапку, вытер вспотевший лоб и часа полтора просидел неподвижно, сжимая и разжимая челюсти, отчего на скулах вздувались тяжелые желваки.

Дико каркнула над головой пролетная ворона. Он надел шапку, зашагал по полотну. К вечеру пришел на полустанок, нашел теплушку. Дверь была защелкнута изнутри. Постучал.

— Кто там? — проскрипел ржавый голос Евстратыча.

— Отвори, дядя! Я! Завихляев!

— Товарищ Завихляев! Ах, мила-ай,— ахнул старик, отодвигая дверь,— чего стряслось-то. Ушли все ребята!

— А машина? Машина... цела?

— Машине твоей что деется? Целехонька!

— Куда ж они ушли? — спросил, вздохнув, Завихляев,— в город, что ли?

— Зачем в город, мила-ай? Шел тут эшелон встречный, с им комиссия кака ехала лошадиная. Ну наши ребята с ихшими погуторили, узнали, что комиссии требуются добровольцы в охрану. Забрали винтовки, вешши и ушли. «Кланяйся, грят, Завихляеву. Пущай со своей машиной целуется, а нам очертело». И уехали...

— Стервы,— скрипнул зубами Завихляев,— а ты что ж остался, хрыч?

— А мне чего уходить? Мой век теперь недолгий. С машиной подохнуть али без машины — все одно.

Завихляев отошел от двери. Подошел к соседней теплушке, опять прижался щекой к дереву. Снова показалось, что слышит еле уловимое содрогание.

Топнул ногой, отошел, залез в теплушку, бросил Евстратычу мешок.

— Ешь, хрыч, паек достал!

— А ты, родимец?

— Не хочу. Нездоровится что-то.

Залез на нары и под жадное беззубое чавканье Евстратыча мутно и тяжело уснул.

Ночью под эшелон подали случайный паровоз, и он заскрипел дальше, не дождавшись ответной телеграммы.

8

Третий месяц уже ползли по стальным путям, перецепляясь от эшелона к эшелону, перебрасываясь с линии на линию, прокатываясь под гулкими сводами мутноглазых, покрытых коростой разрухи вокзалов теплушки: «Зб. 213. 437» и вторая, в которой томились Завихляев и Евстратыч.

Везде и всюду, всякими правдами и неправдами, просьбами и угрозами, проталкивал Завихляев драгоценный груз.

Похудевшее лицо стало совсем острым, болезненно горели в потемневших орбитах упорные, коловшиеся глаза.

В каждом городе, шатаясь от слабости, во время стоянок обегал Завихляев военные, партийные и советские учреждения, совал всюду свои документы, убеждал, просил, требовал.

Кое-где выгоняли, кое-где выслушивали.

В иных местах злились, в иных смеялись; и там, где смеялись, Завихляеву удавалось обычно выпрашивать для себя и Евстратыча какие-то пайковые подачки: хлеб, жесткую, дощатую воблу, сахар.

Завихляев давно продал свои сапоги, куртку, шинель, гимнастерку. Ходил в туфлях из телячьей кожи,— шерстью наружу,— которые добыл по дороге в обмен на горсточку пороху, выковырянную из патронов.

Мужик подержал бумажный пакетик с порохом на ладони, с сожалением сказал:

— Не стоит оно туфлей-то!.. Ну, осподь с тобою! Видать, извелся, паря. А нам порох для охоты во как нужон! Волку развелось тьма.

Сверху закутывался Завихляев в рваное байковое одеяло, привязывая его поясом, чтоб не болталось, и на поясе без кобуры болтался черный, как ночь, наган.

За Уралом стало легче. Меньше ругались на станциях и не гоняли, а почти везде внимательно выслушивали, похохатывали и кормили.

В Рязани даже какой-то проезжий большой комис-

сар заинтересовался, ходил теплушку смотреть, затем свез Завихляева и Евстратыча пообедать в железнодорожный райком, называл героями и на прощание дал денег.

— Если не хватит — купите себе кормежки. А в Москве, как сдашь груз, зайди вот по этому адресу,— ткнул в руку записку,— там тебе все устроят и назначение дадут, куда хочешь.

Утром Завихляев стоял у раскрытой теплушечной двери, напряженно смотрел за синюю дымку редких перелесков, откуда должна была показаться Москва.

День был погожий, солнечный. Дымилась паром февральская таль.

Прогрохотал стальным плетением двухпролетный висячий мост, кинуло в глаза теплую волну паровозного дыма. Поезд нырнул в выемку, ускорил биение и с рокотом вылетел на открытое место.

За изгибами узкой промерзшей речки раскинулся, тяжело дыша громадным брюхом, плоскомордый монгольский город.

Над ним высоко сверкала и переливалась матовым светом в кубовой синеве ласковая звезда.

— Иван Великий, блестит, мила-ай,— сказал за спиной, широко крестясь, Евстратыч,— гляди, кака махинища!

9

Комендант вокзала, высокий тонкий юноша, с яркими цыганскими глазами, в новеньком френче и алых малинового блеска штанах, протянул руку через стол, с брезгливым недоумением взял просаленные, почернелые и рваные документы из грязной руки Завихляева.

— А-аткуда вы та-акой?— протянул он, пропуская сквозь губы, как макароны, тягучие резиновые слова.

— В документе обозначено,— сумрачно бросил Завихляев.

В лощеной фигуре коменданта ему почудилось враждебное, чужое.

Как будто воскресло и налилось жизнью на его глазах давно сметенное, умершее, сгнившее, которое он сам, Завихляев, раздавил громыхающим ударом сапога в Октябре.

Комендант концами пальцев, точно змею трогал, раскладывал по столу рваные обрывки.

— Здесь сам черт ногу сломит. Неужели вы не могли, товарищ, поаккуратнее с документами?

— Три месяца в теплушке. Голодали, холодали, сколько раз этими документами в рожу всяким саботажникам тыкал. Не до того, чтоб беречь! — сказал Завихляев дерзким голосом.

Комендант с усмешкой кольнул его цыганскими зрачками.

— Видно птицу по полету! Партизанщина?

Завихляев промолчал. Его душила мутная злоба.

Комендант пригнал наконец обрывки, вчитался, поднял недоуменно плечи.

— Э, странно! Сейчас выясню.

Он снял телефонную трубку, кинул номер в эбонитовую воронку.

— Вэсэнха? Дайте секретариат. Секретариат? Можно попросить к телефону товарища Бумана. Это вы, товарищ Буман? Комендант Казанского. Здравствуйте! Тут, видите, у меня дельце. Сейчас прочту вам документ... Да! Он тут у меня. Теплушка с машиной. Ах, вы знаете? Нет, не пропала, пришла! Дадите указания для разгрузки? Хорошо, я подожду.— Он повернулся и, как будто впервые увидев, что Завихляев стоит, кинул:— Присядьте, товарищ!

Одной рукой, не отрывая от уха трубку, достал портсигар и закурил.

— Да, слушаю! Пришлете представителей для приемки? К двум часам? Хорошо! Я их провожу. До свидания!

Он повесил трубку и спросил Завихляева:

— Где теплушка, товарищ?

— На товарной. На шестом пути, у склада большой скорости.

— Хорошо! Можете идти! Не отходите далеко, скоро приедет комиссия для приемки. Да приведите себя в порядок немножко. Вы на человека не похожи.

Завихляев поднялся со стула.

— Эх... на человека не похож стал! Вас бы, товарищ, так погоняли — облезла бы со штанишек лакировка-то. Чуть жизнь не кончил я за нее, а вы «на человека не похож». Так что должно вам быть стыдно за такую обиду.

Комендант пожал плечами.

— Не я же вас гонял, товарищ, нечего на меня и обижаться,— бросил он вдогонку Завихляеву.

10

Принимать машину приехали трое.

Двое в шинелях, оба серые, одинаковые, с одинаково повисшими пегими усами, унылые и тощие.

Третий, главный, в добротной шубе с бобровым воротником, в бобровой шапке.

Лицо у него было гладко-розовое, поросячье. Над вздутой толстой губой топорщились отливавшие смолой усики.

Глаза были масленистые, приторные, и правый противно подергивался тиком.

Он шел, тяжело вытаскивая ноги в высоких ботах из талой грязи, и трудно, со свистом дышал.

«Этот небось не голодал»,— с внезапной яростью подумал Завихляев, когда человек в шубе липким голосом расспрашивал его, пока комендант ходил за дежурным по товарному двору.

Пришел дежурный с пломбовыми щипцами. Все подошли к теплушке.

Главный вдруг вытянул театрально руку и неестественно громко сказал:

— Нас здесь немного, но тем ценнее отметить при присутствующих героизм товарища... как ваша фамилия?.. Да, товарища Завихляева, который отдал все заботы нужной Советской стране машине. Рабочая сознательность товарища Завихляева дала нам возможность увидеть машину здесь. От лица Вэсэнха благодарю вас, товарищ!

Завихляев мрачно смотрел в землю. Евстратыч хмыкнул.

Дежурный перерезал проволоки пломбы и изо всей силы толкнул намерзшую дверь. Она чуть подалась и остановилась.

— Заела,— сказал дежурный,— нужно подсобить.

Двое одинаковых, в шинелях, потянули за ручку, дежурный нажал сбоку. Дверь визгнула и откатилась с тупым грохотом.

Человек в шубе шагнул к отверстию, и вдруг поросячье лицо его мгновенно побелело, глаза остановились. Он приподнял руку и стал, дрожа, пятиться назад.

Завихляев метнулся к теплушке, ахнул.

Из полумглы вагона торчали четыре пары голых синих пяток. Одна была разрублена, и на ней замороженным черным сгустком запеклась кровь.

Завихляев услыхал за спиной чье-то тяжелое дыхание. Оглянулся, увидал позеленелое лицо коменданта. Руки у него тряслись, и он беззвучно шептал:

— Что же это... что же... что же?..

Одним прыжком Завихляев очутился в теплушке.

В рваном одеяле, исхудалый, серый, поросший серой бородой, он показался стоявшим внизу пятым, вставшим мертвецом. Евстратыч безостановочно крестился.

Завихляев нагнулся над телами. На заиндевевших промерзженных лицах, сквозь синеву, зеленые пятна и кровоподтеки, застыла смертная мука в оскаленных зубах. Животы у всех были вспороты, и из разрезов виднелось золотое крепкое зерно пшеницы сибирки.

Стуча зубами, Завихляев дотронулся до лба ближайшего. Руку обожгло холодом, тело издало деревянный звук, и он был так страшен, что Завихляев отшатнулся. Ухватился за стену теплушки и увидел на полу листок бумаги, продырявленный в двух местах, очевидно упавший с палки, воткнутой в щель пола.

Схватил, перевернул, вскрикнул.

— Что?— спросил придвинувшийся комендант.

Завихляев спрыгнул вниз, ткнул бумагу коменданту. Тот перехватил ее на лету. Прочел вслух, как будто ему трудно было читать, по складам: «Главному кагалу фаршированная щука на святки. Машина велела кланяться. Капитан Оскерко».

Уронил бумагу. И вдруг человек в бобровой шубе, стоявший, зажмурив глаза, у соседнего вагона, дернулся вперед и закричал визгливо и мерзко на Завихляева:

— Как вы смели?.. Арестовать его. В особый отдел, в подвал! Сгною подлеца, расстреляю!.. Издевательство, наглость.

Все затихли. Завихляев вздрогнул, схватился за грудь, шагнул к кричащему.

— Молчать... сволочь!..— выбросил он рыдающим хлипом. — Молчать, гнида! Я... я... — Он задохнулся: — Я из-за ее жизни решился... Все потерял, детей на нищету бросил, все для нее, для машины... для голубушки... для рабочей власти, а ты на меня расстрелом?..

У, свинья пузатая! — и, рванувшись вперед, плюнул в дергающийся тиком масленый глаз.

Человек схватился за лицо, отпрянул и, воя и спотыкаясь на коротких ножках, побежал вдоль путей, потеряв бот с левой ноги.

Комендант схватил Завихляева за руку. Завихляев вырвался.

— Оставь, товарищ. Больше не трону! Хватит! — сказал он ровно и спокойно и вялыми шагами отошел от вагона.

Сел на рычаг стрелки и уткнул голову в колени.

Евстратыч подбежал мелкой рысцой. Зеленая спутанная борода жалко тряслась.

Положил руку на плечо Завихляеву, нагнулся:

— А, товарищ? Товарищ Завихляев? Вон что вышло, мила-ай! А ты не убивайся! Плюнь на это дело! Какая твоя вина? Говорил я тебе, что́ в ей, в машине? Дермо она, одно слово — тьфу!

Завихляев не отвечал.

Евстратыч слегка подтолкнул его, и вдруг тело Завихляева взвилось, как подброшенное.

— Нет, нет!.. Найду ж я ее!.. Доставлю!.. Как же так? — крикнул он пронзительным истошным голосом, зарычал и, вытянув руки, пошел, качаясь, как слепец, вдоль вагонов, прокалывая талую жижу под ногами тупым упором невидящих глаз.

И так шел и рычал, пока не схватили сзади догадавшиеся люди.

Бился, кричал, брызгал пеной с губ и бросал в гулкие ущелья вагонов:

— Н-нет!.. Достану... довезу! Врешь.., Не обманешь!

Ленинград, ноябрь 1924 г.

ПОЛЫНЬ-ТРАВА

1

По лобастым пригревам чолпанов свиристели овражки, встав на задние лапки у своих норок, вытянув к небу острые мордочки, предвещали июньский зной.

Вставало над широколонной степниной с зари медно-кованое вязкое солнце, поливало красной лавой шуршащие пшеничные волны, сушило белые петли, пыльные узлы степных немереных дорог, размашистые лога, зеленошерстные травы.

Прогревало плодообильное черногрудое логово земное, раскидавшее долы от гранитных порогов Угорских до пенной зелени разгульной Хвалыни.

Скифская вотчина, сердце страны моей, открытой вольным ветрам поднебесья.

Жарок степной дух, крепко медвяное веянье полынь-травы и чабра,— горечь и сладость.

Взять в руки полынные серебряно-серые былинки, потереть меж ладоней, прикоснуться губами, и в горьком дыхании почуешь всю древнюю тугу земную, услышишь сквозь века долетевший голубиный зов перворедины.

Безоглядна степь. Ясную силу дает уму человечьему, острую меткость взору, крепкий загар щекам, сердцу — любовь.

По излогам степным, по обрывистым балкам, опушась камышами и вербами, в лиственном шелесте, разбрасывая в стороны нити ериков и протоков, проходит черными землями кормилец — великий Дон.

Щедро поит желтое море Тмутараканское, а начало Дону в темном русальем Иван-озере.

Пышут степи в июньские полудни иссушающим маром, а в сухие желтозвездные ночи перемигиваются по закраинам неба перекличкой зарниц.

И в полночь кличет с курганов незнаемый клекот.

Клекочет вещим голосом, поверх деревьев, не виданная никем птица Див, велит слушать чужим землям: Волге и Поморью, Посулью и Сурожу, славному Корсуню и потонувшему в охряных водах идолу Тмутараканскому.

Заслышав тонкие вопли, просыпаются и пугано ржут спросонья кони, мычат коровы. Поднимаются с подушек в станицах чубастые головы, вздыхают с горячего сна.

Кличет Див-птица к беде неминучей.

Жирная степная земля под топотом копыт содрогнется, будет засеяна костьми, полита кровью, — взойдет же печалью лютой по всей русской земле.

2

О двоих повесть.

А может быть, и не о двоих, о многих, о всех. О всех нас, что прошли в полынные эти годы неезжеными степными тропами, взяли от степи дары ее: ясную силу ума, меткость взора, полынный загар и медвяную горечь любви.

О нас, обо всех, что возлюбили ширококрылый размах ковыльных полей, ярый лет конского бега, скрип колесный в черные полночи, звон оружия, громы степных очищающих гроз.

О нас, обо всех, живых и помнящих и о мертвых, чьи тела стали пищей шумным травам, назёмом для тучных хлебов.

О тех, кто легли костьми по набережью синего Дона, на ковыльный колеблемый пух, смешав на жаркой земле в общем потоке свою живую кровь.

И даже степным коршунам, жадно приникшим к ней, измазавшим в алое загнутые клювы, не разобрать было,— где чья.

Одна кровь человечья, и нет в ней различия, когда уходит она из широко растворенных ран.

3

Когда лопнул под гулкими плетьми гаубиц, под грохотной оползью ступенчатых стальных черепах, трощивших тела, под звоном и свистом шашек шатнувшийся фронт, как лопается от удара топором туго натянутый последний канат, удерживающий корабль на стапеле, перед спуском, — в широко растворившиеся дымные и гремящие ворота ринулась конная лавина синих, малиновых, белых фуражек и башлыков.

Несли они гибель, меч и огонь.

Смятенными ночами пылала округа рыжими космами заров, грохотала кромешными рокотами взрывов.

В пламенных выплесках рушились вокзалы и водокачки, депо и мастерские, горели на путях тысячи краснобоких теплушек, завивались стальными локонами взорванные у скрещений стрелок рельсы.

Брошенными вьюками ложились в грязь и талый снег людские тела, глаголем виселиц протягивали в закурчавленные багровеющие дымы черные прямые ветки, и они гнулись под гроздьями длинных, недвижно висящих плодов.

А конные лавины с грохотом, посвистом, разгулом, озорной песней, трескотней тележной, побежали небитыми дорогами на красноглавую Москву.

Скрипели колеса расползавшихся веерами обозов и пушек, как разлетные прощальные крики лебедей.

Где ступали копытами горбоносые донские кони — мертвела земля, вспять текли реки, в темном ужасе съеживались полумертвые голодные города.

Яростными половецкими чамбулами летели отчаянные конники от Дона, от моря Тмутараканского к живой сердцевине страны.

О славе веков, о силе, о хищной мощи владык лепетали белые шелка знамен, увитых черно-оранжевыми лентами, увенчанных крестами.

Неслись конники через поля, через мосты, по горам и долам, сквозь леса и болота на пряничный город, где днем и ночью черные пальцы кузнецов ковали оружие для дерзнувших и восставших.

И над конными ордами, не видимая никем, ширяла черноперыми острыми крыльями, когтящая Див-птица с двумя коронованными головами.

4

В комнате было дымно от колченогой буржуйки, распылавшейся докрасна, пожиравшей обломки забора от дома купца Солодкова.

Второй год служил забор верой и правдой товарищу Белоклинской.

На буржуйке шлепал пузырьками кипятка продавленный жестяной чайник. Пузырьки выпрыгивали на раскаленное железо и долго бегали по нему прозрачными живыми шариками, пока не испарялись или не скатывались сквозь отверстие конфорки в желтую глотку огня.

Товарищ Белоклинская сидела у буржуйки, не видя заигрываний чайника, и, склонив гладко зачесанную голову, читала искрапленные синими чернилами листки.

«...еще пять месяцев, Аничка, и меня выпустят офицером. Очень скучно сидеть в училище, когда на фронте такой подъем духа и блестящие успехи. Я просился в рейд добровольцем, но папа запретил. Сказал, что дело близится к концу и мне нечего соваться, так как лучше выйти знающим офицером, чем недоучкой, вроде советских красных командиров, тем более, что всем офицерам будет много работы по воссозданию настоящей дисциплинированной армии. Мне очень было досадно, но пришлось покориться. А нашу кавалерию на всем пути встречают колокольным звоном, цветами, хлебом-солью. Воображаю, как бегут краснопузые. Калединцы заняли Курск и двигаются к Орлу. Досадно, что нельзя посмотреть, как комиссары упаковывают чемоданы и дают драпу из Кремля. Мне очень хочется увидеть тебя, сестренка. Мы только на днях случайно узнали, что ты уехала из Питера к тете Варе. Наверное, очень голодаешь? Я говорил недавно с одним пленным красноармейцем (у нас в училище работают конюхами пять человек). Он рассказывал, что в совдепии люди умирают с голоду. Я его спросил — доволен ли он, что попал к нам? А он очень смешной. Погладил бороду свою, у него рыжая, лопата вятская, посмотрел на меня и говорит: «Вы вот, барчук, сердечный и добрый, не то что другие. Дозвольте мне, глупому мужику, вам начисто, по моему темному разуму, сказать?» — «Говори». — «Ну вот, коли правду молвить, сытно у вас и всего вдоволь, а для нашего брата мужика там вольготней. Кланяться некому, а тут только и гляди шею гнуть направо и налево». Ну и еще говорит: «Вранье это, что в большевицкой армии сра-

жаются все китайцы и латыши, а только обращение с солдатами вежливое и офицеров не расстреливают, а даже многие офицеры у большевиков занимают крупные должности». В общем, любопытное рассказывал бородач, но только его вахмистр позвал, а после говорить не пришлось, потому что у нас за интимные разговоры с нижними чинами командир эскадрона так цукнет, что небо с овчинку покажется.

Я подумал немного вечером. Не знаю, как что, но, по-моему, про китайцев и латышей он правду сказал. Сколько я ни видел пленных, все они самые обыкновенные рязанские «ваньки», а китайца я ни одного не встретил. А кроме этих «ваньков», попадались иногда бритые люди, такого какого-то американского типа, так оказывались рабочие заводские.

Знаешь, — меня иногда берет здоровое сомнение насчет наших газет. Врут, я думаю, три короба. Конечно, большевики сукины дети и грабители, я от поручика Каменщикова знаю, как они грабили московские соборы и из гроба Ивана Грозного брильянты вытащили. Поручик тогда по чужим документам в чеке служил и сам выносил ночью мешки, но про китайцев и прочие такие вещи — враки. Я бы не рискнул тебе написать о своих сомнениях, если бы не знал, что письмо передаю через верного человека. А то у нас за такие сомнения и в контрразведке нетрудно очутиться. А тебе пишу обо всем, любимая сестренка. Тут один дурак, Колька Левитов, ты его знаешь, распространял о тебе слухи, что якобы ты тоже большевичка и расстреливаешь буржуев. Ну, я поймал его в парке и намял ему морду как следует, — пусть не врет. А то разнес бы слухи, дошло бы до папы, и он разволновался бы. Напиши, пожалуйста, о себе подробно, как живешь и что делаешь? Ведь уже около двух лет, как мы не имеем никаких сведений о тебе, кроме сплетен таких идиотов, как Левитов. Но теперь скоро конец, и мы увидимся, наверное, не позже июня. Ты будь осторожна последние дни, не выходи на улицы во время стрельбы, а то еще нечаянно могут убить. Как хорошо будет снова зажить вместе тихо и дружно. Очень издергала бездомная кочевая жизнь.

А у меня над кроватью, в эскадроне, висит маленькая иконка, которая, помнишь, висела в детской над твоей постелькой. Я когда молюсь по вечерам — всегда вспоминаю тебя.

Пиши, Аничка, и мне и папе. Может, найдешь случай

передать письма. Крепко целую тебя. Любящий брат Всеволод».

Товарищ Аня согнула прочтенные листки пополам и, открыв дверку буржуйки, сунула в огонь. Бумага страдающе скорчилась, задымила, побежали сперва синеватые огоньки, их проглотило радостно взвившееся, гудящее пламя, метнулось огневеющей душой, улетело в трубу, бросив на углях смятый черный трупик.

Девушка закрыла печку, сняла перекипевший чайник и отнесла на подоконник. Стола в комнате не было. Налила кипяток в эмалированную синюю кружку, пустила крупинку сахарина и, взяв кубик жмыхового хлеба, уселась на кровать.

Отхлебывая горячую жидкость, поглядела на буржуйку, лукаво сморщила нос и сказала вслух:

— Дорогая буржуйка! Как вы думаете, что сделалось бы с полковником Белоклинским, если бы узнал он всю правду?

Угли в затухающей печке вдруг запели тонким пронзительным свистом.

Товарищ Аня расхохоталась:

— Спасибо, дорогая! Я вас понимаю! В ответ на такой вопрос только и можно засвистать. Да... ничего не поделаешь.

Она допила чай, погрызла еще засохший, царапающий горло жмых и легла на доски кровати, закинув руки под голову.

Полежала, мечтательно смотря в потолок, и брови сошлись над переносьем острой морщинкой. Сказала снова тихо и грустно:

— Отец? Отец — глупость!.. Жалко Севу. Глупенький мальчик, слепой, как кротенок, и неплохой мальчик. Может еще стать живым человеком. А погибнет, — сам не зная за что... Жалко...

Она встала, сняла со спинки стула порыжевшую кожаную куртку, зябко натянула ее на плечи.

Вынула из кармана клеенчатую, в облысинах, записную книжку и между цифрами, адресами, расписаниями организационной работы и лекций товарища Белоклинской вписала химическим карандашом: «Нужно не забыть написать Севе всю правду».

Спрятала книжку, нахлобучила на пепельноволосую голову хвостатую заячью шапку, схватила портфелик и, закрыв вьюшку печи, вышла на улицу.

На стене у ворот увидела свеженаклеенную стенную газету РОСТА. Вглядываясь в сумерках в расползавшийся сбитый шрифт, нашла сводку Наркомвоен, прочла о ночном налете конных лавин в районе Рязани, о напряженном артиллерийском бое на Гомельском участке, об отступлении красных частей на новые позиции.

Вести были угрожающие, но в словах, в структуре фраз, даже в порченом шрифте была незримая, но входившая в сознание бодрость.

Товарищ Белоклинская вытерла кончиком мизинца заслезившиеся от напряжения глаза, вздохнула и быстро побежала по улице, прижимая к боку перевязанный бечевкой портфелик.

5

О ней, о товарище Анне, об Анне Белоклинской, памятная запись.

И опять не о ней, о многих, о девушках русских, что мукой и любовью приняли пришедшую новь, как ветхое рубище сбросили с плеч оранжерейные годы, ушли из нежного плена шелков, батиста, комнатной жизни, тончайше пропитанной дыханиями Лентериков и Коти, баюкающей негой.

Шуршащей волной сброшенного на пол платья легло прошлое — покрываться пылью в просторной квартире полковника Белоклинского на Конногвардейском бульваре, в сереброснежном Питере.

В древний, с расписными монастырскими главами, приречный губернский город приехала вырвавшаяся из кокона душа, и город не удивился, когда заметил на увалистых подгорных улицах порыжевшую кожаную куртку, австрийские бутсы и перевязанный портфелик.

Удивились только знавшие поскакушу-белочку Аню в петербургской квартире холенолицые люди, и еще удивилась чудачка тетка, жившая в древнем, с монастырскими главами, городе, когда увидела Аню в порыжевшей куртке.

Спросила о причине такого наряда и, услыхав ударивший воздух жесткий ответ, что приехала Аня по партийной командировке работать в губкомпарте, пожала плечами и сказала:

— Ну что ж!.. Молода, голубушка! Побесись, побе-

сись! Я в твои годы тоже на медицинские курсы удрала, с отцовским проклятием на дорогу. Волосы остригла, очки носила и в пледе ходила. И даже раз от Софьи Перовской записочку к Тригони носила. Побесись! Побесишься — человеком станешь. Только голову не сломай. А то больно вы, нынешние, горячи... Жить у меня будешь?

И на новый твердый ответ племянницы, что будет жить отдельно, не желая стеснять ни тетку, ни себя, добавила:

— Как хочешь! Дело твое! Когда голодна будешь, приходи, накормлю, чем есть. А мужчин гони! Подлецы они все, — гроша медного не стоят.

Тогда и поселилась товарищ Белоклинская в пустой комнате, по жилищному ордеру, в конце петлеватого переулка за городским бульваром.

И город привык к куртке, бутсам и портфелику, ибо каждый день во все концы неслись они с партийными поручениями во всякое время дня и ночи, в зной и непогодь.

А у товарища Белоклинской в тихом свете глаз, в острой улыбке, в отвердевшем изгибе рта легло ясное спокойствие.

И оттого везде, на митингах, в партклубах, в комсомоле, в детских домах, у инвалидов, в редакции губернской газеты, это лицо вызывало ответные улыбки, ответную теплоту.

И только глубоко под пеплом сожженного теплилась в товарище Анне болезненная, с детства любовная, сестринская привязанность к сероглазому мальчику Севе, который в дни Октября уехал в ковыльные дымы, к полковнику Белоклинскому.

Хотелось вернуть, рассказать, убедить, но Сева был за колючей щетиной фронтов, куда давно не ходили письма, не пролетали сквозным лётом громыхающие поезда.

В эти дни пересекся путь товарища Белоклинской с встречным путем Романа, подручного слесаря от Лесснера, курсанта кавалерийской школы.

И не могла товарищ Анна разойтись с путем Романа, потому что были в эти обжигающие годы у людей только два выбора — ненависть и любовь.

Товарищу Анне — любовь.

6

Очки у говорившего были со странными, квадратными стеклами, и квадратное было лицо.

Стекла поблескивали мертвым металлическим отсветом, и от этого человек сам казался вывереннной машиной, точной и неумолимой.

В длинном манеже резкий голос плескался ударами в стены, подымался к облупившемуся потолку и оттуда падал на головы тяжелыми кусками, как будто бросали сверху горстями круглые свинцовые пули.

За окнами серела в тумане городская неубранная площадь с полуразложившимся лошадиным трупом, плыли над крышами дымные волокнистые тучи, и из них назойливо сочил жемчужный бусенец.

Серый строй курсантов замер цепью вокруг стен, человек в очках, стоя в середине манежа, на пропахшей лошадиным запахом рыхлой земле медленно совершал круговой оборот во время речи, поворачиваясь лицом к шеренгам, и это еще больше завершало его сходство с машиной.

В дальние углы манежа слова падали обрывками:

— Железный удар... Орлята пролетарской страны, вы еще не совсем оперились... летите из вашего гнезда. Любовь и надежда всех угнетенных, всех трудящихся масс с вами... Враг силен. Уже орды подкатываются к сердцу Советской страны... хищные когти протянулись... разорвать знамя коммуны... Вперед, орлята! Мы будем бить врага его же оружием. Партия следит за вами с гордостью, ждет от вас сокрушительного удара по белым полчищам. В этот грозный момент помните... На вас лежит ответственность перед миллионами трудящихся мира, и вы оправдаете себя. Вперед под знаменем РКП!

Человек сдвинул квадратные стекла на лоб и вытер вспотевший нос.

Войлочная полоса шинелей шатнулась и распахнувшимися кружками ртов бросила в потолок манежа грохнувшее залпом «ура».

С потолка в ответ шурхнула мелкая осыпь известковой пыли.

Маленький комок штукатурки скользнул по боку меховой шапки квадратнолицего человека. Он неторопливо поднял голову, вгляделся в оголенные обрешетины, прови-

савшие над манежем, и сказал совсем другим, простым, соболезнующим и усталым голосом:

— Как это вы рискуете здесь манежные ученья делать? Того и гляди, весь потолок обвалится. Починить бы как-нибудь.

Начальник школы, седоусый, бывший кадровик, мрачно и равнодушно взглянул на потолок:

— Ни черта!.. Привыкли! На почин купиша нет...

Сказал и вытянулся, взяв под козырек, потому что оркестр медноголосо лязгнул «Интернационалом».

Выслушав гимн, квадратнолицый снова повернулся к начальнику школы.

— Можно будет распустить курсантов. Выступать послезавтра, так пусть ребятишки отдохнут, погуляют, простятся с родными.

Начальник школы молча козырнул и пошел, сопровождая гостя к выходу, раскачивающейся кавалерийской походкой.

7

Роману Руде показалось, что смеются и обвалившееся с одной стороны крыльцо, и порванная холщовая вывеска с черной цепью букв «ГУБКОМ», и желтая стена в серовато-бурых пятнах плесени, и даже безнадежное небо, протянувшееся суровым небеленым холстом, — хотя улыбка была только на девичьем лице, в линиях побледневших от недоедания губ, в морщинках под солнечными глазами.

Он дернулся вперед, завязил шпору в проломе дощатого тротуара, споткнулся, ткнулся руками в осклизлые доски и встал запыхавшийся, растерянный, красный, видя только одну улыбку, ставшую еще ярче, еще нестерпимей.

Это о третьей встрече курсанта кавалерийской школы второго эскадрона Романа Руды и дочери гвардии полковника Белоклинского, партийки и инструкторши-организаторши, в кожаной порыжевшей куртке и австрийских тяжелых бутсах.

О третьей встрече с того вечера, как в школьном литкружке появилась руководительница, товарищ Анна Николаевна.

О прежних — запись не на бумаге,— а в сердцах то-

варища Анн и курсанта Романа, подручного слесаря от Лесснера.

И только о последней, этой вот, о последних часах, минутах, секундах записана страница.

. . . .

— Что с вами, Роман? Зачем вы тротуар клюете?

Роман затрепетал от веселого звона голоса.

— Товарищ Аня... то есть Анна Николаевна, извините, товарищ Белоклинская, здравствуйте.

И сунул вдруг одеревеневшую, неповинующуюся руку.

Солнечно-желтые зрачки сузились хохотом.

— Да вы посмотрите на свою руку... На ней фунт грязи! Давайте платок, я оботру. Вот увалень-то!

Девушка взяла платок и, нахмурив брови, выпятив губы, стала вытирать жидкую черную грязь с ладони Романа.

Он стоял, чувствуя только, что от легких прикосновений руки с платком температура тела прыгает, как в термометре, поднесенном к огню.

Перестал даже дышать, но спохватился и потянул к себе платок.

— Товарищ Белоклинская... что же вы? Да я сам, да как же это вышло? Ах я медведь этакий!..

— Ну, конечно, медведь, настоящий плюшевый мишка. И глаза такие же кнопочки беспомощные.

Забрызгала звонкая капель девичьего смеха.

Товарищ Белоклинская стояла у крыльца губкома, положив портфелик, завязанный бечевкой, на осенние камни крыльца. Белая заячья шапка свешивала длинные хвосты на порыжевшую кожаную куртку, куртка переходила в клетчатую юбку, на худощавых легких ногах нелепыми нашлепками казались коричневые солдатские бутсы австрийского образца, но Роману ясно было, что нет в мире лучшего наряда.

Он смотрел на ясно-розовую щеку девушки, на ласковое пятнышко родинки у вздрагивающего крыла носа и говорил, сам не понимая слов, слабеющим голосом:

— Какая вы нарядная, товарищ Анна Николаевна!

Анна Николаевна хлопнула в ладоши:

— Вот чудак! Да вы когда-нибудь видели, Роман, нарядных людей?

— Мало! — сказал он твердо. — Больше издали.

— Ну вот. Оттого вам всякое чучело и кажется нарядным.

— Не знаю, — ответил засерьезневший Роман, — для меня вы всегда будете нарядная и замечательная...

Улыбка спугнутым зайчиком слетела с губ девушки. Она опустила глаза и взяла портфелик.

— Вы очень славный, Роман! Но не говорите комплиментов. Ни мне, ни вам они — не к лицу. Я когда-то наслушалась их слишком много, и вот почему я здесь, — она ткнула рукой в надпись «ГУБКОМ», — вам же не нужно учиться ни слушать, ни говорить их.

— Простите, я не буду, товарищ Анна Николаевна,— виновато-детски протянул курсант, таща у нее из рук портфель.

— И не называйте вы меня так смешно: «Товарищ Анна Николаевна». Или товарищ Белоклинская, или товарищ Аня, или Анна Николаевна... Вы куда идете?

— Я? А право, не знаю... Взял увольнительную записку из школы и слоняюсь. Думал на картины пойти. Сегодня в гарнизонном клубе кино показывают.

— А хотите со мной пойти?

— Куда?

— Куда? В райклуб. Там сегодня доклад по истории женского движения.

— А читает кто?

— Я!

Роман вздохнул, покраснел и быстро, как будто прыгая в воду, выпалил:

— Хорошо! Пойду!

Товарищ Белоклинская незаметно улыбнулась.

«Совсем прозрачный», — подумала она и сказала вслух:

— А пока до вечера приглашаю вас к себе. В комнате хоть и холодно, а все же лучше, чем под дождем бродить. Ну, давайте руку.

Роман неловко взял товарища Аню под локоть и зашагал, таща ее за собой и шлепая сапогами по лужам.

8

В низкий квадрат двери Роман еле протискался, увязив рукоять шашки в дверной ручке. Погрохал сапогами по полу, отряхая воду, осмотрелся радостно возбужденными глазами и вдруг бухнул, распрямив плечи:

— Последний раз, значит, я в вашем замке. Послезавтра едем, всей школой, как есть. Отправляют отдельной частью. Здорово?

Товарищ Белоклинская повернулась к нему. Снятая шапочка осталась у нее в руке.

— Что? Куда едете? Куда вас отправляют?

Роман цепко схватил ее за руку.

— Как куда? Разве ж вы не знали? Против генералья, на фронт!

Почувствовал в своем тяжелом пожатии мгновенную дрожь зашершавевшей на морозах ладони.

— И вы ничего мне не сказали раньше? Только теперь вспомнили?

Роман внимательно посмотрел в лицо Белоклинской, выпустил руку и отвел взгляд.

— Разве вам, товарищ Аня... неприятно? — сказал он с трудом и внезапно коротко задышав.

Товарищ Аня молчала и глядела с напряжением на круглый лоб курсанта, над которым вихрились темно-русые волосы.

«Как лепестки хризантем», — подумала почему-то она, на мгновение вспомнив прошлое, покрывшееся пылью в питерской просторной квартире.

— Разве неприятно? — как сквозь сон повторился настойчивый вопрос.

— Нет... Почему неприятно? Отчего вам пришло это в голову? — спросила она с усилием.

— Да так... Рука у вас дрогнула, — еще тише и смущеннее ответил курсант.

— Рука? Пустяки,— улыбнулась Аня, справившись наконец со странным волнением. — Я, должно быть, простудилась в этой беготне. Последние дни лихорадит. Нужно чаю выпить. Потрудитесь-ка, Роман. Разожгите буржуйку, поставьте чайник, будьте хозяином.

— Вам поберечься надо, отдохнуть, товарищ Аня. Так вы свалитесь совсем, — сказал ласково курсант, снимая шашку и расстегивая шинель.

Услыхал в ответ печальный смех.

— Отдохнуть?.. Что вы, Роман? С луны свалились? Зачем говорите наивности? Сами знаете, что ни мне, ни вам, никому не дадут, да и нельзя отдыхать. Вы согласились бы сейчас отдыхать?

Он улыбнулся и широко вобрал воздух грудью.

— А мне зачем отдыхать? Я здоров, как бугай. Мне

только свежего воздуха давай, — на фронте надышусь вволю.

Нагнулся к печке, чиркнул завонявшую серой спичку, зажег щепки, и, пока возился с растопкой, Аня следила сторожко за уверенными взмашистыми движениями жилистых рук, за гнувшейся, натягивая гимнастерку, круглой, туго налитой спиной, и по телу у нее разливалась теплая подымающая тревога.

«Такой родной, милый, простой», — подумала она, сама не заметив, и испугалась незваных мыслей.

Печка разгорелась.

Роман встал, сел твердо, как в седло, на придвинутый табурет.

— Так, — сказал он, помолчав, — значит, послезавтра прощай, город, прощай, тихая доля. Повоюем за советскую напоследях. Только вот странно мне, — как же это я вас не увижу, товарищ Аня?..

Сказал он это совсем просто, видно — от самой глубины своей, с недоуменной жалобой, но Аня вздрогнула.

И чтобы прогнать ненужное, страшившее, неотвязное, сунула руки в карманы куртки, плотней уселась на кровати, постучала о пол захолодевшими ногами.

— Роман... Мне нужно с вами поговорить. Об одной вещи... Может быть, глупо это, остатки моей прежней закваски, а может быть, потому, что я женщина, простая сменная женщина и говорит за меня женское, всегда тревожное сердце.

Курсант поднял голову, кольнул внимательным взглядом. Лицо его, от подбородка ко лбу, залила медленная кирпичная краска, дыхание отяжелело.

«Глупый, — подумала товарищ Белоклинская, — он совсем не понял».

Ей стало горячо и весело.

— Вы не бойтесь. Ничего необыкновенного. Вы знаете, Роман, что у меня там, за фронтом, у белых, отец? Да, знаете? Ну вот! Но, кроме отца, там еще брат, Сева. Ему только девятнадцать лет. Отец мне совершенно безразличен. Он сам избрал судьбу, и сам за себя ответит. Но брат, брат — мальчик. Он вырос в обстановке нашего ледяного дома, под жесткой рукой отца, с детства начиненный военщиной, монархизмом, идеями величия империи. Но он умный мальчик. На днях я получила от него письмо. По письму увидела, что у него есть сомнения в правоте дела

отца. Мне хочется спасти его. Я не хочу этой крови... Помогите мне, Роман!

Курсант внимательно смотрел на свои руки, лежащие на коленях.

— А чем же я могу помочь, товарищ Аня? Как помочь?

— Право, я сама не знаю. Я чувствую, что говорю глупости. Но это меня мучит третий день. Вы идете на фронт... Может быть... если он попадется в ваши руки, — бывают всякие случаи, — оставьте ему жизнь. Когда он будет здесь, он станет нашим...

Она замолчала.

Роман медленно поднял голову со сжатыми губами.

— Вот что, Аня! Вы мне только скажите, где он, в какой части, и напишите записку от себя, чтоб он знал. А я даю слово, что из кожи вылезу, а доберусь, или найду способ передать ему. Другого сам бы зубами разорвал, а ежели он ваш брат...— Он внезапно оборвал речь и покраснел.

— Письмо? Письмо я написала ему еще позавчера. Он в Ростове, в кавалерийском училище.

— Одноружник, значит? Тем лучше! Еще вместях повоюем. Давайте письмо.

Он взял серый казенный конверт и спрятал его во внутренний карман гимнастерки.

— Спасибо, Роман! Спасибо, товарищ! — Аня протянула руку и встретила опять сжимающее пальцы пожатие курсанта.

Сзади зашипел и забрызгал паром чайник. Роман быстро освободил руку и побежал к печке. Товарищ Белоклинская проводила его расширенными потемневшими глазами и беспомощной улыбкой.

Он обернулся от печки и сказал почему-то шепотом:

— Давайте стакан, я налью вам.

Товарищ Белоклинская коротко вздохнула и прижала ладонь к груди.

— Не нужно чаю, Роман. Идите сюда.

И когда курсант подошел, удивленный, внезапно побледневший, девушка положила руки ему на плечи, подалась к нему любовным движением и сказала рвущимся голосом:

— Я знаю, Роман, что вы сами никогда не скажете мне этого... Того, что вы хотите, и что вам нужно сказать,

и чего вы боитесь. Но сегодня последний день. Зачем же нам мучить друг друга, зачем красть у себя радость? Я сама скажу вам, — я люблю вас, Роман, и знаю вашу любовь.

Была в этот миг в комнате смутная тишина, булькал водой чайник и стояли двое лицом к лицу, глаза в глаза, потрясенные и оглушенные.

И когда курсант, опешивший, подхватил ее, обезволенную, склонившуюся к нему, как подсеченная смоляная ель, и потянулся неловко к губам девушки, они улыбнулись ему бессильной нежной улыбкой.

И в ночи, в гулком хлопе бившегося на крыше железа, в капельном звоне дождя в стекла, в холодном сумраке советской комнаты, жглись углями встречавшиеся губы, пламенели касания рук, спутывались на прорванной подушке волосы, и комната казалась многоколонной, чудесной, светящейся и поющей.

В эту ночь кровь двоих — дочери полковничьей, большевички партийной Анны Белоклянской, и слесаря подручного от Лесснера, Романа Руды,— стала одной кровью.

И даже самим им не различить было, чьего сердца удары тревожат тишь. Связались две души кровным узлом, одной тревогой, одной любовью. И из крови, из трепета затеплилась новая жизнь.

Все проходит безвозвратным дымом — вечны в смене своей только ненависть, любовь, жизнь.

9

Эскадроны стояли в конном строю на плацу, покрытом голубыми яркими лужами, и в них беззаботно бултыхалось, отряхиваясь, молодое весеннее солнце.

Широкий лохматый ветер трепал георгиевские ленты штандарта, рвал бирюзовые зеркала луж мелкой рябью.

Лошади стояли, буйно грызя мундштуки, роя землю копытами.

Они чуяли весеннее радостное томление. Жеребцы поворачивали выгнутые шеи к ветру, косились покрасневшими глазами и, когда с порывами долетал до их нюха волнующий запах подруг, ржали пронзительно и весело, тряся головой.

Священник кончал молебен, провозглашая многолетие державе Российской и победоносному воинству ее. От взмахов кадила плыли по ветру синие струйки, и рыжий гунтер, нетерпеливо вздрагивавший под генералом, сердито чихал, вдыхая непривычный и ненужный запах.

Хор отгремел многолетие.

Генерал неторопливо слез с коня и неловкой развальцей подошел приложиться к распятию.

Вытерев платком лоб, смоченный святой водой, он вернулся обратно и, с неожиданной для его тяжелого, плотно загрузившего английские бриджи и открытый френч с отложным белым воротником тела легкостью, взлетел в седло.

Оглядел строй эскадронов и швырнул кругло и громко:

— На-кройсь!

С легким шуршанием поднялись сотни фуражек и опустились на головы.

— Стоять вольно! Можно курить! Через пять минут прибудет его превосходительство.

Кони обрадованно замотали головами, заржали веселее, зачиркали спички, понеслись крутящиеся папиросные дымки, зажурчал говор.

Командиры съехались к генералу. Высокий, с длинным шрамом через правую щеку полковник, перегнувшись с седла, рассказывал генералу что-то веселое, и генерал снисходительно скалил сахарные зубы под пушистыми усами. Блестели на солнце погоны, ордена, начищенные медные части сбруи, вертелись и брызгали грязью расшалившиеся лошади, и от всей группы несло довольством и уверенностью сытых, выхоленных, привычных к своему делу людей.

Генерал бросил окурок сигары и, повернувшись на медный призыв трубы, затянул поводья прыгнувшего гунтера и скомандовал:

— Становись!.. Смирно!.. Господа офицеры!

Офицеры поскакали на места. Строй шатнулся и застыл.

Из-за поворота плаца показались конские головы. Генерал привстал на стременах.

— Равнение направо!.. Смирно!.. На-краул, шашки вон!

Одной серебряной струей пролился по рядам блеск взлетевших лезвий. Генерал пришпорил коня и легко по-

скакал навстречу группе. Там он остановил на полпрыжке скакуна, отсалютовал, подал строевой рапорт и, повернув, поехал шагом за лошадью командующего.

Сотни глаз поворачивались за мешковатой, неловко сидевшей в седле фигурой, пока командующий проезжал на середину фронта. Он был грузен и неуклюж, сидел на лошади по-пехотному, расставив носки и оттопырив локти. На тучном лице в коричневых подглазных отеках утопали маленькие, сердитые и сонные глаза, буро-малиновые щеки свисали обезьяньими мешками, разделенные черной бородкой.

Скрипучим голосом, лениво и вяло, он сказал:

— Здравствуйте, юнкера! — и недовольно поморщился в ответ на треснувшее «здравия желаем»... Пожевал губами и заговорил.

Говорил он о славе, о величии, о дедовских победах, о славных заветах русской армии, о георгиевских знаменах, боевых подвигах, о спасении попранной родины, самоотверженнии, но слова были тусклыми, бескрылыми и шлепались в лужу под ногами вороного коня, падали оловянной тяжестью.

И когда поздравил юнкеров с высокой честью нанести последний удар противнику, собравшему останние силы свои и потеснившему доблестные добровольческие части, — «ура» юнкеров было жидким и неуверенным.

Генерал нахмурился и бросил последние слова:

— Вы уходите на фронт, не окончив курса, простыми юнкерами. Может быть, это покажется вам обидным, но мы не хотим разрывать связывающих вас уз дружбы и посылаем вас отдельным сводным юнкерским полком. В первых боях своими подвигами вы зарабатываете офицерские погоны на поле славы и чести.

Командующий повернул коня и уехал со скучающим и хмурым лицом.

Когда эскадроны уходили с плаца под танцующий звон кавалерийского марша, в четвертом ряду первого эскадрона рыжеватый юнкер сказал соседу:

— Ну и нудная же сволочь, царь Антон! Будто не говорит, а кишку изо рта тянет. Завыть хочется.

— Пономарь, сукин сын!.. По покойникам замечательно читал бы, — ответил, оправляя поводья, Всеволод Белоклинский.

10

...Эх, яблочко, да куды котишься,
К юнкерам попадешь, не воротишься...

Худенький юнкер в очках немилосердно рвал клавиши расстроенного рояля.

Десяток сгрудившихся вокруг подпевали разбродными голосами.

Сквозь опаловую мглу продымленного воздуха сочились розовым сиянием электрические нити лампочек.

В углу грудой валялись брошенные шашки и фуражки.

Большой стол, протянувшийся от угла к углу по диагонали ресторанного кабинета, пестрел винными лужами и пятнами соусов. Бутылки лежали и стояли островами на смятой скатерти.

Рояль брякнул громко на весь кабинет, и за взрывом хохота запели второй куплет:

Комиссар нас разбить все бахвалился,
Еле ноги унес, опечалился.
Эх, яблочко, — все катается,
А жидовская рать разбегается.

Полуголые, блеклые женщины испуганно жались по диванам, между юнкерами. На лицах их, сквозь мозаику пудры и румян, проступала равнодушная усталость и давнишний, навеки, испуг. И только губы раздвигались привычной, заученной улыбкой.

Когда допели «яблочко», юнкер в очках брызнул лезгинкой.

— Цихадзе... Цихадзе! Лезгинку! Жарь во весь дух.

На середину, оттолкнув стол, выпрыгнул горбоносый, круглоглазый юнкер. Ноги слабо повиновались ему, он налетал на окружающих и наконец, с размаху ударившись о рояль, остановился и выругался.

Всеволод Белоключский встал с дивана и отошел к окну. Голова у него кружилась от выпитого вина и тело ослабело. Пьяный разгул вызвал физическое неодолимое омерзение.

Он отодвинул гардину и заглянул в окно. На темной улице стояли у подъезда ресторана понурые извозчики, под домами пробирались одинокие тени пешеходов.

Юнкер почувствовал щемящее сосание под ложечкой.

— Не то, не то! — сказал он тихо и ощутил на глазах теплый след слез.

С трудом сдержался и облокотился на подоконник. На плечо ему легла рука.

Оглянувшись, он увидел девушку в скромном, доверху закрытом платье, с сухими розовыми губами, с жадными чахоточными глазами. Вспомнил, что она сидела в начале ужина против него и ее называли Клотильдой.

— Ты что, миленький, загрустил? — спросила она, и звук голоса, глуховато-певучего, разладного кабацкому гомону, странно тронул юнкера.

Он взял руку девушки и непроизвольно сказал:

— Противно!.. Я не могу!.. Это черт знает что такое... Как звери. Ведь завтра же мы идем в бой, за свое дело, за живую Россию, а сейчас пьем, как свиньи, и танцуем, как сцепившиеся собаки. Меня тошнит, Клотильда.

Она не мигая смотрела ему в губы жарким, изнутри идущим взглядом.

— Не зови меня Клотильдой. Какая я Клотильда. Настя я... Хоть раз хочу человечье имя свое вспомнить.

Она смолкла и, тесно придвинувшись к юнкеру, прошептала:

— Мне тоже тошно! Увези меня отсюда. Поедем к тебе!

— Куда ко мне?

— Домой, к тебе!

Юнкер жалко и растерянно улыбнулся.

— Домой? Настенька, у меня третий год нет дома. Я выгнанная на мороз собака. Мы все выгнанные собаки, и дома у нас нет. Сегодня Ростов, завтра Харьков, послезавтра опять Ростов, а через неделю, может быть, помойная яма... Нет у нас дома, нет родины, ни черта нет, кроме пьяного ухарства и спрятанного отчаяния. Мне скверно, Настенька!

Она взяла рукав его гимнастерки двумя пальцами и повертела, раздумывая.

— Я б тебя к себе позвала, только у меня собачья конура тоже. Брезгать будешь.

Юнкер перебил:

— Куда хочешь, только вон отсюда! Я могу здесь разрыдаться, закричать, убить кого-нибудь.

— Ну, тогда поедем. После на меня не сердись. Где твоя шапка?

— Я сейчас возьму.

Белоклинский разыскал в куче свою саблю и фуражку и вернулся к Насте.

— Едем.

Уже в дверях кабинета она вдруг остановилась и обдала юнкера горячечным блеском зрачком.

— Как тебя зовут, миленький? Я и не спросила, дура.

— Всеволод.

— Всеволод? Севушка! Севушка! — повторила она, как будто прислушиваясь к каким-то нежным звукам в имени, и быстрыми шагами пошла через общий зал к вестибюлю.

11

Извозчик, пропутавшись долго в кривых переулочках, остановился у калитки в глухом остроколом заборе.

— Приехали. Вылазь, миленький, — сказала Настя задремавшему Белоклинскому.

За ней он прошел садом в глубь двора к покривившейся хатке.

Девушка открыла визгнувшим ключом маленькую дверку.

— Нагнись. Тут низко, — шепнула она.

Юнкер шагнул в хату и в темноте почуял влажный масляный запах крашеного земляного пола и аромат каких-то сухих трав.

Девушка открыла вторую дверь и протолкнула в нее юнкера.

— Иди в горницу, а я сейчас лампу заправлю.

Он очутился в низкой и узкой комнатушке. Мутносиним квадратом яснилось окно, и трепетал на нем распластанный крест рамы. Здесь еще сильнее пахло сухими степными травами.

Ощупью нашел стул и сел.

В щели двери вспыхнула полоска оранжевого света, и Настя вошла с керосиновой лампой. Поставила ее на стол и, пройдя к окну, опустила ситцевую занавеску.

Юнкеру неожиданно вспомнились тревожные, потрясающие строчки:

Опустись, занавеска линялая,
На больные герани мои.

Девушка отошла от окна и остановилась посреди горницы, поправляя прическу. В черном, закрытом до шеи платье она казалась почти девочкой, худощавая и легкая.

Белоклинский оглядел комнату. Вдоль стены у окна стояла узкая девичья кровать, накрытая пикейным покрывалом. Над ней в красной рамочке висела фотографическая карточка юноши в кепке с пристальными и твердыми глазами. На комоде в углу, в двух фарфоровых кувшинчиках, стояли букеты ковыля, полыни и чабрика, и юнкер понял, отчего так горько и так тревожно дышала комната степными дыханиями. На некрашеном столе лежала кипа книг.

Он закрыл глаза и тихо сказал:

— У тебя славно. Настоящая келейка монашеская.

Она неторопливо отозвалась:

— Я боялась, тебе не понравится. Тесно и бедно. Разве по нашему делу годятся такие конурки? Клотильде ковры нужны, мебель шикарная, духи. Ха-ха-ха!

Смех у нее был грудной, печальный.

— Ты же не Клотильда, а Настя, Настенька! Хорошее простое имя.

— Правда? Больше нравится, чем Клотильда? Правда?

Голос ее прозвучал жалобной лаской. Она подняла руку и горячей сухой ладонью провела по волосам юнкера.

— Севушка!.. Севушка — девушка. Севушка и Настенька, — она зажмурилась. — Хорошо!

Белоклинский потянулся к ней и хотел обнять за талию. Она легко отстранилась.

— Подожди. Я не для баловства позвала тебя. Ты не знаешь еще зачем. Иди, садись сюда вот!

Она показала на маленький диванчик. Юнкер пересел. Настя взяла с кровати вышитую бисерную подушку, бросила на пол и села у ног юнкера, положив подбородок ему на колени, смотря жадно в глаза.

Смотрела и молчала. В глубине зрачков метались ожигающие черные искры.

Глаза кололи и тревожили, от неотрывного взгляда кружилась голова. Юнкеру стало неловко, он попытался заговорить. Она взволнованно шепнула:

— Помолчи, родной! Дай наглядеться, Севушка!

Снова молчала и смотрела. Наконец заговорила:

— Трудно... Трудно мне рассказать, чтобы ты понял. Ах, говорить бы такими словами, как птицы поют, и то не рассказать всего. Ты душой пойми, Севушка, не смейся надо мной, глупой. Смешно тебе будет, может обидишься. Девка ресторанная, залапанная, испохабленная— и туда же. Ах, миленький, миленький ты мой! Не смейся,

не прогони! Одна кровь человечья, руда червонная, жаркая.

Она дрожала и прижималась в томительной тоскливой смуте к коленям Всеволода.

— Успокойся, Настенька! Что ты? Ты вся дрожишь!— сказал юнкер, беря ее руки. — Ты нездорова, девочка?

Она еще крепче прижалась.

— Нет... нет... здорова я. Не от болезни это, — бросала она бредовой, задыхающийся шепот. — Ты слушай, слушай, пойми. Думаешь — девка я продажная? Ну да, девка, по кабакам шляюсь, с швалью всякой путаюсь, каждый меня купить может. А ты на это не гляди, Севушка! Ты в душу загляни, как она вся ножами истыкана, как кровь руду точит. Разве думала я такой стать? Приехала в шестнадцатом из Питера в Тифлис, на заработки польстилась. На завод потребовались для снарядов шлифовальщицы. Платили много, — соблазнилась, поехала. Год прожила, как барышня, всего имела. После революции стал завод, в начале восемнадцатого года стал. Решила я домой добраться, в Питер. А тут уже ваши с большевиками воевали по станицам. Ну в станице одной попала к казакам пьяным, снасильничали они меня, всю ночь мучили, утром выгнали и деньги все отняли. Восемьсот рублей было. Деньги ведь какие громадные. Плакала, билась, в реку хотела, да не пускает жизнь легко человека.

Она закашлялась и отвела рукой свисшую прядь волос.

— Ну, а дальше известно, какая у нашей сестры дорога. Работа вся стала, народ друг на друга пошел, устроиться негде, и пошла я по рукам гулять, девкой похабной стала. Жжет меня мука мученская, тоска давит, Севушка! Так и погибнуть, любви не знаючи, проклятой, заплеванной? Страшно мне, Севушка!

Юнкер почувствовал разрывающее волнение, стыд, боль. Он крепче сжал худые, мечущиеся руки. Искал каких-то необыкновенных слов, но сказалась самая пустая, ненужная фраза, от которой он болезненно съежился:

— Бедная детка!

Но она обрадовалась и этим жалким словам, как живоносному источнику.

— Спасибо, миленький! Не жалость это, жалости не прошу. А за доброту, за сердце чистое твое спасибо. За то, что слушаешь, в ноги тебе поклонюсь.

Она склонилась головой к сапогам юнкера. Он испуганно встал:

— Настя! Настенька! Что ты? Не стою я! Дрянь я такая же, как и все!

Она почти крикнула:

— Нет!.. Нет!.. Не смей! Ясный ты. Разве не видала я, как тебя воротило от пьяных в кабаке проклятом. Душа у тебя... человечья душа, живая. Понимаешь, что на смерть идти светло надо, с верой. Оттого и погибнешь. Все такие гибнут. Смерть твою чую, Севушка! Защитить хочу, а нет у меня силы.

Юнкер взволнованно прошелся по комнате.

— Почему... зачем ты мне смерть предсказываешь?

— Не предсказываю, — знаю. На смерть идешь. Много вас идет против народа, а народу сила, миллионы. Не осилите вы, все до единого погибнете. Так тех, что нарочно перед смертью похабничают, не жалко мне. Знают, что за похабство свое дерутся, за водку, за то, чтоб над такими вот девками, как я, измываться, деньги грабить. А ты за что? Голубь ты ясный, младенчик светлый. Не ихний ты, ошибка тут страшная. Тебе туда надо, к народу! Душа у тебя открытая, совестливая!

— Ты что же, думаешь, там лучше? — спросил, вздрогнув, юнкер.

— Лучше, лучше, миленький! Люди там правдой горят, за правду бьются, за нас, девок срамных, чтоб нас от смерти воззвать, в жизнь впустить, омыть похабство земное, матерями, женами стать нам позволить, язву нашу выжечь. Хорошие там! Брат мне еще в Питере рассказывал про это, про революционеров, которые царей убивали. Брат мой, Ромушка. Вон он над кроватью висит. Был бы здесь,— вызволил бы меня из срама.

Она уткнулась лицом в потертый плюш дивана и разрыдалась, вздрагивая острыми лопатками.

Потрясенный, пробитый болью, юнкер склонился над ней.

— Настя! Настенька! Что ты, не плачь! Встань, — не нужно. Ну, что делать? Я помогу, чем можно. Скажи только — как?

Девушка быстро встала и вытерла глаза. Усмехнулась виновато и тепло.

— Напугала я тебя, Севушка? Глупая я, больная, шалая. Не буду больше, — и помогать мне не надо. Садись, посиди со мной последнюю ночку.

Она усадила юнкера и села рядом. Приблизила лицо с исступленными глазами.

— Не стану ныть! Смеяться буду, радоваться тебе, гостю моему любимому. Как увидала тебя в кабаке против себя за столом, будто по мне молонья полыхнула. Вижу, мой сидит, мой жданный, суженый. Вот и привела тебя к себе. Никто, кроме тебя, в эту комнатку не входил. Ты сокол ясный, и комната моя ясная, и сама я сегодня девушка-первинка. Севушка, бастенький мой, сероокий. Приласкай меня, не побрезгуй. Не гляди, что шлюха я, что девка последняя. Это для тех, а для тебя нетропутая, непорочная. Все тебе отдам, сердце мое болезное, душу, тело, вся в руках твоих, лаской изойду за одну эту ночку. Люби меня, Севушка, несколько часочков только, а мне всю жизнь вспоминать тебя, голубя. Оба мы с тобой пропащие, нежилые.

Она быстро рванула воротник гимнастерки юнкера и стремительно зацеловала его в шею короткими, буйными поцелуями. Вскочила, погасила лампу и приникла к его губам. Юнкер задохнулся от жалости, боли и еще какого-то неназываемого, лишающего сознания терпкого волнения, вздохнул глубоко и жадно и, закрыв глаза, любовно встретил пьющие душу, пересохшие губы.

Медленно серел квадрат окна, пересеченный черным крестом рамы, шурша ветром пролетала за окнами весенняя ночь.

В эту ночь кровь юнкера Всеволода Белоклинского и кабацкой девки Насти Руды, невесты непорочной, впервые узнавшей любовь, исходившей в смертельной ласке,— одной стала кровью, связала двоих кровным неразрывным узлом.

12

Стекали на степь с жаркого неба жидким серебряным паевом майские дни.

Никли пуховые веники ковылей, исходили степи дыханиями горькими и сладкими.

Были майские дни теми днями, когда рассыпались прахом лавины белых, малиновых, синих фуражек, покатились назад к морю Тмутараканскому.

Дышали дни нерукотворными легендами о черноусом Семене Буденном, что, наполнясь ратного духа, повел полки свои на разбойную землю половецкую, за красную Русь.

С гомоном, с песней лихой, с неистощимой силой летели полки в половецкие степи.

Суровы были бойцы, взращенные трубными зовами, взлелеянные под богатырками, вскормленные стальными жалами пик, были им ведомы все дороги и знакомы овраги, крепко натянуты поводья, метки винтовки и отточены сабли.

И скакали полки, как серые волки в поле, ища себе чести, а красному краю славы.

Загородили они сердце страны багряным блеском знамен, звоном клинков, конским тяжким топотом.

И тогда в русской земле редко выходили на ниву пахари, но часто каркали вороны, деля меж собой трупы, и поднимали стрекот галки, сбираясь лететь на покормку.

Густо усеялась степная пахучая целина костями под конскими копытами, полилась кровью, — возрастала же щедро печалью по всей стране.

И у устьев великого Дона сходились в смертной ненависти трудовая красная рать и разбойная кочевая рать половецкая.

Катался круглыми волнами над степями пушечный гром, в потревоженном небе клекотали степные орлы.

И с одной стороны искал смертной встречи с вражьей ордой сводный курсантский полк, а с другой — кавалерийский юнкерский полк «бессмертных».

И пока метались курсанты по ковыльным берегам тихого Дона, ловил Роман ненасытно и неустанно вести о брате-враге, о брате-кровнике, письмо к которому лежало во внутреннем кармане гимнастерки, рядом с выпиской из книги о браках, в которой отмечено было, что марта второго дня зарегистрирован, под номером сто тридцать седьмым, брак курсанта Романа Руды, двадцати семи лет, рабочего-слесаря, с Белоклинской Анной, дочерью полковника, двадцати трех лет.

Многих пленных с жадной пытливостью допрашивал Роман об Аннином брате, но ни разу не услышал в ответ: «знаю».

Письмо продолжало лежать в гимнастерке, и серый казенный пакет протерся, пропитался потом.

А Всеволод Белоклинский носился со своим полком по степным небитым дорогам, нося в душе смятение, тревогу и отчаяние.

Часто вспоминал последнюю исступленную ночь, жар-

коглазую Настеньку, отдавшую ему любовь нетронутую, бесконечную, смертельную.

И помнил еще слова Настенькины: «На гибель идешь, голубь! Смерть твою чую — не живут такие».

Помнил и ждал смерти, потому что не было у него ни дома, ни родины. Была пустота, сомнение и растерянность.

Только в кожаном бумажнике с серебряной монограммой носил маленькую записку, а в записке стояло: «В случае моей смерти прошу сообщить по двум адресам: город Т., Монастырская улица, дом 2. Варваре Сергеевне Уральцевой для Анны Белоклинской, и еще: Ростов, Темерник, дом Дедюлиной, Анастасии Петровне Руда. Очень прошу это сделать. В. Белоклинский».

О брате Настенькином Романе ничего не знал Всеволод Белоклинский, и только запомнились ему пристальные и твердые глаза на фотографии над кроватью.

Стекали с неба на степной чернозем плавленые дни, зажигали в сердцах ярость и ненависть.

И встретились двое на берегах мутноводного Маныча.

Сошлись красные конники и разбойные половчане для смертной встречи у речного быстрого тока.

С утра до вечера, с вечера до златопламенной зари летят кусачие пули, гремят встречно клинки, трещат пики в незнаемом поле, посреди половецкой земли.

На Маныч-реке не снопы стелют — головы; молотят стальными цепами, на току кладут жизни, веют души от тел.

Кровью покрыты берега Маныч-реки, не зерном засеяны, засеяны костями ратей.

Бились день, бились другой, на третий пали штандарты с георгиевскими лентами, поволочились в густой пыли.

По следу уходивших половецких конников бросились конники вольного красного края. Но волками огрызались, уходя, последние, скалили гнутые свистящие клыки шашек.

И на закрапне станицы встретились двое.

На обходившие с фланга курсантские эскадроны была брошена лавой последняя надежда врага, полк «бессмертных».

Было где разгуляться на гладком степном ковре.

Заломив фуражки, всадив шпоры коням, понеслись юнкера отчаянным карьером в атаку. Не дрогнули запыленные серые эскадроны и, только переменив направле-

ние навстречу атакующему, развернулись и по команде: «карьером, марш-марш» — ринулись навстречу.

Неслись оба полка без выстрела, и даже ненасытные пулеметы, сеявшие свинцовый сев из-за станичных заборов, стихли.

Только гудела земля под копытами, звенели стремена, шашки, яростно ржали кони, и оба строя налетели друг на друга, скрылись в облаке горячей пыли.

И в рядах полков — с одной стороны горбоносый высокий донской скакун нес машистыми скачками сероглазого юнкера, с другой, — мохнатая, коротконогая вологодка, хрюкая селезенкой, потряхивала широкоплечего в богатырке, с пристальными и твердыми глазами.

В сшибке в облаке пыли наскочили друг на друга горбоносый донец и мохнатая вологодка.

Курсант ударил наотмашь, но ловкая рука отбила удар, и почувствовал Роман, как вылетела шашка из онемевшей кисти. Увидел серебром взлетевшую в воздух для удара полосу.

Зажмурясь, схватился за кобур, но в левую сторону шеи резнуло, и выбивающая память боль остановилась в середине груди.

Зеленым сиянием застлало глаза, сквозь пленку мелькнуло над головой лицо с оскаленными зубами, и уже неживым упором Роман спустил курок нагана в этот оскал.

Выронил стремена и свалился на полынную целину, раздвоенный казачьим клинком почти до пояса.

А сверху тяжестью навалилось легшее поперек тело, с черной дырочкой между глаз, откуда неровными толчками брызгала кровь и выползали желтые жирные комки.

Кровь их смешалась на степной, древней полынной земле, и земля приняла любовно красные живоносные токи.

Кровь курсанта Романа и юнкера Всеволода, врагов, братьев, кровников, одной стала кровью в этот час.

Одна людям любовь, одна ненависть.

И нет большей любви, как та, что всходит над нашей землей, из почвы, впитавшей кровь, порожденную ненавистью.

Имя любви — грядущее. Не нам любовь, — детям и детям детей наших.

Нам скорбная память. Вдовам и невестам слезы, одинокая туга, сиротство.

13

Ночами с курганов поверх деревьев кличет тревожным клекотом вещая Див-птица.

Кличет, велит слушать землям: Волге и Помо́рью, и Посулью и Сурожу, и великому Корсуню, и тебе, поверженный в желтые воды, истукан Тмутараканский.

Предвещает клекот лютую печаль земле, стенания и муки вдовам, невестам сиротливую долю.

Поднимаются на клекот с одиноких постелей головы, глядят в тьму бессонными очами, протягивают заломленные руки, припадают к ложу иссушенными сиротным томлением телами.

Полегли мужья, женихи по степным разлогам, ища себе чести, делу своему славы.

. . . .

Вытоптали красные конники копытами белые полчища половецкие, загнали к шумному Евксинскому Понту, сбросили в пенную синядь.

Свет-заря растет, ширится над русской землей, дымными клубами уплывает за рубежи заморские лютая печаль.

Колкими зеленями пошли напоенные рудой полынные степи, проросли сквозь кости полносочными травами, наливными хлебами.

Цветет красным цветом, млеющим маком земля, любится плодливо с ветрами и грозами.

На плодливой нови взбухает человечья крепкая завязь.

Только перед зарей томительно плачет в березовой роще зегзица.

И одиноко кукует Ярославна на городской стене, утирает тканым рукавом горынь слез, зовет, прикликивает, ждет с бранных полей милого князя.

Но усеян чернозем половецкий костями, полит кровью, взошел янтарным пшеничным наливом...

Не вернутся возлюбленные, прошедшие горькими степными путями, больше жизни возлюбившие ширококрылый размах ковыльных полей, ярый лёт конского бега, скрип колесный в черные полночи, звон оружия, громы очищающих гроз, легшие в тугой пар пищей тучным стеблям, назёмом жизнетворящим нивам.

Разными дорогами прошли они по степным просторам, разно сожгли души свои и разметали тела, но одна в телах человечьих кровь-руда, одна ненависть и любовь.

Один узел кровный, неразрываемый.

И одна на земле печаль — горемычная, сиротская, вдовья.

Все проходит легким беспамятным дымом, но Ярославне плакать довеку.

В прошлом наша ненависть, горькая, что степная полынь-трава, в прошлом червонные ветры, конский топ, пушечный гром, звенящие сабельные всплески.

Мертвым благостное забвение, нам — живым, помнящим — слава и гордость.

Земле нашей любовь, что не прейдет до конца.

Ленинград, февраль — март 1925 г.

НЕБЕСНЫЙ КАРТУЗ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Обитатели домов, расположенных по правой стороне Большой Монетной улицы, исчисляли бег революционного времени по профессору экспериментальной физиологии Благосветлову. Впрочем, чтобы его не упрекнули в пристрастии, автор должен отметить, что то же делали и обитатели левой стороны.

Было это в то неповторимо романтическое время, когда города республики, овеваемые пороховыми вьюгами, переживали период первоначального оскудения и все часы, до того благополучно тикавшие в комнатах и на селезенках их обладателей, в силу законов экономики были поглощены деревней.

За часы владельцы их получали крахмалосодержащие и жировые вещества, в деревнях же годовалым гражданам крестьянского сословия зачастую в эту пору навешивались на шею, взамен погремушки, часы почтенных фирм Мозера и Буре.

Для деревни описываемое время было периодом первоначального накопления.

Но оставим в покое деревню. Хотя запросы сегодняшнего дня и требуют усиленного ухаживания за загадочной стихией деревни, — автор, пропитанный урбанистической культурой, останавливается на городском сюжете.

В эти незабвенные дни городские жители занимались единственной и обязательной для всех профессией — государственной службой.

Отказ от службы граничил с изменой отечеству, и по-

тому служили все, даже кривые, даже калеки, не только физические, но и нравственные, и государство, озабоченное равным счастьем всех подданных, находило для каждого занятия по размерам его дарований в течение шести, обязательных по кодексу труда, часов.

Вследствие этих обстоятельств любой сознательный гражданин был озабочен вопросом о времени, ибо время по-прежнему делилось на часы, не затронутое переоценкой мироздания, а среди этих часов имелся тот, который был официальным началом служебных занятий. Этот час и требовалось определить, хотя бы с приблизительной точностью, дабы не лишиться минимума калорий и не переменить местожительство на другое, столь же мало комфортабельное, как и собственная квартира республиканца, но стеснявшее свободу передвижения.

Узнавать же время, не имея для того выработанных вековой практикой приборов, стало весьма затруднительным. Некоторые, впрочем, ухитрялись. Племянник часового мастера с Эртелева переулка, Арончик Блейбас, на вопрос: «Который час?» — закрывал глаза, мигал тонким, всегда мокрым на кончике носом и называл цифру. При проверке таких опытов под каланчой городской думы оказалось, что Арончик врет в пределах не более десятиминутного отклонения от истины, и это упрочило за ним славу живых часов. Но такую исключительную способность приходится отнести за счет наследственности, простые же обыватели были поставлены перед неразрешимой дилеммой.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Как уже упоминалось в начале этой странной повести, Большая Монетная улица в смысле времясчисления находилась в привилегированном положении.

Проживавший на ней профессор Благосветлов, также названный в первых строках предыдущей главы, ухитрился пронести нетронутым сквозь все революционные бури как космического, так и законодательного характера золотой хронометр английской работы. Как это случилось, никто не знал, и об этом из ряда вон выходящем казусе ходили самые разноречивые версии. Наиболее распространенной была пущенная вдовой столоначальника министерства двора Малакичевой, по которой профессор выра-

батывал в своей лаборатории для революционных войск консервы из человеческой печенки, вкусом ничем не отличающиеся от обыкновенных телячьих, и за это будто бы платили ему три раза в месяц два пуда восемнадцать фунтов американскими деньгами.

И какой только глупости не выдумает баба! Автор с негодованием должен опровергнуть эту нелепую и явно реакционную клевету.

Ему лучше, чем прочим, известно, что профессор, имя которого было известно и за рубежами республики, получал от учреждения, принявшего на себя бремя любви к ученым и балеринам, два пайка: академический и ударный.

О происхождении названия «ударный» появлялось немало остроумных догадок, но только автору известна настоящая правда. В ударном пайке счастливцам выдавалась вобла особого качества. Для того чтобы употребить ее в пищу, требовалось, положив ее на край плиты, ударять сверху обухом топора, не торопясь, с равными промежутками, от полутора до двух часов.

Отсюда, а не от чего другого, происходило звучное наименование пайка.

Во всяком случае, оба пайка давали профессору возможность не только сохранить свой хронометр, но и поддержать существование двух организмов, из которых первый принадлежал самому Благосветлову, второй же — законной супруге его Анастасии Андреевне.

Даже в самые тяжелые годы — девятнадцатый и двадцатый — профессор с точностью своего хронометра ежедневно посещал физиологическую лабораторию института точных знаний, хотя автор должен честно сознаться, что в этом не было решительно никакой нужды ни для самого почтенного ученого, ни для государства.

Ибо в лаборатории не было ничего, кроме голых стен и побитой химической посуды, на прозекторском столике покрывался прахом в летние и инеем в зимние дни до блеска обгрызенный крысами скелет последней собачонки, ставшей жертвой науки в декабре восемнадцатого года, и вообще всюду была сплошная мерзость.

Собаки же с девятнадцатого года стали предметом потребления не физиологии, а кулинарии, доказывая тем самым шаткость основных научных систем в переходный к социализму период.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

И занятное это дело!.. До чего после великолепного времени бури и натиска у каждого писателя накопилось материала. Так вот и прет, так вот и лезет,— удержу нет.

А происходит все это, друзья читатели, оттого, что несколько лет подряд, последовав совету Гейне, мы оглушительно били в барабаны и лобызали маркитанток, а слова прятали внутрь себя глубоко, бережно, потаенно, как скупой рыцарь свои дукаты. А когда барабаны отгремели, принесли мы собранное домой, а мешок-то сразу и прорвался. Вот и сыплется золото неудержимой струей, звенит, хохочет, плачет, и все хочется сразу, чтобы все высказать, ни о чем не забыть, не упустить.

Можно сказать заранее, что ненадолго нас хватит при таком мотовстве. Годика два — и так опростаемся, что хоть новую революцию затевай для получения сюжетов.

Автор должен извиниться за свое совершенно неуместное лирическое отступление. Это роковое наследие от любимой двоюродной тетки. Очень лирическая была, покойница.

Профессор уходил на службу ежедневно ровно в четверть десятого утра. И никогда не позволял себе отступления от этого правила, хотя бы на две-три минуты. К этому времени дежурные жильцы дома, обитавшие в комнатах, выходящих на улицу, прилипали к подоконникам, отхлебывая с отменным удовольствием республиканский кофе из пережаренных зерен ржи.

Как только сгорбленная фигура профессора показывалась на тротуаре, — зимой в длинном пальто с енотовым воротником, летом в трубчатых коломянковых штанах,— жильцы спешно заканчивали кофепитие и выходили в свою очередь.

Их выход немедленно замечался другими глазами, видневшимися за мутными стеклами квартир. Так шло из дома в дом: с беспрерывной последовательностью появлялись на улице человеческие экземпляры, и пущенная в ход профессором машина гражданского долга жителей Большой Монетной начинала работать с изумительной правильностью.

Профессор, постукивая палочкой, проходил на набережную реки Ждановки, поднимался во второй этаж и дергал ручку звонка.

Дергать приходилось всего три раза, после чего цепоч-

ка звякала и профессора впускал внутрь престарелый страж, по имени Нестор. К этому историческому имени природа постаралась прицепить надлежащую фамилию — Котляревский.

Вследствие этого в лаборатории не раз происходили недоразумения, а однажды заехавший на мимолетный осмотр какой-то блуждающий комиссар, пробежав глазами список сотрудников, был потрясен до слез.

— Как? — сказал он прочувствованно. — Академик Котляревский сторожем? Что это значит? Неужели ему не нашлось более подходящего занятия? Я назначу немедленно расследование, и виновные понесут наказание по всей строгости. Республика не может допустить такого преступного неуменья использовать людей науки!

С трудом удалось убедить разволновавшегося комиссара, что нет причины для его гнева и что Нестор Котляревский, хотя по документам параллелен академику, но не имеет высоких научных заслуг последнего.

Открыв дверь, Нестор Котляревский почтительно кланялся профессору и говорил всякий раз: «Желаю здравствовать, господин профессор», — на что профессор неизменно отвечал: «Здравствуйте, товарищ Котляревский».

По этому поводу автор позволит себе высказать заключение, основанное на личном наблюдении, согласно которому, при одинаковом возрастном цензе, люди, стоящие на низших ступенях общественной лестницы, гораздо консервативнее в своих привычках, нежели высокоразвитые индивидуумы.

Профессор проходил в кабинет и некоторое время, закутавшись в пальто, сидел в кресле и с неослабевающим вниманием рассматривал длинный порез в пыльном сукне стола. Через полтора часа он вставал и шел в лабораторию, усаживался у прозекторского столика и там с не меньшей любознательностью исследовал взором скелет собачонки. В продолжение еще трех часов, уходивших ежедневно на это занятие, он грустно вздыхал несколько раз и растирал озябшие руки. По истечении этих часов Нестор приносил три чахлых полена. Одно из них он раскалывал топором на кафельном полу, предусмотрительно ставя его в ямку выбитой плитки, чтобы не портить кафель в других местах. Расколотое полено совалось в буржуйку, долго чадило, заставляя профессора и Нестора задыхаться, но наконец накаляло железные стены, и в течение часа два жреца науки грели пальцы в жизнетворя-

щем тепле. По прошествии еще часа профессор прятал под пальто одно из оставшихся полен, Нестор — другое, и они выходили вместе, как только профессорский хронометр отмечал истечение законного шестичасового срока труда.

В бурные годы это называлось научной работой высокой квалификации.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

С окончанием романтической эпохи в городах вновь появились часы и собаки.

Люди на Большой Монетной начали спокойно кейфовать на выстиранных настоящим жуковским мылом простынях до того момента, как дружелюбная стрелка на их глазах подходила к урочному времени, и не бегали больше к окнам. Многие же дошли до столь счастливого состояния, что вовсе перестали обращать внимание на часы, ибо, кроме государственной службы, возродилось прежнее многообразие профессий, и одной из наиболее популярных стало состояние в списках биржи труда, не требовавшее учета времени, как бесконечное.

Профессор Благосветлов, неблагодарно забытый соседями, продолжал, однако, ходить ежедневно в свою лабораторию, но времяпрепровождение его в ней значительно изменилось. Порезанное сукно на столе в кабинете было зашито, появились пробирки и колбочки. На прозекторском столике каждодневно дрыгала лапками совершенно свежая собачонка, и звонкоголосые молодые республиканцы, под руководством профессора, обогащали отечественную науку новыми исследованиями. В пол вставили новую кафельную плитку, точно так же, как и в бок плиты в профессорской кухне, изувеченный двухгодичным раскалачиванием ударной воблы.

В зимнее время в настоящей круглой печи трещали охапки сухих дров.

Переменился только сторож, так как Нестор Котляревский покинул возрожденную республику, несколько опередив своего знаменитого тезку, из какового события люди мистически настроенные могли бы сделать всякие выводы. Но новый сторож, Пимен, сохранил в своем имени историческую традицию, и таким образом порядок не был нарушен.

Существование организмов профессора и Анастасии Андреевны поддерживалось теперь персональной ставкой и индивидуальным кредитованием в ПЕПО, явственно утверждая превосходство государственного капитализма над военным коммунизмом.

Все шло бы совершенно благополучно, определяясь условиями бытия, и автору пришлось бы поневоле закончить рассказ на этом месте, если бы профессор не обнаружил в один из весенних дней, что шляпа, самоотверженно служившая ему с начала войны и бывшая свидетельницей величайшего в мире идеологического катаклизма, по количеству дыр не соответствует благосостоянию и процветанию республики.

В этот день Благосветлов, выйдя из лаборатории, изменил обычный маршрут и сел на трамвай, идущий в сторону проспекта 25 Октября.

Трамвай, позвякивая о рельсы и разбрызгивая с наглостью юного шкета мутные весенние лужи из-под гулких колес, привез профессора к Апраксину рынку и высадил в толчею граждан, метавшихся под галерейными аркадами, столь сходными с отверстием русской печи.

Проталкиваясь сквозь толпу и по не вытравленной еще привычке вежливо извиняясь, если задевал кого-нибудь локтем, Александр Евлампиевич, после глубокого раздумья, окончательно остановил свой выбор на витрине, где посреди обычных человеческих шляп и шапок красовалась, в виде приманки, неимоверной величины фуражища, способная вместить восемь профессорских голов.

Профессор Благосветлов, как приличествует экспериментальному физиологу, был полным профаном в вопросах прикладной экономики, и колоссальная фуражка неудержимо повлекла к себе его сознание.

Он поглядел на нее, застенчиво улыбаясь, и подумал: «А ведь замечательное явление реклама. Ну, кажется, зачем это нужно делать такую фуражку? К чему она, для кого она? Разве для слона в цирке? Казалось бы, что такая нелепость должна отвратить благоразумного покупателя, а между тем не пройдешь мимо, не остановясь. Вот пример рефлекторного импульса».

Закончив столь округленную и ясную мысль, профессор зачем-то обдернул новое пеповское весеннее пальто и решительно вступил в магазин.

На шум открытой двери владелец, расставлявший го-

ловные уборы на полках, с живостью обернулся к покупателю.

Профессор заметил, что у него было длинное и желтое, похожее на ломоть тыквы лицо, безволосое и какое-то бабье. Это оригинальное строение лицевого аппарата окончательно подкрепило убеждение профессора, что выбор магазина сделан им удачно.

— Что вам желательно, гражданин? — спросил хозяин, облокотясь на прилавок худыми пальцами и подавшись вперед. Раскрывшийся рот его перерезал лицо узкой щелью, как будто ломоть тыквы переломился пополам.

— Мне?.. Мне, как это... — профессор несколько смешался и не мог найти сразу точного слова, — мне необходимо переменить вот это... шляпу.

Хозяин взял профессорскую шляпу, посмотрел ее на свет и нежно причмокнул.

— Чудная шляпа!.. Прекрасная шляпа! — он даже зажмурился. — Ай-ай, какая превосходная шляпа! Такую шляпу до войны носили самые щегольские франты. Но только теперь, извините меня, гражданин, она немного потеряла фасон.

— Я... знаете... то есть... это очень смешно, — совершенно растерялся профессор, — видите ли, я в эти годы, когда не было дров... спал в ней. У меня лысина, и я боялся простудить голову...

— Это очень резонно,— возразил с нежностью продавец,— у меня, знаете ли, в подобном положении были две выдровые шапки, так я выверну, бывало, их мехом внутрь, натяну на ноги и бечевками привяжу. И совершенно ноги не мерзли, уверяю. А то еще был у меня заказчик один, старик, из бывших камергеров, значительная персона...— Тут владелец магазина прервал нить воспоминаний и, приятно осклабившись, спросил: — Так какой головной убор прикажете, гражданин?

— Мне бы такую же точно шляпу фетровую... серенькую, — пробормотал профессор, любовно поглаживая кончиками пальцев останки своей шляпы, как будто извиняясь перед любимой женщиной за измену.

Продавец окинул профессора критическим взглядом и, протянув руку через прилавок, почтительно коснулся пуговицы профессорского пальто.

— Что я вам скажу, гражданин! Я вам, если позволите, посоветую. Теперь шляпа не модно и даже рискованно — в смысле общественного определения. Кто сейчас

носит, извините, фетровую шляпу? Нэпман! А что, позвольте спросить, нэпман? Нэпман — это как бы осколок упраздненного существования, нечто чрезвычайно презренное, как бы не человек, а обезьяна, но только обремененная обязанностями. И если к вам, например, придет гражданин финансовый инспектор, то при фетровой шляпе вы можете совершенно незаслуженно подвергнуться неправильной категории.

— А что же вы мне посоветуете? — спросил обескураженный Александр Евлампиевич.

— А, простите, вы чем занимаетесь, гражданин?

— Я профессор... физиолог, — неуверенно вымолвил Благосветлов.

— Вот. Значит, можно утверждать, представитель научного знания. Если бы вы были гражданский служащий до пятнадцатого разряда, я предложил бы вам кепку... Но для мыслящего человека кепка вещь несерьезная... Вам нужно такое, чтоб сразу внушало понятие. Картуз!.. Именно картуз! Великолепнейший головной убор. Имею один совершенно замечательный и прямо на ваш размер.

Он повернулся и достал с полки картуз.

— Вот! Сукно первейший сорт, работы довоенного фабриканта Штиглица.

— Но позвольте, — отшатнулся профессор, — что за невероятный фасон?

— Фасон? Не извольте беспокоиться. Дернвер крик. Поглядите на свету.

Он поднес картуз к окну. Картуз был сделан из желто-кофейного сукна, и верх его, необычайной величины, вздувался над околышком пышным воздушным шаром, из которого наполовину выпустили газ. Помимо этого была еще странность — козырек, длинный и плоский, был обтянут сукном ярко-бирюзового цвета, а на самой верхушке картуза, на темени, прикреплен был помпон, вырезанный из тонких лоскутиков такого же бирюзового сукна.

— А козырек? Козырек? Почему козырек голубой? Зачем помпон? — возмутился профессор.

— Простите-с! Как республика нынче в тесной дружбе с разбудившимся Китаем, то фасон нанкинский и цвета небесной империи. Подлинно небесный картуз и выражает пробуждение сонливого Востока.

— Но это неприлично ярко. Это хорошо для какого-нибудь мальчишки, но не для меня, — возразил ошеломленный профессор.

— Помилуйте, гражданин! Как вы можете говорить? Разве ж вы старик? Вы еще в женихи годитесь при современных женских излишествах. А потом, извините, у вас цвет лица даже необычайный для переживаемой эпохи. Нынче все какие-то желтые или серые, а у вас обличие вовсе полнокровное. А это уж всякому даже непонимающему известно, что к розовому бирюзовое чрезвычайно прикидывается.

— Но у меня седая борода. Надо мною хохотать будут! — выдвинул Александр Евлампиевич уже ослабленное возражение.

— Не извольте беспокоиться. Мало ли над чем зловредный народ потешается. К примеру сказать, над гражданином товарищем Лениным темная буржуазия тоже потешалась насчет Советов, а что вышло? Да вы извольте на голову примерить.— Продавец ловко насадил картуз на лысину профессора.

Александр Евлампиевич взглянул в зеркало. Голубой блеск козырька действительно оттенил нежно-розовый румянец, которым профессор втайне гордился. Но все же вид был достаточно нелепый и оглушающий.

— Нет... Не нравится мне как-то. Может быть, что-нибудь другое? — вяло сказал он.

— Ах, не спорьте, гражданин! Замечательный картуз, второго такого не найдете. А главное — материя. Нынешний продукт — шесть целковых заплатите, три месяца поносите, — глядишь, и развалилось. А это штиглицовская выделка на десятки лет, и всего два с полтиной.

— Почему так дешево? — удивился профессор.

— По своей цене. Давний товар. Почем купил — по том и продаю. Будете довольны, вот вам слово!

Профессор снял картуз и повертел в руках. Цена была вправду исключительно низкой, и он уже начинал колебаться, не отличаясь никогда стойкостью характера и твердостью волевых начал. Внезапно глаза его рассмотрели над козырьком маленький, нашитый золотым жгутиком кружок, а в нем вышитую красным шелком змейку.

— А это что?

— Это-с?.. Это вроде как бы медицинского ореола. Это, собственно, я на заказ тоже для медицинского профессора делал, а он помер, не дождался. Вот и остался.

Упоминание о медицинском профессоре окончательно пошатнуло упиравшееся недоверие Александра Евлампи-

евича к ослепительному картузу, но он сделал последнюю робкую попытку к сопротивлению.

— А может быть, это спороть?

— Можно. Как угодно! Но только следы останутся. А зачем, спрошу, пороть? Вы ведь тоже изволите врачебной наукой заниматься? Прикажете вашу шляпу завернуть?

— Заверните, — с надорванным вздохом сказал профессор и, надев картуз, полез в карман за бумажником.

На улице он пошел к трамваю, чтобы отправиться домой, но вспомнил, что нужно еще зайти постричься, и, тихонько пошаркивая галошами, побрел к парикмахеру.

Он не заметил, что его появление на тротуаре вызвало движение, граничащее с паникой. Молодая, модно одетая республиканка столкнулась с ним вплотную. В ее подрисованных серых глазах вспыхнуло веселое изумление, затем они сжались, губы расплылись, и, фыркнув в лицо профессору, она бросилась в сторону. Профессор не увидел этого, ибо он был достаточно близорук.

В парикмахерской, очевидно настроенный покупкой картуза к омолаживанию, он приказал снять накоротко свою почтенную бороду лопатой и сделать из нее тонкий клинышек. По окончании этой операции он почувствовал себя помолодевшим на пятнадцать лет и поехал домой.

Дома его постиг первый удар. Он вошел из передней, не снимая картуза, в спальню Анастасии Андреевны, чтобы немедленно похвастать покупкой.

Но, к его удивлению, Анастасия Андреевна, занятая штопанием вязаных подштанников супруга, уронила их и в испуге вскочила с кресла.

— Что вам угодно? Кто вас впустил? — взвизгнула она и, прежде чем профессор успел разжать губы для ответа, ахнула: — Саша!.. Господи боже мой! Что с тобой?

— Это я купил... вместо старой шляпы, — несколько озадаченно ответил профессор.

— Купил?.. Это? Ты с ума сошел? В пятьдесят четыре года клоунский картуз? У тебя совсем идиотский вид! Что ты сделал со своей бородой? Это наваждение! Сними сейчас же эту дрянь, чтоб я ее не видела!

Профессор от природы был робок, но вспыльчив. В возмущении и гневе старой подруги он усмотрел покушение на свою самостоятельность и вышел из себя.

— Что? Я не мешаюсь, когда ты изволишь накручивать на себя спереди и сзади дурацкие финтифлюшки.

Подумаешь — пятьдесят четыре года! Что же, мне по этому случаю гроб на голове носить? Имею я право делать, что мне хочется? Я не потерплю бабьего деспотизма!

— Он совершенно ополоумел, — всплеснула руками Анастасия Андреевна в неограниченном ужасе. — Пойми же, что у тебя в этом картузе вид кретина.

Хотя профессор и чувствовал втайне странную неловкость и готов был уже обвинить себя за поспешную покупку, гневный голос жены только раздразнил его, и он тоже закричал.

— У тебя без картуза кретинский вид! Я знаю, что я делаю. Еще раз попрошу не лезть с непрошеными советами. — И, повернувшись в дверях, швырнул зло: — Старая корова!

Анастасия Андреевна поглядела на хлопнувшую дверь, постучала сгибом пальца себя по лбу и беспомощно спросила у стен и мебели:

— Ну, скажите по чести, видели вы второго такого дурака?

ГЛАВА ПЯТАЯ

Последующие пять дней принесли профессору немало огорчений. Знакомые при встречах шарахались от него, как полинезийцы от табу, и с самым неделикатным видом пялили глаза на его необычайный картуз. Молодые республиканцы в лаборатории, не сдерживаясь, гоготали ему в спину и присвоили непочтительную кличку «пятнистой медузы».

Анастасия Андреевна дулась, котлеты за обедом были явно пережарены и хрустели на зубах, подобно ландриновому монпансье.

Было совершенно очевидно — шатания основных жизненных устоев происходят от проклятого картуза. Стоило только выбросить его на помойку и купить новый, как все пришло бы в немедленное равновесие...

Но профессором овладело необъяснимое злобное упорство, которое появляется обычно у застенчивых от рождения людей, когда им приходится сталкиваться с противодействием их капризам.

Он исхудал, пожелтел, но упрямо носил блистательный головной убор и даже отбрасывал его пышную массу на затылок, благодаря чему в скромном лице его по-

явился внезапный оттенок этакого гусарского ухарства.

По крайней мере, проходя утром в лабораторию, он встретился с двумя красноармейцами. Завидев профессора, один из них, румяный и гладкий, как девушка, с восхищением сказал товарищу:

— Вот это лихой папаня! Хоть сейчас на коня и к буденновцам!

Конечно, это было очень нелепо, но профессор от этих слов внезапно почувствовал себя молодым и сильным и, продолжая свой путь в святилище науки, даже выпрямил грудь и старался отбивать ногами какой-то внутренний такт.

По мере возможности он оправдывал в этот момент древнюю поговорку о Юпитере, лишающем разума.

Понемногу люди, знавшие Александра Евлампиевича, начали привыкать к бирюзовому ореолу над его лбом и кофейному воздушному шару, колеблющемуся над лысиной, и перестали замечать непристойную фривольность дьявольского картуза, а людей незнакомых не замечал сам профессор по причине отмеченной уже близорукости.

Даже Анастасия Андреевна успокоилась, котлеты приняли должную мягкость, и между супругами произошло полное примирение, в ознаменование чего профессор пожелал купить жене вышитую дорожку на рояль.

Утром он снова выехал на втором номере к проспекту 25 Октября, и этот серенький день нежданно ознаменовался...

Впрочем, не стоит забегать вперед и заранее открывать читателю карты.

Это могут делать только в романах, и то маститые романисты, автор же человек скромный, и ему нужно приобрести своего читателя.

Профессор благополучно купил желаемую дорожку, цвета крем, по которой были вышиты узором ришелье очаровательные, бесподобные, непревзойденные розы. Вся вышивка была так нежна, так трогательна и прозрачна, что Александр Евлампиевич, не торгуясь, заплатил восемнадцать рублей и отправился к домашним пенатам.

Правда, он потолкался еще по Гостиному двору, стоял не менее шести минут у витрины кожтреста и зашел к знакомому часовщику проверить свой хронометр, но

на эти невинные занятия ушло не более пятнадцати минут в целом.

Приехав домой, он дружески поцеловал в обе щеки Анастасию Андреевну, которая вручила ему полученное от сына письмо.

Сын Александра Евлампиевича, по окончании военно-медицинской академии, заинтересовался изучением малярии и получил командировку в Кушку, где, как известно, для обитателей крепости природа вырабатывает только два продукта широкого потребления: двухвершковых скорпионов и тропическую малярию.

Профессор уселся за обеденный стол, повязался, как обычно, салфеткой и, прихлебывая капустный суп, прочел с любознательностью новые сведения о происхождении малярийных очагов.

Только дочитав письмо, он вспомнил о подарке и сказал жене:

— Я принес тебе, Тасенька, подарок. Пройди в прихожую, он у меня в кармане пальто. Такой сверточек.

Анастасия Андреевна, порозовев от удовольствия, вышла, но очень долго не возвращалась. Профессор с удивлением посмотрел на дверь и хотел уже встать, как Анастасия Андреевна появилась на пороге, держа развернутую дорожку.

У нее было счастливое, но и несколько встревоженное лицо.

Подойдя к мужу, она ласково прикоснулась губами к его лысине.

— Спасибо, Сашенька! Прелестная дорожка. Но, голубчик, до чего ты стал рассеян! Почему твой хронометр валяется в кармане пальто? Счастье, что не вытащили!

Профессор опустил глаза на руку жены и в ямке ладони увидел золотые часы. Тепло поблескивала, раскачиваясь, свесившаяся цепочка.

— Странно,— сказал он, потянувшись к часам,— как же это вышло?

Но, еще не коснувшись часов, он вдруг отдернул руку и вскочил.

— Это не мои часы!— вскрикнул он.— У меня же не цепочка, а шнурок!

Анастасия Андреевна застыла, перебегая взглядами с лица мужа на часы и обратно.

Профессор, расстегнув пиджак, пощупал селезенку и

вытащил из жилетного кармана хронометр, который закачался на круглом шелковом шнуре.

— Вот мой хронометр, — продолжал он, совершенно растерявшись, — а это... это не мои часы!

— Как же они могли попасть в твой карман, голубчик!— ахнула профессорша.

— Дай сюда,— твердо бросил профессор и взял часы таким странным движением, как будто золото раскалилось и обожгло ему руку.

Он повертел часы, открыл крышку и поднес к глазам циферблат.

— Нет... не мои,— упавшим голосом сказал он, — мои английские, а эти Лонжин. Тоже превосходная фирма, но это ничего не объясняет. Я отказываюсь понимать!

Он продолжал разглядывать часы, подержал на руке тяжелую анкерную цепочку и вдруг побледнел. Цепочка была оборвана, вернее перекушена острым инструментом, звена за два до кольца, продевающегося в петлю жилета. Профессор положил часы на стол с неимоверной быстротой, почти бросил.

— Они обрезаны... обрезаны! — выдохнул он трагическим шепотом.

— Но откуда они у тебя?..

— Ах!.. Я откуда знаю? Столько же, сколько ты. Невероятная вещь!

Профессор волновался, у него дрожали руки и брови.

— Успокойся, Саша, — положила руку на плечо ему жена,— припомни хорошенько, где ты был.

— Сейчас... сейчас. Сначала я ехал в трамвае, потом на углу Садовой купил газету, затем зашел в магазин за дорожкой, оттуда я прошелся по Гостиному... поглядел витрины. Еще стоял долго у обувного магазина. По дороге домой я зашел к Ивану Парменычу проверить хроно...— Профессор остановился и радостно хлопнул в ладоши:— Ну да же, конечно! Ах я, старая растяпа! Вероятно, часы лежали у него на прилавке, и я как-нибудь машинально... Но что подумает Иван Парменыч? Вот история. Давай я их отвезу. — Он схватил часы и устремился к двери.

— Саша! Куда же ты? Дообедай, тогда и отвезешь.

— Что ты?.. Что ты? — возмутился профессор...— Человек, верно, ищет, голову потерял, милицию вызвал, угрозыск. Может, сюда уже ищейка идет.

Он на лету поцеловал руку жены и убежал с необычайной энергией.

Анастасия Андреевна долго ждала его возвращения, но только около восьми вечера хлопнула входная дверь, и в столовую ввалился в картузе, пальто и галошах Александр Евлампиевич. На безмолвный вопрос жены он поднял руку жестом слепого Эдипа. В комнате, как свинцовый шар, повисло грузное молчание.

— Что? Что же ты ничего не говоришь? Ради бога!— крикнула Анастасия Андреевна.

— Часы... не Ивана Парменыча, — глухо выдавил профессор и тяжело бухнулся в кресло, так что точеные ореховые ножки обидчиво взвизгнули и затрещали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Утром на семейном совете было решено, что профессор даст объявление в газету о находке часов. Александр Евлампиевич почти не спал ночью, осунулся, под глазами у него набрякли две лиловые арабские сливы.

Анастасия Андреевна, прощаясь с ним в передней, скорбно вздохнула:

— Саша, ты только не волнуйся, побереги себя. За эту ночь ты постарел на десять лет. Ведь ничего страшного не случилось. Глупое недоразумение. Ты же ни в чем не виноват!

— Еще не хватает, чтоб я был виноват! — окрысился профессор и надел картуз уже не на затылок, но резко надвинул козырьком на нос.

Объявление появилось, но за часами никто не приходил, и они продолжали мирно тикать на письменном столе, ежедневно заводимые профессором, сердце которого при этой процедуре раздиралось сомнениями.

Ровно через три недели профессор снова побывал на проспекте 25 Октября по причине необходимости купить себе полдюжины носков.

Он уже почти успокоился и даже показывал заходившим друзьям часы, рассказывая их фантасмагорическую историю.

Вернувшись после сделанной покупки домой, он хотел повесить пальто, но заметил, что перемычка вешалки оборвалась. Профессор был аккуратен и немедленно,

взяв покупку в одну руку и пальто в другую, отправился к жене, чтобы привести вешалку в должный порядок.

Анастасия Андреевна взяла пальто, разложила его на коленях, достала из бархатного гриба иголку и принялась исправлять повреждение, а профессор ходил по диагонали спальни и с оживлением рассказывал о невском ледоходе.

Внезапно он остановился на полушаге, услышав металлический стук на паркете, у ног Анастасии Андреевны. Он нагнулся с юношеской легкостью и так и остался, присев на корточки, с растопыренной рукой и открытым ртом.

Анастасия Андреевна отбросила пальто и, нагнув голову, увидела у носка левого ботинка на полу золотой плоский портсигар, сверкавший алмазами монограммы. Она вздрогнула и посмотрела на тяжело дышавшего профессора.

— Что это, Саша?— спросила она, дрожа в ужасе и уставясь на портсигар глазами птички, повстречавшей очковую змею...

— Н-не знаю... П-порт-сигар, — произнес профессор, пронзительно икнув.

— Откуда же он?

Профессор поднялся и ухватился рукой за грудь. Лицо его мгновенно посерело, вытянулось, и на носу проступил пот.

— Нехорошо... сердце...— сказал он дурным голосом и сел на пол.

Анастасия Андреевна запищала, с быстротой экспресса проскочив спальню, коридор и переднюю, слетела по лестнице на площадку ниже, где жил давний домашний доктор, Серафим Серафимович Архангелов.

Когда, волоча за руку доктора, она вернулась в квартиру, профессор лежал на полу в обмороке.

Переложенный на кушетку, после шприца камфары он глухо застонал и медленно очнулся.

— Сашенька, дорогой! Тебе плохо? — спросила плачущая Анастасия Андреевна.

Зубы профессора разжались. Он несколько раз пытался произнести какое-то слово, но икал и проглатывал звуки, и, только наклонившись вплотную к лицу, доктор Архангелов наконец понял.

— П-пял-плор-лт-лсиг-лглар.

— Какой портсигар? О каком портсигаре говорит Александр Евлампиевич?— повернулся к Анастасии Андреевне недоумевающий доктор, но она только безнадежно взмахнула рукой.

Профессор устало закрыл глаза и задышал ровнее.

— Я думаю, лучше всего дать ему полный покой. Пусть полежит с полчаса. Я сейчас выпишу бром и хлоралгидрат. Сердце в порядке, тревожиться нет никаких оснований, просто легкий сердечный припадок на почве волнения. Пульс повышенный, но пройдет. Вы мне дадите бумаги и перо, Анастасия Андреевна.

В кабинете, подписывая рецепт, Архангелов, закусив клок смоляной разбойничьей бороды, оставлявшей на его лице в неприкосновенности только шишковатый нос и желтые остренькие глазки, выслушал с любопытством несвязный рассказ Анастасии Андреевны о потрясающих событиях в профессорской семье.

— Удивительно! Какие-то багдадские приключения. Ничего не могу понять. И вы говорите, приносит ценности в кармане пальто? Так! Занятно! А можно взглянуть на пальто?

Хотя Анастасия Андреевна и не поняла, зачем нужно смотреть на пальто, но с готовностью подала его доктору.

Серафим Серафимович внимательно осмотрел пальто с таким видом, как будто ожидал, что из него с треском и грохотом выскочит настоящий черт, ощупал затем подкладку и полез широкой лапой в карман.

Борода его вздулась широким веером, губы скривились, и он с торжеством сказал:

— Эге! Да тут еще какая-то штуковина! — и вытащил руку. Рука выволокла из кармана нечто блестящее, оказавшееся при ближайшем рассмотрении парой серег.

Бриллианты и сапфиры на его ладони заискрились в киновари заходящего солнца синими и розовыми звездами.

— Черт! Хорошие серьги! Бриллианты карата по полтора!— сказал он с удовольствием, не замечая, что Анастасия Андреевна осталась посреди комнаты женой Лота, недвижно глядящей на гибель содомского пепелища.— Н-да! Отменное приобретение. Тысячи полторы стоит!— невозмутимо продолжал он, перекатывая серьги на руке, чтобы полюбоваться блеском камней.

Анастасия Андреевна наконец очнулась.

— Серафим Серафимович!.. Что же нам делать? Чем вы объясните это?

Доктор меланхолически пожевал конец большого пальца, что делал всегда в затруднительные минуты, и неторопливо ответил:

— Не могу понять. Не поддается никаким логическим объяснениям. Думаю, что в средние века Александра Евлампиевича сожгли бы на костре за общение с дьяволом...

— Боже... только этого недоставало! — всхлипнула профессорша. — Но как же выйти из этого положения?

— Затрудняюсь посоветовать, — ответил Архангелов, не вынимая пальца изо рта, — на мой взгляд, лучше всего отвезти эти вещи в уголовный розыск и рассказать обо всем. За ночь Александр Евлампиевич отдохнет, а утром немедля пусть едет в угрозыск. Самое верное.

— А как вы думаете?— Анастасия Андреевна покраснела и запнулась.— Саша не мог заболеть внезапно этим... ну как ее, клептоманией?

Доктор подумал еще минутку и решительно сказал:

— Нет! Клептоманы обыкновенно помнят свои кражи и делают их сознательно. Сущность клептомании в том, что человек не может удержаться от воровства, но сознает его. Нет, это не клептомания!

Окончив это научное объяснение, доктор с достоинством откланялся.

После его ухода Анастасия Андреевна прошла в спальню. Профессор уже совсем очнулся и сидел на кушетке, охватив голову прозрачными старческими пальцами.

Он взглянул как бы сквозь жену и пробормотал:

— Я совсем ослабел. Что же делать?

— Ложись, Саша, спать! Тебе нужно отдохнуть. А завтра утром съезди в угрозыск, отвези вещи и заяви.

И Анастасия Андреевна передала свой разговор с доктором. Профессор послушно дал уложить себя, выпил в постели стакан горячего молока, проглотил порошок хлоралгидрата и через четверть часа уже нежно и заливисто посапывал носом.

Анастасия Андреевна присела у кровати в кресло, закуталась в теплый оренбургский платок и так просидела до рассвета, жалобно морща лоб.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

За столом дежурного агента в уголовном розыске в огромной и неопрятной серой комнате сидел коротко остриженный носатый блондин.

Очень большой, свисавший над губой нос его, очевидно, еще в детстве был чем-нибудь основательно разрезан и теперь явственно делился на две семядольки белым шрамом со следами шва.

Он нехотя поднял голову и с явной иронией выслушал путаный, сбивающийся монолог профессора.

— Покажите вещи, — сказал он тугим и вязким голосом.

Профессор вынул сверток, бережно развернул его, спрятав в карман бечевку, и выложил на стол портсигар, часы и серьги.

На каменноподобном лице носатого человека появилось на одно мгновение, как летняя молния, любопытствующее выражение, и он потихоньку засвистал.

Профессор увидел в его равнодушных зрачках вежливую, но коварную усмешку.

— А вещицы-то ведь ворованные, гражданин! Насчет этого вот портсигара у нас и заявленьице даже имеется по всей форме. Что вы на это скажете? А?

Профессор с достоинством вздернул плечами.

— Мне очень странен такой вопрос. Я пришел к вам именно потому, что желаю от вас получить объяснение, чьи это вещи, откуда они и как попали ко мне. А сам я ничего не могу вам сказать.

Агент высморкал нос и усмехнулся.

— В первый раз у нас? Раньше приводов не имели?— вдруг после некоторой паузы бросил он короткий вопрос и в ту же минуту въелся глазами в переносицу профессора.

Профессор опешил, но мгновенно понял и побагровел.

— Товарищ... я попросил бы вас!— начал он, повысив голос, но агент вежливо перебил его:

— Не торопитесь, гражданин! Мы в минуту выясним. Антощук!.. Принеси альбомы второй группы. Позвольте ваши документы, гражданин!

У профессора от обиды и негодования затряслись губы, и он неожиданно для себя забрызгал слюной.

— Какое право вы имеете?.. Вы с ума сошли?.. Я про-

фессор Благосветлов, я имею... вот документы! Вот от КУБУ, вот от Академии наук, от университета, благодарность от Совнаркома! — Он швырял гневные, визгливые слова, и рядом с ними шлепались на стол дежурного профессорские документы.

Носатый хладнокровно собрал их и с преувеличенным вниманием, просматривая на свет, пересмотрел каждый в отдельности.

— Забавная штука... Несомненно не липа, — сказал он, не обращаясь ни к кому.

Профессор почувствовал, что у него опять начинает твориться неладное с сердцем. Удары его то заглухали, то били в стенки грудной клетки, как буруны на коралловом рифе.

— Я бы хотел сесть, — сказал он сердито, — я себя плохо чувствую.

— Товарищ Лычков! Дайте гражданину стул. Садитесь, гражданин, и не волнуйтесь. Мы тоже исполняем свой долг.

Антощук принес из задней комнаты два огромных альбома, и носатый стал перелистывать их на столе. В глазах профессора замелькали какие-то угрюмые физиономии в фас и профиль. Он закрыл глаза.

Моментами носатый задерживался на какой-нибудь карточке, вскидывал глаза на профессора, и в пустынной тишине комнаты слышался его вязкий полуголос:

— Синцов Григорий, он же Лукичев, он же Маркин... Кличка «французская ноздря», рецидивист, скупщик краденого... сорок семь лет... нет, не то.

Он с поразительной быстротой пересмотрел все страницы альбомов и твердо хлопнул рукой по переплету.

— А вы успокойтесь, гражданин! Такая наша обязанность. Я вас, по правде, и не подозревал, потому что вижу, старичок, говор интеллигентный и борода умная. Но только проверить был должен, потому что бывают такие фраеры, что под кого хочешь разыграют. Третьего дня вот было. Приводят, извините, митрополита. Честное слово! Все в натуре, мантия, клобук, посох этакий пастырский. Взяли его на Сенном. Ходил, торговцев благословлял, а зацепили его, когда одного ларечника, правой благословляючи, левой у него бока срезал. Признаться, спервоначала думали — ошибка. Хоть, конечно, духовенству стало мокрое дело в рабоче-крестьянском

состоянии, однако митрополиту все же до этакого дойти зазорно. А документы все в наличности и самые доподлинные. Киевский митрополит Агафон в служебной командировке по живой церкви. Но только начальник бригады вошел, разом цап его за бороду, борода в руке осталась, морда гладкая, как репа. Ну, тут и без карточки узнали. Митька Подтяжка, карманник. Семь приводов имеет! Но вы, гражданин профессор, не беспокойтесь, раз у вас все в натуральности. Вещицы можете оставить при заявлении и спокойно домой идите.

— Но я хотел бы узнать, как попали ко мне эти вещи?— спросил взбешенный профессор.

— А это, гражданин, не могу сказать, потому сам не знаю. Не иначе как недоразумение природы.

— Но можете ли вы меня оградить от повторения подобных недоразумений? Мне именно это нужно, а не ваши глупые россказни.

— Насчет этого, гражданин, не в силах. Ежели налет предупредить, то это иногда при хорошей агентуре возможно. Ну, а вещь, как ее уследишь? Хоть убей, сам не понимаю вашей оказии. Будьте здоровы, гражданин. Вот извольте расписочку на вещи.

Профессор вышел на Мойку, яростно плюнул и швырнул расписку в грязь.

Дома, рассказывая Анастасии Андреевне, как его приняли за вора, он опять разволновался и даже расплакался.

Ушел в кабинет, хотел поработать над корректурами курса экспериментальной физиологии, но страшно разболелась голова, строчки корректуры свивались кольцами, он лег на диван и заснул одетый.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Две недели в профессорском доме протекли почти благополучно, если не считать, что в пятницу профессор, после поездки в центр города, снова привез в кармане золотую с эмалью брошь. Но при внимательной проверке она оказалась только позолоченной.

Обнаружение брошки почти не тронуло профессора. Он отнесся к ее появлению со стоическим равнодушием и даже втайне досадовал, что она медная. Это показалось ему даже обидным, какой-то насмешкой.

Вечером в этот день он поехал на заседание ученого совета и пробыл там до половины двенадцатого ночи. Коллеги, бывшие с ним на заседании, отметили, что в этот день он отличался необыкновенной свежестью мысли и формулировал предложения с классической ясностью.

С заседания он уехал с профессором патологической хирургии Ершовым и доехал с ним вместе до угла Большой Монетной. Здесь он сошел с подножки и окунулся с головой в апрельскую, сочащую мелким дождиком ночь.

Автор хочет спросить у читателя, знает ли он, что такое ночь на Петроградской стороне, после двенадцати часов, в тысяча девятьсот двадцать четвертом году, а от сотворения республики в седьмом?

Автор уверен, что у читателя нет об этом даже приблизительного представления, ибо читатель толчется больше на всяких проспектах 25 Октября, у блистающих храмов великого немого, разных «Пикадилли», «Гранд-Паласов», «Паризиан» и «Светлых лент».

В таких местах ночь на ночь не похожа, яркая, шумная, нахальная, как краска на губах у каракулевой барыни, яркость которой заставляет сочувственно ругаться питерских извозчиков. Все гремит, все блестит, переливается, и до самого утра нет отдыха затянутой в асфальтовые и торцовые корсеты земле.

А на Петроградской стороне — тишь. Небо этакое высокое, без лестницы на него не влезешь, и то лестница нужна такая длинная, какой даже в самом Губпожаре до сих пор еще не сделали.

В одиннадцать часов гаснут во всех окнах огни, и стоят дома сплошными серо-лиловыми кубами, разве только где-нибудь под крышей такой мечтательный огонек и при нем пишет стихи какой-нибудь шальной поэт.

И странно — можно сказать, почти до коммунизма дошли, весь быт перевернули, а вот поэтов вывести не могли.

Даже у ворот домов не горят дежурные лампочки, и никто за этим не следит, ибо какому же порядочному милиционеру Петроградской стороны придет в голову отойти дальше ближайшей подворотни от своего поста на Каменноостровском или Большом.

И в полутьме кажется все не настоящим, а нарочно

сделанным, как театральный макет, и от этого в пейзаже какая-то сухость и мертвенность, нет живого впечатления, нет аромата, и даже лужи, сделанные котами и прохожими в закоулках, ничем не пахнут.

Страшная ночь на Петроградской стороне!

. . . .

Большая Монетная чернела неживым ущельем, позванивая тяжелой весенней капелью из водосточных труб, профессор неторопливо шлепал ногами по мокрым асфальтам, покрытым выбоинами, направляясь домой.

Когда он поравнялся с воротами сгоревшего дома, голый остов которого сквозил матовой чернядью звездного неба, от противоположной стены отделился человек и размашисто пошел навстречу профессору.

В походке его, быстрой и легкой, было хищническое, крадущееся напряжение, и Александр Евлампиевич почувствовал вдруг неприятную пустоту под ложечкой.

Он замедлил шаги, как будто этим можно было избежать встречи с неизвестным.

Но незнакомец только сломал прямую пересекающей диагонали и неожиданно вырос перед самым лицом профессора.

На нем был короткий бушлат, плоская шапочка, шею обвивал шарф, концы которого взлетали, как крылья.

Встав перед профессором, он поднял легким взмахом правую руку.

Александр Евлампиевич, вздрогнув, поднял обе свои, чтобы защитить лицо, но в ту же секунду сзади его захватили за шею и в открывшийся для крика рот втиснулось шершавое и мягкое.

Вслед за тем его ловко ударили под коленки, и он безмолвно и бесшумно шлепнулся навзничь на тротуар.

Тот, который подошел спереди, нагнулся и посмотрел в лицо профессору.

— Старый шкицер!— как будто с сожалением сказал он.

— Ничего!— отозвался другой голос, грубее и суше.— Смажь ему пару раз по лупеткам, чтоб знал.

— Да и мазать страшно, подохнет.

— Тля!.. Давай я!

Профессор, обомлев от страха, ощутил на своих щеках нанесенные сзади две основательные пощечины, и у него позеленело в глазах.

Когда он рискнул открыть их, на улице никого не было. Он лежал один животом вверх, и спину холодил ледяной дрожью мокрый асфальт.

Профессор вздохнул, сел и ощупал себя. В боковом кармане пиджака он наткнулся на бумажник, в жилетном кармане пальцы его ощутили кружок хронометра.

Все было цело и на месте. Он застыл в недоумении.

Приключение было так мгновенно и странно, что показалось ему сном, бредом, и только ощущение мокрого тротуара под седалищем напоминало о реальности, но и то казалось идущим мимо сознания.

Профессор прислушался. По тротуару издали защелкали крепкие каблуки и приближался голос, напевавший тенорком: «О ночь волшебных сновидений».

Прохожий шел по другой стороне тротуара.

— Послушайте, товарищ, — жалобно пискнул профессор, — помогите мне, прошу вас!

Щелк каблуков сорвался, и послышался молодой, хрустевший, как осеннее яблоко, голос с чуть уловимым чуждым акцентом.

— Помочь? А вы кто такой?

— Профессор,— ответил Благосветлов, не соображая всей нелепости этого слова в создавшейся обстановке.

— Профессор?— Голос хрустнул недоумением. — Но что же вы там делаете?

— Меня ограбили. Я сижу на тротуаре.

Каблуки затарахтели по мостовой, прохожий перебегал улицу.

Александр Евлампиевич увидел молодое лицо с худым крючковатым носом.

— Почему же вы сидите, если вас ограбили! Что за странный человек!

— Мне трудно встать. Я... очень испугался, — сконфуженно пролепетал физиолог.

Прохожий помог профессору подняться и стоял перед ним, ярко улыбаясь.

Молодой месяц светил ему в лицо, и от этого у него не было глаз, ибо они заменялись круглыми стеклами очков, горевшими таинственным лунным пламенем.

— Благодарю вас, молодой товарищ! — Профессор схватил руку своего избавителя и затряс ее изо всех сил. — Вы спасли меня от смерти! Кто вы?

Прохожий помолчал и ответил медленно, как будто откалывая ледяшки слогов:

— Меня зовут Гектор фон Целиес; я ученый, недавно приехал в Россию. Но не в этом дело, профессор. Не говорите ночью громко о смерти. Она ходит здесь вблизи и ждет неосторожного зова.

Профессор испуганно оглянулся. Тон ночного собеседника показался ему страшным. И профессор сказал:

— Вы правы, не нужно о смерти! Я бесконечно признателен вам и был бы еще признательнее, если бы вы простерли свою любезность до того, чтобы помочь мне дойти до дома. Вон там в следующем квартале.

— О, с удовольствием! Хоть сквозь весь город! Сквозь весь мир!

Профессор достал платок и обтер руки. Он хотел уже двинуться в путь, как почувствовал, что ему холодит лысину. Он дотронулся до головы и обнаружил отсутствие картуза. Думая, что уронил его при падении, он нагнулся.

— Что вы ищете? — спросил спутник.

— Я уронил картуз. Что-то не видно. У вас зорче глаза, молодой друг, посмотрите вы.

Молодой человек прошел несколько шагов туда и обратно странно танцующей походкой и ответил:

— Нет!.. И я не вижу. Не вижу даже астральным зрением.

— Должно быть, эти негодяи утащили его. Ну и слава богу.

— Много они у вас ограбили? — полюбопытствовал избавитель.

— Вот то-то и странно, что ничего... Они только дали мне две пощечины и бежали. Приходится констатировать, что я отделался только картузом.

— Странные грабители, — задумчиво сказал Целиес. — Вы никого не можете подозревать?

— Нет... Никого.

— Может быть, это какая-нибудь месть?.. Может быть, романическая история?

Профессор протестующе поднял руки.

— Юный друг, постыдитесь! В моем возрасте романическая история!

Молодой человек сконфузился.

— Дело в том,— начал профессор, шагая под руку с компаньоном, — что со мной за последнее время про-

изошел ряд самых фантастических приключений, вовсе не соответствующих ни моему возрасту, ни общественному положению.

— А именно?

Профессор прокашлялся и начал повествование. Они дошли до ворот профессорской квартиры, и Александр Евлампиевич, облокотясь о выступ стены, подробно и красочно изложил все изумительные события, обрушившиеся на его жизнь.

Молодой человек стоял перед ним, поблескивая лунными зрачками, перепрыгивая с ноги на ногу, и казался волшебной птицей, готовящейся взлететь.

— А вы пробовали обращаться за содействием к властям? — спросил он, когда профессор кончил рассказ.

— Ах, знаете, я попробовал в уголовный розыск, ничего не вышло.

— О нет, профессор! Случившееся с вами указывает на роковое вмешательство неведомых сил в вашу судьбу. Я вижу, что это совершенно загадочная и грозная история. Я бы советовал вам немедленно обратиться к прокурору.

— Мне неловко беспокоить прокурора по таким пустякам. Он может подумать, что я с ума сошел.

— Впрочем, может быть, даже прокурор не поможет. В этом видна рука таинственных сил. Мне представляется в этом что-то политическое.

Лунные глаза молодого человека запылали ярче, он явно увлекался ходом своей мысли.

— Вы думаете? — спросил потрясенный таким предположением профессор.

— Уверен! Сегодня в ваш карман попали часы, завтра могут подложить адскую машину. Сегодня с вас сняли картуз, завтра могут отрезать и подставку для картуза. — Фон Целиес оглянулся и понизил голос до шепота: — Скажите, профессор, вы материалист или идеалист?

— Я! Я как представитель точной науки... конечно, у меня материалистическое мироощущение.

Ночной собеседник подпрыгнул и ухватил профессора за плечо.

— Вот! Я так и думал. Вам могут мстить за это. Вы знаете — существует секта мстителей за унижение верховных сил природы, за господина вселенной.

Профессор вздрогнул и нервно задергал звонок дворнику.

— Еще раз спасибо, дорогой,— сказал он, прощаясь,— я и не думал, что это может быть так серьезно. Я обязательно сделаю, как вы сказали. Прощайте! Заходите, если не скучно, навестить старика!

— Спасибо, профессор. Очень рад знакомству. Желаю вам спокойной ночи и здоровья, — ответил спутник и весело защелкал каблуками, продолжая свой путь.

Профессор, входя в калитку, оглянулся, чтобы взглянуть на уходящего, и чуть не упал от ужаса. Он ясно слышал щелканье каблуков совсем рядом, но нигде на улице не было ни малейшего признака человеческой фигуры.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

С этой главы автор решает играть в открытую. В ней он наконец развяжется с проклятым картузом, или, вернее, достанет такого человека, который доведет дело до развязки.

Во всяком случае, автор намерен честно выполнить взятые на себя обязательства, ибо совесть у него есть и он понимает, что нельзя получать гонорар так, за здорово живешь.

Профессор проспал ночь ни хорошо, ни плохо, а так себе. Он не сказал ни слова жене о ночном происшествии, чтобы не расстраивать верную подругу, и, напившись чаю с молоком и скушав одну подковку с маслом, отправился к губернскому прокурору.

Прокурор, сравнительно еще молодой, с аккуратно подстриженными английскими червячками над верхней губой, в сером, отлично сшитом костюме, с такими же серыми острыми глазами, усадил профессора в глубокое кресло и, придвинув портсигар, спросил чрезвычайно любезно, чем он может быть полезен столь известному в республике ученому.

Александр Евлампиевич, скромно потупив взоры, изложил со свойственной ему логичностью и точностью потрясающие факты последнего месяца вплоть до пропажи знаменитого картуза.

— Я не знаю, кого подозревать, но мне кажется, что тут явный заговор против моего здоровья и жизни, возможно даже политического характера...

Прокурор слушал рассказ, дымя ароматными папиросами, в особенно примечательных местах остро вздергивая кверху русую бородку гвоздиком и постукивая пальцами по мраморной крышке пресс-папье. При последней фразе профессора он чуть приметно улыбнулся и поглядел в окно на вздувшуюся мутную Фонтанку.

Потом с глубоким, длительным наслаждением затянулся и выпустил с дымом:

— То, что вы были любезны изложить, уважаемый профессор, до такой степени любопытно и до такой степени неслыханно и фантастично в наше трезвое время, что я затрудняюсь высказаться по существу, хотя бы даже предположительно. С точки зрения действующего законодательства здесь имеется одно обстоятельство, которое позволяет смотреть на него, как на базу для начала судебного следствия...

Прокурор сделался прокурором совсем недавно и упивался юридическими терминами, подобно пятилетней республиканке, сосущей крафтовскую шоколадку.

— ...Это имевшее место несомненное вооруженное нападение. Это есть то, что мы, юристы, называем corpus delicti... Но почему грабители утащили картуз? Что может быть особенно привлекательного для уличного бандита в картузе?

— Видите ли, — замямлил профессор, — картуз был действительно не совсем обыкновенный.

— А что же в нем такого особенного?

— Он имел... очень своеобразную форму вроде... берета, и потом у него был... бирюзового цвета козырек и такой же... помпон на верхушке, — еле выдавил профессор, чувствуя, что начищенный пол прокурорского кабинета расступается под его ногами.

Прокурор вздернул бородкой, пыхнул огромным клубом дыма, и профессору показалось, что вместе с дымом из прокурорского рта вылетел сноп искр.

Он даже отшатнулся, но сейчас же разглядел, что это просто пылинки, завертевшиеся в солнечных лучах, и успокоился.

— Если я правильно вас понял, профессор, — сказал прокурор, — это был действительно совсем необыкновенный картуз. Что же, простите за нескромность, побудило вас при вашем почтенном возрасте и общественном положении приобрести такой... ну такой из ряда выходящий головной убор?

Профессор превратился в спелый помидор. Он готов был провалиться и чувствовал себя, как школьник, пойманный учителем во время списывания задачи. Он ответил еле слышно.

— Я... это было... то есть меня... уговорили... Хозяин магазина... он уверил, что этот фасон очень... идет ко мне.

Если бы профессор смотрел не в пол, а в лицо прокурора, он при всей своей близорукости увидел бы, что бесстрастная прокурорская маска передернулась на мгновение судорогой сардонического смеха. Но прокурор успел соблюсти достоинство судебной власти и вытер предательскую улыбку с губ.

— Что же!.. Я не вижу в этом ничего особенного. У каждого из нас бывают необъяснимые иногда вкусы. Я знал одного человека, который мог есть чайную колбасу только тогда, когда она, поверите, начинала уже пахнуть, — сказал он учтиво, надеясь ободрить профессора, и добавил: — Во всяком случае, я не могу поздравить грабителя со слишком большой и выгодной добычей. Но все же это темное дело требует разъяснения, и я с вашего разрешения вызову сейчас же сюда начальника бригады уголовного розыска.

Профессор уныло повел рукой.

— Был я у них. Никакого толку. Во мне заподозрили вора и даже по альбомам сличали, не имел ли я приводов.

Прокурор разрешил себе наконец засмеяться:

— Ну, не беспокойтесь, профессор. В моем присутствии я могу гарантировать вас от таких выводов. Кроме того, вы говорили с простым дежурным агентом, а я вызову европейскую величину, изумительного специалиста высокой квалификации.

Прокурор снял телефонную трубку.

— Откуда? Угрозыск? Попросите мне Павла Михайловича... А, Павел Михайлович, здравствуйте. Не сможете ли вы приехать ко мне сию минуту? Да, да, в кабинет. Чрезвычайно любопытное дело. Да. Думаю, что вы очень заинтересуетесь, в вашем вкусе. Хорошо! Жду!.. Вы меня извините, — обратился он к профессору,— если я предложу вам пока посидеть вот здесь, а я приму остальных посетителей, — он указал профессору на диванчик в глубине кабинета, за круглым столом,— а чтобы вы не скучали, разрешите предложить вам лю-

бопытнейшую вещь, альбом редчайших случаев фотографической экспертизы. Могу вас уверить, что второго такого нигде нет.

Профессор поблагодарил и уселся в угол с альбомом.

Прокурор принимал посетителей. Александр Евлампиевич рассматривал альбом, изредка бросая косые взгляды в сторону прокурора. Тот сидел спиной к окну. Ослепительное весеннее солнце било в окно, заполняя кабинет дымным золотым туманом, и от этого моментами прокурор становился прозрачным, и сквозь него профессор явственно видел деревья Летнего сада и полированный красный порфир этрусской вазы на высоком цоколе. Голос прокурора вернул Благосветлова к действительности.

— Вот, профессор. Разрешите вам представить? Павел Михайлович Пресняков, наш лучший детектив.

Представленный был человеком очень высокого роста с гуттаперчево-гибкой сухой фигурой. Он сжал ладонь профессора длинными цепкими пальцами и, с размаху согнувшись, бросил свое легкое худощавое тело в кожаную ванну кресла.

— Вы позволите, — сказал прокурор, — если я сам изложу Павлу Михайловичу все известные мне обстоятельства, чтобы не утруждать вас вторичным пересказом, а вы поправите или дополните меня, если найдете нужным.

Пресняков сидел, утонув в кресле, скрестив руки на колене. В зубах у него ритмически качалась короткая прокуренная трубка. Темные вишневые глаза его казались апатичными и отсутствующими, но в самой глубине зрачков таилось настороженное внимание. Время от времени он поднимал руку и выколачивал пепел из трубки.

— Вы имеете что-нибудь добавить к рассказу прокурора? — спросил он, подавшись резиновым броском вперед.

— Нет... все как будто точно и полно.

В глазах Преснякова не осталось апатии. Они переливались зоркими лиловатыми огоньками.

— Один вопрос! Где вы купили ваш картуз?

— Я не помню, к сожалению, фамилии хозяина магазина. Но он в Апраксином рынке, напротив желтого

дома с колоннами. Еще в окне огромная фуражка с малиновым околышем.

— Благодарю вас! Достаточно! Ну, я еду! — Пресняков поднялся и набил трубку новой порцией крепчайшего табаку.

— Ну, что вы можете сказать, Павел Михайлович? — заинтересовался прокурор.

— Хм... Пока ничего!

— А когда же?

— Завтра... Кстати, профессор, как мне можно достать вас, если вы понадобитесь для развязки?

Профессор дал номера телефонов лаборатории и квартиры.

— Чудесно. Думаю, я поставлю вас в известность о благополучном разрешении.

Пресняков простился и вышел. Профессор с невольным страхом посмотрел ему вслед.

— Неужели он знает?

— Ого!.. Я говорю вам — это исключительный человек, если он обещал, значит, дело в шляпе... или, вернее, в картузе,— позволил сыронизировать прокурор.

— Я очень вам благодарен. Может быть, наконец эта глупая история прекратится. Позвольте выразить вам мою глубокую благодарность.

— Не стоит, профессор! Моя обязанность охранять права и жизнь граждан. Очень счастлив, что мог увидеть вас у себя, хотя и по неприятному делу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Привязанная за лапки к растопыренным металлическим держателям рыжая собачонка в панической дрожи скосила круглый прозрачно-коричневый глаз на блеск ланцета в руке профессора.

Познающие физиологию студенты любопытно вытянули шеи.

Профессор взмахнул рукой и коснулся ланцетом голого собачьего живота, который судорожно вобрался под прикосновением стали. Собачонка тонко и жалко завизжала.

Но собачий срок еще не истек на часах судьбы, и ей было определено получить незначительную, но существенную отсрочку.

За спинами студентов неожиданно прогудел пивной голос Пимена:

— Алехсан Лампович, вас к телехону требовают.

Профессор положил ланцет и прошел к аппарату.

Студенты смотрели на него с не меньшим любопытством, чем минуту назад на собачонку, ибо на их глазах всегда хладнокровный профессор побежал к телефону почти курцгалопом, споткнулся, покраснел, беря трубку, и вообще имел жалко растерянный вид.

В тишине они услыхали, как Александр Евлампиевич, волнуясь и глотая слова, обещал кому-то сейчас же приехать, потом бросил трубку, объявил, что занятия сегодня откладываются, и, скинув на ходу халат, побежал в кабинет.

— Что это с ним? — спросил один из студентов.

— Дело швах. Должно быть, втрескался старикан. Видали, как волновался. Сейчас, говорит, вмиг приеду. Наверно, задала жару баба.

Но пока молодые неофиты физиологии делали столь легкомысленные предположения, профессор, нахлобучив на голову старую шляпу, бежал вниз по лестнице и у подъезда, в первый раз от начала новой эры, нанял извозчика.

В угрозыске, в кабинете начальника бригады, увешанном изящными фотографиями трупов и тому подобными невинными экспонатами угрозыскной профессии, Александра Евлампиевича ожидал Пресняков.

Сегодня он был еще более резиновый, чем вчера, и, пожимая руку профессору, складывался и раскладывался со стремительной гибкостью и быстротой.

— Добро пожаловать... Хм... Вы быстро. Видите ли, не сердитесь на меня, профессор, хм... но мне хочется показать, хм... вам прелюбопытные вещи, о каких вы, хм... и не подозреваете. Впрочем, с вами так много случилось необыкновенного за этот месяц, что вы, пожалуй, не удивитесь.

— А что же именно вы хотите показать?

— Экспонаты музея Гран-Гиньоль, Джеков-потрошителей и тому подобное — трагифарс с переодеванием. Феерическая постановка. Но прежде я попрошу вас выйти на минутку сюда.

Он отдернул портьеру на двери, ведшей в соседнюю комнату.

— Минуты через две я вас вызову обратно.

Дверь захлопнулась. Профессор очутился в небольшом помещении, на стенах которого висели плоские витрины с фотографиями. Между ними фестонами и связками разместились фомки, отмычки, клещи, ломики, ключи, отвертки, паяльные трубки, напильники, ножи. Они сплетались в узоры, славили человечью ловкость.

В витрине напротив двери висел снимок отрезанной головы. Профессор поглядел мельком, и вдруг голова подмигнула ему бесцветным глазом.

Он попятился к двери, и, к счастью, на пороге появился Пресняков с возгласом:

— Прошу, профессор.

Профессор бочком пролез в кабинет.

Там он сделал два шага и вдруг обомлел. Так обомлел, что коленки у него захолодели, под ложечкой засосало и кожа на спине пошла пупырышками.

В находившихся перед ним углах кабинета, — это он видел с непререкаемой ясностью, потому что на носу его криво, как баба на лошади, сидело заранее насаженное пенсне, — стояли две безмолвные фигуры. По неподвижности их можно было принять за восковые манекены, и эта неподвижность была невыносимо страшна. Но самое страшное было не в этих фигурах, а в том, что у обоих на головах красовались картузы, являвшие собой полную, абсолютную копию злосчастного профессорского картуза.

Профессор в испуге отпрянул назад и, ища защиты, оглянулся на Преснякова, но каково же было его изумление, когда и в двух других углах кабинета в глаза ему бросились треклятые картузы на манекенах. Между ними он увидал мимолетно хохочущее лицо Преснякова, и это было последним ясным зрительным впечатлением бедного физиолога, так как пенсне от волнения немедля сорвалось с положенного места.

— Вы ничего не понимаете, профессор?— как сквозь пленку бреда услыхал он пресняковский вопрос.

Александр Евлампиевич пролепетал что-то совсем несуразное, ослабевшие ноги его подогнулись, и он мешком сел на молниеносно подставленный Пресняковым стул.

Пришел он в себя потому, что в рот ему лилась вода, резко пахнущая валерьянкой, и в уши бился пресняковский голос:

— Ах, пожалуйста, простите, профессор. Какой я осел. Я не рассчитал, что эта маленькая комедийка может так расстроить вас. Я, признаться, страдаю некоторой манией театральных эффектов и до розыска долгое время служил в пантомимной труппе. Допейте, допейте до дна и будьте совершенно спокойны. Эй вы, артисты, марш!

Неподвижные манекены двинулись из углов и пошли к дверям гуськом. Профессор даже зажмурился, чтобы не видеть их. Пресняков крикнул кому-то:

— Мазанов! Уберите их в камеру. Давайте сюда шляпника!

Так как профессор сидел спиной к дверям, он не видел вошедшего, и только слух его ловил разговор.

— Станьте тут. Так вы ничего не знаете о картузе, проданном вами профессору Благосветлову?

Срывающийся голос хрипло пролаял:

— Не знаю, товарищ гражданин начальник! Невиновен я, как хотите!

— Не знаете? А этого гражданина вы знаете?

Пресняков ухватил кого-то за руку и подтащил его вплотную к стулу профессора. Профессор снова оседлал нос стеклами и увидел перекошенное удивлением и страхом бабье лицо, похожее на ломоть тыквы. Он узнал владельца шляпной лавки.

Шляпник растерянно моргнул глазами и сразу плюхнулся на колени.

— Не губите, товарищ начальник, — взревел он овечьим криком, — не губите — вот вам пречистая мать, сейчас во всем покаюсь. Первый раз отроду срам такой принял. Каюсь... стащил сукна, лишний картуз выкроил. Больше, чтоб мне с этого места не сойти, не сделаю такой пакости. Тьфу, провались оно, сукно это! Из-за аршина фирму сгубил!

— То-то, — сказал, потирая руки, Пресняков, — кончили дурака валять, любезный? Проваливайте! С вами потом еще разговор будет.

Милиционер вытащил вопившего, зареванного шляпника.

Профессор сидел как пришпиленный к стулу.

Пресняков набил трубку, раскурил, сложился пополам и бросился в кресло своим резиновым броском.

— Ничего не понимаете, профессор? Неужели? Ведь совсем простое дело.

— Ах, не мучьте меня... я больше не могу выдержать!— простонал Александр Евлампиевич.

— Моментально!— Пресняков привскочил и уставился в профессора глазами, блеснувшими, как огни выстрелов.— В одно мгновение... Вас принимали за складчика... Хм... именно за складчика... Вот эти четверо в картузах, которых вы видели, они тоже... хм... складчики... Случайно вы получили картуз, являющийся отличием складчиков большой воровской шайки... Вам стали... хм... подкладывать вещи... В один прекрасный день вас увидел кто-либо из ответственных работников шайки, знавший всех складчиков в лицо. Он, конечно... хм... удивился... проследил вас до дому... результатом было ночное нападение с целью отнять незаконно присвоенную форму. Хорошо, что он понял, что здесь явное недоразумение, иначе вы могли бы распроститься с головой... Вот и все... Остальное секрет нашего ремесла.

— Я... я не могу больше... Разрешите мне домой, — икая, сказал профессор.

— Конечно... Пожалуйста! Хм... Но разрешите поднести вам на память виновника ваших злоключений. — И Пресняков протянул профессору картуз, ласково засмеявшийся бирюзовым помпоном.

Но профессор взмахнул рукой и отпрыгнул, как от ампулы с чумными бациллами.

— Нет!.. Нет!.. К черту!.. Не хочу в руки брать эту дрянь.

— Как хотите!.. Мазанов!.. Проводите гражданина профессора.

. . . .

На проспекте 25 Октября профессор зашел в магазин Ленинградодежды и с достоинством приобрел дорогую фетровую шляпу.

Из магазина он вышел гоголем, и апрельское солнце, вырвавшись из-за круглого облака, серебряным блеском осветило его, тротуар, проспект, весь город, и все стало ясным, четким и натуральным.

Профессор почувствовал сильный голод, справился с хронометром, подтвердившим ему, что наступил час обеда, и поехал домой.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Рыжий баянист с кривым глазом лихо наяривал полечку «Катеринку». В пивной все стучало, звенело, гремело, ходило ходуном.

За липким столиком, на стекле которого приклеились сиротливые горошины, двое пили мрачно и медленно. Один отхлебнул пива, поглядел сквозь стакан на засиженную мухами лампочку под потолком и пробурчал:

— Что ж теперь?

— Надо нарезать винта. Хляю в Харьков. Тут жара. Семеро уже засыпались, — подвел проклятый шапочник с пятым картузом. До того зло на него берет, что вот никогда не ходил на мокрое, а его бы прикончил в два счета.

Первый тихо положил ему руку на колено:

— Тсс... жаба!

Оба бросили деньги на стол, скользнули легкими тенями мимо засохшей пальмы и скрылись за дверь, в ночь.

Кореиз, июнь 1925 г.

ОТРОК ГРИГОРИЙ

1

Монастырь на ковровом муравном скате, в лапчатом алоствольном сосновом бору. Крепок боровой смоляной дух, и даже в соборном, двухсотлетнем храме, сквозь сладчайший тлен ладана, пробрызгивается хмельной радостью острый запах хвои. Широколапы древние сосны, и мхом, пушистым и влажным даже в летнюю пору, облеплены с севера кряжевые комли.

От подгорья, если смотреть из поезда, с железным скрежетом летящего по двухпролетному мосту, связавшему желто-земную насыпь, над черной водой омутной Мшанки, белые корпуса монастырские сверкают искрами на солнце, и кажется, что обронил затейный бродяга, перекатипольник, из рваной сумы на зеленую скатерть куски рафинада. А соборная глава золотым райским яблоком манит взоры на тридцать верст окрест.

В монастырских корпусах коридоры, а в коридорах по зеркальному глянцу половики домотканые с крестами, птицами Сиринами и иными душеспасительными фигурами. А по бокам кельи, и в каждой белизна и чистота неописуемая и на всем незримый отблеск серебряных херувимских воскрылий.

За корпусами сад, затканный паутиной листвы, напоенный черемухой и застланный лиловым дымом махровой сирени, тенистый и располагающий к ясному раздумью и чистоте душевной. А в конце сада кирпичные, скособоченные столбы ворот, со старинным образом владычицы троеручицы, пробитым круглою пулею лихого

молодчика из Сапегиных конных регументов, тех, что оставили немало костей под корнями бора, пробитые мужицкими полуторасаженными медвежьими рогатинами. Над образом же новеньким лаковым пурпуром и золотой вязью царапает глаза вывеска добротной жести:

«Трудовая коммуна Златокриницкого монастыря».

И под вывеской у ворот — монашек, старенький добрый леший, забредший из бора в святые места и оставшийся у господа привратником. Свалялась комочками на сморщенном лике лешего желто-зеленая от старости шерсть, на руках вместо пальцев сосновые заковыристые сучки. Сидит леший мних, вековые кости на солнышке греет и глаза щурит в сладостной и блаженной истоме, и когда углядит, что круглеют у заезжего посетителя зрачки, уставленные на вывеску, усмехается тонкой белой губой.

2

— В былые годы, голубь, съезжалась на престольные праздники вся округа. Баре, помещики, какие ни на есть, самые важные в дормезах, шарабанах и тачанках. Человек степной, он, известно, от воздуха крепок и соком налит. Бывали такие, что с какой стороны ни глянь — все кругло, а затылок турецким ядром не прошибешь и вокруг ног порты люстриновыми тромбонами. А черного народа невесть сколько наваливало — на предсоборном дворе от дыху мужичьего не продохнешь, хоть топор вешай.

И когда затрепещет храм огненными крылиями тысяч свечей, заткется голубой паутиной ладана из пузатых новгородских кадильниц и в сем священном полумраке просвечивает несказуемой теплотой потускневшее серебро риз, а с клироса вопиет хор ангельский, — такое умиление наступало, что многие рыдали громогласно и душу в слезах пред господом омывали.

Но всего велелепней бывало при выходе владыки. Посередь собора уже уготованы орлецы ему под ножки, ведут его от царских врат одесную и ошую диаконы и иереи, и в огнях, и ладане, и в песнопениях идет он, не идет, а грядет и даже, можно сказать, не грядет, а течет, подобно лебедю, в благорастворении воздухов.

3

Когда случился в семнадцатом году перевертон жития, — не затронул он обители по самый двадцатый год, и текло все по-прежнему, и в закромах монастырских всякого изобилия было вдосталь. В Белокаменной в это время самые большие господа — князья, графы и даже комиссары — требуху за счастье почитали лопать, а у нас в трапезной братия курятиной баловалась.

Но в двадцатом году прогневали мы создателя, отвернулся он от обители, и напустил Вельзевул ангела своего святому месту на пагубу. Заявился из губернии кожаный антихрист, ваксой до блеску начищен, с губительным пистолетом на боку и привез в кармане мандату. Влез, не окстясь, в келью к отцу игумену, самокрутка с зельем табачищем в поганом рту, и зубы, подлец, скалит:

— Ипъ ты,— говорит, — отче, сакевояж отрастил. Ну пожди, я с вас жир спущу, в масло спахтаю. Читай мандату!

Развернул отец игумен бумагу, ручки дрожмя дрожат, но в лице величие владычное и во взоре суровость.

— Шапку бы снял, сыне. Зазорно пред ликом господним.

А антихрист на половик сплюнул и отцу игумену:

— И так ладно... Ты бы лучше господу треух надел, а то морозно старцу при такой лысине в январе.

Поднял игумен руку и возгласил гневно:

— Изыди, окаянный нечестивец! Предаю тебя проклятию, предаю тебя треклятию, предаю тебя четвероклятию. Анафема!

А антихрист — плюх в кресло игуменово, и ну хохотать!.. Хохотал, хохотал, ажно слезы по скулам бегут и речет под конец:

— Не надрывай пуза, отче! Не берет меня твое десятиклятие. Лучше читай мандату.

Авва-игумен опустил глаза в бумагу и зрит печать антихристову с блудною звездой, и от звезды багровое пламя лучами и серным духом воняет:

> По предписанию центра уполномочивается товарищ Чертов ликвидировать гнездо суеверий и народного обмана с обращением его в трудовую коммуну, а в случае сопротивления арест, включительно до репрессий.

А замест подписи неудобосказуемое имя стратига тьмы: «Предгубисполком». Сомлела братия от страху, и

стало ясно нам, что воистину адов посланец пожаловал и фамилия сатанинская — Чертов.

Долго рассказывать, как ругался над нами окаянный. Авва-игумен, не стерпевши поношения веры, на второй неделе помер заворотом кишок, — но только, как ни вертели, как ни служили тайно нощные молебны, как по ночам ни окуривали святым ладаном с горы Афона опоганенную келью, где жил кожаный антихрист, — ничего не помогло.

Заладил нечистый на своем:

— Церковные сокровища сдать для голодающих, на миру богослужения с поборами прекратить. Для себя молиться можете, а мужиков баста дурачить. А из монастыря заделать трудную куммуну и преизбытки по разверстке сдавать в город. Работать надо, а не груши околачивать, а вы тут мыслеблудием и навождением зловредных туманов занимаетесь. Пора вашего бога...

И тут он о всеблагом творце мира так выразился, что хотя бы и в наше время, а вслух неудобосказуемо.

Подумала братия и решила при виде явного гонения на веру дать наружное согласие на куммуну. Не бросать же насиженного места, а потом, куда иноку пойти в мире соблазна и пакости житейской? К жизни полная неумелость и искушения плоти одолевают.

Кроме ж того, твердо памятовали, что в откровении святого Иоанна указан предел власти антихристовой и определено время зверю глаголати хульна, ну и рассудили, что переживем сие испытание куммуной, а после господь помилует, яко для веры и спасения обители претерпевали и душу опоганили. А на глазах пример был соседней Николоборской обители, кою разогнали злокозненные чекисты за упорство в отстоянии веры.

Разогнали иноков, кого ввергли, кого в город выгнали. А в городе на работу не берут, помоги никакой, а утроба, по несовершенству органного строения после первородного греха, хоть и постной, а все же пищи требует. Ну, и докатились до последнего круга. Кто в налетчики, кто в домушники, а брат Сергий, вкупе с мещанкой Малафеевой, открыл заведение с женками, для удовлетворения плотского хотения, насупротив красноармейских казарм. Но только не дает нонешняя власть человеку заниматься вольным ремеслом, и ввергли брата Сергия на четыре года в коцентрясу.

* * *

Таким вот манером и вышло, что повесили над вратами диаволову вывеску. Вскоре после того антихрист в губернию укатил, а перед отъездом приказал братии — отписать в листах на предмет выяснения подлинности трудового илимента. Кого, значит, в куммуне оставить, кого вовсе на извержение.

— Вы, — говорит, — пропишите все как след по каждому вопросу, а в городе комиссия разберется и приедет окончательное решение объявить. Только не врать в ответах, а то на машинку.

Обомлели иноки, а в листе сто сорок три вопроса, и на всякий ответствуй подробно и с полною душевною откровенностью. Три дня над листами пóтом исходили. А паче всего смущал вопрос: «Чем занимался до вступления в монастырь?» Так уж издревле повелось, что многие измалолетства служками поступали и по возмужалости принимали ангельский чин. Вот и выходит, что до монастыря ничем не занимались. А если так, то нетрудовой илимент, паразит, вроде как бы клоп, и посему подлежит изгнанию.

Ну и стали придумывать занятия, и выходило несвязное. Брат Антоний в обитель вступил на десятом году в ученики к брату пасечнику, а на вопрос в листе ответствовано, что занимался до монастыря отхожим промыслом. А какой в такие годы отхожий промысел? Разве что в отхожее место без мамки ходил.

А брат Руф по душевной невинности на сей же вопрос ответствовал с примерною откровенностью, что до приятия схимы предавался тайному рукоблудию.

Забрал Чертов листы и сгинул, а братия, как зайцы на травле, комиссии ждет, в расстройстве душевного покоя. Но только обошлось благополучно. Наехала комиссия, а мы давай кормить ее всласть налимьими ухами да сметанными пышками. Известно — они после голодухи городской одурели, ходят в осони, аж глаза запухли, а в таком виде с полным мешком и антихрист добреет. Троих только и вышибли.

Брата Иоанна, что в Воронеже допрежь в городовых фортуну искал, брата Гавиния, поелику в юности сдуру в жидовский погром затесался, и злосчастного брата Руфа. Сему, последнему, председательствующий рек: «Нечего тебе зря руки трудить. Иди в деревню. За войну

мужиков повыбили, бабам тяжко, а ты силу зря теряешь. Ступай!» Остальных же всех помиловали. И зажила братия куммуною.

А как по приезде антихриста помре Авва-игумен, то, сговорясь, выбрали, не игуменом уже, а первоприсутствующим куммуны брата Елевферия.

Всем взял: статностью, дородностью, а паче премудростью, равною Соломоновой.

Опричь иного — обращением отличался и с властями умел разговаривать достойно, ибо обучался в семинарии и произошел всякие книги советские о гражданском градоустроении.

Первое время по образовании куммуны мужики крепко досадовали, что прошла по усам монастырская земля, а в рот не попала. Грозилась: «Вы, черти гладкие, пождите. Ужо пустим вам петуха и чрева вилами вспорем».

И точно,— была попытка хлебный амбар поджечь, но только в одночасье захватили злодея на огородах, пожар погасили, а злодея сам Елевферий повез в чеку с соответственным докладом о помехе куммуне со стороны деклистирного расслоения. После того и мужики угомонились.

Только мальцы озоровали, и проходу от них не было.

И особо всегда донимали брата Елевферия. Привержен он был к рыбной ловле весьма и каждый вечер, после дневных трудов, уходил со снастью на плотину на налима и окуня. И только сядет под ивою, как насупротив хамсамоль валит ордою купаться. Завидят Елевферия — и ну через озеро перекрикивать, а в том месте узина, двадцати сажен не будет. Пляшут по берегу бесстыдно нагие отроки и девицы вкупе и поют велегласно срамные куплеты...

Приходилось Елевферию сворачивать снасть и уходить от студного зрелища.

4

Прошел двадцать второй год, и, присовокупясь к новейшим торговым обстоятельствам, образовала братия сыроваренное и маслобойное хозяйство на предмет торговли с московскими киперетивами,— и стали опять к нам приезжать важные персоны из красного купечества

для закупок. И совсем купец, как допрежь, только брады нет и порты короче,— должно, по причине нехватки сукна. И даже в газете, на параде трудных куммун, в пример нас ставили. Дескать, были сукины дети, паразиты и лежебоки, а теперь стали трудящими пролетариатами.

Но только в апреле, таким благорастворенным вечером, заявился в куммуну неведомый отрок с посошком и дорожною сумою. Из себя худенький, в фигуре стройность, кудри из-под скуфейки золотыми стружками ползут, глаза синие, превеликие и пронзительные, а в голосе точно стеклянные колокольцы перезванивают. Покрестился на соборную главу, поклонился братии, спросил Елевферия и, будучи к нему приведен, с благоговением облобызал десницу и передал послание в лазоревом конверте. Порвал Елевферий конверт и, едва первые строки уразумел, почесал лоб и глаголет:

— Пройдем, сыне, в келию. Тамо допрошу тебя досконально.

Ушли и битых два часа толковали. Только уже под ночь выходит Елевферий к братии в сад, где к вечерней трапезе собрались, и отрока ведет, положив десную на плечо. Подъял очи горе, а в очах слезы.

— Братие,— говорит,— скажу вам под великим секретом. Се ниспослал нам господь великое счастье, во искупление грехов наших. Отрок сей, его же зрите, вырвался невредим из рва львиного, из пещи огненной, а попросту сказать, из узилища московского. И есть он племянник великого нашего мученика за веру Христову, страстотерпца святителя патриарха Тихона — отрок Григорий. И послан к нам от самого патриарха, да приютим его под кровом своим и укроем от гонения антихристова.

Хоть и опасалась братия, как бы не вышло чего худого для сыроваренной торговли, но возрадовалась зело, потому каждый в мыслях имел, что куммуна куммуной, но трясение умов уляжется и воссияет внове Христова церковь, в силе и славе своей, и зачтется тогда подвиг сей от святителя Тихона на Страшном суде, и все грехи, как онучи с ног, свалятся.

И зажил отрок Григорий в куммуне, в келье, соседней с Елевферием, откуда брата Кирилла переселили в дальнюю, зане, приняв на себя ответ за отрока, должен был Елевферий всегда иметь его в зрении своем.

Работящ был Гриша, к труду ревнив, а особо ревнив к благочестию. За лихолетие, что и говорить, распустилась братия, а тут, как узрели молитвенное рвение отрока, так и сами подтянулись и стали вновь исполнять все, что по уставу положено.

А Гриша у себя в келейке часами перед киотом на голом полу, на коленях поклоны бьет, и в глазах синих сияние нестерпимое, будто лучи из врат рая. Даже Елевферий увещал:

— Не нуди себя, сыне, безмерно. Все хорошо во благовремении. Организм твой млад еще для подвига монашеского, надорвешься.

А Гриша глаза на него поднял и проникновенно так:

— Нет меры усердию моему пред господом, и он охранит меня и даст, всеблагий, силы и здоровье.

Два месяца жил у нас Гриша, и не могла вся братия им нахвалиться.

Любил отрок в молитве уединение и, по окончании работы, уходил вседневно один в глубь бора, по ягоды, и, когда возвращался, власы были всегда влажны от купания. За сие выговаривал Елевферий:

— Ты бы, Гриша, в одиночку не купался. В озере омуты — не ровен час. Ходи омываться вкупе с братией — мне покойней.

А Гриша улыбнется смиренно:

— Не страшитесь, отец Елевферий. Я с малолетства плаванию обучен и воду люблю. А купаться всегда предпочитаю один, чтоб мечтать без помехи.

Так и оставили.

5

На третьем месяце и приключилось неслыханное. О рассвете поднялся Елевферий, пойти на пасеку за медом. Еще солнышко чуть брезжило за синим бором. Вышел тихонько в коридор и видит — дверка в келейку Гришину притворена неплотно. Подошел на цыпочках притворить, чтобы невзначай не продуло отрока сквозным рассветным ветром, взглянул в щелку и замер на месте, аки жена Лотова. В келейке окно настежь, за окном небо розоветь начинает, а на подоконнике, спиной прислонясь к стене, Гриша, вовсе нагой, голову запрокинул, в небо глядит и губами что-то шепчет.

И не то диво Елевферию, что не спит отрок в томлении и у окна свежится, обнаженный, а то диво, что сложение у отрока девичье и перси малые, как райские яблочки, в волнении трепещут. Глазам не поверил, перевел взоры ниже — нет, не ошибся. И по прочим признакам строение не Адамово, а Евино.

Подкосились ноги у Елевферия и на глазах смятение пошло. Однако, не делая шуму, с осторожностью от двери отошел и возвратился к себе в келью. На пасеку уже не пошел, но, встав на колени перед образом спаса, долго пробыл в благочестивом раздумии. Когда же отпила братия утренний чай и собиралась на работу, сказал Елевферий отроку Григорию с суровостью:

— Сыне, останься и приди в мою келью. По воле господа имею с тобою говорить по великому и смутному делу.

Поклонился Гриша, прибрал трапезную, что всегда поутру делал, пригладил волосы и, пройдя легонько коридором, постучался в дверь Елевфериевой кельи. Войдя на призыв, сложил руки на груди с поклоном и, потупив очи, ждал смиренно.

Поднял голову Елевферий от священного писания, и произошел меж ними такой разговор:

— Подойди! — рек Елевферий. Подошел Гриша.— Отпусти длани вдоль лядвий!

Отпустил. Протянул руку Елевферий и с осторожностью, но ощутительно, взял отрока за перси:

— Ответствуй мне, что сие?

А Гриша ни жив ни мертв, только краской заполыхал, точно баканом его облили. И молчит. Сдавил Елевферий десницею упругость девичью и вторично спрашивает:

— Ответствуй, что сие?

А у отрока слезы из очей градом, и вдруг сразу в ноги Елевферию. Пал и стопы лобызает с рыданиями.

— Помилуй мя, отче!.. Помилуй!.. Грешна я перед тобою и господом. Нет мне прощения, и неслыханна вина моя.

— Кто ты, девица, и почто приняла на себя вид ложный? Да встань! Зазорно на полу валяться!

Встала девица, и в глазах отчаяние, и так синие сполохи из-под ресниц и полыхают:

— Отче!.. Помилуй!.. Мещанская дочь я из Тамбова. Алена Плотникова! Не по злому умыслу, не кощун-

ства ради, но ради спасения души пришла к вам. Желаю служить господу в монашеском чине.

— Почто же пришла ты в мужескую обитель и понимаешь ли, сколь велик грех твой и каков соблазн от такого деяния?

— Отец Елевферий!.. Не казни, выслушай. Была я в женской обители, насмотрелась оскудения и разврата. Не могу боле. В мужской обители того нет. Воистину нашла я здесь подвижничество в труде и душе спасение. Отец!.. Не гони, дай сподобиться благодати господней.

А глаза синим пожаром пламенеют. Даже Елевферию от такого огляда гусиная лапка кожу прошибла.

— Сумасбродная! Како могу тебя оставить в обители? Ежели откроется в нонешних обстоятельствах, из-за тебя, полоумной, мне и всей братии под кустодию угодить.

А она глазами как сверкнет:

— Ничего не откроется, и никто ведать не будет!

— Я же узнал вот...

— Только потому, что келья рядом, отец Елевферий, замолилась я, не приметила, как ветром дверь распахнуло. А так кому же узнать?

— Невозможно сие и церковными канонами недопускаемо.

— А допускаемо канонами, чтоб не обитель была, а куммуна, чтоб братия торжище открывала, а устав иноческий в небрежении был?

Вздохнул Елевферий:

— Ты, дево, не суди! Претерпеваем и грешим ради конечного спасения и возрождения святой церкви Христовой.

— А для спасения души человечьей грех молчания разве тяжко на душу принять? Разве не по чину я подвиг несла и иноческое звание опорочила?

— Да что и сказать! Дай боже, чтоб вся братия так была усердна ко господу.

— Ну, что же?.. И дальше так будет!

— Подведешь ты нас, девица!

— Отче!.. Ты наставник мой и учитель! Что скажешь, то и исполню, простираюсь, яко плат под нози твоя. Не гони, дай обрести покой и житие благое.

Задумался Елевферий, а девица его так очесами и сверлит, прямо в пот бросает.

— Ну вот... что! Вонми, Аленушка! Беру на душу грех. Пусть остается пока, как было. Ничего никому не скажу, но и ты стерегись, чтоб не вышло наружу. А спишусь я тем временем с Волжскою пустынью. Там у меня мать игуменья знакома. Подвижница, жизни суровой, и в пустыни баловства — ни-ни. Туда тебя потом и переправим.

Склонилась девица Елевферию в ноги, потом выпрямилась, да как бросится ему на шею. Лобызнула до помрачения в самые уста — и вон из кельи.

Как был — так и остолбенел на месте, и келья вся ходуном заходила. Тут-то и сделал Елевферий главную промашку. Ему бы все-таки с братией совет держать, а он весь ответ на себя взял. И за то покарал господь и его и нас всех, как невольных потатчиков греховному делу. Пошло все как будто по-старому. Живет по-прежнему отрок на послухе, трудится, молится, умиляет всю братию,— будто ничего и не было. Но только с Елевферием вышло плохое дело.

С того разговора потерял он покой и впал в искушение. Пойдет на плотину рыбку половить, узрит, что напротив хамсомоль купается, и сейчас ему в уме видение: келейка на рассвете, небо крином расцветает, и на подоконнике девичье тело, простертое в томлении. И от того подступают к горлу слюни и плоть играть начинает. И так, что даже стал он заговариваться и ввергаться в рассеяние. Но только братия вовсе не понимала, какая тому причина. А отрок Григорий, встречаясь с Елевферием в коридоре или в саду, смиренно мимо проходил и глаза потуплял в смущении.

6

Так и август подошел и в конце стали снимать в саду яблоко и грушенье. А к Елевферию лукавый вплотную уже подобрался и в глаза туман напускает, и кажется Елевферию, что не яблоки в кучах в саду лежат, а девичьи перси. Похудел, с тела спал, но все крепился. Только пришла душная предгрозовая ночь. Жарынь, духота и томление. Отошла братия ко сну, а Елевферий лежит, на одре ворочается и стонет прямо. Мочи нет — плоть задушила, а сатана луну на стенку напустил и показывает разные соблазнительные прелестные облики, в

положениях. Все губы себе искусал, голову водой ледяной поливал — не помогает.

И встал тогда с одра и нагой в потере сознания шасть в коридор к соседней двери, и легонько: стук... стук... Пождал и снова: стук... стук...

И слышит из-за двери стеклянные колокольцы в тихий перезвон:

— Кто там?

В голосе посохло, еле ответил:

— Это я, Аленушка... Отвори, Христа ради!

За дверью ножки босые по полу прошлепали, и у самой двери уже голосок:

— А кто это?

— Я... Елевферий!

Щеколдочка тюкнула, приоткрылась дверка — и в минуту туда Елевферий. Как уже они там промеж себя поладили,— ихнее дело, господь им судья, но только к утренней трапезе вышел Елевферий в полном здравии и в голосе даже довольствие и грохотание такое львиное, а отрок Григорий к столу еле доплел и под глазами синячищи, в монастырскую холеную сливу величиной. Сел за стол и глаз не подъемлет.

Брат Гавриил и спроси:

— Что, Гришенька, замолился, голубчик, али занедужил?

А у отрока слезы из очей, вскочил и убег в келейку.

А Елевферий браду разгладил и говорит:

— Упреждал я его, чтоб не надрывался на подвиге. Организм слаб. Нужно взяться блюсти его крепко.

А братии и невдомек, на каком подвиге отрок надрывается. С того утра не отпускал более Елевферий отрока уединяться и уходил с ним в бор сам-друг. И возвращались всегда вместе и умилительно. Идут обнявшись, и Елевферий, обвивши руку вокруг Гришиного стана, поддерживает его, яко бы родного сына, и беседует о деяниях святых отцов. И от таких ли прогулок, но только точно стал отрок поправляться, и румянец в лице заиграл, и щеки заполнились. Но, окромя щек, заполнилась и отрочья утроба, и под октябрь, пришед к Елевферию в келью, в рыданиях поведала Аленушка, что тяжела она.

Познавши такой конец душеспасительным беседам, расстроился Елевферий, а тут и отрок совсем, можно сказать, осторожностью стал небречь и чувства свои с откровенностью являл. Завидит Елевферия — и сейчас

к нему, и давай ласкаться. Известно — девушка первинка, любовью разгорелась, и в диковинку ей и в сладость. Ластится, целует Елевферия при всей братии, так, что даже он выговаривал:

— Что ты, Гриша, как девушка, лижешься? Непристойно оно!

А она что дальше, то больше. И стал задумываться Елевферий, как бы развязку положить, чтоб в тишине и без сраму, и, опять ни с кем не советовавшись, надумал и Аленушку уговорил. Объявил братии, что получил письмо от патриарховых родственников, что по монистии миновала Гришеньке опасность и просят привезти его в Москву, и сам вызвался проводить. Собрали мы отрока в дорогу с жалостию, больно он всем полюбился, выдали Елевферию из куммунных денег на дорогу, по торговым будто делам, и уехал он с Гришею, а через две недели возвратился.

Настали тут зимние работы, хлопоты разные по хозяйству, так и забылось все. Потом и весна пришла, распустились деревья, зашумели зеленя, и вдруг, в мае, приходит Елевферию письмо.

Прочел и забеспокоился. Пишет-де Гриша. Простудился зимою и теперь при смерти, в чахотке, лежит и просит Елевферия приехать от всей братии проститься. Взгрустнули все, жалко стало отрока, и опять снарядили Елевферия в поездку.

Вскоре вернулся, веселый, и рассказал, что сгинула хворь и выздоравливает Гришенька патриарху на радость и утешение. Но не прошла неделя, как ночью приехали в обитель сурьезный человек и с ним пятеро красных армейцев.

Перерыли всю Елевфериеву келью и под утро забрали Елевферия, без всяческой беседы, и исчезли. Думали не иначе, как Елевферий в Москве в патриарших хоромах бывал, и забрали его по злобе правителей, на мученье за веру. Но на неделе привезли повестку из губернии с гонцом, семерым из братии поименно явиться к следователю при губернском суде. Струсили весьма, но что поделаешь — «несть власти, аще не от бога, и всяка душа властем предержащим да повинуется».

Поехали, провожаемые всеобщим стенанием, а на третье утро вернулись как будто не в себе.

— Ну что?.. Как?.. Что Елевферий?

А они только отплевываются.

— Анафема,— говорят,— первостатейная Елевферий оказался, и из-за него всем нам теперь конец и мучение.

И тут уж от них узнали во всех подробностях, что и как. Спервоначалу, в первую отлучку, отвез Елевферий Аленушку в Кирсанов и поместил на хлеба у знакомой просвирни. Улещал от младенца отделаться, но восплакалась Аленушка:

— Не хочу нового греха на душу принимать, не хочу губить душу христианскую. Бог за это накажет. Хочу ребеночка, махонького, тепленького. Выкормлю, выпестую!

Ну, раскрыл Елевферий мошну, воздал просвирне до весны наперед за нахлебничество Аленушкино, надоумил просвирню, что людям баять, чтоб огласки не было, и уехал в обитель. А в мае и родила Аленушка дочку, махонькую да слабенькую, в чем душа держится. И премного над ней убивалась, а тут и деньги все вышли, и написала она Елевферию, чтоб приезжал, не то сама прибудет к нему с младенчиком. Тогда и поехал он, во второй раз, но только решивши отвязаться от женки обманно. Приехавши в Кирсанов, уговорил Аленушку, что увезет ее к матери своей в Лебедянский уезд, тамо оставит, возвратится в обитель, получит свою долю и тогда вовсе приедет к ней и женится.

Аленушка несказанно обрадовалась, — любила она превелико его, бугая подлого, и, натурально, согласилась. Приехали в Лебедянь, с чугунки в трахтир прикатили, попили чайку, позабавился с ней еще ирод этот и вышел в город, якобы подводу нанять до села. А сам задами прямиком на станцию, залез в первый попалый поезд — и ходу.

Посидевши таким манером до вечера, забеспокоилась Аленушка, оставила доченьку трахтирной хозяйке и побегла разыскивать Елевферия. Всю Лебедянь обегала — нигде нет. Забежала на станцию — там спрашивает, тоже никто не видал. Вернулась назад, восплакалась, востосковала.

Хозяйка видит — женщина вовсе чувствами потряслась, в сомнении находится, давай уговаривать:

— Ты не плачь, молодица. Вернется твой пузырь-то! Запьянствовал где.

Уговорила, спать уложила. Утром просыпается Аленушка, первым делом спрашивает:

— Пришел?

— Нету! Сама ума не приложу, куда деваться мог. Не булавка ведь. Здоров что бык, в щель не завалится. Не иначе, как придется в участок заявку делать.

И только надела платок, чтоб в участок идти, а в дверь почтальон — и писание подает на открытом листе.

— Гражданке Плотниковой.

Схватила Аленушка, читает, сотрясается вся в мучении.

> Извещаю тебя, что должен тебя покинуть, потому что больше сраму терпеть не намерен. И так довольно, что ввела ты меня в плотский грех и ангельского чина лишила. Засим счастливо оставаться.

Дочла и сомлела. Пришла в себя на постели, хозяйка водой голову мочит.

— Ай, ай, бабочка, какое дело! Подлецы все мужчины как есть и гнилого яблока не стоят. Что ж ты делать, болезная, будешь?

А у Аленушки ровно рассудок помутился.

Ни гроша, и помочь некому. Одна-одинешенька, как травинка в поле. Хозяйка смекнула и утешает:

— Не тоскуй, бабочка! Наша доля такая. Должно, родные у тебя есть? Отпиши, чтоб приехали за тобой, а пока живи. Не объешь. А вернется мужик с базару, обдумаем еще, что делать. А пока прости, нужно к куме побежать. Ты уж побудь одна.

Осталась одна Аленушка, засумпилась. Отцу писать — новый срам принимать. Тяжко на сердце. А тут еще девочка застонала, заметалась. С вечера в лихоманке билась. Подбежала Аленушка к люльке, глядит, сердце кровью обливается. И впала тут она в последнюю отчаянность. Решила помереть, сорвала полушалок и давай петлю закручивать. Сняла лампу с крюка, закрутила полушалок, голову продела, а тут девочка опять закричи. Отшвырнула петлю, соскочила с табуретки, схвать лампу, отвернула фитиль, керосину в ложицу влила и девчонке в рот.

— Деточка моя, золотая! Не жить нам, бессчастным!..

Заглонула девчонка, поперхнулась, посинела и вытянулась. А Аленушка, как увидела это, ухватясь за голову, простоволосая, выбежала на улицу и, не видя дороги, на середину базара. Выбежала — и в голос:

— Православные!.. Вяжите! Казните! Убила я ребеночка!.. — И хлоп наземь, в полном бесчувствии.

Очнувшись в участке, рассказала квартальному все, как было, по порядку. Отправились в трахтир, нашли мертвого младенчика и отправили Аленушку под стражею, с орузеями, в губернию. В губернии же дали приказ ввергнуть в узилище Елевферия. В скорости, два месяца назад, и судили.

Так что отнеслись к нему по всей строгости нонешнего положения и приговорили за совращение малолетней в студный блуд и кинутие в затруднительных следствиях материнства на произвол бедственной судьбы, — на восемь годов.

Хоть и антихристова власть и на церковь гонение подъемлет, аки римский деспот Тиберий, а воздала жеребцу по заслугам.

После суда заявилась к нам в куммуну целая комиссия из города, не такая, как раньше, а по всей форме, с законположениями. Допросили всех подробно и в два счета разогнали братию взашей, а монастырь отобрали под санитарий для куммунического кувыркулеза. Только брата Федора да вот меня, грешного, оставили пока в сторожах, докуда служительствующие не приедут.

* * *

Синий май над муравными скатами и над алоствольным бором, и веет май хвоей и черемухой. И алая доцветает на кирпичных столбах вывеска, и сидит у вывески, забредший из дремучей глуши, старенький леший, сторожит старину.

И жить лешему недолгий срок.

<1925>

КОНЕЦ ПОЛКОВНИКА ДЕВИШИНА

1

У полковника Девишина — голова сказочной редькой, а глаза цвета кончушки, рыбешки такой махонькой. В зрачки полковничьи посмотришь — и блинов захочется, и чтоб блины румяные в масле плавали, сметаной пенились, кончушка рядом на гарелке дымком пахла.

А голова редькой у всех Девишиных. Так еще с Екатерины, царицы, пошло, от первого лейб-кумпании сержанта Елпидифора Девишина, которому пожаловала матушка табакерку золотую с финифтью и фривольной картинкой, написанной на эмали. Табакерка из поколения в поколение к старшему Девишину переходила, а с ней и голова редькой.

Но главная сила у полковника не в голове, а в усах кроется. Замечательнейшие усы — от сизого носа к кирпичным щекам текут шелковой, в нитях серебряной проседи, рекой, а от щек еще в обе стороны рогами стоят на пол-аршина.

Еще в корпусе, желторотым вороненком, зубря к репетиции о военных подвигах Карла Мартелла и Фридриха Барбароссы, упорно щипал кадет Девишин верхнюю губу — ус из небытия вытаскивал.

А выйдя в офицеры, холил усы наусниками «Гогенцоллерн», бинтами, щеточками разными, на ночь в фунтики из «Русского инвалида» заворачивал, и даже, когда в Тамбове влюбился впервые по-серьезному в нотариусову дочку, Галю Сухоцкую, то, спать ложась, не о возлюбленной думал, а об усах — не смять бы.

Так усами добыл Девишин первое счастье — нотариусово приданое. И по службе так же пошло. Не головой — усами взял. В узкой редьке не помещались у Девишина мысли, и думать было невозможно. И не будь усов, остался бы Девишин капитаном-сороковушей навеки и так и загиб бы в Тамбове, спившись в теплой компании. Но усы выручили, и уже к германской войне Девишин командовал батальоном, а в шестнадцатом году в полковники вышел. По старшинству ждал генерал-майорства, да подвели большевистские штучки. Всякий посвоему идет к вершине славы и почестей и берет жизнь за горло. Генерал Лещ вышел в чины басом, Лепилин огромнейшим пузом, а Девишин усами.

2

Третью неделю стоит полковник с бригадою в Соленой Муре. Чертово место Соленая Мура. Офицеры «зеленой дырой» прозвали под пьяную руку... Спереди песок, сзади песок, с обоих боков озера соленые. Десяток татарских хибарок, и ветер поземкой свистит, а морозище в эту зиму такой, что соленые озера, назло губернской статистике, замерзли, и полковник, каждую ночь, по льду в двух связанных телегах, в упряжке шестерней катается, пробует — выдержит ли лед. Об участке своем полковник заботится и побаивается, как бы красные в гости ночью по льду не пожаловали. А красных в гости полковник не хочет. Ну их, — грубый народ и без всякого воспитания.

Тощища в Соленой Муре. Народонаселения никакого, развлечений тоже, кроме извозчичьей игры в очко, да и та очертела. Только и бывает, что под утро, сдуру, или белые, или красные полчаса в тумане попалят — невесть что померещится.

А насчет женского пола — лучше и не говорить. Живет в хибарке старуха татарка — ни рожи, ни кожи. Поручик Тетерников под рождество в пьяном виде с ней повозился, потом три недели отплевывался.

Одному только адъютанту штаба бригады, ротмистру графу Духовскому — лафа. Живет в хибарке с ординарцем. Ординарец — солдат как солдат, в сапогах желтых свиной кожи, в кожушке новеньком, а только известно всем, что граф с ординарцем на одной походной кровати

спит, потому что ординарец не ординарец, а шальная бабенка, Софья Брониславовна, которую отнял ротмистр в городе у кадетского министра финансов.

Надоело полковнику Девишину в Соленой Муре до чрезвычайности. Всю жизнь был полковник весьма целомудренным, от робости, что перед дамами штаны снимать приходится, и супруга его в пример всем дамам полковым даже ставила. А тут — от тоски, что ли, — по одолели полковника неприличные сновидения. Хочется полковнику в город. В городе шантаны на всех углах и певички такие розовые, полномясые, пахучие. Поет, ножкой в шелковом дессу дрыгнет в бочок... ай, ай, пропадай все поджилки!

И решил полковник поехать к главкому с личным докладом о состоянии участка. Оставил заместителем подполковника Рузина, отмахал на автомобиле шесть верст до станции, сел в поезд — и на следующее утро в городе. Побывал в штабе, от Петра Николаевича личную благодарность получил и, честь честью, вечером в шантан. В шантане музыка. Сперва «Боже царя», потом «Марсельеза» для доблестных союзников и демократических элементов, а после гимнов — программа. Смотрел полковник, как сверкало на эстраде в цветных шелках розовое душистое тело, присматривался, выбирал.

И послал наконец с человеком записочку одной такой, Хуаните Ферреро. Хуанита танцевала фанданго с кастаньетами, по паспорту числилась Цилей Шепелевич, но очень понравилась полковнику настоящим испанским видом. В гостинице рассердилась немного Хуанита, что у полковника голова редькой и что никак полковник не хочет галифе, подшитые кожей, снимать, но от колечка в полтора карата подобрела, спалила полковника демонской андалузской страстью, а под утро, засупув в чулок десять бумажек, сказала:

— Я даже старичков больше поважаю. Молодой фраер завсегда метит задаром удовольствоваться, а там выйдет, будто за нуждой, и с черного ходу лататы. А еще офицер, благородный!

Поцеловала на прощание полковника, и уехал Девишин днем обратно, на позиции к бригаде своей в Соленую Муру.

3

На узловой, откуда шла временная ветка вдоль фронта, проложенная прямо по солончаку, без балласта, отчего вагоны качались, как фрегат в океанскую бурю, и шли со скоростью восьми верст в час, полковнику пришлось ожидать.

Замызганная, полуразбитая станция переполнена была солдатами, грязными, вшивыми и оборванными, ехавшими то с фронта, то на фронт, а большинством дезертиров, мотавшихся по неделям в этой дикой полосе и грабивших окрестные села, а по ночам приходивших на станцию ночевать в тепле.

Их никто не ловил уже. Надоело. От немытых тел в станционном зале стояла густая вонь. Солдаты валялись на полу, друг на друге, голова к голове и ноги опять на головах, и раскрытые в храпе рты изрыгали тяжкий дух и ужасающе чернели, как раскрытые пасти могил, откуда червянеет полуразложившееся мясо. Полковник плюнул и вышел на платформу. Зимняя степная ночь синела таинственно и пусто, и свистящий ветер бил в лицо колючей поземкой. Но было здесь свежее и лучше. Полковник забродил взад и вперед по дощатой платформе.

И навстречу ему, с точностью маятника, блуждала другая фигура, в длинной артиллерийской шинели с вольноперскими нашивками на погонах. Встречаясь всякий раз у фонаря, удавленником повисшего на столбе, козыряла фигура отчетливо и лихо, пока не сказал полковник Девишин небрежно:

— Не беспокойтесь!

И оба шагали минутами в молчании под яростный высвист поземки. Вдруг вольноопределяющийся, почтительно звякнув малиновым звоном шпор, с рукой к козырьку, подошел вплотную к полковнику.

— Господин полковник, разрешите курить!

— Курите, — буркнул Девишин сведенными морозом губами.

Красным глазком замельтешила во мраке поземки папироса. Полковник прошествовал мимо два раза, и ему тоже захотелось курить. Вынул портсигар, вставил в рот папиросу и полез в карман за спичками, но спичек не оказалось. Пошарив по всем карманам и упомянув материнское имя, Девишин вспомнил, что коробок оставил

в купе, при выходе из вагона на узловой. И подозвал вольнопера:

— Вольноопределяющийся, дайте огня.

Пыхнул в ночь язычком огонь зажигалки, вьюжный ветер, налетчик и ухарь, рванул желтое пламя и... миг... как не было левого уса до самой губы.

Жалобно стукнула о доски платформы выпавшая из дрогнувших пальцев виновника зажигалка. Полковник обомлел, почуяв запах паленого рога, и схватился за ус, но ощутил лишь спекшийся пепел. Помутнело в глазах, и голосом, отдавшимся по платформе, как громовый раскат, он рыкнул:

— Сволочь!.. Шляпа! Пшел вон, мерзавец! Под суд!

Словно слизнул вьюжный порыв с платформы взлетевшие крыльями полы шинели, а ветер, обнаглев, засвистал полковнику в самые уши:

— Хи-хи, хи-ииии! Спалили-иии уссс-сище-ссссс!

4

Поезд подполз наконец, облепленный снегом, визжащий и жалкий. Полковник тупо влез в единственный классный вагон третьего класса, под пышным названием «штабной». Вагон был почти пуст. В одном только купе, в киноварной дрожи оплывшей свечи, офицеры резались яро в очко и длинно и нудно ругались.

Полковник забрался в соседнее пустое купе и свинцовым грузом кинул длинное отяжелевшее тело на койку, закутавшись до носу в полушубок. Бушевала в нем слепая темная злоба, и к ней примешивалась горькая жалость к себе самому. Было ясно, что непоправимая на него свалилась беда и что часы жизни отзвонили ему, Девишину, роковую минуту. Текли мирно раньше часы, и жизнь была наполнена смыслом, но сломался вдруг надежный маятник, и сразу все полетело в пропасть, и вместо жизни мокрая, бездонная дырка. Все, чему были посвящены лучшие годы, юность, мечты, вдохновенная забота, что наполняло душу полковника гордостью и сознанием своей нужности в мире, все, в двадцатую долю секунды, было сметено огнем зажигалки проклятого вольнопера. Полковник еще раз с тревогой и тайной надеждой коснулся уса рукой, но пальцы жалко ткнулись в поросль обгорелой щетины. Девишин повернулся к сте-

не и чуть не заплакал. Лязг вагонных стыков и рокот колес навевали тягучую дрему, и в дреме ярко вспомнил полковник роковую вспышку зажигалки и сквозь сон застонал.

На стон из купе игроков вышел, потягиваясь, крепкий, сутуловатый поручик и остановился у койки, всматриваясь в полутьму. Потом весело, приятным баритоном, сказал:

— Послушайте, коллега, вы что тут засели, как сыч? Валите к нам в очко игрануть и дербалызнуть по маленькой!

Полковник приподнялся на койке. Злость хлынула в горло,— вот-вот задушит, — и он придавленно грохнул:

— Поручик! Извольте не забываться и стоять как следует, когда говорите с начальником.

Поручик отпрыгнул испуганно назад в свечную киноварную дрожь. Разговор в купе смолк. Потом послышался шепот, и чей-то голос, негромко, но достаточно ясно сказал:

— Пошлите его... растуды его в душу! Какой-нибудь тыловой гвоздь! Развелось у нас этой сволочи, как вшей!

Полковник встал и хотел одернуть нахала как следует, но тотчас вспомнил, что нет у него больше грозного уса, что нельзя ему выйти на свет, и снова бессильно свалился на койку. Тяжестью и огнем налилась голова. Он накрылся до папахи полушубком и свинцово заснул. Поезд тащился, стучал, лязгал, чавкал пространство, и в стуке колес было слышно монотонное издевательство:

— Сам с усам, да сам с усам, да вам не дам.

5

На фронтовом тупике ждал с автомобилем граф Духовской. Уже светало, когда, залязгав в последний раз всеми скрепами, поезд стал. Полковник, прикрывая ус рукой, вышел. Граф отрапортовал, что на участке за истекшие двое суток происшествий никаких не случилось, и, заметив в лице командира лимонно-болезненную желтизну и руку, прижатую к щеке, спросил с явным участием:

— Зуб болит, господин полковник?

— Не ваше дело! — отрезал, сквозь пальцы, полковник и быстро пошел к машине.

Ротмистр, пожав плечами, последовал за грозным начальством.

Только войдя в свою хибарку, полковник вздохнул спокойней. Первым делом бросился к зеркалу, но зеркало, ехидно скривясь, показало ему картину страшного опустошения. Обгорелые клочья торчали, как пни лесного пожарища. Полковник побледнел, затрясся и, крякнув, шарахнул зеркало о стену. Водопадом брызнули осколки, и полковник горько вздохнул.

Что делать?.. Сбрить и другой ус?.. На кого же он станет похож? Над ним станет смеяться всякий сопливый прапор. Даже (полковник вспомнил сладкую ночь), даже прекрасная Хуанита Ферреро больше не обратит на него никакого внимания. Что он без усов? Посмешище! Не мужчина, а столб с редькой наверху!

Опять свинцом отяжелела голова, и по телу прошла ледяная дрожь густого озноба.

«Должно быть, еще простудился?» — подумал полковник, щелкнув челюстью.

Он открыл дверь и крикнул вестовому:

— Позови полковника Рузина и начальника штаба!

И сел к столу, решительный и суровый, готовый выпить до дна чашу горького унижения.

Отряхая снег с сапог и гулко смеясь, вошли Рузин и наштабриг. Рузин протянул полковнику руку и открыл рот поздороваться, но так и остался с раскрытым ртом. Поморгал ресницами и спросил нерешительно:

— Митрофан Павлыч, что с вами? Где ваш ус?

Полковник покраснел багрово и густо. Потом, заикаясь, как мальчишка, пойманный на скверной проделке, сказал виновато:

— Ус... Да, знаете... несчастье... сжег вот!

Лицо полковника стало вдруг растерянным, жалким и глупым, и Рузин, переведя глаза на начальника штаба, едва успел смять в комок дернувший губы предательский смех. Начальник штаба сложил на груди полные руки и с сожалением смотрел на Девишина:

— Как же это вас так угораздило?.. Ай-ай-ай!

Полковник заметил все же улыбку Рузина, и она шилом воткнулась ему в сердце. Он кашлянул сердито и сказал начальнику штаба:

— Ну, благоволите доложить о положении участка!

Наштабриг нагнулся над картой. Замелькали названия, цифры. Наштабриг докладывал четко и просто, очевидно скучая. Девишин упорно смотрел на него, как будто внимательно слушая, но вдруг перебил на середине доклада:

— Как... это называется, вы не помните?.. Которое артисты приклеивают? Крепс не крепс, нет... как-то иначе!

Наштабриг недоуменно остановился.

Девишин махнул рукой.

— Впрочем, нет!.. Бесполезно!.. Так вы говорите, на участке латышской накопление для атаки?.. Делайте, как знаете! Мне нездоровится! Можете идти!

Рузин и наштабриг вышли. На крыльце наштабриг остановился.

— Что это с ним?

Рузин развел руками.

— Не понимаете?.. Очень просто! Винтик... Соскочил с винтика!

— Из-за уса?

— А что? У него всю жизнь только и было, что на голове, а в голове... — И Рузин длительно засвистел.— Знаете Библию? Ну вот, насчет Самсона. Жила полковничья сила в усах. Сняли ус — и прощай. Скрутили филистимляне — и фить.

6

Три дня агонировал полковник. Безучастно сидел в хибарке, смотрелся в осколок зеркала и вздыхал. Доклады выслушивал равнодушно и вяло, путал названия частей, не понимал телеграмм, приказал произвести совершенно нелепую перегруппировку, обнажавшую фланг, а на почтительное возражение наштабрига яро окрысился:

— Потрудитесь не возражать! За вверенные мне отечеством части я отвечаю!

7

В ночь загромыхали орудия. Красные начали артиллерийскую подготовку, снаряды трудно рвали промерзлый песок, выворачивая колья заграждений, и пронзи-

тельный ветер утаскивал куда-то жидкий плеск разрывов.

Под утро замолчала артиллерия, и тотчас же из окопов красных, точно выброшенные пружиной, поползли по снегу рыжие цепи. Залились пулеметы в гнездах, застукали винтовки. Полковник Девишин сидел в хибарке штаба, безучастный и равнодушный. Наштабриг кипятился. Донесения с позиций шли все хуже и хуже. Сделанная, по приказанию полковника, перегруппировка обнажила самое опасное место.

— Вы видите, Митрофан Павлыч! Я говорил! Мы рискуем не выдержать!

— Да?— спросил полковник, и наштабриг вздрогнул от вязкого голоса мертвеца. — Неужели не выдержим? Вот странно!

Опять громыхнули орудия, но уже ближе. Над хибаркой пропел воздух.

С мороза ворвался засыпанный снегом солдат.

— Господин полковник!.. Пропало! Красные ворвались на полукруглый окоп. Второй полк бежит!

Начальник штаба подпрыгнул:

— Резервы!.. Третий полк туда! Всех обозных с винтовками!

Откуда-то, совсем близко, раскатился ружейный залп, а за ним частая трескотня. Начальник штаба бросился к двери и столкнулся с влетевшим Духовским. Лицо ротмистра было в крови из разреза на щеке.

— В чем дело? Что с вами?

Ротмистр задыхался.

— Третий полк в конном... строю... драпнул в тыл!.. Я приказал лупить по ним залпами, но они нас смяли. Видите... шашкой полоснули... Всё к черту! Нужно бежать!.. Их цепь в двухстах шагах... Ее сдерживают одиночные стрелки... Очень прошу вас взять в машину Соню... Я как-нибудь прорвусь с эскадроном!

Со двора прорвал смятение глухой рокот мотора.

— Митрофан Павлыч!.. Ехать!.. Скорее, пока можно!— Начальник штаба дернул вяло распущенное на скамье тело Девишина.

— Что? А? — спросил полковник, проводя рукой по глазам.

— Бежать!.. Машина ждет! Дорога минута!

Полковник встал. Лицо его, похудевшее и равнодушное, вдруг дрогнуло, осветилось внутренним светом, ста-

ло почти красивым, и даже исчезла редька, заканчивавшая эту голову.

— Нет, родной! Поезжайте один!.. Пришла моя судьба. Не могу жить без России... Умирать пора!

— Митрофан Павлыч!.. Вы с ума сошли!.. Я вас насильно... — И наштабриг охватил талию Девишина.

Но полковник с обезьяньим проворством вырвался. В руке у него сверкнул револьвер.

— Убирайтесь к черту, или я выстрелю! — сказал он с хитрой улыбкой, похожей на оскал черепа.

Стекло в окне лопнуло со звоном, и пуля стукнула в стену. Винтовочный треск вспыхнул совсем рядом. Наштабриг выругался еще раз и бросился наружу. Автомобиль зарычал сильней, сквозь раскрытую дверь донесся крик:

— Софья Брониславовна! Живо! Садитесь! — Потом что-то крикнул женский голос, и опять голос наштабрига бешено бросил:

— А ну его к хрену! С ума сошел! Что ж, всем с ним гибнуть?..

Машина взвыла и унеслась.

Тогда полковник Девишин вынул из кармана маленькие ножницы и начисто отстриг правый ус. По морщинам щек у него катились слезы. Он бросил ножницы на пол и прижался к стене против двери, высокий, страшный, непохожий на живого.

Выстрелы рявкнули рядом. Послышался топот бегущих ног, у входа что-то покатилось на землю, и в дверь сунулись оснеженные люди в примятых, нахлобученных богатырках.

На пороге они остановились в изумлении и опустили винтовки.

— Що вин? Мабуть, неживый, а мабуть, зомлив?

Тогда полковник отделился от стены и пошел им навстречу.

Подошел к переднему, круглоглазому парню и, выпятив белую губу, зашептал, торопясь и брызгая слюной:

— А... пришли?.. Иуды, христопродавцы проклятые!.. Погубили Россию? Одного уса мало... оба хотите?.. Нате!.. жрите!

Он остановился, с силой плюнул в лицо парню и, быстро вскинув револьвер, ткнул ему в рот.

Брызнула кровь, и парень, не закрывая глаз, осел на пол.

Кто-то испуганно крикнул:

— Бий, братишки!.. Скорише!

Оглушительно треснула выстрелом хибарка, жалобно заметался огонь в лампе, и, прежде чем полковник успел упасть, два штыка вошли ему в грудь и высунулись синеватыми кончиками под лопатками.

8

Утром в хибарке был штаб краснознаменного московского полка. У входа, нелепо вытянувшись, уставясь головной редькой в стену, лежал полковник Девишин в красных носках. Сапоги с него сняли, как ценное имущество.

Лежал Девишин, хитро и дерзко оскалив зубы под голой оттопырившейся губой, и было у него в лице такое выражение, как будто он все знает, что случилось на земле и что должно еще случиться.

Около полудня на крыльцо вышел комиссар полка, товарищ Оконников.

Взглянув на тело, поморщился и сказал спокойно:

— Уберите его в окоп. Некрасиво же возле штаба!

Полковника уволокли за ноги и швырнули в окоп. Снег, наметаемый поземкой, быстро занес неглубокий окопчик, и уже через полчаса нельзя было сказать: был ли полковник Девишин, или его вовсе никогда не было на свете.

<1925>

СРОЧНЫЙ ФРАХТ

1

В Константинополе, едва «Мэджи Дальтон» отдала якорь на середине рейда и спустила с правого борта скрипящий всеми суставами ржавый трап, к нему подвалил каик. Турецкий почтальон, у которого засаленный хвостик фески свисал на горбатый потный нос, поднялся по дрожащим ступенькам и подал телеграмму.

Капитан Джиббинс сам принял ее на верхней площадке трапа, черкнул расписку, сунул почтальону пиастр и направился в свою каюту. Там он, не торопясь, набил трубку зарядом «Navy Cut», разжег, пыхнул несколько раз пряным дымом и разорвал узкую голубую ленточку, склеивающую края бланка.

Телеграмма была от хозяина, из Нью-Орлеана. Хозяин извещал, что компания «Ленсби, Ленсби и сын», которая зафрахтовала «Мэджи», настаивает на быстрейшей погрузке в Одессе и немедленном выходе обратно, так как предвидится быстрый спрос на жмыховые удобрения, за которыми и шла «Мэджи» в далекую Россию.

Капитан приподнял плечи, пыхнул особенно густым клубом дыма, перебросил трубку в другой угол рта и выцедил сквозь сжатые губы медленное:

— Goddam![1]

Он вспомнил, что хозяин, пожалев два лишних цен-

[1] Черт возьми! *(англ.)*

та на тонну, набил угольные ямы парохода таким панельным мусором, что при переходе через Атлантику «Мэджи» еле ползла против волны и ветра и с трудом держала минимальное давление пара.

При таком положении вещей рассчитывать на скорость не приходилось, но приказ был получен, капитан привык исполнять приказы и, позвонив стюарду, велел позвать старшего механика О'Хидди.

Спустя минуту в каютную дверь просунулась остриженная ежиком рыжая голова, оглядела каюту и капитана добродушными васильковыми глазами и втащила за собой сутулое туловище в футбольном свитере и купальных трусах.

— Что вам вздумалось тревожить меня, Фред?— спросила голова ленивым голосом.— Я издыхаю в этом треклятом климате и не вылезаю из ванны. Когда мы вернемся домой, я потребую у хозяина перевода на какую-нибудь северную линию.— О'Хидди подтянул трусы на впалом животе и добавил: — Когда имеешь несчастье родиться в Клондайке и провести полжизни в меховом мешке, трудно примириться с этой адской температурой.

— Тогда я обрадую вас,— ответил капитан,— я рассчитывал простоять тут до воскресенья, чтобы дать команде возможность спустить денежки в галатских притонах и подкрасить борты перед Одессой, но вот телеграмма хозяина... Торопит! Значит, снимемся к вечеру. Одесса не Аляска, но все же в ней прохладнее.

— А почему такая спешка?— спросил О'Хидди, набивая свою трубку капитанским табаком.

— Ленсби хотят поскорее получить жмыхи. На рынке спрос.

Механик в раздумье похлопал ладонью по голой коленке.

— А вам известно, Фред, что в Одессе нам придется застрять для чистки котлов?— сказал он с равнодушным злорадством.

С лица капитана Джиббинса на мгновение сползла маска безразличия и сменилась чем-то похожим на любопытство. Он вынул мундштук из губ.

— Это еще что? Мы произвели генеральную чистку в предыдущий рейс. К чему опять затевать пачкотню, когда от нас требуют спешки?

О'Хидди плюнул в пепельницу и ухмыльнулся.

— Можно подумать, что вас еще не распеленала нянька, до того наивные вопросы исходят из ваших уст. Вы видели уголь, которым мы топим?

— Видел, — сухо ответил капитан.

— О чем же вы спрашиваете? Смесь такого качества можно найти только в прямой кишке бегемота. От нагара половина труб уже не тянет. Без хорошей чистки мы не дойдем обратно, особенно с грузом.

— Это невозможно. Мы можем потерять премию. Кончайте возню в кратчайший срок. Нам нельзя терять ни минуты.

— Попробую. На счастье, в Одессе есть мистер Бикоф. За деньги он сделает невозможное.

Капитан удовлетворился ответом, и снова мускулы его лица застыли в спокойном безразличии.

— Ладно! Полагаюсь на вас. Только предупредите команду, чтоб к шести вечера все были на местах. Если кто-нибудь опоздает — ждать не буду. Пусть попрошайничает в Галате до обратного рейса. Нужно выйти в Черное море до захода солнца, прежде чем проклятые турки выпалят из своей сигнальной пушки. Иначе придется ждать утра.

— Хорошо!— ответил механик.— Будет сделано.

2

«Мэджи Дальтон» прошла узкие ворота Босфора на закате, когда верхушки волн отливали розовым золотом, и, резко повернув, взяла курс на север.

Капитан Джиббинс стоял на мостике, нахлобучив на лоб синюю фуражку с галунами и заложив руки в карманы.

По морским путям мира в час, когда волны отливают розовым золотом, проходят тысячи пароходов. Старые, зализанные солеными поцелуями всех морей и океанов грузовозы и транспорты, быстрые стимеры и великолепные шестиэтажные трансатлантические пассажирские колоссы, перед форштевнями которых с угрюмым гулом расступается вода, подавленная их огромностью. Днем и ночью, под мерцающими узорами звездных сетей, пересекают они морские дороги, вглядываясь в мировую тьму цветными огоньками электрических глаз.

Их движет и гонит через зеленые хляби воля бан-

ков, контор и пароходных компаний, жестокая, не знающая пощады и промедления деловая воля капитала.

На голубом мареве морского горизонта вырастают миражи сказочных стран. В сказочных странах ждут горы нужного банкам и конторам груза. Под ругань и свист бичей желтые, коричневые, черные рабы грузят в гулкие железные чрева пароходов материи и пряности, хлопок и руды, плоды и каучук, добытые, выращенные, собранные такими же рабами под такой же свист бичей. В грохоте лебедок тела пароходов оседают в стеклянную глубь, пока вода не закроет черту грузовой ватерлинии.

Сквозь туманы и волны, сквозь звездные сети и разнузданные вопли ураганов пароходы бережно несут свою ношу в далекие порты, чтобы не переставала кипеть сухая, щелкающая костяшками счетов таинственная работа на грохочущих улицах за зеркальными стеклами, до половины закрытыми зелеными шелковыми занавесками. За этими занавесками царство жадности.

Свисающие на шнурах лампы струят ровное мертвое сияние на высокие конторки, на лысины, на землистые лица в очках, склоненные над гроссбухами и ресконтро. Обладатели этих лиц так же жестки и сухи, как бумага конторских книг, и, когда они шевелят губами, кажется, что губы шелестят, как переворачиваемые страницы. На бумаге растут колонки и столбики цифр. Они управляют судьбой везомых пароходами грузов, хранящих в шелковистой на ощупь рогоже, обволакивающей тюки, странные дразнящие ароматы сказочных стран, цветущих за голубым маревом горизонтов.

Люди банков и контор не слышат этих запахов. Они знают единственный аромат хрустящих цветных бумажек, на которых скучными узорами ложатся цифры и короткие слова на всех языках земли.

Люди банков и контор обращают проведенные ими по страницам книг грузы в цветные бумажки и звонкие металлические кружки. Они спешат совершить это волшебное превращение, чтобы цифры, которые ежедневно пишет мелом на черной доске биржи бесстрастная рука маклера, оставались на покойном уровне благополучия.

И снова, подчиняясь коротким, лающим приказам жадности, машины пароходов напрягают стальные мускулы, гнут облитые смазочным маслом колени и локти

рычагов, трубы плюют в свежее океанское небо отравленной копотью, быстрее рокочут винты, и капитаны чаще спрашивают у вахтенных показания лага.

Капитаны опытны и спокойны, как капитан Джиббинс. Равнодушно стоят они на мостиках, нахлобучив синие с галунами фуражки и засунув руки в карманы. Прищуренными глазами они видят незримый другим путь, пролегающий между седыми лохмотьями пены.

Капитану Джиббинсу ясно виден путь от плоских зеленых берегов Нью-Орлеана до ярко-желтых рыхлых скал одесского приморья. И ему так же ясен путь превращения его груза в цветные бумажки и металлические кружки, часть которых переходит в оплату за труд капитана и матросов. Капитан откладывает большую долю этих бумажек для обеспечения своей семьи на черный день. Матросы, которым нечего откладывать, спускают свои деньги в приступах яростной тоски портовым кабатчикам и жалким размалеванным девкам. Деньги, совершив предначертанный кругооборот, возвращаются в банки, проходят по страницам книг и превращаются в новые грузы.

Пароходы принимают их в трюмы и снова идут морскими путями, коварными и зыбкими, полными неожиданностей, грозящих и капитану и матросам гибелью или потерей работы. Последнее страшнее гибели.

Поэтому ночью капитан Джиббинс трижды выходил на палубу, запахиваясь в короткое непромокаемое пальто, и спрашивал у вахтенного показания медной вертушки, меланхолично отзванивающей на корме над вспененной мерцающей влагой.

3

За переездом через рельсовые пути, свитые змеиным клубком под бревенчатыми пролетами эстакады, залегли по крутой улице низкие дома из ноздреватого закопченного камня. Днем и ночью их обдает грохотом и копотью от проходящих бесконечными вереницами кирпично-красных поездов, принимающих и подающих грузы к известняковым плитам причалов, о которые, шурша, трется мутно-зеленая вода.

Над дверью одного из домов золотые, облупленные буквы:

«Контора по ремонту и чистке пароходных котлов П. К. Быкова».

В конторе за письменным столом сам Пров Кириакович Быков. Он один обслуживает свое предприятие и с утра до вечера неподвижно восседает на широком кресле. Кроме него, в конторе никого, если не считать двух портретов: императора и самодержца всероссийского Николая II и святителя Иоанна Кронштадтского.

На портрете самодержца две дырки. Случилось это два года назад, в дни, когда приходил в Одесский порт восставший броненосец «Потемкин». Простояв двое суток в порту, нагнав неслыханного страху на власти и вызвав в городе могучую вспышку революционной бури, броненосец ушел к югу. Опомнившиеся от паники сатрапы залили Одессу кровью баррикадных бойцов и мирного населения, а разъяренные черносотенцы организовали кровавый, звериный погром. Тогда в контору к Прову Кириаковичу ввалились громилы и пьяная босячня просить царский портрет, чтобы погулять всласть по улицам под прикрытием повелителя. Царь должен был освятить своим ликом резню и грабеж.

Но случилось иначе. Погром принял такой размах, что грозил перекинуться из районов городской голи в богатые кварталы и захлестнуть не только еврейские жилища. Вторично напуганные, власти отдали приказ любыми мерами прекратить погром, и, едва осатанелая орда отошла от конторы за угол, железно лязгнули три залпа. Пров Кириакович видел, как мимо окон пронеслись обезумевшие погромщики и один из них бросил портрет на камни мостовой.

Когда проскакали драгуны и все утихло, Пров Кириакович выполз, как барсук из норы, и внес портрет обратно. Стекло высыпалось из рамы, а самодержец был изуродован двумя пулями. Одна оборвала ухо, другая влезла в ноздрю. Двое неизвестных стрелков, зажатых в тиски дисциплины, отвели душу хоть на царском портрете.

Пров Кириакович горько вздохнул. Приходилось покупать новый портрет, но тратиться было жалко, и, приглядевшись, он решил, что дело поправимо. Дырку в ноздре вовсе не заделывал — все равно и в природе там дырка, а ухо заклеил бумажкой и подчернил под цвет карандашиком.

Так и повис самодержец вдыхать конторскую пыль

одной натуральной ноздрей. А быковские мальчишки-котлоскребы, что всегда толклись во дворе конторы, подглядели в окошко и непочтительно прозвали портрет: «Колька Рваная Ноздря».

Дело у Прова Кириаковича большое, известное всем в порту. Приходят в Одесский порт во все времена года сотни пароходов из разных чудных мест. У иного на корме название и портовая отметка написаны на таком языке, что даже спившийся студент-филолог Мотька Хлюп, который зимой ходит в навязанных на ноги войлочных татарских шляпах вместо ботинок, и тот прочесть не сумеет.

Долго ходят пароходы по морским путям, и засариваются у них от нагара и копоти дымоходные и котельные трубы. Чтобы отправиться дальше, нужно пароходу полечить свой желудок, прочистить железные кишки, соскрести с них всю нагарную дрянь. В док из-за такой мелочи становиться нет расчета, чистят на плаву, и тут-то и приходит на помощь больным пароходам котельный доктор Пров Кириакович.

Для этого у него целая рота мальчишек.

Узкие трубы еще у́же становятся от нагара и накипи, взрослому человеку никак не справиться, а мальчишке по первому десятку в самый раз. Скользнет вьюном в больную трубу и лезет с одного конца до другого в тесноте, духоте и гарной вони и стальным скребком, а где надо — и зубилом, отбивает толстые пленки нагара и накипи с металла.

Пров Кириакович набирает своих мальчишек в самых нищих логовах города — на Пересыпи, Ближних и Дальних Мельницах, на Молдаванке. Только там можно найти охотников мучиться за пятиалтынный в день, на своих харчах.

Приходят к дверям быковской конторы механики больных судов всех наций. Быков принимает заказы, записывая их каракулями в торговую книгу. Натужно ему писать, грамоте обучился с трудом. Выводя буковки, сопит от усердия, размазывая чернила по бумаге мохнатой бородой карлы Черномора. А принявши заказ, открывает форточку во двор и орет всей глоткой:

— Сенька, Мишка, Пашка, Алешка!.. Гайда, байстрюки, на работу! Не копаться! Жив-ваа!

4

О'Хидди в новеньком чесучовом костюме и сверкающих оранжевых полуботинках, с камышовой тростью в руке, спустился по широкой одесской лестнице с бульвара, где истребил груду мороженого, и побрел по грязной, засыпанной угольной пылью улице, сопровождаемый комиссионером Лейзером Цвибелем.

Лейзера знали все капитаны и механики, хоть раз побывавшие в Одесском порту. Он выполнял всевозможные поручения, начиная с внеочередного ввода в док океанских гигантов и до поставки веселящимся на твердой земле морякам беспечных и непритязательных минутных подруг.

Лейзер знал все языки, насколько это было необходимо для портового комиссионера в пределах названных обязанностей. Все языки он немилосердно коверкал, но все же ухитрялся заставлять понимать себя и был для морских людей, теряющихся на улицах чужого города, спасительной нитью Ариадны, выводящей из путаницы лабиринта. Только иногда, когда Лейзер бывал взволнован, он пускал в ход все языки сразу, и тогда понять его было окончательно невозможно.

Сейчас Лейзер провожал О'Хидди в контору Прова Кириаковича. Механик нашел бы дорогу и сам, он не в первый раз в своей бродяжной жизни гранил синие плитки лавы на одесских тротуарах, но объясниться с Быковым самостоятельно не сумел бы. Пров Кириакович знал по-английски только матросскую ругань, О'Хидди же мог произнести лишь три насущных, как хлеб, русских фразы: «Здрастэй», «Как живьош» и «Ти красивэй девуш, я льюблю тибэ». Но для деловых переговоров этого было недостаточно.

Пров Кириакович солидно привстал перед механиком и протянул пухлую, в черных волосиках, коротко-палую лапу. О'Хидди энергично тряхнул ее. Лейзер торопливо и с осторожностью притронулся к кончикам быковских коротышек.

— Как себе живете, Пров Кириакович? — спросил он, ласково улыбаясь тревожной, настороженной улыбкой запуганного и забитого человека.

— Живем помаленьку. А ты как, ерусалимская курица?

— Ой, что значит курица? Если б я таки да был курицей, так я каждый день носил бы домой по зернышку и кормил бы деток. А то я не курица, а даже сказать совестно... пфе... Вот, может, сегодня заработаю, потому что таки да привел вам клиента... Ой, какого клиента, чтоб он долго жил. Так он даст мне немножко, и так вы себе дадите бедному еврею.

— А какая работа? — осведомился Быков, раскрывая книгу заказов.

— Ой, что за вопрос? Царская работа, чтоб ей легко икалось. Нужно вычистить мистеру котлы в два дня, потому что мистеру нужно торопиться до своей Америки и у него такой срочный фрахт, какого у меня никогда не будет.

— Два дня? За два дня и заплатить придется, как за два дня,— сумрачно отозвался Быков.

— Так разве я что говорю? Что мистеру стоит? Он же немного богаче старого Лейзера. Он согласен платить.

— Согласен так согласен. Скажи ему, что будет стоить...

Быков почесал нос и назвал головокружительную цифру. Цвибель вздрогнул и побледнел.

— Ой-ой! — прошептал он.— Это же совсем страшная цена. Разве ж я могу выговорить такую?

— А не хочет — не надо,— ответил, не меняя тона, Быков,— время горячее. Клиентов хватает. Не он — другой найдется.

Лейзер развел руками и робко повторил механику цифру по-английски. К его удивлению, О'Хидди даже не поморщился и ответил коротким: «Very well!»[1], добавив, что если работа не будет окончена за двое суток, то за каждый день просрочки с Быкова будет удерживаться двадцать пять процентов.

— Нехай,— сказал Быков, записывая заказ,— ничего они не удержат, бо сделаю в срок, коли берусь.

Механик положил на стол задаток, взял расписку и кинул Цвибелю пять долларов за комиссию. Пожав еще раз руку Быкову, он вышел из конторы, оставив Цвибеля договариваться о деталях.

На тротуаре он остановился, привлеченный криками и смехом.

---

[1] Прекрасно!

Пятеро чумазых, оборванных мальчишек играли на мостовой в классы, бросая битки и прыгая за ними на одной ножке.

О'Хидди не видел никогда этой игры и глядел с любопытством.

Один из мальчишек, маленький и вихрастый, скакал ловчее всех и задорно хохотал, радуясь своей удачливости. Выбросив ловким боковым движением ступни битку из очерченного мелом квадрата, он поднял голову и увидел механика. Губы его растянулись смехом, открыли два сверкающих ряда ровных, молочно-белых зубов. Он подбежал к О'Хидди, протягивая маленькую лапку, от копоти похожую на обезьянью, и закричал, приплясывая:

— Капитэн, капитэн! Гиф ми шиллинг иф ю плиз, чтоб ты скис. Гуд бай! Хав ду ю ду?[1]

О'Хидди осклабился. Русских слов, вкрапленных мальчишкой в английскую фразу, он не понял, но вспомнил таких же задорных чертенят на пристанях Нью-Орлеана и почуял теплое дыхание родного ветра.

Рука его сама полезла в карман пиджака и положила в протянутую лапку блестящий доллар. Монета молниеносно исчезла у мальчишки за щекой, он перекувырнулся, встал на руки и, похлопав босой пяткой о пятку, прокричал: «Гип-гип, ура!»

О'Хидди осклабился еще ласковее. Потрепал вставшего на ноги мальчишку по щеке, подивился его великолепным зубам хищного зверька и сказал одну из своих спасительных фраз:

— Здрастэй, как живьош?

Мальчишки заржали, и один, сплюнув, восторженно сказал:

— Ишь ты! По-нашему знает, собачья морда!

О'Хидди хотел сказать еще что-нибудь, но объяснение в любви красивой девушке явно не подходило к обстоятельствам, и он беспомощно крякнул.

Из неудобного положения его выручил трубный голос Быкова с крыльца конторы:

— Петька!.. Санька!.. «Крыса»!.. На работу!

О'Хидди вежливо приподнял фуражку, раскланялся с мальчишками и пошел в порт.

---

[1] Капитан, дайте мне, пожалуйста, шиллинг... Будьте здоровы! Как поживаете?

5

Среди быковских котлоскребов славился на все Черноморье одиннадцатилетний Митька, по прозвищу «Крыса», тот самый, который выудил у О'Хидди новенький доллар и чья белозубая усмешка так понравилась механику.

Никто не знал, откуда Митька, чей он, как его фамилия. Пров Кириакович подобрал его года два назад полумертвого, пылающего в жару осенней ночью под эстакадой и, выходив и откормив немного, пустил в дело.

Остальные мальчишки имели семьи, были детьми одесской бедноты, грузчиков и каталей, у Митьки в Одессе и на тысячи верст кругом никого не было. Всеми расспросами удалось выудить из него подробность, что у мамки была синяя юбка. Но в мире много синих юбок, и с такой приметой Митька имел мало шансов отыскать пропавшую мамку, бросившую его в порту.

Расходы Прова Кириаковича на Митьку не пошли впустую. Для конторы он оказался золотым кладом. Худощавое, тонкое тело гнулось и сворачивалось в такие клубки, что у нормального человека полопались бы кости и мускулы. А в деле Прова Кириаковича гибкость была главным качеством. Там, где пасовали другие ребята, в ход пускался Митька. Он пролезал угрем в самые узкие трубы, он заползал в такие сокровенные закоулки, в такие изгибы, куда нельзя было добраться никакими способами без разборки механизмов. Однажды он умудрился пролезть через винтовую трубу насоса-рефрижератора, которая вертелась удавьей спиралью с полными оборотами через каждые полтора метра. Этот фокус прославил его имя во всем порту, и конкуренты Быкова не раз предлагали Митьке двойную плату, чтобы переманить такое чудо. Но у Митьки, помнящего только цвет мамкиной юбки, был свой рыцарский кодекс. Он презрительно хмыкал острым носиком, за который вместе со своей нечеловеческой гибкостью и получил кличку «Крыса», и отвечал сурово и зло:

— Значит, мине перед хузяином захудче блатного сволоча стать? Он мине откормил, отпоил, а я ему дулю в нос тыкнул? Мине у его хорошо!

Конкуренты чертыхались и отваливали ни с чем. Была даже попытка ликвидировать «Крысу», для чего подговорили десяток мальчишек «накрыть Митьку пальтом»,

но драку вовремя заметили матросы с «Чихачева» и успели отбить окровавленного мальчика.

Так «Крыса» и остался у Быкова, храня верность своему первому хозяину, и Пров Кириакович, часто хлеставший мальчишек чем попало и почем зря за малейшие провинности, никогда не трогал Митьку. Остерегался он не из жалости, а из боязни повредить такую драгоценную диковину.

И теперь, получив заказ на срочную чистку котлов «Мэджи», заказ выгодный и хорошо оплаченный, он решил отправить на работу Митьку, зная, что он один сделает работу за десятерых. Быков выдал мальчишкам скребки, зубила и молотки и отпустил их в сопровождении Лейзера, который должен был указать стоянку парохода.

О'Хидди, придя на корабль, явился в каюту Джиббинса.

— Свинство! — сказал он, входя и вытирая лоб.— В этом году и в Одессе не прохладнее, чем в тропиках. Из меня вытекли все соки. Дайте хлебнуть хоть вашего анафемского черри.

— Валяйте! — Джиббинс наполнил стакан.— Как дело с котлами?

— Договорился! Мистер Бикоф берется сделать за двое суток.

— Олл райт! Есть новая телеграмма от хозяина. Ленсби согласны удвоить премию, если мы сократим обратную дорогу еще на двое суток. Мы разбогатеем, Дикки. Я смогу положить в банк кое-что для будущего моих ребят.

Механик залпом выпил стакан.

— Мне ни к чему. У меня ребят нет... Но я вам сочувствую, Фред. А теперь пойду влезать в купальный костюм. Иначе сварюсь, как рак.

О'Хидди ушел. Джиббинс подошел к койке. Над ней на стене висела фотография полной пышноволосой женщины с двумя малышами на руках. Капитан вздохнул, растянулся на койке и задремал.

6

О'Хидди только что кончил обливаться водой, когда дверь каюты распахнул кочегар в замызганном и промасленном комбинезоне.

— Сэр! С берега пришли чистить котлы.

— Спустите их в кочегарку. Я сейчас приду.

Он вытерся, натянул трусы, повесил полотенце и, пройдя по палубе к машинному люку, легко спустился по звенящему металлом трапу в кочегарку.

Мальчишки напялили на себя твердые брезентовые мешки без рукавов, защищавшие тело от царапин при ползании по трубам.

Лейзер Цвибель вежливо поклонился механику.

— Они сейчас начнут. Они такие проворные мальчики. Будьте спокойны.

Один из мальчишек обернулся на голос Цвибеля и даже в сумраке кочегарки ослепил фарфоровым блеском зубов. Механик узнал того, которому дал доллар.

Он подмигнул мальчишке и опять сказал:

— Здрастэй, как живьош?

— Заладила сорока про Якова,— усмехнулся Митька,— сказано, живу хорошо. Ты не дрефь, дяденька, раз взялись — вычистим. Ну, ребята, айда!

Он засунул зубило и молоток в наружный карман мешка, взял в руки скребок и еще раз улыбнулся механику. Потом вперед головой нырнул в трубу. О'Хидди проследил, как остальные котлоскребы тоже исчезли в трубах, повернулся к Цвибелю и любезно пригласил его выпить кофе. Оценив такую вежливость, Цвибель пополз за механиком по трапу наверх, высоко подымая ноги в драных носках и цепляясь за перила.

В чистенькой каюте американца он пил сладкий кофе с кексом и даже рискнул выпить рюмку ликера. После этой рюмки он сразу загрустил. Ему вспомнилась его жалкая берлога на Молдаванке, где сидит вечно голодная Рахиль с девятью ребятишками. Вспомнилось, что поблизости от берлоги есть полицейский участок, а в нем господин пристав и что господину приставу нужно каждый месяц нести десять рублей, чтобы господин пристав был благосклонен к Лейзеру. И что нужно еще нести пять рублей господину околоточному и три рубля господину городовому. И от этих мыслей Цвибелю стало так тяжко, что он, забывшись, начал, ломая слова, рассказывать механику о своих горестях. Американец слушал вежливо, но, видимо, скучал. Лейзер заметил это, сконфузился, заторопился и встал, чтобы проститься.

Но дверь каюты распахнулась, и на пороге появился тот же кочегар.

— Простите, сэр... Немедленно спуститесь вниз.

— Зачем? — с явным неудовольствием спросил О'Хидди.

— Там неприятность. Один из мальчиков завяз в трубе и не может выбраться.

— Что?.. Damn![1]—выругался механик и выскочил из каюты.

В кочегарке он застал машинистов, кочегаров и быковских мальчишек. Все они тесным кружком столпились у отверстия трубы.

— В чем дело?— сердито спросил О'Хидди.— Почему толкучка? Как это случилось?

— Мальчик был уже глубоко в трубе,— степенно объяснил старший машинист,— и вдруг начал кричать. Мы сбежались, но не понимаем, что он кричал. Теперь он плачет. Очевидно, завяз и не может продвинуться.

— Ой, что такое? — вскричал Лейзер, сползший вниз вслед за О'Хидди.— Мальчики, скажите мне, что это такое?

— Митьку в трубе затерло.

— Залез, а вылезть не может.

— Ревет.

— Вытаскивать треба,— загалдели котлоскребы на разные голоса.

Лейзер ткнулся головой в трубу и, услыхав тихое всхлипывание, взволнованно спросил:

— «Крыса»!.. И что же это такое значит? Что с тобой сделалось, чтоб тебе отсохли печенки, когда ты так срамишь мене и хозяина?

Тонкий, прерываемый плачем голос «Крысы» глухо отозвался из трубы:

— Сам понять не можу, Лейзер Абрамович... Я, ей же богу, не виноватый. Лез по ей, как повсегда, а тут рука подвернулась под пузо... никак выдрать не можу... Больно! — И Митька опять заплакал.

Лейзер всплеснул руками.

— Она подвернулась!.. Вы видали такие штуки? И как она могла подвернуться, когда ты таки получаешь гро́ши, чтоб она не подвертывалась. Вылезай, чтоб тебе не кушалось, цудрейтер! [2]

---

[1] Черт!

[2] Сумасшедший! *(евр.)*

В трубе зашуршало и застонало.

— Ой, не могу... Ой, кость поломается,— донесся оттуда голос.

Лейзер задергался.

— Ты хочешь меня погубить, паршивец? — закричал он в трубу.— Так ты лучше вылезай, а то я скажу Прову Кириаковичу, он тебе уши оборвет.

— Не могу!

— А?.. Он не может... Вы такое слыхали? Петька! Лазай в трубу, цапай его за ноги, а мы будем тебя вместе с ним вытягивать. Полезай, паскудник! Ой, горе мне с такими детьми!

Петька полез в трубу.

— Держи его за ноги! Крепче! Не пускай! — командовал Лейзер.— Ухватил? Ну, мальчики, тащите Петьку за ноги. Чтоб вы мне его так вытащили, как я жив.

Мальчишки с хохотом ухватились за торчащие из трубы Петькины босые грязные пятки и потащили. И вдруг из трубы вылетел раздирающий, мучительный вопль Митьки:

— Ой, мальчики, голубчики... оставьте... больно мне... рука... Ой-ой-ой!..

Котлоскребы растерянно выпустили торчащие из трубы Петькины ноги и не по-детски угрюмо переглянулись. Лейзер побледнел.

— Вы не беспокойтесь, мистер механик,— быстро заговорил он,— это ничего... Это совсем пустяки... Я сейчас привезу господина Быкова, он его вытащит в одну минуточку.

Он метнулся к трапу и побежал по нему с быстротой, которая сделала бы честь самому О'Хидди.

Оставшиеся молча стояли у рыдающей трубы.

— Нужно залить смазочным маслом,— предложил машинист,— она станет скользкой, и тогда мальчугана можно будет выволочь.

О'Хидди склонился над отверстием трубы. Он был огорчен, узнав, что в трубе застрял тот самый белозубый чертенок, который сразу привлек его внимание на улице. У механика засосало под ложечкой, и, чувствуя острое желание чем-нибудь помочь и досадуя на свое бессилие, он ласковым голосом позвал:

— Хелло, бэби! Здрастэй, как живьош?

Мальчики хихикнули. Из трубы вместе с плачем долетел грустный ответ:

— Плохо!.. Рука болит, чисто сломанная.

Ничего не поняв, О'Хидди еще больше огорчился и взволновался, угрюмо зашагал взад-вперед по тесному пространству кочегарки.

7

Перекладины трапа задрожали и загудели под самим Провом Кириаковичем.

Не взглянув на взволнованного О'Хидди, Быков сразу рыкнул на мальчишек, которые, притихнув, сбились у трубы.

— Это что? Баклуши бить будете? А работать кому? Лезай в трубы, собачьи выскребки, а то всех в шею потурю.

— «Крыса» завяз, Пров Кириакович,— жалобно пропищал Петька.

Рука Прова Кириаковича ощутительно рванула Петькино ухо.

— Ты еще балачки разводить, сопля? Тебя спрашивают?.. Завяз!.. Я ему покажу завязать... Марш в трубы! Вы мне гро́ши заплатите, коли в срок работу не кончу? У, сукины сыны!

Мальчишки сыпнули врозь и исчезли в трубах.

Пров Кириакович тяжелым шагом подошел к злосчастной трубе.

— Митька! — угрожающе позвал он.— Ты что ж, стервец? Пакостить вздумал? Вылезай сей минут!

— Пров Кириакович, миленький, родимый, не сердитеся. Я б сам рад, да не можу, истинный хрест. Совсем руку свернул,— услыхал он в ответ слабый, приглушенный металлом голос.

Быков налился кровью.

— Ты мне комедь не ломай, окаянный черт! Вылазь, говорю, не то всю морду размолочу!

В трубе заплакало.

— Лучше убейте, не можу больше мучиться. Ой, больно!

Пров Кириакович почесал в затылке.

— Ишь ты!.. И впрямь застрял, щенок... Треба веревкой за ноги взять и вытягивать.

Лейзер осторожно приблизился сзади к Быкову.

— Такое несчастье, такое несчастье... Мы уже пробовали — не вытаскивается... Господин машинист гово-

рит — нужно залить смазочным маслом, тогда таки будет скользко...

— Брысь, жидюга! — отрезал Быков.— Без тебя знаю. Скажи гличанам, чтоб несли масло.

Широкоплечий канадец-кочегар с ножовым шрамом через всю щеку принес ведро с густым маслом. Пров Кириакович сбросил люстриновый пиджак и с размаху выплеснул масло глубоко в трубу.

— Швабру! — крикнул он испуганному Лейзеру и, выхватив швабру из рук кочегара, стал пропихивать в трубу.

— Еще ведро!

Второе ведро выплеснуло в трубу скользкую зеленовато-черную жижу.

— Петька! Лезай, сволота, с канатом. Вяжи его за ноги.

Петька полез в трубу. По его грязным щекам катились капли пота и слез. Ему было страшно и жаль «Крысу». Вскоре он выбрался обратно, весь черный и липкий от масла.

— Завязал, — прохрипел он, отплевываясь.

Пров Кириакович навертел конец веревки на руку и, перебросив через плечо, потянул. Труба взвыла отчаянным воплем.

— Цыть!— взбесился Быков.— Барин нашелся. Терпи, чичас вытяну!

Он вторично налег на веревку, и кочегарку пронизало нестерпимым криком. Прежде чем Пров Кириакович успел потянуть в третий раз, О'Хидди схватил его за плечи и отшвырнул в угол кочегарки на груду шлака.

— Скажите ему, что я не позволяю мучить мальчугана!— крикнул он Лейзеру.

Быков поднялся, сине-пунцовый от ярости.

— Ты!.. Передай этому нехристю — ежели так, пущай сам копается. А не хочет — придется трубу выламывать.

Лейзер, оцепенев, перевел.

О'Хидди тряхнул головой.

— Хорошо! Я пойду доложу капитану.

Он взбежал по трапу и исчез в люке. Пров Кириакович хотел потянуть еще раз, но канадец со шрамом угрожающе поднял стиснутый кулак, и Быков остался недвижим.

В люке снова появилась голова О'Хидди.

— Мистер Цвибель, поднимайтесь и попросите с собой мистера Бикофа. Капитан желает говорить с вами.

Пров Кириакович плюнул, чертыхнулся и полез наверх.

Капитан Джиббинс стоял у люка и смотрел на Быкова холодными прищуренными глазами. Он попросил объяснить ему, что случилось, и, выслушав рассказ Лейзера, сказал неторопливо и скучающе:

— Выломать трубу я не могу позволить без согласия владельца груза и хозяина. Я пошлю сейчас срочную телеграмму в Нью-Орлеан. А пока пробуйте так или иначе освободить мальчишку.

Быков в бешенстве полез вниз. В трубу лили еще масло, пробовали тянуть то быстрыми рывками, то медленно и осторожно, но каждое дерганье причиняло Митьке невыносимую боль, и кочегарка снова оглашалась дикими воплями. Митька рыдал и просил лучше убить его сразу.

Так тянулось до вечера. Вечером Быков, исчерпав весь запас ругани, ушел на берег. Кочегары тихо переговаривались, прислушивались к глухим всхлипываниям.

— Он долго не выдержит,— мрачно сказал канадец,— я говорю, что надо распиливать трубу ацетиленом.

— Джиббинс не позволит,— отозвался другой кочегар.

— Сволочь!— хрипнул канадец и ударил кулаком по трубе.

8

Утром капитан Джиббинс получил ответ на срочную телеграмму.

Он прочел его у себя в каюте, и лицо его каменело с каждой строчкой. Хозяин телеграфировал, что он не допускает никакой задержки из-за какого-то паскудного русского мальчишки и возлагает всю ответственность за последствия опоздания на Джиббинса.

«Мы всегда найдем в Америке капитана, который сумеет более преданно соблюдать интересы фирмы»,— кончалась телеграмма.

Капитан Джиббинс закрыл глаза и, как наяву, увидел жену и двоих ребят. Его лицо дернулось. Резким движением он разодрал листок телеграммы и вышел на

палубу. Там перед О'Хидди стоял Быков и, размахивая руками, что-то горячо объяснял Цвибелю. Цвибель увидел капитана и впился в него жалким, оробелым взглядом.

— Мистер капитан, вы уже имеете ответ из Америки?

— Да, — сухо ответил Джиббинс, — переведите мистеру Бикофу, что я не задержусь ни на один час. Сегодня вечером топки должны быть зажжены, а завтра утром мы уйдем. Если по вине мистера Бикофа этого не случится — ему придется оплатить все убытки компании и мои.

Быков стиснул кулаки и пустил крепчайшую ругань.

— А ты ж, треклятый ублюдок! Хоть бы ты сдох в трубе, сукин сын.

Лейзер отшатнулся.

— Что такое вы говорите, Пров Кириакович, что даже совсем страшно слушать. Разве на ребенке есть какая вина, чтоб он помер в таком нехорошем месте?

— Пошел ты к черту!— рявкнул Быков.

Капитан Джиббинс хотел уйти в каюту, но его остановил кочегар со шрамом, вылезший на палубу из машинного люка.

— Извините, сэр,— сказал канадец,— люди просят разрешения разрезать трубу. Больше ждать нельзя, мальчик едва дышит. Мы...

Бритые щеки Джиббинса слегка порозовели. Не повышая голоса, он ответил:

— Запрещаю.

— Но это убийство, сэр, — угрожающе надвинулся канадец,— мы этого не допустим. Мы разрежем трубу без вашего согласия.

— Попробуйте!— еще тише сказал Джиббинс.—Вы знаете, что такое бунт на корабле, и знаете, что по этому поводу говорит закон. Прошу вас... Я не дам двух пенсов за вашу шкуру. Понятно?

Шрам на щеке канадца налился кровью. Он обжег Джиббинса горячим взглядом, круто повернулся и скрылся в люке.

— Приглядите за людьми, О'Хидди. Вы отвечаете за машинную команду,— зло бросил механику Джиббинс и ушел в каюту.

Быков и Цвибель спустились в кочегарку. Митька уже не отвечал на оклики и только чуть слышно стонал. Колокол позвал команду к обеду. Кочегарка опусте-

ла. Быков нагнулся к трубе и долго прислушивался. Потом выпрямился и решительным движением надвинул картуз на брови.

— Идем к капитану,— приказал он Цвибелю и полез наверх.

Капитан Джиббинс жевал бифштекс и уставился на Быкова и Цвибеля спокойными, бесстрастными глазами.

— Вытащили?— спросил он, отрезав кусок сочащегося кровью мяса.

— Ничего не выходит, мистер капитан. Ой, какой страшный случай,— начал Лейзер, но Быков оборвал его. Он оперся руками на стол, и бурачное лицо его внезапно побледнело.

— Ты скажи ему, Лейзер,— заговорил он тихо, хотя никто не мог понять его, кроме Цвибеля,— скажи ему, что вытащить стервенка нельзя, а я платить протори не могу. Откудова ж у меня такие деньги? — Быков остановился, шумно вобрав в грудь воздух, и с воздухом глухо выдохнул: — Пусть затапливает топки с им вместе.

Лейзер охнул:

— Ой, Пров Кириакович! Разве можно такие шутки? Как я скажу такое американскому капитану, чтоб убить ребенка жаром? Лучше вы сами делайте что хотите, а я не могу. От меня и детей моих бог откажется за такое дело.

Быков перегнулся через стол.

— Слушай, Лейзер,— прошипел он,— я не шутю с тобой. Я не хочу пойти по миру из-за выскребка. Вот мое слово: если не скажешь капитану, кладу крест, расскажу господину приставу, как ты в запрошлом году ходил по Дерибасовской с красным флагом и кричал против царя.

Лейзер почувствовал холодное щекотание мурашек, пробежавших по спине, но попытался еще сопротивляться.

— Ну и что такое? — сказал он с жалкой и больной улыбкой.— Господин пристав ничего не скажет. Какой еврей тогда не ходил с красным флагом и не кричал разные глупости?

— Глупости? Про орла забыл? Думаешь, я не знаю?

Лейзер отшатнулся. Это был оглушительный удар. Значит, Быков знает об этом. О том, что Лейзер тщательно скрывал все время и думал, что это поросло

травой забвения. О том, что он, Лейзер Цвибель, вместе с разгоряченными студентами сорвал лепного орла с аптеки на Маразлиевской и в забвенном исступлении топтал ногами его черные крылья. Это было гораздо страшнее красного флага. Лейзер закрыл глаза, а Быков продолжал шипеть:

— А Шликермана помнишь?

Цвибель простонал. Он вспомнил изуродованное тело Шликермана, до смерти забитого городовыми в участке, горько и глубоко вздохнул и решился.

— Грех вам, Пров Кириакович... Ну хорошо... Я скажу капитану.

Пока он переводил капитану Джиббинсу слова Быкова, у него тряслись руки и дрожали губы. Джиббинс выслушал молча. Ни одна черточка не шелохнулась на его гладком лице. Он вынул изо рта трубку и медленно ответил:

— Скажите мистеру Бикофу, что это его дело. Мальчишка его и предприятие его. Пусть устраивается, как знает... если сумеет сохранить все в тайне от моей команды и как-нибудь обмануть людей. Я ничего не слыхал и ничего не знаю. Но вечером топки будут зажжены.

Быков поджал губы и вышел с Цвибелем на палубу. Бирюзовые тени вечера ложились на штилевой рейд. Стояла вечерняя тишина, разрываемая только криками чаек, дерущихся на воде из-за отбросов. Быков повернулся к Цвибелю и, наливаясь кровью, прошептал дико и грозно:

— Если одно слово кому — запомни: со света сживу.

9

В кочегарке не было никого, кроме мальчишек. Американцы еще не вернулись с обеда. Мальчишки, перешептываясь, стояли около трубы, в отверстие которой засунул голову Петька. Быков схватил Петьку за оттопыренный на спине брезент и рванул к себе. Петька вытаращил в испуге глаза, белые, как пуговицы, на черном лице.

— Ты чего тут засунулся, стервец? Опять лайдачите? Всех поубиваю к чертовой матери!— зарычал Пров Кириакович, приподняв Петьку на воздух.

— Дак мы пошабашили, Пров Кирьякич! — взвизгнул Петька.— Зараз все трубы кончили, ей-же-ей. Кабы не «Крыса», все б раньше часу сробили.

Пров Кириакович оглянулся на квадратную дыру люка вверху, над которой синело небо, подтащил Петьку к себе и забормотал:

— Чичас полезай в трубу к «Крысе». На, завяжи веревку себе на ногу и полезай. Как гличане с обеда придут, я тебя тащить оттеда буду, а ты кричи в голос. Иначе ты не Петька, а «Крыса».

— Зачем, Пров Кирьякич?

— Ты еще поспрашивай!.. А как вытащу — реви коровой, будто с радости. Ну, марш! А то в два счета к чертовой матери! А вы — молчать в домовину, бо десять шкур поспускаю! — крикнул он трем остальным.

Петька исчез в трубе, из которой свисала веревка. Отверстие люка наверху потемнело, и по перекладинам трапа загремели шаги спускающихся американцев.

Цвибель шумно вздохнул и осмелился притронуться к локтю Быкова.

— Пров Кириакович,— выдавил он, дрожа,— ужели ж вы себе хотите так загублять невинное дите?

Быков взглянул на него.

— И до чего ж вы жалостливая нация!— сказал он с презрительным недоумением.— Должно, с того вас и бьют во всех землях...— И вдруг вскипел злобой, прикрикнул:— Твой, что ли? Твое какое дело? Я его нашел — я за него и ответчик. Все одно у него никого — бездомный, никто не спросит. А спросят — скажу: сбег, уехал с гличанами. Пшел!

Лейзер отпрянул. Спустившиеся кочегары приблизились к трубе. Быков, крякнув, ухватил веревку и, натужась, потянул. Петька в трубе завыл. Веревка стала подаваться.

— Тащи!.. Тащи! — заорал Быков, и кочегары, поняв, тоже ухватились за конец. Показались Петькины ноги, зад, и наконец выскользнуло все тело. Растопырив руки, Петька грохнулся лицом в железный пол, усеянный острыми комьями шлака. Он сильно расшиб лоб и разревелся уже не притворно. Кочегары, загалдев, подхватили его и поволокли по трапу на палубу. Канадец платком стер кровь с рашибленного Петькина лба и хотел вытереть все лицо, покрытое жирным черным налетом смазки, но Быков вырвал мальчика из его рук и по-

тащил к сходне. По дороге он наткнулся на вышедшего на шум О'Хидди.

— Что случилось?— спросил механик.

Канадец, торопясь, объяснил ему, что мальчика удалось вытащить.

О'Хидди подошел к Быкову. Ему захотелось сказать спасенному что-нибудь ободряющее и ласковое. Он прикоснулся ладонью к слипшимся Петькиным волосам. Петька повернул голову, открыл рот, и механик увидел черные испорченные зубы, нисколько не похожие на блестящий частокол зубов Митьки. О'Хидди отнял руку и с недоумением проследил за Быковым, стремительно сбежавшим на пирс, таща за собой Петьку. Когда тот скрылся за углом пакгауза, механик отошел от борта и спустился в кочегарку.

Мальчики, собрав инструмент, тоже собирались уходить. О'Хидди подождал, пока они взобрались наверх, взял багор и глубоко просунул его в трубу. Багор наткнулся на мягкое препятствие, и О'Хидди услыхал чуть слышный звук, похожий на жалкое мяуканье.

Он отбросил багор и в несколько прыжков одолел трап. На палубе он умерил шаги и постучался в дверь капитанской каюты.

Джиббинс удивленно посмотрел на механика, на бледное лицо с расширенными васильковыми глазами, на капли пота на лбу.

— Что с вами, Дикки?— спросил он.

Механик задыхался.

— Фред!.. Совершено преступление. Этот негодяй Бикоф обманул нас. Он вытащил из трубы другого мальчика. Тот остался там. Он уже почти умер, он не может даже ответить...

Капитан Джиббинс вертел в руке трубку. Лицо его стало очень неподвижным и тяжелым.

— Я так и думал,— медленно произнес он.

Механик отшатнулся.

— Как? Вы знаете это?

— Не знаю, но я предполагал.— Джиббинс зажал трубку в зубах и, чиркнув спичкой о подошву, медленно разжег табак.— Но это все равно. У нас нет выхода. Мы должны уйти завтра утром, как только погрузим последний мешок жмыха. В десять вечера вы разожжете топки.

— Вы с ума сошли! А ребенок?

Капитан Джиббинс поднял голову. Глаза у него стали зеленовато-холодными, как кусочки льда.

— Выслушайте меня, приятель! Если я не исполню приказа хозяина, меня вышвырнут и занесут в черный список. Ни одна компания не возьмет меня на работу. Вы холостяк. У меня есть дети и жена. Я знаю, что совершено преступление, если смотреть на вещи с точки зрения общей морали. Но в данном случае я смотрю с точки зрения личной морали. Я человек и не хочу, чтобы моя семья подохла под забором. Мне дороги мои дети. Может быть, вы не поймете этого, но, когда я думаю о том, что будет с моими детьми, я принимаю на себя ответственность... И вы не захотите сделать моих детей такими же отщепенцами и нищими, как этот мальчишка...

— Но команда...

— Команда не узнает ничего, если вы ей не скажете. А вы не скажете потому, что не захотите смерти моим детям. Мальчика все равно уже не спасти. Еще два-три часа, и он задохнется... В десять мы засыпаем уголь в топки. Это приказ!

О'Хидди стиснул виски. Ему показалось, что голова у него раздувается, как резиновый шар, и сейчас лопнет.

— Хорошо!.. Я буду молчать. Да простит господь мне и вам, Фред!

10

«Мэджи Дальтон» вышла из одесской гавани ровно в полдень, взяв полный груз. На пирсе было пустынно, и только у пакгауза жалась скорченная фигура в длинном потертом сюртуке. Лейзер Цвибель пришел проводить пароход, потому что у него было девять голодных детей и жалостливое к детям, никому не нужное сердце. Когда «Мэджи» свернула за выступ мола, он ушел с пирса, унося на согбенной спине никому не видимый страшный груз.

«Мэджи» благополучно прошла Босфор и Гибралтар. Машины работали хорошо, взятый в Одессе уголь был отличного качества, люди работали превосходно, и только старший механик О'Хидди с утра напивался до одурения и лежал у себя в каюте опухший и страшный.

За Гибралтаром «Мэджи» вступила в Атлантику на путь, проложенный пять веков назад упрямым генуэзцем, и в первую же ночь механик О'Хидди на глазах вахтенных матросов прыгнул со спардека за борт. Погода была свежая, ветер гнал тяжелую волну, и шлюпки спустить было рискованно. Капитан Джиббинс отметил этот печальный случай короткой записью в вахтенном журнале.

Одиннадцать дней «Мэджи» резала океанскую волну и на двенадцатый встала у родного причала в гавани Нью-Орлеана. Хозяин вместе с главой фирмы Ленсби, сухим джентльменом в белом цилиндре по летнему времени, взошел на палубу поблагодарить капитана Джиббинса за удачный рейс и образцовую службу.

— Мы даем вам, кроме премии, еще специальную награду, и мистер Ленсби, со своей стороны, тоже нашел нужным премировать вас за усердие... Кстати, как вы развязались с этой заминкой в Одессе?

Капитан Джиббинс поклонился.

— Благодарю вас. Это пустяк. Не стоит и вспоминать,— ответил Джиббинс.

На нем, как всегда, была синяя фуражка с галунами и в зубах капитанская трубка с изгрызенным мундштуком. Лицо капитана Джиббинса было гладким и спокойным.

Ночью, когда отпущенная команда съехала на берег и на пароходе остался лишь один вахтенный, капитан Джиббинс спустился в кочегарку. Задраив люк на все барашки, он взял длинную кочергу и запустил ее в отверстие трубы. Он долго ковырял ею в глубине трубы. На железный решетчатый пол выпало несколько обгорелых костей, потом с гулким и пустым стуком вывалился кругляшок маленького черепа. Запущенная еще раз кочерга выволокла что-то звонко упавшее на пол. Джиббинс нагнулся и поднял небольшую железную коробочку, в каких упаковываются дешевые леденцы. Коробка была покрыта темным нагаром. Капитан вынул нож и, подсунув под крышку, открыл коробку. На дне ее лежало несколько медных пуговиц и черный от огня доллар. Джиббинс захлопнул коробку и сунул ее в карман. Потом опустился на колени, разостлал платок и собрал в него кости и череп. Выйдя на палубу, он подошел к борту и бросил связанный узлом платок в черную, чуть колышущуюся воду.

В каюте он подошел к столу, взял бутылку виски, налил полный стакан и поднес ко рту, но не выпил. Постоял

минуту, провел рукой по лицу, как будто стирая дрожь мускула под скулой, и, подойдя к открытому иллюминатору, выплеснул виски за борт.

Утром, съехав на берег, капитан Джиббинс зашел к знакомому ювелиру и попросил впаять темный обожженный доллар в крышку своего серебряного портсигара.

— Откуда у вас эта штука, Джиббинс?— спросил ювелир, вращая доллар в пухлых пальцах.

Капитан Джиббинс нахмурился.

— Мне не хочется об этом рассказывать. Неприятная история. Но я хочу сохранить эту монету на память.

Он вежливо простился с ювелиром и вышел на улицу. Он шел домой, радуясь тому, что сейчас увидит жену и детей и осчастливит семью известием о премии, полученной за срочный фрахт. Он был спокоен и уверен в завтрашнем дне и твердо шагал среди шума и грохота улицы мимо домов, за зеркальными стеклами которых, прикрытыми до половины зелеными шелковыми занавесками, закипала сухая, щелкающая костяшками счетов, размеренная работа человеческой жадности.

Сочи, август 1925 г.

ТАРАКАН

1

По коридору, мимо двери в бывший кабинет, нужно проходить на цыпочках, с осторожностью, уподобляясь крысе, пробирающейся через чулан за кусочком сыра, завернутым в промасленную бумагу на полке. За дверью, в кабинете, новый жилец Степан Максимыч, коммунист и большая шишка в городе.

До Степана Максимыча в кабинете жила регистраторша отдела благоустройства, Анна Павловна. Прожила три года, за три года вписала для процветания государства в толстые книги сорок одну тысячу входящих, по утрам, перед уходом на службу, пудрила большеглазое лицо, любила обливаться холодной, леденящей водой и по вечерам, когда не ходила в кинематограф, пела под гитару интимные песенки со всем жаром девятнадцати полнокровных лет. Вообще же была тихая и уютная.

И вдруг бросила толстые книги и уехала в Москву с ассистентом знаменитого режиссера, заехавшим на неделю в древний губернский город заснять обросшие мхом крепостные стены для боевого фильма.

Нашел ассистент у Анны Павловны замечательную фотогеничность в лице, а вернее, понравилась ему, кургузому, Анны Павловны высокая грудь и крепкие ножки. Так хозяин квартиры, Сергей Сергеич Бегичев, думает, но ассистент говорил Анне Павловне о звездном пути экрана, а о груди и ножках не упоминал. А много ли нужно для обмана неопытной невинности?

Уезжая, Анна Павловна по просьбе знакомого работ-

ника губкома передала свою комнату приезжему из Питера красному директору спичзавода Степану Максимычу.

Сергею Сергеичу об этом сказала только накануне отъезда, укладывая вещи в продранный холщовый чемодан. Сергей Сергеич растерялся, затряс бороденкой и усиками, похожими на вываренную вермишель, прилипшую из супа на губы и подбородок, и сказал, расстроясь:

— Вот этого, Анна Павловна, извините, от вас не ждал. Считал вас за интеллигентную барышню с правилами и не думал, что мне свинью подложите. Не нужно мне в дому коммуниста. Один беспорядок и беспокойство от них, ровно как от тараканов. Благодарю покорно.

И посмотрел с укоризной на большеглазое лицо Анны Павловны, но она как будто и не слыхала. Видела уже перед собой звездный путь экрана, опьяняющее потрескивание аппарата и свое лицо с выражением нежной печали на крупном плане перед тысячами зацепившихся за волшебное полотно глаз.

А жена Сергея Сергеича, Кира, помогавшая Анне Павловне укладываться, передернула жаркими и прекрасными своими плечами и проронила с ленивой досадой:

— Оставь ты Нюту в покое, скрипка несчастная. Не до тебя.

Сергей Сергеич обиделся. Стал было доказывать степенно и неторопливо, что человек скрипкой быть не может, потому что скрипка неодушевленный музыкальный предмет, а человек подобие творца вселенной и наделен частицей святого духа, но Кира взяла его за плечи, подвела к двери, захлопнула за ним и заперла на задвижку. Сергей Сергеич постоял секунду у двери, хотел было рассердиться, но заметил на полу лоскут суконки, подобрал его и отправился на кухню.

— Возьми, Марфутка, спрячь,— сказал он, подавая суконку стряпухе,— пригодится на штиблеты лоск навести. Швыряетесь суконками. Шалыганы!

Анна Павловна уехала утренним поездом, а к вечеру приехал из гостиницы, с двумя кожаными чемоданами, новый жилец. Степан Максимыч долго звонил у парадного, Сергей Сергеич нарочно велел Марфутке подольше не отпирать, а Киры дома не было. Наконец приехавший прошел с черного хода. Сергей Сергеич встретить жильца не вышел. Сидел в столовой, набивал вторую тысячу папирос и злорадно думал:

«Повозись, повозись... Ты думаешь, я так тебе сейчас

навстречу побежал: позвольте, мол, многоуважаемый красный директор, ваш чемоданчик... дозвольте я вам постельку застелю. Нет, ты сам все сделай. Не трудящийся не ест. Сами придумали. И звание тоже — красный директор. Все у них красное. Даже завод «Красная синька». Синька — и красная. Эх, непутевые!»

Папиросы шурша валились из-под машинки в коробку. За стеной было слышно, как новый жилец возил чемоданы по полу, передвигал мебель. Марфутка прошлепала туфлями по коридору к двери жильца. Сергей Сергеич положил машинку, встал, тихонько открыл половинку двери, высунул нос, прислушался.

Глуховатый голос прожурчал из кабинета: «Вот тут и тут, товарищ Марфуша. Вытрите почище, а то пыльно».

Сергей Сергеич вздыбил вермишель над верхней губой и визгливо позвал:

— Марфу-у-тка!

Марфутка выбежала из кабинета с подоткнутой юбкой и тряпкой в руках. Сергей Сергеич поманил ее пальцем в столовую, плотно припер за ней дверь.

— Ты ж у кого служишь, у меня или у него? Тебе кто позволил пыль стирать?

Марфутка недоуменно мигала белесыми ресницами и смотрела на лоб Сергея Сергеича испуганным взглядом. Переступила с ноги на ногу и прошептала:

— Так ежели ж оны просют.

Сергей Сергеич всплеснул руками.

— Оны просют!.. Вот дуру и видно. Себя не жалко.

Марфутка еще испуганнее впилась в лоб барина.

— Ты знаешь, лопоухая, кто он? Знаешь? Коммунист он. А они все на девок лакомы. У каждого мандат есть любую девку портить. Он тебе про пыль зубы заговаривает, а потом, глядишь, и затяжелеешь. Куда с ребенком денешься?

Марфутка уронила тряпку. Сергей Сергеич добавил:

— Ты скажи ему, что барин в лавку посылает, не могу, мол, вытрите сами. А когда звать будет комнату убирать, ты на юбку свячёной водой брызгай. Он этого боится и не тронет.

Марфутка подобрала тряпку, с ужасом опустила подоткнутую юбку и выбежала. Сергей Сергеич услышал, как, открыв дверь кабинета, но не входя, она сказала жильцу:

— Сами подтирайте. Меня барин в лавку посы-

лает,— и быстро пробежала на кухню. Сергей Сергеич ласково усмехнулся и вставил в машинку новую папиросу.

К чаю вернулась Кира. Сергей Сергеич хотел рассказать ей, как задал острастку красному директору, но почему-то удержался и только на вопрос Киры, приехал ли новый жилец, ответил с ядовитой усмешечкой:

— Изволили прибыть.

После трех чашек чая Сергей Сергеич ушел в спальню, сбросил заячьи туфли, снял брюки. Посидел несколько секунд, размышляя, на кровати в розовых триковых кальсонах и, откинув одеяло, залез в кровать. Придвинул ближе лампочку и взял со столика истрепанный том юмористического приложения к «Родине» за 1895 год. Кира сидела в столовой, шила узор на шелковой салфетке.

Сергей Сергеич пробежал глазами привычные анекдоты и смешные стишки про атлета, уронившего гири в пятом этаже, отчего гири провалились сквозь весь дом. Каждый день прочитывал эти стишки перед сном. Отложил книгу и зевнул. Повернулся, позвал Киру:

— Кирочка! Иди спать!

Кира ответила недовольно и сурово:

— Ну, и спи, если тебе хочется. А ко мне не лезь.

Сергей Сергеич вздохнул, перекрестился на икону Ивана Воина, подоткнул под себя аккуратно одеяло и погасил лампу.

2

Люди женятся по-разному. Кто из любви, из бешеной, не рассуждающей, не знающей преград и препятствий бури, родившейся в сердце, другие по здравому и осторожному голосу расчета, иные от скуки, некоторые от тоски одиночества и от того, что некому пришить третий год как оторвавшуюся пуговицу на жилете.

Сергей Сергеич женился из самолюбия. В древнем губернском городе, где по наследству от папаши владел Сергей Сергеич крупнейшим мануфактурным магазином «Бегичев и сын», росла гимназисточка Кира Соловьева. И не успел город опомниться, как к семнадцатой весне распустилась девчонка Кира в ослепительную красавицу. Посмотрят на нее люди и глаза даже зажмуривают, как от солнца. И стали на Киру зариться губернские лоботрясы, чиновники особых поручений, молодые судейские, офице-

ры кавалерийского полка. Всякому лестно оборвать первые лепестки с такого бутончика. Попрыгали, попрыгали кругом и отошли. Не подпускала Кирина мать близко любителей розанчиков, а жениться на Кире никому было не в охоту. Была Кирина мать, вдова Соловьева, бедна, как старый облезлый шимпанзе, сидевший в клетке городского сада, и даже гимназию Кира кончила только благодаря начальнице, выпросившей для нее стипендию у городского головы. Расчетливых это отпугнуло, а бешеных, любящих ради любви, не нашлось в осторожном городе.

Однажды прогуливался Сергей Сергеич в воскресный вечер в городском саду с покровительным приятелем своим, чиновником особых поручений при губернаторе, Жоржиком Лонгиновым. Мимо, в скромном платьице, прошла Кира. Жоржик взглянул вслед и засвистал.

— Хороша Маша, да не наша. Даже в оскомину бросает. Никакой надежды нет. Не родился еще счастливчик.

Сергею Сергеичу запали на ум Жоржиковы слова. Навел через знакомую сваху справочки, однажды вечером отправился в гости в дом, где бывала вдова Соловьева. Подкатился к вдове со всем уважением, проиграл ей в преферанс два рубля семь гривен, домой отвез на своем рысаке. После несколько раз заезжал, привозил, как будто ненароком, всякие вкусные вещи в подарок. А на пятом визите выложил вдове честные намерения насчет Киры. Вдова вздохнула радостно, закраснелась и пошла к Кире. Сказала тихо:

— Я думаю, Кирочка, что отказывать не стоит. С виду не герой, неумен немножко, но тихий, порядочный. И тебе будет за ним спокойно, и я на старости вздохну свободно.

А Кира повела прекрасными жаркими плечами своими и совсем не взволнованным голосом ответила матери:

— А мне все равно, мама. Не он, так другой. Этот возьмет — по крайней мере благодарен будет, а другие норовят слопать и на улицу выгнать. Выбирать мне не из чего.

На мальчишнике Сергей Сергеич, высоко задрав вермишель бороденки, взглянул с сожалением на приятелей и хвастанул:

— Приуныли? Ау, Кирочка! Вот и благородные и образованные, а розочку сорвать не умели. В писании сказано: «Последние да будут первыми».

Приятели промолчали, только Жоржик скосоротился и похлопал Сергея Сергеича по плечу: «Женимся, брат».

После свадьбы в новенькой спальне подошел Сергей Сергеич поцеловать нареченную, она глаза закрыла и так до утра не открывала. И всю жизнь потом принимала любовь Сергея Сергеича с закрытыми глазами. Но Жоржа Лонгинова, после трех визитов в отсутствие Сергея Сергеича, выгнала из дому со следами пяти пальцев на вздувшейся щеке. Не оправдалась Жоржина надежда.

И только когда загудели багряным набатом сумасшедшие годы, стряслось что-то с вечно спокойной, как будто заснувшей в летаргии, Кирой. Начала запоем читать тоненькие книжки, коряво и наспех отпечатанные на царапающей пальцы бумаге, и на третий год пришла внезапно к Сергею Сергеичу и объявила, что уходит к комиссару дивизии Гордону и будет с ним жить.

Сергей Сергеич обомлел, задергался, стал доказывать священным писанием страшный Кирин грех: «Еже бог сочета, человек не разлучает»,— но Кира только плечами повела.

— Враки... Сказки ханжеские. Не хочу! Не могу больше с тобой разлагаться. Будто не с человеком живу, а с пилюлей.

Тут Сергей Сергеич обиделся и пригрозил Кире дедовским купеческим обычаем, шелковой плеточкой. И сам испугался. Подошла Кира бледная, схватила за воротник и выбросила из спальни, как щенка. А сама ушла к комиссару Гордону, в чем была.

Но оказался комиссар Гордон не настоящим. Запутался в каких-то казенных деньгах, и расстреляли его на рассвете за городом у известковой печи. Осталась Кира опять одна бедовать, как бедовала в детстве. Ходила прозрачная, голодная, оборвалась, но, как ни ждал Сергей Сергеич, к нему назад не шла.

Наконец не выдержал Сергей Сергеич — сам пошел. Приняла в нетопленной клетушке, кутаясь в платок, долго слушала нудную Сергея Сергеича речь и разрыдалась в заключение. Вытерла глаза и, не сказав ни слова, ушла с Сергеем Сергеичем на старое пепелище. Стала вновь Сергею Сергеичу женой, но еще плотнее глаза закрывала. Но Сергей Сергеич рад был. Вернулась в дом хозяйка, и соблазну на имени Бегичевых не стало.

3

Первый раз встретив нового жильца на следующее утро в коридоре, вдавился Сергей Сергеич услужливо в стену, уступая проход. Жилец поравнялся и вежливо поздоровался:

— Будем знакомы. Мосолов.

Сергей Сергеич робко положил вялую руку в крепкую ладонь жильца. Жилец взглянул на него, оглядел сверху донизу, усмехнулся и прошел на кухню. А Сергей Сергеич, направляясь в свою лавку на базаре, не прежний магазин «Бегичев и сын», а крохотную лачугу, которую открыл после объявления свободной торговли, вспоминал облик жильца. Высокий и прямой человек. Складки темно-серого костюма тоже прямые и жесткие, а брюки спереди так заглажены, что, стоя против жильца в коридоре, Сергей Сергеич поджимал свои ноги. Казалось, что такими брюками можно подрезать встречному коленки, как косой.

В тот же вечер, когда легла Кира спать, прошел Сергей Сергеич проверить запоры на парадной двери. Не доверял новому жильцу, вдруг да что-нибудь случится. Возвращаясь на цыпочках мимо двери в кабинет, увидел в щелке свет, и потянуло неудержимо заглянуть, что делает этот человек в брюках-бритвах, чужой и враждебный. Сергей Сергеич нагнулся и прицелился глазом на замочную скважину. И едва взглянул в комнату, попятился, прилип к стене и быстро закрестился. Когда наклонялся, казалось, что увидит в комнате что-нибудь необычное, как в паноптикуме в стекле панорамы: «Битву русских с кабардинцами» или «Взятие Смоленска Баторием». И вправду увидел страшное, о чем рассказать лучшему другу было заказано. Прямо против двери, на стуле, широко расставив ноги, сидел жилец. На заглаженные, как ножи, складки брюк падал свет лампы, а в руке жильца колебался, поблескивая тусклым, вытянутый к двери тяжелый черный револьвер. Колебался и глядел в самое сердце Сергею Сергеичу безжалостным глазом дула.

Сергей Сергеич оторвался от стены, захватил обеими руками взбесившееся сердце и быстрой бесшумной иноходью добежал до постели и зарылся в одеяло. Его забила лихорадка.

А жилец, спрятав вычищенный револьвер, мушку которого проверял на кнопке, издавна вколотой в белую филенку, спокойно улегся, не думая даже, что вогнал хозяина в окончательный ужас. С того вечера стало законом жизни для Сергея Сергеича мимо двери в бывший кабинет пробираться без шума, сторожкой мышью. И хоть шла уже вторая неделя, Степан Максимыч был вежлив и не причинял никакого беспокойства, но Сергей Сергеич вздрагивал каждый раз, когда слышал его шаги или голос.

Уже в исходе третьей педели, вернувшись домой, Сергей Сергеич, как обычно, прокрался мимо двери и, облегченно вздохнув, взялся за дверную ручку столовой, как был поражен звуками мужского разговора. Он остановил вытянувшуюся руку и прислушался в недоумении.

«Кто бы это в неурочный час? — подумал он. — Может быть, дядюшка Артем Матвеич или благочинный Андрей, по дороге в собор на всенощную, удостоил посещением?»

Но голос не походил ни на старческое пришепетывание Артема Матвеича, ни на елейную речь отца Андрея. Крепкий и тугой, он отщелкивал слова, как метроном такты. Все еще недоумевая, Сергей Сергеич потянул дверь на себя и шагнул в столовую.

Шагнул и замер. Вермишель зашевелилась, а старые просторные штаны сами собой сползли еще ниже на порыжевшие ботинки.

На столе брызгал паром серебряный кофейник, янтарем желтело в хрустальной масленке масло, на тарелке лежали аккуратно нарезанные треугольники голландского сыра с алой оторочкой корки, а в конце стола, разбросав широкие угловатые плечи, сидел жилец Степан Максимыч и прихлебывал из чашки.

Сергей Сергеич шевельнул губами, пытаясь что-то сказать, но вместо этого жалобно не то икнул, не то пискнул.

Кира, сидевшая в кресле, привалясь к спинке, бросила на него рассеянный взгляд, а Степан Максимыч вдруг поднялся во весь рост и, показалось Сергею Сергеичу, надвинулся на него, как падающая гора. Сергей Сергеич даже руку поднял к груди, как будто защититься хотел от удара, и услышал неожиданно вежливые и простые слова Степана Максимыча:

— Простите, что вторгся в вашу столовую. С утра нездоровится, на завод не смог проехать, а голод дает себя знать. Взял смелость просить вашу супругу покормить меня. Простите.

И совсем ласково протянул руку. Сергей Сергеич свою с опаской подал, а вдруг нарочно притворяется добрым, да как сожмет, пальцы перекалечит. Но жилец чуть сжал и продолжает стоять и говорить Сергею Сергеичу:

— Сделайте одолжение, присядьте, а то что ж мы стоим? Мне неловко сесть, когда хозяин на ногах.

Так любезно сказал, будто и не коммунист, а покойный председатель казенной палаты Дуб-Щепилло.

Сергей Сергеич, будто в гостях, присел на краешек стула, а гость, напротив, свободно и тяжело опустился на свое место; допивая чашку, досказывал Кире о своей поездке за Полярный круг. Был послан устанавливать радиостанцию на каком-то шаре. И об оленях, белых медведях, песцах, моржах, северном сиянии, незаходящем солнце. Интересно рассказывал, но Сергей Сергеич сидел неспокойно, ерзал по сиденью, голову вытягивал и дышал с присвистом. У некоторых это всегда при волнении бывает,— дышит, а вокруг свист идет. Таких на войне на разведку не посылают,— неприятель за три версты дых слышит.

Жилец заметил, заторопился, бутерброд с сыром доел и вежливо откланялся.

— Извините за беспокойство. Поверьте, что только нездоровье заставило...

А Кира из кресла отозвалась:

— Почему же только нездоровье? Очень рады будем вас чаще видеть. Заходите вечером, когда свободны, или обедать приходите запросто. Вы много интересного видели и можете рассказать, а я люблю слушать. Жадная на впечатления. Своих в жизни почти не было, так я из других высасываю.

Жилец улыбнулся, еще раз откланялся и вышел. А Сергей Сергеич, вскочив, бочком подкатился к двери, прижал ее и повернулся к Кире. Даже руки у него заметались, как крылья.

— Кирочка! Как он сюда попал?

Кира, собирая посуду на столе, медленно разжала полные губы:

— Как? Просто. Пришел и попросил поесть. Не голодать же человеку, когда он болен.

Сергей Сергеич замотал головой.

— Я не про то. Почему не накормить? У них желудок тоже пищи просит. Только зачем в столовую пустила? Можно было в комнату подать.

Кира вздернула соболиные брови:

— А почему в столовой нельзя?

Сергей Сергеич запнулся:

— Ай, как же ты не понимаешь? Бог весть, кто он. Увидит вот, что у нас обстановочка приличная, хрусталь сохранился, серебро, едим по-человечески. Скажет в какое-нибудь гепеу или фининспектору: Бегичев нэпман, Бегичев богач. Сразу налогами задавят, обстановку отберут и с квартирой ему и отдадут. Куда пойдем? У них это просто — экспроприация грабежа.

Кира молчала, перемывая посуду, смотрела в окно на черную росталь улицы, закутанную туманом. Сказала как бы про себя:

— Он хороший человек.

Сергей Сергеич исподлобья взглянул на нее и уловил в лице, в фигуре, во всем что-то необъяснимое и пугающее. Он скривил губы в усмешку и проскрипел:

— Коммунистка... Одного Гордона мало, другого...

Он не договорил. Кира стремительно обернулась к нему и ожгла зрачками.

— Дурак!— сказала она без всякой злобы, и потому еще оскорбительней было это слово.— Упругий ты дурак, Сергей Сергеич!

Сергей Сергеич обиделся, захлопал ресницами и ушел в спальню. Лег на кровать и взял приложение к «Родине». Атлет на рисунке высоко поднял гири, и... ах, вот проламывается один, другой потолок, разбегаются испуганные люди и улыбается Сергей Сергеич.

4

Гепеу не приходило с обысками, фининспектор не давил налогами. Степан Максимыч не устроил Сергею Сергеичу никакой пакости по торговому делу, не отнимал обстановки и квартиры, но заходил и изредка обедал. Сидел и рассказывал Кире свою жизнь и чужие, непонятные Сергею Сергеичу шумливые и беспокойные жизни.

Сергей Сергеич в таких случаях скорехонько допивал свой чай, мелкими шажками уходил в спальню и, прикрыв дверь, ложился в кровать под одеяло из разноцветных шелковых лоскутьев, располагавшихся узором калейдоскопа. Одеяло сшила перед смертью покойница теща в благодарность Сергею Сергеичу за спокойные последние земные дни.

Сергей Сергеич лежал под одеялом, пробегал страницы приложения к «Родине», слушал четкий, как метроном, крепкий голос жильца, стучавший в дверь, и думал:

«Почему нужно людям беспокойство? Кажется, что может быть проще и приятней существования в собственном домике, изо дня в день одинаково, сытно, безмятежно и бестревожно. От этого удлиняется срок человеческий, и медленнее подходит старость, и на душе всегда ясность и определенность. Так нет же. Пришли вот такие нелепые, недотепы, шалопуты. Перевернули все, переворошили, перетревожили. Сами покоя не знают и знать не хотят и другим не дают. Несет их какая-то жесткая непокорная внутренняя сила от мягких кресел, от пружинных матрацев, от жарко натопленных печей, щей и пирогов в неизвестные тартарары. Гонятся за громом, треском, сумятицей, зачем, сами не знают. Сначала мир перевернем, а там снова строить будем по-новому... Разве ж так делают? Хороший хозяин, пока в новый дом не переедет, старого не развалит. А когда и построит новый, то старый норовит внаймы сдать подороже, а не разваливать. А они? Шалые! Непутевые! Моржи, тюлени, северное сияние. Ну, кому все это нужно? Только разве для музеев. Чудилы!»

С этими мыслями и засыпал, воркующе похрапывая.

А Кира в столовой за полночь слушала рассказы Степана Максимыча, и разгорелись Кирины глаза мечтой. Вставала, взволнованная, тревожная, подавала жильцу дрожащую, теплую, туго налитую живыми соками ладонь, не обернувшись уходила в спальню. А он по коридору несомневающимися шагами — к себе, в бывший кабинет Сергея Сергеича.

Еще полтора месяца ждал Сергей Сергеич, что красный директор подложит ему свинью по торговле и отнимет квартиру с дубовым буфетом. После успокоился и даже презирать жильца стал.

— Не настоящий коммунист. Только усами шевелит. Таракан.

В первую субботу великого поста Сергей Сергеич пошел к вечерне, облегчить сердце. Подойдя к дверям собора, убедился, что они заперты. Недоумевая, спустился с паперти и, обходя собор, наткнулся на соборного сторожа Акинфия.

— Почему, Акинфушка, службы нет?

Акинфий поправил шапку на взъерошенной голове.

— Отец Андрей брюхом занемог. Не будет службы. Просился живчик от Покрова отслужить, да прихожане не хочут. Потому ежели живца в церкву пустить, хоть веник алтарный, а стырит, прохвост,— степенно объяснил он и почесал низ живота.

Сергей Сергеич разочарованно поплелся домой. Открыл заморским ключом парадную и, тихой мышкой по коридору, мимо комнаты жильца к себе. В столовой услыхал из спальни легкое бормотанье. Обрадовался, подумал, что Кира молится тоже. Угнетало, что с революции от веры отошла. Приблизился к двери тихо, чтобы не беспокоить, заглянул.

В розовом свете фонаря увидел Киру на постели в беспорядке. Одна Кирина нога согнута, и над черным чулком отливает нежным блеском голое, круглое колено. А Кирины руки сплелись вокруг шеи жильца, и он целует Кирины прекрасные, жаркие плечи и бормочет, а глаза у Киры не закрыты, а распахнулись во всю ширь, глядят на Степана Максимыча, и в них выражение, какого никогда не видел Сергей Сергеич.

Заклохтало наседкой сердце, сразу опустел живот, как будто выпали кишки в огромный ножевой прорез. Сергей Сергеич постоял минуту, прижав пальцами живот, и, задом выпятившись из столовой, добрел до парадного, распахнул дверь на улицу.

В тумане скупо журчала в трубах подмерзающая капель. Сергей Сергеич долго бесцельно бродил в тумане, черпая лужи галошами и шепча что-то. Наконец направился домой. Отворяя парадную, нарочно громко стучал и кашлял, топотал по коридору. Когда вошел в столовую,— жилец и Кира сидели за чаем. На Кирином лице еще трепетало возбуждение, жилец спокойно отпивал чай. Волосы его были особенно гладко причесаны и лежали на упрямом черепе, как гладкая пепельная броня.

«Железные люди, неуютные,— подумал Сергей Сергеич,— подойдешь и ударишься. Мою жену целовал, а сам причесался и меня презирает. Матерьялист».

Он отказался от чая, прошел в спальню и долго рылся в конторке. Нашел бумагу, окунул перо в полувысохшие чернила и сел писать, морща лоб. Кира, простившись с жильцом, вошла в спальню и, лениво потянувшись, стала раздеваться. Переменяя сорочку, задумалась и опомнилась, только заметив, что Сергей Сергеич пристально смотрит на ее плечи, груди, круглые, как яблоко, нежные, как из пены, бедра и живот. Покраснела, быстро набросила рубашку и зло спросила:

— Что это ты писать вздумал? Писатель, тоже!

Сергей Сергеич не ответил. Кира повернулась к стене, заснула. Только перед рассветом Сергей Сергеич положил перо и зевнул. Он вспотел от напряжения, и рубашка прилипла к вдавленной груди. Поднес листок к глазам и прочел:

Многоуважаемый товарищ, красный директор!.. От чистого сердца, желая вам благополучия, осмеливаюсь предупредить от превратных поступков вашей жизни по поводу гражданки, жены Бегичева, Киры Андреевны. Я вас, коммунистов, не уважаю, но ваша личность мне симпатична, и потому решаюсь. Гражданка Бегичева, с которой вы состоите в телесном соглашении, — опасная соблазнительница. У нее была любовь с вашим товарищем, комиссаром дивизии Гордоном, и этот уважаемый товарищ через нее пошел на казенную растрату и покончил жизнь свою расстрелом. Потому и желаю вас упредить, что знаю вашу партийную слабость насчет женщин. Вам по вашему делу приходится больше иметь сношения с женщинами грубого вида, и потому вы легко поддаетесь буржуазным мессалинам и падки на наслаждения старого строя. И женщине без правил легко вас оплести, потому вы люди прямоугольные, без хитрости. А у нее и духи, и чулки с ажуром, и кофточка батист. Гляди, любуйся на мою красоту, будто все и прикрыто, а как на ладошке. А вы с непривычки хуже, чем с водки, пьянеете. Пишу вам из одной симпатии, жалко мне, что хороший человек из-за стервы покончит жизнь от партийной пули по высшему приговору.

Незаметная, но благородная душа.

Перечитал, со вздохом положил в конверт, погасил свет и прилег вздремнуть, а утром, попивши чаю, по дороге в лавку опустил в почтовый ящик, оглянувшись, не видит ли кто.

Возвращаясь из лавки, зашел в часовню, стал перед богородицей на колени, долго и истово молился о спасении рабы божией Киры от неправильного пути и о со-

хранении домашнего спокойствия. Пришел домой успокоенный и за чаем даже шутил с жильцом. Ложась спать, игриво пощекотал Киру и сам испугался. В устремленных на него глазах было бешенство и жаркая ненависть. Скорее закрылся одеялом.

5

Рано утром проснулся от настойчивого шепота, звавшего его из столовой. Приподнялся на постели, тревожно взглянул на Киру, она спала крепким сном. Надел туфли и вышел. Увидел одетого жильца. Лицо у него было странно закаменевшее, как будто налитое воском, и глаза смотрели упорно и недвижно.

— Идите за мной,— не то просил, не то приказывал Сергею Сергеичу.

Бегичев послушно побрел за ним, вздрагивая спиной, как пес на морозе. Жилец ввел его в комнату и, взяв со стола листик бумаги, поднес к лицу Сергея Сергеича.

— Это вы писали? — спросил он, растягивая голос, как резиновую плеть.

Сергей Сергеич втянул голову в плечи и закрыл глаза. Вермишель бороденки царапала ему голую грудь, и Сергей Сергеич думал: «Куда ударит? По голове или в живот?»

От ожидания во рту пересохла слюна.

— Вы писали? — переспросил жилец.

Сергей Сергеич отчаянно мотнул головой.

— Не врите! — крикнул Степан Максимыч и дернул Сергея Сергеича за руку. Сергей Сергеич, как кукла, повалился на бок, но жилец толчком привел его в вертикальное положение.

— Мерзавец! — процедил он и, помолчав, добавил:— Ну, шевелитесь! Помогите мне уложиться.

Сергей Сергеич открыл глаза и потрясенно взглянул на жильца. Посреди комнаты стояли жильцовы чемоданы, раскрыв пасти. Жилец стал бросать Сергею Сергеичу вещи, приказывая, куда класть. Ошеломленный, он послушно укладывал чемоданы и первый раз вздохнул, когда все было упаковано.

Жилец вышел в коридор и вернулся в пальто и фуражке.

— Помогите вынести! — грубо, как дворнику, сказал он Сергею Сергеичу.

— Вы разве уезжаете? — осмелился наконец выдавить Сергей Сергеич. Жилец повернулся к нему.

— Молчи, гад! Делай, что велят,— оборвал он.

Сергей Сергеич, вздрогнув, поднял тяжелые чемоданы и вынес их за жильцом на крыльцо. Холодный утренний ветер ударил под халат, и зубы Сергея Сергеича стали выбивать двойную дробь холода и страха. Жилец сошел с крыльца, скрылся за углом и сейчас же вернулся с извозчиком. Он взвалил чемоданы на пролетку и повернулся к Сергею Сергеичу:

— Ни слова Кире Андреевне. Скажешь, что уехал в командировку. Понял? А вот тебе, сукин сын, на прощанье!

Жилец набрал воздуху, вдруг смачно плюнул в лицо Сергею Сергеичу и быстро вскочил в пролетку. Сергей Сергеич остался на крыльце. Плевок стек по щеке и повис на вермишели.

Ветер беспокойнее завозился под халатом. Сергей Сергеич запахнул полы и вошел в квартиру. В передней он стер плевок и побрел по коридору, понурив голову, но все в нем пело и ликовало.

— Поверил... поверил,— шептал он, входя в спальню и ложась в постель.

За утренним чаем он сидел как на иголках. Кира прошла мимо него в умывальную. Он сидел и ждал с застывшей улыбкой. Услышал, как ее шаги задержались у кабинета. Донесся удивленный голос:

— Сергей Сергеич! Почему у Степана Максимыча вещей нет и комната открыта?

Встревоженная Кира стояла в дверях. Сергей Сергеич сделал равнодушное лицо и проронил:

— Я и забыл тебе сказать, Кирочка. Он рано утром уехал в срочную командировку.

Краска сбежала со щек Киры, она закусила губу. Сергей Сергеич почувствовал, что настала пора реванша. Он глубоко затянулся папироской и сказал:

— Расстроилась? Ничего! Вернется, натешишься еще над мужем. Нацелуешься.

Кира подняла голову. Сколько ненависти может быть

в женском взгляде! Дернула губой и ответила без волнения:

— А, сам уже знаешь. Ну и хорошо! Говорить не нужно.

Прошла и заперлась в спальне. Сергей Сергеич подкрался, послушал. Кира плакала. Он покачал головой и пошел в лавку.

Из лавки зашел к дядюшке Артему Матвеичу, рассказал. Посмеялись оба над доверчивым красным директором. Сергей Сергеич презрительно приврал:

— Дурак! Еще благодарил даже. Благородный вы человек, Сергей Сергеич. Спаситель мой от партийного позора и окончательной смерти. Даже место обещал в Питере, если захочу.

— Нетвердая у них башка на семейные тонкости,— буркнул старик.

— Самое и есть! Если б свой брат, коммерческий человек, или из благородных,— прощай, Кирочка. А тут уехал, да еще и благодарил.

Идя от дяди домой, Сергей Сергеич бережно нес в руке сверточек с парижскими духами и модными перчатками.

— Успокоится! Поплачет — и все придет в порядок. Настанет мир и благочиние в дому. Выжил таракана, слава те, господи.

Дома нарочно громко протопал мимо пустой комнаты жильца, вошел в спальню. Марфутка, возившаяся у буфета, осклабилась:

— Барыня сказали, чтоб вы сами обед кушали. Они в церкву пошли.

Сергей Сергеич почувствовал новый прилив радости.

«Взыскал господь и размягчил грешное сердце. Теперь все будет хорошо»,— подумал он, садясь за стол. Пообедав и выпив даже на радостях стакан вина, ушел в спальню и взялся за приложение «Родины». Раскрыл на стихах об атлете. Из книги выпала сложенная бумажка, Сергей Сергеич неохотно поднял ее, думая, что это закладка.

Но в глаза бросилось жирно написанное карандашом слово: «Негодяю».

Дрогнувшими пальцами развернул бумажку, уткнулся в нее, прочел:

«Сейчас за мной приехал Степа. Он рассказал все. Мы едем в Питер. Как я тебя ненавижу, жаба, гнус!

Жалко, что Степа не позволяет убить тебя, а то с радостью изничтожила бы погань».

Сергей Сергеич держал перед глазами записку и почувствовал, как по омертвевшей щеке ползла горячая капля. Как-то глупо, нечаянно, вспомнилась фраза из старой медицинской книги, виденной у знакомого букиниста на базаре: «Слезы вызываются нервическим раздражением особых железок, находящихся во внутренних углах нижних век».

Сквозь стекла окна долетел с вокзала высокий свист уходящего поезда. Сергей Сергеич скомкал в руке записку, отогнал ненужную фразу и, оглядев карточку Киры, забытую на стене, сказал вслух:

— Недостойная Мессалина!

<1926>

ГРАФ ПУЗЫРКИН

Они уже уходят из памяти, эти годы, пронесшиеся ревущим водопадом. Обрушив на нас свой пенный водоворот, они вынесли нас в тихое озеро, и на его сонной глади мы понемногу забываем песни бури. Память роняет звенья воспоминаний, события уплывают в небытие, как налитая в решето вода.

Скоро мы забудем все, и вот почему мне хочется рассказать эту простую историю трогательной мужской любви, преданности и верности и женского легкомыслия и непостоянства. Я вспомнил о ней только потому, что вчера встретил эту женщину в модном ресторане. С безразличным выражением фарфорового лица, отклонив назад голову, она выделывала однообразные па фокстрота, зажатая в красных, волосатых лапах какого-то иностранного жулика, приехавшего поглядеть на страну диких совдепов.

Я слышал, как за соседним столиком лощеный молодой человек сказал шепотом своей даме, показывая движением головы на танцующую: «Бывшая графиня С...».

И память перебросила меня на семь лет назад, в украинские степи под Киевом, в зиму, которая стала зимой победы. Свистящий суховей швырял нам в лица метелью и звенящим колючим снегом. Мы наступали к югу, а перед нами, оставляя на пути сотни трупов и замерза-

ющих, катилась раненная насмерть Добровольческая армия.

Это случилось после боя под селом Ковалевкой, почти на том месте, где сто лет назад орудия генерала Гейсмара вихрем картечей разметали по снегу дерзкое каре декабриста Сергея Муравьева.

В этот день история уплатила проценты по столетнему векселю, сметая картечью наших трехдюймовок конную лаву волчанцев.

После боя, проходя по лесу, мои кавалеристы наткнулись на брошенную в чаще телегу без лошадей. В телеге под грудой попон и другой рвани лежала полузамерзшая женщина. Ее с трудом удалось привести в себя, и в маленькой хате Ковалевки я нашел ее уложенной на лежанку, закутанной в полушубок и напоенной чаем.

Возле нее дежурил наш кашевар Пузыркин, маленький, рябой человечек с необычайно нежной и жалостливой душой.

Увидя меня, входящего в хату, Пузыркин привстал и отрапортовал:

— Так что, товарищ начальник, оны обмерзли было, но вже пьют чай и кушают.

Женщина слабо и болезненно улыбнулась. Глаза ее с благодарным выражением остановились на рытвинах пузыркинской физиономии.

— Ах, я так благодарна, — она замялась на мгновенье,— госпо... товарищу Пузыркину. Он просто чудесная нянька, так он ходил за мной.

Я промолчал и после короткой паузы задал официальный вопрос, к которому меня обязывало положение командира:

— Разрешите узнать, кто вы такая?

Ресницы женщины опустились на ее серые зрачки, легли тенью на фарфоровые щеки. Лицо осунулось и посерело. Некоторое время она молчала, и только вздрагивала ее маленькая и пухленькая нижняя губа.

— Вы не расстреляете меня? — сказала она наконец глухо.

Я пожал плечами.

— Странное у вас понятие о частях Красной Армии. По поведению вашей няньки вы имели время убедиться, что мы не воюем с женщинами.

Она вскинула глаза.

— Но может быть, это потому, что никто не знает моего имени.

— Не имя, а дела принимаются нами в расчет при решении судьбы человека. Если за вами нет темных дел, вам нечего бояться.

Она пристально следила все время за моим лицом, ловя на нем правду.

— Я графиня С..., — наконец сказала она, и снова ресницы бросили тень на дрогнувшую щеку.

— Как вы попали в лес? — спросил я, не обращая внимания на ее волнение.

— Я вышла из Киева вместе с волчанцами, чтобы догнать мужа в Одессе. Но в минуту паники, когда волчанцы наткнулись на вас, мои спутники обрезали постромки и ускакали на упряжных лошадях, бросив меня в лесу.

— От сволочи... — брякнул вдруг молчавший до сей поры Пузыркин.

Горячая краска волной хлынула в щеки женщины. Я обрушился на Пузыркина:

— Пузыркин! Ты с ума сошел? Так ругаться при женщине?

Пузыркин вскочил и испуганно захлопал рыжими глазами.

— Виноват, товарищ командир. Осерчал. Разве ж это люди, чтоб самим наутек, а бабу в лесу кинуть волкам на съедение.

Я усмехнулся. Улыбнулась и женщина, почувствовав себя в безопасности.

— Что же нам с вами делать? — машинально вслух спросил я.

Она жалобно смотрела на меня.

— Только не бросайте меня. У меня ни копейки денег и на пятьсот верст ни одной близкой души. Довезите меня до Одессы, там у меня родственники.

— Сударыня. Мы же не беженский транспорт и не можем подбирать всех застрявших. А потом, мы подвержены всем случайностям войны. До Одессы, может быть, нам придется принять еще десяток боев, а мы не можем ни подвергать вас опасности, ни возиться с окарауливанием вас.

— Я даю слово, что не убегу. Куда мне бежать? В степь? Чтобы замерзнуть или быть съеденной волками?..

Я задумался на мгновенье, но мои помыслы прервал Пузыркин:

— Товарищ командир, если разрешите сказать... Я их сберегу. Вы мне только доверьте. А оны не без пользы при нас будут. Сами жаловались, что похлебка всегда грязная, известное дело — без бабы чисто не сваришь. А бросить их, товарищ командир, дюже жалко... Оны без силы, пропадут не за грош...

Я едва сдержал взрыв хохота. Графиня, помогающая Пузыркину варить красноармейскую баланду. Это зрелище было достойно внимания.

Но женщина вдруг легко и просто сказала:

— Правда, товарищ. Я с удовольствием помогу, чем можно и что в моих силах. Лишь бы мне добраться до родных. А если вы меня бросите здесь, это будет более жестоко, чем если бы вы меня расстреляли.

Я махнул рукой и пошел к комиссару. Комиссар полка, старый ижевский слесарь, выслушал мой доклад и хмыкнул в усы:

— Черт с ней, пусть едет. На подводе место найдется. А работа будет. Хоть красноармейцам рубахи поштопает. Не трудящий да не ест.

Так и осталась графиня при красноармейском кавалерийском полку в подчинении у кашевара Пузыркина. Но в Одессу попасть нам удалось не скоро. Нас бросили наперерез пробивающейся в Польшу армии генерала Бредова. И только через две недели мы вернулись на прежнее направление.

А за эти две недели и случилась история. Рябой Пузыркин влюбился в графиню до помрачения рассудка. Он ходил за ней, как за малым ребенком, поил и кормил ее чуть не с ложечки, устраивал ей лучшее место на ночлегах, оказывал тысячи мелких услуг и, не отрываясь, смотрел ей в глаза, как преданная собака.

У нее мерзли ноги. Пузыркин, заметив это, добыл ей шведские высокие валенки. Где он достал их, некогда было разбираться, но если бы разобраться, протоколы трибунальских дел о мародерстве, верно, увеличились бы еще одним.

А она принимала все эти знаки внимания, как настоящая королева.

Обнаружить окончательно пузыркинскую влюбленность удалось мне случайно.

На отдыхе в каком-то селе Пузыркин пришел в пол-

ковую канцелярию и робко попросил бумаги. Усевшись с нею в углу, он погрузил ручку вместе с пальцами в плошку, служившую чернильницей, и просидел до ночи над бумагой. Волосы его слиплись от пота, губы беспрерывно шептали. К ночи он исчез. Проходя через канцелярию, я увидел под столиком, где сидел Пузыркин, груду изорванной бумаги. Не знаю почему, но я заинтересовался, поднял с полу несколько лоскутков и с первого взгляда обнаружил, что Пузыркин занимался составлением любовного письма в разных вариантах. Я приказал деловоду позвать Пузыркина.

Он пришел ко мне в хату смущенный и недоумевающий.

— Ты что же, дьявол, спятил, что ли? — спросил я его, подсовывая лоскут бумаги.

Он побагровел, опустил голову и молчал.

— Что ж ты молчишь? Куда ты полез с суконным рылом?

И вдруг я увидел, что по взрытому оспой лицу кашевара катятся огромные, такие же неуклюжие, как сам Пузыркин, слезы. Что-то оборвалось у меня в середине. Я вскочил с лежанки и схватил Пузыркина за руку:

— Пузыркин... Дурень... Неужели всерьез втрескался?

Он закивал головой, не подпимая глаз, и глухо заговорил:

— Не гневайтесь, товарищ командир. Вытравила она мне душу, не могу я больше.

— Да ты понимаешь, что она тебе не пара?

Пузыркин всхлипнул:

— Понимаю, товарищ командир. А только полюбил я ее насмерть. Хочу ее замуж узять, бо нет мне без нее существования.

Мне стало и смешно и больно. А Пузыркин, белый от волнения, перехватывая воздух побелевшими губами, бормотал:

— Я вот рассказать не умею, а так оно мне понятно. Темные мы люди, товарищ командир, только вот революция глаза разодрала. В деревню мне вернуться после войны тяжко будет. Бабы у нас все безграмотные, словно не человек, а дерево. Что мне с такой делать. А она образованная, да ласковая, да приветливая, детишек научит по-образованному. Ежели мы света, окромя своей

избы, не видали, пусть хоть детям солнышко засветит...— Он утер слезы ладонью.

— Да ведь у нее совсем другие понятия, Пузыркин. Она барыня, враг твой. То ты с барами воевал, а то на барыне жениться захотел.

Пузыркин поднял на меня глаза. В них сверкнула обида за свою любовь.

— Она барыня хорошая, — дрогнувшим голосом сказал он, — я ей про Интернасынал рассказывал, так она слушала внимательно так и говорила, что я ей правду открыл, и согласна она с трудящим народом оставаться и в заграницы не ехать.

— Балда ты, балда, Пузыркин. Катись колбасой.

Он щелкнул каблуками и вышел, а я отправился к комиссару. Комиссар долго хохотал, держась за живот, а потом спросил меня, давясь смехом:

— Слушай, почему ж тебя это так волнует? Это, брат, так сказать, изживание классового антагонизма... Любопытно... Граф Пузыркин. Ох-хо-хо... ха-ха...

Я огрызнулся и ушел. Так прошло еще несколько дней, когда однажды вечером ординарец доложил, что меня хочет видеть «пузыркинская барыня».

Она вошла потупив глаза, и я видел, что ее рука нервно мнет кончик платка.

— Я хочу просить вас защитить меня от приставаний этого мужика, вашего кашевара. Он совершенно забылся, — сказала она капризным голосом.

— А в чем дело? — спросил я, не подавая виду, что знаю суть дела.

— Вы понимаете, товарищ, он обнаглел до того, что признался мне в любви и заявил, что желает жениться на мне. Как вам это нравится?

Я спокойно ответил:

— Мне это нравится. Он честно говорит вам о том, что творится в его душе.

Она резко вздернула плечами.

— Что же, по-вашему, я должна отдать руку и сердце этому... кашевару?

— Сударыня, — сказал я мягко, — этот кашевар самый порядочный мужчина, какого вы до сих пор встречали. Ваш круг мужчин уже сошел с исторической сцены, на смену идут другие. И если вы не хотите утонуть, хватайтесь за спасательный круг. Могу ручаться, что Пузыркин лучший муж, чем ваш прежний.

Она резко вскинулась:

— Благодарю за совет. Я пришла к вам как к интеллигентному человеку, а вижу, что вы не лучше своих Пузыркиных. Я знаю, что мне делать.— И она вышла.

Несколько дней прошло тихо. Пущенное комиссаром словцо расползлось по полку, и кавалеристы в глаза и за глаза кликали кашевара графом Пузыркиным. Он ходил понуря голову и молчал. В последний день вечером я, проходя по селу, встретил графиню нежно идущей под руку с адъютантом инспектора кавалерии Снятковским. Это был нахальный, смазливый мальчишка со всеми манерами довоенного корнета и всеми задатками хулигана. Он приехал к нам на несколько дней с поручением инспектора осмотреть наш конский состав и завтра уезжал обратно. Они прошли мимо меня, и я уловил обрывок фразы.

— Ах, Жорж... я никогда не думала, что среди красных есть такие милые люди...

Они прошли... А утром я узнал, что графиня уехала со Снятковским.

— Скатертью дорога, — сказал я комиссару в ответ на эту новость.

Но вечером Пузыркин напился самогону и набуянил. Он хватил кочергой кого-то из насмешников и с трудом был скручен десятком красноармейцев. Я приказал отнести его в хлев и запереть до утра. Когда его несли, он кричал, то называя изменницу ласковыми жалобными именами, то покрывая ее четырехэтажным матом.

Комиссар стоял и усмехался, а у меня больно сжималось что-то внутри. Ночью меня разбудил ординарец:

— Товарищ командир... Встаньте... Оказия вышла... Граф Пузыркин застрелился.

Я на ходу набросил полушубок и вбежал в хлев. На полу среди красноармейцев лежал Пузыркин. Верхняя часть его головы была снесена выстрелом из нагана в рот. Он не мог пережить крушения мечты, гибели своих надежд на женитьбу на образованной, на выход из той серой и беспросветной деревенской жизни, из которой его наполовину вырвала уже революция. Что до того, что эта надежда была ложной, что он строил здание на пес-

ке. Ему оно казалось прочным, и обвал раздавил его самого.

Все это вспомнилось мне вчера в ресторане, под тягучие визги скрипок. И когда пара скользила мимо моего столика, я как бы невзначай уронил вилку. Женщина вздрогнула и повернула голову ко мне. Наши глаза встретились. В ее зрачках мелькнул мгновенный испуг, но она быстро оправилась и, не теряя темпа фокстрота, прошла мимо меня не оглянувшись.

Они быстро уходят из памяти, эти годы, пронесшиеся ревущим водопадом.

<1926>

МИР В СТЕКЛЫШКЕ

1

Старому сердцу натужно достукивать остатние часы. Словно валик дедовской музыкальной шкатулки, изломанный беспощадно любопытными руками внучонка, старое сердце застревает, хрипло стучит, обрывается. Уже не наивно-пленительная, обволакивающая мелодия, а жалобный сип, шипенье, хряканье, черт знает что.

Человечья музыкальная шкатулка, долгие годы наигрывавшая несложные, но чистые мотивчики любви и злобы, скорби и веселья, на разные такты, от шестидесяти до ста двадцати в минуту, — на сегодняшний день сохранила, впоследях, одну только невеселую пьеску, с фальшью, на самый томительный темп.

Название пьески — скука, опус пятьдесят восьмой, если считать опусы по земным календарным круговоротам.

Порчу шкатулки, гибель чистых мелодий, ржавчину, навязшую на валике, доктора именуют вязким и нудным, никому, кроме докторов, не нужным словом: артериосклероз. Если перевести на простую речь — выйдет еще нудней и вязче: отвердение стенок кровеносных сосудов.

Только переводить как будто и незачем. Никому, кроме себя самой, не интересно.

От всего, что пело, звенело, кликало, звалось жизнью,— осталась едкая, как запах горелых перьев, память: ревматизм, покоробивший прекрасные некогда пальцы; птичьего глаза инкрустированный ящичек со связкой писем и завернутыми в шелковую бумагу парчо-

выми туфельками-наперстками да хворая старушонка, левретка Бици, с омертвелыми паралычными лапками и облысевшим, глаже ребячьей щеки, задком.

Старость пришла как-то незаметно, воровски, оторвала и бросила далеко в незаглядную яму былое: юность, розовую свежесть, лукавый карий огонь под гибкими веточками бровей, блеск бриллиантов в ожерелье и шифре, торжественный чин двора, сверкающее круженье балов, шитый мундир мужа.

Еще до шумного года казалось, что это совсем близко, что еще можно вернуть тайными силами ушедшую молодость, потому что, за исключением молодости, все было к услугам жены вице-адмирала Ентальцева, Анны Сергеевны, фрейлины большого двора.

Только когда дымная завеса шумного года наплыла и закрыла парадный спектакль империи — стало ясно, что пришла непрошеная и торопливая старость.

С детства у адмиральши была боязнь шума. Пугал даже полнокровный зеленый шелест листвы в дневном саду. Когда налетающий в полуденном зное ветерок вздымал листики лип исподней стороной кверху, зябко поводила плечами, вскакивала со скамьи в дальней беседке, с бьющимся сердцем поспешно бежала к дому, словно не шалый простяк-мальчишка ветер, а шумящий хмурыми крыльями дьявол спустился на ветви лип.

В роковой год, когда отзвенел опус пятидесятый и в нем, впервые, взвизгнула фальшивая нота артериосклероза, испугалась Анна Сергеевна налетевшего вихревого шума и грохота, захлопнула сердце, как книгу, заткнула еще просвечивавшие коралловой теплотой ушные раковинки туго скатанными шариками ваты и заперлась одиноко в квартире, уходя от шалого шума, который назван был ревущим именем революции.

А когда настала вновь ясная тишина и решилась адмиральша вынуть вату из ушей, увидела вокруг пустынный мир, в котором плавала она, бездорожный обломок крушения, вдовой вице-адмирала Ентальцева.

Но и это было ни к чему. В книге судеб человеческих, валявшейся в изгрызенном крысами столе управдома, в графе квартиры девятой, красными чернилами (управдом сочувствовал РКП) перечеркнуто жирно и нагло звание, а внизу оговорка:

«Зачеркнутой жене вице-адмирала не верить. Управдом Сахарков».

Управдом Сахарков, сам не ведая, дописал лишь последний параграф сурового приказа, изданного жизнью.

Зачеркнутой жене вице-адмирала Ентальцевой не верит больше никто, кроме слабеющей Бици. Только она еще подползает, волоча омертвелые лапы, погреться у подола хозяйки.

Валик цепляется, хрипит, вызванивает, срываясь, опус пятьдесят восьмой, опус скуки и одиночества.

У адмиральши нет никого. Детей не хотелось иметь: сперва жалко было уродовать прекрасное стройное тело и лишать себя удовольствий; потом стало поздно. Да и к лучшему! Что делали бы ее, Анны Сергеевны, дети в этом жестоко обновленном мире?

Была бы только боль и ужас насильственного отрыва, гибели, как было во многих знакомых Анне Сергеевне семьях.

Без детей меньше скорби и забот. Только скука, темный дым бесконечных вечеров, пасьянс и шестьдесят шесть, часто разыгрываемое с жильцом комнаты номер четыре, безработным слесарем Патрикеевым.

Но о Патрикееве рано. Сперва о других.

2

В шести комнатах широкой адмиральской квартиры закон революции поселил чужих.

Если сунешь нос в переднюю, где щиплет веки застарелый кислый угар железных печных труб, иззмеившихся вдоль всего коридора, — направо будет первая дверь. За ней проживает ветеринарный доктор, пан Куциевский.

Пан Куциевский — поляк: имя у него сладко-приторное, будто срезали его с сахарной бонбоньерки и, шутя, приклеили к человеку, не задумавшись о последствиях: Ромуальд Станиславович.

Жилец третьей по коридору комнаты, Борис Павлович Воздвиженский, секретарь председателя Шелкотреста, говорит всегда о Куциевском с усмешкой:

— Ежели на клетке борова узришь надпись «соловей» — не верь глазам своим.

Бывают у природы этакие досадные промахи. Трудно, конечно, ей, всеобщей матери, за всем углядеть. Упарит-

ся, сердешная, иной раз хватит с полочки не ту этикетку и — ляп!.. А отодрать — уже ввек не отдерешь.

Наружность же у пана Куциевского совершенно противоположна имени.

С таким сахаринным прозвищем нужно было иметь человеку горделивый профиль орла, глаза лазурного цвета и гулять в хорошо накрахмаленной тоге по приморскому бульвару, где-нибудь в древней Помпее, распевая по пергаментному свитку Горация:

Exegi monumentum aere perennius...[1]—

а вовсе не влачить серое бытие ветеринарного доктора во второй государственной лечебнице для животных на Девятой Советской.

Да еще с такой внешностью!

Запамятовала нерадивая домохозяйка очистить с медной сковороды пригорелую домашнюю лапшу, прилипла лапша рыжими нитками к томпаковой окружности, а промежду лапши застряли две мутно-зеленых горошины. Сверху лапшу ложкой повыдрали — стала гладкая плешина.

Сковородка лежит на круглобоком огуречном бочонке, а бочонок поставлен на два осиновых кривых комля.

Незаурядный человек — пан Куциевский.

Но он не унывает, помогает жить шляхетская, распирающая грудь гордость. Ведут род Куциевские от древней шляхты, Сандомирского повету, герба Зброжей. Так говорят благородно желтеющие в письменном столе жалованные грамоты Стефана Батория и Михаила Вишневецкого.

Пан Куциевский обожает великую Польшу, которая еще не сгинела, в которой вскоре, может быть, будет пан круль.

Что такое пан круль — спроста нельзя объяснить. Но при этом слове всегда незримо, как ассистенты при знамени, рисуется красная мантия с горностаевой оторочкой, хрустальная музыка лихих парадов и табель о рангах.

Это пышно, это прекрасно, как имя Ромуальд, это не похоже на серое быдло одинаких людей, где сам пан президент летом ездит в отпуск в деревню, как замух-

---

[1] Создан памятник мной вековечнее меди...

рышка-чиновник, и там ходит босым и косит сено, как хлоп.

Пан Куциевский мечтает о Польше, об оптации, об улицах Варшавы, напитанных солнечной мглой и липовым духом. В Варшаве можно сделать карьеру, имея жалованные грамоты Стефана Батория и Михаила Вишневецкого.

Но трудно уехать. Нужно много, очень много грошей, чтобы обзавестись европейским гардеробом (в Польше нельзя жить без фрака); нужно иметь запас, чтобы протянуть первое время, пока вывезут наверх Вишневецкий с Баторием, пока не даст сынолюбивая Речь Посполита казенного места блудному сыну.

Гроши... Разве накопишь их здесь, где не только скоты, но и люди норовят лечиться задаром, на государственный тощий счет?

Бессовестное время, бесстыжий народ.

Вместо Варшавы — ежедневно скотская амбулатория, где нужно ставить клизмы болонкам и смазывать йодом горло орущим котам.

От этого пан Куциевский носит в груди ненасытную ненависть к серому быдлу, от этого ненавидит соседа по коридору — безработного слесаря Патрикеева, от этого растит и питает наследственную шляхетскую злобу к жидам.

Эта злоба у пана Куциевского необорима и пламенна, как первая страсть.

В каждом встречном чудится чертова нация.

На улице тусклые горошинки Куциевского прыгают по сковородке, бегают, пляшут по лицам, словно нюхают все живое, щупают носы, губы, уши, отмечают незримые антропологические признаки.

«Вот тот... и этот и та вон с мехом... и еще один».

Можно дойти до большой специализации при ежедневной практике. Чуть выйдешь на улицу, взглянешь вдоль — и сразу можно сосчитать, какой процент жида. Очень удобно и полезно на всякий случай.

Пан Куциевский до такой тонкости дошел, что даже собак различает. Вот этот бульдог русский, а эта борзая жидовская. И никогда нельзя ошибиться. Есть такие особые признаки.

Под томпаковой плешиной шевелится мысль:

«Когда бендзе круль, тшеба закон: метить жида сверху для отлички. Кольцо в губу альбо тавро конске Ж».

Даже в квартире нет покоя пану Куциевскому.

Один только жилец — бесспорный русак: слесарь Патрикеев. Знает такие кацапские матерные выверты, каких ни один иностранец не выучит.

«Адмиральша? Альбо русская, альбо нет. Как был царь, то офицеров-жидов не было. Что? А министр Витте взял пани из одесских жидов. О! Як бога кохам, неладно. Нос с горбом...»

«Борис Павлович Воздвиженский? Прозванье русское. Альбо дьябла в прозванье, — за пятнадцать карбованцев можно теперь из Мовшенсона стать Митрополитовым. Борис!.. Борух!.. И с Пекельманами запанибрата».

«Пекельманы? Ну, то нечего и думать. Пекель-ман! О, пся крев!»

Мимо комнат Пекельманов нужно ходить по коридору, кривя губы, словно в рот попала какая-то гадость. Изредка можно плюнуть на дверную ручку.

Мадам Пекельман умирает от скоротечной чахотки. Так и надо. Бог наказывает треклятый народ.

По утрам, если приходится попасть в очередь у ванной после Пекельмана, нужно вымыть мочалкой фаянсовую чашку умывальника и облить сулемовым раствором из большой бутылки, нарочно стоящей на полке. Не потому, что чахотка заразна, а потому, что Пекельман. Брр!

Стать бы хозяином квартиры, тогда можно было бы запереть ванную, а ключи дать только Патрикееву, ну и еще адмиральше. А Пекельманы с Воздвиженским пусть бегают на кухню к грязной раковине. Но квартира — коммунальная: приходится переносить. Скверно жить среди хамского быдла, имея шляхетскую гордость и родословное древо.

3

Пекельманы живут широко. На два человека — две комнаты.

Леля Пекельман, по удостоверению диспансера, пользуется отдельной комнатой, на зависть другим.

Но она себе не завидует. Недолгое и горькое счастье.

Нельзя угадать, когда иссохшая крысиная лапка туберкулеза набросит душную подушку тьмы на обтянутые губы, жадно ловящие последние вздохи.

В солнечной комнате Лели Пекельман грустный и щемящий уют, всегдашний уют умирающей юности. Желтые шторки на окнах обволакивают углы в золотистый теплый трепет, на мебели строго висят белые чехлы, высокое зеркало над туалетным столиком сияет холодно и чисто.

Леля неподвижно лежит весь день на узенькой девичьей кровати, накрытая веселой радугой бухарского одеяла.

Худыми пальцами, схожими с пенковыми папиросными мундштучками, она безостановочно перелистывает страницы книг.

Книг много: они лежат на Лелиной груди, в ногах, по всему одеялу, на кресле у постели, на украинском цветном коврике,— кривятся пестрыми масками бесчисленные томики. Леля не расстается с ними.

Когда слишком рано умираешь, горько и неотвратимо хочется знать, как жили, живут и будут жить другие без тебя. Как будут тосковать и ненавидеть, ликовать и любить, со здоровой беспечностью шагая через вдавленный бугорок, под которым чернозем высасывает неживые соки из отслужившего миру без времени тела.

Торопись, торопись, уже угадавшее свой срок сердце! Не уставайте впитывать льстивый мед книжного обмана, ненасытные глаза!

Книги приносят Леле муж и Борис Павлович Воздвиженский. Больше Борис Павлович — у него приятель в правлении крупного издательства, и через него можно получать все книжные новинки.

Муж Лели Пекельман — заведующий районной текстильной лавкой рабочего кооператива «Красный путь». Зовут его Генрихом; родом он из старого холмистого Дерпта, не то немец, не то эстонец. Он высок, поджар, еще молод (по паспорту тридцать два); но в сутулой фигуре, в вяло свешенных руках, в морщинках, прямо падающих от носа к углам рта,— тяжелая стариковская усталость.

По странной случайности, снаружи лицо Генриха Пекельмана окрашено здоровой ореховой смуглотой, гладкие волосы черны до синего блеска, зрачки без райков смотрят из-под бровей владимирскими наливными вишнями. По первому взгляду нетрудно принять его за тореадора, из прихоти надевшего толстовку.

Так кажется всем, кроме пана Куциевского, для которого Генрих Пекельман — пломбированный обрезанец.

Пекельман угловат, малоподвижен, молчалив. В квартире редко слышали его голос. Даже встречаясь в коридоре с другими жильцами, здоровается он молча, сухо склоняя гладко причесанную голову.

Одной адмиральше хорошо знаком его глуховатый тенорок с твердым прибалтийским акцентом. Комната адмиральши бок о бок с комнатой Лели Пекельман.

Раньше на двери висел грузной броней текинский ковер, трофей похода, привезенный отцом вице-адмирала. Его скатали в тугую трубку и унесли со двора хитроглазые казанцы, и теперь адмиральша без труда различает говор за дверью.

Болезненно звонкий, как летящие осколки стекла, это — Леля. Глуховатый, покорно печальный — Генрих. Сочный, открытый — Борис Павлович.

Чаще всего говорит Борис Павлович, реже Леля. Совсем редко Генрих.

Может быть, это потому, что из трех тяжелее всего шагать через жизнь Генриху... Когда на руках жена с легкими, изъеденными палочками, не служащая и не член профсоюза, человеку нужно или раскапывать тайник, где от шумных годов припрятано желтое золото и блесткие камни, или иметь свое прочное кормежное дело. У Генриха Пекельмана — ни того, ни другого. На сто рублей жалованья немного можно сделать для умирающего от чахотки человека.

Достать пятьсот рублей, нужных не для спасения уже, только для облегчения Лелиного ухода из жизни,— трудно. Никто не даст такую сумму Генриху Пекельману в тяжкое время. От этого Генрих замкнут сухим молчанием, от этого — и еще от другого, о чем он никогда и никому не скажет.

Утром, в половине десятого, Генрих уходит в лавку, возвращается домой не раньше десяти вечера. После закрытия лавки нужно подсчитать кассу, проверить с кассиршей чеки, осмотреть и запереть помещение. После лавки — два часа высшие кооперативные курсы. Генрих не пропускает занятий: он упорен, как эстонец, и трудолюбив, как немец. По окончании курсов можно выйти на большую дорогу: можно перейти в хороший универмаг, рублей на двести, двести пятьдесят.

Не нужно жить бесплодными детскими мечтами, как Леля: нужно брать жизнь за рога, иначе сам очутишься на них. С жалованьем в двести рублей уже можно от-

править Лелю на юг. Заведующему универмагом многие окажут кредит.

Домой Генрих приходит сломленный, поникший, серый. Он входит в Лелину комнату всегда с одним и тем же жестом (тыльной стороной кисти по бровям), с одной и той же фразой: «Как здоровье, Лела?» (ставя в слове «Леля» твердое «а»). И садится в кресло у постели, часто прямо на разбросанные книжные томики, как будто не замечая их. Он гладит Лелину руку, спрашивает, вовремя ли накормила ее прислуга и не забыла ли она мерить температуру; смотрит на щеки Лели, обагренные ядовитым румянцем. Исчерпав вопросы, молчит.

Он устает за день — Генрих. Работа трудна, нужно удовлетворить всех покупателей, нужно быть ровным, вежливым, уметь сдерживать себя, когда бестолковая покупательница часами роет товар на прилавке.

Но и незачем придумывать слова, — все равно Леля не слушает Генриха: с прошлого года ей скучно с ним. Он ничего не хочет знать в мире, кроме своей кооперации; он совсем не умеет разговаривать. Пока Леля была здорова, бывала в театрах, видела людей, это было незаметно; со времени болезни жестоко выпятилось наружу.

Леля и Генрих — разные люди. Леля кончила гимназию, хорошая музыкантша, много читает. Генрих прошел только городское училище, у него никаких талантов. Нет общих интересов. А молчаливая любовь Генриха не знает нужных умирающей Леле пышно наряженных слов, распускающихся на губах пестрыми чашечками цветов.

Посидев, Генрих целует Лелины волосы и уходит в свою комнату. В одиннадцать он уже спит. Нужно раньше ложиться, чтобы не опаздывать на службу, чтобы быть образцовым работником, примером другим. Все это — для Лели.

4

Кроме книг, Леля любит часами глядеть в хрустальный шарик пробки граненого флакона, постоянно стоящего у постели. Леля часто кашляет. После каждого приступа кашля вытирает рот платком, смоченным в одеколоне «Саида».

В прозрачном бело-сияющем шарике отражен мир.

Последний мир Лели Пекельман — комната в двадцать семь квадратных метров.

Он тосклив и страшен, кирпичный микрокосм, оклеенный зелеными, в полоску, дешевенькими обоями. Страшен ограниченностью своих двадцати семи метров, тишиной, заброшенностью, мягкими поскрипывающими шагами вкрадчиво стерегущей смерти.

За его стенами, за желтыми шторками на окнах, ярится и бушует макрокосм. Огромный, с пылающим горизонтом, шумливый простор бегущего бытия, доступный теперь Леле только в очень морозные и солнечные дни, когда холод выпивает из воздуха сжимающую легкие сырость. В такие дни Леля уходит в Летний сад и два часа сидит на скамье против дедушки Крылова, закутанная в пушистую беличью шубку, вытянув маленькие ноги в фетровых валенках.

Над сквозными скелетами голых деревьев, ожемчуженными инеем, дрожит блекло-голубое высокое небо, скованное хрупким морозом.

В нем не видно дна. Леля, щурясь, вглядывается в белесую голубизну. У нее холодеет и замирает пульс. Очень скучно и страшно летать одной в такой ледяной неживой пустыне. Неужели там ничего нет?

От пустого и пугающего неба нужно возвращаться в душный микрокосм, зеленый, в полоску. Леля боится его. Он с каждым днем суживается, теснеет, скоро станет тесен, как шестидощечный сосновый ящик. Поэтому Леля никогда не смотрит прямо на свою комнату. Она предпочитает рассматривать ее отражение в круглом стеклышке пробки.

В нем зеленый микрокосм кажется упрощенным, игрушечно маленьким, приветливым, — разноцветной картинкой, придуманной для забавы добрым магом.

Стены, потолок, пол, окна выгибаются легкими дугами, взлетают стрельчатыми воздушными арками, то порхают ввысь, то рушатся изломами к самому лицу, пронизанные молочно-опаловыми, трепетными иглами лучей.

Сказочный мир в стеклышке зачаровывает дымной волшбой горячие, непомерно громадные глаза Лели Пекельман. В нем даже лицо, с втянутыми щеками, заостренным носом и прилипшими к зубам губами, становится по-прежнему круглым, задорным и шаловливым.

Сияй, сияй, маленький стеклянный мир. Неведомый мастер выточил тебя по образцу и подобию зеленого ша-

ра земли, который вертят великаньими пальцами тысячелетия, глядясь в него сумрачными ликами.

Прахом отойдет в землю юная жизнь, чтобы, отдав мертвые соки алчному чернозему, через тысячи летящих веков снова выйти на солнце окаменелой слезой хрусталя, из которой новый неведомый мастер, с песней труда, выточит такой же сверкающий мир на забаву и радость живущим.

Когда Леля глядится в скрещения опаловых арок и дуг, она думает о любви. О своей любви. Но не к молчаливому Генриху — к другому. Тяжка последняя земная любовь, когда нужно таить ее радости, чтобы не выдать ни словом, ни делом, ни помышлением, не ранить смертной обидой Генриха.

Последняя любовь ворвалась к Леле Пекельман внезапно, как вихрь июльской грозы налетает на террасу дачи в душную ночь, разгоняя только что севших за мирную пульку партнеров. Ворвалась в прошлом году, когда впервые слегла Леля.

В то утро Борис Павлович постучался к Пекельманам. когда Генрих начал завязывать галстук перед уходом на службу. Увидев вежливое удивление в глазах Генриха (раньше никогда не заходил Воздвиженский к Пекельманам, встречался только в коридоре, в очереди у ванной и в кухне), Борис Павлович объяснил, что узнал о болезни Ольги Алексеевны и зашел справиться о ее здоровье.

Морщинки у носа Генриха поглубинели; он тихо ответил, что, к сожалению, болезнь — правда и доктора предписали Леле покой.

Борис Павлович спросил:

— Но не опасно?

Руки, привыкшие методично мерить бесконечные отрезы материи, дрогнули и сорвались с концов галстука. Генрих приблизил к Борису Павловичу глаза, печальные, как болезнь.

— Уважаемый друг,— сказал он почему-то смешным официальным обращением,— уважаемый друг. Дни Лела считаны. Только прошу вас, уважаемый друг, не сказать ей ничего. Пусть я один ношу эту тяжесть на моем сердце.

Борис Павлович затоптался на месте в странной растерянности.

— Я хотел спросить... впрочем, может быть, это глу-

по... но не могу ли я быть чем-нибудь полезен?.. Может быть, Ольге Алексеевне нужны книги? Скучно ведь так лежать.

Из Лелиной комнаты донесся, словно звон летящих осколков стекла, оклик:

— Генрих! С кем ты разговариваешь?

— Это Борис Павлович, Лела. Он предлагает тебе книг,— ответил Генрих.

— Борис Павлович, войдите. Ко мне можно.

— Ну, вот, уважаемый друг. Вы идите к Лела, а я побегу на службу. Очень благодарю, данке шён.

Борис Павлович шагнул в золотистый сумрак, обволакивающий Лелин микрокосм.

Слепя и тревожа, как высокие ночные звезды на осенней дороге, укололи его с подушки непомерно громадные Лелины глаза, полные смертельной тоски и страха, неумело спрятанных за беспечной усмешкой. Он поцеловал худую, изжелта-прозрачную кисть.

— Садитесь,— сказала Леля Пекельман, указывая на кресло.— Вы зашли справиться о моем здоровье? Какой вы добрый! Странно: мы живем вот уже второй год в одной квартире, а совсем не знаем друг друга.

Борис Павлович смущенно пошевелился. Леля заметила это.

— Нет, я не упрекаю,— и переменила разговор:— Вы мне можете достать книг? Да? О, как хорошо! Мне так скучно, так скучно. Ну, хоть расскажите мне что-нибудь о себе.

Борису Павловичу тоже нужно было ехать на службу, но странное чувство заставило его сесть в предложенное Лелей Пекельман кресло.

Он не поехал в Шелкотрест и до трех часов просидел в ногах у Лели, нежданно, как на исповеди, рассказав ей свою жизнь. Только заметив, что дремота склеивает Лелины мохнатые, схожие с лапками бабочки, ресницы, он вспомнил, где он и что с ним. Он нехотя встал.

— Простите, Ольга Алексеевна. Я вас утомил?

— Нет, — ответила Леля странно изменившимся голосом и сразу томительно побледнев. — Нет, спасибо, милый. Вы придете еще!— сказала она, не то прося, не то приказывая.

Борис Павлович, взглянув в высокие ночные звезды и внезапно опустив голову, как будто испугавшись, торопливо ушел.

В коридоре он натолкнулся на пана Куциевского и, не извинившись, ушел к себе.

Куциевский вздыбил рыжую лапшу, замельтешил горошинами, плюнул на дверь Пекельманов и гневно воздел длань к закопченному потолку:

— Матка боска, як бога кохам — жид!

5

Когда в раскрытой ширине океана гибнет корабль, в пенном водовороте всплывают, вертясь, обломки палуб, решеток, снастей. Они расплываются по периферии, быстро удаляясь от места гибели и друг от друга, словно им стыдно смотреть на себя самих, на жалкие щепы, оставшиеся от мощной корабельной красоты, вспоминая величественное целое, частями которого они были.

Адмиральша Анна Сергеевна ни к кому не ходит в гости и никого из старых знакомых не принимает у себя. Обломку тяжко видеть другие обломки.

Она не разговаривает с Пекельманами и Воздвиженским по той же причине, Леля Пекельман — дочь инженера путей сообщения и началом жизни тоже соприкоснулась с тем прошлым, которого не вернуть. Даже в простоватом Генрихе есть все же европейский палет, внешняя культурная закалка, напоминающая ушедших людей. Борис Павлович Воздвиженский — из старой морской семьи, в прошлом сам морской офицер. И, встречаясь с ним в коридоре, Анна Сергеевна виновато опускает взор, как будто знает, что оба они — соучастники одного преступления.

Пана Куциевского адмиральша не выносит так же, как сам Куциевский не выносит евреев. Адмиральша считает ветеринара гаденьким и подленьким человечком.

И только безработный слесарь Патрикеев из всех квартирных жильцов единственный имеет доступ к Анне Сергеевне.

Слесарь Патрикеев не знает, что такое «большой двор», никогда не видал выходов во дворце, не танцевал на балах в посольстве — и ему нечего жалеть о прошлом. У него только настоящее и будущее, и он не щемит сердце Анны Сергеевны вздохами, причитаниями и соболезнованиями. Он с простым и ироническим любопытством слушает рассказы адмиральши о пышном карнавале

империи; он добродушно интересуется мелочами придворного быта, не вздыхая и нудно не плача о них, а загибая по привычке крепкие словечки, когда услышит от адмиральши рассказ о каком-нибудь чудачестве утонувшего мира.

И эти словечки не только не шокируют Анну Сергеевну, но дают ей какое-то успокоение и бодрость.

Патрикеев не жалеет и не сочувствует: он просто слушает и разговаривает сам. Это лучше, чем слушать слезливые вздохи бывших подруг. Анна Сергеевна — по-своему крепкий человек. Ей не хочется плакать,— она ждет своего конца с холодным спокойствием наблюдателя.

Кроме того, Патрикеев отлично играет в шестьдесят шесть и даже умеет раскладывать старый и трудный пасьянс «Суворов».

Часто вечером адмиральша, шурша черной шелковой юбкой, подходит к двери Патрикеева и тихонько стучит:

— Ефим Григорьевич, вы дома? Пожалуйте на чашечку чаю.

И каждый раз Патрикеев неуклонно отзывается:

— Чичас. Вот сопляков поукладаю и притреплюсь.

У Патрикеева двое ребят — Сонька и Котька. Соньке двенадцать лет. Котьке восьмой год. Жена у Патрикеева сбежала к какому-то повару два года назад, кинув Соньку и Котьку. Патрикееву приходится трудно. Жениться второй раз Патрикеев не хочет.

— Ну их к черту, стервов!.. Одно беспокойство от них,— сказал он Анне Сергеевне, когда она намекнула ему, что для Соньки и Котьки нужна мать.— А на лешний мне на башку наваливать этакое барахло во второй раз-то! Оно, конечно, туговато с поскребышами. Ну, дак плевать! Кума раз в неделю придет, помоет — и ладно. Проживу и без баб, раскоряка их тетке!

Кума Меланья приходит к Патрикееву по воскресеньям. Она служит укладчицей на папиросной фабрике за заставой и свободна только по праздникам. Она появляется в комнате Патрикеева с раннего утра. В такие дни на кухне стоит дым коромыслом. Меланья стирает подряд и белье и детей. После стирки Сонька и Котька, всю неделю похожие на комья засохшей серой грязи с налипшим наверху пухом всклокоченных волос, обращаются на один день в чистеньких, розовых, приятных ребят. Покончив со стиркой и уборкой, Меланья отправ-

ляется в лавку, приносит хлеба, колбасы, огурцов и полбутылки белой.

Соньку и Котьку кормят колбасой и ситным. Патрикеев с Меланьей пьют белую под огурчики. Выпив, Патрикеев поет. Поет он больше грустные, томительные, как волчий вой, песни. Любимая песня у него:

Родила нечаянно
Мальчика мать.
Стал мальчик отчаянно
Всей жистью страдать...

Меланья укладывает Соньку и Котьку спать.

Патрикеев занимает в квартире самую обширную и парадную комнату, которая называлась у вице-адмирала Ентальцева белой залой. В ней четыре окна и неуклюжий, громоздкий камин розового мрамора. Над камином трюмо до потолка, треснувшее феерической звездой.

В белой пустыне комнаты посредине торчит, как остров, сосновый стол и две табуретки. У стены на березовых пеньках набиты доски — нары. Еще в комнате — кушетка желтого шелка, с синими вышитыми попугаями. Кушетку дала в пользование Ефиму Григорьевичу адмиральша.

Когда ребята засыпают, Меланья подымает с табуретки осовевшего Патрикеева, ведет к нарам, стягивает с него сапоги и сама залезает под истрепанное ватное одеяло из разноцветных кусочков. Патрикеев сонно и лениво щупает худые бока Меланьи.

Еще до света Меланья поднимается и уезжает на фабрику, оставив Патрикеева досыпать.

Днем Патрикеев бегает по городу, достает разные мелкие поделки и починки, делает ключи к французским замкам, чинит водопроводные трубы, иногда забегает в союз получить пособие и сделать отметку о безработице в союзном билете.

Безработица заедает Патрикеева уже шестой месяц, на работу никак попасть не удается: квалификация маленькая,— Патрикеев самоучка, а больше требуют опытных слесарей с прочным заводским стажем.

Вечером приходит домой, наскоро напихивает детские животы чаем с булкой, укладывает их — неумело, коряво, сердясь, кроя в бога и всех родичей, а уложив и умывшись, идет к адмиральше.

Сидеть у адмиральши приятно и уютно. Адмираль-

шина комната, хоть и ощипанная в шумные годы, похожа на внутренность нарядной шкатулки, вся увешанная цветными яркими шалями и ковриками, уставленная полочками, этажерками, фарфором, безделушками, которые занятно разглядывать.

Особенно нравится чашка, стоящая за стеклом в хрустальной горке.

Чашка тонка, как папиросная бумага, даже удивительно, как держатся ее просвечивающие на огонь оранжевой теплынью стенки. На чашке нарисована веточка вишни, с листьями и плодами, а под веточкой, на странном балконе из палочек, стоит и смотрит на плоскую гору с белой верхушкой маленькая женщина в пышном, красном с золотом, балахоне и высокой прическе, в которую воткнуты длинные, словно подковные, гвозди.

Адмиральша объяснила, что эта чашка японская, что ей больше пятисот лет и что пил из нее сам японский король, а потом подарил ее русскому адмиралу Головину, которого держал в плену целый год.

Больше всего поразило Патрикеева не то, что из чашки пили японский король и русский адмирал, а то, что чашке пятьсот лет.

— От сволочь! — сказал восхищенно Патрикеев. — Такая капельная, а сколько в ей жизни! Больше за попугая живет.

Когда-то прочел Патрикеев, что попугаи живут по триста лет, и тогда это так же поразило его, как неслыханное долголетие чашки.

Он помотал головой и сказал, жалобно вздохнув:

— А вот мелют, человек — царь творения. Хрена с два, ежели безмозглая чашка десять башковатых деятелей переживет.

— Неорганический мир существует вечно, мсье Патрикеев,— сказала адмиральша. Первые дни знакомства она называла Патрикеева так.

— Н-да. Трудное это дело без орга́нов прожить,— ответил, не поняв, Патрикеев.

Еще занятны у адмиральши французские старинные куклы на полочке.

Морды, у подлых, словно живые: вот-вот соскочат с полочки и в пляс пойдут; вначале даже боялся Патрикеев до них дотронуться: казалось, что, если нажмешь на них нечаянно, они пискнут и дух выпустят.

Нравились и чашки, из которых пил чай с адмиральшей: синие с золотыми треугольниками и звездами.

После чаю адмиральша вынимала лакированную коробочку, доставала потертые многолетние атласные карты, спрашивала:

— Не угодно ли вам, Ефим Григорьевич?

Патрикеев похлопывал по животу, отвечал благодушно:

— А чиво не игрануть? Деньги наши несчитанные. Эх, мать честная, елки зеленые! Давайте буду сдавать что ли, Анна Сергеевна.

За картами Анна Сергеевна рассказывала Патрикееву о прошлом. Особенно любила приводить всякие мистические приметы, предсказывавшие судьбу империи и царского дома.

Сидит адмиральша, тасует карты покоробленными ревматизмом пальцами. Левретка Бици свернулась на шелковом черном подоле, счастливо повизгивает во сне.

Рассказывает адмиральша, мерно роняя слова:

— И вы представьте себе, Ефим Григорьевич. Совершенно замечательно, как все эти несчастья были предсказаны в свое время. Удивительно таинственно. Вот все, например, знают, как парижская предсказательница по именам царствующего дома пророчила одному из великих князей гибель. Она, представьте, написала подряд имена всех великих князей и царствующего императора: НАВАСАВАН,— адмиральша рукой выписывает на столе буквы,— и, понимаете, вышло: «на вас саван». C'est incroyable![1] И оказалось правдой. А раньше один затворник, он жил в монастыре, в пустыни, питался одной травой — и к нему приехал государь Александр Первый за благословением. А пустынник ему открыл страшную тайну, представьте. Он сказал, что дом Романовых будет царствовать триста три года, последний царь, как и первый, будет Михаил, и что началось царствование Романовых в Ипатьевском доме и кончится в Ипатьевском. И опять ведь верно. Господь дал святому старцу чудный дар прозрения. От шестьсот тринадцатого до девятьсот семнадцатого — триста три года. Государь император Николай Александрович отрекся от престола и передал царство Михаилу, а Михаил отказался в пользу народа. Призвали великого князя Михаила Федоровича на царство из Ипатьевского монастыря в Костроме, а расстре-

[1] Это невероятно!

ляли государя в доме купца Ипатьева в Екатеринбурге. Это же необычайно, Ефим Григорьевич! Теперешнее правительство не признает ничего таинственного, — но ведь факты налицо!..

Патрикеев качает головой и выкладывает на стол козырного короля с дамой.

— Сорок,— и, отходив червонным тузом, говорит не спеша:— Н-да. Насчет того, что пустынник травой питался, этому, извините, веры не даю. Слесарничал я както в монастыре до перевертона, так тоже видел пустынника. Говорили: одной сушеной треской пробавляется; а я из любознания в щелку вечерком поглядел. Чуть не целого пороси, сукин сын, упер в одиночку... А насчет предсказаний не могу ничего возразить по существу. Бывают чудеса, в этом, извините, расхожусь с программой вождей, потому сам видел. Брательник мой двоюродный, Сенька, напимшись, пошел на речку, глядь — старушенция белье стирает. Он, спьяну, пихни корзинку ногой, значит, в речку. Карга озлилась, кричит: «Чтоб ты утоп, проклятый, кишка твоя вонючая». И что ж думаете? Только снял порты искупаться, поскользнулся на плоту, бац в воду, под бревна, — и поминай как звали. Так что в гадалок очень даже поверить можно.

Адмиральша, сморщив лоб, соображает взятку.

— Вот видите. Я очень рада, что вы меня понимаете, Ефим Григорьевич. А то еще перед самой революцией было необъяснимое явление в Царском Селе. Прилетели в феврале совершенно необыкновенные птицы в дворцовый парк. Никто не мог узнать, какой породы: серые, громадные. Даже профессора-орнитолога вызывали, и он руками развел,— сказал, что в первый раз таких видит. Летали они над дворцом, кричали почти человечьими голосами, а потом с размаху падали наземь, рыли снег когтями и рвали себе перья на груди. И невозможно было их подстрелить.

— Ишь ты! — удивляется Патрикеев. — Да кто стрелял-то?

— Царские егеря.

— Ну, дело немудреное, — кривится Патрикеев. — Энти самые егеря с безделья всегда опимшись ходили, руки тряслись, и в зенках туманило. Нашего бы Михея Иваныча послать, был у нас в Сурове такой старикашка охотник; тот бы ежели вдарил, то всех птиц зараз бы поклал.

— Да, такие странные птицы... И ровно двадцать три штуки, по числу лет царствования государя.

Но чаще Анна Сергеевна рассказывает Патрикееву о выходах во дворце, о торжественных балах, подробно и тщательно описывая все мелочи священного ритуала двора.

Однажды достала Анна Сергеевна из шкапчика шкатулку птичьего глаза, раскрыла, показала Патрикееву парчовые туфельки-наперстки.

Патрикеев осторожно подержал туфельку в деревянных пальцах.

— Хы... Штучка! Поди целковых двадцать плачено. Только надсмешка это, а не обувка. Раз наденешь — и тьфу.

Адмиральша прижала другую туфельку к груди. Сказала тихо:

— В этих туфельках, Ефим Григорьевич, я танцевала на балу в Зимнем, когда его величество был еще наследником. И он подошел ко мне и сказал: «Вы прекрасны, как заря, мадемуазель». И он пригласил меня на вальс, Ефим Григорьевич, а после вальса он пожал мне руку и сказал, что он без ума от меня. Я храню эти туфельки, чтобы мне их надели в гробу.

Патрикеев посмотрел на часы. Стрелка переползла за полночь.

— Однако пора, — потянувшись, обронил он. — А насчет этого скажу, что напрасно вы, Анна Сергеевна, себе сердце терзаете, что он из-за вас ума решился. Он с детства еще тронутый ходил, без ума, значит, — так ученый историк товарищ Щеголев на лекции доказывал.

Адмиральша отерла повлажневшие, на мгновение озаренные юностью глаза и молча убрала туфельки.

6

В третье посещение Бориса Павловича Леля и он поняли, что любовь неизбежна и прятаться от нее глупо и смешно. И Леля первая сказала об этом Борису Павловичу.

— Я — нехорошая. Я всем, всем обязана Генриху: он спас меня от голода, от тротуара. Я обязана любить его, но ты же видишь, что я не могу,— сказала она Борису Павловичу, терзая пальцами край одеяла. — Мне немного ведь осталось жить, и я хочу любить в послед-

ние минуты. Ведь у меня ничего нет, кроме моего мира в стеклышке... и кроме тебя.

Борис Павлович стоял у печки и грелся, прислонясь к ней спиной и заложив руки за спину. Он смотрел в угол комнаты, мимо Лели.

Леля жалобно всплеснула руками.

— Что же ты молчишь? Мне страшно. Скажи что-нибудь! И потом, мы же не виноваты перед Генрихом, мы не делаем ничего плохого. Мы даже не целуемся. Меня ведь нельзя целовать. Мы любим друг друга, как дети. Мы соприкасаемся только душами.

Борис Павлович качнулся и сказал:

— Может быть, это и есть самая страшная измена. Пока женщина отнимает у мужа только тело, до тех пор она еще не изменила ему. Если она отнимет у него свою душу, это — конец.

Леля заплакала.

— Что же нам делать? Ну, что?

Борис Павлович пожал плечами.

Что делать, когда любишь? Разве не спрашивают об этом женщины у любимых с того времени, как появились слова, и разве отвечают любимые иначе как пожатием плеч, ибо нельзя выразить ответа словами?

Но все же, за пожатием плеч, Борис Павлович ответил:

— Что? Ничего. Скоро весна. Февраль, март, апрель. Я налягу на работу, попрошу у директора сверхурочные, вообще как-нибудь наскребу денег, и мы уедем в апреле на Кавказ. В Красную Поляну, в Новый Афон, куда-нибудь. Ты вдохнешь горного воздуха и станешь здоровенькой, перестанешь кашлять.

— И мы будем тогда любить друг друга по-настоящему? — спросила, улыбаясь сквозь слезы, Леля Пекельман.

— Будем.

— Боже, как чудесно! Иди, поцелуй меня вот здесь. Здесь можно.

Леля отвернула халатик над беспомощно детской, цыплячьей ключицей, возле которой легкими толчками пульсировала плечевая артерия, и притянула Бориса Павловича за борт пиджака. Он поцеловал выступающую косточку нежно и робко, как в детстве целовал бантик из косы знакомой гимназистки, подарившей ему этот голубенький символ симпатии на балу морского корпуса после третьего вальса.

Горячее плечо Лели пахло одеколоном «Саида», парным молоком и еще чем-то неуловимо трогательным и родным.

— Милая,— сказал Борис Павлович, — милая Лелечка!

Леля запахнула халатик и погладила Бориса Павловича по небритой щеке.

— Сядь. Расскажи мне что-нибудь хорошее-хорошее. Расскажи мне о своих плаваниях. Я люблю, когда ты рассказываешь. Ты так много видел. Очень страшно плавать в океане? Я никогда не ездила по морю, кроме Петергофа. Я смешная? Да?

Борис Павлович засмеялся.

— Отчего смешная? Ты — милая, ты — плюшевый игрушечный зайчик. Зачем же тебе плавать в пустом океане, когда тебе нужно бегать по полям и грызть колосья? Вот выздоровеешь — и будешь.

Он придвинул кресло и сел в его мягкую кожаную раковину. Леля слушала его рассказ, грызя шоколадку. Вскоре остановила его:

— А на Яве женщины умирают от чахотки?

— Не знаю,— недоуменно ответил Борис Павлович,— не знаю. Наверное, нет. Очень мягкий климат, тепло, морской воздух. Чахотки не должно быть.

— Счастливые! — прошептала Леля и опять схватила Бориса Павловича за борт пиджака. Непомерно огромные глаза воткнулись в Бориса Павловича, как гвозди. — А Генрих? Что же мы скажем Генриху? Как мы уедем? Генрих не вынесет. Меня не будет... Ты пойми, что это значит для Генриха. Нет, нет, я не могу смотреть, когда он заплачет.

Борис Павлович помолчал, — помолчав, ответил серьезно:

— Генриху придется не говорить. Мы уедем сразу, возьмем билеты, приготовим все и уедем, когда Генриха не будет. Ему оставим письмо. Иначе нельзя. Сказать ему все — будет слишком трудно для нас.

Стенная кукушка прокуковала десять, и за дверью раздались шаркающие, усталые шаги Генриха. Он вошел, как всегда серый, разбитый и осунувшийся. Борис Павлович неловко встал, и эту неловкость движения заметил Генрих. Он молча склонил гладко причесанную голову, Борис Павлович тоже молча поклонился.

Минута нависла над тремя, тяжелая, готовая оборвать-

ся и раздавить их,— и тогда Леля, спасаясь от обвала, от гибели сейчас, в эту минуту, трудно и горячо покраснев, сказала неестественно весело:

— Генрих, миленький, здравствуй! Мы так заболтались с Борисом Павловичем, что даже времени не замечаем. Как я рада, что ты пришел.

Генрих так же молча поцеловал Лелю в тоненькую линию пробора на темени. Повернувшись к Борису Павловичу, сказал мягко и грустно:

— О, я не знаю, как мне благодарить Бориса Павловича за твое развлекание.

И уже обращаясь непосредственно к Воздвиженскому:

— Лела так скучно, а я ничего не могу сделать. Мне надо зарабатывать деньги, чтобы лечить Лела, а когда я дома — я такой усталый и скучный, что не могу ее развлекать. Лела совсем не нужно видеть скучных людей.

Борис Павлович быстро взглянул на Генриха Пекельмана: в последних словах ему почудилась покорная и знающая ирония. Но усталые складки морщин у Генриха были спокойно опущены и взгляд ясен.

Борису Павловичу стало мучительно стыдно.

— Я пойду,— сказал он нарочито шутливо, — я ведь при Ольге Алексеевне как в старые времена сказочник и рассказываю небылицы, пока не придет хозяин.

Генрих Пекельман проводил Воздвиженского через свою комнату до коридора и, закрыв дверь, постоял около нее в раздумье. Прямая морщинка у носа сломалась и задрожала. Он повернулся и вошел к Леле.

— Лела, ты отдыхай, а я буду работать.

Леля взглянула и увидела в вишневых зрачках Генриха знание. Ей стало страшно, она жалобно спросила:

— Ты не хочешь посидеть со мной, Генрих?

Генрих быстро отвернулся.

— Мне надо работать, Лела. Мне надо отправлять тебя в санаторий,— и шатающейся, вялой походкой вышел из Лелиной комнаты.

7

День двадцать второго февраля упал на квартиру адмиральши Ентальцевой, как рушится во время пожара крыша: внезапно и страшно.

Когда веселыми змеящимися лентами пламя обвивает

стены, выбрасывается сине-оранжевыми фейерверками из потерявших глянец стекла оконных глазниц, — крыша высится черная, тяжелая, крупная, и кажется, что ее одну не трогает огонь.

Но приходит минута, когда, перекусанные жаркими зубами огня, стропила и балки ломаются, и крыша мгновенно и пугающе быстро, с тяжелым грохотом, рушится внутрь здания, давя и ломая потолки, пробивая перекрытия.

В день двадцать второго февраля, в субботу, Борис Павлович приехал со службы в половине третьего и, закинув в свою комнату портфель, прошел к Леле Пекельман. В руках у него был букетик подснежников. Он вошел к Леле не через комнату Генриха, а прямо из коридора.

Дома в этот час были только слесарь Патрикеев, не пошедший с утра никуда — работы не предвиделось, — и чумазые Сонька и Котька.

Патрикеев лежал на желтой шелковой кушетке с синими попугаями, курил самокрутку и вполголоса напевал любимое:

Родила нечаянно
Мальчика мать.
Стал мальчик отчаянно
Всей жистью страдать.

Сонька и Котька возили друг друга по коридору в самодельной тачке и неистово спорили, кому быть кучером, а кому лошадью. Грохот деревянных колесиков по паркету и разъяренный крик Соньки гулко катались по коридору, как кегельные шары, и вскоре из комнаты Лели Пекельман высунулась голова Бориса Павловича Воздвиженского. Он свирепо перекосил рот и сказал, обращаясь к Котьке:

— Ты, шарлатан, не можешь не шуметь? Перестань грохотать! У Ольги Алексеевны голова болит.

Котька остановил тачку, засунул палец в рот и с недоверчивым презрением поглядел на Бориса Павловича.

— Дай гливенник, — сказал он категорическим тоном, — тогда пелестану.

— Зачем тебе, паршивцу, гривенник? — спросил Борис Павлович, сменив свирепую гримасу добродушным удивлением: он питал слабость к Котьке и часто кормил его конфетами.

— Пивонелский галстук купью, — пропищал Котька.

Борис Павлович вынул из кармана двугривенный и сунул в черную обезьянью лапку Котьки.

— На, и катись воздушным шаром без шуму.

Борис Павлович скрылся в комнате. Сонька и Котька некоторое время совещались шепотом в углу коридора, как лучше истратить неожиданную получку, — и на цыпочках выбрались из квартиры через кухонную дверь.

В это самое время с парадного хода явился пан доктор Куциевский и нырнул в свою комнату.

Сонька и Котька возвратились вскоре с полными защечными мешками леденцов.

Проходя по коридору, Котька заметил, что дверь комнаты Лели Пекельман закрыта неплотно и в щелочку виден свет. Неудержимое любопытство всунуло Котькин замызганный нос в щелку. Поглядев, он обернулся и пальцем поманил Соньку.

Сонька подкралась и заглянула, упирая остреньким подбородком в Котькино плечо, понимающе ухмыльнулась и, задышав Котьке в ухо, зашептала:

— Целуются, сволочи!

Постояв еще у двери, оба тихонько отошли и направились в свою комнату.

Патрикеев продолжал тянуть свою нескончаемую песню, когда Сонька и Котька с таинственными лицами подошли и остановились рядом против отца.

— Вы чего, пострелята? — спросил Патрикеев, видя, что Сонька и Котька пришли неспроста.

Котька захихикал, а Сонька, тряся косичкой, восторженно выложила:

— Тятька! Долгоносый с немкиной женой целуются. Так и чмокают, так и чмокают. Ей-бо. Провалиться мине!— пискнула она, увидев недоверчивую мину Патрикеева.

— Цевуются... ей-бо, — подтвердил Котька.

Патрикеев встал с кушетки и пятерней поскреб черную, в седоватых подпалинах, бороду. Заговорил сам с собой:

— Вот так оказия! Что ж немец делать станет? А? И Борис Павлович тоже — чудило. Чего он в ей нашел? Помирает баба. Ни рожи, ни кожи. До могилы два аршина. Ну и дела!..

— Да, дева... хленовина, — поддакнул Котька.

Патрикеев, озлившись, дал Котьке щелчка.

— Ты мне... сопляк! Я тебе дам ругаться!.. С кого только учишься, пащенок! — и добавил: — Пойти взглянуть, что ли! Занятная машинка.

Он скинул растоптанные боты и босиком направился в коридор. Сонька и Котька, цыкая друг на друга и грозя пальцами, поползли за ним. В дверях Патрикеев обернулся, схватил детей за шивороты и стукнул лбами.

— Цыц, пащенки! Сидите здесь!

8

В день двадцать второго февраля Леля Пекельман с утра чувствовала себя отлично. Столбик ртути в термометре не поднялся выше тридцати семи, как обычно; голова была ясна и свежа, тело окрепло, стянулось, стало казаться упругим и жизнеспособным.

После ухода Генриха Леля почитала Райдера Хаггарда, но чтение не ладилось.

Леля протянула руку, взяла флакон и заглянула в свой стеклянный мир.

День за окном был синий, морозный, казался выкованным из звонкого голубоватого металла. От этого в скрещениях сказочных арок и дуг в хрустале засквозила глубокая, волнующая синева.

Леле показалось, что в шарике развертывается морская даль без горизонта, а над ней тяжелеет синий небесный шатер. Леля сощурила ресницы, так что остались лишь узенькие щелки: синева углубилась, и ярящееся южное солнце вскипятило Лелину кровь, — а гудение крови зазвучало в ушах прибоем, катающим круглую гальку по пляжу. Леля откинула одеяло, привстала и сложила ладошки перед грудью, как делает готовящийся броситься в набегающую пену буруна пловец.

В это мгновение вошел Борис Павлович. Леля оглянулась на него и засмеялась.

— Ах, это ты! А я так замечталась. Такой синий день, такой синий мир в моем стеклышке, что мне почудилось, будто я уже на морском берегу, и бегу броситься в воду... А знаешь: я начинаю верить, что я поправлюсь. У меня нет сегодня температуры, и я такая крепкая. Погляди — даже мускулы появились.

Леля откинула рукав, вытянула исхудалую желтенькую руку, согнула ее.

— Посмотри, пощупай...

Борис Павлович дотронулся до теплой, не вздувшейся кожи, едва заметно улыбнулся.

— Не смейся, злой,— обиделась Леля, — вот увидишь: я выздоровею и еще буду класть тебя на обе лопатки.

Она задумалась и внезапно спросила Бориса Павловича, заглянув ему в лицо, с тайным страхом:

— Борис! Почему ты полюбил меня такую, больнушку, дохленькую, когда ты сам здоровый и кругом так много веселых, здоровых женщин? Почему? Ты не раскаиваешься?

Борис Павлович присел на край постели и, положив Лелину ладошку на свою, тихонько похлопывал по ней рукой.

— Видишь, я сам долго думал об этом. И это совсем, совсем просто. Мы, мужчины, созданы, видно, затем, чтобы заботиться о ком-нибудь. Пока у нас нет детей, это чувство отцовства должно выливаться на любимых. А здоровые женщины сейчас стали слишком самостоятельны: они не позволяют даже заботиться о себе. А это насилие над моим отцовским чувством. С тобой же мне легко, как будто ты маленький ребенок, за которого я принимаю на себя всю ответственность...

Заглушая его слова, Сонька и Котька подняли в коридоре тот гвалт, который заставил Бориса Павловича дать Котьке двугривенный. Вернувшись, он продолжал:

— Вот поэтому и люблю тебя, что ты беспомощна, что за тобой можно и нужно ухаживать, беречь тебя от пылинок. Иначе — куда мне девать мою энергию, которая не вмещается полностью в службу?

— Ты хороший, — задумчиво уронила Леля и взяла одеколонный флакон.

— Как странно,— сказала она, поворачивая шарик,— сейчас жизнь требует от людей, чтобы они жили только в больших масштабах, в том большом мире, который беснуется за окном. Ну, а если я не могу? Если я больная, бессильная, разве нужно прогнать меня с земли, разве у меня нет своего маленького уголочка? Я никого не обижу, — я только жить хочу. Ведь я хотела бы жить большой, горячей, бьющейся жизнью, но не могу.

В ресницах ее закопошились готовые оторваться хрустальные, как шарики, капельки.

Борис Павлович ближе придвинулся к ней.

— О чем ты, маленький зайчик? Разве тебе кто-нибудь не позволяет жить? Скажи кто — и я его съем.

Леля горько вздохнула и уронила лицо в галстук Бориса Павловича. Он приподнял ее за подбородок и поцеловал в закрытое веко. Леля еще горше вздохнула, поежилась и подвинула к Борису Павловичу бледно-розовые губы.

— Поцелуй меня, Боря! Поцелуй! Я такая усталая, такая ненужная в большом мире — никому, кроме тебя. И я сегодня здоровая.

9

Патрикеев уперся руками в бок и пригнулся лицом к щели, оставленной Борисом Павловичем в дверях.

Он увидел уголок подушки, рассыпанный по нем пепел Лелиных волос и склоненного к подушке Бориса Павловича.

Борис Павлович приподнял Лелину голову, долго смотрел на нее со странным выражением и припал к ней, целуя.

Патрикеев увидел, как запрокинулись желтенькие оголенные руки, завернулись вокруг шеи Бориса Павловича, как все Лелино легкое тело поднялось, приникая к синему пиджаку Бориса Павловича, как будто ища защиты.

И Патрикеев услышал голос, как звон летящих осколков.

— Милый...— сказал этот голос так горячо, что у Патрикеева под крапчатым ситцем рубахи проползли по спине жгучие мурашки.

Он оперся о стену. Его удивило не то, что «долгоносый» и Пекельманша целуются. Это не раз приходилось видеть, не раз и сам Патрикеев проделывал эту несложную историю.

Его удивило и потрясло то, что он увидел в запрокинутом Лелином профиле, тянувшемся к Борису Павловичу. В нем была никогда не виданная Патрикеевым нежность изнемогающей от счастья любви, невыразимая ласка, трепетность, порыв.

Смешливо-похабное настроение, с которым он подходил, крадучись, к неприкрытой двери, слетело с него, как шелуха, и сменилось знобкой дрожью, от которой Патрикеев побледнел и задышал тяжелее.

За его сорок четыре года никто не смотрел на него так, никто не запрокидывал рук на его шею, никто не целовал с такой обволакивающей счастьем лаской.

Он припомнил свою деревенскую молодость, несложные ухаживания на посиделках за девками, под плач гармошки, лошажье ржанье и похлопыванье ладошками в темных углах по упругим грудям, и ничем не прикрашенную грубость торопливого соития в сенцах на сундуке или в травяной пыли сеновала, равнодушную покорность жены, никогда не целовавшей его, и упрощенную животную требовательность Меланьи.

От этого у него защемило под ложечкой и внезапно пересох рот.

Вместе с вспыхнувшей жалостью к себе он ощутил неожиданную и тревожную, царапающую нежность к этой чужой тоненькой, больной женщине, умеющей любить по-иному, чем его женщины, и подумал:

«Всё образование! Где нам, серым?.. Эх, мать родная, елки зеленые! Так и подохнешь, не знавши настоящего любовного обращения».

Ему даже стало неловко, что он заглянул в эту дверь, куда не следовало заглядывать. Это было похоже на дурной поступок.

Он поднял руку, чтобы тихонько прикрыть дверь, но ощутил у себя на затылке теплое дуновение и торопливо оглянулся, с захолонувшим сердцем.

Лоб о лоб он столкнулся с паном ветеринаром Куциевским. Пан Куциевский, идя в кухню с кувшином, издали увидел пригнувшегося к двери Патрикеева и, заинтересовавшись, неслышно подкрался к нему.

Рыжая лапша пана Куциевского возбужденно шевелилась, горошины покрылись слоем масляного лака. Он ухватил Патрикеева за руку, забыв шляхетскую гордость.

— Цо,— шепнул он, брызнув на нос Патрикеева слюной, — амуры? Цо пан скажет? Как это можно? Такой разврат, ай-ай! То нужно сказать пану Генриху.

Патрикеев отклонился к стене и из-под бровей поглядел в лоснящуюся сковородку пана ветеринара. Щеки Патрикеева вздулись и налились темно-бурачным соком. Он взял Куциевского за плечо и молча потащил за

собой по коридору. У двери в кухню он выпустил плечо пораженного и покорно следовавшего за ним ветеринара.

— Гадюка,— сказал Патрикеев низким шепотом.— Зачем живешь? Землю пакостишь, клоп вонючий! Да ежели ты только словом заикнешься Генриху, так я тебя на части раздеру и собакам побросаю! Да рази ж ты способен, змеюка, понять, как люди любовь чувствуют?! Пес паршивый!

Обомлевший Куциевский выронил эмалированный кувшин. Он загремел, катясь по паркету. Дверь Лелиной комнаты открылась, торопливо выглянул Воздвиженский. Он увидел стоящих у кухни Патрикеева и Куциевского и успокоенно скрылся.

Ветеринар, оправившись от первого испуга, вздыбился и подпрыгнул.

— Цо?! — визгнул он. — Как ты осмелился? Хам!.. Хлоп!..

Патрикеев побледнел еще больше и, пошарив рукой в штанах, вынул короткий, тускло блеснувший сапожный нож.

— Хамов уже семь годов нет. А мой сказ тебе, гадюка ползучая, всерьез. Видал? Так ежели ты только пискнешь про Пекельманшу, вот тебе святой упраздненный хрест, я тебе им кишки поразверстаю. Сука!

Куциевский подхватил кувшин и метнулся от Патрикеева, оглядываясь на бегу, словно за ним гналось диковинное чудовище.

10

Патрикеев сидит у стола, чешет седую подпалину бороды, скучно жует ржаную корочку. Не дает покоя Патрикееву увиденное.

Скованный из голубого металла день мутнеет за окном, словно вода, в которую шалун-мальчишка подливает чернил, размешивая пальцем.

В чернильной мути мерещатся Патрикееву запрокинутые руки и лицо Лели Пекельман, чудится звенящий стеклянными осколками голос. Мешаются мысли во взлохмаченной патрикеевской голове.

Крепко ввинтив в комнатные сумерки ругань, от которой приседают возящиеся на полу Сонька и Котька, Патрикеев встает, надевает ватную куртку с продранными локтями и, наказав Соньке и Котьке ложиться спать через час, уходит.

Тайное беспокойство и тревога тащат его под руки к желтому огню, бьющему от окон пивной. Он вваливается, отряхивая снег с сапог, присаживается за свободный столик, кричит пробегающему официанту:

— Троечку!

Гуляй, слесарь Патрикеев! Пей, человек, почуявший трепетное беспокойство любви. Каждому дано испытать его томительные уколы. Сегодня твой черед, Патрикеев. Пей и думай о поцелуях, обволакивающих ласковым счастьем, стыдливых и отдающихся, каких ты не знал в многотрудной, суровой и грубой, как небеленый деревенский холст, жизни.

После третьей бутылки Патрикеев совеет. Рваная финка сползает ему на налобье, борода мокнет в пивной пене. Он требует четвертую бутылку.

Выйдя из пивной, он бредет, пошатываясь справа налево, изредка цепляя плечом стены домов. Рукав куртки покрывается цветными пятнами известки.

Патрикеев бормочет:

— Елки зеленые... гадюки! Зачем земля терпит такую пакость? Люди счиста слюбились. Она такая ма-ахонькая, бе-еленькая, травиночка... а Борис Павлович — он парень хоть куды, крепкий. Ей такого нужно. Генрих, он тоже гражданин приятный... ничего не скажешь. Только скушный. Немец. В немце завсегда машинка вместо души. Вместо обходительной душевности канитель сучит. А змею пилсуцкую зарежу... ей-бо, зарежу!..

Патрикеев поднимает голову, уткнувшись в чье-то тело.

На тротуаре женщина в фетровой шапочке и сером пальто.

Она тоненькая, из-под шапочки сыплется пепел волос, всей фигурой она напоминает Патрикееву Лелю Пекельман, и, от неожиданности и удовольствия, Патрикеев растекается весь в широкую блаженную улыбку.

Женщина смеется тоже. В свете ночной улицы на губах ее дрожит алый глянец.

— Надрызгался, дяденька? — спрашивает она хрипловатым говорком.

Патрикеев, не дыша, глядит на алый глянец губ. Пиво бередит его мозг, заверчивает в нем головокружительный ералаш. Он еще боится высказать выплывающую все четче мысль.

— Довести тебя домой, может, дяденька? — опять говорит женщина.

Патрикеев решается.

— Барышня, — произносит он прерывающимся, отчаянным голосом, — барышня... — Дальше голос и сознание изменяют. Патрикеев, задыхаясь, ищет слова и вспоминает ежедневную фразу адмиральши: — Барышня, позвольте вас просить... пожаловать на чашку чаю...

Женщина испытующе взглядывает на Патрикеева и уже совсем по-иному, деловито и коротко, спрашивает:

— Где живешь?

Услыхав адрес, она успокаивается.

— Близко. Когда б далеко, не пошла бы. А то попадаются фрукты — завезет на Охту: что заработаешь, то на извозчике и прокатишь. Ну, идем, дяденька.

Она берет Патрикеева под локоть.

В комнате Патрикеева она останавливается, немножко удивленная. Большая пустая зала, нелепый мраморный камин, спящие на нарах дети — вызывают в ней мимолетное сомнение, но разве не все равно, разве не привыкла она в любой час и в любом месте выполнять свою тяжкую и неприятную работу?

Но взволнованному слесарю Патрикееву нужен не бесстрастный труд, не холодное и бесчувственное ремесло: Патрикееву хочется, чтобы раз в жизни его приласкали по-иному, непосредственно и чисто. Чтобы ласки были как источник живой воды.

И, накачивая дрожащими от пива и ожидания небывалого руками прыскающий огнем примус, чтобы угостить сказочную посетительницу чаем, Патрикеев не замечает ничего. Поставив чайник, он предлагает гостье снять верхнее платье.

Без пальто она еще тоньше и похожа на девочку, гладко причесанная, с открытым лбом. Патрикеев усаживает ее на табуретку, сам садится напротив, долго и внимательно разглядывает женщину, не произнося ни звука. От напряжения начинает сопеть.

Женщина усмехается.

— Что у тебя — рот запаянный? Молчишь, как рыба.

Патрикеев вздрагивает. Он не может придумать слов, да и не хочется ему говорить, будто словами всколыхнешь, замутишь зеркальную благостную тишину, овладевшую Патрикеевым. Но он соображает, что женщина права, что нужно же занять гостью разговором. Он кладет локти на стол.

— Вот, к примеру, могу рассказать вам, барышня, чудобный случай из старого режима. Как это еще за Александра Первого было, и приезжает, к слову, этот Александр кровавый, значит, до одного монаха. Так и так. «Скажи, говорит, монах, желательно мне знать, сколько мое семейство процарствует?» А монах ему и отвечает: «Триста, говорит, лет и три года будете пить народную кровь, а потом будет вам конец. И последний царь Михаил будет, как и первый; в Ипатьевском дому начали, в Ипатьевском и кончите». Царь это на дыбки: «Как ты, говорит, монах, смеешь этакое болтать?» А монах ему: «Пшел, дескать, ваше величество, вон, не мешай мне бездельничать». С тем и разъехались. И всё, на поверку, капелька в капельку сошлось.

Женщина откидывается и с недоумением смотрит на Патрикеева. Ей странно, смешно и неловко. Она пришла трудиться; она не может понять, почему этот угрюмый человек, заросший черной бородой с седыми подпалинами, вместо того чтобы потребовать от нее привычной работы, болтает чепуху.

Она встает, подходит и просто садится на колени к Патрикееву, запрокинув ему руки на шею. Говорит с улыбкой:

— Дурной ты какой-то, дяденька.

Патрикеев неловко охватывает ее талию и тянет к себе. Женщина покорно склоняется, и Патрикеев попадает бородой в ее мягкие вялые губы. Он чувствует будто вливаемый в жилы и разрывающий их горячий напор — и задыхается.

Женщина отклоняется, отталкивает руки Патрикеева и хохочет.

— Ах, хахаль! Присосался. Ты мне, дяденька, выложь раньше трешницу. Я так, на холостой ход, трепаться не согласна.

Поднявшиеся руки Патрикеева опускаются. Дым алкоголя взвивается, рассеянный холодным вихрем. Он сжимает кулаки:

— Рвань!.. Сволочь!.. Я думал, ты по-честному, а ты...

Он швыряет в женщину последнее слово, как грузный шлепок вонючей грязи. Женщина свирепеет.

— Заткнись, пьяная харя! Честную тебе надо? Хайло! Даром из-за тебя подол отрепывала?!

Патрикеев сжимает правую кисть, узловатые пальцы его сводятся в тяжелый кулак; веки стягиваются над мут-

ным блеском белков. Женщина испуганно пятится, раскрывая рот, понявшая, что близко, вот сейчас, удар и смерть, готовая закричать... и обрадованно бросается к двери, ручку которой кто-то дергает.

Хмель и гнев остывают в Патрикееве: он осторожно подходит.

— Кто там?

И оседает, слыша раздраженный крик Меланьи:

— Я. Чего заперся, полоумный? Отпирай!

— Чичас. Ключ найду, — отвечает Патрикеев, обомлев, и шепотом говорит женщине:

— Тихо, слышь! Надо тебя вывести, потому — кума пришла.

Он мечется по комнате, соображая. Сонька, приподнявшаяся с нар в начале ссоры, следит ухмылочно за ерзающим тятькой. Меланья ударяет в филенку.

— Да отворяй же! Ты что? Сбесился? Бегла к тебе, к черту, по морозу, чтоб детей помыть, почистить, благо рано отпустили, а тут стынь в колидоре.

Сонька отбрасывает одеяло и звонко кричит:

— Теть Маланя! А теть! У тятьки чужа тетя. У шляпке.

11

На визг и ругань сцепившихся в коридоре женщин первым прибежал Борис Павлович и высвободил из цепких пальцев Меланьи волосы гостьи Патрикеева. Женщина, растрепанная, кровоточа из рваных царапин на щеках и плюя, прислонилась к стене и выбросила залпом водопад матерщины. Из комнаты номер первый выглянула и скривилась ехидным довольством томпаковая сковородка пана ветеринара.

Последняя пришла адмиральша Анна Сергеевна в ночном пеньюаре, — уже собиралась отходить ко сну. Подходя, спросила сперва для самой себя:

— Pourquoi ce bruit? — а затем перевела для всех: — Что за шум, господа?

Борис Павлович смущенно переступил с ноги на ногу. Меланья втолкнула Патрикеева в комнату и захлопнула с треском дверь.

Адмиральша обратилась к женщине:

— Кто вы такая, сударыня? Что вам угодно?

Борис Павлович сделал движение встать между адмиральшей и женщиной, но не успел. Вся ярость избитой

обрушилась на адмиральшу. Она закричала, захлебываясь злобой:

— А ты кто тут, старая моська? Бандерша? Моща дохлая... Тоже, может, в любовь играешь? У, черти треклятые, пропала моя жизнь через вас!..

Она завыла.

Борис Павлович мягко взял ее под руку и, не встречая сопротивления, провел мимо ошеломленной адмиральши к парадному выходу.

Там он достал из кармана пятирублевую кредитку, сунул в руку женщине и сказал:

— Вот, возьмите! Только уходите!

— Спасибо, — ответила вдруг притихшая женщина и покорно ушла.

Адмиральша, придя в себя от испуга и неожиданности, открыла комнату Патрикеева и встала на пороге, гордая, величественная, словно на выходе царя.

— Мсье Патрикеев, — позвала она металлически.

Патрикеев растерянно обернулся.

— Чего изволите, Анна Сергеевна?

— Мсье Патрикеев. Я считала вас порядочным человеком и даже приглашала вас в свой дом, оказывая вам доверие, несмотря на ваше простое звание. Вы обманули его и повели себя некорректно. Не comme il faut. Вы позволили себе привести падшую женщину. Это непростительно, и я вынуждена объявить, что не могу больше принимать вас у себя.

И, не давая Патрикееву ответить, вышла.

Патрикеев подбежал к двери, тряся бородой. Ему необходимо было сорвать злобу на ком-нибудь, и вышло, что удобнее всего — на адмиральше.

— И не надо! — закричал он вслед. — За чай-сахар спасибо, а насчет прочего вы дура старорежимная, и черт с вами!

Адмиральша обернулась. Подбородок ее дрогнул и отвалился. Она всплеснула руками и сказала, забыв приличия:

— А вы — серый альфонс.

12

С утра Генрих Пекельман выбегает из дому, не завязав галстука, непричесанный, и, топоча, несется

вниз, с площадки на площадку. Он торопится за доктором.

Леле Пекельман неожиданно стало плохо. Волнение вчерашнего дня, неосторожные поцелуи свалили ее. Всю ночь возле постели стоял медный тазик, наполненный розовой пузырчатой пеной; опустел флакон с «Саидой».

А рядом в комнате, без сна, томился и задыхался, шагая из угла в угол разбитой походкой, Генрих Пекельман, ломая прямые морщинки у носа.

Утром Генрих вошел в Лелину спальню, увидел окруженные коричневыми провалами закрытые Лелины веки, хрустнул пальцами и сказал:

— Лела, я имею к тебе одну просьбу.

Леля тихо мигнула ресницами, не поднимая век.

— Я хочу просить тебя, Лела, чтобы Борис Павлович не приходил к тебе. Ты очень волнуешься, Лела. Тебе это вредно, — произнес Генрих, запинаясь.

Он увидел мгновенный взблеск в повернутых к нему белках. Стоял молча и ждал.

Леля взмахнула одной кистью, вся рука не поднималась от слабости.

— Это глупости, Генрих, — прошептала она, — глупости. Ты жесток! Ведь я знаю, что умираю. Знаю.

Она закашлялась и приподнялась. Новый комок пузырчатой пены закачался в тазике.

— Глупости, Генрих, — повторила она, — как тебе не стыдно? Мне скучно одной, без тебя, и когда ты приходишь — мне... скучно с тобой...

Вернись, неосторожное слово, сорвавшееся с губ, запятнанных розовыми пузырьками! Останься несказанным... Шесть твоих звуков — как шесть ударов ножа в грудь человека с разбитой походкой, с душой, усталой от боли, тревоги, постоянного напряжения, человека, безмерно преданного, любящего. Жестоки выпустившие тебя губы.

Генрих отвернулся в угол, чтобы Леля не увидела его глаз.

— Я знаю, что тебе скучно со мной, Лела. Я сам знаю, — но...

Было в голосе Генриха Пекельмана, в сутулых плечах такое усталое уныние, что Леля не выдержала. Она вскочила и закричала, протягивая к Генриху худые желтые палочки:

— Генрих!.. Генрих, миленький!.. Бедный Генрих! Убей меня! Я подлая, я бесчестная. Я все равно умру... задуши меня!..

Она откинулась назад и заколотилась головой о железные прутья кровати.

Генрих Пекельман кинулся к ней, подставляя длинные белые пальцы под удары Лелиной головы, чтобы смягчить их.

— Лела!.. Лела!.. Не надо! — кричал он в исступлении. — Не надо, Лела! Ты ни в чем не виновата, Лела. Никто не имеет вины.

Леля стихла. Голова ее боком легла на подушку, в груди заклокотало, и сквозь стиснутые зубы, яркая, словно выбившаяся из прически лента, поползла по подушке кровавая струйка.

Генрих Пекельман ахнул и, без галстука, непричесанный, побежал за доктором.

13

Доктор вытер полотенцем широкие красноватые ладони и повернулся к Генриху.

— Если вы хотите продолжить жизнь вашей жены, сударь, — официально и сухо заговорил он, — ее нужно завтра же отправить на юг. Завтра! Вы понимаете? Каждый лишний день, который она проведет здесь, — преступление.

— Да, да. Я очень понимаю, — вяло ответил Генрих.

Проводив доктора, он заглянул в щелку на Лелю. Она лежала белая, и дыхание не поднимало запавшей груди. Генрих Пекельман ощутил щекотно всползающий от щиколоток к животу страх. Ему показалось, что Леля уже мертва, но она слабо пошевелила ногой одеяло. Генрих тихо отошел.

Придя в лавку, он сел в задней комнате на высокий стул конторки, положил локти на конторку и уронил на них лоб. Так он просидел часа полтора.

Приказчик, с лицом, похожим на изрытую проселочную дорогу, рябым и потным, тронул его за рукав.

— Генрих Иванович. Там вас гражданин спрашивает. Завчерашний.

Генрих поднял голову от конторки. Прямая морщинка сломалась гневом. Он протянул руку, будто отталкивая

невидимый и противный предмет, но сказал приказчику сухо:

— Пусть гражданин идет сюда.

Гражданин в выдровой шапке и оливковом пальто с выдровым воротником просунул в комнату лисью тонкую мордочку.

— Можно, Генрих Иваныч?

Генрих Пекельман не ответил. Он смотрел на лисью мордочку с тупой покорностью ведомого на смерть животного.

Гражданин мигнул и всунулся в комнату целиком. Он был худ, висящие щеки его были желто-зелены, как недозрелый лимон, и стриженые черные усики казались приклеенными.

— Как здравствуете, Генрих Иваныч? — любезным голосом протянул он, подходя.

Генрих Пекельман, не смотря на тянувшуюся желто-зеленую руку, отрывисто бросил:

— Здравствуйте... Что вам надо?

Гражданин замигал и, наклонив голову набок, произнес:

— Что же мне рассказывать, Генрих Иваныч? Небось сами сведомы... Так как же: есть ваше согласие или нет? Как перед богом говорю: ничем вы не рискуете.

Генрих Пекельман молчал; гражданин, улыбаясь, смотрел ему в рот.

— Как перед богом, Генрих Иваныч. Выпишите сотни две чеков в разбивку, метров по тридцать — и вся недолга. А я деньги принес. Вот они, беленькие.

Гражданин раскрыл бумажник, помахал вытащенной из него пачкой.

— Пятьсот-с, Генрих Иваныч. Честно. Треть прибыли. Наша фирма давняя, без обмана. Умеем людей уважать.

Генрих Пекельман побледнел и закашлялся. Гражданин косо глянул на него и чутьем понял минуту. Он ловко и льстиво подложил под локоть Генриха пачку.

— Вот-с. И, кроме, разрешите просить вас отобедать по старому обычаю, по-хорошему.

Генрих вялым, хлябким движением взял деньги и сунул их в карман, словно торопясь скрыть их от дневного света.

— Прошу извинить. Я не имею времени.

Он хотел сказать, что у него дома умирает жена, что

только поэтому он, Генрих Пекельман, пустил на порог гражданина, но сейчас же понял, что это не нужно, смешно и оскорбительно — и для него и для Лели.

— Жаль... жаль, — протянул гражданин жалобно и, помолчав для приличия, спросил настойчиво: — Так разрешите, Генрих Иваныч, забирать товар?..

Генрих Пекельман молча уронил голову на конторку.

— Тревожитесь?.. Совестью страдаете, Генрих Иваныч? Не стоит. Все грешим, — сказал гражданин, проскальзывая в дверь.

Когда приехавший возчик грузил на подводу свертки ситца, рябой приказчик, сделав преданное лицо, спросил у Генриха Пекельмана, сумрачно наблюдавшего вынос товара:

— Для какого учрежденьица, Генрих Иваныч?

Генрих Пекельман, вздрогнув, посмотрел в рытвины шершавой кожи приказчика.

— Для детского дома, — тихо ответил он и отвернулся.

Приказчик два раза облизнул веснушчатые губы и потупился.

14

Борис Павлович собрал в папку подписанные председателем бумаги и, не уходя, стоял у стола.

— Вы что-нибудь хотите сказать, Борис Павлович? — удивился председатель.

— Да, у меня необычная просьба, Геннадий Семеныч.

— А именно?

— Мне срочно нужен отпуск. Вне всякой очереди и немедленно.

Председатель зажег спичку и, не торопясь, раскурил сигаретку на соломенной ножке.

— Заграничные. Курьер привез. Не желаете ли? — и, потянув носом дымок, спросил: — Что так загорелось? Не смогу. Вы мне очень нужны. Время горячее.

— Геннадий Семеныч, — сказал Борис Павлович, опираясь на стол, — у меня умирает любимая женщина. Мне нужно увезти ее на юг, не медля ни минуты. Я очень прошу вас, Геннадий Семеныч.

Председатель, сморщась, поковырял пальцем чернильное пятно на клеенке стола.

— Видите... С месткомом и вообще это можно уладить,

но я-то без вас... — и, взглянув в тускнеющие глаза Бориса Павловича, закончил: — Ну, ладно... ладно. А я и не знал, что вы женаты.

— Это не жена, — ответил Борис Павлович.

Председатель засмеялся, раскачивая пухлый подбородок.

— А, понимаю!

Борис Павлович, торопясь, перебил:

— Сегодня двадцать третье. Будем считать, что я в отпуску с первого марта по первое апреля. И прошу вас, Геннадий Семеныч, приказать выписать мне сверхурочные и жалованье за март. Всего выйдет рублей четыреста.

— За этим не постоим. Скажите, что я приказал.

Выйдя от председателя, Борис Павлович бросил папку на стол, оделся в вестибюле и, выбежав из помещения треста, на ходу вскочил в трамвай.

В комнату Лели Пекельман он ворвался, даже не постучав.

— Леля! — крикнул он с порога. — Леля! Первого едем. Все устроено, Лелечка!

И остановился, пораженный меловой белизной Лелиных щек, черными запеками губ.

— Лелечка, милая!.. Что с тобой? — спросил он с глубокой жалостью и болью, становясь на колени около постели и ловя свесившуюся с одеяла кисть.

Леля раздвинула рот усилием, похожим на судорогу, и Борис Павлович услыхал страшный, неживой звук:

— Боря... Конец!

15

За Генрихом Пекельманом пришли в семь часов утра. На звонок открыла адмиральша, в пеньюаре, испуганная и жалкая. Папильотки, державшие ее жидкие косицы, тряслись и вставали дыбом.

Когда агент вынул и показал мандат, адмиральша попятилась и перекрестилась.

— Я ничего, господа... За что же? Я всю революцию...

Агент перебил ее:

— Опомнитесь, гражданка. Вы, кажись, не мужчина. Нам нужен гражданин Пекельман. Где его комната?

Только тогда адмиральша поняла, что это действительно не за ней, и вторично, уже от радости, перекрестилась

правой, а левой в то же время показала на дверь Генриха Пекельмана.

Эту ночь Генрих спал тяжело и душно, беспросыпно. Вечером, по возвращении из лавки, он объявил Леле:

— Лела! Я достал деньги. Ты будешь ехать лечиться. Я знаю: тебе не нужно таких скучных людей, как твой муж Генрих. Я пошлю тебя туда, где много солнца и где много веселых людей. Ты будешь здороветь там, Лела. Но только не надо Борис Павлович, Лела. Я не могу, я люблю тебя, я не хочу терять тебя.

— Хорошо, Генрих! Я поеду, куда ты хочешь, — чуть слышно сказала Леля.

Ей стало вдруг до слез жаль скучного, любящего, заботливого Генриха и захотелось еще раз успокоительно обмануть его. Ведь недолго обманывать. Ведь скелетная лапка туберкулеза еще не сильно, но уже настойчиво легла на горло: протекут часы, не дни, и она огрубеет, вдавится в сонные артерии, зажмет дыхательный тракт, ломая хрящи, — задушит.

— Хорошо, Генрих. Не надо Бориса Павловича. Ты мой хороший и добрый Генрих.

Она приказала Генриху нагнуться и робко поцеловала его где-то за ухом в гладкие, пахнущие бриолином черные волосы.

Генрих ушел к себе поздно ночью. Он сел на кушетку, на которой спал, и долго смотрел в потолок. В глазницах у него влажно блестели нити электрической лампочки. Он заснул одетый.

Сон был удушлив и беспокоен. Генрих был прост и честен, — и, сидя и думая, пока влажные отсветы нитей электрической лампочки дрожали в его зрачках, он уже знал свою обреченность. Поэтому при первых звуках голосов за дверью он вскочил с кушетки, протер глаза и набросил пиджак, прислушиваясь. Осторожно-уверенные шаги человека, пришедшего за ним, за Генрихом, приблизились и остановились. Легкий стук заколебал гардину.

Генрих Пекельман, серый и осунувшийся, разбитой походкой подошел и повернул ключ.

Агент в черном верблюжьем пальто сказал властно:

— Гражданин...

Генрих остановил его:

— Я знаю. Я все знаю. Только прошу вас — тише. В соседней комнате спит моя больная жена. Я не хотел

бы, чтобы вы ее разбудили. Это вредно для нее. Она может умирать.

Агент посмотрел на дверь Лелиной комнаты с равнодушным сожалением.

— Да, бывает... Одевайтесь, гражданин Пекельман. Можете проститься с женой, коли желаете; я за вами не пойду.

Генрих Пекельман заслонил глаза ладонями. Когда отнял, сквозь ореховую смуглоту его щек проступила белесая синева.

— Нет. Я не могу к Лела. Она умрет, я лучше так,— безжизненно сказал он и снял с вешалки пальто.

У парадного выхода он внезапно остановился и дотронулся до плеча агента.

— Гражданин агент. Я имею к вам маленькую просьбу. Мне нужно сказать одному из наших жильцов, чтобы он позаботился о моей жене, о Лела. Можно?

— Отчего ж, можно, — ответил с тем же равнодушным сожалением агент,— только скорее. Невозможно мне задерживаться. Еще дела есть.

Генрих Пекельман обратился к адмиральше, боязливо провожавшей их по коридору.

— Мадам Ентальцева. Можно вас просить позвать Борис Павлович?

— Пожалуйста, пожалуйста, мсье Пекельман, — засуетилась адмиральша и засеменила по коридору.

Борис Павлович пришел без пиджака, застегивая на ходу подтяжки, заспанный и недоумевающий.

— Генрих Иваныч! Что такое? Почему? Какое-нибудь недоразумение?

Генрих Пекельман медленно качнул головой справа налево, смотря в упор на Бориса Павловича:

— Нет, товарищ Воздвиженский. Все в порядке. Ганц аккурат. Но не будем говорить об этом. Я прошу вас не оставить Лела.

Борис Павлович вспыхнул:

— Генрих Иваныч! Об этом даже не нужно просить. Я обещаю...

— Борис Павлович... Товарищ Воздвиженский. Мы люди. Вы и я. Будем говорить, как люди. Я знаю: вы все сделаете для Лела. Я знаю: вы любите Лела. Не отрицайтесь,— поспешно сказал он, заметив тень испуга в глазах Бориса Павловича, — не отрицайтесь. Вы любите Лела! Я тоже люблю Лела. Я хотел бороться за Ле-

ла с вами, но я плохо умел бороться и... и должен бецален за свое плохое уменье. Я не вернусь скоро. Любите Лела.

Он схватил Бориса Павловича за руки и приблизил к нему вишневые зрачки, печальные, как болезнь.

— Любите Лела, как я. Она — хорошая жена для нескучный муж. Обещайте мне, товарищ Воздвиженский.

Генрих Пекельман дрожал и тревожно мял захваченные кисти рук Бориса Павловича. И Борис Павлович, охваченный странным человеческим волнением, стыдом и болью, смотря в пол, ответил:

— Хорошо. Я обещаю вам, Генрих. Мы — люди...

— Спасибо. До свиданья. Гражданин агент, мы можем выходить. Одно только слово. Вы не скажете, товарищ Воздвиженский, Лела, что я уведен как преступник. Скажите, как хотите. Можете сказать, что я бросил Лела и разлюбил. Но я для Лела был честный человек, для Лела стал преступник. Не нужно, чтоб она знала это.

И, сутулясь, Генрих Пекельман переступил порог, за которым он перестал быть Генрихом Пекельманом, жильцом квартиры номер девять.

16

Звук защелкнувшегося за Генрихом Пекельманом американского замка подломил Бориса Павловича. Он согнулся и ушел, втягивая голову в плечи, словно ожидая удара сзади. За ним прошлепала туфлями адмиральша Ентальцева.

И ни ушедший Генрих Пекельман, ни Борис Павлович, ни адмиральша не знали, что, пока они стояли в передней, тревожимые и мучащиеся каждый от своего и по-своему, за тонким деревом, отделявшим от передней комнату номер первый, прилипла к замочной скважине ушком томпаковая сковородка пана ветеринара.

Пан Куциевский проснулся от необычной в квартире ранней суетни и топтания по коридору и, в полосатых подштанниках, босиком подкрался к замочной скважине.

Не дыша, он слушал; ноги его стыли на ледяном паркете и дрожали мелким ознобом; но слишком было интересно то, что творилось за дверью,— и пан Куциевский не пропустил ни одного слова из разговора.

Услышав щелк замка, он выпрямился и шумно и облегченно набрал воздуха в поросшую рыжим пухом грудь.

Приятно послушать такую занимательную историю. Попался наконец, поганый пейсач. Так и нужно было ожидать. Все жулики.

Сковородка склабится, лапша шевелит кончиками. Пан Куциевский доволен: он получил полное удовлетворение. Но разве это все? А мадам Пекельман так и будет наслаждаться счастьем со своим любовником? Не будет так! Пан Куциевский не допустит, чтобы торжествовал разврат. Он разобьет это преступное счастье.

Пан Куциевский потирает руки, хихикает.

Он садится на кровать и не спеша одевается, все время кривя рот блаженной усмешкой. Одевшись, берет полотенце и отправляется умываться. Он долго брызгает водой и фыркает и возвращается из ванной багровый. Растертая полотенцем лапша торчит во все стороны. Он долго примачивает и приглаживает ее щеточкой перед зеркалом и, открыв ящик стола, роется в куче галстуков. Пожалуй, сиреневый будет подходящ для утреннего визита.

Закончив туалет, пан ветеринар глядит на часы. Половина десятого.

Самое время. Через полчаса будет поздно, могут опередить другие. Он осторожно высовывается в коридор. Никого нет. Теперь пробраться тихонько мимо Патрикеева и постучать к мадам Пекельман.

Леля еще томилась зыбкой дремотой, когда в сознание проник царапающий, тихий, но настойчивый стук. Она открыла глаза и прислушалась. Стучат.

— Кто там? Войдите,—сказала она с удивлением и еще больше удивилась, увидев просовывающегося в комнату пана Куциевского.

— Очень извиняюсь, пани, — промямлил он, — бардзо пшепрашам. Имею сказать два слова. За цо арестован пан Генрих, може, пани знает?

Непомерно огромные от жара и слабости Лелины глаза округлились и зацепились за сиреневый галстук пана Куциевского.

Вместе с улыбкой в них мелькнули и испуг и недоверчивость. Леле Пекельман показалось, что пан Куциевский сошел с ума.

— Что за вздор, Куциевский! Что вы говорите об аресте Генриха! И почему вы нацепили такой смешной галстук? Вы хотите развеселить меня?

Ветеринар льстиво осклабился, но в мутно-зеленых горошинах блеснул злобный лак.

— Прошу прощения, пани. Мне все равно, альбо пани веселая, альбо скучная. Я к пани не нанимался в шуты, как пан Воздвиженский. Говорю чистую правду. Пан Генрих арестован утром, в семь часов.

Леля вскинулась с тревогой.

— Генрих! — крикнула она слабо и жалко.

— Пани не верит. Пусть будет так. Нигде нет пана Генриха.

Куциевский распахнул дверь в комнату Генриха. Не видя всей комнаты, чутьем, по особенному виду стоявшего посреди пола стула, по наглой улыбке пана Куциевского Леля с обжигающим холодком поняла, что случилось несчастье.

Она поднялась на руках и прижалась к зеленым, в полоску обоям.

— Объясните толком. Почему Генриха нет? И почему вы пришли мне говорить о нем? Я не хочу. Уйдите. Позовите Бориса Павловича.

Она дышала прерывисто и хрипло.

— Пани желает пана Воздвиженского? Сейчас. Только пан Воздвиженский скажет то же. А пан Генрих сказал, что он очень любил пани и сделался оттого преступником. И пан Генрих знает, что пани любит пана Воздвиженского.

Леля схватилась за ворот рубашки. Пуговица оборвалась. Лелина рука отлетела и ударилась о флакон с одеколоном. Он опрокинулся и, падая, хлопнулся о железную ножку кровати. Хрустальный шарик пробки разлетелся по паркету алмазными осколками, и тотчас же Леля Пекельман высоко и страшно закричала.

Пан Куциевский испуганно кинулся в комнату Генриха, чтобы выбежать в коридор, но дверь оказалась запертой: очевидно, Генрих, уходя, повернул ключ. Пан Куциевский почуял, что у него отнимаются ноги, и, вспотев до пяток, прислонился к стене, слыша беготню по коридору.

Борис Павлович вбежал в комнату вслед за прислугой.

Леля сидела на кровати, прижавшись спиной к стене, с раскрытым ртом.

— Ольга Алексеевна! Лелечка! Что случилось?

Желтая ручка вытянулась к комнате Генриха, и Леля зачастила тревожной скороговоркой:

— Он... он... он...

Борис Павлович, ничего не поняв, кинулся в комнату Генриха.

У стены он увидел томпаковую сковородку. Она потеряла красный лоск и стала цвета бледной латуни.

— Вы как сюда попали? Что вам нужно?!

— Проше згоды, — пролепетал пан Куциевский, закрываясь локтями, — по ошибке вошел до пани, а пани испугалась.

— Убирайтесь вон, дурак! — крикнул Борис Павлович и, выволочив Куциевского из угла, протащил через Лелину комнату и вышвырнул в коридор.

Покончив с ним, он вернулся к Леле.

— Лелечка! Милая! Не бойся. Это — пан Куциевский. Он сдуру, по ошибке, попал к тебе.

Леля медленно отделилась от стены. Спросила:

— Значит, Генрих не арестован? Это неправда, Боря?

Борис Павлович вздрогнул и замялся, и этой ничтожной заминки было довольно, чтобы Леля поняла все. И вторично комнату хлестнул высокий и страшный крик, а за ним Леля повалилась на подхватившего ее Бориса Павловича, заливая его кровью.

— Паша! За доктором! — крикнул тоже не своим криком Борис Павлович.

17

Из комнаты в двадцать семь квадратных метров вынесена Лелина кровать, и посередине нелепо и пугающе стоит обеденный стол, взятый из комнаты адмиральши Ентальцевой.

На столе игрушечный ящик гроба, похожий на картонный футляр для куклы, из-под белой вуали острый, как гвоздь, подымается кверху белый нос.

Последний мир Лели Пекельман разбился и выметен алмазными осколками из убранной, безобразно голой комнаты.

В коридоре Борис Павлович разговаривает вполголоса с агентом похоронного бюро. В открытой двери сумрачно стоит Патрикеев и, не отрываясь, смотрит на торчащий из-под вуали нос.

Когда агент уходит, Патрикеев оборачивается к Борису Павловичу и говорит раздумчиво:

— Эх, мать родная, елки зеленые! Такая доля наша, Борис Павлыч. И как сразу померла, бедняга! А с чего? Жить бы и жить.

Борис Павлович зябко пожимает плечами, тихо отвечает Патрикееву:

— Ужасно, товарищ Патрикеев. Дико, бессмысленно. Убить этого негодяя мало.

— Какого негодяя? — спрашивает Патрикеев, выдвигаясь в коридор и приглядываясь к опухшим глазам Бориса Павловича.

— Куциевского! Ведь это он сказал ей, что Генрих Иваныч арестован. Она и так была слаба, ну и не выдержала волнения.

Черная в подпалинах борода Патрикеева вздергивается.

— Хто? Куциевский? Ах, ты ж, кур...

Патрикеев спохватывается. При мертвой нельзя ругаться.

— Ну, я схожу за цветами, — говорит Борис Павлович.

Патрикеев, понурившись, сосредоточенно провожает его до выхода и долго стоит у дверей. Дернув подбородком, как будто решившись, он берет стул и садится у двери. Голова его клонится; кажется, что он дремлет.

Минут через двадцать он настораживается, слыша, как кто-то всовывает ключ в щелку американского замка, и быстро встает.

В растворенной двери показывается сковородка пана Куциевского. Он не видит Патрикеева в темноте передней и, спокойно закрыв дверь, сталкивается с ним.

— Добрый день, пан, — говорит Патрикеев.

— Я с хамами не разговариваю, — отвечает Куциевский и летит на пол, сваленный грузным ударом патрикеевского кулака, смешавшего в кровавое месиво губы и черные гнилые зубы пана ветеринара.

Патрикеев, не взглянув на него, уходит в свою комнату.

Минут через десять в квартиру приходят дворник и милиционер. За ними трусит пан Куциевский, со вздутой сковородкой, прижимая ко рту намоченный платок.

Патрикеева уводят в район под рев Соньки и Котьки.

Когда в квартире нет никого из мужчин, адмиральша Ентальцева выходит из своей комнаты и подходит к Лелиному гробу. Веки адмиральши красны и набрякли.

Она поправляет сбившуюся на сторону вуаль и, накло-

пившись, внезапно, с материнской запоздалой нежностью, целует гладкий холодный лоб Лели Пекельман.

Старому сердцу натужно достукивать остатние часы. В эту минуту адмиральша чувствует, что и у нее могла бы быть дочь.

Она стоит еще некоторое время у изголовья гроба, шевеля губами и изредка крестясь. Потом уходит к себе, достает из шкапчика шкатулку птичьего глаза, развертывает сверток шелковой бумаги и вынимает из нее парчовые туфельки-наперстки. Вздохнув, она прижимает одну туфельку к щеке и, взяв их, возвращается в комнату покойницы.

Там она откидывает покров, снимает с ног Лели дешевые, отвратительно пахнущие клеем коленкоровые туфли и легко надевает парчовые на окоченевшие, почти детские ступни.

18

Вечером в квартире номер девять тихо и тоскливо. Только из комнаты Патрикеева звучит минорный вой. Патрикеев вернулся из района, лежит на кушетке и вполголоса, с надрывом, тянет:

Ро-дила неча-а-янно-о-о
Ма-а-льчика ма-а-а-ать...

Сонька и Котька безостановочно шмыгают мимо комнаты Лели Пекельман, заглядывая на гроб и шепотом переговариваясь. Их внимание неудержимо привлекает подымающий вуаль нос.

Борис Павлович сидит у себя и пишет.

Адмиральша Анна Сергеевна только что поставила самовар и, ожидая, пока он вскипит, вяло раскладывает по столику узоры пасьянса. На подоле ее примостилась Бици, посапывая и хрипя.

Адмиральше смутно. Смерть Лели Пекельман расшевелила золу, плотным пластом осевшую на очерствелом сердце, пораженном артериосклерозом, затеплила давно оледенелые угольки, и сегодня кровь Анны Сергеевны не так лениво и медленно, как всегда, пробегает по стенкам сосудов, покрытым слоем известкового стекла. Анна Сергеевна томится и скучает. Валик цепляется, хрипит, хрякает, вызванивая опус пятьдесят восьмой, опус скуки и одиночества.

Уже пять дней, как Анна Сергеевна не играла в шестьдесят шесть. Когда в старости отнимают привычку, чувствуешь себя так, как будто ампутировали, болезненно и грубо, самый нужный орган.

Кончив с пасьянсом, Анна Сергеевна перетасовывает карты и сдает их на двоих. Она берет обе сдачи и пытается играть сама с собой, но это не удается. Игра теряет всякий интерес: она пресна и жалка.

Анна Сергеевна вздыхает, смешивает карты и встает. Минуту она колеблется и, решившись, выходит в коридор. Там она тихо зовет Патрикеева:

— Ефим Григорьевич!

Патрикеев вскакивает с кушетки и открывает дверь.

— Ефим Григорьевич, — неловко говорит адмиральша, кусая губы, — пожалуйте на чашечку чая. Если чем-нибудь обидела, не взыщите. Сгоряча иной раз скажешь что-нибудь лишнее.

Патрикеев добродушно усмехается.

— Ничего, Анна Сергеевна! С кем не бывает... И я вот сегодня осердился до самого сердца, пана ветеринара суродовал. Не тревожьтесь. Сейчас приду.

Адмиральша, успокоенная, уходит. Патрикеев, плюнув на ладонь, приглаживает волосы и подтягивает поясок у штанов. Проходя к адмиральше, он видит Соньку и Котьку, разглядывающих покойницу.

— Пошли спать, черти нехрещеные, — шипит он, больно щипля Соньку за плечо, — пошли! Нечего тут толкаться. Ее душеньке покой нужен, а вы толчетесь.

У адмиральши уже дымится чай, разлитый в синие с золотом чашки.

Патрикеев садится против Анны Сергеевны, берет всей пятерней сданные карты — и с первого хода подменяет лежащего под колодой козырного туза девяткой. Карта привалила.

Адмиральша помешивает ложечкой чай и говорит:

— Ужасно, Ефим Григорьевич. C'est horrible. Она такая молодая, такая прелестная, умерла, а мы, старики, живем, ждем смерти, но она не приходит к нам.

— А вы не торопитесь, Анна Сергеевна, — отвечает Патрикеев, — поспешишь — людей насмешишь.

— Спасибо за комплимент, Ефим Григорьевич.

Карты, шелестя, ведут на столе цветную карусель. Левретка Бици посапывает во сне.

В своей комнате продолжает писать длинное письмо матери Борис Павлович.

Сонька и Котька, убравшиеся из коридора после окрика отца, вновь появляются босиком, в одних рубашках. Они, подталкивая друг друга, входят к покойнице, без страха, снедаемые одним любопытством. Сонька, натужась, тащит без шума к столу стул; Котька влезает на него и, затаив дыхание, дотрагивается пальцем до Лелиного мертвого носа.

— Ну, што? — жадным шепотом спрашивает Сонька.

— Холодный, — шипит Котька.

— А всамделишний?

— Кожаный, — нехотя отвечает ей Котька, слезая со стула.

Из-за двери доносится радостный голос адмиральши:

— Сорок, Ефим Григорьевич.

Сонька и Котька, словно две белые мыши, испуганно исчезают.

Детское Село,
сентябрь — ноябрь 1926 г.

ТАЛАССА

(Трезвая повесть)

1

Ссора разыгралась внезапно и бурно тогда, когда, казалось бы, ее вовсе нельзя было ожидать.

Модест Иванович с утра не поехал на службу и отправился в банк получать свой выигрыш, тысячу рублей, по облигации второго государственного займа.

Получив из бесстрастных, поросших рыжим пухом рук кассира десять сторублевок, он вышел на улицу, пересчитал полученные деньги еще раз и вдруг почувствовал, что у него ослабели ноги и кружится голова.

Раззолоченное августовское солнце внезапно вспухло до нестерпимых размеров и прожигало насквозь. Модест Иванович обмахнулся несколько раз каскеткой, как веером, но легче не стало.

Спавший у подъезда банка ободранный извозчик, учуяв момент, оживившись, просиял:

— Подвезу вашу милость. Прикажете?

Модест Иванович хотел отказаться, — он давно уже забыл, как люди ездят на извозчиках, — но головокружение усилилось, и к нему присоединилась мутная сосущая тошнота.

Модест Иванович решился:

— На Зарядьевскую. Сорок копеек.

Извозчик погас и пожалобился:

— Полтинничек бы, ваша милость.

Модест Иванович не ответил и сделал попытку сдвинуть с места прилипшие к тротуару ноги.

— Ну, ладно, садитесь уж, — испуганно заторопился

извозчик. Ему было страшно потерять седока: в Перелюйске люди не так часто пользовались извозчиками, чтобы презреть сорок копеек.

Модест Иванович взгромоздился в скрипучую пролетку и затрясся по рытвинам уездной мостовой, трудно дыша и прижимая левым локтем карман пиджака, в котором лежали деньги.

На Зарядьевской, у ворот, скучилась толпа жильцов и любопытных, собравшихся поглядеть, как явится домой человек, выигравший взаправдашние деньги. Впереди стояла рябая постирушка Чумариха, оторвавшаяся от стирки и не успевшая стереть мыльной пены с распаренных рук, упертых в крутые, хорошо известные всем ловеласам Зарядьевской, бедра.

Толпа, перешептываясь, глядела вдоль улицы, когда из-за церкви Вознесения показалась сперва голова лошади, потом извозчик на козлах и, наконец, согнувшаяся в пролетке фигура Модеста Ивановича.

— Едет! — взвизгнула Чумариха, и шепот оборвался, словно слизанный ветром.

Тряская рысца пепельной кобылы окончилась у ворот, пролетка скрипнула впоследях.

Модест Иванович, потупившись и не смотря на зрителей, слез с подножки.

Чахоточный почтовик вытянул длинную зобастую шею и недоверчиво спросил:

— Получили, Модест Иванович? Действительно?

Модест Иванович молча кивнул головой.

— Настоящими червонцами? — не утерпела, в свою очередь, спросить часовщица, мадам Перельцвейг.

Модест Иванович не ответил. Он порылся в кармане и сказал извозчику:

— Ты подожди-ка здесь, я сейчас вынесу. Мелочи нет, — и, пробежав в подворотню, поднялся на второй этаж по деревянной, крашенной охрой лестнице.

Авдотья Васильевна жарила в кухне лук па сковородке. Над плитой тянулся сладковато пахнущий дымок. Заслышав шаги Модеста Ивановича, Авдотья Васильевна обернулась и выжидательно взглянула на мужа.

— Принес?

Модест Иванович полез в карман пиджачка и подал беленькую пачку Авдотье Васильевне. Она засопела, налилась румянцем и засеменила в спальню. Модест Иванович последовал за нею. Авдотья Васильевна от-

перла комод и, сунув деньги под белье, опять заперла ящик.

— Слава богу, — сказала она, отдувая жирно расквашенные губы. — Я, по правде, даже не верила. Думала— надувательство одно.

Модест Иванович потоптался на месте и поспешно сказал:

— Дунюшка. Дай, пожалуйста, сорок копеек. У меня нет мелочи, а нужно заплатить извозчику...

Авдотья Васильевна вздернула кверху широконоздрый тупой нос и всплеснула руками:

— Что? Извозчику?! Какому еще извозчику? Это что за новости?!

Модест Иванович сробел:

—Ты не сердись, Дунюшка. Я очень расстроился, когда получал деньги, голова у меня закружилась, испугался, не упасть бы по дороге и не пропали бы деньги, так я подрядился с извозчиком за сорок копеек.

Авдотья Васильевна вспылила:

— Голова закружилась? Видали вы такого ирода? Ты что, нэпман или комиссар, — на извозчиках раскатывать? Боже ты мой! Сорок копеек! Дурак! От банка до нас ровным счетом на двугривенный езды, а он сорока копейками бросается, как важная птица. А?

— Дуня,— сказал уже тверже Модест Иванович,— теперь поздно спорить — двадцать или сорок, когда я срядился. И потом ведь я же привез большие деньги.

Авдотья Васильевна секунду помолчала и шагнула к Модесту Ивановичу.

— Ты что же это, Модька? Никак, перечить вздумал? Смотри! Тысячу привез. Так надо ее на извозчиках прокатывать? На, довольно с него! — крикнула она, вытаскивая из кармашка холщового передника двугривенный.— За глаза хватит. Он рад содрать, черт желтоглазый, — видит, человек сдурел от радости.

— Ну, марш! — угрожающе прибавила она, видя, что Модест Иванович стоит, понуро смотря на двугривенный в своей ладони.

Модест Иванович поморщился.

— Мне надо сорок копеек. Я не могу выйти к извозчику с двадцатью.

Авдотья Васильевна попятилась.

— О-о-о!..— протянула она зловеще,— вот как. Ступай сейчас же!

— Это тиранство!.. Это гадко! — вскричал Модест Иванович, теряя хладнокровие.

— Ты это кому? Мне? Такие слова? На ж тебе, мокряк. — Авдотья Васильевна взмахнула мокрым и грязным полотенцем, зажатым в пальцах. Модест Иванович не успел закрыться, и полотенце липко щелкнуло его по носу и по глазам. Он схватился за ушибленное место и сел на табурет.

Авдотья Васильевна хладнокровно подняла упавший двугривенный и, грузно попирая ступеньки лестницы, вышла в подворотню, оттуда на улицу.

Извозчик, избочась на козлах, слушал пересуды жильцов о своем седоке, выигравшем тысячу, и причмокивал на пепельную кобылу, прядавшую спиной от мух.

Завидев вышедшую Авдотью Васильевну, жильцы затихли. Авдотья Васильевна, не глядя ни на кого, подошла к извозчику и сунула ему двугривенный:

— Вот тебе.

Извозчик косо глянул на Авдотью Васильевну.

— Ты, что же, стерьва, робишь? Тебе барин сорок копеек дал, а ты по дороге двугряш ужулила. Давай, а то кнутом огрею.

В кучке жильцов проползло шелестящее хихиканье. Авдотья Васильевна подпрыгнула на месте, встряхнув широкими плечами и плеснув бюстом.

— Ах ты рвань желтоглазая! Ты с кем разговариваешь? Что я тебе — кухарка? Вон отсюда, а то милицейского позову.

Извозчик осклабился.

— Ен оно што, — сказал он врастяжку, — значит, сама барыня. Ну и народ пошел. На ком только баре не женятся. Вот, то ись, граждане, вовек бы на такой кислотной суке не обмарьяжился.

Он сплеча хлестнул пепельную кобылу, рванувшую пролетку, и, пока Авдотья Васильевна опомнилась, был вне досягаемости.

Авдотья Васильевна окинула уничтожающим взглядом хохочущих соседей и, покачиваясь, пошла домой.

Модест Иванович лежал на кровати, из-за спинки торчали его пятки каблуками вверх, нос ушел в подушку.

— Модька,—крикнула Авдотья Васильевна,— встать! Покрывало только вчера выглажено. Для тебя, что ли? Так не напасешься чистого.

Модест Иванович молча поднялся, взял каскетку и подошел к двери.

Взявшись за ручку и открыв дверь, он обернул к Авдотье Васильевне лицо, по которому размазались грязные потоки слез, и выкрикнул трясущимися губами:

— Сквалыга!.. Плюшкин проклятый! Чтоб ты сдохла!

И поспешно бросился вниз, не ожидая ответа.

2

Когда родители листали залитые домашней сливянкой страницы старого крестного календаря, ища имя для новорожденного, они никак не предполагали, что судьба подарит Модесту Ивановичу качества, вполне отвечающие избранному наименованию: необычайную скромность и робость.

Это вышло само собой. Нечаянно.

Мать Модеста Ивановича приписывала это несчастью, происшедшему с новорожденным в день крещения.

Приходский священник, отец Елевферий, окуная младенца в купель, по дряхлости не удержал маленькое скользкое тело и уронил Модеста Ивановича в воду вниз головой. Модест Иванович наглотался теплой воды и был вытащен из купели синим и полузадохшимся.

Это ли или что другое было причиной,—но ребенок рос необычайно пугливым и тихим. Он пугался яркого света, громкого голоса, каждого шума, всего, что было необычным в его маленькой жизни, и, при первом вторжении чуждого начала в его ограниченный мирок, стремительно заползал в уютный угол между материнской кроватью и громоздким мраморным умывальником. И никакими посулами и угрозами не удавалось выманить его из излюбленного убежища. Если же его пытались извлечь оттуда насильно, Модест Иванович задирал кверху розовый подбородочек, распяливал ротишко, и комната оглашалась таким нестерпимо звенящим воплем, что отец Модеста Ивановича, аукционист городского ломбарда, сам виртуозно владевший высокими модуляциями, морщился, собирая у глаз лучики мелких морщин, и говорил домашним:

— Оставьте... оставьте Модьку. Он мне барабанные перепонки рвет.

Позже робость Модеста Ивановича стала принимать явно болезненный характер.

На десятом году Модест Иванович, держась за руку отца, отправился держать экзамен в гимназию и уже на первой диктовке с ним случилось несчастье: он неосторожно уронил на казенный, белее снега, лист, с круглой гимназической печатью, жирную чернильную кляксу.

Этот вздорный и забавный для любого мальчишки случай поверг Модеста Ивановича в нервное оцепенение. Распялив глаза на металлический блеск чернильной капли, уронив перо, он откинулся к спинке парты. Сердце его перестало отсчитывать такт; обтянувшееся лицо намокло холодным потом, особенно густо усеявшим нос мелкими росинками, а культяпые мальчишечьи пальцы, растопыренные на наклонной доске парты, густо посинели, словно вымазанные берлинской лазурью.

Подошедший преподаватель не смог добиться от него ответа. Пришлось вызвать гимназического врача, который с помощью сторожа унес Модеста Ивановича в учительскую и, провозившись с ним полтора часа, привел наконец мальчика в чувство.

Едва поступив в гимназию, Модест Иванович обратил на себя внимание гимназического начальства тем, что приходил в суровое белое здание гимназии первым, задолго до того, как начинал собираться бесшабашный мальчиший народ.

Робкая неуклюжая фигура в долгополой, сшитой на вырост шинели, съежившись, ныряла в гулкую пасть гимназической двери каждый день аккуратно в десять минут девятого, как только зевавший во весь рот швейцар Николай поворачивал в ней ключ, — и, раздевшись, бочком пробиралась по сводчатому тюремному коридору в класс. Там Модест Иванович усаживался на свое место, на третьей парте у окна, старательно подобрав ноги и положив ладони на коленки. Он сидел и смотрел прямо вперед блеклыми синими глазами, с выражением постоянного испуга, не двигаясь, не обращая никакого внимания на начинавших подходить после половины девятого шумливых и голосистых одноклассников.

Однажды директор Сторогов, проходя в ранний час по коридору, заметил через стеклянную дверь одинокую фигуру мальчика и заинтересовался. Распахнув дверь, он вошел в класс во всем великолепии вицмундира, рослой фигуры и холеной рыжей бороды.

Завидев начальство, Модест Иванович вскочил, вытя-

нул руки по швам, побледнел и уставился на подходящего директора.

— Ты почему, мальчик, так рано приходишь? Как твоя фамилия? — ласково жмурясь, как раскормленный доброй хозяйкой кот, спросил Сторогов.

Он пользовался славой либерального директора и гордился, что гимназисты любят его, как отца.

Модест Иванович стоял перед ним, не сводя с директора взгляда. Его круглый пуговичный нос сморщился и вздрагивал, пухлый рот бутончиком беспомощно раскрылся, и нижняя губа шевелилась, — но ни один звук не вылетел из этого рта.

Сторогов повторил свой вопрос.

То же молчание, только еще чаще заморгали пушистые белые ресницы.

— Когда тебя спрашивают, нужно отвечать! — повысив голос, несколько нервно сказал Сторогов, возмущенный поведением первоклассника. — Говори же!

Модест Иванович продолжал хранить загадочное молчание, и только пальцы, прижатые к швам штанов, запрыгали в неудержимом танце.

Либерализм Сторогова был оскорблен. Сторогов перестал владеть собой. Он топнул ногой и гневно вскрикнул:

— Дерзкий мальчишка! Останешься сегодня на час после уроков.

И вышел.

Модест Иванович не шелохнулся. Он превратился в соляной столб. Он продолжал смотреть вслед директору стоя.

В класс один за другим вбежало несколько первоклассников. Побросав книги на парты, они заметили необычную позу и остеклившийся замерзший взгляд товарища. Один из пришедших подбежал к нему.

— Кутиков! Ты чего?

Модест Иванович по-прежнему молчал.

— Дура! — сказал товарищ, ткнув пальцем в живот Модеста Ивановича, и отскочил, завыв от испуга: Модест Иванович упал на пол, не разогнувшись, как падает подгнивший заборный столб.

После этой оказии за Модестом Ивановичем в классе прочно установилась кличка «деревянный апостол», потому что его поза и падение напомнили мальчишкам сходный случай с деревянной статуей апостола Петра, стоявшей в нише городского костела и сбитой оттуда грозой.

В буйных гимназических игрищах и драках — один на один, «на обе руки», «на левую» и «на правую» — Модест Иванович никогда не участвовал. Единственным его развлечением во время перемен было раскладывание на коленях и любовное перебирание отменной коллекции перышек, пока она не была бездушно отнята второгодником Кобецким. Модест Иванович поплакал, но не сделал никакой попытки вернуть утраченное сокровище, не подумал даже пожаловаться классному надзирателю или инспектору, как посоветовал ему сосед по парте.

При всей робости и скромности, в Модесте Ивановиче совершенно не было задатков молчалинства или кляузничества, и хотя одноклассники и потешались всячески над странным характером товарища, но их забавы носили характер добродушных и веселых проказ, а не злобного и жестокого издевательства, которому изо дня в день подвергались ябеды.

Жесточайшим же несчастьем Модеста Ивановича были вызовы. Едва заслышав свою фамилию, произнесенную с высоты кафедры, Модест Иванович белел, тело его покрывалось пупырышками, и, стоя перед учителем, он походил на птичку, зачарованную взглядом удава. Отвечая урок, он краснел, обливался потом и начинал тяжело и длительно заикаться. Это выводило из равновесия самых благодушных преподавателей, и, несмотря на то что Модест Иванович дома каждый вечер корпел над уроками, как профессор над ученой диссертацией, графа классных журналов против его фамилии нередко украшалась двойками — то широкими и круглыми, как калач, то вытянутыми и острыми, смотря по темпераменту преподавателя.

С неизменной скромностью и безропотностью лавируя между всеми гимназическими несчастиями, Модест Иванович добрался до четвертого класса, в котором на его расцветающую жизнь свалилась непереносимой тяжестью — геометрия. Геометрия стала для Модеста Ивановича враждебной и неодолимой силой природы, борьба с которой была безнадежна.

Геометрические чертежи казались Модесту Ивановичу страшными ловушками, а их сухие, остро пересекающиеся линии вонзались в его сознание нестерпимой болью. При каждом вызове по геометрии с Модестом Ивановичем повторялось то же одеревенелое состояние, в которое его поверг в первом классе директор Сторогов: он не мог ответить ни слова, и нервный чахоточный математик Миронич,

яростно облизнув губы, отсылал несчастную жертву на место и садил в журнал крепкий и длинный кол с таким же наслаждением, с каким наши простодушные предки забивали осиновую оглоблю в могилу вурдалака.

Геометрия погубила Модеста Ивановича. Она окончательно парализовала его слабую волю к борьбе за существование; она выросла над ним, как массив непроходимого горного хребта. Употребив свои неокрепшие силы на борьбу с беспощадным чудовищем, борьбу безрассудную и напрасную, Модест Иванович забросил все остальные предметы и в конце года получил синенькую тетрадку, где по всем одиннадцати графам каллиграфически красовалась роковая цифра два.

В тот же день Строгов вызвал отца Модеста Ивановича и предложил ему взять сына из гимназии.

— Мы долго наблюдали за ним,— сказал он, соболезнующе вздохнув, — и пришли к убеждению, что он не совсем уравновешен душевно. Возьмите его на год или на два, полечите где-нибудь на морских купаньях, чтобы закалить его нервную систему, воспитать в нем самостоятельность и энергию, и тогда приводите обратно. А так мы не можем с ним возиться. Гимназия — не санаторий для нервнобольных.

— Морские купанья? — ответил взволнованный Иван Акимович. — Но ведь вы знаете, господин директор, что я со всей семьей еле перебиваюсь с хлеба на квас.

— Ничем помочь не могу. Каждый живет, как ему положено. Такова, к несчастью, несовершенная система современного общества, — мудро вздохнул Строгов и добавил решительно: — А из гимназии вам все же придется его взять. Таково решение педагогического совета.

Вслед за педагогическим советом в семье Модеста Ивановича состоялся семейный совет, на котором было положено отправить Модеста, для воспитания самостоятельности и энергии, на все лето к тетке, имевшей крохотный хутор в степи, у Азовского взморья.

Первый месяц, проведенный у тетки, нисколько не изменил характера Модеста Ивановича. Ходил он так же скромно, бочком, каждое утро тщательно чистил брючки и ботинки, избегал общества деревенских мальчишек и никуда не выходил за пределы вишневого садка, прилегавшего к теткиному дому.

В начале второго месяца теткин муж, Павел Петрович, завзятый рыболов и охотник, иронически присматрив-

шийся к странному племяннику, предложил ему поехать ночью на рыбалку. Модест Иванович вежливо, но без всякой охоты согласился.

Они выехали на шаткой душегубке в предутреннюю пору, когда лиман еще дымился курчавым туманом и отливал свинцово-синим мерцанием.

Гулкая тишина, нарушаемая только бульканием весел да заунывными воплями далекой ночной птицы, пластом налегала на парящую воду. Шелковый ветер нес в лица крепкий йодистый дух.

Рыболовы отъехали подальше от берега, бросили якорь, и дядя Модеста Ивановича стал разматывать леску, наверченную на деревянную рогульку.

На востоке, над сизым глянцем воды, затрепетали первые розовые тени.

Павел Петрович достал жестяную коробочку с наловленными за день перед рыбалкой крошечными крабами. Он сорвал трем крабам лапки и насадил круглые подушечки на крючки. Модест Иванович, полулежа на корме, следил за спорыми движениями дядиных пальцев.

Павел Петрович размахнулся. Свинцовая гирька свистнула и, булькнув, ушла под воду. Павел Петрович протянул леску племяннику.

— Бери, Модя. Вот так. Как почувствуешь, что рыба дергает, подсеки, а потом, не торопясь, тяни.

Модест Иванович цепко схватил леску. Дядя увидел, что апатичные блекло-синие зрачки племянника вдруг заострились сухим блеском. Модест Иванович уперся взглядом в воду, в то место, где уходила в зеленоватую глубину леска.

Леска дрогнула и вытянулась.

— Подсекай, — шепнул Павел Петрович.

Модест Иванович поддернул леску пальцем и, весь просияв, начал быстро выматывать ее на борт.

Под водой показался растопыривший колючие перья головастый бычок. Он рванулся последним усилием в сторону и повис в воздухе, вздувая жаберные щитки.

Модест Иванович, взвизгнув, схватил бычка всей кистью, накалываясь на колючки, и, громко засмеявшись, заглянул в выпученный ужасом рыбий глаз.

— Ну, Модя, нравится? — спросил Павел Петрович.

Не сводя взгляда с бычка и все крепче, с какой-то первобытной жестокостью сжимая задыхающуюся рыбу, Модест Иванович звонко ответил:

— Ой, как хорошо, дядя! — и швырнул бычка в воду, набравшуюся на дне, между бимсами баркаса.

В пурпурных и алых дрожащих спиралях выплыл на горизонте из-под воды раскаленный ломтик солнца. Вода засияла хризолитовыми и золотыми полосами. Песчаный берег вспыхнул и загорелся горячей желтизной.

Павел Петрович показал племяннику на прибрежье и сказал, расправляя плечи:

— Таласса.

— Что, дядя? — переспросил Модест Иванович.

— Таласса. Греческое слово. По-русски — взморье. По-русски нехорошо — таласса куда лучше. Словно волна лижет песок и свистит.

Павел Петрович был неудачником-филологом и, спившись, не кончил университета, но любил в свободные минуты почитывать оставшиеся от университетских лет книжки греческих и латинских классиков.

— Та-лас-са,— медленно повторил Модест Иванович, прислушиваясь к звукам слова, и, виновато улыбнувшись, сказал Павлу Петровичу: — А правда хорошо.

— Мгм, — ответил Павел Петрович, в свою очередь вытаскивая на борт рыбу.

Солнце стояло уже высоко, когда Павел Петрович свернул лески.

— Будет, Модя. Жарко. Рыба не клюет. Будем купаться. Ты плавать умеешь?

— Не пробовал, дядя.

— Ну попробуй.

Павел Петрович скинул вышитую рубаху и коломянковые широкие брюки и, вытянув руки, обрушился с борта вниз головой в воду, плеснув водометом пены. Вынырнув, он позвал племянника:

— Прыгай, Модя. Не трусь, — я поймаю.

— Я, дядя, не боюсь, — так же звонко ответил Модест Иванович и, заливисто смеясь, весело прыгнул в воду.

С этого утра Модест Иванович неожиданно и неузнаваемо ожил. Словно внутри него лопнула какая-то заграждавшая радость плотина и с неудержимой силой забил живоносный источник.

За неделю он сделался коноводом всех хуторских мальчишек, изобретателем и зачинщиком самых буйных и отчаянных шалостей. Он словно торопился наверстать потерянное за годы, проведенные в тихом плену болезненной боязливости. Он исчезал из дому на рассвете и возвращал-

ся только к ночи, к изумлению и огорчению тетки, печалившейся, что Модя ничего не ест, может исхудать и заболеть. Но Павел Петрович всячески потакал племяннику. И, несмотря на то что Модя ел урывками и всухомятку, он здоровел, загорал и наливался мускулами и соками.

Когда в августе Павел Петрович привез племянника домой, родители с трудом признали в выросшем на голову, широкоплечем парнишке с огрубелым голосом, здоровыми кулаками и твердой походкой своего Модю, бледного заморыша, сутуло прокрадывавшегося по дому, как расслабленный паралитик.

Обрадованный Иван Акимович повел сына к Сторогову. Сторогов, также пораженный переменой, милостиво разрешил Модесту Ивановичу вновь появиться в стенах гимназии. Модест Иванович в классе по-прежнему держался скромно, но без всякой робости, сблизился с одноклассниками, принимая живейшее участие во всех гимназических проказах.

Но однажды математик Миронич пришел в класс раздраженный тяжелым утренним приступом туберкулезного кашля, ища, на ком бы отвести обиду за свою жалкую, исходящую пенистой кровью жизнь. Он порывисто открыл журнал, поцарапал его колючими зрачками и протянул нараспев с угрожающими нотками:

— А ну-ка, Ку-у-тиков, по-жалуй сюда.

Модест Иванович встал, одернул курточку и, твердо шагая, подошел к глянцевитой пустыне новенькой классной доски.

— Ра-асскажи мне те-е-орему о противолежащих углах равносторонних треугольников.

Модест Иванович взял мел и спокойно набросал чертеж. Неторопливо подбирая слова, он стал доказывать теорему. Миронич следил за ним, и под его жидкими мандаринскими усами шевелилась усмешка, едкая, как туберкулезная кровь. Неожиданно Миронич изогнулся всем телом в сторону доски и, ласково-льстиво смотря в глаза сразу остановившемуся Модесту Ивановичу, проскрипел сквозь зубы:

— Остолоп ты, Кутиков! Равносторонний остолоп. Как ни старайся, а геометрии тебе не одолеть. Сожрет она тебя с потрохами.

Перед притихшим классом Модест Иванович выронил мел, вытянулся на мгновение в знакомой гимназистам позе деревянного апостола с замерзшими глазами и, не

сгибаясь, грянулся затылком об пол. В общей кутерьме кто-то, через весь класс, влепил в грязную манишку математика чернильницу. Чернила залили воротничок и тощий кадык Миронича, и он, хныкнув, умчался из класса, провожаемый диким воем и разбойным свистом.

Через день Сторогов вызвал Ивана Акимовича во второй раз и категорически предложил взять сына из гимназии.

— Нельзя... Нельзя, уважаемый. Юноша страдает эпилептическими припадками. Это действует на остальных детей. Могут быть массовые заболевания. Мы должны для общего блага пожертвовать одним. Это социальный принцип, — проводил Сторогов убитого Ивана Акимовича.

Так Модест Иванович покончил с гимназией.

Оправившись от припадка, уложившего его на две недели в постель, он встал прежним запуганным и апатичным Модестом Ивановичем, и Иван Акимович тайком утер слезу, когда увидел сына опять пробирающимся по квартире шаткой походкой паралитика.

3

Расставшись с гимназией, Модест Иванович зажил дома бесцельной и тоскливой жизнью выброшенного за борт существа. Единственной отрадой его были книги, которые он брал из чахлой уездной библиотеки. Больше всего Модесту Ивановичу нравились книги по географии и жизнеописания путешественников и мореплавателей. Он забивался в угол у окна на старое клеенчатое кресло, и часами бегали по страницам блеклые синие глаза. После чтения он впадал в мечтательную рассеянность, невпопад отвечал на вопросы, часто даже вовсе не слышал того, что ему говорили: он жил и дышал фантастическим миром книг, вне обыденного бытия.

Иван Акимович, отчасти для того, чтобы отвлечь сына от каких-то опасных, как ему казалось, мыслей, отчасти чтобы приготовить себе помощника на старость, решил пристроить Модеста Ивановича к какому-либо занятию, и на второй год ему удалось упросить директора ломбарда взять сына писцом — на место умершего прежнего писца. Директору понравился каллиграфический почерк Модеста Ивановича, и он уважил просьбу аукциониста.

Модест Иванович беспрекословно уселся в остро щип-

лющем нос нафталинном воздухе ломбарда у конторки, за проволочной сеткой, склонив голову над желтыми бланками закладных квитанций и бегая по ним пером.

Шесть лет протекли для него на этом месте, как один день; однообразные, невозмутимые,— вода в стоячем пруду, не колеблемая ветрами.

С неизменной точностью, каждое утро он садился на высокий вертящийся табурет, терпеливо и вежливо выслушивал крикливые и нервные претензии закладчиков, вежливо улыбался пухлым, сложенным бутончиком ртом, сохранившим детскую неопределенность очертаний, и самые непокладистые и злобные клиенты смолкали перед его обезоруживающей скромной улыбкой.

За шесть лет он ни разу не брал отпуска, не пропустил ни одного дня и на седьмом году получил повышение за беспорочную службу. Директор назначил Модеста Ивановича старшим письмоводителем, и с жалованья в двадцать пять рублей Модест Иванович сразу перешел на шестьдесят.

Иван Акимович радостно вздохнул: Модя стал самостоятельным человеком, и дальнейшая жизненная дорога ему была обеспечена. Мать же Модеста Ивановича, узнав о его счастливой судьбе, нашла нужным заговорить о женитьбе.

Услышав о намерении матери, Модест Иванович пришел в ужас. Он жил тихо и одиноко, и в то время как его сослуживцы по ломбарду — молодежь влюблялась и увлекалась в уездных масштабах, у Модеста Ивановича не было ни одной знакомой барышни. Он упрямо отказывался от всяких предложений приятелей познакомить его с девицами, хотя охотниц свести знакомство с Модестом Ивановичем было немало. Еще в детстве Модест Иванович был хорошеньким ребенком. У него был нежный, почти девичий, овал лица, большой лоб, мягкие, пушистые, соломенного цвета волосы. Несколько портили приятное впечатление блеклые пугливые глаза, но даже и с этим недостатком Модест Иванович все же был интересным молодым человеком.

Но Модест Иванович считал себя уродом и испытывал необычайную боязнь перед женщинами.

Заволновавшись и покраснев, он сказал матери:

— Нет, нет, мама! Зачем? Мне хорошо дома, и совсем мне никакой жены не нужно. Не хочу жениться. Что мне с женой делать?..

Мать, немного размякшая от наливки, выпитой за семейным обедом в честь повышения Модеста Ивановича, лукаво улыбнулась:

— Ну, жена сама научит, что с ней делать. А женить тебя пора.

Модест Иванович вспыхнул и убежал.

— Дитя, — сказала ласково мать и обратилась к Ивану Акимовичу: — А ты как думаешь, старый?

— Я — что ж... женить так женить. Ваше бабье дело, — отозвался Иван Акимович, пощипывая белеющую бородку.

Со следующего дня мать забегала по свахам. Но, неожиданно, найти невесту для сына оказалось гораздо сложнее, чем ей казалось. Сваха Марья Дормедонтовна, придя к матери Модеста Ивановича и развалясь на стуле сдобным, пушистым, что просфора, телом сказала, отдуваясь:

— Плохо дело, мать моя. Никого уговорить не могу. И Глаголиных натаскивала, и Батаевых, и Дудиных — все, как прóклятые, упираются. Одно слово: всем, мол, жених хорош — и тихий, и скромный, и уветливый, и умом не обижен, да припадочный, вишь. Больной, значит.

Мать Модеста Ивановича обиделась и послала сваху в другие дома, но и там сватовство провалилось.

Разморенная сваха устало бубнила:

— Нет, мать моя. Окромя дьяконской Авдотьюшки, другой не найти.

Мать Модеста Ивановича перекрестилась и попятилась.

— Что ты, что ты, Марья Дормедонтовна? В уме? Характер лютый и с актером путалась. Разве такую Модечке надо?

Сваха облизнула губы.

— Про ахтера, може, и враки, никто не видал, а коли и правда, так для твоего и лучше. А то он, по робости, с невинным цветиком и справиться не сможет. Про счет же характера,— кто хочешь облютеет, коли ворота дегтем девке мажут почем зря. А отец дьякон все приданое справляет и флигель на каменном хундаменте дает. Эвона!

Мать решила посоветоваться с Иваном Акимовичем. Он, к ее удивлению, стал на сторону свахи.

— Не нам разбирать, матушка. Если и был грех — человека не испортил. А Дормедонтовна права. Модя, по невинности, не разберет; зато Дуняша с характером, твердая. Такую нашему скромнику и надо.

Модест Иванович покорно принял материнский выбор и вместе с матерью посещал невесту до свадьбы раз пять, выдерживая классическую роль жениха в полном молчании. И хотя нареченная, лихая, разбитная и, видимо, бывалая, пыталась вызвать Модеста Ивановича на разговор, но, кроме «да» и «нет», не выудила из жениха ничего более существенного.

Свадьбу справили, как все свадьбы, чин чином, по положенному. Молодых отвели в спальню флигеля, а счастливая мать Модеста Ивановича прикорнула на диване в столовой. Но она еще не успела задремать, как дверь спальни распахнулась, и на пороге показалась невестка в одной сорочке. Сквозь прошитое кружевом полотно просвечивало освещенное сзади лампой ее жаркое и мощное тело.

— Мамаша! — позвала она.

Встревоженная мать приподнялась с дивана:

— Ты что, Дунюшка?

Невестка зло и оскорбительно засмеялась в ответ.

— Мамаша, — повторила она, покачиваясь всем телом от язвительного смеха, — прикажите вашему дурачку, чтоб он штаны снял. А то уперся, как бык: «Неприлично при барышне», — и не хочет. А мне тоже не резон. Если не хочет, так я кого другого с улицы позову. Не для того замуж шла, чтоб разговоры разговаривать.

С этой ночи Дунюшка, Авдотья Васильевна, сделала мужа бессловесным и беззаветным рабом, вещью, которой она распоряжалась, как хотела. Модест Иванович покорно надел хомут, и если иногда и бывали у него ничтожные, робкие попытки противопоставить велению Дунюшки свое мнение, Авдотья Васильевна пресекала их в самом начале суровым окриком, а иногда даже и тычками крепких, не женских кулаков.

На втором году семейной жизни грянула война. Модест Иванович пошел призываться, но на приеме от страха впал в то же состояние нервного коллапса, какое бывало с ним в гимназии, и получил белый билет. Война прошла мимо Модеста Ивановича, не задев его своими шумными, обагренными крыльями.

В день, когда до уездного города докатились первые полошащие, вихревые телеграммы революции и в ломбард, в мертвый воздух, сочащийся острым ядом нафталина, ворвался с улицы ошалелый человек с листком в руке и криком «революция», — Модест Иванович смертельно ис-

пугался. И когда все сослуживцы бурлящей толпой побежали на улицу, побросав дела, Модест Иванович один остался сидеть за своим столом, продолжая машинально писать последнюю фразу бумаги, которой был занят.

Обеспокоенная Авдотья Васильевна пришла в ломбард в десятом часу ночи. Ей отпер сторож Авдей и на вопрос, где Модест Иванович, ответил, сплюнув:

— А где ж ему быть? Сидит, пишет.

Авдотья Васильевна прошла тяжелой походкой (она расплылась за эти годы и напоминала опару, стремящуюся перелиться через край квашни) за загородку и увидела низко склоненную над столом голову мужа. Вокруг него валялись листки писчей бумаги. Он не ответил на оклик, и глаза его замерзли и остекленели. Авдотья Васильевна подняла один листок и прочла бесконечно повторенную каллиграфическим почерком мужа казенную фразу:

«К сему имеем честь присовокупить...»

Она усмехнулась и, подняв супруга за воротник, увезла его домой.

После Октября ломбард закрылся. Модест Иванович засел дома, скучал, томился без привычного дела, читал с утра до ночи свои любимые описания путешествий и трепетно прислушивался к постоянно гремевшим, с наступлением темноты, в городе выстрелам. И каждый выстрел отмечался мгновенным вздрагиванием плеч Модеста Ивановича, как бы далеко он ни прозвучал, едва донесенный до флигеля ветром.

Вскоре один из сослуживцев по ломбарду, занявший место комиссара финансового отдела уисполкома, пригласил Модеста Ивановича к себе в отдел, и он сел на стул в нетопленном и прокуренном здании исполкома так же скромно и робко, как десять лет просидел на таком же стуле в ломбарде. Кругом все грохотало, рушилось, разваливалось, вновь строилось, рушилось и снова упрямо и, казалось, явно нелепо восстанавливалось, чтобы опять разрушиться.

Вокруг уездного городка металлическим коклюшем надрывались пушки, горели села и деревни, тысячами ложились в снег, грязь и пыль человеческие тела, но даже кончина мира не могла бы изменить позы Модеста Ивановича за столом и круглых, приятных завитков его почерка на ордерах.

Он не замечал ни голода, ни холода, ни все растущего

озлобления и ругани Авдотьи Васильевны и писка двоих ребят, — не замечал ничего.

Пробираясь бочком вдоль облупленных стен, через грохочущий и полыхающий город, сквозь пулевые свисты и ледяные метели, он поднимался во второй этаж уисполкома, садился на свой стул и писал, писал.

Жизнь протекала мимо него, вздернутая на дыбы, клокочущая, безрассудная в разрушительном натиске, не изменив ничуть замысловатого хвостика у буквы «ц» и веселой завитушки у «к». Модест Иванович не видел жизни за прочной стеной робости и скромности. От года к году Модест Иванович писал, зябко вжимая голову в плечи и не видя, что все вокруг меняется, приобретает прежний вид, бодреет и воскресает.

Механически, каждый месяц он получал жалованье, которое немедленно отбиралось Авдотьей Васильевной с животной свирепостью и скупостью. Она яростно вцеплялась в каждый грош.

В июле тысяча девятьсот двадцать пятого Авдотья Васильевна обнаружила, что облигация второго государственного займа, выданная некогда Модесту Ивановичу в счет зарплаты и вызвавшая тогда у Авдотьи Васильевны приступ неистового озлобления, выиграла в майском тираже тысячу рублей.

Это неслыханное и нежданно свалившееся счастье давало возможность заделать все изъяны в хозяйстве и отложить еще запас на черный день. Облигация была вручена Модесту Ивановичу, и он, предупредив начальство, в первый раз в жизни манкировал служебным временем и поехал в банк за деньгами.

. . . .

4

Выбежав из подворотни в горячую от солнца щель улицы, Модест Иванович замедлил шаги только на другом конце квартала и трепетно оглянулся, не преследует ли его Авдотья Васильевна.

Но улица была пуста. Посредине, взбивая копытцами белую, медленно оседавшую пыль, брел только старый серьезный козел, потряхивая выцветшей бородой.

Модест Иванович остановился и перевел дух. Внутри него все трепетало и билось, и он с каким-то испугом при-

слушивался к необычному биению крови. Он был взволнован, потрясен и рассержен — и это было самое необычайное. Все его существо бессознательно протестовало против незаслуженного и горького оскорбления, вырвавшего из его уст неслыханные и дерзкие слова, которые он бросил, убегая из дому, в лицо Авдотье Васильевне.

Глубоко и тяжело вздохнув, Модест Иванович бессознательно побрел по улице куда глаза глядят. Для него было ясно, что возвратиться домой нельзя. Ни сейчас, ни после, — может быть, даже никогда. Случившееся было катастрофой, и Авдотья Васильевна никогда не простит. Модест Иванович зажмурился, словно пухлый и тяжелый кулак жены уже навис над его безмерно виновной головой.

Улица спускалась вниз к базару. Модест Иванович, ничего не видя, добрел до первых лотков и пошел между ними, толкаемый и затираемый базарным людом. Он прошел зеленной и мясной ряды и погрузился в пахнущую сыростью и солью солнечную полутьму рыбного ряда.

Идя по проложенным вдоль ларьков мосткам, он поскользнулся и, падая, уперся в край большой лохани, наполненной водой. Рыбы, плававшие в лохани, всполошенно заметались и забрызгали водой. Модест Иванович поднялся, и глаза его приковались к мечущимся рыбам со странным жестким и упрямым выражением.

Он протянул руку, сунул ее в воду и ухватил пальцами скользкое, бьющееся и холодное тело семивершкового окуня, вытащил его из лохани и, заглянув в бессмысленно выпученный испугом рыбий зрачок, крепко сжал окуня, разевавшего рот.

Продавец бросился к Модесту Ивановичу, наваливаясь животом на оцинкованный прилавок.

— Эй-эй, — закричал он, — гражданин! Зачем жмешь! Рази можно так? Рыбу задушишь. Купить не купишь, а окунь пропал. Пусти, слышь.

Модест Иванович странно взглянул на продавца, разжал пальцы. Раздавленный окунь шлепнулся в лохань, а Модест Иванович вдруг быстро пошел, не оборачиваясь, смотря прямо перед собой, поверх людей и натыкаясь на встречных, прочь от лотка, провожаемый руганью разозлившегося лоточника.

Он почти пробежал базар, свернул в переулочек и вышел на запыленную кленовую аллейку, носившую название бульвара Марата.

На бульваре он опустился на скамью, вынул из кармана клетчатый фуляр и вытер выступивший на лбу пот. Спрятав фуляр, он уронил подбородок на упертые в колени руки. По шевелящимся и прыгающим губам, по ушедшим в себя глазам было ясно, что мозг его проделывает напряженную и мучительную работу.

Бегавшая по бульвару рыжая собачонка уселась напротив скамьи и, свесив одно изорванное ухо к земле, сострадательно смотрела на задумавшегося человека.

Вдруг она отскочила, заворчав. Модест Иванович встал, словно подкинутый, со скамьи и, сунув руки в карманы, зашагал по бульвару. Рыжая собачонка увидела в зрачках идущего, почуяла собачьим своим чутьем опасность, может быть даже смерть, свою или чужую, все равно; но она знала всем опытом бездомной и бродяжьей своей жизни, что от человека с таким взглядом нужно бежать подальше. И она помчалась, поджимая хвост, в противоположном направлении.

Солнце уже цеплялось за печные трубы, тронутое розовым закатным тленом, когда Модест Иванович подошел к своему дому. Шел он осторожно по противоположной стороне улицы, надвинув каскетку на лоб.

У ворот в пыли возилась и визжала дворовая детвора и среди нее старший сын Модеста Ивановича — Ленька.

Модест Иванович окликнул Леньку. Ленька примчался, вздымая босыми ногами тучи пыли.

— Мать дома? — спросил Модест Иванович.

— Дома.

— А... ну ладно, беги играй.

— Мама на тебя серчает,— ух! — сказал восторженно Ленька. — Пусть, говорит, придет только, я ему покажу, я ему, говорит, ноги отдеру...

— Ну иди, иди, — повысив голос, сказал Модест Иванович и добавил: — Не будет больше мать мне ничего показывать. Я ей сам отдеру.

Ленька, недоверчиво ухмыльнувшись, понесся назад к ребятам, а Модест Иванович зашел за кусты бузины, росшие вдоль дома, у которого он стоял, и сел на скамеечку у чужих ворот, не спуская глаз со своих.

Вскоре в воротах появилась дебелая фигура Авдотьи Васильевны. На левой руке у нее качался жестяной бидон: она шла в лавку за керосином. Модест Иванович низко пригнулся и сидел так, пока спина Авдотьи Васильевны

не скрылась за угловым домом. Тогда он вскочил и с мальчишеской легкостью и живостью перебежал улицу.

Поднявшись по лестнице, он открыл дверь, прошел в спальню и подергал ящик комода. Он был заперт.

С тем же упрямым и острым блеском в глазах Модест Иванович сбегал на кухню и припес топор. Он вставил край лезвия в щель и нажал. Перемычка затрещала, и ящик открылся. Модест Иванович залез рукой под белье и вытащил десять сторублевых билетов. Он усмехнулся и положил их в карман. Так же нажимая топором, закрыл ящик снова и отнес топор на кухню. Из шкафа достал осеннее пальто и надел его. Окинул задорным взглядом комнату и вышел.

На улице опять увидел Леньку. Мгновенная тень прошла по его бледному лицу, по детским пухлым губам бутончиком. Он поднял Леньку с земли и крепко поцеловал. Не привыкший к нежностям, Ленька удивленно вытаращился на отца.

— Не говори матери, что я здесь был, — сказал Модест Иванович, опуская Леньку наземь.

— Не скажу. Зачем мне говорить? Она меня поколотит за то, что я с тобой разговаривал, — степенно сказал Ленька вдогонку уходящему Модесту Ивановичу.

Над городом уже серел сумеречный дым, когда Модест Иванович появился на вокзале. Он шел по вестибюлю, рассеянно озираясь, пока не увидел на стене карту железнодорожных путей. Он подошел к ней и долго стоял, шевеля губами. Взгляд его сползал по карте все ниже к югу, пока не уперся в сплошное голубое поле с рваными краями.

Модест Иванович сжал веки, и перед ним встало розоватое утро, сизая пелена блестящей воды, нежное покачивание баркаса.

Открыв глаза, он окликнул проходящего носильщика.

Носильщик подошел, вытирая нос концом фартука.

Модест Иванович сказал сурово и властно:

— Слушайте! Мне нужен билет.

— Куда, барин? — осведомился носильщик.

Модест Иванович на мгновение замялся и опять повернулся к карте. Его вытянутый палец черкнул по бумаге и уперся в маленький кружок возле синего поля.

— Вот сюда.

— В Севастополь? — сказал носильщик и покачал

головой: — Трудновато, барин: сезон сейчас, — переполнено. Меньше десятки...

— Ну, пожалуйста... Мне очень нужно,— сказал Модест Иванович с умоляющей дрожью голоса,— я заплачу.

Носильщик сдержал усами растопырившее его рот удовольствие.

— Ну, разве уж для вас, барин, как-нибудь столкуемся с кассиром. Пожалуйте деньги.

Модест Иванович вынул одну сторублевку и торопливо сунул ее в руки носильщика.

— Вы обождите, барин, в буфете. Касса откроется минут через двадцать, я тогда к вам приду.

Модест Иванович вошел в буфет. Под потолком шумел электрический вентилятор; сияя, подрагивали лампочки в люстре над столом; пахло пивом и жареным мясом. Свет, шум, запах кухни — все это приятно ошеломило Модеста Ивановича и словно опьянило его. Он присел за стол. Подошедший официант выжидательно остановился.

Модест Иванович нерешительно поглядел на него.

— Угодно карточку? — спросил официант.

Модест Иванович пробежал глазами поданную карточку и молчал.

— Из напитков ничего не прикажете? — подсказал официант.

Модест Иванович удивленно взглянул на склонившегося официанта.

В последний раз он пил вино на своей свадьбе. Оно было налито в узкий и длинный стакан на тонкой ножке и было холодное, пенящееся и приятно кололо язык. С тех пор у него не было во рту ни капли вина, и он не знал никаких напитков, кроме чая. Но здесь, среди шума и света, в тревожно бодрящей суматохе вокзала, ему захотелось опять испытать то колкое веселящее ощущение, которое он испытал за свадебным столом. Он пожевал губами и сказал официанту:

— Вы мне дайте этого... как его, ну желтого... шипит. Его на свадьбах пьют.

В узких татарских щелках официанта мелькнул на мгновение изумленный блеск, но долгая ресторанная выдержка тотчас выключила его. Он сказал:

— Шампанское? Какое прикажете?

— А разные есть? — осведомился Модест Иванович.

— Разное-с. Есть русское Абрау и заграничное Редерер.

— А какое лучше?

— Конечно-с, Редерер. Только оно дороже.

— Тащи Редерер,— приказал Модест Иванович, чувствуя подступающее головокружение. Он уже хмелел без вина первозданными, никогда не испытанными чувствами.

Он выпил натощак три бокала Редерера. Шампанское случайно залежалось в дрянном буфете уездного вокзала, где никто никогда не требовал его, и поэтому оказалось выдержанным и крепким. Когда пришел носильщик с билетом, Модест Иванович расплатился, трудно поднялся и заплетающейся походкой, бессмысленно и дерзко улыбаясь, пошел на перрон.

— Чудной гражданин,— сказал официант носильщику, провожая взглядом Модеста Ивановича.

— Не иначе, как без винтика, — подтвердил носильщик.

Поезд, шипя и фыркая, веселый, пыльный и запыхавшийся, шумно влетел наконец на вокзал, зовя и радуя белоосвещенными окнами. Модест Иванович, раскачиваясь и толкая встречных, долго толкался во все вагоны, пока не разыскал свой.

Проводник указал ему место номер девятый па нижней полке.

— Куда едете, гражданин?

— К ч-черту на кул-лички, — ответил Модест Иванович, грузно садясь на койку. Ослабевшие ноги не держали тела.

— А где ваши вещи? — спросил профессионально-привычно проводник.

Модест Иванович засмеялся и поводил пальцем у носа проводника.

— В-вещи?.. Нет... Н-нет у меня вещей... Я нал-легке, п-понимаешь?

— Он налегке и навеселе, — раздался голос из соседнего отделения.

Сверху пролился тихий женский смех.

Проводник опять наклонился к Модесту Ивановичу.

— Вы бы легли, гражданин. Вам постель дать?

— Дать, все дать!.. — отвечал Модест Иванович засыпающим голосом.

Проводник принес подушку и матрац и, перевертывая самого Модеста Ивановича, как матрац, уложил его. Модест Иванович вытянулся на спине и мгновенно заснул.

Лицо его, с выпяченным, как у ребенка, пухлым раскрывшимся ртом, в темноте нижней койки казалось юным и трогательно-привлекательным.

Худенькая пассажирка с ярко накрашенными губами, лежавшая на верхней койке и смеявшаяся при появлении Модеста Ивановича, перегнулась, опираясь на локоть, и долго смотрела в это лицо со странным, как бы оценивающим выражением.

Поезд тронулся. Пассажирка отвернулась и, достав сумочку, мазнула алым карандашиком по нестерпимо ярким губам.

5

Поезд летел в золотой степной пыли, стуча и звеня сцепами, словно вырвавшийся конь оборванными удилами.

Белое степное солнце вливалось в открытое окно купе непалящим приятным жаром.

В голове у Модеста Ивановича была смутная тяжесть и звон. Он спустил ноги на пол и, подставив лицо упругим толчкам несущегося навстречу поезду ветра, задумался.

Вчерашний день показался ему отошедшим безвозвратно далеко, небывалым, только приснившимся. На мгновение сердце его сжалось, когда он вспомнил покинутый родной очаг, детей, свой пустой стул и стопку ожидающих его в здании финотдела ордеров.

Охнув, он даже привстал от испуга и жалости и сделал такое движение, словно хотел выскочить через стенку вагона, но тотчас же сел, весь покрывшись холодной испариной.

Сквозь золотеющую пыль степи приблизилось и встало, заслоняя окно вагона, жирное, с раскрашенными губами и колючим взглядом, лицо Авдотьи Васильевны, и сразу сквозь тяжесть и звон, сквозь разорванные мысли, пробилась и всплыла с новой силой боль вчерашнего, незаслуженного оскорбления. Модест Иванович замотал головой и даже сказал вслух:

— Нет... нет!..

Чувства испуга и жалости поспешно отступили перед ненавистью и обидой.

Но все же Модест Иванович чувствовал сосущее смущение и неловкость. Он вспомнил, что в доме не было денег, что, кроме тысячи, вынутой им из комода, у Авдотьи

Васильевны оставалась мелочь, всего около трех рублей,— месяц был на исходе, доживали остатки жалованья.

Модест Иванович пощупал борт пиджака — сторублевки тихо и вкрадчиво захрустели под материей. Этот хруст подсказал Модесту Ивановичу решение.

Он окликнул появившегося в купе проводника:

— Скажите, вот... мне нужно послать деньги. Как это сделать?

Проводник, подметая пол, не спеша ответил:

— Как?.. Известно. Очень даже просто, гражданин. На станции пойдете в отделение и отправите. Вот через час Лозовая будет, там стоянки пятнадцать минут.

Модест Иванович отвернулся лицом в угол, бережно вынул деньги и пересчитал. После покупки билета и вокзального кутежа у него оставалось еще девятьсот двадцать пять рублей в бумажках и немного серебра. Модест Иванович почесал нос, соображая, и, отсчитав восемь десятичервонных бумажек, отправил их во внутренний карман пиджака. Сто двадцать пять с мелочью сунул в карман брюк и, пододвинувшись к окну, высунулся в него, разглядывая мелькавшие мимо сжатые хлебные поля с правильно расставленными в шахматном порядке пирамидками снопов, стрельчатые перья тополей и сахарно-белые, в жирной и густой зелени, мазанки.

Он простоял у окна до Лозовой. Когда паровоз, фыркнув в последний раз, остановил бег у приземистого вокзала, Модест Иванович надел каскетку и, вышедши на перрон, спросил у железнодорожника в красной фуражке, где почта.

Идя по указанному направлению, он остановился в дверях вокзала, вынул приготовленные восемьсот рублей, отслюнил еще три сторублевки и отправил их в брюки к прежним ста двадцати пяти. У окошечка он попросил бланк перевода и, нагнувшись над конторкой, вывел своим каллиграфическим почерком цифру 500.

Но, не успев написать адреса, он отнял перо от бланка и опять пожевал губами. Со смущенным и извиняющимся выражением он протянул руку в окошко и попросил второй бланк.

Торопливо, словно боясь, что кто-то укоризненно смотрит через его плечо, прикрывая бланк ладонью, он написал новый перевод, но уже сумма была не пятьсот, а двести. Горько вздохнув, Модест Иванович положил перо и подал бланк телеграфисту.

Получив квитанцию, он вернулся в вагон, купив по дороге у мальчишки пирожок с мясом. Разложив на коленях вытащенный из кармана обрывок газеты, он принялся уплетать пирожок, не замечая, что худенькая пассажирка с верхней койки наблюдает за ним.

Он доел пирожок, тщательно подобрал с газеты все крошки и откинулся на спинку сиденья, сложив руки на груди.

Им овладела легкая и нежащая бестревожность; голос совести больше не мучил его.

Внезапно он увидел над своей головой свесившуюся с верхней койки женскую ножку в телесно-розовом шелковом чулке. На ней, вися только на пальцах, покачивалась, поблескивая, лакированная туфелька.

Модест Иванович инстинктивно отвел глаза; однако ритмическое покачивание туфельки неотвратимо приковывало его внимание. Он покраснел и хотел выйти в коридор; но ножка вздрогнула, туфелька сорвалась и с сухим кожаным стуком ударилась об пол.

Модест Иванович, захолодев, услышал капризно-жалобный голос:

— Ай, моя туфелька!

Он не шевельнулся, он сидел, растопырив руки и не отрывая взгляда от лежащей на полу бочком туфельки.

Капризно-жалобный голос сказал опять:

— Будьте добры, если вас не затруднит... Мне очень неудобно слезать.

Модест Иванович стремительно, словно хотел упасть рядом с туфлей, нагнулся, неловко схватил ее и, не подымая головы, ткнул вверх.

Пассажирка сказала:

— Ах, простите, что я затрудняю вас, но эти жесткие вагоны — такой кошмар. Я даже повернуться не в силах. Не сможете ли вы мне надеть туфельку? Тысячу раз извините...

Модест Иванович затрепетал, смотря в сторону, пытался одной рукой насунуть туфельку на спущенную ступню. Но туфелька не надевалась.

Пассажирка засмеялась:

— Ах, какой вы неуклюжий! Неужели вы никогда не надевали туфель дамам? Да не так же. Возьмите одной рукой за щиколку, а другой надевайте. Ну, ну, так.

Модест Иванович несмело сунул и другую руку и коснулся теплого скользкого шелка, обжегшего его пальцы. Это ощущение словно пронизало его щекотной и горячей дрожью с головы до пят, и было одновременно страшно и сладостно. Так сладостно, что, уже надев туфельку, он не отнимал пальцев, как будто нога была металлом, к которому прилипает кожа в жестокий мороз.

Пассажирка, прищурив длинные томные глаза, с усмешкой смотрела на Модеста Ивановича.

— Ай, ай, какой увалень! — сказала она. — Сколько вам лет?

— Тридцать пять,— сухим хрипом выжал из себя Модест Иванович.

— Неужели? И вы до сих пор не научились надевать дамам туфли? Какой стыд! Или вы умеете только снимать? Вы женаты? А ваша жена не сердится, что вы не умеете надевать ей туфли?— забрасывала пассажирка вопросами под хохот соседей.

Модест Иванович выпустил наконец ногу пассажирки и бессмысленно топтался в узком пространстве между койками, не зная, что делать.

— Боже, какой симпатичный медведь!— вскрикнула пассажирка, всплеснув руками и зазвенев надетыми на них браслетами.— Вас, я вижу, надо дрессировать. Помогите мне слезть.

Она положила руку, пахнущую духами, на плечо Модесту Ивановичу и спорхнула вниз, навалившись на Модеста Ивановича хрупким и ясно ощущаемым сквозь легкую летнюю блузку телом.

— Пойдемте на площадку. Здесь такая давка и духота. Ненавижу ездить в жестких,— сказала она, продевая руку под локоть Модеста Ивановича, и, блеснув глазами, спросила:— А как вас зовут?

— Модест Иванович.

— Очень мило... очень. Ну, пожалуйте.

Модест Иванович вздохнул и покорно пошел за пассажиркой по проходу, вдыхая запах духов и пудры, дразнивший и волновавший его.

В тамбуре пассажирка открыла дверь и села на ступеньку вагона. Ветер затрепал ее газовый шарф, шлепнул его концом по коленям Модеста Ивановича. Он вздрогнул от чуть слышного прикосновения ткани и покраснел.

Пассажирка запрокинула голову назад и, показывая мелкие беличьи зубы, сказала:

— Знаете ли, Модест Иванович, вы меня ужасно заинтересовали. Ужасно! У вас такой милый вид. Я очень боюсь в дороге знакомиться. Теперь развелось столько ужасных людей. Но вы произвели на меня самое лучшее впечатление. Я чувствую, что вам можно верить. Вы едете на курорт? Вы служащий?

Она щебетала быстро, с лукавым прищуриванием глаз, и ее голос, фигура, глаза, улыбка очаровывали Модеста Ивановича с каждой минутой все прочнее. Он немного помедлил с ответом на ее последние вопросы, обдумывая, что сказать такой милой, ласковой и прелестной женщине.

— Видите...— Он замялся.— Простите, я не знаю, как вас назыв́ать?

— Меня зовут Клавдией,— ответила пассажирка.

— А по отчеству?

— Нет, нет! Называйте меня без отчества: просто Клавой. Я маленькая, и мне хочется, чтобы со мной обращались, как с маленькой. Я люблю, чтобы мои друзья звали меня Кла-авой, — протянула она нараспев.

Модест Иванович беспомощно потупился.

Голос, вкрадчиво-нежный, томительный и льстивый, это требование звать полчаса назад еще совершенно чужую женщину уменьшительным именем — наполняли его предчувствием необычайного. Он провел языком по пересохшим губам.

— Да что же вы стоите, садитесь тут,— предложила Клава, отодвигаясь к поручням вагона.

Модест Иванович неловко, цепляясь за поручни и зажмурившись, — у него кружилась голова от мелькания шпал под вагонами,— сел рядом с ней.

— Ну, рассказывайте! Вы лечиться или отдыхать?

Модест Иванович прокашлялся.

— Собственно говоря, я даже не знаю, как вам объяснить... Я совсем не на курорт. И не лечиться, и не отдыхать... Я, как бы это выразиться... я... ну, беглый!

— Как! — вскрикнула изумленная Клава. — Вы беглый? Боже, как это интересно!— Она теснее придвинулась к Модесту Ивановичу.— Беглый! Откуда вы бежали? Из тюрьмы? Вы убили кого-нибудь? Вашу жену? Из ревности?

Модест Иванович вспыхнул и сделал протестующий жест.

— Нет, вы меня не поняли. Я никого не убивал.

— Ах, простите. Я глупая, я не поняла. Вы бежали.— Она оглянулась и, понизив голос, приближая губы вплотную к уху Модеста Ивановича, шепнула сквозь лязг колес:— Вы бежали из гепеу. Вы, вероятно, бывший граф или князь... Я сразу угадала. У вас такое лицо.

Модест Иванович нахмурился.

— Я честный гражданин,— ответил он почти сурово,— никакой не граф, и фамилия моя — Кутиков. И бежал я вовсе не из тюрьмы и не от гепеу.

— Ну вот! От кого же еще можно бежать?— Разочарованно проворковала Клава, выпятив губы.

Модест Иванович испугался, что она встанет и уйдет от него.

— Я бежал от жены,— вставил он поспешно.

Глаза Клавы округлились.

— От же-ены? Что вы говорите? Это тоже восхитительно. Тогда мы с вами прямо товарищи. Я тоже почти бежала от мужа. Собственно, он мне даже не муж, а так... Но он мне надоел, и я убежала от него месяца па два. Конечно, с его согласия. Но это дела не меняет. Расскажите, почему вы бежали от вашей жены? Это так меня интригует! Ужасно!

Модест Иванович помолчал, подбирая мысли, чтобы начать рассказ. Клава торопила его, теребя за рукав:

— Да ну же, ну! Рассказывайте. Экий копун!..

И, подстегиваемый восхищенными, беспрерывными понуканиями соседки, Модест Иванович, на ступеньке вагона, над уносящимися назад шпалами, рассказал ей историю своей жизни от начала и до последнего дня в родном городе.

— Ну, вот и еду. Даже не знаю куда... Наобум! Только знаю, что туда, домой, я не возвращусь. Ни за что,— решительно закончил он.

— Бедненький,— сказала Клава, похлопав его по руке. — Как мне вас жаль!.. Вам нужен сейчас друг. Да, да, именно друг и именно женщина. Мужчины такие бесчувственные... Хотите, я буду вашим другом?

Модесту Ивановичу показалось, что вагонная подножка оторвалась и он с бешеной быстротой летит в звенящую пропасть.

Клава дотронулась до его щеки.

— Ну, что же?.. Хотите?

— Спасибо!.. Но только... боже мой! — вскрикнул Модест Иванович. — Я — такой... скучный, неинтересный, а вы такая... такая... — он захлебнулся, — такая чудная.

Клава сняла с Модеста Ивановича каскетку и, трепля его соломенные волосы, прощебетала:

— Вы мне очень нравитесь, очень. Мы — друзья.

6

Пообедав в Александровке и распив для крепости дружеского союза бутылку «Шато-Икем», Модест Иванович, после отхода поезда, опять устроился в тамбуре вместе с Клавой.

Клава смеялась, нежно глядела, пела вполголоса песенки Вертинского слабым глуховатым голоском.

Модест Иванович стоял и таял. Клава казалась ему неземным существом, и вся она, от стриженой сухощавой птичьей головки до острых кончиков лакированных туфель, была особенно желанно милой, но коснуться ее было страшно.

В оловянное ваше сердце
До сих пор не попал никто... —

вкрадчиво пела Клава, опуская на щеки густо начерченные ресницы и вскидывая из-под них на Модеста Ивановича неизъяснимый взгляд.

Внезапно прервав пение, она сказала:

— Боже мой! Вы опять стоите? Вот чудачок? Здесь же есть место.

Она подвинулась.

Модест Иванович затоптался. Ему и хотелось сесть, и какой-то внутренний голос невнятно предостерегал.

— Ха-ха-ха! — брызнула капельками смеха Клава. — Вы боитесь? Это вас так напугала ваша жена? Но я же не похожа на нее? А может быть, похожа? Ай, какое несчастье!

— Нет, нет, что вы?! Разве можно сравнить? — задохнувшись набежавшей в рот слюной, пролепетал Модест Иванович.

— Да ну? Значит, я лучше? Да? Какой вы милый! Ну, садитесь же.

Модест Иванович сел.

На узеньком сиденье было тесно. С одной стороны от двери вагона продувал острый ветерок, с другой мягкой теплотой давило сквозь дым батиста бедро Клавы, и у Модеста Ивановича было ощущение, словно к одному боку приставили пузырь со льдом, а к другому горчичник. От этого он заерзал и не смел поднять глаз.

— Вам неудобно? Возьмите меня за талию!— приказала Клава.

Модест Иванович послушно и неловко положил пальцы на ее спину.

— Итак, вы, значит, не знаете даже, куда ехать? Бедненький! Но ведь нужно же вам придумать место назначения,— продолжала Клава и, помолчав, предложила:— Хотите ехать со мной? Я еду в Балаклаву. У меня там дело, мне обязательно нужно туда. А вам ведь все равно. А я не хочу расстаться с вами. Я так к вам привязалась, вы такой ми-ивый,— протянула она, ставя «в» вместо «л» в слове «милый».

Модест Иванович вздрогнул и быстро взглянул на Клаву. Неужели он не ослышался? Неужели? И торопливо, чтобы она не успела передумать, вскрикнул:

— Конечно! Конечно, мне все равно куда. Я тоже хочу... быть возле вас,— тихо и стыдясь сказал он.

Клава подняла к его губам свою ладонь, и Модест Иванович клюнул ее носом. Клава замолчала.

Звон и лязг под полом вагона редел, поезд замедлял ход.

Клава лукаво пропела:

Огонек синевато-звонкий,
И под музыку, шум и гам
Ваше сердце на нитке тонкой
Покатилось к его ногам.

Грохоча роликами, откатилась дверь тамбура, и в нее протиснулся широкоплечий обер поезда. Увидев Модеста Ивановича и Клаву, он приветливо осклабился.

— Задержка, граждане. На полустанке простоим два часа. Так что, ежели желаете, можете погулять по степу при луне.

— А что случилось?— спросила Клава, вставая, и в ее вопросе Модесту Ивановичу послышалась тревога.

— Да ничего такого. Платформа впереди опрокинулась. Убирають,— ответил обер, проходя в вагон.

Клава вздохнула.

— Пойдемте, в самом деле, погуляем. Ночь чудная такая, не стоит сидеть в вагоне.

Модест Иванович спрыгнул на дощатую платформу полустанка, едва остановился поезд, и подхватил Клаву.

Они прошли мимо красной добродушной водокачки и станционного баштана — и вышли в степь.

Вдоль путей тянулись шпалеры желтой акации. Ее вырезные листики дрожали в сумраке с тонким шелестом, словно бесчисленные крылья стрекоз. Рельсы блестели лентами серебряного серпантина, брошенными в степное марево. Ковыли бледно пушились под ногами, переливаясь волнами... Волнующей горечью плыл полынный запах.

Далеко за мягкими шапками курганов горела широкая полоса искрами рассыпанного сахара. Искры дрожали, плыли, мельтешили в глазах.

— Сиваш, — шепнула Клава, указывая на этот мелькающий блеск. — А завтра увидим настоящее море.

Она крепче прижала поддерживающую руку Модеста Ивановича и заглянула снизу ему в лицо дикими козьими глазами.

В них был такой же дрожащий блеск, как в далекой воде Сиваша. Он тревожил, томил и лишал сил.

Модест Иванович остановился.

— Вы устали?— спросила Клава.

Модест Иванович с усилием повернул присохший к зубам язык.

— Н-нет,— сказал он, заикнувшись и подрагивая нижней челюстью,— н-нет. У меня голова кружится.

— Ну? Неужели?— прошептала Клава, придвигаясь еще ближе.— Отчего же? Это, наверное, от полыни,— безжалостно-наивно сказала она, с такой же одичалой, как глаза, улыбкой.

— Н-не знаю... Мне страшно,— выдавил, теряя сознание, Модест Иванович.

Клава усмехнулась еще томительней. Яркие губы-пиявочки были совсем рядом, жадно топырились, готовые присосаться, то казались маленькими с булавочную головку, то растягивались до громадных размеров.

— Ну,— глухо сказала Клава, кладя руки на плечи Модеста Ивановича,— что же дальше?

Модест Иванович оседал под нажимом, пока пиявочки не оказались на уровне его рта. Тогда он почувствовал тупой укол и никогда не испытанную дрожь.

Застонав, он схватил легкое тело Клавы, прижался к ее рту, так что стукнули встретившиеся зубы, и, хрипя, колотясь, целовал, целовал, торопясь насытиться, наверстать все утраченное за пустую свою жизнь.

С полустанка дребезгом ударил звонок повестки. Клава уперлась ладонями в грудь Модеста Ивановича.

— Пусти... пусти же, сумасшедшенький!— притворно-испуганно вскрикнула она.— Поезд уйдет.

Но Модест Иванович не слушал и тянулся к ней, жалобно мыча.

— Ну, довольно, глупый. Довольно. Еще успеешь,— сказала Клава, закрывая его рот ладонью.— Нужно ведь идти.

Модест Иванович всхлипнул и отрезвел, увидел степь, лунный опаловый дым, высокую водокачку, освещенную черточку поезда и белый волан пара над паровозом. Все показалось ему преображенным и прекрасным.

— Клава!— сказал он отчаянно.— Клавочка!..

— Идем.— Клава тряхнула головой и поспешно пошла к полустанку.

Модест Иванович, путаясь в ковылях, вприпрыжку спешил за ней.

У водокачки Клава замедлила шаги и снова взяла Модеста Ивановича под руку.

— Боже, как не хочется возвращаться в этот треклятый вагон. Тесно, дымно, воняет, со всех сторон глазеют. Гадость. А мне хочется побыть с тобой, милый.

— Что же делать? — отчаянно сказал Модест Иванович.

Клава остановилась.

— Да есть выход... Перейдем в международный в отдельное купе. Придется немного доплатить, зато...

— А пустят?— перебил Модест Иванович: международный вагон казался ему запретным местом.

— Чудачок,— приближалась Клава,— если заплатить, так и в рай пустят.

У международного вагона стоял проводник в синей куртке с блестящими пуговицами. Клава, оставив Модеста Ивановича, подошла к нему. Модест Иванович слыхал, как она тихо говорила с проводником, и проводник лениво, покровительственным баском, ответил:

— Пожалуйста, гражданка. Хоть сейчас можете садиться, по крайности живые люди будут, а то вагон пустой идет. А вещи я вам перенесу. В четвертом вагоне, го-

ворите, десятое место? Ладно. В Джанкое приплату сделаем — баста.

Он открыл дверь.

— Котик,— позвала Клава Модеста Ивановича.— Все в порядке.

Проводник отпер купе и дал свет. Серая бархатная кабинка была раем после духоты и формалиновой вони жесткого вагона. Модест Иванович развалился на пружинящем диванчике и почувствовал себя значительным, важным и всемогущим.

Проводник принес вещи Клавы в момент отхода поезда.

— Так вы, гражданин, дайте мне, значит, сорок два рубля на доплату и можете спать до самого Севастополя спокойно.

Модест Иванович отсчитал пять червонцев.

— Сдачу я вам с билетами принесу.

— Не нужно сдачи,— охмелев от собственного величия, сказал Модест Иванович. Проводник низко склонился, захлопывая дверь.

— Котик! Ты с ума сошел! Восемь рублей на чай!— возмутилась Клава.

— Ничего, ничего,— поспешно сказал Модест Иванович.— Я никогда не тратил денег. Пусть. Он — бедный человек.

— Ты добренький,— улыбнулась Клава, снимая с Модеста Ивановича каскетку и ероша соломенные волосы.

— Вот мы и одни с тобой, котик. Ты рад?

Поезд грохотал по насыпи. С обеих сторон плескалась в насыпь зажженная луной вода.

Клава долго стояла у окошка, поднялась и развязала поясок платья.

Раскладывая постель на верхнем диванчике, сказала:

— Пора спатьки, котик.

— Да, — ответил Модест Иванович, цокнув зубами.

Клава погасила лампочку.

Модест Иванович слышал в темноте царапающее шуршанье платья, словно шелестела крыльями невидимая ночная бабочка, и смутно видел тонкий силуэт. Скрипнули пружины дивана, и голос Клавы позвал сверху:

— Котик! Поцелуй меня и скажи мне «бай-баиньки».

С остановившимся сердцем Модест Иванович поднялся и, едва поднимая ноги, подошел к краю койки, ощупывая темноту.

Пальцы его запутались в Клавиных волосах, и Клавины руки захлестнули душистой петлей его голову.

. . . .

Модест Иванович повернулся и рядом с собой на подушке увидел розовую, покрытую пушком щеку. Клава улыбалась ему.

Модест Иванович застыдился и спрятал глаза.

Клава сладко потянулась и поцеловала Модеста Ивановича в нос.

— Котик мной доволен?— спросила она.

Модест Иванович вместо ответа потерся губами о Клавино тоненькое плечо.

Клава достала из-за подушки коробку папирос и закурила.

Закурив, она легко спрыгнула с постели и подняла синюю шторку на окне.

— Котик, вставай. Мы уже Альму проехали. Нужно одеваться. Скорей.

Модест Иванович испуганно вскочил.

Серая кабинка была наводнена слепящим синим блеском. Духовитый ветер играл со шторкой. Поезд несся мимо густых садов. Тяжелая листва блестела лаком.

Клава, стоя посреди купе, одевалась.

Модест Иванович, торопясь, собрал разбросанные части своего туалета и наскоро облачился.

Клава высунулась в окно. Модест Иванович подошел к ней, взволнованный, благодарный, обрадованный блеском и светом.

— Как хоро...— начал он и не кончил.

Что-то скрежетнуло и громыхнуло, что-то навалилось, и полная мгла скрыла купе.

Испуганный Модест Иванович почувствовал, как всем телом прижалась к нему вскрикнувшая Клава, но не успел опомниться, как она расхохоталась.

— Боже мой! Да ведь это туннель! Вот дурачки.

По черным стенам, закрывшим окно, замелькали блестящие пятна. Стены порыжели и оказались массивами камня. Мгновенье — и поезд выскочил снова в синеву и блеск.

— Море!— ахнула Клава, бросаясь к окну.

Модест Иванович кинулся за ней; в просвете белых скал, на которых лепились какие-то постройки, увидел бирюзово-зеленую дугу залива, а за ней уходящую до горизонта густо-кубовую широту открытого моря.

Блекло-синие глаза вспыхнули остро и упрямо. Он вытянул руку и сказал раздельно и звонко:

— Та-лас-са!

— Что?— повернулась Клава.

— Таласса! По-гречески взморье,— ответил рассеянно Модест Иванович, не отрываясь от синевы.

— Ты знаешь по-гречески?— быстро спросила Клава, и в вопросе ее вспыхнула непонятная тревога, такая же, как при сообщении обера о задержке поезда.

— Нет! Одно только слово. Меня выучил дядя. Оно мне очень нравится,— сказал удивленный ее беспокойством Модест Иванович.

— А-а,— успокоенно протянула она и села на диван.— Сядь, котик, я тебя поцелую.

Модест Иванович сел и поймал ее звеневшее браслетами запястье.

— Клавочка,— сказал он задумчиво и любовно.— Клавочка...

— Ну, что?— спросила она, улыбаясь.

Модест Иванович не сразу ответил.

— Кто ты, Клавочка? Ты обо мне все знаешь, а я о тебе — ничего. Я хочу знать, кто ты, Клавочка.

Клава усмехнулась и задумалась. Модест Иванович с надеждой и мольбой смотрел на нее. Она чуть порозовела.

— Ты никому не скажешь?

Модест Иванович даже привскочил от обиды. Клава погладила его по колену.

— Я гадкая,— сказала она, выпятив нижнюю губу,— я врунья, котик. Никакого мужа у меня нет. И я еду не отдыхать вовсе. Я работаю у Изаксона.

Модест Иванович вопросительно вскинул подбородок.

— У Изаксона? Кто это Изаксон?

Клава звякнула браслетами.

— Ты не знаешь Изаксона? На Покровке? Его вся Москва знает.

— Я в Москве никогда не был.

— Ах да, котик. Я забыла. Изаксон — магазинщик. Белье и галантерея. Но это пустяки. Изаксон работает на контрабанде. У него отделения в Батуме, Балаклаве, Харбине, Витебске, Ленинграде. Конечно, тайные... Я тебе рассказываю секрет. А мы работаем у Изаксона по перевозке товаров. Мы ездим как курортные дамы, и Изаксон за каждую поездку платит двести рублей. И я еду сейчас за партией контрабанды к грекам в Балаклаву...

Она быстро взглянула на дверь и смолкла. По коридору вагона зашуршали шаги, и проводник, постучав, крикнул в дверку:

— Севастополь.

Модест Иванович не слыхал оклика и не видел Клавы.

Он сидел на диванчике, уперши руки в колени, и смотрел вперед с таким выражением, словно перед ним только что распахнулся занавес пышного и неотразимо влекущего спектакля.

— Контра-банда!— сказал он в пространство таинственно, вникая в сокровенный и заманчивый смысл произнесенного слова.

7

День, проведенный в Севастополе, прошел для Модеста Ивановича как во сне.

Он покорно сопровождал Клаву на Исторический бульвар, в панораму обороны, а оттуда на Малахов курган и на развалины Херсонеса, но ни громадное размалеванное полотно панорамы, пахнущее порохом и кровью, ни облитые солнцем, как керамиковый горшок золотой глазурью, древние камни Херсонеса не занимали его и не привлекали его внимания.

Он рассеянно слушал объяснения сторожей, рассеянно смотрел на французов, атакующих батарею Жерве, бегло скользил глазами по гладким стенам продовольственных цистерн мертвой столицы Черного моря и по мозаичному полу разрушенных базилик, но мысли его были далеки от всего виденного, и на вопросы Клавы он отвечал невпопад.

Клава вспылила и назвала его пентюхом, но и это не произвело на него впечатления.

Так же молчалив и рассеян он был и на пути в Балаклаву, в машине, с ревом пожиравшей белесоватую и закрученную макарону дороги.

Клава сквозь дорожную вуаль искоса разглядывала его лицо, на котором лежало странное отсутствующее выражение.

— Да что с тобой, котик?— спросила она тревожно, перекрикивая пыхтенье автомобиля, взбиравшегося на косогор.— Ты болен?..

Модест Иванович нехотя оторвался от напряженного

созерцания никому, кроме него, не видимой картины и недовольно ответил:

— Нет. Ничего. Так себе.

Клава надула губки и больше не беспокоила Модеста Ивановича расспросами.

В Балаклаве машина пронеслась по головокружительным закоулкам, распугивая воем сирены кур и козлят, и остановилась у синей калитки в мазаном заборишке.

Клава выпрыгнула и постучала в калитку. За стеной яростно забрехали собаки, просовывая оскаленные морды в подкалиточную щель; затем послышался тяжелый удар в мягкое, обиженный собачий визг, и калитка открылась.

Сивоусый грек, свесив на нижнюю губу нос цвета сухой малины, выглянул, закрывая глаза от закатного солнца мохнатой ладонью, и радостно осклабил десны, усаженные ровными, похожими на мятные лепешки зубами.

— Тц,— причмокнул он.— Кляво! Калиспера! Давно здем. Заходи.

— Здравствуй, Яни,— сказала Клава, топя свою маленькую кисть в необъятной лапе старика.— Здравствуй. Я на этот раз не одна приехала... с мужем.

Старик шире осклабился.

— С музем так с музем. Место найдется.

Он поздоровался с Модестом Ивановичем и взял у шофера вещи.

Чисто выметенный дворик таял в тени абрикосовых деревьев, под ними на веслах сушились развешанные рыбачьи сети. Старик шел впереди, отгоняя рвавшихся собак. Он привел Модеста Ивановича и Клаву к белому одноэтажному флигельку с застекленной террасой и побежал за ключом. Вернувшись, отпер и пригласил внутрь.

Флигель состоял из двух крошечных комнат с плотно утоптанными, крашенными масляной краской земляными полами. Пахло сушеной травой и наливкой. В первой комнате стоял круглый ореховый стол, шкаф, стулья; вторую занимала гигантская домодельная кровать.

Старик сложил вещи на пол и сказал Клаве:

— Зиви, Кляво. Я пойду сказу, Христо скличу.

Он ушел, еле протискиваясь широкими квадратными плечами в игрушечную дверь.

Клава повернулась к Модесту Ивановичу:

— Ну, котик, тебе нравится? Хорошо? Перестань дуться, котик. Мы здесь славненько поживем.

Модест Иванович неопределенно улыбнулся. Внимание его было привлечено иконостасом развешанных на стене олеографий. Висели они здесь, видимо, давно и были густо засижены мухами, но под слоем мушиных точек можно было легко разобрать портреты усатых и носатых людей в расшитых куртках-безрукавках и слоеных юбочках-фустанеллах.

С ног до головы эти люди были обвешаны оружием. За широкими поясами у каждого торчало, по меньшей мере, три пистолета и такое же количество прямых и кривых ножей, и опирались они на ружья с вычурными прикладами.

— Ты не знаешь, Клавочка, кто это? — спросил заинтересованный Модест Иванович.

Клава припудривала нос перед зеркальцем и небрежно оглянулась.

— А!.. Эти? Бог их знает. Какие-то греческие разбойники или офицеры. Кто их разберет. Тут, у греков, в каждом доме их по сотне.

Модест Иванович попытался прочесть надписи под портретами, но они оказались напечатанными по-гречески. Он вздохнул и сел.

Со двора постучали.

— Войдите!— крикнула Клава, спешно пряча пуховку в дорожную пудреницу.

Отверстие двери заслонилось темным силуэтом, и в комнату втискался огромный и высокий, как кирасирская строевая лошадь, парень с дубленым кирпичным лицом.

Он снял с головы белую морскую фуражку, сверкнувшую золотым якорем, и, выпрямившись, почти достал теменем потолок.

— Калиспера, Клява,— произнес он; и от его голоса, низкого и рокочущего, дрогнули легким звоном стекла в окне.

— Калиспера, Христо,— ответила Клава и, показав на Модеста Ивановича, отрекомендовала:— Вот познакомься. Мой муж, Модест Иванович.

Парень положил фуражку на стол и недоверчиво поглядел на Модеста Ивановича.

— Муз? Когда зенилась, Клява?

— Недавно.

Парень прищурил на Модеста Ивановича зрачки, темные и лиловатые, как зрелая слива.

— Маленький муз. Негодящий,— решил он неожиданно, и прежде чем Модест Иванович успел обидеться, парень взял его ручищей за пояс брюк и приподнял на пол-аршина.

— Легкий,— проворчал он с обидным сожалением, ставя опешившего Модеста Ивановича на пол.— Зенсине тязелый муз надо. Зенсине легкий муз мало.

Модест Иванович попятился от парня в угол и оттуда раздраженно прикрикнул:

— Невежа!

Клава шутя ударила парня по руке.

— Фу, медвежище! Чурбан, Христо,— и, оборачиваясь к Модесту Ивановичу, сказала: — Котик, не обижайся на Христо. Христо простец, но такой славный.

— Ну да,— зло огрызнулся Модест Иванович, держась за пояс,— у тебя все славные. Он мне пуговицы оборвал.

— Ничего, котик. Я пришью. Садись, Христо, рассказывай,— защебетала Клава, подвигая Христо стул.

Он сел грузно и прямо, как каменный, аккуратно подтянув ровно заглаженные белые брюки.

— Цего рассказывать? Нецего рассказывать,— мрачно заметил он.— Изаксон мосенник.

— Ну? Почему?— спросила Клава.

— Мосенник! Деньги не прислал. Три раза писал — нет денег. Без денег нет работы. Ты скази Изаксону: Христо даром работать не будет. Работа опасная, сама знаес. Другого хозяина найду.

Клава усмехнулась.

— Не сердись, дружок. Изаксон не мог. Застой был в деле. Он со мной прислал, просил извинить. Вот, получай двести.

Она запустила руку за корсаж, вынула висящий на шелковом шнурке мешочек, отсчитала двадцать червонцев и, свернув в комочек, сунула Христо. Он, не считая, небрежно и равнодушно положил их в грудной карман ластикового кителя.

— Хоросо.

— Ну, а как дела, Христо? Скоро?

Христо повернулся, стул затрещал под его каменным задом. Он беспокойно кивнул сливяным зрачком на

Модеста Ивановича, присевшего на подоконник. Клава заметила его взгляд.

— Ничего, Христо. При нем можно.

Христо пожал плечами и оперся на стол. Между ним и Клавой завязался быстрый и наполовину загадочный для Модеста Ивановича разговор. Среди понятных фраз о таможенниках, об опасном времени, наставшем для работы, мелькали совсем неизвестные Модесту Ивановичу слова.

Христо загорелся, болтал руками и сотрясал голосом стекла. Он говорил о какой-то «боре», поминутно упоминал «горишняк» и «низовку», «шаланду» и «дрейф», «фальшборт» и «лавировку». Сыпал, словно из мешка, специальными словечками, и от них все, что он говорил, было загадочно и заманчиво для Модеста Ивановича. Согнувшись на подоконнике, он вытянул шею и неотрывно слушал рокочущий разговор парня, а блекло-голубые глаза его, прикованные к дубленому лицу Христо, мерцали острым упрямым блеском.

— Не раньсе на неделе,— сказал Христо.— Остовая низовка задувает. Накат больсой. Нельзя в море выйти, пропадем к цортовой матери. И Тодька болен.

— Ну, как это неприятно,— сказала недовольно Клава. — Опять затяжка. Изаксон сердиться будет.

— Раньсе нельзя,— отрубил Христо и встал.— Коли нузен буду, говори Яни: он склицет.

— Ну, что ж. На нет суда нет. Но только при первой возможности выходи.

— Цто з, я себе враг? Мне тозе тянуть не дело,— ответил Христо, хлопая Клаву по руке.

Клава вышла с ним вместе, и Модест Иванович слыхал, как на террасе они перебросились еще несколькими фразами, сказанными шепотом, а потом Клава крикнула:

— Яни, а Яни! Поставь нам самоварчик!

Вернувшись в комнату, Клава предложила Модесту Ивановичу:

— Пойдем, котик, прогуляемся к заливу, пока Яни самовар приготовит.

Модест Иванович хмуро согласился. Перешептывание Клавы с Христо не понравилось ему и пробудило внезапную ревность.

— О чем вы там шептались?— спросил он, надевая каскетку.

Клава удивленно взглянула на него.

— Как о чем? У нас есть свои дела, котик,— обронила она небрежно.

— А я не хочу,— вскрикнул, бледнея, Модест Иванович.— У тебя не должно быть никаких тайн от меня.

Клава звякнула браслетами и расхохоталась.

— Господи! Ты ревнуешь, котик? Ты с ума сошел? К кому? К Христо? Бедненький. Ну, я тебя успокою.

Она обняла Модеста Ивановича и кошечкой приластилась к нему. Модест Иванович немедленно оттаял.

— Ну, идем, котик.

Над горами парили ширококрылой серой птицей сумерки, закутывая пухом крыльев рваные очертания верхушек скал. Резво скачущая с уступа на уступ уличка привела их к заливу. Вода тихо плескалась в сонной бухте, тяжелая и маслянистая, перекатывая голубовато-лиловые, блестящие ленты.

У берега вразвалку колыхались рыбачьи баркасы. Их было много. Темная, колеблющаяся линия их тянулась по всему побережью бухты, уходя в мягкую замшу сумерек. На противоположном берегу дрожали колючие елочные звезды огней. Их отраженные зигзаги танцевали в воде, закутываясь батистовыми волнами оседающего тумана.

Модест Иванович остановился на мостике, прижав руки к груди. В белках его заиграл отраженный голубоватый блеск волны. Он тихо сказал опять, словно страшась разбить прозрачную тишь:

— Таласса.

— Тебе нравится, котик?— спросила Клава, прижимаясь к нему. Но он осторожно отстранил ее.

— Не мешай,— прошептал он. — Я всю жизнь думал об этом.

Он продолжал стоять в той же позе, смотря на мерцавшие огни.

Клаве стало скучно, она присела на швартовую сваю, раздраженно постучала каблучком в доски, но Модест Иванович не слышал.

Клава встала рассерженная.

— Домой. Яни ждет. Ничего все равно не увидишь.

Модест Иванович вздохнул и поплелся за Клавой вверх по тропинке.

На террасе шипел самовар, в глубокой чашке прозрачным золотом теплилось айвовое варенье. Яни поже-

лал спокойной ночи и ушел. Модест Иванович сел и подпер подбородок кулаками. У него был такой же рассеянно-чуждый взгляд.

Клава гневно подвинула ему стакан.

— Я все понимаю, — сказала она оскорбленно, — я тебе уже надоела. Ты не знаешь, как от меня отделаться. Все мужчины — одинаковые свиньи.

Модест Иванович медленно поднял голову. На его лице мелькнуло глубокое удивление.

— Клавочка, господь с тобой! Что ты говоришь?

И была в его голосе такая искренняя и трогающая недоуменная обида, что Клава спросила:

— Но что же с тобой, котик? Вчера ты был такой веселый, а сегодня — прямо вареный рак.

Модест Иванович помолчал и вместо ответа неожиданно спросил:

— Вот этот самый... Христо, он и есть главный?

— Что главный? — удивилась Клава.

— Контрабандист...

— Ну, да! А зачем тебе?

Модест Иванович прищурился и помешал ложечкой чай.

— Клавочка,— сказал он, и голос его сломался странным волнением,— ты сможешь исполнить мою просьбу?

Клава, наливая чай, невнимательно спросила:

— Какую?

— Пусть...— Модест Иванович запнулся, — пусть они возьмут меня с собой.

— Куда?— Длинные подведенные глаза Клавы стали вдруг почти квадратными и уперлись в Модеста Ивановича.

— С собой, когда поедут... за контрабандой...

Клава смотрела на Модеста Ивановича, все шире раскрывая веки. Узкая серебряная струйка лилась из самовара в чашку, перелила через край и расплывалась круглым прозрачным блином по клеенке стола.

— Я ничего не понимаю, котик, — с испугом сказала она.

Модест Иванович упрямо смотрел на рыжее, прожженное на клеенке пятно возле своей чашки и ответил, не поднимая глаз:

— Я хочу с ними ехать за контрабандой.

Клава стремительно откинулась на спинку стула и захлебнулась смехом.

— Какой... ха-ха... ты забавник, котик... я думала — ты всерьез что-нибудь... ха-ха...

У рта Модеста Ивановича задрожала вздутая жилка. Он вскинул на Клаву упрямый и жесткий взгляд.

— Ты не смейся... Я всерьез... Мне нужно ехать.

Клава оборвала смех и встала, вглядываясь в Модеста Ивановича.

— Да ты с ума сошел? Что это такое? Вот мука божеская. Он — за контрабандой! Еще только туда тебя и не носило.

— Я поеду, — сурово и почти грубо бросил Модест Иванович.

Клава вспыхнула и подбоченилась.

— Пое-едешь? — саркастически протянула она. — Кто тебя возьмет?

— Христо возьмет, — невозмутимо ответил Модест Иванович.

— Христо? Как бы не так. Христо меня не возьмет, хотя третий год меня знает. Он и так спрашивал, можно ли тебе доверять? Знаешь, какое у него дело?.. Одно лишнее слово — и пропал человек. Да ну, что глупости говорить. Пойдем спать.

Но Модест Иванович отрицательно покачал головой.

— Должен я поехать... должен... А зачем — этого не объяснишь, да и не поймешь ты...— произнес он глухо, и слова тускло стучали, срываясь с его губ, как галька во время прибоя.

Он чувствовал, что рассказать Клаве невозможно, да и он сам не сумел бы. Потому что сила, толкавшая его, рождалась не из ума, а от сердца и была необъяснима. Как было сказать, что в простых и будничных для Клавы, мелкой служащей торгаша Изаксона, словах «контрабанда», «море», словах, которые расценивались ею так же, как «галантерея» и «барыш», — для него, Модеста Ивановича, была вся стоцветная, прельстительная радуга вселенной.

В них воплощались для него, облекаясь живой, кричащей о себе плотью, сухие строчки жизнеописаний путешественников и мореплавателей, — строчки, бывшие отрадой его томительного бытия.

Как слепой от рождения, ходивший весь свой век в черной пустыне, без цветов и красок, и внезапно прозревший, он сам не верил себе, что открывшиеся глаза могут впивать земные просторы, и ему хотелось забрать

в поле зрения весь земной шар со всеми его приманками.

И даже земли ему уже было мало, и если бы Христо с товарищами отправились за шелковыми чулками «Виктория», пудрой Коти и губной помадой Герлен в междупланетное пространство, он последовал бы за ними до последних пределов мироздания.

И, устремив пустые, засиневшие радостью глаза на стену комнаты, он молча сидел, не обращая внимания на Клаву.

Она сыграла свою роль, она была для него проводником, приведшим его к вратам сказочного мира, и отныне была уже не нужна.

И Клава, тоже не умом, а тайным женским чутьем, поняла, что между нею и Модестом Ивановичем встала неожиданная преграда. Поняла и возмутилась. Ей не хотелось расставаться. В жизни выпала ей судьба кустика «перекати-поле», гонимого ветрами изаксоновской коммерции из Балаклавы во Владивосток, из Владивостока в Витебск и оттуда в Батум. Эта жизнь, черствая и настороженная, отнимала от нее женское — ласку, уют, семью, и ее несложная душа маленькой мещанки бессознательно пыталась бороться с вихрем.

Как «перекати-поле» за придорожную кочку — она ухватилась за Модеста Ивановича, почувствовав в этом тихом человеке хоть минутную точку опоры. Но внезапно, с пугающей непонятностью, точка опоры пошатнулась. И, взглянув на Модеста Ивановича, Клава всплеснула руками и зазвенела браслетами. Голос ее подсекся подступающими слезами.

— Господи! Вот наказание. Зачем я только тебя, нескладного, за собой потянула. Думала — вот встретила хорошего человека, поживу по-ласковому, отдохну. Тоже ведь нелегкая моя жизнь — без дому, без отдыху. Того и гляди, в исправдом сядешь. Приластилась к тебе, как собачонка к хозяину, а ты от меня уж и бежишь.

Модест Иванович молчал, и Клава в отчаянии выкрикнула:

— Да вздор ты мелешь! Слышать не хочу. Никуда ты не поедешь, и я тебя не пущу и Христо прикажу, чтоб тебя не слушал. Тоже нашелся контрабандист! Фитюлька!

Модест Иванович вскочил и стремительно ушел в комнату. Клава растерянно поглядела ему вслед, пону-

рившись, собрала посуду и, накрыв самовар крышкой, побежала за ним.

Модест Иванович уже лежал в кровати, лицом к стене, и не шевелился, словно спал.

— Котик, ты спишь? — тихо спросила Клава.

Ответа не было.

Клава дунула на лампу; присев па край кровати, разделась и нырнула под одеяло.

В комнате было тихо и душно. За окном раздражающе скрежетали цикады.

Клаве стало смутно и страшно. Был непонятен и страшен Модест Иванович и его затея, и хотелось плакать. Еще больше хотелось, чтобы он приласкал, сказал хорошее, нежное слово, пожалел ее беспутную, собачью жизнь поставщицы контрабандного товара толстому Изаксону.

Она дотронулась до плеча Модеста Ивановича и впервые назвала его по имени:

— Модечка!

Но, напрягая слух, уловила только ровное дыхание. Тогда она отвернулась и, зажав зубами угол подушки, заплакала.

Модест Иванович по содроганию кровати понял, что Клава плачет, и гнев его мгновенно остыл. Ему стало жаль эту женщину, впервые открывшую ему любовь, ее трепет и радость.

Он повернулся.

— Клавочка! Ты плачешь?

— Ну, да, плачу! Безжалостный ты! Все вы безжалостные.

Модест Иванович поцеловал ее в темя.

Клава, всхлипнув, приподнялась.

— Поцелуй меня крепко, гадкий котик. Противный контрабандист,— со смехом, прогоняющим всхлипывания, сказала она, привлекая Модеста Ивановича.

8

Ранним утром, когда Клава еще спала, Модест Иванович ушел к бухте и долго слонялся вдоль берега. Ушедшие на ночной лов баркасы медлительно и сонно возвращались, отягченные рыбой. Один за другим они показывались из узкой горловины между скал, запиравших вы-

ход из залива в открытое море, и на веслах подходили к берегу.

Над водой гулко неслись ругань и унылая гортанная песня. Модест Иванович побродил возле приставших баркасов, поглядел, как выгружают рыбу.

Рыба сыпалась в плоские корзины, сверкая серебряными и золотыми отливами, и казалось, что море отдает назад схороненные в нем сокровища.

Вдоволь насмотревшись, Модест Иванович ушел от бухты и по вьющейся тропинке, между зарослями орешника и кизила, закарабкался на гору.

Вскоре он очутился у подножья круглой, полуобвалившейся башни, сложенной из граненых каменных плит. Она высилась над заливом и городом, унылая и разрушенная; но бойницы, прорубленные в ее саженных стенах, все еще смотрели настороженно и гневно.

Модест Иванович обошел вокруг нее, продрался сквозь чащу кустарника и остановился в изумлении.

Перед ним внизу, во все стороны, куда хватал взгляд, лежала жемчужно-голубая, переливающаяся опаловой светлой мутью водная пропасть, незаметно тая и сливаясь с небом. По ней, с игрушечным пыхтеньем, оставляя за кормой темный следок, бежала двухмачтовая моторная шхуна.

Глубоко под ногами из-под прозрачной воды торчали обломки скал, и незлобный прибой обшивал их снежно-белыми оторочками.

Модест Иванович сел на корень горной сосны, снял каскетку и подставил голову освежающему соленому дыху, поднимавшемуся от воды. Он смотрел на лиловевшую вдали полосу горизонта, и за ней ему чудились невиданные страны, те чудесные острова и земли, которые были изображены на картинках в жизнеописаниях путешественников и мореплавателей.

Модеста Ивановича властно и необоримо позвала бескрайняя голубизна. Звавший голос был так искусителен и неотразим, что Модеста Ивановича потянуло прыгнуть в голубоватую пропасть немедленно. Он встал, негнущимися ногами подошел к краю обрыва и заглянул вниз, пошатываясь, как пьяный.

По всему побережью пенились снежные оторочки, и Модест Иванович, закрыв глаза, качнулся вперед; руки вскинулись, хватая воздух, и он, в испуге, бледный, внезапно вспотев, изо всей силы откинулся назад и, еще

не открывая глаз, отступил на несколько шагов от обрыва.

Он провел ладонью по лбу, вытирая пот, и, вздрогнув, вжав голову в плечи, почти побежал вниз.

Только внизу, у бухты, он замедлил шаг, сообразив, что идет не в ту сторону.

Он спустился к самой воде и повернул обратно, огибая бухту.

Клава встретила его беспокойно.

— Где ты пропадал, котик? — спросила она, тревожно цепляясь глазами за лицо Модеста Ивановича.

— Я гулял, Клавочка, — ответил он.

Клава облегченно вздохнула.

— Ты мне вчера столько глупостей наговорил, котик. Я так испугалась, когда увидела, что тебя нет. Ты больше не будешь меня пугать? Ну, дай мне слово, что не будешь.

— Чего не буду?— спросил Модест Иванович.

— Говорить глупости про контрабанду.

— Хорошо,— буркнул Модест Иванович, отводя глаза в сторону, чтобы Клава не заметила таимое в них упрямство и спрятанную мысль.

После завтрака Клаве западобилось уехать в Севастополь. Модест Иванович ревниво встревожился:

— Зачем, Клавочка?

Клава, смеясь, звонко чмокнула его в щеку.

— Какой ты смешной, котик! Мало ли зачем? — И, увидя дрогнувшую бровь Модеста Ивановича, поспешно сказала:— По делу. Изаксон поручил.

Модест Иванович, нахмурившись, проводил Клаву до трамвая и, помахав ей на прощанье платком, вернулся домой.

Войдя во двор, он увидел Христо, разговаривающего со стариком у открытой двери сарая, из которой виднелся нос новенького баркаса. Христо окликнул Модеста Ивановича:

— А Клява где?

— Клавочка уехала в Севастополь,— нехотя отозвался Модест Иванович, чувствуя внезапно поднявшееся в нем нерасположение к этому парню, связанному с Клавой тайной, недоступной Модесту Ивановичу.

— А,— равнодушно зевнул Христо.

Модест Иванович поднялся уже на террасу и взялся за дверную ручку, как что-то заставило его остановиться.

Он щелкнул пальцами и подошел к перилам. Христо все еще разговаривал со стариком.

— На минутку зайдите ко мне,— сказал Модест Иванович.

Христо поднял голову, переглянулся с Яни и спросил с видимым недоумением:

— А зацем?

— У меня разговор с вами.

— Сейцас приду! — крикнул Христо.

Модест Иванович пошел в комнату и уселся за стол, приняв суровое и значительное выражение. Спустя мгновение в комнату ввалился Христо.

— Садитесь, — пригласил Модест Иванович с видом следователя, готового допрашивать обвиняемого.

Христо сторожко присел на краешек стула.

— Вы контрабандист? — начал сухо Модест Иванович. Христо повел сливяными зрачками и молча сунул руку в карман.

— Нет... нет...— предупредил его движение Модест Иванович.— Я не враг. Наоборот.

На кирпичных скулах Христо надулись желваки. Он молчал и цепко следил за движениями Модеста Ивановича.

— Экий вы недоверчивый! Я же говорю, что плохого не желаю. У меня есть к вам просьба. Я хочу с вами ехать... в море...

У Христо отвалилась челюсть, и он вытаращился на Модеста Ивановича, словно увидел что-то необычайное. В следующую секунду он распялил рот усмешкой.

— Ты?.. Хоцес ехать? Зацем ехать?

Модест Иванович почувствовал, что он краснеет под взглядом Христо, и торопливо выбросил:

— Зачем — это вам неинтересно. Ответьте: возьмете вы меня с собой?

Христо встал и мрачно сказал:

— Нет! Ты — не нас. Мы только свои едем. Цузого нельзя брать, удаци не будет, и другие не хотят. Никогда такого не было. Мы сами, свои ездим,— греки. Мы своих знаем, все отвецаем. Дело такое. Убить могут.

И он еще раз покачал головой.

— Я вам мешать не буду,— просяще сказал Модест Иванович.

— Нет, — сурово отрубил Христо, — нельзя. За тебя в ответе нельзя быть. Ты цузой.

Модест Иванович понял, что решение парня бесповоротно. Тогда он попытался изменить маневр.

— У меня денег много есть. Я могу вам денег дать, вы на них прибыль наживете. Не для Изаксона, а для себя. Я вам пятьсот рублей дам.

Христо уперся руками в стол.

— Зацем так говорис? — спросил он гневно и с обидой.— Мы, греки, не покупные. Мы сами богатые, мы друг другу браты. Мы денег не берем. Ты про деньги не говори. Я сердитый буду.

Модест Иванович, уже злясь, возразил:

— Вы не то думаете. Я вас покупать не собираюсь. Я в пайщики хочу. Я свою долю вношу на дело.

— Нет,— ответил Христо, — цузого в долю не надо. Мы сами.

— Значит, вы отказываетесь?

— Мы не хоцем. Мы цузих не берем, — подтвердил с каменным лицом Христо.

— Пошел вон! — крикнул, встав, Модест Иванович, освирепев на эту упрямую тупость.

Христо посмотрел на него с укоризной.

— Ай-ай!.. Тц... Нехоросо ругаться. Оцень нехоросо. Злой целовек,— сказал он спокойно и вышел.

Модест Иванович вспыльчиво заходил по комнате. Портреты усатых людей, обвешанных оружием, потихоньку подсмеивались над ним. Он прошел в спальню, завалился на кровать и заснул в ожидании Клавы.

Клава вернулась поздно, и, едва увидев ее, Модест Иванович понял, что она раздражена и взволнована. Он не успел еще спросить о причине, как Клава обрушилась на него.

— Это гадко, котик, это нечестно! Ты не держишь слова. Зачем ты разговаривал с Христо? Теперь Христо мне скандал устроил: ехать не хочет, ругался, что я тебе рассказала. Сплошные неприятности, и все из-за тебя. Ты меня погубить хочешь?

Модест Иванович сумрачно потер лоб.

— Я не признаю себя виноватым, — сказал он с неожиданной суровостью. — Наконец, взрослый я или нет? Могу я делать, что мне хочется, или нет? Я не потерплю,— закричал он, срываясь на визг,— чтобы мной помыкали! Я не для того ушел из тюрьмы, чтоб попасть в другую. И чтоб я больше никаких упреков не слышал!

Клава оробело попятилась.

Тогда Модест Иванович впервые осознал, как приятно быть страшным и наводить ужас на окружающих. Он схватил со стола блюдце, в мелкие дребезги разбил его об пол и выбежал вон. Он долго бродил по темному берегу бухты, стараясь успокоиться, но злость только разрасталась, стесняя дыхание.

Вернулся домой он за полночь.

Клава спала, свернувшись на постели жалким обиженным комочком. Модест Иванович взглянул на нее и, вместо жалости, почувствовал радость.

«Ага, испугалась, — подумал он, — так и надо. Вы еще меня не знаете. Я вам покажу всем, каков я могу быть».

И, стиснув губы, он лег спать, не раздеваясь, на сдвинутых стульях.

9

Проснулся Модест Иванович от горячего прикосновения к лицу. Сквозь прищуренные веки увидел, как в щели закрытого ставня шевелилось теплое розовое мерцание, словно чьи-то настойчивые пальцы царапали доски, пытаясь открыть их. Модест Иванович понял, что это утреннее солнце просится в комнату. Он вскочил с постели и открыл ставень. Солнечный блистающий ливень полился ему на лицо, грудь и руки. Модест Иванович сладко потянулся, разминая тело, намятое сном на жестких стульях, и заглянул в спальню.

Кровать была смята и пуста. Клавы не было.

Модест Иванович беспокойно огляпулся. Ему представилось, что Клава, обиженная дерзкой выходкой, скрылась от него. Но вещи Клавы были в комнате и на стене висело приготовленное платье. Облегченно вздохнув, Модест Иванович направился на террасу, но едва он приблизился к двери, как услыхал звуки голосов. В одном он узнал голос Христо, другой был Клавин.

Модест Иванович насторожился и, нагнувшись, приник к двери. Дверная ручка больно резала ему ухо, но он не обращал внимания, ловя отрывки разговора.

Гудящий голос Христо бубнил:

— Зацем сказала? Бабий голова. Больсой скандал. Тодька хотел твоего муза резать. Тодька говорил: твой муз — доносцик.

Клава жалобно перебила его:

— Ах, боже мой, какие глупости! Котик — доносчик? Вы все с ума посходили.

Христо пробубнил опять:

— Зацем говорис? Наси голова на плеци носят. Наси знают, цто мозно. Нельзя цузому про дело говорить. Оцень рассердились. Я просил Тодьку: «Не надо резать. Мы не разбойник, мы цестный купец». Тодька сердитый.

Клава всхлипнула.

— Что же это такое, в самом деле? Перестань, Христо. Чем я виновата, что ему в голову залезла такая дикость? Он хороший и тихий, но чудак,— не смейте его трогать. Слышите!

Христо успокаивающе ответил:

— Не, Клява, не бойся. Трогать не будут. Наси больсе не сердятся. Наси радуются, погода такая стала. Ноцью попутняк пойдет. Завтра в ноци едем. Сейцас баркас спускать будем.

Модест Иванович услыхал скрип стула и грохочущие шаги Христо по ступенькам крыльца. Он едва успел отскочить от двери и сделать вид, что разыскивает мыло для умыванья, как в комнату вошла Клава.

Увидев Модеста Ивановича, она робко улыбнулась.

— А... котик уже встал. Ты все еще сердишься, влюка?

— Нет... я так,— ответил Модест Иванович.

— «Так»... «так»! — укоризненно вскинулась Клава.— Вот ты со своим «так» накликал на себя беду. Чуть тебя не зарезали. Вообразили, что ты шпионить за ними приехал и донесешь.

— Пусть попробуют, — вздернул головой Модест Иванович, внутренне холодея, однако, и поежившись.

— Теперь уже не попробуют. Я уговорила, — сказала Клава. — Ступай, чай остынет.

Допивая чай, Модест Иванович увидел с террасы, как через дворик к сараю прошел Христо и с ним трое парней. Они открыли дверь сарая. Белый нос баркаса запылал в ворвавшемся солнечном луче. Парни скрылись в сарае и вскоре вынесли оттуда несколько коротких круглых бревен.

Один из них подложил первое бревно поперек носа баркаса, под самым его форштевнем, другие разложили остальные на равных промежутках от первого, по пути к воротам. Затем все ушли назад в сарай и взялись за борты баркаса, с боков и с кормы.

Христо командовал, размахивая руками.

— Тасци! Назимай, Колька!.. Дерзи, Васо! Тодька, подкладай каток! — грохотал его голос.

Парни, напрягаясь, обливаясь потом, толкали тяжелый баркас по каткам. Он поддавался туго и медленно.

Модест Иванович оттолкнул кружку с чаем и напрямик, через перила террасы, спрыгнул во двор. Засучив рукава до худых желтых локтей, он подбежал к баркасу и, ухватившись за борт, рядом с тужащимся Васо, изо всех сил уперся ногами в землю, толкая баркас.

Васо удивленно покосился маслинными глазами на взъерошенного тонконогого человечка, пыхтевшего подле него.

Баркас тронулся и пошел, переваливаясь с катка на каток, и Модест Иванович, почувствовав, что и он не последняя спица в колесе, удвоил усилия.

От ворот до самого берега он то подталкивал баркас, то перетаскивал вместе с другими парнями катки вперед баркаса и остановился, отдуваясь, только тогда, когда баркас плавно и тихо соскользнул с гальки в зеленую воду.

Модест Иванович потирал натруженные руки и счастливо улыбался.

Христо ударил его по плечу.

— Молодес, барба! — сказал он покровительственно,— хоросо работал. Спасибо.

Модест Иванович покраснел, как девушка, которой сделали предложение, и вдруг, осмелев, сказал Христо:

— Я еще не так могу. Я сильный. Вот возьмите меня с собой — увидите.

Христо нахмурился.

— Иди, барба, домой! — сурово проворчал он.— Нецего тебе тут делать.

Модест Иванович вспыхнул и хотел ответить дерзостью, но вспомнил, что Тодька хотел его зарезать, и, обиженно вздернув плечами, поторопился удалиться.

Днем Клава потащила его смотреть Георгиевский монастырь и мыс Фиолент. Модест Иванович поехал охотно, неустанно лазал по диким скалам, на которых лепились бывшие монастырские постройки, и, тая дыхание, выслушал объяснения инструктора экскурсионной базы о сказочном прошлом мыса, где в древности стоял храм Дианы Таврической и в честь жестокой луконосительницы в море сбрасывали человеческие жертвы.

Модест Иванович подполз к самому краю скалы, откуда отвесно падали вниз восемьдесят саженей, стиснутых голубым воздухом, и, держась за ветку сосны, долго глядел вниз, словно ища в прибережной пене окровавленные тела Артемидиных гекатомб.

Клава едва оттащила его от пропасти.

Они пообедали на монастырском балконе, качавшемся над бездной, и Модест Иванович был нежен и робок с Клавой, как в день встречи в вагоне, будто стараясь загладить свою вспышку накануне.

«Утанцевался... Слава тебе, господи!» — подумала Клава, смотря на разнеженно-безоблачное лицо Модеста Ивановича.

К вечеру они поехали обратно. По дороге, в линейке, Клава шепнула Модесту Ивановичу, сжимая его ладонь:

— Видишь, котик, как здесь красиво, как восхитительно. Мы поедем с тобой еще в Ялту, в Алупку, в Гурзуф. Мы проедем по всему Крыму, мой чудачок. И совсем тебе не надо думать глупости про контрабанду.

Сказала и почувствовала, что этого не нужно было говорить, что слова вырвались не вовремя.

Модест Иванович как-то болезненно усмехнулся, посерел и освободил свою кисть от Клавиного пожатия.

Приехав домой, Модест Иванович не захотел идти в комнату и, сославшись на головную боль, заявил, что пойдет погулять. Клава жалко посмотрела ему вслед и, когда спина Модеста Ивановича скрылась в калитке, вздохнула и поднялась на террасу.

Модест Иванович задумчиво шел по улице, сам не зная куда, но незримая рука, направлявшая его путь, вывела его к берегу бухты.

Он уселся на склоне берега. Солнце дрожащим розовым шаром скатывалось к синим гребням холмов. Бухта горела золотыми искрами. Между другими шлюпками колыхался на воде баркас Христо «Святой Николай».

Модест Иванович не мог оторваться от его ритмических колебаний и, опустив голову на руки, глубоко задумался. Он просидел так около часу и вдруг, резко вскинувшись, осмотрелся вокруг с таким видом, словно только что очнулся от глубокого сна.

Вскочил на ноги и бегом спустился к воде, к тому месту, где был привязан «Святой Николай». Там он сбросил башмаки, закатал брюки и полез в воду. Добрав-

шись до баркаса, он схватился за борт и влез в лодку. Перескакивая через банки, он добрался до носа и, отодвинув защелку, открыл маленький кубрик, служивший для хранения запасных парусов и снастей.

В кубрике лежал свернутый запасный грот и несколько бухт веревок. Модест Иванович нагнулся, пощупал пальцами парус, закрыл кубрик на задвижку и, спустившись в воду, выбрался опять на берег.

По дороге домой он накупил в лавочке фруктов и рахат-лукума и вернулся к уныло поджидавшей его Клаве в самом веселом и беспечном настроении.

10

Следующий день начался для Модеста Ивановича странно. После утреннего чая он торопливо сбегал к бухте, чтобы убедиться, стоит ли там еще «Святой Николай».

Баркас по-прежнему белел на спокойной зелени, как мелок на сукне карточного стола.

Успокоившись, Модест Иванович решил возвратиться домой и, идя вдоль берега, наткнулся на курортную даму, принимающую на пляже солнечную ванну. Модест Иванович скромно отвернулся и прошел мимо дамы бочком.

В нескольких шагах от дамы возился, складывая из галек крепость, мальчик лет девяти в матросском костюмчике, белоголовый и худенький. Модест Иванович равнодушно взглянул на него, и в эту минуту мальчик поднял голову и улыбнулся Модесту Ивановичу.

Модест Иванович оторопело остановился и уставился на мальчика. Мальчик, так показалось Модесту Ивановичу, был как две капли воды похож на покинутого старшего сына Леньку. Модест Иванович остро вспомнил последний разговор с Ленькой, на улице, после ссоры с Авдотьей Васильевной.

У него сразу и нехорошо закружилась голова и кольнуло в боку. Он подвинулся к мальчику с растерянным лицом и, протянув руку, тихо сказал с недоумением и испугом:

— Ленечка?

Мальчик, с руками полными гальки, удивленно раскрыл синие ласковые глаза и, засмеявшись, ответил:

— Я, дядя, не Ленечка. Я — Миша.

Модест Иванович осунулся и, с искривившей губы жалкой улыбкой, погладил мальчугана по белым вихрам.

— Ми-иша, говоришь? — протянул он, как будто не доверяя, и быстро добавил: — Ну, играй, милый, играй.

Сзади до него донесся пискливый голос дамы:

— Гражданин! Не троньте ребенка. Что за безобразие! Нигде покоя нет от хулиганов.

Модест Иванович обернулся.

Дама приподнялась на локте и смотрела на него злыми и бесцветными моськиными глазами. На гальку пляжа свисали ее жирные груди и вялый живот.

— Сама хулиганка! Корова вислая! — крикнул вспыливший Модест Иванович и пошел в гору.

Но лицо мальчика стояло перед ним, и Модесту Ивановичу показалось, что в синих детских глазах, так похожих на глаза Леньки, встает горький упрек.

Модест Иванович остановился посреди улицы и беспомощно оглянулся. Вслед за тем он спросил проходящего мимо с веслами на плече человека:

— Где у вас почта?

— Поцта? Поцта тамо, — ткнул человек веслом в пространство за Модестом Ивановичем.

Модест Иванович пошел по указанному направлению и скоро нашел здание почты, утонувшее в каштанах.

Купив конверт и лист почтовой бумаги, он облокотился на конторку и, скрипя дрянным пером, не хотевшим выпускать чернила, вывел своим каллиграфическим почерком Ленькино имя.

Он хотел коротко написать Леньке, что здоров и помнит сына, но увлекся и написал на четырех страницах романтическое завещание, в котором увещевал Леньку любить мир, свободу и самостоятельность. В конце он приписал, что уезжает далеко и может погибнуть, и послал отцовское благословение.

Когда он кончил письмо, глаза его были размякшие и влажные.

Он бросил конверт в ящик и стремительно, словно письмо могло выскочить из ящика и догнать его, убежал.

Во дворе ему попался Христо. Парень стоял у сарая в высоких рыбачьих сапогах и полосатом тельнике и смазывал из жестяной банки олифой непромокаемый рыбачий костюм.

Сердце у Модеста Ивановича забилось тревожнее. Он понял, что Христо готовится к ночному отплытию. Он подошел, потрогал с любопытством промасленную желтую холстину костюма и спросил:

— Значит, сегодня едете?

— Сегодня,— нехотя буркнул Христо.

— Ночью?

— Да,— еще короче и суше бросил парень и отвернулся, явно не желая разговаривать.

Вечером, когда стемнело и синий плат вечернего неба протлел звездными углями, Модест Иванович нежданно заявил Клаве, что ему нужно поехать в Севастополь.

На недоуменный вопрос Клавы, почему ему вздумалось ехать на ночь, Модест Иванович, не сморгнув, соврал, что днем на почте он случайно встретил старого товарища по гимназии, который служит в Севастополе, и тот пригласил его к себе.

— Почему же ты мне не сказал ничего днем, котик?— спросила Клава с внезапным подозрением и взглянула в упор на Модеста Ивановича.

Но он спокойно выдержал ее взгляд, а тускло горевшая лампа не позволила Клаве заметить изменившуюся окраску его щек.

— Да просто забыл, — ответил он небрежно.

Клава помолчала.

— Я тебя провожу, котик, до трамвая, — сказала она решительно.

— Пожалуйста.

Голос Модеста Ивановича звучал искренне, и Клава, все еще недоверчиво, не в силах понять, что, собственно, затевает Модест Иванович,— а она была уверена в этом,— вышла с ним вместе из дому.

По дороге к остановке трамвая она спросила после долгого молчания, решив вопрос по своему разумению:

— Ты не донесешь, котик?

Модест Иванович посмотрел на нее уничтожающе.

— За кого ты меня принимаешь?

— Прости...— сказала Клава.

Модест Иванович уселся в вагон и помахал на прощанье Клаве рукой.

— Завтра вернусь!— крикнул он уже на ходу.

Клава пошла обратно, Модест Иванович встал и вышел на площадку вагона. Белое платье Клавы растаяло в

темноте. Тогда, на глазах изумленного кондуктора, Модест Иванович спрыгнул на полном ходу. Он не удержался на ногах и упал лицом в кусты, росшие вдоль пути. Поднявшись, ощупал исцарапанное лицо, прорванную на коленке штанину и, прихрамывая, пошел к бухте.

Над водой повис белый и густой, как вата, туман; но Модест Иванович шел уверенно: он хорошо запомнил место. Подойдя к стоянке «Святого Николая», он разулся и влез в черную похолодевшую воду. Она приятным холодком обожгла его икры.

Влезая в баркас, Модест Иванович сорвался, с шумом плеснув водой. Он замер в испуге. Но кругом было тихо. Только чуть шелестела вода о берег.

Модест Иванович открыл кубрик, залез в него и, набросив на себя парус, притаил дыхание. Он не мог сказать себе, сколько времени он пролежал в душной каморке, пахнущей рыбой, небеленым холстом и смолой. Наконец глаза его стали слипаться, и он заснул.

Проснулся он от легких толчков и тихого говора. В баркас, раскачивая его, один за другим влезали люди, переговариваясь шепотом. Модест Иванович прислушался, но разговор шел по-гречески.

Вдруг дверца кубрика открылась, и что-то тяжелое упало на ногу Модеста Ивановича. Он чуть не закричал от боли и, закусив губу, несколько секунд мотал головой, чтобы отвлечься от мозжащего горения в голенной кости.

Протянув руку, он нащупал холодное и гладкое дерево и, скользя по нему пальцами, узнал приклад ружья. От этого открытия ему стало холодно, и он неожиданно икнул. Он сжал горло, стараясь задавить икоту, но она становилась все чаще и громче.

К счастью, на баркасе жалобно заскрипели уключины, и в их звуке потонула икота Модеста Ивановича.

По содроганиям корпуса Модест Иванович понял, что «Святой Николай» уже идет по бухте на веслах. Гребцы молчали. Только плескались тихо и сонно весла, и у носа, под головой Модеста Ивановича, шуршала вода.

Через некоторое время баркас стало слегка покачивать. По более громким плескам весел и по отрывочным фразам Модест Иванович сообразил, что город уже остался позади.

На баркасе произошла короткая суматоха, что-то же-

стко зашуршало, и Модест Иванович повалился на бок. Он не мог понять, в чем дело, и не сразу догадался, что «Святой Николай» пошел под парусом. Он почувствовал только, что рокотание воды под носом усилилось. Усилились и размахи баркаса. Несколько раз Модеста Ивановича больно ушибло о какие-то жесткие деревянные выступы. Приклад ружья плясал по ногам, но Модест Иванович боялся до него дотронуться и отодвинуть в сторону.

У него начала сладко и душно кружиться голова. Из-под ложечки подступала к горлу тупая давящая волна. Модест Иванович тщетно менял положение, насколько мог в низком ящике кубрика. Давящая волна усиливалась, и наконец Модест Иванович не выдержал.

Его начало травить. Казалось, что кто-то засунул руку в желудок, и, ухватившись за живое мясо, выворачивает его наружу, как перчатку. Это было так болезненно и страшно, что, забыв обо всем, он приподнялся, измазанный и залитый, и отчаянно завыл:

— Помоги-и-ите!

Не успел смолкнуть его крик, как тяжелые сапоги застучали у дверки кубрика. Модест Иванович услыхал несколько греческих, резко брошенных слов, затем дверца кубрика распахнулась, узкий луч фонарика ударил в темноту, и чья-то рука, поймав ногу Модеста Ивановича, с силой выволокла его наружу.

Дрожащий от боли и страха, он взглянул и увидел над собой трех склонившихся людей. При синеватом сумраке ночи они показались ему великанами. Один взмахнул рукой. В руке синим отсветом сверкнул клинок.

Модест Иванович во второй раз отчаянно вскрикнул и потерял сознание.

11

Над головой было сизоватое небо с тускнеющими звездами. Оно качалось, и звезды танцевали.

Модест Иванович застонал и попытался приподняться. Но чья-то рука нажала ему на плечо и положила.

Модест Иванович повернул голову и увидел склоненную над собой ухмылочную рожу.

— Лежи, барба, не ворочайся,— сказала она.

— Где я?— спросил тускло Модест Иванович, чувст-

вуя нестерпимую боль в животе, вывернутом приступами тошноты.

— На море,— ответил коротко сосед и, пыхнув дымком из трубки, добавил:— А ты отчаянный. Наши тебя в воду бросать хотели — Христо не дал. Ты ему крепко понравился. Он сам отчаянный. Черт с тобой, езжай с нами.

— Спасибо,— слабо улыбнувшись, едва выговорил Модест Иванович и, выпростав руку из-под покрывавшего его бушлата, схватился за горло. Опять подступила тошнота.

— Не ворочайся. Смотри на небо — лучше будет. На море не смотри.

— Воды!— застонал Модест Иванович.

— Тодька!— крикнул рыбак.— Дай воды.

Модест Иванович увидел, как над ним склонился Тодька, протягивая флягу. Глаза его были злы, но рот, против воли, растягивался в такую же, как у соседа, усмешку.

— Сволоч! Топить тебя надо,— проворчал он, но по тону и по усмешке Модест Иванович понял, что опасности больше нет, и, схватив Тодькину черную лапу, слабо сжал ее.

Напившись, он впал в мутную и знобкую дрему. Под бушлатом было тепло, тело понемногу привыкало к равномерным взлетам и падениям баркаса с волны на волну. Он продремал так до вечера, отказавшись от еды.

Очнулся он уже в темноте, услышав, что рыбаки ожесточенно и шумно заспорили. Модесту Ивановичу показалось, что предметом спора опять является он, и, сбросив с лица шерстяной бушлат, он поднялся.

Но, взглянув на рыбаков (их было пятеро), он сообразил, что разговор не касается его. Тодька, сменивший Христо на руле, указывал рукой на что-то впереди баркаса и кричал по-гречески, пересыпая свои слова звонкой и едкой матросской матерщиной.

По нескольким русским словам Модест Иванович все же успел понять, что близко берег и что спорят, где приставать.

Модест Иванович вылез из-под бушлата и, сев на банку, устремил глаза в темноту, где находился сказочный, манивший его берег чужой страны. Воспаленное воображение рисовало ему рощи пальм и заросли бананов.

Но впереди была только плюющаяся солеными брызгами тьма.

Высокий вал, ударивший сбоку, плеснул в баркас фонтаном пенной воды. Модест Иванович вскрикнул.

Христо, отряхиваясь, заревел на Тодьку:

— Горстей дерзи, дурак цортов!

Тодька огрызнулся, но положил руль влево.

Через несколько минут Модест Иванович услыхал сквозь свист ветра и плеск воды глухой рев, и в темноте вырисовалась смутная белая полоса.

Христо бросился на корму и, вырвав у Тодьки румпель, за шиворот стащил его с кормы.

— Гляза лопнули? В самый накат влез?!

Сконфуженный Тодька приткнулся к мачте.

Баркас лег на борт, черпнув воду, и полетел вдоль белой полосы. Держась за банку и вглядываясь, Модест Иванович различил наконец устрашающие буруны беснующейся у плоского берега взбудораженной воды. Они катались такими страшными, ревущими и вздымающимися массами, что Модест Иванович в ужасе зажмурился.

Он почувствовал, как баркас стремительно, затрещав всеми скрепами и задрав кверху нос, полез на какую-то нескончаемую гору и вдруг, оборвавшись, брошенным камнем полетел в пропасть. Ощущение этого падения было так нестерпимо страшно, что Модест Иванович застонал.

Опомнясь, он оглянулся.

Пенная гора осталась позади, — баркас бежал по почти спокойной воде. Резко зашуршав, упал парус, и «Святой Николай» мягким толчком врезался в песчаный берег.

Христо бросил румпель и, поднявшись, крикнул по-гречески.

Тодька и Васо спрыгнули на берег и исчезли в темноте. Минут через десять они вернулись.

— Мозно. Никого нет,— сказал Тодька.

Они спешно стали выгружать из баркаса весла и какие-то мешки. Христо показал Модесту Ивановичу на пару весел.

— Тасци, барба. Помогай насим, — сказал он.

Модест Иванович взгромоздил на плечо тяжелые весла и, спотыкаясь под их грузом, поплелся в хвосте группы, за Васо. Голова у него еще кружилась от качки,

разбитое тело ныло, но он с гордостью ощущал себя равноправным участником опасного и трудного дела.

За песчаными дюнами, на невысоком, глинистом обрыве, забелелась мазаная хатенка. Оттуда разноголосо залаяли собаки.

Христо остановил своих:

— Тодька, ходи вперед! Клиц Луку! — приказал он.

Тодька, вооружившись палкой, сбросил мешок к ногам Христо и отправился к мазанке. Собаки залились сильней.

Хлопнула дверь, кто-то крикнул с обрыва глухим старческим голосом. Тодька ответил. Собаки стихли, и по тропке степенно спустился курчавый, до глаз заросший белой бородой, старик цыган. Он огляделся.

— То мы, Лука. Здравствуй! — сказал Христо, подхватывая свой мешок.

Поднявшись вслед за другими по обрыву, Модест Иванович сбросил во дворе натершие плечо весла и вошел в мазанку. На закопченных стенах и потолке висели махрами сажа и паутина. Земляной пол был засыпан сором. Все имело нежилой вид. На очаге, потрескивая, горели дрова, и в мазанке было мутно от щиплющего глаза дыма.

Мешки полетели в угол, рыбаки расселись на вкопанных в пол лавках, перед столом. Христо похлопал цыгана по плечу и что-то приказал ему. Цыган подбросил дров в очаг, подвесил на раздвижной рогульке таганок и, выйдя, вернулся с бараньей ногой. Он налил в таганок воды, засыпал пшеном, накрошил луку и, разрубив на пеньке баранью ногу на мелкие куски, побросал в воду.

Подойдя к столу, он покосился из-под торчащих, как иглы ежа, зеленых бровей на Модеста Ивановича и бросил Христо несколько коротких слов.

Христо также коротко ответил.

В медвежьих глазках старика проскользнуло неодобрительное изумление, и он глухо, как из бочки, засмеялся. Модест Иванович отвернулся.

После ужина Христо бросил на пол бушлат.

— Лозись, барба, — сказал он, — спи.

У Модеста Ивановича уже давно слипались ресницы; он тяжело поднялся со скамьи и, свернувшись на бушлате, мгновенно заснул.

. . . .

Рыбаки одевались в дымном свете предзорья, шепотом переговариваясь. Они, очевидно, готовились уходить. Модест Иванович взметнулся.

Христо повернулся к нему.

— Зацем встаес, барба? Лези, лези. Отдыхай.

— А вы?

— Мы в Аккерман за товаром. Нам нузно.

— Так я тоже пойду,—сказал Модест Иванович, надевая свой, скоробившийся от соленой воды, пиджачок.

Христо покачал головой.

— Не, нельзя. Румания. Ты белый, на грека не схоз, на румана тозе. Сразу видно — русский. Зандарм заберет — пук...

И Христо приставил к груди Модеста Ивановича, как ствол револьвера, свой шоколадный палец.

Модест Иванович молитвенно сложил руки.

— Ну, пожалуйста!.. Ведь вы уж взяли меня. Так почему?..

Подскочил Тодька и ощерился на Модеста Ивановича, яростно сверкнув зрачками:

— Цыц! Сиди здесь. Пойдес — вот тебе.

И Тодька вытащил из-за пояса короткий клинок матросского ножа.

Модест Иванович понурился и сумрачно отошел к стенке.

Рыбаки ушли. Тодька, пролезая в двери, еще раз обернулся и молча пригрозил Модесту Ивановичу.

В закопченное окно мазанки светило красноrожее солнце. Оно явно тешилось над Модестом Ивановичем. Он сердито зажмурился от солнечных лучей и сел, пригорюнившись, на скамью.

Романтическая прелесть поездки растаяла, как тает в январский мороз над городскими трубами заманчиво розовый дым. Вместо таинственного и пленительного путешествия Модест Иванович увидел скучный и пресный труд людей, зарабатывающих на пропитание ценой невеселого риска. Вместо роскошной и могучей тропической природы, пальмовых рощ и бананов, грезившихся Модесту Ивановичу, распаленное воображение которого приводило ему на память перед отъездом самые экзотические страницы из жизнеописаний великих мореплавателей и путешественников, — за окном мазанки развертывалась тошнотворно плоская равнина, поросшая чахлым рыжим камышом, редким, как волосы на лыси-

не. По ней, вместо гордых страусов и легконогих антилоп, бродили, поджав хвосты, грязные и лохматые собаки хозяина.

Модесту Ивановичу хотелось заплакать от тоски и обиды.

Скучным взглядом он оглядел мазанку. Она была завалена вековой грязью.

Модест Иванович вздохнул и подумал о несоответствии обстановки его расцвеченным романтическим восторгом мечтам. Это подсказало ему образ действий. Он вышел во двор и у закута нашел выщербленную лопату.

Снял пиджак, засучил рукава и врылся с озлоблением в горы мусора на полу. Им овладела буйная жажда работы. Дни вынужденного безделья со дня бегства из родимого дома истомили его. Долголетняя привычка к каждодневному труду в определенное время властно проснулась в нем, и он работал ретиво и упорно, задыхаясь от пыли, весь в поту.

Отскоблив мусор, он выгреб его во двор, побрызгал пол водой из ведра и, схватив валявшуюся в углу ветошку, стал оттирать стены от копоти и паутины.

Он даже не заметил, как открылась дверь и в мазанку вошел старик цыган, а за ним Васо. Старик, вздув под курчавой шерстинкой бороды одутловатые губы, подошел сзади, покачал лохматой башкой и взял Модеста Ивановича за плечо.

Модест Иванович испуганно обернул перемазанное сажей лицо.

Васо густо заржал:

— Насол дело, барба!

— Я ничего...— смутясь, пролепетал Модест Иванович. — Я так... грязно очень, — оправдывался он, размахивая тряпкой.

Васо поставил на стол квадратный жестяной бидон.

— Садись,— буркнул он Модесту Ивановичу, — закуска кусать будем, пить будем.

Старик достал с полки холодную баранину и буханку ржаного хлеба. Поставил на стол продавленную жестяную кружку и две деревянные чарки.

Васо налил из бидона прозрачную булькавшую жидкость. Модест Иванович поднес чарку к губам и понюхал. Жидкость резко пахла анисом.

— Что это, так сказать?— спросил Модест Иванович, принимая ухарский вид старого пьяницы.

— То ракия. Турска водка. Пей, барба.

Модест Иванович поднял чарку.

— За здоровье хозяина.

Ракия жарко ошпарила рот, кипящей медью пробежала по горлу в желудок. Модест Иванович закашлялся и запихнул в рот кус баранины. Ему стало вдруг весело и легко.

— Налей еще,— подвинул он чарку.

Васо ухмыльнулся. Белый, со стегаными рубчиками, шрам, шедший от его рта к правому уху, вздулся и резко обозначился на сухой коже. Модест Иванович поглядел с любопытством на шрам.

Подумалось: «Должно быть, ранили во время провоза контрабанды». И почтительным, ласковым голосом Модест Иванович спросил:

— А опасное ваше дело? Нужно все-таки быть героем. Это вас таможенники ранили?

Васо недоуменно вскинул глаз.

— Зацем? То мы с Тодькой драка была. Пьяные. Тодька толкнула, я упал на бутылку — мордой нарезался.

Модест Иванович в негодовании отвернулся. Героическое оборачивалось пошлым и смешным. Он крякнул и с остервенением подряд выпил две чарки ракии.

Вернувшиеся к ночи нагруженные товаром рыбаки, войдя в мазанку, увидели, как, сидя рядом и обнявшись, Модест Иванович и Васо высокими срызающимися голосами тянут песню.

Васо запевал; Модест Иванович, прищелкивая пальцами, подтягивал:

Оцень грека любит русска,
Вместе кусают закуска.
Пьют сампанская виня,
Ходят в церковя одня.

Увидев вошедших, Модест Иванович оборвал пение и захохотал.

— К-которые, кон-дрла-бандисты, — произнес он, путая буквы, — ску-учно вам? Присаживайтесь. Места хватит.

Тодька бросил на пол мешок, схватил Васо за шиворот и потряс его.

— Напился, сволоц? Так баркас стерег? Зарезу!

Но Васо вырвался, выругался и, отскочив к стене, запел снова, поддерживаемый Модестом Ивановичем, тыча пальцем в Тодьку:

Барба Яни из кинзала
Два цаса огонь дерзала.
Барба Тодька из нози
Тысця турка полози.

Тодька замахнулся, но Христо перехватил его руку.

— Не надо. К цорту! — сказал он, смеясь. — Отцаянные. Надо и нам. Лука, давай ракии!

За полночь выбрались из мазанки, шатаясь и таща мешки.

Сзади, обнявшись, шли Модест Иванович и Васо.

За ними, хлопая их по ногам, волочился тяжелый тюк.

Модест Иванович привалился к Васо, а Васо урчал:

— Молодес, барба Модесто. Брато! Грека русской больсой друг.

Опять заскрипели уключины и закапала с весел вода. Взморье лежало тихое, тяжелое, пощипывая пеной ослабевающего наката.

Когда перевалили через него, вздыбили парус, и «Святой Николай» резво и весело побежал в обратный путь.

Модеста Ивановича больше не укачивало. Он устроился на дне, разморенный и усталый, и скоро уснул под мерное рокотанье воды.

Утром его разбудил легкий холодок. Поднявшись, он увидел, что небо и море горят оранжевыми и ало-розовыми сияниями. Все кругом казалось зажженным прозрачным трепещущим огнем. Медленно, охорашиваясь и стряхивая брызги, выползло проспавшееся солнце.

Модест Иванович смотрел на мерно вздымающееся вместилище влаги, катавшее тяжелые гладкие валы, кой-где запенивавшие верхушки белой каймой.

Нежданно из этих валов плавно и мягко выскользнула совсем рядом тупоносая свиная голова черно-серого цвета и сейчас же скрылась в воде. За ней следом кувырнулся острым плавником длинный хвост.

Модест Иванович ахнул.

— То дельфина рыба, — лениво буркнул Васо.

Модест Иванович долго развлекался кувырканьем дельфинов. Когда они скрылись, он радостно заволновался, завидев вдалеке легкую полоску дыма от идущего парохода. Но Христо, нахмурясь и выругавшись, круто повернул, и баркас пошел в противоположную сторону.

На вопрос Модеста Ивановича Христо нехотя и сумрачно ответил:

— Поймают — нехоросо будет. В тюрьма сядес.

И только в этот момент Модест Иванович осмыслил, что он находится на судне, груженном контрабандой, что по законам контрабанда — преступление и что, захваченные с поличным, они понесут тяжелое наказание.

Это словно облило его ледяной водой, и он притих, испуганно смотря, как тает за горизонтом ползущая струйка пароходного дыма. Скоро она исчезла. Модест Иванович приободрился, снова повеселел и, чтобы придать себе бодрости, игриво засвистел марш Буденного.

Но на втором такте он получил тяжелый удар по затылку, сваливший его с ног в набравшуюся на дне баркаса ржавую воду. Он в бешенстве вскочил, ища глазами обидчика, и увидел искаженную рожу Тодьки, державшего в руке уключину, которой он ударил Модеста Ивановича.

— Сволоц, убью! — закричал Тодька, поднимая уключину.

— Тодька, оставь!— крикнул Христо.

Тодька, рыча, сел.

— Нельзя на море свистеть. Удаци не будет. Беда придет,— объяснил Христо огорошенному Модесту Ивановичу. — Сиди смирно.

К вечеру стал стихать ветер. Парус заполоскал.

Христо оглядел море.

— Плохие шутки. Станет ветер — в ноц до Балаклавы не дойти.

Тодька с бешенством взглянул на Модеста Ивановича. Модест Иванович сел на дно баркаса у ног Христо, чтобы быть подальше от железных кулаков Тодьки и его ножа.

Быстро темнело. Ветер стих совсем. Он еще раз трепыхнул парусом, как раненая цапля крылом, и безнадежно упал на зеркалившую мертвой зыбью воду.

— Сазай весла! — скомандовал Христо.

«Святой Николай» медлительно закувыркался на тяжелой зыби, слабо подвигаясь вперед. Рыбаки уныло молчали.

Гребли до полуночи, но берега не было. Даже рысьи глаза Тодьки не могли высмотреть ни одного огонька.

— По прорве гляди. Айтодорский, долзно, справу видать, Херсонесский — слева.

Но ни Херсонесский, ни Айтодорский маяки не обна-

руживались. Со всех сторон баркас окружала упругая и душная, как подушка, тьма.

— Цорта бабуска, — выругался Христо, — ноцевать в море придется. Отходить надо. А заноцуес, утром на тамозенника попадес — пропадай.

И опять в тишине звенела только капающая с весел вода.

Вдруг Тодька вскочил и поднял руку.

— Ступит, — шепнул он, скаля зубы в настороженную и тревожную гримасу.

— Саба́с! — крикнул Христо.

Весла неподвижно легли вдоль борта. Христо вытянул шею и прислушался. Модест Иванович, не сводивший с него взгляда, увидел, несмотря даже на душную темноту, как изменилось лицо парня.

— Катер,— произнес он каким-то распущенным голосом.

И в тишине Модест Иванович услыхал над морем крадущийся по воде, чуть слышный, как тиканье часов, монотонный стук пароходной машины.

— У-у-у! — проревел Христо по-коровьи и нагнулся над картушкой привинченного к банке компаса.

Люди сидели, согнувшись, на банках, словно боясь, что уже внимательный глаз таможенника, просверлив черную ночь, видит их, старающихся укрыться. Никто не сказал ни слова.

Но в эту минуту оторвавшийся от компаса Христо взглянул влево и сразу вскочил на ноги.

— Бриза идет! — рявкнул он. — Ставь грот! Святой Николай, выруцай греки!

Модест Иванович увидел, как гладкую поверхность моря пересекла черная полоска. Она разрасталась и неслась к баркасу с головокружительной быстротой. Поставленный грот повис на мгновение безжизненным лоскутом, потом слегка трепыхнулся и в тот момент, когда черная полоса ряби докатилась до баркаса, с шумом вздулся и положил «Святого Николая» на правый борт.

— Ни церта! Уйдем!— крикнул Христо, выпрямляя рванувшийся баркас. — Свецку богородице поставлю, стоб меня громом убило.

Бриз усиливался, посвистывая и шелестя закипающими гребешками валов. Баркас, зарываясь в волну, разбрызгивал шипящую воду и несся с захватывающей быстротой.

Христо обернулся в сторону, откуда доносился стук машины, и, сняв фуражку, помахал ею, прибавив залп ругани.

И, как бы в ответ от нее, из глубины моря на горизонте вылетел молниеносно и угрожающе взвился в небо узкий игольчатый сноп голубого света. Он, дрожа и колеблясь, постоял несколько секунд вертикально, прокалывая небо, и, словно скошенный, рухнул вниз и лег вдоль горизонта, захлебываясь и купаясь в зыби.

И одновременно с его падением Тодька, захохотав ревущим смехом, показал пальцем вперед. Вдалеке, в волнах, то вспыхивая, то погасая, немного влево от носа баркаса, замигал огонек.

— Херсонесский, — сказал Христо, — в самый раз. Два цаса ходу. Лись бы не заметил.

Голубой сноп, покупавшись в волнах, так же мгновенно погас, как и вспыхнул.

Тьма наплыла еще более густая и душная.

Модест Иванович, свернувшись, полулежал на дне, боясь выглянуть.

Он не мог бы сказать, сколько времени прошло с тех пор, как погас страшный голубой сноп. Для него не было больше времени — был только безмерный опустошающий испуг перед темнотой и таившейся в ней, подстерегающей опасностью.

Вдруг он услыхал оживленный говор.

Рыбаки кинулись к борту. Модест Иванович решился подняться и поглядеть в темноту, но ничего не увидел.

— Что там, Христо? — спросил он с замиранием сердца.

— Берег, барба. Скоро дома будем. Клява увидис,— засмеявшись, ответил Христо.

Модест Иванович жалко вздохнул и снова свернулся калачиком. Он с болью вспомнил о Клаве. Захотелось скорей очутиться рядом с ней на прочной и понятной земле.

Баркас валко подбросило, шальная волна окатила Модеста Ивановича, он вскочил, отряхиваясь. И, словно только и подстерегая эту минуту, голубой сноп вспыхнул в море совсем близко от баркаса.

Он пролетел по воде и уперся в берег, выхватив из темноты и зажегши уже недалекие, покрытые лесом скалы, покружился на них, спрыгнул вниз и опять побежал в сторону.

— Дерзи на берег. Выбросимся под Форос! — заорал Тодька.

Христо положил на борт, и «Святой Николай», хлебнув воды, понесся прямо на берег. Ветер засвистел в вантинах.

Прожектор, поплясав по далекому горизонту, замер, будто насторожась, и быстро прострочил волны по направлению к баркасу. Секунду луч плясал, как будто ища, и вдруг вонзился в баркас.

Залитый светом парус вспыхнул, как язык белого пламени. Волны засветились по верху неживым стеклянным сиянием и недвижно заледенели, остановленные в беге.

Модест Иванович упал на дно, ослепленный.

— Поймались, — злобно сыпнул сверху Тодька руганью всех наречий.

Прожектор, не отпуская, держал баркас цепкими голубыми лапами. Христо навалился грудью на румпель, стиснув челюсти. Лицо его в блеске прожектора казалось зеленым, как у разлагающегося мертвеца.

— Не дрефь! — крикнул он Тодьке. — Только до скал дойти. Там они сядут.

Под усилившимся ветром «Святой Николай» совсем лег на борт, черпая воду, но прожектор не отпускал его, запутавшись в снастях.

Совсем близко вспыхнуло четкое постукивание машины. Разрезав ветер, хлестнул упругий гудок.

— Свистят парус сбивать! — заорал Тодька.

— Здохну раньсе. — И Христо сделал непристойный жест в сторону катера.

Модест Иванович сидел на дне, вцепившись в бимсы. Страх у него прошел, было только бесконечное жадное любопытство.

Внезапно над баркасом веером развернулся и прошелестел звонкий свист.

— Лозись! — зыкнул Христо. — Пулемет.

Свист снова рассыпался ниже и грознее.

Христо, закусив губы и не выпуская румпеля, левой рукой достал из-под банки карабин.

— Тодька! Все одно пропадать. Бей ему фонаря, растуды его!

Тодька вскочил, хватая карабин, но баркас швырнуло, и взвившийся гик с размаху опустился на Тодькин череп. Тодька повалился на дно, карабин вывалил-

ся на колени Модесту Ивановичу. Он испуганно схватил его.

— Барба, пали! — отчаянно завопил Христо.

Странное спокойствие овладело Модестом Ивановичем. Никогда в жизни не державший в руках винтовки, он медленно поднял приклад к плечу и, неловко уткнув ствол в ослепительный шар прожектора, закрыв глаза, нажал собачку. Его бросило обратно на дно баркаса, обдав гулом, и вместе с этим ощущение нестерпимого мерцания в зрачках исчезло.

Лежа на дне, он услышал над собой бешено радостный крик:

— Ай-ай! Паликар, барба! С одного раза. Молодес!

Модест Иванович решился взглянуть. Кругом было темно, беспросветно и страшно. Словно сверху на море, баркас и катер вылили склянку китайской туши.

Модест Иванович привстал, цепляясь за мачту, и увидел, как в этой чернильной гуще замигал синеватый язычок огня. И опять гулкий свист ударил по воздуху, вслед за ним что-то щелкнуло по борту, обдав Модеста Ивановича осколками дерева, и тупая игла небольно прошила ему плечо. Он хотел крикнуть, но язык не двигался, и он, захлебнувшись, сел у подножья мачты.

Перед самым носом баркаса из моря вынырнула осыпанная нитками пены черная скала. Христо лег на румпель, и «Святой Николай» пронесся мимо камней, чиркнув по ним днищем.

Впереди мрачной стеной вспухал берег, и сзади упрямо и злобно стрекотал в пустую тьму обиженный пулемет.

12

— Ну, слава богу!.. Очнулся.

Рука Клавы мягко лежала на лбу Модеста Ивановича. В глазах дрожала тревога и еще что-то необъяснимое, от чего по телу Модеста Ивановича забегали горячие мурашки.

Он пошевелил губами и спросил чуть слышно:

— Что со мной?

Клава замигала ресницами.

— Молчи, гадкий котик! Молчи! Тебе нельзя говорить. Ты болен.

Тогда Модест Иванович увидел, что он лежит в по-

стели и левое плечо и рука у него онемели. Он сдвинул брови, соображая.

— Как ты меня напугал, противный, скверный, — всхлипывая, сказала Клава. — Три дня без памяти. Я хотела тебя везти в больницу, а они не позволили. Говорят, что начнут допрашивать, — тогда всем худо будет.

— А где Христо?

— Христо жив-здоров. Что ему, быку, сделается?

Клава помолчала, вытерла глаза и, сразу изменив тон, восхищенно сказала:

— Какой ты герой, котик! Душка! Христо рассказывал, что ты всех спас. Они прямо в восторге от тебя. Тодька приходил. Говорит: без тебя теперь не поедут. Такой дурак!

Модест Иванович сощурился, и перед ним закружилась душная тьма, а в ней — синеватое мерцание пулеметного огонька. Он вздрогнул, побледнел и сказал, ловя руку Клавы:

— Нет, Клавочка. Я никуда больше... Уедем, скорей.

— Ну, конечно, уедем, котик. Уж я тебя теперь ни на секунду не отпущу.

— Клавочка! Поедем назад, в Россию, — прошептал Модест Иванович, гладя ее руку.

— Хорошо, хорошо. Только выздоровеешь, — так и уедем. Довольно ты меня напугал.

Оба замолчали.

С террасы послышались приближающиеся голоса.

— Это, верно, Христо,— сказала Клава, поворачиваясь к двери. — Они каждый день приходят тебя навещать. Такие смешные, котик.

В дверь стукнули тяжело и четко.

— Входите, входите! — крикнула Клава.

В распахнувшейся двери появилась грузная, вспотевшая женщина. У нее было жирное лицо и животные расквашенные губы. Маленькие острые глазки обежали комнату и уперлись в Клаву.

За спиной женщины стоял милиционер.

— Что вам надо?— испуганно поднялась Клава. — Кто вы такая?

Женщина оттопырила губы и вязко, как бы смакуя каждое слово, сказала:

— Так это ты, стерва поджарая, законных мужьев сманиваешь?! Ну, я с тобой разговор буду иметь.

Женщина стащила с руки вязаную перчатку и неторопливо, грузно передвигая ноги по полу, стала надвигаться на Клаву. Клава так же медленно пятилась к стене.

Оглянулась на Модеста Ивановича, ища защиты, и увидела, что он привстал на постели. Его взгляд стекленел и замерзал, лицо синело. Он охнул и, не разгибаясь, упал назад, стукнувшись затылком о спинку кровати.

Клава шарахнулась на помощь, но женщина взбросила руку и ухватила Клаву за волосы.

— Нет, ты погоди! Ты погоди,— сказала она так же неторопливо и, нагнув голову Клавы, несколько раз спокойно и размеренно ударила ее снизу пухлым и жирным кулаком по носу и губам.

Клава закричала.

Подоспевший милиционер с профессиональной ловкостью разделил женщин.

— Этого не полагается, гражданка! — сказал он официально.

Клава откинулась к стене. По губам ее сползала тонкая струйка крови.

Несколько секунд она смотрела на каменноподобную Авдотью Васильевну молча, с одичалым ужасом, потом согнулась и пошла к двери; но милиционер преградил ей дорогу.

— Не приказано, гражданка. Ежели от побоев, то должен по службе защитить; но, впрочем, имею распоряжение на ваше задержание.

Клава села и, уткнувшись лицом в доску стола, заплакала.

. . . .

Авдотья Васильевна уложила Модеста Ивановича на линейку, не обращая внимания на сбежавшихся зрителей. Линейка тронулась, и чудовищный бюст Авдотьи Васильевны победоносно заколыхался. Модест Иванович пришел в себя, но смотрел по-прежнему бессмысленно, блеклыми и отсутствующими глазами.

. . . .

Когда линейка проезжала мимо района милиции, оттуда вышла Клава в сопровождении милицейского. Завидев линейку, она сделала движение броситься к ней, но Авдотья Васильевна, побагровев, подняла кулак, как таран.

Клава осеклась и, понурившись, пошла за милицейским. Модест Иванович не видел ее.

. . . .

За окном финотдела алые, оранжевые, золотые, шурша, осыпались листья кленов.

Модест Иванович встал и отошел от окошечка кассы к окну. По небу плыли низкие бурые тучи, быстро и порывисто. Внезапно они разорвались, и между ними проступила глубокая и ясная, омытая дождем просинь.

Модест Иванович припал к окну и с ненавистью взглянул на небо. Губы его дернулись, и с яростным, шипящим презрением он произнес звенящее слово:

— Таласса!..

Он сжал кулаки и сердито сплюнул.

От окошечка кассы раздался раздраженный оклик:

— Гражданин кассир, примите деньги.

Модест Иванович вздохнул, побежкой подошел к кассе и, садясь, любовно придвинул к себе густо-голубой, как вода балаклавской бухты, приходный ордер.

Детское Село,
октябрь — декабрь 1926 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

Новое Собрание сочинений Бориса Андреевича Лавренева в шести томах является четвертым собранием сочинений писателя и по своему составу наиболее полным изданием.

Первое Собрание сочинений Б. Лавренева в шести томах было издано в 1928—1930 годах харьковским издательством «Пролетарий».

Второе Собрание сочинений Б. Лавренева в пяти томах издано в Ленинграде в 1931 году Государственным издательством художественной литературы.

Третье Собрание сочинений Б. Лавренева в шести томах вышло в Москве после смерти писателя в издательстве «Художественная литература» в 1963—1965 годах.

В настоящем Собрании сочинений все произведения расположены по жанрам в хронологическом порядке. Авторские даты воспроизводятся под текстом произведения, редакторские даты (предполагаемые даты написания) помещаются там же в угловых скобках.

Первые три тома Собрания сочинений включают повести и рассказы, четвертый — романы, пятый — пьесы, шестой — очерки, фельетоны, статьи, выступления.

Тексты печатаются по рукописям и последним прижизненным изданиям с проверкой и исправлениями опечаток по предшествующим публикациям. Некоторые ранние произведения просмотрены и подготовлены к печати Б. А. Лавреневым в последние годы его жизни.

Примечания, сделанные самим автором, и переводы иностранных слов помещены непосредственно под текстом произведений.

В первый том вошли повести и рассказы, написанные в 1916—1926 годах.

Короткая повесть о себе.— Написана в 1958 году. Впервые опубликована в первом томе Избранных произведений Б. Лавренева в двух томах, Гослитиздат, 1958 (в дальнейшем для краткости называем его Двухтомник 1958 г.).

Стр. 32. *Биография отца...*—Отец Б. Лавренева—Андрей Филиппович Сергеев (1859—1932). Фамилия писателя — Сергеев, а Лавренев — это его литературный псевдоним, ставший фамилией. Б. Лавренев писал 15 мая 1957 г. по этому поводу: «...от рождения до появления... моих стихов в 1912 г. в московском альманахе «Жатва», я носил фамилию Сергеев. В литературе уже был один Сергеев-Ценский. Нужно было как-то дифференцироваться от него... Придумывать какую-нибудь приставку по месту рождения или жительства, называться Сергеев-Херсонский или вроде этого — было глупо. Я и взял себе фамилию одного из родственников, сперва как псевдоним, а с 1922 года окончательно принял эту фамилию» (журн. «Звезда Востока», Ташкент, 1959, № 8, с. 120).

Под фамилией Сергеев в 1910 г. в московской газете «Студенческая жизнь» опубликованы первые рассказы Б. Лавренева: «То было раннею весной...» (7 ноября, с. 8—9) и «Его смерть» (12 декабря, с. 6—7).

В альманахе «Жатва» (М., 1912, кн. 3) за подписью «Б. Сергеев» помещены четыре рецензии писателя на поэтические сборники. В четвертой книге альманаха, вышедшей в 1913 г., напечатана под весьма прозрачным криптонимом «Б. С — въ» его большая критическая статья «Замерзающий Парнас» (см. т. 6 наст. изд.). Под этим же криптонимом в херсонской газете «Родной край» 17 апреля 1911 г. был опубликован его обзор: «Выставка Херсонского общества любителей изящных искусств».

В ташкентских архивах сохранились многочисленные официальные документы, в которых писатель фигурирует под двойной фамилией: Сергеев-Лавренев.

Стр. 34. *...превосходная общественная библиотека...* — 13 марта 1947 г. Б. Лавренев написал к юбилею этой библиоте-

ки свои воспоминания «Моя первая академия» (см. т. 6 наст. изд.).

Стр. 37. *В 1909 году я поступил...* — После окончания гимназии Б. Лавренев в 1909 году поступил на математическое отделение Киевского университета (Государственный исторический архив Московской области, ф. 418, оп. 324, ед. хр. 1746, л. 7).

В автобиографии 1946 г. Б Лавренев писал: «... в математике разочаровался из-за сухости дисциплин и на следующий год был уже на юридическом факультете Московского университета». (Отдел творческих кадров Союза писателей СССР, личное дело Б. А. Лавренева, л. 7.)

Стр. 39. *В июле 1919 года был ранен...* — Сохранилась справка народного комиссара по военным делам Украинской Советской Республики Н. И. Подвойского, которой писатель гордился как боевым орденом. В ней говорится:

«29 июля, выйдя на линию ж. д., т. ЛАВРЕНЕВ... принял бой с пошедшими на прорыв окружения бандами, и после того, как бронепоезд № 6 после прямого попадания снаряда, убившего машиниста и выведшего из строя паровоз, вышел из боя, т. ЛАВРЕНЕВ вместе со своими бронеплатформами остался один на позиции у разъезда Карапыши, в продолжение трех часов отбрасывая противника шрапнельным огнем, моментами с картечной дистанции.

В ходе боя т. ЛАВРЕНЕВ был серьезно ранен в ногу пулей с раздроблением пальцев, но не оставил командования и при переходе бандами под вечер линии железной дороги нанес противнику артогнем большие потери, заставив бросить в поле значительное количество вооружения и боеприпасов.

Только после личного доклада мне о бое т. ЛАВРЕНЕВ передал командование заместителю и был эвакуирован для лечения в поезде штаба в Киев». (Цитируется по заверенной копии, хранящейся в личном деле Б. А. Лавренева в Отделе творческих кадров Союза писателей СССР, л. 19.)

Стр. 39. *По здоровью со строевой службы был переведен...* — После выздоровления Б. Лавренев с середины 1920 г. работает в литературно-издательском отделении Политуправления Туркестанского фронта, преобразованном впоследствии в Военно-редакционный Совет Туркфронта. Архивные документы подтверждают, что Б. Лавренев занимал различные должности в этом своеобразном издательстве первых революционных лет. Он был корректором, выпускающим, литературным сотрудником, редактором военно-популярных изданий, художником, инструктором, секретарем Совета и т. д. Будущий писатель редакти-

ровал и иллюстрировал книги для красноармейцев, писал к ним предисловия, принимал непосредственное участие в выпуске листовок, плакатов, газет и журналов.

Стр. 39. ... *был заместителем редактора фронтовой газеты...* — В редакции «Красноармейской газеты» (так первоначально называлась «Красная звезда») писатель начал работать с августа 1921 г. В газете опубликованы рассказы и стихотворения Б. Лавренева, отрывок из поэмы «Алые облака», статьи, рецензии, фельетоны, карикатуры и рисунки. Печатались все эти материалы не только под фамилией писателя, но и под его многочисленными псевдонимами. Впоследствии Б. Лавренев вспоминал: «...я хорошо помню, что у меня и других работников, помимо наших нормальных фамилий, существовало еще по десять — пятнадцать «военкоровских» псевдонимов» («Моя школа»; см. т. 6 наст. изд.). В одном из писем он вновь подчеркивал: «...в то время начальство жестоко долбало нас за то, что мы не умеем привлечь в газету актив военкоров, и мы, работники газеты, попросту жульничали, чтобы избежать разносов, печатая массу своих материалов под фамилиями «военкор Петров... Сидоров... Егоров» и подобными псевдонимами» (журн. «Звезда Востока», Ташкент, 1959, № 8, с. 118.)

В туркестанской периодической печати нам удалось раскрыть такие псевдонимы и криптонимы Б. Лавренева: «Бек», «С. Натальский», «Б. Наталин», «Н. Борисов», «Художник», «Инцитатус». «Incitatus», «Б. Л.», «Л. Б.», «Б. Л — в», под которыми опубликовано около 130 его произведений.

Работа в военных изданиях Туркестанского фронта обогатила будущего писателя, который неоднократно подчеркивал: «...боевые дни работы в «Красной звезде» никто из нас, работавших в ней, никогда не забудет... «Красная звезда» была для меня и моих товарищей настоящей жизненной школой не только литературной, но, главным образом, политической» (газета «Фрунзевец», Ташкент, 1938, 12 июня).

Стр. 39. *...одновременно заведовал литературным отделом «Туркестанской правды».* — В «Туркестанской правде» Б. Лавренев работал с июля 1922 года по декабрь 1923 г. На ее страницах опубликованы многие произведения писателя.

Трудно назвать туркестанский журнал или газету 1921—1923 гг., которые не были бы связаны с именем Б. Лавренева. По его инициативе в 1922 г. началось издание первого сатирического журнала Советского Туркестана — «Скорпион», в котором помещались фельетоны, карикатуры, рисунки, сатирические интервью Б. Лавренева. Под его наблюдением выходил краевой партийный журнал «Коммунист», он был заместителем редак-

тора и вел отдел библиографии в журнале «Военный работник Туркестана», заведовал литературными отделами ташкентских журналов «Новый мир» и «Костры», в которых публиковались его повести, рассказы, стихотворения, статьи, очерки и рецензии. Б. Лавренев сотрудничал в молодежной газете «Юный Восток», в которой появились две главы его первого романа «Крейсер «Коминтерн». В ташкентских журналах «Отклики», «Театр», «Допризывник», «Гарпун», «Красная казарма», «Коммунистическая мысль» и других можно встретить различные произведения писателя.

Стр. 39. *В 1924 году я демобилизовался...* — В декабре 1923 г. Б. Лавренев уехал из Ташкента в Петроград, где его снова призвали на военную службу, назначив секретарем Военно-научного общества Петроградского военного округа. 15 декабря 1924 г. Б. Лавренев демобилизовался и поступил на работу в Ленинградское государственное издательство.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Автобиография. — Написана весной 1957 г. для сборника «Советские писатели. Автобиографии в двух томах», Гослитиздат, 1959. 9 ноября 1958 г. просмотрена и поправлена писателем. Впервые опубликована в журнале «Новый мир», 1959, № 4.

Стр. 42. *...поступить в Училище живописи, ваяния и зодчества?* — Увлечение живописью началось у Б. Лавренева еще в гимназические годы. Из воспоминаний художника Г. В. Курнакова известно, что Б. Лавренев в 1906 г. посещал мастерскую херсонского художника А. Д. Иконникова и занимался там живописью и рисованием. В 1909-м, 1910-м и 1915 гг. он участвовал в выставках картин Херсонского общества любителей изящных искусств. На этих выставках экспонировались его картины «Яхта», «После дождя», «Осенний сон», многочисленные этюды и эскиз декорации к балету.

Занятия живописью и графикой не прекращались и в годы гражданской войны.

В августе—сентябре 1920 г. Б. Лавренев возглавлял издательский и библиотечно-музейный подотдел изобразительных искусств Наркомпроса Туркестана и одновременно учился в Краевой художественной школе. Обладая незаурядным талантом художника-графика и живописца и большими знаниями в области истории и теории искусства, он настолько выделялся среди учащихся школы, что ему вскоре поручили возглавить графическую мастерскую и самостоятельно вести в ней занятия.

Наркомпрос Туркестана писал в 1921 г. о Б. Лавреневе как о единственном в пределах Туркреспублики художнике-графике

и отмечал, что он «является весьма ценным специалистом в области книжной иллюстрации и графики» (Центральный государственный архив УзССР, ф. 34, оп. 1, ед. хр. 744, л. 46).

По самым скромным подсчетам, за четыре года, проведенных в Ташкенте, Б. Лавренев выполнил около тысячи рисунков, плакатов, карикатур, обложек, заставок, заголовков, эскизов и т. п. Ему принадлежат почти все графические работы, появившиеся тогда в периодических и непериодических изданиях Туркестана. Кисть художника самоотверженно служила революции, наглядно и убедительно агитировала за новую жизнь, едко и зло высмеивала прошлое. Многие рисунки и карикатуры Б. Лавренева тематически перекликаются с его статьями, фельетонами и рассказами тех лет.

Увлечение живописью и графикой продолжалось у Б. Лавренева на протяжении всей его долгой жизни. Сохранилось немало интересных живописных и графических работ писателя.

Стр. 42. ... *одно из этих стихотворений...* — Пока не удалось установить, о каком стихотворении идет речь. Известно лишь, что в феврале 1911 г. во втором номере херсонского ежемесячного журнала литературы, искусства и науки «Весенние зори» появилось его стихотворение «Вековое», под которым стояла дата: 3/II, Москва. В первом и втором номерах среди лиц, принимающих участие в журнале, упомянута и фамилия Б. Сергеева.

В 1912 г. в «Очередном сборнике первого литературно-художественного кружка московской молодежи» напечатано его стихотворение «Неразрывность».

Стр. 42. *...цикл моих стихов был напечатан...* — Во второй книге альманаха «Жатва» за 1912 г. опубликована поэтическая легенда «Маки» и стихотворения «Февраль», «Сказка вечерняя», «Мука рассвета» Б. Лавренева.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР сохранилась небольшая тетрадь в хорошем переплете, подаренная Б. Лавреневым 27 ноября 1912 г. одному из редакторов «Жатвы» — Арсению Альвингу (А. Бартеневу). В ней — автографы 19 стихотворений Б. Лавренева (лишь два из них напечатаны в «Жатве»). В том же году поэт Георгий Чулков включил Б. Лавренева в число 59 лучших поэтов России. Правда, критерием для отбора он взял три таких признака: «культурность автора, знание и понимание поэтической техники и хотя бы минимальное дарование». (ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 216, лл. 19—21.)

Стр. 44. *...Маяковский швырнул ошеломляющие строчки.* — Б. Лавренев цитирует строки из стихотворения В. Маяковского

«Еще Петербург» (1914) (В. Маяковский. Полн. собр. соч., т. 1. М., 1955, с. 63).

Стр. 44. *Моя практика в лоне эгофутуризма...* — В альманахе «Мезонин поэзии» в 1913—1914 гг. опубликовано 4 стихотворения Б. Лавренева: «Groqius», «Nocturne», «Истерика Большой Медведицы», «Боевая тревога». Книгоиздательство эгофутуристов «Мезонин поэзии» сообщало тогда о готовящихся к печати двух поэтических книжках Б. Лавренева: «Воздушный кораблик» и «Поэзы». По неизвестным причинам сборники не были изданы.

Стр. 49. *В Крыму мы в 1919 году не удержались...* — Летом 1919 г. Б. Лавренев был первым комендантом Советской Алушты и начальником артобороны на участке Алушта — Гурзуф. О событиях в Крыму, в которых довелось участвовать писателю, он впоследствии рассказал в двух статьях: «В Крыму. Комендантство в Алуште» (см. т. 6 наст. изд.) и «Пираты Третьей республики (из дневника 1919 года, 22 июня)» (журнал «Знамя», 1933, № 2).

Стр. 49. ... *на станции Мироновка меня увидел...* — В упоминавшейся выше справке Н. И. Подвойского (см. примеч. к с. 39) написано: «... т. ЛАВРЕНЕВ проявил большую энергию по созданию артиллерийского заслона на линии ж. д. между ст. Мироновка и ст. Белая Церковь. Ввиду недостатка артиллерийских средств для воспрепятствования прорыву банд через полотно дороги на юг т. ЛАВРЕНЕВ с командой моряков из охраны штаба организовал постройку местными средствами двух бронеплатформ для поддержки оперировавших против Зеленого курсантской бригады и интернационального кавдивизиона».

Стр. 49. ...*по выздоровлении направлен в Ташкент...* — Из Москвы Б. Лавренев сначала попал в Самару (Куйбышев), где тогда находился штаб Восточного фронта. Начальник политотдела фронта Д. А. Фурманов предложил ему читать лекции красноармейцам по истории общественного движения в России (см. об этом т. 6 наст. изд.).

21 ноября 1919 г. «лектора партийной школы Бориса Сергеева» направляют в Ташкент, куда он прибыл 8 января 1920 г., а всего через неделю В. В. Куйбышев подписал приказ № 14 Реввоенсовета Туркфронта о назначении его помощником начальника гарнизона г. Ташкента. В феврале 1920 г. Б. Лавренев назначается военным комендантом города.

Стр. 49. ... *в 1923 году окончательно ушел в прозу.* — В автобиографии, написанной 11 сентября 1932 г., Б. Лавренев объяснял: «Стихи я бросил — они мне стали напоминать лошади-

ную упряжь с заслонками для глаз — нельзя посмотреть по сторонам, зрение ограничено» (ЦГАЛИ, ф. 2105, оп. 1, ед. хр. 1; впервые опубликовано в журн. «Звезда Востока», Ташкент, 1966, № 7, с. 175).

В 1924—1925 гг. в ленинградских газетах и журналах было напечатано несколько стихотворений Б. Лавренева, правда, в основном они были созданы еще в Ташкенте. В архиве писателя сохранилась сатирическая комедия в стихах «Всадник без головы», в 1948 г. он писал стихотворное либретто оперы «Разлом», в повестях, рассказах и пьесах Б. Лавренева нередко встречаются стихотворные строчки, созданные писателем, однако поэтические произведения Б. Лавренева в дальнейшем самостоятельно в печати не появлялись.

Стр. 49. *...весной 1924 года напечатал... «Звездный цвет», «Ветер» и «Сорок первый».* — О времени и месте первых публикаций этих произведений см. примеч. к ним.

Стр. 49. *В 1925 году я впервые попробовал сунуться в драматургию.* — К драматургии Б. Лавренев обратился значительно раньше. В рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) сохранился стенографический отчет о вечере, посвященном творческим планам Б. Лавренева. Выступая с рассказом о своей работе, писатель сообщил о первых драматургических опытах: «Это было летом 1920 года в Ташкенте, когда кругом кипела в ожесточенных размерах гражданская война, кругом был военный фронт и, казалось бы, дело не располагало к драматургии и к литературным занятиям, поскольку тогда я был исключительно на военной службе. Но в июне я получил возможность отдохнуть от всех военных дел, и тут меня соблазнил Туркестанский Госиздат написать пьесу» (ИРЛИ, ф. 492, оп. 1, ед. хр. 2.). Так появилась во второй половине 1920 г. его первая пьеса «Разрыв-трава», получившая, по словам Б. Лавренева, первую премию на конкурсе Госиздата Туркестана. Рукопись пьесы до сих пор не обнаружена. В ташкентском журнале «Вестник просвещения и культуры» кратко излагается ее содержание: «В пьесе рисуется, как под напором революции и победы пролетариата в буржуазной семье происходит распад и дифференциация. В то время как генерал Лункевич уезжает на Кубань к Деникину, чтобы вернуть старую власть и старый порядок, его старший сын Евгений делается председателем Совета рабочих депутатов, другой сын, сохраняющий характерную позицию аполитичного интеллигента, соглашается работать в советском учреждении «ради самой работы». В дальнейших актах рисуются сцены белогвардейского лагеря и штаба Красной Армии. Пьеса кончается военным судом, в котором председатель-

ствует Евгений и выносится смертный приговор генералу Лункевичу и его соратникам» (журн. «Вестник просвещения и культуры», Ташкент, 1921, № 7-8, с. 11.).

Художественно-репертуарная комиссия при театральном отделе Наркомпроса Туркестана положительно оценила пьесу «Разрыв-трава» и рекомендовала ее к постановке во всех драматических театрах республики.

В 1921 г. пьеса Б. Лавренева была представлена и на конкурс Литиздата Политуправления Туркестанского фронта. В московском журнале «Красноармейская печать» в 1922 г. сообщалось о результатах конкурса: «Лучшей пьесой признана драма в 4-х актах Б. Лаврентьева (опечатка. — *Б. Г.*) «Разрыв-трава». Пьеса будет вскоре отпечатана». Сам Б. Лавренев впоследствии отмечал, что «пьеса по тому времени была «на высоком уровне». Однако судьба ее оказалась печальной: она так и не была издана, нет никаких сведений и о ее постановках.

Стр. 50. ... *борясь с возрастом и болезнью...* — Борис Андреевич Лавренев умер в Москве 7 января 1959 г. и похоронен на Ново-Девичьем кладбище.

Печатается по рукописи.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

«Г а л а - П е т е р». — Рассказ написан в марте 1916 г. и тогда же отдан Б. Лавреневым в редакцию альманаха «Огонь» (Киев, Киевская земская группа, 1916), но военная цензура его безоговорочно запретила. Автору было указано на неприличный для офицера образ мыслей, и он был отправлен в артиллерийскую часть, составленную в основном из штрафованных матросов. Цензура запретила не только рассказ Б. Лавренева, но и, видимо, весь сборник, который был конфискован и в продаже не был. Первоначальный вариант рассказа пока не обнаружен.

В сентябре 1923 г., находясь в Ташкенте, Б. Лавренев восстановил рассказ «Гала-Петер» частично по памяти, частично по сохранившимся отрывкам в блокноте. Опубликован (в новой редакции) в первом сборнике рассказов и повестей Б. Лавренева «Ветер» ленинградским издательством «Прибой». На обложке, выполненной Б. Лавреневым, указан год 1925-й, а на титульном листе сборника — 1924-й.

Империалистическая война обусловила серьезный кризис в сознании будущего писателя. «Попав на фронт, я увидел ничтожество моих «бунтарских» идей, — говорил впоследствии Б. Лавренев, — о них можно было спорить в ресторане «Яр», но они выветрились, исчезли в сырых и холодных землянках. Я увидел

трагедию мировой бойни, я понял, что требуют от меня, писателя, люди, коченеющие в окопах и гибнущие под бомбами и снарядами» («Литературная газета», М., 1937, 30 мая).

Под влиянием увиденного и пережитого на фронте и возник у Б. Лавренева замысел произведения о войне и человеческом прозрении, о сладкой патоке либерально-патриотических иллюзий и суровых окопных буднях. Рассказ «Гала-Петер» привлекает глубоким социальным содержанием, публицистически гневным протестом писателя против превращения людей в пушечное мясо. Герой рассказа, несомненно, близок самому автору, тоже юноше из интеллигентной семьи, добровольно пошедшему на фронт и быстро постигшему весь ужас войны. Между прочим, поручик Григорьев мерзнет в окопах под Барановичами, где 16 июля 1916 г. был тяжело ранен шрапнельной пулей ниже левой лопатки с повреждением ткани левого легкого старший фейерверкер 6-го Кавказского мортирного дивизиона Б. А. Сергеев.

Рассказ «Гала-Петер» интересен и как определенный этап творческого пути писателя, именно поэтому любил его Б. Лавренев, неизменно включая в сборники своих избранных произведений. В рассказе, несмотря на его очевидные недостатки, которые можно объяснить неопытностью начинающего прозаика, есть немало особенностей, развитых в более поздних произведениях писателя — авторская ирония, стилизация, контрастное изображение героев и т. п. В нем проявилась характерная черта многих рассказов и повестей Б. Лавренева 20-х годов: в центре находится символический образ, пронизывающий всю ткань повествования и объединяющий основные его мотивы. Образ-символ (в «Гала-Петер» — это плитка шоколада) несет большую идейно-эмоциональную нагрузку и выносится автором в название произведения.

В критике 20-х и в литературоведении 50-х годов (И. Эвентов, Г. Ратманова), как правило, давалась лишь отрицательная оценка рассказа. И. Вишневская в книге «Борис Лавренев» (М., 1962) смело разрушает установившуюся традицию в оценке рассказа, хотя порой впадает в другую крайность, преувеличивая его достоинства и обходя молчанием недостатки.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Марина. — Рассказ написан в Ташкенте. Впервые опубликован в сборнике: Б. Лавренев. Ветер. Л., изд-во «Прибой», 1924.

25 сентября 1921 г. в «Красноармейской газете» был опубли-

кован рассказ Б. Лавренева «Мишель». Повествование в нем ведется от лица четырнадцатилетнего мальчика, который, получив двойку по алгебре, убежал из родительского дома и после долгих скитаний в Одесском порту встретил старшего рулевого французского парохода Мишеля. Французский моряк дал юному путешественнику первые уроки революционной борьбы. В финале герой рассказа в 1919 г., командуя бронепоездом, во время одного из сражений увидел среди погибших красноармейцев Мишеля, слова которого: «Нет в мире звания почетнее революционера», — он запомнил на всю жизнь. Этот рассказ вполне можно рассматривать как своеобразный набросок к «Марине».

Б. Лавренев неоднократно энергично протестовал, когда критики и литературоведы пытались рассматривать «Марину» как автобиографическое произведение. В одном из писем он предупреждал: «Ради бога, не впадайте в обычное заблуждение относительно автобиографичности «Марины». Клянусь самыми страшными клятвами, что биография героя «Марины», как и биография самой Марины, со мной никакого соприкосновения не имеет. Канву этой истории мне рассказал в 1919 году мой сослуживец по штабу береговой обороны Крыма, действительно бывший кавалерийский корнет Клепцов. Я развернул эту историю вширь, и из озорства, простительного молодости, повел ее от первого лица, даже взяв для героя свою собственную фамилию» (журн. «Звезда Востока», Ташкент, 1959, № 8, с. 119).

Правда, несмотря на столь категорическое предупреждение, между героем «Марины» и ее автором можно найти немало общего. Б. Лавренев, подобно герою «Марины», самозабвенно любил море, пытался попасть в морской корпус, получив двойку в пятом классе гимназии, бежал из дома, скитался по Атлантике, учился в университете, попал на войну, был ранен и отравлен газами, в 1916 г. лечился в Евпатории и жил на даче у Софронеевой, фамилия которой слегка изменена в рассказе.

Однако в «Марине» вымышлено главное, ради чего она, в сущности, и написана, — история Марины, ее «необычной» любви. Впоследствии мотив «необычной» любви войдет во многие произведения писателя, позволит автору выразить большие человеческие чувства и разрешить важные социальные проблемы. Героиня рассказа открывает в творчестве Б. Лавренева целую галерею женских характеров.

Критика 20-х годов в основном отрицательно отнеслась к рассказу, отметив его надуманность и книжность.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

З в е з д н ы й ц в е т. — Рассказ написан в Ташкенте. Впервые опубликован в журнале «Звезда», Л., 1924, № 4.

Интересна творческая история этого произведения. В январе 1922 г. в первом (и единственном) номере ташкентского журнала «Отклики», изданном художественным отделом Туркглавполитпросвета, был опубликован рассказ Б. Лавренева «Тень молчания», в основе которого типичная для восточной литературы трагедия девушки, насильно выданной замуж за богача, непокорившейся и протестующей. Фабула рассказа довольно традиционна: Мириам, жена купца Абду-Гаме, продолжает любить товарища детских лет Камила. Они тайно встречаются. Абду-Гаме узнает об измене, жестоко избивает жену, выбрасывает ее из дома, а затем погибает от руки Камила. Через весь рассказ проходит зловещая тень молчания — символ забитости, темноты и бесправия народа.

В дальнейшем Б. Лавренев существенно изменил характер и тональность повествования. Если в «Тени молчания» действие в основном проходило в глухих, закрытых от чужого, постороннего глаза стенах дома Абду-Гаме, то в «Звездном цвете» (в «Звездном цвете» те же герои) оно «вырвалось» на широкий простор великолепно выписанной, яркой туркестанской природы, огромных горных вершин, покрытых снегом. Через весь рассказ проходит мотив красоты, весеннего цветения и обновления природы и людей. Он ассоциируется и с символическим образом алой звезды, ярко пылающей на буденовке Дмитрия Литвиненко. Новый персонаж, появившийся в рассказе «Звездный цвет», придал ему и своеобразие, и особую поэтичность. Через его восприятие, а не описательно, как в первоначальном варианте, изображаются и восточный базар, и лавка Абду-Гаме, и многое другое. На смену мрачной тени молчания приходит новый символический образ звездного цвета революции, который становится основным, доминирующим лейтмотивом рассказа.

«Звездный цвет» интересен и как один из этапов творческих поисков Б. Лавренева, стремившегося через необычное, исключительное показать характерное для революционного времени столкновение полярных сил.

Критика 20-х годов отметила свежесть, оригинальность и поэтичность произведения Б. Лавренева. «Глубокая симпатия к освобождающим угнетенную человеческую личность силам революции, ясное понимание изображаемой борьбы — такова эмоционально-идейная окраска повести» (Г. Г о р б а ч е в. Современная русская литература. Л., изд-во «Прибой», 1928, с. 252). В. Друзин писал: «Как раковины передают гул моря, так рас-

сказ «Звездный цвет» гораздо ярче тысячи публицистических статей покажет разбуженный Восток» («Звезда», 1925, № 4, с. 298).

В 1927 г. по мотивам рассказа студией Узбекгоскино был создан кинофильм «Шакалы Равата».

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Происшествие. — Рассказ впервые опубликован в «Красном журнале для всех», Л., 1924, № 6.

Печатается по тексту, просмотренному и исправленному автором в 1957—1958 гг.

Ветер. — Повесть впервые опубликована в «Литературно-художественном альманахе для всех», кн. 1. Л., изд-во «Прибой», 1924.

О возникновении замысла повести Б. Лавренев рассказал в 1937 г. в беседе с корреспондентом «Литературной газеты»: «Я задумал «Ветер» как развернутую эпопею, включающую все мои наблюдения за годы революции и гражданской войны. В 1923 году я привез из Ташкента в Москву рукопись романа— 1600 страниц, собственноручно напечатанных на машинке!!! В Москве, в редакциях, когда посмотрели на эту рукопись, занявшую целый чемодан, ахнули: «Да это же материал на полдюжины книг». Действительно, из этой рукописи получились и «Ветер», и «Рассказ о простой вещи», и «Сорок первый», и «Седьмой спутник» («Литературная газета», 1937, 30 мая).

Спустя примерно двадцать лет Б. Лавренев вновь вспомнил о первом большом своем произведении: «Хронологическая история «Ветра» и «Сорок первого» такова: в 1922 году я начал в Ташкенте писать огромную «эпопею» под названием «Звезда-полынь», охватывающую период с 1916 по 1920 год. Вернувшись в Ленинград и перечитав на досуге этот литературный небоскреб, я понял, что безнадежно запутался в каше событий, нагромоздив в роман, что нужно и что не нужно. Роман полетел в корзину, но из него выклевались отдельные куски, из которых и родились две упомянутые повести» (журн. «Звезда Востока», Ташкент, 1959, № 8, с. 119). Конечно, рассказы и повести, названные Б. Лавреневым, могли существовать в «эпопее» на весьма отдаленном друг от друга расстоянии, скорее всего в качестве отдельных эпизодов.

Удалось обнаружить две первые черновые главы повести «Ветер», не вошедшие в окончательный текст. Повесть начиналась с изображения детства, отрочества и юности Василия Гулявина. Здесь же давалась характеристика матери ге-

роя и окружающей его среды. События повести происходили на Черном море, и Гулявин — матрос Черноморского флота. Впоследствии писатель отказался от «камерного» начала повести. Он перенес действие на Балтику, что дало ему возможность сразу же бросить своего героя в самую гущу революционной борьбы.

Б. Лавренев неоднократно высказывался о своем герое, о его прототипах и принципах создания художественного образа. Беседуя с матросами, отвечая на их многочисленные вопросы, он сказал: «Гулявина как такового не было. Он — собирательная личность. В ней совместились индивидуальные черты многих военморов, которых мне приходилось встречать во время гражданской войны. Я брал самые характерные для бойца-военмора этого периода» (очерк «Так держать!»; см. т. 6 наст. изд.). В дальнейшем писатель уточнял: «В основу фигуры Гулявина легли концентрированные в одном образе фигуры моих разгульных, но душевно прекрасных и всей кровью преданных революции друзей того времени, когда я носил в кармане знаменитое удостоверение, что я «действительно являюсь гражданином линейного корабля «Петропавловск», и когда я командовал на Украине бронепоездом № 6 (журн. «Звезда Востока», Ташкент, 1959, № 8, с. 119).

Б. Лавренев подчеркивал: «Никаких документальных материалов для «Ветра» и «Сорок первого» у меня не было. Все, что вошло в эти повести — это плод моего личного опыта и наблюдения...» Там же.

Любопытно, что действие в повести «Ветер» происходит в основном в тех местах, где сражался сам писатель в годы революции и гражданской войны: Балтийский флот, Москва, Украина, Крым.

14 апреля 1925 г. в письме к Е. А. Конобееву Б. Лавренев, сообщая о своих первых литературных успехах, писал: «...я не зазнаюсь и не пьянею. Знаю, что еще долго, много и упорно нужно трудиться, чтобы стать настоящим большим писателем...» Отвечая на критические замечания о «Ветре», он подчеркнул, что «впечатление длинноты получается от слишком большой перегруженности его событиями, быстрой смены планов и пр. Нельзя такую небольшую повесть так перегружать и разбрасывать... Вторая книга, которая выйдет в мае или начале июня, будет серьезней и крепче» (личный архив Н. Н. Конобеевой. Речь идет о втором сборнике рассказов и повестей Б. Лавренева «Полынь-трава»).

Повесть «Ветер» сразу же после своего появления вызвала оживленные споры в критике 20-х годов. Мнения о ней разде-

лились: одни восторженно приветствовали первое крупное произведение писателя, другие — резко критиковали за действительные и мнимые недостатки. То, что составляло силу Б. Лавренева, его самобытность и оригинальность, порой выдавалось за слабость писателя. Наиболее полно это проявилось в первой монографии о Б. Лавреневе (З. Штейнман. Навстречу жизни. Л., 1934).

Совершенно иным было мнение читателей.

В 1929 г. была издана книга «Голос рабочего читателя. Современная советская художественная литература в свете массовой рабочей критики». Составители пишут: «Известная повесть Бориса Лавренева «Ветер» вызвала весьма благоприятную и в то же время поразительно одинаковую оценку у читателей-металлистов. Среди читательских отзывов нет ни одного отрицательного. В отзывах отмечается занимательность, легкость рассказа, глубокая правдивость и жизненность типов... «Ветер» не только понравился, но и глубоко затронул читателей. Почти все отзывы говорят, что повесть очень удачна, интересна, и рекомендуют ее для чтения как взрослым, так и молодежи» (с. 108—109). В книге приводятся многочисленные читательские отзывы о повести Б. Лавренева «Ветер». «Есть что-то родное, что-то новое, заставляющее с захватывающим интересом следить за Гулявиным и переживать вместе с автором все тяжелые моменты борьбы партизан с врагами революции», — пишет т. Шпак с завода имени Козицкого (с. 111). Другой читатель с этого же завода С. Беляев подчеркивает: «Ветер» Лавренева — крепко слаженная книга. Здесь крепкие слова, крепкие композиционные и формальные приемы: слова так же, как и сюжет, революционны и просты» (с. 114).

Б. Лавренев последовательно и настойчиво работал над текстом повести «Ветер», освобождая язык своих героев от чрезмерных вульгаризмов и устраняя излишне натуралистические описания. В изданиях 20—30-х годов текст повести подвергался в основном стилистической правке. Существенные изменения были внесены автором в текст издания 1948 года, вызванные, очевидно, стремлением «выпрямить» путь Василия Гулявина (Б. Лавренев. Избранное. М., Гослитиздат, 1948). Например, был опущен эпизод, в котором Гулявин убил ненавистного ему офицера Траубенберга. В издании 1957 г. писатель восстановил сокращения и вернулся в основном к прежнему тексту. В конце 40-х годов в письме С. Захарову Б. Лавренев писал по этому поводу: «Прежде всего никак не могу согласиться и никогда не соглашусь с утверждением, что в «Ветре» выражаются мелкобуржуазные взгляды на революцию, как на разбушевавшуюся

стихию анархической вольницы. Так понять повесть могут только личности, привыкшие, смотря в книгу, видеть фигу. Ведь в конце концов Гулявин отнюдь не образцовый герой и не эталон революционера, и его уклон к неизбежной гибели начинается именно с той минуты, когда, связавшись с атаманшей, он порывает с организующей и дисциплинирующей силой партии в лице Строева... Как можно так слепо проглядеть основную мысль повести о гибельности для большевика анархической линии поведения, — мне трудно понять, и объяснить это я могу только механическим чтением вещи, без вникания в смысл читаемого» (журн. «Урал», 1966, № 7, с. 171).

Долгие годы из одной литературоведческой работы в другую кочевали дежурные фразы о Лавреневе — певце стихии, не понявшем революционной действительности, исказившем движущие силы революции. Сама жизнь сняла с произведений Б. Лавренева догматические ярлыки, которые щедро навешивались на них в прошлом.

Повесть «Ветер» неоднократно экранизировалась (кинофильмы «Ветер», «Ошибка Василия Гулявина», «Ярость») и инсценировалась (постановки «Мы сами», «Клеш и уголь» и др.), однако ни на сцене, ни на экране не удалось ярко и интересно воплотить лавреневские образы и мотивы.

Стр. 169. *...стоял против Николаевского моста... крейсер «Аврора».* — К Николаевскому мосту крейсер «Аврора» был приведен по приказу В. И. Ленина в ночь с 24 на 25 октября (ст. ст.) 1917 г.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Сорок первый. — Рассказ впервые опубликован в журнале «Звезда», Л., 1924, № 6.

Первый редактор «Звезды» И. М. Майский вспоминает: «Как-то раз, уходя домой из редакции, я захватил с собой несколько рукописей. Я довольно часто так делал, ибо читать рукописи в редакции было трудно: вечно отвлекали телефоны, административные заботы, а главное, разговоры с приходящими авторами. После ужина я сел за письменный стол и стал просматривать взятые с собой материалы. Две-три рукописи показались мне скучными и бесталанными — я отложил их в сторону. При этом подумал: «Неудачный день — не нашлось ни одной жемчужины». Нерешительно взялся за последнюю, еще оставшуюся рукопись: что-то она мне даст? Перевернул первую страницу и увидел заголовок «Сорок первый» — он меня заинтересовал. Вспомнил, что рукопись принес высокий худощавый шатен лет тридцати, который недавно приехал в Ленинград из

Средней Азии. Я стал читать, и вдруг какая-то горячая волна ударила мне в сердце. Страница за страницей бежали передо мной, и я не мог от них оторваться. Наконец дочитал последнюю фразу. Я был восхищен и взволнован. Потом схватился за телефон и, хотя было уже около двенадцати часов ночи, сразу же позвонил Лавреневу. Поздравил его с замечательным произведением и сказал, что пущу его в ближайшем номере «Звезды». Борис Андреевич был обрадован и вместе с тем несколько смущен... «Сорок первый» появился в шестом номере «Звезды» и вызвал сенсацию в ленинградских литературных кругах. Лавренев мне как-то по этому поводу сказал:

— Чувствую, как попутный ветер надувает мои паруса.

Я ответил:

— Очень хорошо, только, ради бога, не зазнавайтесь!

Лавренев обещал сохранить трезвую голову... (И. Майский. Б. Шоу и другие. Воспоминания. М., «Искусство», 1967, с. 187—188).

Своеобразным наброском к «Сорок первому» можно считать рассказ «Марина». Нетрудно увидеть определенное сходство между героинями этих произведений — Мариной и Марюткой (сходство имен было замечено еще в 1927 г. критиком О. Поймановой). Обе они рыбачьи сироты, у них одинаково трудное, лишенное радостей детство. Обе они любят читать, тянутся к знаниям, книге, что станет характерной особенностью любимых героев Б. Лавренева. Они страстно любят море, повышенно чувствительны к любой несправедливости, удивительно чисты, у них высоко развито чувство собственного достоинства. Но между героинями имеются и существенные различия. Характеры и обстоятельства в «Марине» не раскрыты писателем с той глубиной и проникновенностью, с какой они воплощены в «Сорок первом». «Необычная» любовь приобретает здесь ту жизненную, социальную основу, которая делает романтическое не фоном, а сердцевиной, существом характеров, обстоятельств и конфликта, развивающегося на просторах среднеазиатских пустынь и Аральского моря.

В основе рассказа «Сорок первый» — реальные прототипы, с которыми Б. Лавренев столкнулся в Ташкенте. «В образ Марютки, — сообщал писатель, — целиком вошла девушка-доброволец одной из частей Туркфронта Аня Власова, часто бывавшая в редакции «Красной звезды» со своими трогательными, но нелепыми стихами, которые мной и цитированы без изменений в повести. А Говоруха-Отрок такой же реальный поручик, захваченный одним из наших кавалерийских отрядов в приаральских песках. Я и свел этих персонажей вместе, при-

думав робинзонаду на острове Барса-Кельмес» (журн. «Звезда Востока», 1959, № 8, с. 119).

Но даже явно придуманная ситуация на острове не возникла у Б. Лавренева произвольно, а навеяна туркестанской действительностью тех лет. Местные газеты тогда часто сообщали о катастрофах с человеческими жертвами у острова Барса-Кельмес в Аральском море. Писатель воспользовался этими фактами, создавая в рассказе эпизод кораблекрушения.

Критика тех лет в основном восторженно встретила рассказ Б. Лавренева. Ленинградская «Звезда» назвала молодого писателя настоящим певцом Октября и подчеркнула, что он «отличается на редкость крепким и здоровым подходом к революции... не пытается подкрашивать действительность сусальным золотом, рисует ее такой, какая она есть, с ее вершинами и провалами, с ее кровью, жестокостью, преступлениями, но вместе с тем с ее величием, красотой и героизмом» («Звезда», 1925, № 1, с. 300).

«Сорок первый», как и другие произведения Б. Лавренева, популярен в театре и кино. Достаточно вспомнить талантливые постановки Я. Протазанова в 1927 г. (сценарий Б. Лавренева и О. Леонидова. Роль Марютки исполнила А. Войцик, Говорухи-Отрока — И. Коваль-Самборский) и Г. Чухрая в 1956 г. (Марютка — И. Извицкая, Говоруха-Отрок — О. Стриженов, игру которого Б. Лавренев считал «превосходной»). Фильм Г. Чухрая (сценарий Г. Колтунова) прошел по экранам всего мира и получил на Каннском кинофестивале в 1957 г. специальную премию за оригинальный сценарий, гуманизм и высокую поэтичность.

По мотивам «Сорок первого» созданы пьесы и оперы, идущие во многих советских и зарубежных театрах.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Рассказ о простой вещи. — Впервые опубликован в журнале «Красная панорама», Л., 1925, № 26, 27, 28, 29, 30 (не полностью) и в альманахе «Ковш», кн. 2, Л., 1925.

9 марта 1958 г. в письме к школьникам далекого Абакана Б. Лавренев взволнованно писал о главном герое рассказа и его реальных прототипах: «Дмитрий Орлов, конечно, существовал. Да и не один. В славные и незабываемые годы гражданской войны таких Орловых, героев без страха и упрека, было немало. И мой Орлов сложился из нескольких большевиков-подпольщиков, которых я знал в те годы на Украине и в Крыму. Среди них были и погибшие от рук белых в Коктебеле комсомолец Коля Аптекман и Сергей Ляшенко, и многие другие несгибае-

мые, крепкие борцы за наше общее счастье, за наш справедливый общественный строй. У одного я взял внешность, у другого — манеру говорить, у третьего — знание французского языка и т. д. и т. д., и вот понемногу сложился образ человека, которого я назвал Дмитрием Орловым. Такой человек жил в душе каждого большевика» (Б. Лавренев. Бессменная вахта. М., «Молодая гвардия», 1973, с. 18).

Критика встретила «Рассказ о простой вещи» весьма неоднозначно и в основном оценила его отрицательно. Споры о Дмитрии Орлове не утихают и по сей день. Противоречивость характера и поступков героя, его мучительные раздумья дают основание для этого. Сам Б. Лавренев, видимо, не вполне был удовлетворен своим рассказом, вносил в него изменения, а в автобиографии 1932 г., говоря о своем стремлении, «оставаясь на занятых высотах сюжета, не отказываясь от романтического пути... овладеть психологическим показом человека», писал: «Первые мои вещи были сознательным ходом по линии опыта конструирования прочного сюжета по законам западного мастерства. Но, добиваясь предельной четкости и ясности сюжетной линии, я впал в крайность, ибо люди для меня превратились не столько в живущих своей жизнью индивидуумов, сколько в носителей и двигателей сюжетной линии, стали динамическими схемами, теряющими значительную часть внутренних, психологических свойств, присущих каждому» (ЦГАЛИ, ф. 2105, оп. 1, ед. хр. 1).

«Рассказ о простой вещи» — одно из самых известных и популярных произведений Б. Лавренева, чему в немалой степени способствовали его многочисленные инсценировки и экранизации.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Лидочкино лихо. — Рассказ впервые опубликован в «Красном журнале для всех», Л., 1924, № 10.

Печатается по тексту «Красного журнала для всех».

Моль. — Рассказ впервые опубликован в журнале «Ленинград», 1924, № 24.

Печатается по тексту журнала «Ленинград».

«3б. 213. 437» — Рассказ впервые опубликован в «Красном журнале для всех», Л., 1925, № 3, и в журнале «Всемирная иллюстрация», М., 1925, № 5, под названием «Машина».

Печатается по тексту: Б. Лавренев. Собрание сочинений, т. 2. М.—Л., ГИХЛ, 1931.

Полынь-трава. — Рассказ написан в Ленинграде в феврале—марте 1925 года. Впервые опубликован под названием «Кровный узел» в «Красном журнале для всех», Л., 1925, № 7.

Излюбленная тема Б. Лавренева — «столкновение людей разных классовых установок» — не получила здесь художественно убедительного воплощения и психологически недостаточно мотивирована. Вредит рассказу также чрезмерная стилизация. В 20-е годы рассказ подвергся резкой критике, его единодушно считали неудачей писателя.

Печатается по тексту: Б. Лавренев. Собрание сочинений, т. 1. М.—Л., ГИХЛ, 1931.

Небесный картуз. — Рассказ впервые опубликован в сборнике Б. Лавренева «Полынь-трава» Л., изд-во «Прибой», 1925.

Печатается по тексту сборника «Юмор и сатира», М., Гослитиздат, 1957.

Отрок Григорий. — Рассказ впервые опубликован в журнале «Красная панорама», Л., 1925, № 23, 24, 6, 13 июня.

Печатается по тексту журнала «Красная панорама».

Конец полковника Девишина. — Рассказ впервые опубликован в журнале «Ленинград», 1925, № 7 (не полностью) и в журнале «Красная панорама», Л., 1925, № 42 под названием «Полковник Девишин».

Рассказ вошел в сборник Б. Лавренева «Шалые повести», изданный в 1926 г.

«Шалыми» повестями стал называться своеобразный цикл произведений Б. Лавренева об обывателях, «негероях времени»: «Происшествие», «Лидочкино лихо», «Моль», «Небесный картуз», «Отрок Григорий», «Таракан», «Мир в стеклышке», «Таласса», «Погубитель», «Конец полковника Девишина» и др. Критика 20-х г. восприняла их как свидетельство кризиса в творчестве писателя, объясняя появление этих произведений истощением героического материала у Б. Лавренева. Их резко противопоставляли романтическим повестям и рассказам писателя. Между тем и романтические, и «шалые» произведения практически создавались одновременно и между ними существует внутренняя связь. Критик Г. Горбачев писал о Б. Лавреневе: «Он верит в ветер наших дней, в общем попутный революции. Он ненавидит

тупых мещан, презирает обветшалый блеск прошлого, жестоко бьет по старым предрассудкам, он глубоко и искренно демократичен в своей гуманности» (Г. Горбачев. Современная русская литература, Л., изд-во «Прибой», 1928, с. 257). Это, пожалуй, единственная положительная оценка всего цикла в критике тех лет.

Современное литературоведение более объективно оценивает «шалые» повести Б. Лавренева. И. Вишневская в монографии «Борис Лавренев» справедливо отмечает, что главная мысль «шалых» повестей так же революционна, как и идея «Ветра». За экстравагантной анекдотичностью ситуаций проглядывает жгучая ненависть писателя к тем обывателям, которые испугались ветра революционного времени и плотно заткнули свои ушные раковины, чтобы не слышать его гула. «Шалые» повести в известной степени подготовили сатирический роман Б. Лавренева «Крушение республики Итль».

Печатается по рукописи, просмотренной и исправленной автором в 1957—1958 гг.

Срочный фрахт. — Рассказ впервые опубликован в «Красном журнале для всех», Л., 1925, № 12.

Рассказ неоднократно переиздавался, не подвергаясь авторской правке. Лишь в 1952 г. Б. Лавренев внес в него существенные изменения, создав фактически новую редакцию произведения: усилено звучание символического образа доллара, преступную волю которого вынуждены исполнять действующие лица рассказа, новое звучание получил финал, свидетельствующий об ответственности капитана Джиббинса за совершенное преступление в Одесском порту. Сильнее зазвучала в рассказе тема интернациональной солидарности простых людей и бесчеловечия американского империализма.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Таракан. — Рассказ впервые опубликован в журнале «Красная панорама», Л., 1926, № 34, 35.

Печатается по тексту сборника: Б. Лавренев. «Шалые повести». Л., 1926.

Граф Пузыркин. — Рассказ впервые опубликован в журнале «Красная панорама», Л., 1926, № 37.

Печатается по тексту журнала «Красная панорама».

Мир в стеклышке.— Повесть написана в Детском Селе в 1926 г. Глава из повести под названием «День генеральши

Ентальцевой» была напечатана в газете «Заря Востока», Тифлис, 1928, 28 февраля. Полностью повесть впервые опубликована в сборнике «Пролетарий», кн. 2, Харьков, 1928.

Печатается по тексту Двухтомника 1958 г.

Т а л а с с а. — Повесть написана в Детском Селе в октябре—декабре 1926 г. Глава из повести под названием «Контрабанда Модеста Ивановича» была напечатана в «Ленинградской правде», 1927 г., 1 января. Впервые повесть опубликована полностью в альманахе «Содружество». Л., изд-во «Прибой», 1927.

Печатается по тексту: Б. Л а в р е н е в. Собрание сочинений, т. 2, М.— Л., ГИХЛ, 1931.

Б. Геронимус

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Лавренев Б. А.

Л13 Собрание сочинений. В 6-ти т. — — — М.: Худож. лит., 1982. — — —

Т. 1. Повести и рассказы. /Сост. А. Ю. Лавренева; Вступит. статья Е. В. Стариковой; Примеч. Б. А. Геронимуса. 1982. — — — 654 с.

В первый том вошли повести и рассказы, написанные Б. А. Лавреневым в 1916—1926 годах. Среди них завоевавшие огромную популярность произведения о героической революции и гражданской войне, о людях, боровшихся за счастье народа («Ветер», «Сорок первый», «Рассказ о простой вещи» и др.).

Л $\frac{4702010200\text{-}336}{028(01)\text{-}82}$ подписное **Р2**

БОРИС АНДРЕЕВИЧ

ЛАВРЕНЕВ

Собрание сочинений

Том 1

Редактор
В. Буланова

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
Р. Ярославцева

Корректоры
Л. Овчинникова
Е. Колчина

ИБ № 2160

Сдано в набор 29.12.80. Подписано в печать 29.10.81. А 08617. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 34,44 + 1 вкл. = 34,49 усл. печ. л., 34,49 усл. кр.-отт., 36,09 + 1 вкл. = 36,16 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Изд. № III 424. Зак. № 24.
Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»
107882. ГСП, Москва. Б-78
Ново-Басманная, 19.

Набрано и сматрицировано в типографии издательства «Таврида» Крымского ОК Компартии Украины,
Симферополь
ул. Генерала Васильева, 44

Отпечатано на Киевской книжной фабрике республиканского объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, Киев, ул. Воровского, 24.

